ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

ВСЕВОЛОД

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

●

*Издание
осуществляется
под редакцией
Т. В. Ивановой,
А. И. Пузикова,
С. В. Сартакова*

●

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

ИВАНОВ

ТОМ ПЕРВЫЙ

•

ПАРТИЗАНСКИЕ ПОВЕСТИ

•

ГОЛУБЫЕ ПЕСКИ

роман

•

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДДЫ

повесть

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1973

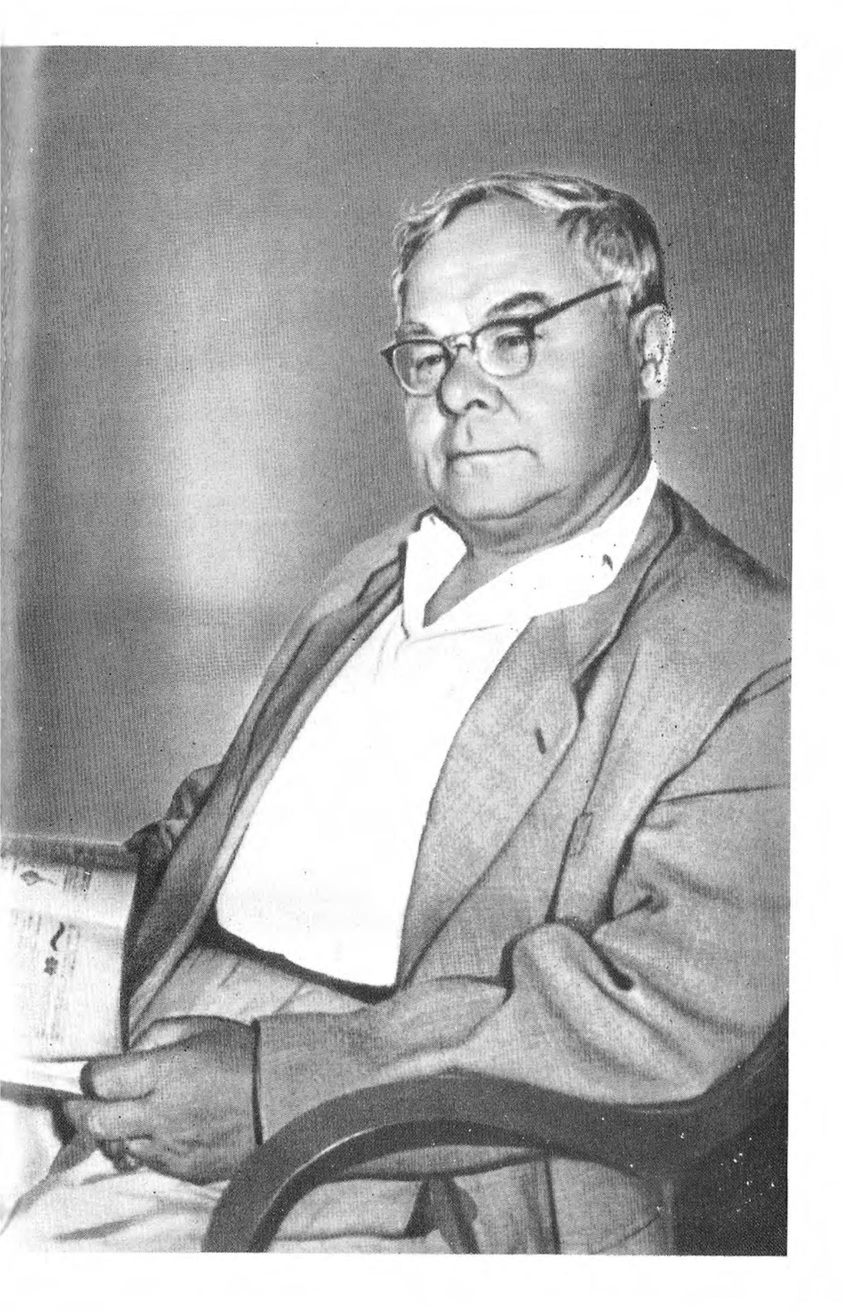
Р2
И 20

Вступительная статья
Л. ГЛАДКОВСКОЙ

Подготовка текста и комментарии
Е. КРАСНОЩЕКОВОЙ

Оформление художника
Л. ЧЕРНЫШЕВА

И $\frac{0732-191}{028(01)-73}$ Подп. изд.



ПУТЬ ИСКАНИЙ

Вхождение Вс. Иванова в большую литературу было блистательным. Ни один обзор текущей литературы не обходился без оценки его произведений. Иванову посвящались отдельные статьи. Его хвалили, о нем спорили. Главным и верным в восприятии молодого таланта было ощущение новизны. Славу первооткрывателя Иванову принесли «Партизанские повести» и рассказы, составившие сборник «Седьмой берег». Молодая литература, рожденная Октябрем, только-только еще начинала осмыслять свершившиеся события, поворот многомиллионной России к новой жизни. Всеволод Иванов открыл Сибирь эпохи революции — Сибирь рыбаков и мастеровых, кержаков и немаканых, таежную мужицкую партизанскую Сибирь.

То, что Иванову как художнику оказалась подвластна многоликая Сибирь, не было случайностью. Вся предшествующая жизнь готовила писателя к этому.

Всеволод Вячеславович Иванов родился в селе Лебяжьем, Павлодарского уезда, Семипалатинской области в семье учителя сельской школы 24 февраля 1895 года. Семья была бедная, отец часто менял работу и много странствовал, а это не способствовало благополучию семьи. Окончив школу, Вс. Иванов пошел в «люди». Подгоняла безработица, необходимость добывать хлеб насущный. Но подгоняла и другая, непрозаическая причина. У юноши — мечта добраться до Индии. Она подсказана стремлением вырваться из скуки обывательского существования. В Индию Иванов тогда так и не попал (гостем Индии он стал спустя почти полвека, в 1960 году). Но исходил и изъездил, большей частью «зайцем», многие сотни километров, узнал множество людей, перепробовал множество профессий. Это был очень щедрый период первоначального накопления. Богатым впечатлениям не сразу было суждено реализоваться в творчестве. В начальную пору они казались даже ненужным грузом. Зато потом, когда в произведениях Иванова возникли картины провинциальной России и разместилась в них огромная галерея своеобразнейших фигур, стало ясно, какую прочную основу получил в свое

время изобразительный дар художника, как надежно обеспечены его произведения поистине золотым запасом наблюдений и впечатлений.

В Сибири Иванов проходит и школу революции. Февраль 1917 года застал его в Кургане. Здесь он был наборщиком типографии. «Как деятельнейшего работника профсоюза печатников» Иванова вскоре избирают депутатом на конференцию печатного дела Западной Сибири. Приехав в Омск, он остался в нем работать, попрежнему наборщиком типографии газеты.

Октябрь встретил здесь, встретил восторженно и наивно. Трудно было бы говорить о политическом самоопределении. Оно еще не произошло. Накануне Октября он сразу записался в две партии — эсеров и эсдеков, не понимая разницы между ними и, как признавался позднее сам, «дабы не обидеть друзей». Однако в Омске в бюро печатников, по собственному утверждению, еще «полевев», «большевиковал».

Много лет спустя Иванов живо помнил вызванное революцией ощущение восторга, необычайного счастья. «Мы были глубоко и торжественно убеждены, что справедливость восторжествовала навсегда, что так легко побежденный враг никогда не оправится. Мы очень верили в людей. Уныние и скорбь исчезли от нас навсегда. Даже капиталисты скоро признают нашу правоту и в дальнейшем будут помогать нам, а не мешать». Но тот молодой человек, каким Иванов видит себя, жаждет строить новый мир, полагая, что с прошлым раз и навсегда покончено. Эти иллюзии жизнь развеяла довольно быстро. Впереди ждали большие испытания. Иванов вступил в Красную гвардию, чтоб с оружием в руках защищать советскую власть.

Годы гражданской войны писатель с полным основанием назвал для себя «дорогой смертной». Режим, установившийся при Директории, а затем при колчаковском правительстве, обесценивал человеческую жизнь, угрожая тюремными застенками, камерами пыток, концентрационными лагерями. У Иванова, которому пришлось жить в Омске под Колчаком, были такие «преступления», за каждое из которых полагалась тюрьма. Еще в Кургане он участвовал в конфискации типографии, в Омске помогал разоружать кадетский корпус, воевал против белочехов и, наконец, вел «подпольную» работу — печатал фальшивые паспорта для солдат, дезертировавших из колчаковской армии и желавших переправиться к партизанам. По личной скромности сам писатель почти не вспоминал об этом. И только теперь, когда опубликованы мемуары знавших Иванова тогда Н. Анова и Г. Петрова [1], можно понять, что работа их ячейки была частью омского большевистского подполья. Понятным становится и

---

[1] «Всеволод Иванов — писатель и человек». М., «Советский писатель», 1970, с. 53—57, 64—68.

признание самого Иванова: «Всю колчаковщину я жил под мыслью, придут сейчас, узнают и убьют» [1].

Иванов вынужден был бежать, тем более, что ему угрожала мобилизация в колчаковскую армию. По совету омского литератора А. Сорокина, Иванов «скрылся» в походной типографии газеты Штаверха. С ней он и выехал из Омска, надеясь при первой возможности уйти к партизанам. Но к ним он сначала попал как пленник.

В Ново-Николаевске оказался под угрозой смертной казни, так как его приняли за другого Всеволода Иванова, который активно сотрудничал с Колчаком и редактировал в Омске официальную газету. Новые скитания в зимние месяцы 1919—1920 годов и остановка в Татарске завершают этот почти неправдоподобный по трудностям период биографии Иванова. У него были основания чувствовать себя промолотым «жерновами жизни». Но оптимистическое мироощущение не оставляет его. Дело не только в том, что пережитые опасности обострили инстинкт жизни; в одной из своих автобиографий Иванов написал: «От трупов, проплывших мимо меня, возлюбил и без того любимую жизнь» [2]. Но также в ощущении назревших перемен в собственной духовной жизни. Единственным документом, который позволяет судить о настроениях Иванова той поры, является его письмо поэту К. Худякову, с которым Иванова связывали дружеские доверительные отношения еще с Кургана. «...Чувствую бодрость и веру в то, что возможность творчества новых, хотя бы малоценных произведений духа,— возвратится. А вместе с нею цена жизни увеличится. Те уроки жизни, которые вкушаешь сейчас, принесут, я думаю, колоссальную пользу. Кругозор расширяется с каждым днем. Учишься сам и других учишь... Я приемлю жизнь теперь с неожиданной для себя верой, с верою, что теперь под звон оружия, где-то внутри, в сгустках крови, рождается и крепнет новая мысль, которая толкнет и поведет к новым возможностям... Появится, я верю, что-то новое. Это появление родит и заставит трепетать те «струны сердца», выражаясь вульгарно, которых до сего времени у меня не было» [3]. Это было написано в марте 1920 года. Пройдет меньше года, и Вс. Иванов покинет Сибирь, чтобы вернуться к ней в творчестве, никогда ее, в сущности, уже не оставляя. Рубежом для него стал 1921 год, переезд в Петроград, вхождение в настоящую литературную среду, личная встреча с Горьким и начало серьезной профессиональной литературной работы.

---

[1] Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. Изд-во «Современные проблемы» Н. А. Столляр. М., 1928, с. 146.

[2] Рукописный отдел ИМЛИ, ф. 100, ед. хр. 19.

[3] Вс. Иванов. Портреты моих друзей. Кондратий Худяков. «Огонек», 1964, № 7, с. 21.

Иванов не был новичком. Он печатался с конца 1915 года. За плечами была серия рассказов, многие из которых публиковались в местной сибирской периодике. А два из них были взяты Горьким во второй «Сборник пролетарских писателей». Горький, с которым у Иванова завязалась переписка в 1916 году, поддержал его первые шаги, признал в нем литературное дарование, но серьезно предупреждал: «...если Вы желаете не потерять себя, не растратиться по мелочам, без пользы,— Вы должны серьезно заняться самообразованием». Это понимал и сам Иванов. Только бы знать, с какой стороны «узубатить науку за бок»?

Нелегко выйти из рамок ученичества, реальна опасность нахвататься чужих образов и мыслей (каждая черточка прочитанного автора «влепляется... в память и торчит там»), тем более, что в литературном отношении Иванов, по собственным словам, был «очень знающим молодым человеком», и на него в эти ранние годы влияла «вообще вся манера тогдашней прозы, вплоть до Л. Андреева, Сергеева-Ценского, Сологуба, Чапыгина и т. д.» [1]. Но, главное, нет пока своей сильной, глубокой мысли, способной объединить впечатления бытия. Молодой литератор ищет еще и, как ему кажется, находит. В письме к Горькому (конец 1916 года), откровенно рассказывая о пережитых страданиях, Иванов пишет, что, наверно, так и вырабатывается воля и любовь к жизни. «...Мне кажется, любовь к жизни, смысл ее можно понять через страдания. Разве есть другие пути?» В ранних легендах и аллегориях Иванов словно вдумывается в эту мысль, варьирует ее, но вдохнуть в нее жизнь ему не удается. Вознесенная на философические высоты, она звучит отвлеченно, холодновато и банально. Фантазия начинающего писателя стремится «опоэтить» мир, обнаружить скрытые возможности жизни, ее тайные богатства. Она то прикасается к народным поверьям и сказаниям, то пускается в свободный романтический полет на крыльях «удивления перед громадным и непонятным миром». Но сама жизнь со своими невыдуманными слезами и подлинными драмами — еще редкая гостья. Поэтическая, легендарная стихия решительно и во всем противостоит обыденной реальности.

В 1919 году в походной типографии небольшим тиражом Иванову удалось напечатать первый сборник из восьми рассказов — «Рогульки». Он воспринимается как своего рода итог ранних исканий. Иванов дорожил этим небольшим сборничком потому, вероятно, что здесь начинались линии, которым суждено было в дальнейшем развиться. Именно здесь уже сделана «заявка» на характер народных правдоискателей, крестьян-философов, а также вольных по

[1] «Вс. Иванов — писатель и человек». М., «Советский писатель», 1970, с. 224.

духу бродяг, независимых от «приличного» общества. Проницательно отметил К. Федин в сборнике сочетание фантастики с реализмом, которое затем «ошеломляюще пышно» проявилось в известных произведениях Иванова[1].

Все же раннее творчество Иванова — только эскиз, даже «Рогульки» — лишь предощущение возможностей его таланта.

Тысяча девятьсот двадцать первый год открыл новые страницы писательской биографии Иванова. Удивительна эта первая, петроградская волна. Словно наконец прорвало долго сдерживаемый мощный поток. Вслед за «Алтайскими сказками» три повести о революции и партизанской войне, гора рассказов, повесть «Возвращение Будды», роман «Голубые пески». И все это за неполных три года. По-видимому, только цикл «Алтайских сказок» был завершен в Сибири. Все остальное либо переписывалось, переделывалось, либо создавалось заново здесь, по приезде в Петроград.

Дни учения продолжались. Ведь Иванов и едет-то в Петроград потому, что «сильно хочется учиться». Он хорошо узнает дорогу на Кронверкский проспект, где «в узком кабинете с книжными полками некрашеной сосны» встречает его Горький. Сюда несет Иванов каждое свое новое произведение, испытывая незнакомую прежде остроту чувства ответственности. А на творчестве этих лет — печать уверенного в себе самобытного, яркого таланта.

В произведения Иванова начала двадцатых годов революция властно вошла не только как тема. Она предопределила поэтическое осмысление жизни, подсказала неповторимый вкус, цвет, запах действительности. Иванов видел революцию не в той ее «классической» форме, какая была характерна для центральной России. За Уральским хребтом, в Сибири, в Азии — свои революционные очаги, форпосты Октября. Но тут же рядом безбрежное таежное и степное море, полузвериная, почти первобытная дремучая жизнь, непроглядная тьма азиатчины национальных окраин, и кажется, что сыпучие глуби песков способны поглотить бесследно самые мощные волны революции. Нужны поистине титанические силы, чтобы раскачать и сдвинуть с мертвой точки эту вековую неподвижность.

Страницы ивановских произведений непривычно тяжелеют под грузом бытописаний, без которых теперь не обойтись: пестрота лиц, одежды, языка, обычаев, традиций, вся совокупность житейских обстоятельств. Текст произведений насыщен характерной, часто иноязычной лексикой, особенно в именах, в различных названиях. Звучит ломаный русский язык нерусского человека и в прямой речи — поток областных речений, переданных буквальной записью. Житей-

[1] К. Федин. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 9. М., Гослитиздат, 1962, с. 187.

ские подробности, детали быта нужны Иванову как грунтовка холста, на которую затем наносятся все краски картины. А сами краски — более яркие, более интенсивные, чем те, которые может предложить реальная жизнь. Авторская позиция необычайно активна. Все, чего только коснулась рука художника, немедленно преображается, приобретает особую поэтическую окраску, получает экспрессивные формы воплощения. Повествование окрашивается энергичными авторскими интонациями, а иногда голос автора, прорываясь на поверхность, звучит открыто, в полную силу, образуя своего рода широкие лирические разливы. И это в большей части своей — лирика восторга и ликования. Ритмически организованная, она приближает прозаическое повествование к стиху.

Ранняя советская проза охотно обращалась к сказу. Это был своего рода путь сближения искусства с действительностью. В литературе должны были звучать голоса самой жизни, лишь «подслушанные» и воспроизведенные писателем. Иванов редко прибегает к сказу в чистом виде, но охотно «подстраивается» к представлениям своих героев, у которых собственная мера вещей, собственный опыт, мечты и поверья, поэтому своя версия событий. Многие из них еще не расстались с миром сказки и готовы давать всему новому, непонятному сказочное истолкование. Авторская точка зрения не тождественна этим представлениям, но писатель дорожит ими. С одной стороны, его герои, люди из народных низов, подсказывают цвет стекол, через которые можно увидеть мир в особом поэтическом, диковинном освещении. С другой стороны, посмотреть на жизнь их глазами — значит, лучше понять их, постичь, что же с ними происходит, когда они лицом к лицу встречаются с революцией.

Поэтическое освещение жизни у Иванова, как давно уже было замечено, рождено в первую очередь удивительным взаимопроникновением жизни природы и человека, который живет в непосредственной близости к природе как ее неотъемлемая часть. Вот почему природа антропоморфична, одухотворена. Поэтическое обаяние «Алтайских сказок» в этом человеческом истолковании явлений природы, в том, что даже смена времен года истолкована как действия сказочных существ — зеленого бога Кургамыша, злой, старой Туянчи — осени и т. д.

Голос зеленого бога постоянно вторгается и в бурю реальных человеческих битв. Природа несет на себе печать кровавых событий, которые происходят у моря или в тайге, в неоглядных степях или покрытых разнотравьем равнинах, на горных тропах или у гранитных сопок. И тогда горит земля, горит небо, горят озера, пески и травы, занимается дымом тайга. «Перемеченные огнем снарядов — красные, кроваво-красные и тяжелые,— низко обламывались облака

над городом». И «солнце в маслянистой крови, как не зарубцованная рана» («Подкова»). Трудно разгадываемый язык природы делает ее немым свидетелем происходящего, вроде той скалы Иик-Тау, Бык времен, которая одна выбегает из песков и «каменным рыком мычит в небо слова непонятные и вечные» («Бык времен»).

В образах природы находит свое воплощение и другая грань революции, ее плодоносная, обновляющая жизнь сила. Это хорошо видно в образе ветра, который как живое существо ходит по повестям и рассказам Иванова. Цветные ветра варьируются, трансформируются. «Пугая гагар и уток, спотыкаясь, бродил камышами багровый ветер», но тут же и другая его ипостась — «хлюпается в камышах зеленобородый и мокрый» («Лоскутное озеро»). Во время пожара он — «красно-бронзовый», «пурпурно-бронзовый», но иногда становится «золотисто-лазурным»—«в хвою уткнулся, бороду чешет», и весной, как вздох истомившейся по человеку пашни, «ветер зеленый, плодороден и светел», «блекло-золотистый ветер мечется,— кропи его севом!» («Цветные ветра»). В том же символическом ореоле возникает образ ветра и в «Бронепоезде»—«теплый и влажный темно-зеленый ветер», «задевал крылом по городу зеленый океанский ветер», спутник победившего восстания. В двадцатые годы образ ветра будет сопровождать тему революции во многих поэтических и прозаических произведениях как метафора, воплощающая мощь вольного революционного порыва, стихию свободы, добываемой революцией, народной силы, несущей смерть и разрушение старому миру. У Иванова образ ветра приобретает свои оттенки. Он сродни сказочным образам, зеленому богу Кургамышу, который приносит на землю оттепель, травы, листья, ветру Чойном, который впитывает запахи трав («Алтайские сказки»). Вот почему так естественно ивановский образ ветра связывается с представлением о жизнетворном начале, об обновлении жизни, являясь непременным и добрым спутником людей, делающих революцию.

Поэтическое видение мира у Иванова не исключает жестоких картин, крови, смерти. Но оно радостно. Пестротканый, чудоподобный ковер, который оно словно набрасывает на действительность, служит жизнеутверждению.

Гимн жизни выливается в гимн революции, ибо революция у Иванова — функция самой жизни, самый прекрасный ее плод.

Восторженный песнопевец уживается в Иванове с художником-аналитиком, которого интересует человек в конкретных жизненных ситуациях. Иванову интересно разгадывать мотивы поведения людей в непривычных для них обстоятельствах социальной войны, ибо здесь ему открывается возможность постичь глубокий смысл великих событий, развернувшихся на тысячи километров, втянувших в свою орбиту миллионы людей.

Герои «Партизан» Кубдя и его артельные товарищи уходят в чернь (тайгу) партизанить из-за случая. Кажется, не убей Беспалых милиционера, приехавшего бороться с самогонщиком, ничего бы и не случилось — артельщики продолжали бы рубить амбары для монастыря, а в Улее процветал бы Антон Селезнев, самый богатый мужик на селе. Прежде всего, конечно, вынудили их бежать в чернь обстоятельства. Практика карателей известна, «разбираться не будут», за убийство придется отвечать всем. Иванову удается великолепно передать эту логику исторических обстоятельств, объяснить, почему у «Толчака» возникают «внутренние фронты».

Но есть и другие причины. Кубдя и его дружки —«метательные ребята», по определению подрядчика, не сидится им дома. Почему их, как перо, ветром гонит по земле, им самим трудно объяснить. Кубдя, самый речистый из них, признается: «Недовольны мы, понял? Желаем жить — чтобы в одно за всеми, а не у свиньи хвост лизать. Вот тебе, дескать, мамкина сиська. И с такого положения встосковали мы! .»

Кубдя не больше других знает, на какое место заплату надо ставить, так как идет, по собственным словам, во тьме. Но потому-то он так легко и сразу подчинился необходимости идти в чернь, что в нем подспудно нарастало отрицание существующих порядков, усугубленных колчаковской властью.

«Нам с этой властью не венчаться. Наша власть советская, крестьянская...» На этой мысли сошлись и мастеровые, «странники», и домовитый, умелый, опытный хозяин Антон Селезнев.

Когда Селезнев решил уходить в тайгу, он спасал свою жизнь от карателей. Но, оказавшись в самой середине движения, получил возможность понять, почему оно «закрепляется хрестьянами». Растет его горький счет преступлениям колчаковцев, а вместе с ним приходит и опыт. Его жестокой ценой оплачено освобождение миллионов крестьян от иллюзий относительно сущности колчаковской власти, рождение союза с советской властью и готовность воевать за нее до последнего своего смертного часа.

«...Население восстает против него (Колчака. — *Л. Г.*) поголовно, даже зажиточные крестьяне... — говорил Ленин 24 октября 1919 года слушателям Свердловского университета, отправляющимся на фронт. — ...Колчак дал нам миллионы сторонников Советской власти в самых отдаленных от промышленных центров районах, где нам трудно было бы их завоевать»[1]. Угол зрения, избранный Ивановым, позволяет увидеть нарастающую лавину народного движения, его реальные масштабы.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 241.

О растущем напоре этого движения, вбирающего все новые и новые тысячные силы крестьян, Иванов рассказывает и в «Бронепоезде 14-69», в одном из самых блестящих произведений ранней советской прозы. Есть нечто поразительное в этой краткой динамичной повести, в драматизме ее ритмов, в прерывистости повествования, в цепочке коротких глав, словно на обрывающемся дыхании сменяющих друг друга. Повествование то движется толчками драматизированных сцен, оголенных, почти начисто освобожденных от авторской речи, то прорывается лирическими всплесками авторского голоса, тяготея к белому стиху. Кажется, структура повести рассчитана на то, чтобы сдерживать ее эпический размах. Но «Бронепоезд», более лаконичный по манере изложения, чем «Партизаны», также эпичен. История захвата бронепоезда армией Вершинина послужила канвой для воплощения широкой картины партизанской войны, в которую втянуты многие тысячи крестьян, чьи деревни жгли, чьи пашни топтали «люди незнакомых земель».

Есть в «Бронепоезде» стихия всеобщности. Она живет в массовых действиях, в едином усилии множества воль, как бы сконцентрированных в одно волевое действие. В этом ключе написаны основные сцены повести — отступление в сопки, «упропагандирование» американца, смертельный бой с бронепоездом, восстание в городе, завершившееся победой. Сделаны зримыми и неистощимый героизм массового движения, и его жертвенность, гуманистическая правда революционной борьбы и ее великий интернациональный пафос. В воюющей за землю, за свободу, за лучшую жизнь на земле массе Иванову открывается буйное сплетение радости и ярости. Эти черты массовой психологии определяют и настроения отдельных персонажей. Свой «мандат» на общую радость получает Васька Окорок, который то *«разливчато улыбается»*, то восторженно орет по случаю распропагандирования американца[1], а когда запевает песню, другой «быстрый и *веселый* голос» ее подхватывает. И Знобов кричит, «*радостно* прорывая через подпрыгивающие зубы налитые незыблемой верой слова». И у председателя подпольного ревкома Пеклеванова «глубоко где-то хлещет *радость*, и толчки ее, как ребенок в чреве роженицы, пятнами румянят щеки». Это не индивидуальная черта психологического состояния, а его типологическая особенность. Право испытывать радость дано приобщением человека к великому делу революции, близостью, родственностью ей.

Но Иванова интересует также отдельная человеческая судьба в ее своеобразных отношениях со временем. Он улавливает драматизм этих отношений и поэтому ищет возможность всмотреться в душу отдельной личности.

---

[1] Здесь и далее курсив мой. — *Л. Г.*

Драматизм может таиться в узости понимания цели борьбы, узости, не осознанной самим ее участником. «Корявый мужичонка в малиновой рубахе» уверен, что воевать надо за пашню. «А интернасынал-то? ...Я ведь знаю — там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь...» Правда, он готов согласиться, что и это слово нужно. «Ведь которому человеку огромадная мера надобна, такое племя...» Но он надеется, что «потом лишнее спрятать можно...». И ему еще невдомек, что придется ломать себя, чтобы расстаться с собственной ограниченностью. А вот Пентефлий Знобов, бывший рабочий владивостокских доков, свободен от крестьянской ограниченности. «Мы, тюря, по всем планетам землю отымем и трудящимся массам — расписывайся!» Но у него свои трудности: «Совсем людей не вижу. У меня в голове-то сейчас совсем как в церкви клирос! Свои войдут, поют, а остальная публика только слушай. Пелена в глазах». Он сам понимает, что это вызвано сложностью обстоятельств· «По тропке идешь, в одну точку смотри, а то закружится голова, ухнешь в пядь!» И все же тяготится этой узостью.

Среди партизан одна из самых приметных фигур — Васька Окорок — из приисковых. Буйный темперамент, неистощимая энергия, почти детская непосредственность и душевность составляют стержень его характера. «Ветрень»— называет его любовно Вершинин. Кудрявый, рыжий, похожий на подсолнечник, он словно сама стихия революции, радостная, солнечная, жизнелюбивая. Недаром писатели будут еще вглядываться в духовный облик человека такого типа, покоренные его восторженным отношением к революции, его увлеченностью и убежденностью. Появится Петька Голубь в пьесе Б. Ромашева «Федька-есаул», Василий Гулявин в повести Б. Лавренева «Ветер», Швандя в «Любови Яровой» К. Тренева. Сам Вс. Иванов вернется к этому образу через несколько лет в пьесе «Бронепоезд 14-69», добавив новые краски, но теперь, в 1922 году, писатель и в нем подсмотрел драматическую ноту. Не смог Васька Окорок вылежать на рельсах в ожидании смерти, хотя сам добровольно и сразу вызвался на подвиг. Это не трусость. Он воюет без оглядки, не щадя себя, и погибает, приняв грудью смерть во время атаки на бронепоезд. Но сознательно ждать смерть, в бездействии, он не способен. Этому противится его жизнелюбивая натура. Здесь ему надо что-то преодолеть в себе, и этого он еще не может. Мужикам понятно, как ему трудно. Никто его не осуждает, скорее ему сочувствуют. Но сам он терзается («У меня внутри неладно»). Его мучает чувство вины, усиленное жалостью к погибшему китайцу, который заменил его на рельсах.

Волна народного гнева вынудила Вершинина быть вожаком, распоряжаться человеческими жизнями. Он испытывает уверенность только тогда, когда действует так, как хочет избравшая его много-

тысячная мужицкая масса, говорит то, что думает она. Просто и понятно: «Не давай землю японсу-у!» Но далеко не всегда так определенна и понятна воля массы. Жизнь заставляет решать сложные задачи самостоятельно, без подсказки. Недаром в трудную минуту он признается: «Не то народ умом оскудел, не то я...» Добро свое рушить приходится, людей посылать на смерть. Он уверен, что жертвы будут оправданы завоеванной хорошей жизнью. Но нет-нет да и встревожит сомненье: «А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то открыть надо». Ему самому трудно разобраться в непривычном состоянии. И ощущение внутренней тревоги не покидает: «У меня душа пищит, как котенка на морозе бросили...»

Драматизм свойствен даже Пеклеванову, председателю подпольного ревкома, планирующему восстание. Образ Пеклеванова вызвал нарекания критики. Иванов и сам чувствовал, что не все сказал о человеке, который представляет большевистскую партию, ее руководящую роль в восстании. В пьесе «Бронепоезд 14-69» он значительно обогатил этот образ, поставил его в центр произведения. Но задача, которую Иванов решал в повести, несколько иная.

Внешне Пеклеванов, «этот маленький веснушчатый человек в черепаховых очках», истощенный, нездоровый на вид, мало похож на начальника. Знобову, по крайней мере, хотелось бы на его месте видеть другого —«здорового бритого человека и почему-то с лысиной во всю голову». По-видимому, такая фигура обладала бы большей представительностью. Ее Пеклеванову явно не хватает. Знобов назвал его человеком «предыдущим». Пеклеванов действительно не освоился еще с положением председателя, он краснеет, когда ему надо утверждать волю ревкома, преодолевать сопротивление перестраховщиков. Сам привыкнув рисковать жизнью в обстоятельствах подполья, он испытывает смущение, теряется, когда угадывает за поведением представителя Совета союзов трусость. Правда, к непривычности, неосвоенности своего нового положения сам Пеклеванов относится иронически, с юмором. Но это не снимает звучания драматической ноты.

Особое место в произведениях Иванова заняли люди, которые духовно, сознанием весьма далеки от событий времени. Киргиз Темербей, случайный очевидец расстрела казаками русских большевиков («Киргиз Темербей»), томящаяся в тоске по доброте и жалости Аксинья («Лога»), Трофим Михалыч, ищущий настоящих, нужных для жизни слов («Авдокея»), охотник Кузьма, алчущий чудес («Жаровня архангела Гавриила»), мужики и бабы, ищущие дороги к обетованной земле («Лоскутное озеро»). Критика начала двадцатых годов осуждала Иванова за внимание к так называемому «примитивному» человеку. А вот Горький высоко ценил это свойство ивановского таланта. Героя рассказа «Жаровня архангела Гавриила» он

назвал распространенным в России типом искателя незыблемой правды. «Люди этого типа,— писал Горький,— не умея своей волею творить правду, часто всю жизнь свою посвящают мечтам о ней, бродяжничают в поисках ее, ждут правды, как чуда, и порою, не встретив в жизни этой правды, в сущности, неясной им, становятся мизантропами, анархистами. Революция уничтожает человека, пассивно ожидающего счастья, заменяя его постепенно человеком, который пытается достичь счастливой жизни усилиями своей личной воли» [1].

Может быть, нигде так ярко не проявилась горьковская традиция у Иванова, как именно в этом пристальном разглядывании психики человека из народных низов, с его чудачествами, духовными потребностями и исканиями. За ними толща быта, складывавшегося многие десятки лет и, кажется, неподвижного, неповоротливого, как вековые земли и столетние кедры. Больше всего художника интересует момент душевного кризиса, когда человек прорывается, чаще всего мучительно, сквозь путы духовного оцепенения, неподвижности.

Для подобных героев события революции остаются где-то на заднем плане, как нечто далекое, неосвоенное, может быть, даже превратно понимаемое. Но все же именно эти события дают толчок внутреннему движению. Киргиз Темербей в одноименном рассказе становится очевидцем расстрела двух красных белыми казаками. До этого ему не было дела, что где-то воюют между собой русские. У него свои заботы. Но происшедшее на его глазах перевернуло его. Художник очень обстоятельно передает состояние человека, который сначала не понимает, что происходит, а затем делает страшное открытие: казаки готовят расстрел. С момента открытия до выстрела, который Темербей не только услышал, но и ощутил сильной болью в плече, и после, подле оставленной казаками могилы, он пребывает в состоянии непривычно сложном, остро переживаемом физически как страдание. В нем самому герою как следует не разобраться. Он только ясно понимает, что «у этой могилы он похоронил прежнего, давешнего, тихого, спокойного киргиза Темербея».

Критика того времени упрекала Иванова в том, что он застревает среди общественных сил, у которых якобы нет будущего и душевный мир которых не имеет данных для развития [2]. Но писатель распознавал «данные для развития» как раз там, где их труднее всего было увидеть, и таким образом раздвигал границы представлений о живых силах, которым революция открывает дорогу к будущему.

[1] «Литературное наследство», т. 70. М., Изд-во АН СССР, с. 562—563.

[2] П. С. Коган. Вс. Иванов. — В кн.: «Всеволод Иванов». М., «Никитинские субботники», 1927, с. 68.

В. И. Ленин, анализируя причины поражения Колчака и победы советской власти в условиях, когда «все, что могло бы парализовать революцию, все пришло на помощь Колчаку» [1], не раз возвращался к мысли, что Колчак потерял возможность черпать дальнейшие силы из резервуара трудящихся масс, а у нас был такой резервуар. «Только правительство рабочего класса может смело черпать, с абсолютной уверенностью в успехе, из среды трудящихся самых угнетенных, самых отсталых» [2].

Иванов, таким образом, открыл очень существенную грань революции, взяв на себя задачу исследовать вызванные ею сдвиги в психике «примитивного» человека.

В начале двадцатых годов широко бытовало представление, что новая литература, рожденная революционной современностью, отказалась от психологизма. И творчество Вс. Иванова той поры было одним из существенных доказательств этого. А. Воронский в своей известной статье «Вс. Иванов» хвалил его за «здоровую реакцию против ковыряки в душе шпибышевщины и андреевщины, заполнивших русскую литературу кануна революции» [3]. Но задача, которую Иванов решает, заставляет его сосредотачиваться на психологическом состоянии человека, искать способы его выявления, поскольку сами герои к самоанализу еще не способны.

«Самой интересной и большой фигурой» в творчестве Иванова начала двадцатых годов критика считала Калистрата Ефимыча из «Цветных ветров». Калистрат тоже «странник», искатель «праведной земли» и настоящей веры, которая должна стать опорой в жизни. За исканиями веры у него стоят вполне земные потребности. Это поиски ответа на вопрос, как жить, где его место на земле, в чем предназначенье, как быть полезным людям. Прежние странствия его были бесплодны. Но теперь, когда революция подступила к самым Талицам, начался новый этап поисков. Калистрат уходит «в восстанье», не переставая довольно долго чувствовать себя случайным и посторонним среди «восстанщиков». Иванов следит не столько за внешними перипетиями его судьбы, сколько за сложным процессом его внутреннего сближения с революцией, за «приливами» и «отливами».

Революция помогает Калистрату найти веру. Он возвращается на талицкую пашню, чтобы растить хлеб. Но для Калистрата в этой пашне новый жизненный смысл. Ведь она отвоевана, обильно полита кровью, освобождена от посягательств «Толчака» и его разноликих пособников. Трудно складывающемуся в войне союзу Калистрата с Никитиным, «питерским большаком», суждено развитие в мирное

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 241.
[2] Там же, с. 362.
[3] А. Воронский. Литературно-критические статьи. М., «Советский писатель», 1963, с. 152.

время. И хотя в этом почти символически воплощена новая историческая ситуация, Вс. Иванов заботится о психологической обоснованности взаимоотношений этих героев. Потребность спора все больше заменяется потребностью найти контакт и взаимопонимание.

Критика заметила, что творчество Иванова начала двадцатых годов несет на себе печать анекдота, парадокса. При этом многим казалось, что эти «странности» — результат незрелости писателя, какие-то непонятные издержки серьезного взгляда на жизнь. П. С. Коган возмущался: «...Вс. Иванов не знает, не хочет или не способен узнать, что... эти темные искания правды, что эти смутные представления о большевизме, как о новой вере, этот неестественный союз революции и суеверий, что все это обречено на умирание и будет рассеяно окончательно (сколько бы времени для этого ни понадобилось) той силой, которая играет руководящую роль в революции...» [1] Итак, зачем изображать то, что обречено, что должно умереть?

Иванов не торопил историю и не отвлекался от неразрешенных противоречий. Именно такие еще неразрешенные противоречия в общественном сознании, психологии, социальных навыках и обнажались анекдотичностью, парадоксальностью ситуаций в произведениях Иванова.

Решение мужиков в «Цветных ветрах», собирающихся восставать против колчаковцев, нанять себе в начальники «питерского большака», анекдотично. Но за этим стоит многое. В новой исторической ситуации действует старый опыт. Мужики знают, что если человека берут на службу, ему платят жалованье. Здесь сказывается темнота их сознания, да и туманность их представлений о большевиках. И в то же время здесь отразилась по-своему необходимость контакта крестьян с большевиками. Иванов не скрывает комического оттенка этой ситуации.

Соединение несоединимого, сосуществование взаимоисключающего, реальность неправдоподобного — все эти «странности» в ивановских произведениях двадцатых годов выполняют роль ключей, отворяющих двери, которые ведут в область неразрешенных противоречий.

Едва ли не самой «странной» является повесть «Возвращение Будды» (1923). Похожий на деревню, заснеженный, голодный, холодный Петроград первых послереволюционных месяцев. Причудливо странный особняк графов Строгановых, в котором новые хозяева. Таким кажется мир профессору, неожиданно оторванному от своей одинокой печки, от своих рукописей. Но люди, действующие в особняке, знают, что делают. Здесь решается судьба статуи Будды.

---

[1] П. С. Коган. Вс. Иванов. — В кн.: «Всеволод Иванов». М., «Никитинские субботники», 1927, с. 62.

В свое время она была вывезена из Монголии царским генералом, палачом монгольского народа, и проиграна в карты графу Строганову, теперь должна быть возвращена монголам «как музейная редкость, как национальное художественное сокровище». Участником этой «странной» экспедиции по возвращению Будды и становится профессор истории Сафонов.

Иванова снова интересует судьба человека, как бы против воли, по крайней мере сначала, втянутого в орбиту революции. Сафонов находился, по его собственным словам, «вне опьянения революционным экстазом» и был уверен, что нужно пересидеть трудное время в одиночестве, в заботах о себе, думать только о самосохранении. А вот оказался странником, обязанным двигаться по бесконечным пространствам России. Его прельстили не посулы Дава-Дорчжи, бывшего гыгена, настоятеля монастыря, надеявшегося с помощью Будды вернуть себе стада, отобранные большевиками.

Постепенно становится все очевиднее потребность соприкоснуться с жизнью, взбаламученной революцией, прорвать круг одиночества и отрешенности от реальной жизни, постичь, что происходит вокруг, почему бегут из теплушки монголы, осеняя себя пятиконечной красной звездой, почему так естественно чувствует себя в революционной стихии Анисимов, этот неправдоподобный и в то же время вполне реальный человек в кожаной куртке, вездесущий, всюду поспевающий, всепонимающий. Ему-то, кстати сказать, с самого начала было ясно, что есть высший смысл в поездке профессора и что он уже подчинился закону революции.

Многомесячное движение профессора Сафонова по России — это мучительное и в то же время желаемое сближение человека с правдой революции («Ах, этот поток жизни! Как он странен, непонятен и одновременно певуче нежен и кипуч!»). Конкретная цель путешествия не достигнута — Сафонов гибнет в песках.

Но гибель его возвеличена — рядом раненая медь расколотой груди Будды и над ним — молчаливое, запахами земли наполненное небо. Герой познал радость жизни, простой и ясной, как травы, как ветер, ощутил себя властелином земли, жизни. И золочено-медное изваяние Будды обретает величие потому, что оказывается соотнесенным с тем высоким, внеличным, что открыли Сафонову революционные бури.

С. Семенов, автор рассказа «Тиф», романа «Голод» и «Натальи Тарповой», нашумевших в середине двадцатых годов, находил в повести Вс. Иванова подтверждения тому, что в новой литературе возрождается психологизм [1].

---

[1] С. Семенов. Заметки о литературе. — «Литературная неделя», 1923, 4 февраля, № 1, с. 2.

Это замечание, относящееся к психологизму «Возвращения Будды», очень проницательно. Пристальный художественный анализ внутренних перемен, которые несет человеку его непосредственное соприкосновение с революцией, с ее живым, горячим, бегущим временем, является очень важным завоеванием писателя. Ему суждено было развиваться. Недаром сам Вс. Иванов протягивал нити от «Возвращения Будды» к циклу «Тайное тайных».

В конце 1922 года начал печататься роман «Голубые пески». Не все здесь удалось Иванову. Овладение большой формой было сопряжено с новыми трудностями организации жизненного материала. Горький справедливо считал роман растянутым и многословным. Но в то же время признавал, что он «дает очень яркую и широкую картину гражданской войны в Сибири», что книга «проникнута объективизмом истинного художника».

И жизненным материалом, и поэтическим строем, и сильным лирическим началом, и типом центрального героя «Голубые пески» близки предыдущим произведениям Иванова. Но это новый шаг в разработке партизанской темы. Роман шире, многограннее, многолюднее. События развертываются в сибирском уездном городе, в киргизских степях. Здесь не только рабочий люд, «корабельная вольница», чекисты, красноармейцы, но и казаки, белые офицеры, купцы, духовенство, мещане, вся уездная Русь на разломе.

И образ Василия Запуса раскрыт полнее, многограннее. Это воистину «романный» образ, взятый не только в сфере общественной жизни, но и с интимной стороны. Создание огневого времени, характер героический, он жизнелюбив, внутренне раскован, обладает большим личным обаянием, почти магнетической силой, легко покоряет женские сердца.

Менее всего Запус похож на идеальную схему. В его революционной биографии есть кризисные моменты. Он в большей степени стихийный социалист, романтик. В этом источник его слабостей и ошибок. О своих героях Иванов говорит: «...в меру совершили они зла и счастья себе и другим и в меру любовь им моя». Но Запусом он явно любуется. Широкая поэтическая натура Запуса противостоит людям, которые организуют мирную жизнь с помощью «диаграмм». Писатель не преуменьшает значения этих людей. Именно «диаграммы» Никитина указывают, куда дальше идти Запусу и его соратникам. Но без Запуса, умеющего воевать, болеющего сердцем за угнетенные народы Китая, Монголии, не обойтись. Он —«необходим и весел миру».

В 1926 году Иванов написал повесть «Бегствующий остров», герой которого также Василий Запус. Страсть к любовным приключениям привела Запуса в раскольничье поселение, прячущееся в таежной глубине. Ему удалось сманить из раскольничьего гнезда дочь

старицы Александры. И это положило начало разброду среди раскольников. Позднее, включая «Бегствующий остров» в «Голубые пески», Иванов значительно переработал весь роман, отнесясь к герою неизмеримо более критично. Однако, как нередко происходило у Иванова в процессе переработки произведения, он мог достичь некоторых удач в частностях, но произведение лишалось первоначальной целостности и единства. «Бегствующий остров» так и не сделался органичной частью романа, а нарочитое снижение образа Запуса при сохранении его легендарности не обрело художественной убедительности.

Тип народного героя, открытый Ивановым, получил развитие в советской литературе. Литературоведы справедливо сближают Василия Запуса с Василием Гулявиным Б. Лавренева, даже с Василием Чапаевым Дм. Фурманова. У каждого писателя были свои задачи, свои акценты. Но близость этих героев в их социальной сущности была лишним свидетельством типичности и жизненности увиденной Ивановым фигуры.

Трудно переоценить опыт Вс. Иванова по созданию широкого эпического повествования о революции и гражданской войне. Для самого писателя роман был своего рода итогом первого обращения к великой эпохе.

В 1924 году Вс. Иванов переехал в Москву. «Москва звала меня, и я как бы вцепился в этот зов» («История моих книг»). Здесь было больше возможностей печататься. Московская литературная молодежь тяготела к издательству «Круг», к его альманахам, к журналу «Красная новь», который тогда собирал писателей разных творческих направлений. Вс. Иванов вспоминал позднее «пьянящее чувство счастья», которое охватывало его от возможности видеть в лицо, встретиться «почти со всей молодой, но уже великой советской литературой!».

В середине двадцатых годов Иванов пишет по-прежнему очень много. Один за другим выходят сборники рассказов и повестей — «Экзотические рассказы» (1925), «Гафир и Мариам» (1926), «Пустыня Тууб-Коя» (1926), «Дыхание пустыни» (1927), «Тайное тайных» (1927). Он начинает работать для театра. В 1927 году в Московском Художественном театре был поставлен «Бронепоезд 14-69», в 1929 году — «Блокада». Горький советовал не писать года два-три больших вещей, вышколить себя на маленьких рассказах, укротить словоточивость. Иванов и стремился следовать этим советам, но преодолеть искушение писать большие вещи не смог. Именно с середины двадцатых годов началась упорная работа над романами, доставившая писателю наибольшие мучения. В 1925 году опубликован авантюрный роман «Иприт», написанный вместе с В. Шкловским. Его Иванов стыдился. Другие оставались незаконченными — «Северо-

сталь», «Казаки». В конце двадцатых годов был написан «Кремль», тоже не увидевший света. Замыслы роятся, теснятся, выталкивая друг друга, трансформируясь один в другой.

Если еще вчера все, что писал Иванов, как бы выливалось само собой, сегодня пишется иначе, трудно. Тревожные раздумья, неудовлетворенность сделанным, ощущение провала, даже уничтожение рукописей — такого раньше Иванов не знал. Совершенно очевидно — писатель на распутье.

Разноречивость, многоликость, внешняя пестрота — также свидетельство напряженных исканий. Это не удивительно. Иванов, как всякий настоящий писатель, должен был «поссориться с самим собой» (выражение А. М. Горького), чтобы идти дальше. Самоповторение не сулит побед.

Подобно своему герою, портному Фокину, которому надоело шить френчи и он, затосковав по «штатским» заказам, пустился путешествовать в поисках новых моделей («Чудесные похождения портного Фокина», 1924), Иванов тоже отправляется искать новые темы, сюжеты и образы. Они оказались под рукой. Их подсказывала современность. Отвоевав для себя право на новую жизнь, ивановские герои принялись ее строить. Повесть «Хабу» (1925), одно из самых ранних произведений советской литературы о созидании новой жизни, открывает цикл произведений Иванова на эту тему: «Садовник эмира Бухарского», «Каменные калачи», «Гафир и Мариам», вплоть до «Повестей бригадира Синицына», опубликованных уже в 1930 году. От «Хабу» идет юмористически-ироническая тональность в изображении новой жизни и людей, ее строящих. Лейзеров — внешне не героичен. Усмешка как раз и призвана снять налет внешней патетики с образа человека, для которого вся его деятельность, по сути своей героическая, является обыкновенным, естественным делом коммуниста.

Юмор сопровождает рассказ о любви и подвигах Гафира Аструллина, бывшего пастушонка, а теперь секретаря комсомола. Утверждение нового в жизни в его неброских, повседневных формах проявления — так воспринимается желание автора вести разговор с читателем в юмористическом ключе. К тому же писатель нередко ведет повествование от лица человека, который плохо понимает, что происходит вокруг, и логику новой жизни постигает через призму старых представлений. Таков садовник эмира Бухарского, в ком «осталась старая закваска», таков Авраам Кошевец («Гафир и Мариам»), бывший «медник и циник», ныне спекулянт, постоянно оглядывающийся на прошлое, хотя устроить жизнь по-прежнему ему так же трудно, как вскипятить самовар, наполненный вместо воды спиртом, ибо «непонятная, как в кипящем самоваре, жизнь». В свое время Горький настоятельно рекомендовал Иванову сократить «ли-

рический сумбур». Юмор пришел на смену лирико-патетической ноте, сильно звучавшей во многих произведениях начала двадцатых годов.

А рядом — цикл остро драматических рассказов, лучшие из которых представлены в сборнике «Тайное тайных». Рапповская критика без разбору отнеслась к этим произведениям резко отрицательно. Заговорили о «черном периоде» творчества писателя, об отходе с позиций «Партизанских повестей». Для самого Иванова этот цикл оставался любимым детищем, и он очень дорожил отзывом Горького, хотя и считал, что Горький, «воодушевленный, по своему обыкновению, перемахнул...». Прочитав рассказ «На покой», Горький писал Иванову 13 декабря 1926 года: «Разрешите поздравить: отлично стали Вы писать, сударь мой! Это не значит, что раньше Вы писали плохо, несомненно, что писали Вы хуже. Я не помню, чтоб кто-либо из литераторов моего поколения сделал такой шаг к настоящему мастерству, как это удалось сделать Вам от «Голубых песков» к Вашим последним рассказам».

Рассказы «Тайного тайных» явились естественным развитием предшествующего творчества. И только невнимательному читателю они могли показаться неожиданными.

В середине двадцатых годов советская проза не раз обращалась к судьбе человека, романтика революции, не принимающего нэпа, чувствующего себя неуютно в мирной жизни. Революционный максимализм вступал в острый конфликт с буднями «негероического» времени. Здесь лежали причины катастрофы героев А. Толстого («Голубые города» и «Гадюка»), здесь находил оправдание некоторым безрассудным поступкам своего Василия Гулявина Б. Лавренев. Иванов, который еще в «Голубых песках» задавал вопрос — «плод ли созревший люди?», ищет причины катастрофы в самом человеке, в его духовной слабости, нестойкости, в отсталости его сознания.

Еще в «Хабу» Иванов вывел героя типа Васьки Запуса. В Егоре Кушнаренко, крестьянине из Златоустинского уезда, прошедшем гражданскую войну, бывшем комиссаре, есть та же удаль, та же полнота жизненных ощущений, физическая мощь, душевная широта. Недаром Лейзеров любит Егора, любит «эту внешнюю, большую и живую силу». Только кажется ему, что на сердце у Егора «нерассветный и... певучий мрак». И Иванов прежде всего фиксирует внимание на тех моментах жизни Егора, когда он не выдерживает испытаний, оказывается сломленным духовно и физически. Прежде в людях этого типа Иванов видел резерв революции. Стихийность их эмоционального протеста находила естественный выход в революционном порыве, революционном действии. Судьба этих героев в условиях сложной и противоречивой переходной эпохи катастрофична.

Они оказываются беспомощными. У них нет твердого нравственного стержня, который был бы способен противостоять хаосу эмоций, иррациональной стихии чувствований.

Впрочем, в рассказах «Плодородие», «Ночь», «Жизнь Смокотинина», «На покой», «Полынья» люди разного возраста, разных биографий. И сближает их лишь присутствие в каждом внутренней драмы. Писатель ищет ей объяснения, не скрывая ни дурного, ни хорошего в своих героях. Немалое место здесь занимает изображение подсознательной сферы жизни человека. Критика видела в этом влияние фрейдизма и бергсонианства и усматривала в торжестве власти иррациональных, биологических начал над человеком выражение общего взгляда Иванова на мир. Позже Иванов признавался, что в этот период не имел ни малейшего понятия ни о фрейдизме, ни о бергсонианстве. Может быть, так оно и было, хотя в середине двадцатых годов, когда на русском языке выходила одна работа З. Фрейда за другой и на страницах литературных журналов вокруг них возникали споры, в том числе и на страницах «Красной Нови», с которой Иванов был связан, полная изоляция писателя от этой атмосферы интереса к Фрейду вряд ли была возможна. Впрочем, у Иванова не было случая, чтобы он дал себя увлечь в творчестве каким-либо «модным» теориям. Чуждым по существу своему должен был оставаться для него и фрейдизм, если судить как раз по рассказам «Тайного тайных».

Правда, в некоторых ивановских произведениях, примыкающих к этому циклу, внимание к чувственности кажется чрезмерным. В «Блаженном Ананнии», в рассказе «Петел» жизнь человека предстает необыкновенно сложной именно потому, что перегружена плохоуправляемыми инстинктами. Иванов явно стремится понять, какое место они должны занять в человеческой жизни — отбросить их вовсе — невозможно, дать им волю — значит, уподобить человека зверю, счесть их греховными — значит, открыть дорогу фальши, фарисейству. Такая задача оправдана, но писателю порой не хватает художественного такта, и двери распахиваются для натуралистических излишеств. Рассказы цикла «Тайное тайных» выверены с большей тщательностью. В них не было ни пансексуализма, ни гиперболизации бессознательного, ни изоляции этой области от общественной жизни, то есть всего того, что должно было бы появиться у писателя, задетого фрейдизмом.

Иванов обычно очень тщательно воссоздает социально-бытовые обстоятельства, без которых невозможно объяснить драму. Большинство героев Иванова связано с деревней, может быть, прежде всего потому, что здесь обнаженнее выступают пережитки старых собственнических отношений, отсталость сознания. Страшный конец Мартына в «Плодородии» нельзя понять вне его конфликта с миром

кержаков-собственников, с их спокойной сытостью, с их традиционным недоверием к городу, хотя там теперь советская власть. Драма Афоньки («Ночь») начинается тогда, когда отец приказывает ему идти в зятья к мельнику на место умершего брата, ибо нельзя же допустить, чтобы тройка лошадей и деньги, так тяжело доставшиеся Филиппу, внесенные им на свадьбу, пропали только потому, что в первую же ночь после свадьбы Филипп умер. Афонька чувствует, что Глафира не сможет его полюбить, да уйти ей некуда, и с горечью думает, что сам покорится отцовской воле, «будет виться голодным псом» подле Глафиры всю свою жизнь. Все, что происходит с Афонькой, рождено для него мутным ощущением какой-то всеобщей, разлитой вокруг несправедливости, усугубить которую обречен Афонька своей нелепой женитьбой. И поминки, на которых жалели Филиппа, считая, что он жертва войны, тогда как он жертва жадности своего тестя, и родительские надежды на Афоньку, и пренебрежение чувствами Глафиры, и неискренность парней, которым нужен только повод для выпивки, и хитрость шинкарки, и лживость старухи нищей, спекулирующей на людской жалости,— все стянулось в один узел. Распутать его Афонька не может, поэтому прибегает к единственно возможному для него способу — к силе своего кулака. Справедливое чувство протеста против лжи и жадности приобретает и здесь, как в «Плодородии», изуверские формы. Это горькая расплата за беспомощность человека перед сложностью жизни, сложностью отношений с миром, сложностью своей собственной души.

Иванов дает новое направление искусству психологического анализа. В область художественного исследования здесь попадает подсознание, его загадки. Неясные, едва уловимые, томящие своей неопределенностью неосознанные чувствования не терпят определенности обозначений. Тончайшее психологическое письмо Вс. Иванова подсказывает особые, косвенные способы их передачи. Мир, окружающий героя, становится своеобразным экраном, на котором отражается его душевная невнятица. Это тем более важно, что сами ивановские герои готовы превратно истолковать свое самочувствие, то словно веселея от кажущегося облегчения, то снова испытывая тяжесть непривычной сложности.

Иванов пишет о тех трудностях, с которыми встречается общество, поставившее цель — создать нового человека. Помогать его рождению для Иванова и означало писать о том, что в самом человеке мешало освобождаться от груза старых привычек, инстинктов, предрассудков. В то же самое время у Иванова появляются герои с более развитым сознанием, которым удается выйти из кризиса, преодолеть внутренний разлад. Это комиссар Артем Аладьин («Блокада»), начальник политического отдела Железной дивизии Ипполит Плешко

(«Гибель Железной»). Критика в те годы отвергла образ большевика с гамлетовскими чертами. Зачем, писал сатирик,

«партийца храброго он не щадя чернил,
в интеллигента-плаксу превратил...» [1]

Повесть «Гибель Железной» не стала творческой победой Иванова. На ней лежит печать рассудочности, сказывается, что таких, как Плешко, Иванов знает гораздо хуже, чем человека из народных низов. И усложненность психологии Плешко выглядит нарочитой. Но задача, которую решал Иванов, заслуживала поддержки. Однозначность, однолинейность фигуры коммуниста не могла удовлетворить писателя. Ему было важно показать не то, что люди этого типа свободны от обычных человеческих слабостей, а то, что они способны их преодолевать, что в них есть духовная и нравственная опора, она-то и помогает им оставаться несгибаемыми, стойкими, верными революционному долгу.

Именно в это время у Иванова возникает интерес к проблеме воли. Она прямым образом была связана у него с представлением о процессе рождения нового человека. Человечные обстоятельства социалистического общества не снимают с самого человека обязанности лепить в себе новую личность, не отменяют сознательных усилий бороться в самом себе с наследием «ветхого Адама», чтобы органично врасти в новый мир, строить взаимоотношения с людьми на новых, здоровых основах. Эту проблему Иванов ставит в романе «Кремль», над которым работает в конце двадцатых годов. Она будет волновать его и в тридцатые годы.

На рубеже двадцатых — тридцатых годов Иванов оттачивает свое искусство психологического анализа на рассказах о людях, которые испытывают непреодолимую потребность рассчитаться со своим прошлым в самом себе, войти «в молодой и широкий мир» («Кожевенный заводчик М. Д. Лобанов», «Б. М. Маников и его работник Гриша»), и о тех, кто пытается приспособиться к новому строю, выработать выгодную тактику отношений с новой властью («Особняк»). Вслед за М. Горьким и Л. Леоновым, которые подчеркивали трудности борьбы с мещанином, прошедшим «закалку» революционного времени, Иванов не скрывает жизненной цепкости мещанина, опасности его временного торжества.

Эти рассказы вместе с циклом «Тайное тайных» находятся в русле исканий советской литературы второй половины двадцатых годов. Литература той поры упорно стремится углубить свои представления о человеке, преодолеть некоторый рационализм, который прежде давал знать о себе в подходе к человеку. Неудовлетворен-

[1] «На литературном посту», 1928, № 20—21, с. 135.

ность «революционным геометризмом» рождала потребность понять человека во всей его сложности и противоречивости. Программу «живого человека» провозгласили и теоретики РАПП, объявив некоторые произведения советской литературы (романы Л. Леонова «Вор», С. Семенова «Наталья Тарпова», Ю. Либединского «Рождение героя») ее «реализацией». Но как это часто происходило с рапповскими теориями, будучи связаны с реальными потребностями литературы, они в то же время превращались в догму, диктовали писателю железные, узкие рамки. В формулу «живого человека» не включались ни произведения Иванова, ни «Провинциальные истории» Л. Леонова, ни рассказы А. Толстого с интересом к подсознательному в человеке. Теперь по прошествии почти полувека яснее видно значение того, что делал автор «Тайного тайных». При всех очевидных издержках эта линия его творчества была плодотворной, новаторской, обогащала советскую литературу важным эстетическим опытом. Речь должна идти о разных гранях одного развивающегося, двигающегося вперед художника.

Но что для писателя дальше станет главным? Ответить на этот вопрос затруднился бы сам Иванов, как не смог бы и сказать, какой художественной манере он в дальнейшем отдаст предпочтение: буйной живописи, свойственной «Пустыне Тууб-Коя», или сдержанно-лаконичному психологическому письму «Ночи», «Жизни Смокотинина», ироническому сказу «Чудесных похождений портного Фокина», или зашифрованной символике, причудливой фантастике рассказа «Барабанщики и фокусник Матцуками».

К исходу двадцатых годов писатель сумел обогатить свою художественную палитру, но подошел к новому перекрестку. Выбор дальнейшей дороги шел под знаком боязни художественного однообразия.

С рассуждениями о литературе Иванов в это время выступает нечасто. Но всякий раз он озабочен тем, чтобы за писателем было признано право размежеваться и объединиться по художественному направлению. В ту пору уже ясно определилась потребность объединения писательских сил, преодоления групповщины, сектантства. Иванов сочувствует этому, но упорно высказывается за необходимость существования творческих объединений по принципу «художественных школ» [1]. Забота о сохранении права на разные «художественные школы» диктовалась реальными обстоятельствами литературной жизни. Недаром о просторе для художественного многообразия в рамках того нового реализма, который вскоре стали называть социалистическим, думали многие. И в 1932 году Луначарский

---

[1] «Писатели о толстых журналах». — «На литературном посту», 1928, № 20—21, с. 93; Из выступления Вс. Иванова по поводу декларации Всероссийского союза советских писателей. — «Литературная газета», 1929, 23 декабря.

говорил: «Мы должны предоставить в отношении стилистических исканий нашим драматургам (и писателям вообще) величайшую свободу и из их исканий, из их удач и неудач выводить потом нормы основных стилей нашего социалистического художественного творчества» [1].

Победа конкретно-реалистического направления в советской литературе на исходе двадцатых к началу тридцатых годов была замечательным ее достижением. Однако в практике искусства начала преобладать линия, ставящая знак равенства между художественной правдой и жизнеподобием. И критика, поддерживая ее как главную, определяющую, ставила под сомнение инакомыслящих.

В рамки этого «жизнеподобного» реализма Иванову трудно уложиться. Писатель начинает ощущать потребность искать «свой» реализм, но сознание права на него приходит к Иванову далеко не сразу.

В тридцатые годы писатель захвачен общим процессом сближения литературы с социалистическим строительством. Еще в 1925 году он ездил к нефтяникам Баку и восторженно писал Горькому о людях, встреченных им на строительстве нового нефтяного городка («...Я уехал оттуда необычайно бодрым»). В конце двадцатых годов он снова посетил Закавказье. В 1930 году весной в составе бригады писателей вместе с Л. Леоновым, П. Павленко, Н. Тихоновым, В. Луговским совершил поездку по Туркмении. Видел «удивительнейшие и приятнейшие вещи», признавался он Горькому. «Какой народ! Какие герои!.. в эти два месяца я увидал, что не удавалось мне увидать во все последние пять лет — и увидел хорошее и не показное, а, так сказать, корни хорошего, настоящего и важного». Возможность увидеть «настоящее дело», лично прикоснуться к общему процессу переделки мира, непосредственно приобщиться к строительству нового общества сыграла свою положительную роль. Написанные под впечатлением от этих поездок «Путешествие в страну, которой еще нет» и «Повести бригадира М. Н. Синицына, рассказанные им в дни первой пятилетки», естественно и органично вошли в «общий поток» произведений советской литературы того времени о социалистическом строительстве.

В основе «Путешествия» — довольно замысловатая детективная фабула с тайнами и убийствами. Инженеру-нефтянику Павликову приходится выведывать «тайну» долины Тба, которая богата нефтью, но пока скрывает от людей богатства своих недр. Он преисполнен высокого долга служить социалистическому государству, по-хозяйски участвовать в переделке жизни, создавать своим трудом страну, которой еще нет, но которая обязательно будет.

---

[1] «Литературный критик», 1933, № 1, с. 54.

Павликов — человек особой породы, в нем есть черты исключительности. Обыкновенным людям, снисходительным к собственным мелким слабостям, с ним трудно и неуютно. Образ Синицына в «Повестях бригадира М. Н. Синицына...» проще, человечнее. Для Иванова эта фигура, по-видимому, имела большое значение, так как она в тридцатые годы встречается и в других его произведениях — пьесе «Компромисс Наиб-Хана», в неопубликованном романе «У». Энтузиаст, убежденный строитель нового, человек реального дела, трезвой мысли Синицын нарисован в «Повестях...» с легким оттенком комизма. Комичен прежде всего его язык — книжный, плакатный, тяжеловесный, несколько прямолинейный. Синицын хочет быть «на должном уровне культуры», но для него, малообразованного человека, еще непривычен язык, который, с его точки зрения, должен быть у образованного, и пользуется он им еще неловко. При всем том Синицын наделен привлекательнейшими чертами. У него ненасытная жадность к знаниям, неистощимое любопытство к людям, к окружающему миру, когда все хочется самому пощупать, увидеть, услышать, во все самому вмешаться. И, главное, он действительный хозяин жизни, сумевший разгадать жулика и демагога высшей марки Харитона Матвеевича Корнеплодова. «Повести...» вместили довольно пеструю галерею людей, судьбы которых связаны с коренными переменами в жизни Туркмении.

Но преувеличивать значение этих повестей не следует. Это все же скорее лишь разбег для взятия главной высоты.

Главная работа тридцатых годов — это «Похождения факира». Роман не был завершен, из пяти задуманных частей написаны три, напечатанные в 1934 и 1935 годах.

Многое в герое «Похождений факира» подсказано жизненной судьбой Иванова. 26 марта 1933 года Иванов писал Горькому: «Очень хочется сказать о себе правду. Удается это с трудом — нет-нет да и закруглишь ее — эту правду — какой-нибудь выдуманной чепухой». В то же время «выдуманность» входила в задание: «Фантастичность и вместе с тем — реальность — и я сам герой, чтоб придать наибольшую реальность, даже имя сохранил, а я бы мог взять, скажем, Петр или Дмитрий». Это из записей Иванова к «Истории моих книг» — осмысление того, к чему в «Похождениях» он стремился. Автобиографическое начало нужно, чтобы оттолкнуться, а задача — «изобразить жизнь юноши века с его страданиями, радостями и надеждами в обстановке провинциального быта Сибири и Казахстана» («История моих книг»).

Прихотливый путь главного героя, брошенного в самую пучину житейского моря, позволяет пройти по мещанской Руси, увидеть, как она торгует хлебом и чванится стадами, молится и пьянствует, ремесленничает и забавляется, ворует и обманывает, богатеет и разо-

ряется. Бытовые зарисовки поражают точностью и живописной красочностью наблюдений. На сельской ярмарке «Сияли голубой глазурью горшки среди соломы — желтой, хрустящей, наполненной морозом. Визжали глиняные петушки. Ситцы были, как кусок неба. Над балаганами, словно вздыбленные кони, стояли сугробы». В бытописи нередко собирательный психологический портрет определенной социальной среды. Петропавловская толкучка — это толкучка города равнодушных. «Никто ничего не покупал! Торговаться им скучно. Люди действительно толкались среди деревянных балаганов на пыльной и солнечной улице, но толкаться им было совершенно незачем». А мокроусовская ярмарка, как и мокроусовские жители, «сполна набиты и снабжены, как боярышник шипами, подозрительностью. Они маклачили, торговали, покупали, воровали и ни на одну минуту не доверяли друг другу». На фоне этих зарисовок — целые хороводы самобытных человеческих фигур, представляющих провинциальную мещанскую Русь во всей ее пестроте и характерности. Щедрость художника здесь поистине неистощима. Один из «столпов» Павлодара, «отменно ленивого города», дядя, Василий Ефимович Петров, из пермских мужиков, отличавшийся чрезвычайной подвижностью, брал любые заказы на постройку церквей, домов и строил их быстрее всех, но так, что церкви у него получались кособокими и с кривыми окнами. О них так и говорили: «А, это Петров строил». Его жена, тетка Фиоза, которую он привез в город, «купила громадную кровать, пуховик из лебяжьего пуха, прошлась два раза по городу. Город ей не понравился, а переезжать в другой она не хотела. Она и легла в постель... Я впервые видел такую широкую алую постель и такую раскрашенную толстую женщину».

Другой дядя, Кузьма Македонов, приказчик купчихи Лыкошиной, поражает своим ловким умением воровать у своей хозяйки и не быть пойманным. А вот Федору Малых еще не удалось ничего украсть. Но душу его съедает мысль: «Вот кабы украсть!» Кажется, он не живет, а примеривается к будущей краже, которая должна обогатить его на всю жизнь.

Иногда возникают фигуры настоящих тузов, вроде Саввы Устиновича Троегубова, главного акционера многих чугуноплавильных и железоделательных заводов. Для поддержки славы он привез в Екатеринбург своих заказчиков, в их честь в «Золотом роге» происходит камчуга — на шантанном языке,— многодневный кутеж.

Люди, с которыми героя сводит жизнь, обращены к читателю обычно какой-то одной стороной. Прежде всего это «идея», свой «способ» сопротивления среде, безжалостно обезличивающей человека, властно требующей приспособления. «Идея» целой семьи — тщеславность. Дед героя с материнской стороны выдавал себя за ссыльного из польских конфедератов ста семнадцати лет от роду.

Его жена «неустанно желала быть святой подвижницей. Отец, Вячеслав Алексеевич, должен был «проблистать и переблистать» и бабку, и всю родню. Он выучил арабский язык, пешком ходил в Москву сдавать экзамен на студента Лазаревского института, ходил в Одессу, оттуда попал даже в Иерусалим, одновременно не переставал думать о коммерции, об учреждении банка, хотя оставался учителем трех десятков учеников. Мечтатели, одержимые тщеславием, выглядят чудаками в обыденности. Они выдумывают себя, выдумывают знатную, необыкновенную родню, подвиги, которых не совершали, и верят своей выдумке. Это своеобразная форма самоутверждения, средство выпасть из обыденности. Способы оказываются иллюзорными, так как форма сопротивления пассивна. Но брожение в жизненной квашне не прекращается. Эти чудаки и мечтатели самим фактом своего существования придают оттенок сомнительности тем нормам, по которым живет среда. Галерея таких героев множится, растет на протяжении романа.

Выдумывает себя и главный герой. Жизнь юноши подчинена двум противоположным стихиям. Одна — тяжелая реальность, необходимость самостоятельно искать дорогу в жестоком мире, который заявляет о себе то самосудом над конокрадом, то нелепой неукоснительностью традиций, то равнодушием к людским страданиям, бесчеловечными социальными порядками, гнетом и неравноправием. Герой чувствует себя в жизни, как в бочке, куда залез на пароходе, отправляясь «зайцем» в Омск. Ее ставили вертикально, ее катили, а на героя сыпались шишки и синяки, и он вообще «потерял сознание сторон».

Вторая стихия — стихия вымысла. В мир фантазии, преображающей жизнь, герой начал переселяться очень рано. У него тоже есть «идея». Это — Индия, не только экзотическая страна, страна чудес, но страна дервишей и факиров, где можно пройти школу воли и храбрости.

Жизненная дорога, по которой идет герой, то приближает к Индии, то отдаляет от нее. Но «идея» Индии не оставляет его, поскольку он не хочет покориться обыденности.

Искатель «волшебной библиотеки», пленник романтической и приключенческой литературы, книг об йогах, факиризме, черной магии, герой идет ощупью к верной дороге. Но его духовный багаж делает его в войну 1914 года не подвластным барабанным речам и призывам совершать подвиги во славу родины, не согласным «со всей Российской империей, со всеми ее генералами, швейцарами, пушками, содержателями ресторанов, епископами, бандаршами и даже с государственной думой!». Конфликт героя с жестоким миром вошел в новую фазу.

Герой никогда не замыкается в кругу одиночества. Душа его жаждет контактов, ищет поддержки. И на его жизненном пути появ-

ляются (уже не исчезая до конца романа) единомышленники, союзники, которые так или иначе приняли «идею» Индии и, таким образом, с разной степенью успеха стремятся противостоять среде.

Спутники героя — живые характеры, у каждого своя неповторимая биография, но в романе у них особая роль. Они как бы довыявляют важные грани центрального образа, обнажают драматизм выламывания человека из среды, его породившей.

«Похождения факира» не были уходом от современности. И дело не только в том, что Иванов заставлял почувствовать контраст между прошлым и настоящим, ту громадную историческую дистанцию, которую пробежала страна за какие-нибудь два десятка лет. В литературе тридцатых годов проблема воспитания человека становится остроактуальной. Речь шла о важнейших факторах, определявших становление личности. «Похождения факира» тоже воспринимаются как «воспитательный» роман. Личность главного героя складывается под перекрестным влиянием самых разнообразных обстоятельств, но взят случай, когда жизнь, «бестолковая, малознающая», как бы затягивает процесс блужданий человека. Велико было значение книг, которые показывали, как жизнь сама подводит к выбору революционной дороги. Судьбы героев Н. Островского служат великолепным примером закономерного выхода человека на путь революционной борьбы под воздействием всех жизненных обстоятельств. У Иванова «воспитательная» тема приобретает несколько другой поворот. Жизнь словно нарочно уводит героя от революционной дороги. Взята особо трудная судьба человека, которому жизнь не подсказывает готового решения. Это оправдано не только неисчерпаемостью реальной действительности, которая открывает разным художникам разные грани, но и «воспитательным» заданием, подсказанным современностью. Мы видели уже, что Иванов не мыслит выработку новой личности без субъективных усилий самой человеческой личности, без активного «самостроения». Крупный план изображения «факира», «замедленная съемка в «Похождениях» призваны передать именно эту сторону процесса становления человека. Роман проникнут глубоким беспокойством писателя по поводу опасности упрощенных представлений об этом процессе.

«Похождения факира»— не нравоописательный роман, и реализм его — не бытовой реализм. Бытовые детали и подробности часто многозначительны, ибо намагничены символикой. Особый неповторимый смысл обретают здесь многие понятия, становясь философским и психологическим лейтмотивом книги. Например, «тщеславность». «Вся моя семья отличалась удивительнейшей тщеславиостью»,— с этой фразы начинается роман. Эта «идея» целой семьи, целых городов, определяющая сложную систему взаимоотношений человека с обществом, Такой же глубокий философский смысл имеет «идея»

Индии. Условный характер имеют географические названия. Они нередко используются для обозначения социально-психологических явлений, за ними разные умонастроения. Павлодар — «отменно ленивый город», «Петропавловск — город равнодушных, где «ни волшебства, ни куплетов быть не может». А в Лебяжьем легенды и выдумки на каждом шагу, и тщеславие имеет массовость.

С развитием повествования все отчетливее выявляется условность автобиографизма, он неприкрыто становится литературным приемом, сопрягающим с реальностью щедрый художественный вымысел.

Горький высоко оценил новое произведение Вс. Иванова. Прочитав первую книгу, он писал: «Дорогой и замечательный Сиволод»— «Похождения факира» прочитал жадно, точно ласкал любимую после долгой разлуки. Вот,— не преувеличиваю! Какая прекрасная, глубокая искренность горит и звучит на каждой странице, и какая душевная бодрость, ясность. Именно так и должен наш писатель беседовать с читателем и вот именно такие беседы о воспитательном значении «трудной жизни», такое умение рассказать о ней, усмехаясь победительно,— нужно и высоко ценно для людей нашей страны» [1]. В третьей части Горького «раздражало многословие, охлаждали длинноты». Он предлагал отметить в тексте все, что ему кажется лишним, даже отредактировать книгу, считая, что в ней «много ценного, забавного» [2]. Иванов предвидел «охлаждение» Горького к продолжению «Факира», сам чувствовал, что перегрузил книгу материалом. Ему импонировали сокращения, которые делал переводчик книги на английский язык, и он собирался еще вернуться к ней. Такая необходимость возникла двадцать лет спустя, когда Иванов стал готовить роман для восьмитомного собрания сочинений. Доводя теперь повествование до 1917 года, Иванов фактически переписал роман заново. Но достижением писателя это признать трудно. Роман выиграл в композиционном отношении, исчезли явные длинноты. Но преобразование центральной линии романа не пошло ему на пользу. Автор занял позицию строгого судьи, придирчиво оценивающего и откровенно осмеивающего каждый неловкий шаг своего героя, свысока, с излишней умудренностью глядя на его мальчишеские и юношеские умонастроения. Повествование лишилось той «прекрасной, глубокой искренности», которую ценил Горький. Из книги, в сущности, ушла серьезность жизненной драмы героя с донкихотским складом характера, а вместе с ней исчезла и та грань судьбы, которая предвосхищала в молодом человеке-романтике будущего художника.

Очевидно, учитывая замечания некоторых критиков, которым

[1] Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким, с. 70.
[2] Там же, с. 83.

в романе не доставало фигуры рабочего-революционера[1], Иванов ввел линию Марфы Шаманиной, передовой работницы, которая приобщает героя к азбуке классовой борьбы. Однако за несколько лет до создания новой редакции «Похождений» Иванов написал роман «Мы идем в Индию» (1956) на том же жизненном материале, с тем же автобиографическим героем. Только здесь с самого начала центр тяжести с судьбы героя переместился на изображение социального движения в Сибири и Казахстане в начале XX века, неизмеримо выросло значение картин социального угнетения, усложненного национальным неравенством. В неизвестных Иванову ранее масштабах показана социальная и общественная практика буржуазного дельца, в котором ярко переплетаются общие, «классовые», черты с сугубо своеобразными, местными приметами. Иванову удалось показать здесь пестроту и многообразие идеологических исканий провинциальной интеллигенции, идейные столкновения на периферии духовной жизни и воистину страдные пути, которыми приходится идти первым в этих местах марксистам. Вот почему внесенные в «Похождения» мотивы, связанные с социально-политической борьбой, сами по себе законные, воспринимаются все же как перепевы романа «Мы идем в Индию». Таким образом, роман «Похождения факира» должен существовать как роман тридцатых годов, таким, каким его читал Горький.

У Иванова есть рассказы, которые примыкают к «Похождениям» и даже до некоторой степени их предвосхищают («Когда я был факиром», «Последнее выступление факира»). Критика, находившая в них блеск писательского мастерства, тем не менее склонна была считать их нетипичными[2]. Считать нетипичным роман «Похождения факира», одну из главных работ писателя в тридцатые годы, было значительно труднее. Но, продолжая упрекать писателя в формалистических прегрешениях, придирчиво подмечая усложненность «Похождений факира», критика не смогла распознать смысл того поворота, который происходил в творчестве Иванова.

В 1931—1932 годах появились отрывки из философско-сатирического романа «У», над которым Иванов работает почти одновременно с «Похождениями факира»[3]. Хотя внешне эти два романа непохожи

[1] Об этом писал, например, Ю. Добранов («Новый роман Вс. Иванова». — «Книга и пролетарская революция», 1935, № 3).

[2] В этом отношении весьма примечателен газетный отчет о выступлении Иванова на литературном вечере в Ашхабаде в апреле 1930 года. Приведен в воспоминаниях Т. В. Ивановой «Вс. Иванов — писатель и человек», с. 298.

[3] «Л. Л. Черпаковский на заводе» («Красная Нива», 1931, № 33), «Разговор между спекулянтом и секретарем большого человека» («Литературная газета», 1932, 17 ноября). «Вс. Иванов — писатель и человек», с. 22.

друг на друга, между ними есть родство. Фантастические парадоксы жизни, в которых «Похождения» отражают противоречия «окуровской» России, дают начало тем фантасмагориям обывательщины, мира «бывших», которые неумолимо свидетельствуют об обреченности старого социально-бытового уклада жизни в новом обществе.

В романе «У» есть и большой светлый мир, в котором будущее строят энтузиасты, мечтатели и в то же время трезвые, деловитые люди. Присутствие этой настоящей жизни и позволяет Иванову рисовать обывательский мир призрачным, фантастически неправдоподобным.

Роман был вехой на пути Иванова к «своему» реализму. Но сомнения в оправданности найденных форм не покидают его.

Вот почему в те годы писатель искренне самокритичен, готов признать справедливыми упреки в формализме, готов считать сделанное ошибочным.

Иванов не перестает думать о понятности и доступности, памятуя, что «читатель постоянно на страже писательской ясности слова, то есть самого замечательного, чего мы способны достичь в нашем деле» («Положение писателя в СССР»).

Иванов никогда не был писателем для избранных. Без умения находить контакт с самым широким читателем работа художника бессмысленна. В одной из автобиографий, размышляя над тем, почему рядом у него появляются очень разные произведения, Вс. Иванов ставит перед собой вопрос: «Что это — поиски формы?» И отвечает: «Только отчасти. Мне кажется — поиски демократизма, то есть поиски того, чтобы возможно проще говорить с народом. Дело в том, что говорить-то хотелось». Упорство, с которым Иванов искал «свой» реализм, не противоречило его желанию быть понятым, а выходило так, будто одно исключает другое.

В. И. Немировичу-Данченко очень нравилась пьеса «Вдохновение», где современность фантастически сопрягается с прошлым. Но идея постановки пьесы в МХАТе встретила внутри театра сильное сопротивление, пьеса оставалась непонятой. И тот же Немирович-Данченко объяснял это таким сплетением действительного и фантасмагорического у Иванова, что, как он выразился, «нам, заядлым реалистам, никак не сорганизовать все авторские образы и представления в гармоническое стройное» [1]. «Заядлым реалистам» было еще трудно установить эстетическое взаимопонимание с реалистами «фантастическими». Оно пришло значительно позже. Приходится ли удивляться тому, что в атмосфере тридцатых годов Иванова не оставляли сомнения в праве на свой реализм, и он нередко сходил с этой своей колеи и в эти, и в последующие годы.

---

[1] «Ежегодник Московского Художественного театра, 1948», т. I. М., 1950, с. 434.

Ивановская книга о Пархоменко была воспринята критикой как победа писателя, хорошо усвоившего преподанные ему уроки. Роман, пьеса, а потом и фильм — все приметы успеха.

Писатель был искренне увлечен образом легендарного полководца, самоотверженного коммуниста. Сначала он собирался писать небольшой очерк. По мере того как изучал книги и журналы по гражданской войне на Украине, знакомился с материалами о жизни и боевой деятельности Александра Яковлевича Пархоменко, слушал рассказы его старшего брата, жены, сыновей, убеждался, что все в очерк не уложится. Возникла идея романа, поскольку Иванов «наткнулся именно на того героя, по которому давно тосковал» («История моих книг»).

К. Е. Ворошилов сказал о Пархоменко: «Жизнь его была прекрасной сказкой, символом величия пролетарского духа». Для Иванова эти слова стали ключевыми. В образе Пархоменко он сумел высветить богатырскую стать легендарного героя, былинность и легендарность которого — это реальность человеческой судьбы.

Иванов последовательно проследил богатый событиями жизненный путь Пархоменко, начиная с луганской демонстрации, с выступления против помещиков в октябре 1905 года и кончая последним боем с махновцами, в котором погиб герой. Некоторые критики даже упрекали Иванова в том, что он принял «последовательную биографичность композиции». Но то, что Иванов сознательно подчинился логике реальной биографии, было его силой, а не слабостью. Скрупулезно собирая все подлинные факты, писатель не считал себя вправе фантазировать. Даже «удачливость» Пархоменко — не плод вымысла. Ему, как сказочному герою, действительно удавались самые дерзкие дела, в которых проявлялась удаль и отвага, находчивость и способность быстро принимать ответственные решения, умный расчет и знание обстоятельств, людей и, конечно, безграничная преданность делу Ленина, партии, умение реально чувствовать и использовать народную поддержку.

Но широкий исторический фон, который занимает в книге большое место, иллюстративен. Своего поэтического ключа к нему не найдено. Иллюстративен и лагерь контрреволюции, хотя он представлен вымышленными героями. Вот почему романом в строгом смысле слова «Пархоменко» признать нельзя. Популярность книги, а затем и фильма вызвана образом главного героя. Долг историка-биографа Иванов выполнил честно и добросовестно и мог гордиться этим.

Но «Пархоменко» не нес в себе разрешения тех сомнений, которые сопровождали Иванова в его художественных исканиях.

В 1936 году торжественно отпраздновали двадцатилетие литературной деятельности Иванова. У самого писателя не было настроения торжествовать, гораздо больше желания и готовности пере-

трясти очередную книгу «от одного корешка к другому, от одной странички к другой...»[1]. С мыслью о том, что еще не найдена настоящая дорога, на которой наилучшим образом сможет реализовать возможности его талант, Иванов перешел исторический рубеж 1941 года, отделявший мир от войны.

В годы войны Иванов почти регулярно ведет дневник, чувствуя свою обязанность фиксировать для памяти все, что занимает ум и душу. Как раз вскоре К. Федин писал Иванову, что поколение, к которому они принадлежат, не умело, не могло и не хотело переписываться и из их писем «в будущем никто не поймет ничего», а это обязывает оставить воспоминания, в которых будет рассказано «о самом важном для нашего поколения»[2]. Дневниковые записи Иванова, и прежде всего военных лет, словно заготовки для таких воспоминаний. Они содержательны, бесхитростны, искренни. Это правдивый человеческий документ. Здесь раздумья о себе и своей работе, о работе собратьев по перу, размышления об искусстве и литературе и, конечно, о самой войне, которая воспринимается то из далекого ташкентского тыла, то из прифронтовой Москвы, то непосредственно из зоны боев на Орловско-Курской дуге и на подступах к Берлину. Наконец, здесь же о Нюрнберге, о встречах с «призраками, источающими яд». К. Паустовский, который редактировал дневники Иванова, справедливо находил, что многие куски «Дневников» написаны «литой, лаконичной и как бы скульптурной прозой»[3]. Это в полной мере относится и к дневниковым страницам военных лет. Имея, таким образом, самостоятельную ценность, они в то же время являются превосходным комментарием к творчеству.

Писатель верит в победу. Призывный клич родины для него означает необходимость «работать так, как никогда не работали!». Эти слова звучали клятвой, и Иванов стремился быть ей верным. В течение всей войны, да и после нее — до завершения Нюрнбергского процесса — он не оставлял боевого оружия публициста, тщательно отделывая каждую, даже самую маленькую статью.

В годы войны Вс. Иванов пишет много, но написанное им неравноценно. Выразительны маленькие рассказы, в которых Иванов как бы приглашает читателя всмотреться в лицо воюющего соотечественника. Один из лучших — рассказ 1941 года «К своим» — о бойцах, вынужденных отступать по земле, занятой врагом.

Рассказ «Близ старой Смоленской дороги» переносит нас в XIX век. Двадцать семь лет спустя после знаменитого сражения

---

[1] Из речи Вс. Иванова на расширенном заседании президиума правления Союза советских писателей 30 сентября 1936 года. — Рукописный фонд ИМЛИ им. А. М. Горького, ф. 100, ед. хр. 40, л. 43.

[2] «Вс. Иванов — писатель и человек», с. 312.

[3] Там же, с. 353.

старуха идет к Бородинскому полю, чтобы отслужить там «полную паникидку» по убитым мужу и сыне, рассказать кому-нибудь о своем неутешном горе. Фигура одинокой старухи написана с какой-то по-толстовски пронзительной простотой и силой. Она — как сама народная горькая память о героизме русского солдата.

Вместе с тем именно при работе над военной темой Иванова постигали неудачи. В конце 1941 — в начале 1942 года он написал большой роман «Проспект Ильича». Как следует из дневниковой записи, он закончил его 6 апреля 1942 года и испытывал «живейшее удовольствие от этого события». Но последующая судьба романа, так и не увидевшего свет, стала для него тяжелым переживанием. Конечно, причиной неудачи было то, что роман написан художником, еще реально не соприкоснувшимся с войной. Но не менее важной причиной было и то, что писатель здесь не искал уже своей, неповторимой окраски естественным, общим для того времени чувствам и мыслям. Потому же не стала серьезной победой и повесть «На Бородинском поле», которую Иванов написал, увидев войну своими глазами.

Советская литература той поры активно способствовала утверждению национального самосознания. В русском молодом офицере Марке Карьине, участнике битвы под Москвой, Иванов оттенял черты русского национального характера. Герои повести должны были чувствовать себя наследниками славных предков. Однако в решении этой задачи писатель не нашел особого, своего поворота, обещающего открытия. Налет рационализма, иллюстративного подхода к теме испортил эту интересно задуманную повесть. По тем же причинам ничем новым не обогатил советскую литературу и роман «При взятии Берлина» (1945—1946), хотя в панораму военных событий вписана судьба художника, а с ней и тема искусства, волнующая Иванова. По поводу одного из персонажей писатель высказывает такую мысль: «Пуризм, чрезмерное соблюдение чистоты языка, овладевшие ныне, кажется, всем миром, коснулся и генерала Кочергина...» Автор романа и сам здесь склонен к пуризму. Но как бы он ни тешил себя иллюзией, что это процесс мирового масштаба, чрезмерное очищение языка здесь привело к безликости повествования, к какой-то нейтральной патетике. Даже страницы о конце войны и военной победе выглядят лишь сухой газетной информацией.

Однако именно в период войны Иванов решительно и последовательно возобновил поиски «своего» реализма. В 1946 году в «Звезде» появился рассказ «Сокол», он прошел незамеченным, незамеченным остался и подзаголовок — из книги «Фантастические рассказы». Большинство произведений этого цикла было опубликовано в 1963—1965 годах. Но работал над «фантастическими», или, как он их еще называл, «таинственными», произведениями писатель в военные

годы. В 1944 году были написаны рассказы «Сокол», «Сизиф, сын Эола», «Медная лампа», «Агасфер», «Пасмурный лист». К циклу рассказов примыкает повесть «Опаловая лента», роман «Эдесская святыня», начатый тогда же, но не законченный, роман «Сокровища Александра Македонского». Писатель словно напал на пласт, богатый рудой. В том же ключе были задуманы многие новые произведения 1950—1960 годов.

Иванов обращается к жанрам легенды, притчи, мифа с их отстоявшимся многовековым опытом освещать коренные проблемы человеческого бытия в философско-обобщенном плане. Его влекут к себе сюжеты и образы, имеющие давнюю традицию: медная лампа с ее магической способностью удовлетворять желания своего владельца — трансформация волшебной лампы Алладина. Пересозданы, переосмыслены мифы об Агасфере и Сизифе.

В легенде, притче, мифе — фантастический мир, но этот выдуманный мир получает безусловную реальность. Мастерство Иванова-выдумщика как раз в первую очередь и состоит в том, что он умеет изобразить несуществующее как существующее. Невозможно не поверить в реальность солдата Полиандра, которому суждено встретиться с Сизифом, сыном Эола. Он весь живой, от подошв своих башмаков до «шлема с султаном из секущихся конских волос». Для романа «Эдесская святыня» Иванов прочел множество разнообразных исторических книг. Они помогли ему избежать ошибок в описании Багдада и Константинополя X века [1]. Но, конечно, только щедрое воображение художника могло насытить роман такими деталями, которые вызывают эффект присутствия. Умело отобранные, они помогают быстро обжить причудливый, экзотический мир романа. Знакомя, например, с домом ремесленников иль-Каман, Иванов заставляет нас увидеть и землю подле него, которая «от беспрерывного поступления угля и сажи стала несравненного черного цвета», и розы — они «возвышались среди ржавых кусков железа, куч шлака и угля, подобно драгоценным выпуклым шелковым узорам на какой-то онемелой ткани, которая давно выцвела и обветшала». А, главное, безусловной реальностью стали герои романа. Они — люди своего времени, но кажутся разгаданными их современником — настолько психологически достоверны: и рыжебородый веселый, мудрый кади Ахмет, неразлучный со своей тыквенной бутылкой, и законовед Джелладин, скривившийся и закалившийся над Кораном, и госпожа Бэкдыль, которая полагает, что порядок в доме наступит тогда, когда она вместе с ослами, овцами и козами купит трех невольниц, будет их бить за нерадивость, и все соседи, услышав их крики, скажут, что

[1] В основу сюжета романа лег реальный исторический факт: передача по решению халифа Багдада святыни Эдессы, убруса, «нерукотворного» образа пророка Иссы, византийцам.

у госпожи Бэкдыль крутой характер. Наконец, «светлый душой и телом» Махмуд, оружейник и поэт, сложная трагическая судьба которого в центре повествования.

Вс. Иванов однажды написал, что Дон-Кихот «без Санчо Пансы неправдоподобен и холоден, как шуба без подкладки, без меха»[1]. Это весьма красноречиво. Никакие философские обобщения и построения ничего не значат в искусстве, если не имеют живой плоти реальности. Изобразительный дар Иванова, неизменно опирающийся на реальность, находит себе применение и в «фантастическом» цикле. Но сюжеты мифа, легенды обладают своими возможностями. Подымаясь над эмпирической стихией жизни, они раздвигают границы многозначности, увеличивают масштаб обобщения. Непривычный поворот, фантастическое освещение заставляют увидеть реальную действительность как бы заново, делают зримым обычно невидимое. «Миф есть выполнение невыполнимого дотоле, невероятно трудного. Агасфер — миф о бесконечном продолжении жизни, Фауст — о бесконечном познании, Дон-Жуан — о бесконечном наслаждении, Тантал — о бесконечном пищевом наслаждении, Сизиф — о бесконечном труде...»

В «Медной лампе» Иванов, в сущности, вернулся к «Похождениям факира». Там искания высших, непреходящих ценностей жизни были выражены через долгие скитания, блуждания, прихотливые повороты судьбы «факира». «Волшебный» сюжет «Медной лампы» позволяет герою как бы повторить похождения «факира» только в особом, обобщенном плане. Молодой человек воображает себя по очереди императором, героем, полководцем, банкиром, заводчиком, путешественником, ученым и отвергает все ради того, что открывается ему как высшая ценность — ради творчества, ради радости вдохновения. «Для дурака — все сказка, а для умного — везде найдется правда», — так утверждает босяк, продающий медный светильник. Эту мысль разделяет и автор «мифов».

Полиандр — солдат по профессии, на нем вооружение, оно в дороге «отдаленно рокотало, напоминая о походах и друзьях, которых время пожрало, как бездонная пучина пожирает мореплавателей». Он любит прихвастнуть перед встречными своей воинской славой, прикинуться уставшим от нее, принимать величественные позы, как и подобает солдату Великого. Ведь он прошел вместе с Александром Македонским от границ Фракии до студеного Местийского озера, видел «крайний предел земли». Полиандр — фигура драматическая и комическая одновременно. Солдату не исполнилось и сорока лет, но царь Кассандр, которому он последнее время служил, не доверял ему, боясь «его щита, его широкой красной шеи, его

---

[1] Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников... с. 268.

огромного голоса», признал его больным и без денег отпустил на родину. Казалось бы, кому, как ни этому человеку, сделавшему своей профессией войну, понять, как ненадежен, неверен да и несправедлив жизненный успех на этом поприще. А Полиандр готов теперь уже вместе с Сизифом, который завтра будет свободен от наказания, снова «грабить, убивать, насиловать и собирать сокровища». Он видит себя военачальником, который помогает Сизифу отвоевывать власть, стать царем. Но Сизиф отвергает предложение Полиандра. Он предпочитает свой прежний жребий. Лучше «ворочать навстречу ветру бесполезные камни, чем сеять быстро восходящее зло...».

В 1943 году А. Камю написал свой «Миф о Сизифе», использовав известный мифологический образ для провозглашения идеи бессмысленности человеческой жизни и человеческого деяния. Вс. Иванов, наверно, к моменту создания своего рассказа еще не знал произведения одного из столпов современного модернизма и поэтому сознательной полемики с ним не вел. Но объективно рассказ Иванова является опровержением пессимистической концепции человека в мире. Писатель приглашает вдуматься в парадоксальность решения Сизифа, в несостоятельность иллюзий обманутого своим жизненным опытом Полиандра, он заставляет думать о конфликтах жизни, основанной на войнах за власть, за богатство, за господство над миром.

На этом уровне философского обобщения прямые художественные ссылки на вторую мировую войну не нужны. Но многозначность переосмысленного древнего мифа включает в себя и ее трагические уроки.

Рассказ «Агасфер» более непосредственно соотнесен с эпохой Великой Отечественной войны. Герой — участник войны, переживший тяжелую контузию, только-только возвращающийся к жизни. В рассказе сохранена атмосфера войны, еще живут ее суровые приметы. Но, главное, война заострила вопросы гуманизма, смерти, бессмертия, добра и милосердия, поставила перед новыми нравственными испытаниями. Старинная легенда об Агасфере в сочетании с некоторыми мотивами русской сказки позволяет переключить повествование в план общечеловеческих размышлений, подвести к пониманию нравственного закона. Пауль фон Эйтцен — жертва насилия, угнетения, зла. Но счастье для него лишь личный успех. Для достижения своих личных целей он использует маску Агасфера. Прибегая к ней постоянно, он незаметно слился с ней, став Агасфером, приняв на себя естественно все бремя и его привилегий, и его страданий. В отличие от традиционного, ивановский Агасфер не бессмертен, он получает новую жизнь, принимая в жертву кровь и даже саму жизнь пожалевшего его человека. Дряхлеющий, на исходе своих сил он ищет обновления на востоке, на русской земле. Он умеет обманывать и обольщать, у него широкий арсенал средств заинтересовать собой,

вызвать к себе милосердие и жалость. Каждая встреча героя с Агасфером прибавляет последнему силы, ибо для этого достаточно простого интереса к нему и сочувствия. Зато жизненные силы героя убывают. Ему приходится преодолевать влияние Агасфера, прорываться через оцепенение, вызванное общением с ним, испытывать мучительный процесс потери себя, «умаление» своей жизни. Он доходит до последней грани, пока не приходит к решимости проникнуть в тайну жизни фон Эйтцена и овладеть его жизнью. В Агасфере — нечто от Кощея Бессмертного, тайну жизни которого хранят обитый медью сундучок, в котором меч и сумочка с золотым яичком. И герой рассказа Иванова, подобно герою русской сказки, побеждает своего противника, когда добирается до золотого яичка — в нем бьется сердце жизни фон Эйтцена.

Рассказ прочитывается как апология активной воли в борьбе со злом, права на спасительное насилие по отношению к злу, бескомпромиссность и беспощадность к нему.

Иванов не прибегает к прямым иносказаниям, однако и в персонажах и в ситуациях легенды он делает зримой самую суть проблемы, показывает непреложность нравственного закона.

Роман «Эдесская святыня» является в этом смысле поистине неисчерпаемым: здесь снова вопросы войны и мира, вопросы счастья и добра, свободы воли и подчинения закону, проблема человека и истории, личности и государства, разные грани проблемы искусства и действительности.

Как было однажды справедливо сказано о романе, это — «вершинное создание ивановского фантастического цикла», в нем «сведены вместе и завершены почти все мотивы ранее написанных рассказов» [1].

Судьба Махмуда иль-Камана полна трагических парадоксов. Своей духовной жизнью он обязан учителям, один из которых — законник Джелладин, «ходячий сборник форм и образцов», другой — судья Ахмет, «ходячий сборник сомнений в необходимости незыблемых форм и образцов». Те же учителя жизни повинны и в смерти Махмуда. За плечистым человеком, убившим Махмуда,— тень злого, мстительного и тщеславного доносчика Джелладина, умеющего пользоваться «грязным коварством закона». Но «плечистого человека», посланного визирем, приводит в дом Махмуда кади Ахмет, которому всегда хотелось, чтобы Махмуд был счастлив, а теперь ему приходится выстилать «гибелью, как плитами... полы жизни друга». Он не смеет противиться ни повелениям визиря, ни тем высшим государ-

[1] Е. Краснощекова. Вс. Иванов. — В кн.: Вс. Иванов. Избр. произведения в 2-х томах, т. I. М., изд-во «Художественная литература», 1968, с. 28.

ственным соображениям, которые стоят за этими повелениями и которые продиктованы хитрой дипломатической игрой между Халифом Багдада и императором Константинополя.

Нож с семью розами на лезвии и тремя лепестками на рукоятке, принесший Махмуду славу искуснейшего оружейника, приносит ему и смерть.

Под солнцем любви Махмуда вернулась к жизни и расцвела рабыня, пленная русская княжна. Их любовь усилена общей ненавистью к византийцам, мечтой о мести за принесенные несчастья. Их духовный союз помогает Махмуду подняться на гребень жизни. Искусные речи поэта, оплодотворенные мыслями Даждьи, которые стали и его мыслями, вызвали к нему милость визиря, а затем и самого халифа. Но любовь людей, подчиненных разным законам, не может не быть трагичной. Махмуд, вернувший жизнь своей возлюбленной, становится причиной ее смерти. Она не может пережить отказа Махмуда зарезать двух других рабынь, которые появились в его доме. Объяснимо, когда деятельная ненависть допускает пролитие крови, но Даждья требует этой «деятельности» от любви Махмуда. И сама своей кровью утверждает право на такое требование.

Махмуд искренне предан халифу и хочет быть посредником между халифом и Багдадом, но он фактически и предан халифом. Песня Махмуда о любви приблизила поэта к смерти. Но та же песня принесла ему и бессмертие. Снова, как и раньше, Иванов отпирает парадоксами, словно ключом, таящиеся в жизни противоречия, обнажает ее сложную диалектику.

Роман «Эдесская святыня», как и многие другие произведения фантастического цикла, построен на диалогах.

Многие мысли, выстраданные автором, отданы кади Ахмету. Но огонь его мудрости высекают как раз диалоги-споры, которые он ведет с окружающими. Диалогическая форма, как бы противостоящая застывшим прямолинейным суждениям, лучше передает диалектичность мысли. Той же цели служат яркие сравнения, которыми уснащена речь кади Ахмета в духе легенд и сказок Востока. Это не украшения во имя колорита, а попытка уловить живой мыслью многомерность жизни. Кади Ахмет, как и сам Иванов, не вещает истин и не любит готовых однозначных ответов. Его неизменно сопровождает стихия юмора. Это тоже проявление мудрости добытой жизненным опытом. Он знает цену формулам, претендующим на окончательность и неподвижность. Автору «фантастических» произведений ближе позиция вопрошателя жизни, разгадывателя все вновь и вновь возникающих ее загадок.

В том-то особая привлекательность для Иванова легенд и преданий, что они хранят загадку давно прошедшей жизни. Они возникают не на пустом месте, за ними неизменно какие-то реально про-

исходившие события, поступки реально существовавших людей. Под пером современного писателя вновь оживающие, эти легенды и предания становятся частью нашей жизни, доказывая, что «ничто в мире не умирает, ...все беспрестанно возрождается в чем-то другом» [1]. Не об этом ли говорит песня о возлюбленной и о судьбе, кривой, как нож, рукоятка которого украшена орнаментом из семи роз, а лезвие тремя лепестками? Эту песню поет молодой араб спустя тысячу лет после того, как она была создана, не зная кем и когда она была написана.

С мыслью о связи времен, отдаленных друг от друга, Вс. Иванов писал и роман «Сокровища Александра Македонского». События, происходившие много веков назад, когда Александром Македонским были завоеваны и спрятаны сокровища, объединены с событиями наших дней, когда люди современной эпохи пускаются их отыскивать по следам легенд и народных сказаний

По свидетельству вдовы писателя, Т. В. Ивановой, имеются два непохожих друг на друга варианта этого романа. Но и в том, и в другом оставался неизменным авантюрный характер сюжета. Его права писатель отстаивает сознательно. В начале романа, когда Иванов вводит читателя в обстановку жарких споров, происходящих среди работников киностудии, звучит голос: «...русское искусство — искусство психологическое, и в его рамки не вкладывается авантюрный роман!» Это и есть для Иванова предмет полемики. Авантюрный сюжет, увлекательная фабула для художника — надежное средство проникнуть в глубины жизни.

Опубликованный вариант «Сокровищ» носит явный сатирический уклон. И авантюрный сюжет ведет Андрей Вавилыч Чашин, инструктор финансово-контрольного отдела Наркомата Уловления и Выпрямления Экономических Ошибок, фигура сатирическая. Это бюрократ, но бюрократ, одержимый энтузиазмом, ловкий и изобретательный. Ему достаточно уловить только тень намека руководящего лица для того, чтобы вдохновиться на кипучую деятельность. Конечно, он представит дело так, что блюдет государственные интересы. Но за этим — честолюбивые мечты, ибо, как он сам признается, «...ты песчинка, но вихрь метнет — и вот ты уже ответственная песчинка». Почему же не способствовать этому вихрю? Он глубоко уверен, что успех поиска сокровищ Александра Македонского поможет ему самому встать «почти рядом с Александром Великим, Искандером Двурогим!».

Хотя эта фигура не завершена, но писатель очень точно уловил некоторые черты бюрократа новой формации, особенности его мышления. Сатирический эффект усилен образом наперсника Андрея Ва-

---

[1] «Звезда Востока», 1967, № 3, с. 28.

вилыча, его доверенного лица, который ведет счет подвигам Чашина. Он же — повествователь-рассказчик. Его Иванов наделил своей фамилией и наивно-восторженным отношением к «великому» человеку, Андрею Вавилычу.

Легкость, с какой Иванов в процессе работы над «Сокровищами» переключался с одной авантюрной фабулы на другую, могла бы показаться удивительной. Но за ней просматривается как раз важный для Иванова последних десятилетий принцип: фабула — рычаг, используемый для поднятия тяжести идей. Тяжесть — величина постоянная, уже открытая, найденная художником, который теперь словно примеривается к рычагам разной конфигурации и грузоподъемности. Какой удобнее и надежнее?

Иванов-«выдумщик», у него поразительная, буйная сила воображения. Близкие друзья писателя называли эту способность «всеволодианством». И, может быть, нигде так ярко не сказывалось «всеволодианство», как в «фантастическом» цикле и в произведениях, примыкающих к нему, разве только в романах «Кремль» и «У», к которым писатель в эти годы, кстати сказать, не раз возвращается. Постепенно складывалась эстетическая система, о которой можно судить отчасти по опубликованным ныне записным книжкам.

Иванов придавал огромное значение искусству, ставя его по общественной роли после политики непосредственно на второе место. Он убежден, что роль поэтов, романистов, художников вообще, а для него значит — людей фантазии, мифа, песни в наше время усиливается, а не уменьшается. Ему близка способность искусства и возбуждать любопытство к загадкам жизни, и нести ясность знания о ней. «Мир не должен быть загадочным и таинственным, иначе в нем будет трудно жить. Мир должен быть ясным и простым, чтобы здоровый человек мог спокойно бороться. Поэтому нам приятно угадывать загадки, будущее, узнавать тайны, любить людей, отгадывающих тайны...» Автор «Тайного тайных» и «Таинственных» произведений может смело причислить себя к разряду людей, отгадывающих тайны. Тайное для него не содержит в себе ничего мистического, потустороннего. Это еще не раскрытые, глубоко спрятанные, непознанные причины событий, не разгаданные характеры людей, причины их поступков, совершенных в прошедшем или возможных в будущем. Художник украшает жизнь тем, что разгадывает таящуюся в ней сложность, ибо «красота современной жизни — в сложности ее». Издали простой факт, вблизи сложный. С первого взгляда можно наблюдать только видимое действие, «грубую массу человека». Нужен анализ. «Искусство есть анализ... Анализ состоит в умножении фактов». «Прямой опыт дает нам много фактов, но не тех, которые нужны искусству. Поэтому, если бы искусство ограничилось только этими фактами, то оно открыло бы немного.

Поэтому искусство, как и точные науки, должно экспериментировать, то есть изменять наблюдаемого человека, подобно тому как ученые изменяют предмет посредством разрезов, вымачиваний, инъекций, химических операций и т. д. ...Для умножения фактов необходимо изменять положение человека, как ученый изменяет наблюдательные орудия или изменяет наблюдаемые им предметы».

Термин «реализм», «реалистический» Иванов употребляет в суженном плане, отождествляя его, в сущности, с натурализмом. Еще во время войны он признавался, что его тревожит увлечение литературы мелочами, бытом, эмпирической стихией жизни. Натурализм —«язва современного искусства. Мы все в язвах». Иванов заставляет, например, задуматься над тем, что производство, о котором порой так подробно пишут литераторы, через тридцать лет состарится, детали станут непонятны, неинтересны. «...Ученые уже все будут объясняться значками, и у каждой ветви науки будет своя азбука». Иванов ссылается на опыт Ф. М. Достоевского, который «обозначал профессии, а не рассказывал, в чем они заключаются и как «это делается».

«...То, что мы натуралисты,— это не доказательство потребности, а доказательство трусости современного писателя,— и меня в том числе. Нужно отбросить все лишнее,— описание портянок, которых, кстати сказать, мало, рукавиц, шинели... Нужно оставить чувства, страсти, столкновения... Нужно создать романтизм. И без этого не обойдутся... Надо искусство проповедническое, а значит, романтическое». Суждения Иванова спорны, в них немало субъективного, но устремления художника они проясняют. Иванов готов отвергнуть воспроизведение жизненного факта в видимом значении. Он ищет способа изменить и «наблюдательные орудия», и «наблюдаемые предметы». Таким способом и оказывается переключение жизненных наблюдений в «фантастический» план мифа, легенды, исторического повествования.

А. Фадеев, задумавшись в 1950 году о правомерности поэзии в духе «Демона», «Фауста», «Чайльд-Гарольда», писал, что ему неважно, как это называется — реализм, романтизм. «Важно, чтобы за этим стояла правда, и важно, чтобы все стороны и потребности моей души, все ее разнообразные поэтические струны были затронуты, проявили себя и нашли отзвук»[1]. Иванов тоже апеллировал к потребностям души современного человека. Он исходил из того, что «воображением мы стали богаче, шире, объемнее», и сетовал, что это плохо эксплуатируется художниками, но сам адресовался в первую очередь именно к воображению. Он думал, что создает романтиче-

[1] А. Фадеев. За тридцать лет. М., «Советский писатель», 1957, с. 894.

ское искусство. Дело не в названии. По сути своей он оставался реалистом, но реалистом особого склада.

В записных книжках Иванова есть очень примечательное противопоставление индийского и египетского искусства искусству древних греков. «Индусы и египтяне, понимая, что человек не в состоянии передать сущность божества, делали божество разнообразным, разноликим, неуловимым. Греки, с их скудным воображением, просто изображали богов в виде прекрасных дам и мужчин, только ростом выше обыкновенного». Иванову ближе «способ» египтян и индусов, чем греков. Но до последних лет жизни он не был уверен, правильна ли избранная им дорога.

В 1960 году он писал: «...все мои работы при их появлении,— может быть, кроме тех, которые были наименее оригинальны,— критики находили «недоработанными». Идолы Индии, многорукие, многоликие, разумеется, среднелобому интеллигенту могут казаться вздором и недоработанностью. Без зазрения совести,— и по-своему правый,— он отрубит им руки и ноги и оставит по одной паре, согласно законам логики и реализма. Впрочем,— добавляет Иванов иронически,— я сам часто рубил себе эти руки и ноги, находя, что на двух ногах идти легче».

Нельзя сказать, что Иванов совсем отказался от реализма на двух ногах, с двумя руками. В последнее десятилетие он написал не мало произведений такого рода. К ним в известной мере надо отнести роман «Мы идем в Индию», а так же путевые очерки разных лет. «В чудесной Ферганской долине» (1949), «По родным местам» (1952) и даже «Хмель, или Навстречу осенним птицам» (1962), хотя последнее произведение, по мысли самого писателя, «совсем не очерки, претендующие на прямое и точное описывание увиденного». Рассказ о путешествии, которое Иванов совершил в Восточную Сибирь, на берега Онона и Чары, действительно написан с почти детским восторгом перед необычайным, фантастичным, что открывалось писателю в самой жизни. «...Все время во мне трепетало ощущение необыкновенной яркости наблюдаемого...»— признавался он. С таким «жадным восторгом» он пишет о горном хребте Адун-Чолоне —«волшебной и всегда ласкающей красоте Забайкалья, перед которым все другие хребты кажутся напыщенными и дерзкими». И все же с писателем можно не согласиться, ибо поэтические картины естественно уживаются с «деловым» описанием. В поле зрения Иванова жизнь этих далеких от центра страны мест во всем ее реальном многообразии, суровая и прекрасная одновременно, и люди разные, угрюмые и веселые, разговорчивые и скрытные, приезжие — специалисты и местные, охотники и оленеводы, чабаны и добытчики руды, шоферы и вертолетчики. В их труде-творчестве Иванов и находит «блистающий и заздравный хмель жизни», «кудрявый и душистый пламень

жизни», то общее, что связывает людей, живущих на расстоянии многих сотен километров друг от друга и делающих разное дело.

«Вечернюю службу» (так назвал Иванов «Хмель») писатель ведет вдохновенно и свободно, без видимых усилий, нигде не форсируя звук авторского голоса, доказывая тем самым, что «на двух ногах» ему идти легко, и дорога эта не бесплодна. Но он не мог признать ее единственной. Об этом говорят многие оставшиеся незавершенными замыслы, развивающие линию «фантастических» рассказов. Для писателя эта линия была не исчерпанной, и она была ему нужна, когда писатель задумывался над противоречиями технического прогресса, исследовал проблему счастья, выступая против его потребительского, вульгарного понимания, стремился понять общечеловеческий смысл многих нравственных категорий, положение искусства в современном мире. Поиски новых форм в искусстве он считал обязанностью художника, а для себя — средством оттачивать лемех, спаханный и истертый «от долгой работы, ибо пашня была длинная».

В последние годы жизни с темой искусства Иванов связывает многие свои замыслы. Еще в 1949 году у него «укрепилась мысль написать большой роман «Поэт», в котором предполагалось ставить «проблему формы и реалистического искусства». Роман должен был быть «в известной степени... автобиографическим». Широкий разворот тема искусства должна была получить в другом, еще более автобиографическом произведении, план которого хранится в архиве под названием «25 лет» («Воспоминания»), с пояснением, что Иванов намерен здесь высказать «кое-что о своей жизни в 1918—1942 годы». Отчасти реализацией этого плана явилась «История моих книг» (1957—1958), которую только условно можно считать литературной биографией писателя, ибо в нее вторглись и вымышленные художественные сюжеты. В 1961 году Иванов сообщал в печати о работе над романом «Художник» (в набросках к роману фигурирует и другое название — «Индия Всепетая»). Действие этого романа должно было развертываться и в Восточной Сибири, в старой и новой Москве, и в зарубежных странах [1], где только что побывал писатель. В 1962 году писатель вернулся к повести 1940 года «Вулкан» и создал на ее основе роман (напечатан посмертно в 1966 году), вобравший в себя многие мотивы «Художника». Здесь в полный голос звучат темы, ради которых писатель стремился писать об искусстве. В разных человеческих судьбах драматически и даже трагически преломляется «архитектурный» вариант известной коллизии, к исходу тридцатых годов (время действия романа) еще не вполне разрешенной,— подчинение старым художественным авторитетам, насаждение классического

[1] «Вечерняя Москва», 1961, 11 октября.

стиля, подражание ему или новаторские поиски современных форм в искусстве. Для Иванова это не только эстетическая проблема, он обнажает ее нравственные, общественные, политические аспекты. И хотя здесь нет автобиографических примет, глубоко личная заинтересованность в постановке основной проблемы совершенно очевидна.

Творческая судьба Вс. Иванова несет на себе печать драматизма. Его писательский опыт, внутренние борения, сомнения и огорчения — все стало достоянием истории как красноречивая и глубоко поучительная страница борьбы за многообразие литературы социалистического реализма, за широту его стилевых рамок. Произведения Иванова, в том числе и те, что пришли к читателю после смерти автора,— это живое достояние нашей духовной жизни, нашей социалистической культуры. Иванову могло казаться, что он не сумел полностью реализовать свой талант. Он ушел из жизни рано, в шестьдесят восемь лет, от тяжелой болезни, в расцвете творческих сил, оставив недописанными многие произведения. На самом деле его вклад в советскую литературу очень значителен. Он оставался всегда в русле главных ее устремлений и как всякий большой художник обогащал ее своими открытиями.

Имя Иванова неотделимо от рождения советской прозы. Он выступил в плеяде тех молодых талантов, которые были зачинателями новой литературы, и делал нередко первый шаг там, где предстояло пройти многим. Именно об этом вспоминал с благодарностью А. Фадеев в письме Вс. Иванову по случаю его шестидесятилетия. «Никому не было известно, какими словами можно выразить в искусстве этот невиданный переворот в жизни, в быту, в сознании людей. Да и, казалось, возможно ли выразить это вот так, сразу, на другой день, еще почти в огне схватки?

И ты сказал эти первые слова, сказал о том, что было тобой пережито, сказал по-своему, так, как сказалось... Да, мы учились у первых советских писателей, предшествовавших нам,— мы вас любили, увлекались, зачитывались вами. Я мог бы сказать, что вы протерли нам дорогу, если бы это не была дорога в небо» [1].

Душой и сердцем Иванов принял революцию, ее великие гуманистические, интернациональные задачи. Он не только сумел о ней правдиво и неповторимо рассказать, но из нее вывел и свою собственную задачу на все последующие годы — способствовать переделке мира во имя будущего, изучать человека, самое великое и сложное создание жизни.

Вот почему рассказы «Тайного тайных», глубоко поучительные своим пристальным вниманием к тем внутренним драмам «малень-

---

[1] А. Фадеев. За тридцать лет. М., «Советский писатель», 1957, с. 801—802.

кого» человека, которые неизбежны на трудном пути его освобождения от скверны прошлого, должны по праву занять свое место в истории развития советской литературы.

А в последние годы жизни писателя и после его смерти к читателю пришел новый Иванов, автор «фантастических» произведений, автор «Эдесской святыни», который умеет, не наставляя и не поучая, тревожить наше воображение, поддерживать высокий пламень духовных потребностей советского человека своей устремленностью к философскому знанию жизни, к утверждению истинных нравственных ценностей.

Художественная манера Вс. Иванова не была единой, она прошла заметную эволюцию. Щедрость изобразительного дара автора «партизанских» произведений властно брала в плен зрение и слух читателя, романтически окрашенные революционные полотна Иванова поражали яркостью образов, богатством ритмов, выразительностью народной речи сибирских окраин. Но писатель успешно овладевал и другой манерой письма, не обладающей прежней внешней характерностью, более сдержанной и лаконичной, рассчитанной на передачу сложных психологических подтекстов. А затем — снова буйство красок, поток необыкновенных, неожиданных сравнений, рожденных не только меткой наблюдательностью, свежестью зрения художника, но и какой-то спокойной мудростью заключенных в них оптимистических суждений о жизни. И при всех изменениях художественной манеры — поистине титаническая работа над словом.

Иванов так и не стал легким писателем. Его творчество требует восприимчивости к взаимопроникновению реального и фантастического, к философской содержательности, к символической многозначительности словесного материала, обещая взамен открытия прежде не бывшего или прежде не познанного. Может быть, именно потому, что в наше время эстетическая восприимчивость широкого читателя стала и гибче и шире, к нему находят дорогу самые сложные произведения Иванова.

Талант Иванова — светлый. Своеобразной его чертой остается во все времена удивление перед чудесной тайной жизни, поэтическое ее осмысление, глубоко народное по существу своему.

Л. Гладковская

ПАРТИЗАНСКИЕ ПОВЕСТИ

ПАРТИЗАНЫ

I

Костлявый, худой, похожий на сушеную рыбу, подрядчик Емолин ходил по Онгедайскому базару и каждого встречного спрашивал:

— Кубдю не видали?

— Нету.

Наконец голубоглазый чалдон, навеселе, по-видимому, затейливо улыбнулся и указал Емолину:

— Подле церкви Кубдя... гармошку покупат... А тебе на что?

— Надо, — отрывисто ответил Емолин.

Чалдон подряд четыре раза икнул и отошел.

«Деньги есь... Гармошку кикиморе... Заломатся», — подумал Емолин и пожалел потраченные сутки на езду в Онгедай.

Емолина то и дело толкали.

К прилавкам совсем нельзя было подойти. Емолин хотел пробраться между торговыми рядами, образующими улицу, но тут гнали целые табуны лошадей и жалобно блеявших баранов. Пыль грязно-желтыми пятнами стлалась над тесовыми лавками.

— Жарынь! — сказал Емолин, вытирая вспотевшую жилистую шею.

Горло сушила духота, уши оглушал базарный шум, на прилавках резали глаза яркие пятна бязей, шелковых тканей, китайских сарпинок.

— В эку духоту — и неймется!.. Сшалел народ!..

Подле церкви толкотни было меньше. Здесь торговали горшками, и у возов слышался только тонкий звон посуды да возгласы торгующихся. Кубдя, в синей дабовой рубахе и в таких же коротких, но широких штанах, в рваных опорках на босу ногу, стоял

у церковной ограды, рассматривая желтого глиняного петушка.

Высокий чалдон в сером азяме скучными глазами смотрел на покупателя.

— В день много работашь? — спрашивал Кубдя.

— Как придется.

— Полсотни, поди, так работашь?

Чалдон посмотрел на опорки покупателя и нехотя ответил:

— Бывает, и полсотни.

— Видал ты его! — с уважением сказал Кубдя, кладя петушка обратно. — Ты бы, брат, бросил петухов-то делать...

— А что, ворон прикажешь?

— Не ворон, а хоть бы туеса березовые, примером: все выгодней.

— Сами знаем, что делать.

— Эх ты, лепетун!

Кубдя увидел Емолина и, указывая на чалдона, сказал:

— Возьми вот ево, лепетуна, — петухов делат.

— Всякому свое, — строго сказал Емолин. — А мне тебя, Кубдя, по делу надо.

Кубдя взял опять петушка, повертел его в руках и купил, не то чтоб для надобности, а показать Емолину, что он, Кубдя, в деньгах не нуждается.

— Ну, говори.

— Пойдем, по дороге скажу, — сказал Емолин.

Кубдя сунул петушка в карман и отправился за Емолиным.

— Ты каку работу исполняешь?

— Работы по нашему рукомеслу много.

— А все-таки?

Кубдя улыбнулся под обвислые усы:

— Народ нонче бойко умират. Будто пал[1] по траве идет.

— Ну и что ж?

— Гробы приходится...

Емолин смочил языком обсохшие губы и пренебрежительно сказал:

— Ерунда! Гробовая работа — самая поганая... Горбулин-то с тобой?

---

[1] Пал — степной пожар.

— В селе.
— Беспалых?
— Есть и Беспалых. Соломиных тоже тут.
— Еще ребята, поди, есть?
— Как не найдутся! А тебе на что, лешай?
Емолин выкроил улыбку на желтом, изможденном лице.
— Что, не терпится?
Кубдя крикнул:
— Люблю артельную работу, Егорыч!
— А говоришь, у те тут есь.
— Живодер ты, никак тебе правды не скажешь... Все надо юлить. А то живьем слопаешь.
Кубдя взглянул на его скривившийся влево рот и подумал: «Сволочь». Емолин остановился и, поблескивая желтоватыми белками глаз, сказал:
— Потому что у вас, окромя как в себя, в никого веры нету, понял?
Кубдя крякнул.
— Крякнула утка, когда ее съели!.. А хочу я, Кубдя, вот что сказать вам. Подрядился я в Улейском монастыре амбары строить. Лес там имеется, инструменты, поди, при вас?
— Как же... Помесячно али поденно?
— Поденно. Двадцать цалковых на моих харчах.
— Дураков нету.
— Каких дураков?
Кубдя отошел от него на шаг и свистнул.
— Хитер ты, Егорыч! Прямо бяда. Кто к тебе пойдет, когда на секоносе дадут две сороковки в день?
— Окурок ты! Сенокос — месяц, а тут и лето и осень.
— Да что мне, когда на колчаковские сейчас по сороковке в городе водку продают?
— Ладно, — сказал Емолин примиряюще, — пойдем ко мне чай пить.
— Самогонка есть?
— Не самогонка, браток, а «николаевка».
— Вот панихида! — восторженно вскрикнул, хлопнув себя по ляжкам, Кубдя.
Они прошли базар, и Емолин свернул в переулок. Подрядчик выдернул деревянную щеколду, и большие тесовые ворота, визжа на петлях, распахнулись. На

цепи, подпрыгивая, хрипло залаял на них пес. Из сутунчатого пригона протяжно спросил женский голос:

— Кто тама-ка?

— Я, Матвеевна, я, — отвечал Емолин, входя на высокое крыльцо из огромных кедровых досок. — Самовар бы нам...

— Сичас.

Молодая женщина, в светлом ситцевом платье и с подойником в руках, вышла из пригона. Емолин, входя в сени, спросил ее:

— Чо поздно доишь-то?

— Так уж приходится, — отвечала она, громыхая самоварной трубой. — Вы где пить будете: в горнице али, может, в затине?

Емолин звякнул посудой в ящике:

— Все равно. Можно в горнице. Там, кажись, мух мене.

— Прямо напасть с этими мухами! Уж мы их травили-травили, ни лешака на них нет... Намедни мужик поворот какой-то на них привозил, вот шибко подействовал.

— Не поворот, а водород. Сусликов травят, — поправил Емолин.

Женщина рассмеялась:

— Кто их знат. Нонче все наоборот. Вон царя-то в Омске не русского посадили и икватёром зовут.

Емолин рассмеялся жиденьким смехом:

— Необразовщина, прямо — тайга!.. Видмеди вы. Колчак-то старого роду, бают, и не царь, — а диктатёр...

— Одна посуда-то, — сказал Кубдя.

— Посуда-то одна, да вино разно. То тебе коньяк, а то самогонка.

— А то тебе ртуть.

— Ртуть не пьют, а киргизы от дурной болезни лечатся...

Емолин сидел на деревянной крашеной скамье со спинкой, Кубдя — на крашеном деревянном стуле. В горнице было прохладно, сквозь маленькие окна свету пробивалось мало, да и мешали широкие, легко пахнущие герани в глиняных глазурованных горшках. Двери и печка были разрисованы большими синими по желтому полю цветами, а на полу лежали плетенные из лоскутков половики.

Пока хозяйка доставала из шкафа посуду, ставила на стол калачи из сеянки, пироги с калиной и молотой черемухой, Емолин самоуверенно рассуждал:

— Ты возьми, Кубдя, меня. Из кого, ты скажи мне, я поднялся?..

Кубдя ждал с нетерпением, когда Емолин раскупорит бутылку с водкой, и потому с усмешкой отвечал:

— Никуда ты не поднялся.

— Врешь! Был я, скажем, лапотной пермской мужик, а теперь имею дом с железной крышей, и хозяйство честь честью, и почет ото всех.

— Ну и слава богу!

— Известно, слава богу, — подтвердил и Емолин, выбивая пробку и наливая водку в стаканчики, — только ни черта не понимаете вы. Пей!

— Да уж пейте вы... — по обычаю отказался Кубдя.

— Пей.

— Не буду.

Емолин выпил, скривив лицо, грязными, гнилыми зубами откусил кусок пирога.

— Крепка, стерва... Пей.

Кубдя выпил, скривил тоже лицо и сразу всунул в рот целый пирог.

— Да-а... — замычал он, — ничего себе!.. Крепка!..

— Пей!.. — сказал Емолин.

Кубдя уже не отказывался.

Емолин ел плохо, копошась длинными пальцами в хлебе, отламывая и откладывая в сторону корки. Кубдя же ел торопливо, глотая полупрожеванные куски. Глядя на его быстро двигающиеся желваки челюстных мускулов, Емолин с достоинством пил кирпичный чай и с достоинством рассуждал:

— Мало вы в народе кишите... В образованном народе, говорю, а потому доверие к другим плохое возбуждаете. А без доверия и курица яйца не снесет, не то что в народе жить...

Кубдя хватил стаканчик, и под ним мрачно закряхтел стул. Емолин продолжал:

— Ко власти стыд потеряли, одинаково с видмедями... За себя не стоите: черт вас знает, что вам требуется!.. Я вот потружусь, а потом отдыхать пожелаю. Отдыхай, брат Емолин, — и никаких!

Кубдя рыгнул и отодвинулся от стола:

— Спасибо, хозяин, за хлеб, за соль.

Емолин налил еще.

— Пей, Кубдя. А не за что благодарить-то.

Кубдя взмахнул рукой и удивился про себя, что жест такой легкий.

— Раз я благодарю, ты принимай — и никаких. А что отдыхать тебе, Емолин, то не придется.

— Почему так? Раз мы заслужим, почему не придется?..

— А так.

— А кто мне мешать смеет?

— Найдутся.

Емолин стукнул ребром ладони по столу:

— Нет, ты говори! Я знать желаю.

Кубдя улыбнулся и подмигнул:

— Найдутся, Егорыч, другие отдохнут за тебя... Ей-богу!..

— Сыны, что ли?

— Усе мы сыны, да не одного батьки. Во-от... Ты вот дом строишь, думаешь: «Отдохну, поживу...» Крепко, браток, строишь — с железной крышей, с голландской печкой, скажем. А тут — на тебе, выкуси! Не придется. Получится заминка.

— Какая?

Кубдя широко раскрыл слипающиеся глаза и вдруг тихо и часто-часто рассмеялся:

— Хо-хо-хо-хе-е... Дёрон вы зеленой, дёрон... Хо-хо-хе-е...

Емолин тоже рассмеялся:

— Хо-хо-хо-хе-е... Темень ты стоязычная, темень... Хо-хо-хо-хе...

Из прихожей выглянула хозяйка, посмотрела, махнула рукой.

— Ой, девоньки, уморят!

И залилась клохчущим, мелким смехом.

II

С похмелья голова у Кубди никогда не болела, только скверно и остро першило в горле — словно обожжено чем. Утром, проснувшись, Кубдя, задевая ногами то о ведро, то о доски, разбросанные по полу, долго искал ковш и, не найдя, охватил толстыми ру-

ками кадку с водой, поднял ее и, проливая блестящие капли в белые душистые опилки, напился.

Послушал, как булькает в животе вода, и вспомнил, что вчера нанялся к Емолину.

«Своей работы будто не хватает», — неодобрительно подумал Кубдя, отламывая хрустящую краюшку хлеба.

Бабка Енолиха остро взглянула и крикнула ему:

— Опять пьянствовать, Кубдя? Базар-то кончился!

Кубдя потер пальцами глаза и ответил:

— Знаю.

— Робить надо.

— И то робить хочу.

— Так чего же в ворота-то поперся? Куда уходишь?

Кубдя, просовывая в рот кусок, заглянул в погреб. Там было прохладно и темно, а в избе мешали мухи.

Енолиха взглянула на него пристальнее, взяла отпотевшую по стенкам кринку молока.

— Ешь, Кубдя. Чо всухомятку-то? Молоко-то седнешнее.

— Не люблю молоко, — сказал Кубдя и подумал: «Ребятам надо сказать. Вот ругаться будут, лихоманки!»

Енолиха отставила молоко.

— И то ведь, ты не любишь.

Она спрятала руки под фартук, и широкий нос ее, похожий на яйцо, отвернулся от Кубди.

— Где робить-то?

— К Емолину нанялся.

— Один?

— Артелью думам.

Старуха, припирая тяжелую, растрескавшуюся дверь погреба, тише говорила:

— Смелости у вас, у нонешних, нету, — всё в артель метите. Вот и царь-то потому отказался от вас.

— Прогнали его.

— Ишь ведь... — недоверчиво растянула старуха. — Сказывай!

— Плохой царь был.

— Цари-то — они все плохи. Хороша-то нам и не надо.

— Пошто?

Старуха ловко подхватила пестерь с углями. На ходу она, немного не договаривая слова, бормотала:

— Цари-то должны быть плохи. Строго надо себя

держать, — ну, кто строг, тот и плох. А без хорошего человека всегда жить можно. Вот царь-то хороший попал, ну, видит, дело плохо: с таким окаянным народом рази проживешь? Взял... да и ушел... Плюнул...

— Темень вы.

Обвислые щеки старухи покраснели. Она закинула пестерь на крыльцо и крикнула Кубде:

— А ты иди, лодырь, иди!..

— Уйду. Вот Колчаком-то, поди, довольна?

— Что он мне?

— Строгий.

— Все не русски каки-то. Чехи, говорят, поставили, из австрияков. Пленный он, что ли?

— Кто его знат?

— Я маракую, из пленных в германскую войну. Вот в Расее — так там царица.

Кубдя пошел было, но остановился.

— Как царица? Ты что, Христос с тобой, бабушка?

— Ну, а воюют-то пошто. Вот из-за царства и воюют. Тут-то Толчак самый, а там Кумыния... Не поделили что-то, а хрестьяне отдувайся... Нашему брату не легче...

Она вынесла из сенок решето с крупой и тонким голосом зачастила:

— Цыпи-цыпи-цыпи...

Маленькие желтенькие цыплята, похожие на кусочки масла, выкатились из-под навеса.

По улицам медленно проходили запряженные волами длинные ходки переселенцев. Скрипели ярма. Нехотя поднимали теплую и мягкую пыль копыта волов. Изредка пробегал, дребезжа, коробок кержака-старожила. Кержак лениво, одним глазом оглядывал ходки переселенцев и крупно стегал кнутом маленькую лошадь. Вдоль улицы в жирной, черной тени лежали парнишки и собаки, а вокруг села из-за изб густо и сыро зеленел забор тайги.

Кубдя шел к товарищам неохотно. Вчера, по пьянке, он много наговорил Емолину и о себе, и о ребятах. И сейчас он тревожно думал: «А как, черти, не согласятся! Вот состряпают мне».

Поутру всегда почти Горбулин и Беспалых сидели у Соломиных. А потом все трое шли к Кубде и здесь или работали, или, если не было работы, говорили о девках и о самогонке.

Соломиных имел свою избу. Старую, еще строенную из кедровника; бревенчатый забор, большие ворота, словно вытесанные из камня, и над воротами длинный шест с привязанным к нему клоком сена, — зимой Соломиных пускал ночевать проезжих.

Двор у него тоже был огромный, черный, чистый. Завозни поросли зеленью, но были еще крепкие, и из них можно было построить две избы.

Сам Ганьша Соломиных сидел верхом на колоде посреди ограды и топором рубил табак. Голова его, лохматая, густо поросшая клочковатым волосом, была не покрыта, и пот вздымался чуть заметным паром. И весь он походил на выкорчеванный пень — черный, пахнущий землей и какими-то влажными соками.

На земле навзничь лежал Беспалых — веснушчатый, желтоволосый, похожий на гриб рыжик. Упираясь спиной в колоду, сидел Горбулин — широкорожий, скуластый, с тонкими прорезями глаз.

Когда Кубдя вошел во двор, они все трое обернулись в его сторону и выжидающе посмотрели на него.

«Знают, должно», — подумал Кубдя и смутился.

— Дай-ка покурить, — сказал он, протягивая руку к табаку.

Соломиных достал зеленый кисет из кармана и глубоким своим голосом проговорил:

— Ты рубленый-то не трожь. Сырой. Из кисета валяй.

Беспалых мотнул ногами и быстро поднялся.

— Ты что, — пришепетывая, заговорил он, — в ладах, что ли, с Емолиным?

Кубдя, не понимая, развел руками.

— Счас я его встретил. «Когда, говорит, на работу пойдете?» — «Вот тебе раз, говорю, некуда нам идти». — «А в монастырь-то нанялись!» «Еще чище!.. Какой?» — спрашиваю. «Да вот у Кубди, говорит, спросите».

Кубдя, быстро затягиваясь махоркой, стал рассказывать, что наняться он еще не нанялся, а так говорил.

— А там как хотите, — докончил он и пренебрежительно сплюнул. — По мне, хоть сейчас, так я скажу: не пойдем, мол. Только он тридцать целковых в день дает и харчи его...

Беспалых обошел вокруг колоды, и как только Кубдя замолчал, он мгновенно вскрикнул, словно укололся:

— Айда, паря!

Горбулин почесал спину о колоду, потом меж лопаток руками — и все так, напрасно, без надобности. Хотел подняться, но раздумал: «Успею, нахожусь еще». Ганьша Соломиных продолжал равномерно ляскать топором табак. Колода тихо гудела.

Кубдя ждал и думал: «А коли, лешаки, спросят: зачем с Емолиным николаевку пил? Не по-артельно».

На пригоне промычала корова.

— Чо в табун не пустишь? — спросил Кубдя.

Соломиных прогудел:

— Седни... отелилась...

«Будто колода гудит Соломиных-то», — подумал Кубдя и присел на край колоды.

Беспалых схватил щепку и бросил в голубя. Голубь полетел, торопливо трепыхая крылышками.

Кубдя подождал. «Думают».

Потом спросил не спеша:

— Ну, как вы-то?

Горбулин, с усилием подымая с днища души склизкую мысль, сказал:

— Мне-то что... Я могу... У меня хозяйство батя ведет... Вот рази мобилизация. Угонят. Вот Ганьша у нас домовитый. Ему нельзя.

Беспалых хлопнул Кубдю по спине ладонью.

— Он молодец, ему можно доверять.

Соломиных воткнул легонько топор в колоду, собрал табак в картуз и встал.

— Пойдемте, паре, чай пить.

— Ну, а робить-то пойдешь? — вкрадчиво спросил Кубдя.

Соломиных немного с натугой, как вол в ярме, пошел к крыльцу.

— Я что ж, — сказал он твердо, — я от работы не в дупло, могу.

И громко проговорил:

— Баба! Самовар-то поставила?

Рыжеголовый щенок у поваленных саней сделал несколько шажков вперед и тявкнул. Кубдя с восхищением схватил Ганьшу за плечи и слегка потряс.

— Друг! Горластый!

Соломиных повел плечами.

— Ладно, не балуй.

Напившись чаю, они пошли говорить с Емолиным. Подрядчик запрягал лошадь. Затягивая супонь, он повернул к плотникам покрасневшее от напряжения лицо и одобрительно сказал:

— Явились, артельщики? Ну и добро!

Потом он выправил из хомута гриву, шлепнул лошадь по холке и подал руку плотникам.

— Здорово живете!

Говорили мало. Хотели прийти на работу через три дня, Емолин же настаивал: завтра.

— Дни-то какие — насквозь душу просвечивает! Что им пропадать? Тут десять верст — за милу душу отмеряете. А?

Он льстиво заглянул им в бороды, и видна была в его глазах какая-то иная дума.

— А то одинок я, паре, чисто петух старый... А еще с этими длинноволосыми...

Плотники согласились. Протянули Емолину прямые, плохо гнущиеся ладони и ушли. Емолин, садясь в коробок, проговорил:

— Метательные ребята. Не сидится дома-то.

После обеда напились квасу и отправились. Соломиных запряг лошадь в широкую ирбитскую телегу, навалил охапки три травы, на траву бросили инструменты в длинных, из верблюжьей шерсти тканных мешках. Лошадью правила жена Соломиных и всю дорогу ворчала на мужа:

— Шляется бог знат куда... Диви работы дома не было б...

Соломиных сидел на грядке, свесив ноги. Испачканные дегтем придорожные травы хлестали по сапогам.

Беспалых излагал надоевшую всем историю, как он жил в германском плену.

— Били-и... — вскрикивал он по-бабьи. — Вот, черти, били-и...

Кубдя съязвил:

— Ум-то и выбили...

— У меня, паря, не выбьешь! Душу вынь, а ума не достанешь.

— Далеко?

— Дальше твоей избы...

Кубдя расхохотался. Баба хлестнула вожжой лошадь.

— Ржут, треклятые! Все на дармовщину метят. Нет чтоб землю пахать!

— Мы мастеровые, — сказал Горбулин, — ты небось без кадушки-то сдохнешь.

Баба раздраженно проговорила:

— Много мне мужик-то кадушек наделал. Кому-нибудь, да не мне. Так, околачиваетесь вы... Землю не поделили...

Баба всегда провожала Соломиных так, как будто хоронила; затем, когда он приносил деньги, покупала себе обновы и смолкала. Поэтому он сквозь волос, густо наросший вокруг рта, бормотал изредка:

— Будет! Будто курица яйцо снесла, захватило тебя...

Горбулин поехал ради товарищей, и ему было скучно. Он пытался было пристроиться соснуть, но в колеях попадались толстые корни деревьев, и телегу встряхивало. Позади, в селе, остались мягкие шаньги, блины, пироги с калиной, — он с неприязнью взглянул на Кубдю и закурил.

Кубдя насвистывал, напевал, смеялся над Беспалых, — нос, щеки у него, усы быстро и послушно двигались.

Считали до Улеи десять верст. Леший их мерил, должно быть, или дорога такая, будто по кочкам, — плотники приехали в Улею под вечер.

Над речкой видны были избы, темные, с зацветшими стеклами. Старой работы и стекла и избы.

Через речку шаткий, без перил, деревянный мост упирался в самый подъем горы, заросший матерым лесом. Направо по ущелью — луга. По ним платиновой ниткой вшита Улейка.

Монастырь, опоясанный низкой каменной стеной, задыхается в соснах и березах, одна белая беседка выскочила и повисла над обрывом в кустах тальника и черемухи.

— Стой, — сказал Кубдя.

Плотники соскочили на землю. Кубдя сказал:

— Поздно будет бабе-то ехать. Много ли тут — пешком дойдем. Пусть едет домой.

Соломиных согласился:

— Пущай.

И сказал бабе сердито:

— Поезжай, дойдем.

Жена заворотила лошадь и, отъезжая, спросила:

— В воскресенье-то придешь, али к тебе приехать?..

— А приезжай лучше, — прогудел Соломиных.

Кубдя задорно крикнул:

— Гостинцев вези!

— Лихоманку тебе в зоб, а не гостинцев!.. Но-о!..

— Ишь бойкая!.. Кумом не буду...

— Видмедь тебе кум-то!..

III

Мешки и одежда лежали на траве грязной кучей.

Горбулин смотрел на них так, как будто собирался лечь и сейчас уснуть. Всех порядком потрясла корнистая дорога, и все с удовольствием притискивали подошвами густо-зеленую траву.

Кубдя посмотрел на монастырь и довольным голосом проговорил:

— Доехали, лихоманка его дери! Ишь, на самый подол горы-то забрался, чисто у баб оборка... На зеленое — красным...

Соломиных деловито спросил:

— А квартера там какова? Говорил подрядчик, Кубдя?

— Квартера, говорит, новая. Не живашая.

— Таки-то дела...

Соломиных взял под мышки копошившегося у мешков Беспалых и вывел его на дорогу.

— Пошли, что ли?

Беспалых отскочил в сторону.

— Обожди! Поись надо...

— Растрясло тебя. Не успел приехать — уж исть.

На Кубдю словно нашло озарение. Он весь как-то передернулся, даже дабовые штаны пошли волнами, и ковким молодым голосом воскликнул:

— Эй, ломота!.. Али к черту этому старому, Емолину, сегодня идти?.. А ну его! Ночуем здесь, а завтра пойдем. Хоть там и квартера новая, и изба срубленная, свежая, а нам — наплевать, понял?

Выслушали Кубдю, и Соломиных проговорил:

— Проситься у кого, что ли, будем?

— Как мы есть теперь шпана, — сказал Кубдя с удовольствием, — то теперь нам в избу лезть стыдно.

— Под голым небом ночевать, что ли?

Кубдя по-солдатски вытянулся, и корявое его лицо с белесыми бровями потекло в несдерживаемой улыбке.

— Так точно! — весело выкрикнул он.

Беспалых сидел на траве и оттуда вставил:

— Замерзнем, паря!

Горбулин не любил ночевать в новорубленных избах и нехотя сказал:

— Не замерзнем.

Два часа назад, в селе, такое предложение показалось бы им не стоящим внимания, но сейчас все сразу согласились.

Кубдя повел их на площадь, к берегу речки. У Соломиных, когда он расстался с домом, бабой и лошадью, словно прибавилось живости, — он шел с легкой дрожью в коленках.

За ними, изредка полаивая, костыляли три деревенские собаки, и видно было по их хвостам и мордам, что лают они не серьезно, а просто от скуки.

Плотники легли на траву, домовито крякнули и закурили. Подходили к ним мужики из деревни.

Уже знали, что пришли они в Улею строить амбары, и все расспрашивали об Емолине, об его хозяйстве, и никто не спросил, как они живут и почему пошли работать.

Беспалых обозлился и, когда один из расспрашивавших, особенно липкий, отошел, крикнул ему вслед:

— А работников и за людей не считаете, корчу вам в пузо!..

Кубдя свистнул и пошел за сеном и ветками для постелей. Соломиных принес валежнику и охапки сухих желтых лап хвои.

— Хвою-то куда, коловорот?

— Заместо свечки.

Плотники зажгли костер и поставили чайник. В это время мимо костра пробежала, тонко кудахтая, крупная белая курица. Горбулин вдруг бросился ее ловить...

Гуще спускалась мгла. В речке плескалась рыба, по мосту кто-то ходил — скрипели доски. В деревне — молчание: спали. Кусты словно шевелились, перешептывались, собирались бежать. Пахло смолистым дымом, глиной от берега.

Горбулин, похожий в сумерках на куст перекатиполя, бесшумно догонял курицу. Слышно было его тя-

желое дыхание, хлопанье крыльев, испуганное кудахтанье.

Вышел из ворот учитель. У костра он остановился и поздоровался. Фамилия у него была Кобелев-Малишевский. У него все было плоское — и лицо, и грудь, и ровные брюки навыпуск, и голос у него был ровный, как-то неуловимый для уха.

— Кто это там? — спросил он, указывая рукой на бегавшего Горбулина.

Кубдя бросил охапку хвои в костер. Пламя затрещало и осветило площадь.

— Егорка. Наш, — нехотя ответил Кубдя. — А тебе что?

— Курицу-то он мою ловит.

Кубдя ударил слегка колом по костру. Золотым столбом взвились искры в небо.

— Твою, говоришь? Плохая курица. Видишь, как долго на насест не садится.

Подошел Горбулин с курицей под мышкой. Оба они тяжело дышали.

— Дай-ка топор, — обратился он к Кубде.

Учитель положил руки в карманы и омрачившимся голосом сказал:

— Курица-то моя.

— Ага? — устало дыша, проговорил Горбулин. — А мы вот ей сейчас, по-колчаковски, башку долой.

Учитель хотел ругаться, но вспомнил, что в школе сидеть одному, без света и без дела, скучно. В кухне пахнет опарой, в горнице геранью; на кровати кряхтит мать, часто вставая пить квас. Ей только сорок лет, а она считает себя старухой.

Кобелев-Малишевский скосил глаза на Соломиных и промолчал.

Соломиных, поймав его взгляд, сказал:

— Садись, гостем будешь. Счас мы ее варить будем.

Беспалых, видя, что хозяин курицы не ругается, схватил ведро и с грохотом побежал по воду. Черпая воду и чувствуя, как вода, словно живая, охватывает его ведро и тащит, он в избытке радости закричал:

— Ребята! Теплынь-то какая, айда купаться.

— Тащи скорей! Не брякай, — зазвучало у костра.

Кобелев-Малишевский снял пальто и постелил его под себя.

— Работать идете? — спросил он.

— Работать, — отвечал Соломиных.

— Слышал я. Емолин сказывал, что нанял вас. Дешево, говорит, нанял. Мерзостный он человечишка, запарит вас.

Соломиных грубо сказал:

— Не запарит. А тебе-то что?

— Мне ничего. Жалко, как всех.

— Жалко, говоришь?

— Такая порода у меня. У меня ведь дедушка из конфедератов был, сосланный сюда. Ноздри рваные и кнутом порот.

— За воровство, что ли? — спросил Кубдя, вороша костер. — Раньше, сказывают, за воровство ноздри рвали.

— Восстание они устраивали, чтобы под русского царя не идти. Поляки.

— Это как сейчас с чехами?

Учитель подождал чего-то, словно внутри у него не уварилось, и сказал:

— И фамилия моя — Малишевский, польская по деду. А Кобелев — это здесь в насмешку на руднике отцу прицепили, чтобы было позорнее. Был знаменитый генерал Кобелев, который Туркестан покорил и турок победил.

— Скобелев, а не Кобелев, — сказал Кубдя.

— Ты подожди. Когда он отличился, тогда ему букву «с» царь и прибавил. Чтобы не так позорно ему было в гостиные входить. Мобилизовали меня на германскую войну, тоже я мечтал отличиться и фамилию свою как-нибудь исправить. Не пришлось. Народу воюет тьма, так, как вода в реке, — разве капля что сделает? Ранили меня там в ногу, в лазарете пролежал, и уволили по чистой.

Соломиных повернулся спиной к огню и проговорил:

— И пришел ты Кобелевым.

— Видно, так и придется умереть.

— Царя вот дождешься — и сделает он тебя Скобелевым.

— Царя я не желаю, как и вы, может быть. Я ж вам сказал, что жалостью ко всем наполнен, и это у меня родовое. Вот ребятам в школу ходить не в чем — жалко, бумаги нет, писать не на чем — жалко, живут люди плохо — тоже жалко...

Малишевский долго говорил о жалости, и ему стало действительно жалко и себя, и этих волосатых, огрубе-

лых людей с топорами. Он начал говорить, как его воспитывали, и как его никто не жалел, и сколько из-за этого у него много хороших дней пропало, и, может быть, он был бы сейчас иной человек. И Кобелеву-Малишевскому хотелось плакать.

Беспалых взял ложку и попробовал суп.

— Рано еще. Пущай колобродит.

Он развязал мешок и достал ложки. Самую чистую он подал Малишевскому. Беспалых нарезал калачей и, положив их на полотенце, снял с огня котелок. Кубдя подбросил хвои.

Плотники, дуя на ложки, стали есть. Учитель отхлебнул немного из котелка и отодвинулся.

— Что ты? — сказал Соломиных. — Ешь.

— Сыт. Я недавно поужинал.

Кобелев-Малишевский смотрел, как сжимаются их поросшие клочковатым волосом челюсти, пожирая хлеб и мясо, и ровным голосом говорил:

— Монастырь построили, чтобы молиться, а вы в него не ходите. Бога только в матерках упоминаете, ни религии у вас нет, ни крепкой веры во власть. И кто знает, чего вы хотите. Повеситься с такой жизни мало. Как волки, никто друг друга не понимает. У нас тут рассказывают... Пашут двое — чалдон да переселенец. Вдруг — молния, гроза. Переселенец молитву шепчет, а чалдон глазами хлопает. Потом спрашивает: «Ты что это, паря, бормотал?» — «От молнии молитву». — «Научи, может, сгодится». Начал учить: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое...» — «Нет, — машет рукой чалдон, — длинна, не хочу». Все покороче хотят, а жизнь-то и так с птичью любовь.

Учителю обидно было, что плотники ели его курицу и не благодарили; обидно, что на него не обращали внимания; обидно, что из города не слали три месяца жалованья.

Он сидел перед огнем и говорил совсем не то, что хотел сказать. Похоже было, что за него кто-то сзади говорит, а он только шевелит губами.

Плотникам же мерещилось, что они голые идут в ледяной воде — и нет ей ни конца, ни края.

Трещала, сгорая, хвоя. Повизгивая, лаяли собаки за огнем, — им туда, в темноту, бросил Горбулин кости и куски.

Соломиных закрылся тулупом с головой и что-то неразборчиво мычал. Не то он спал, не то говорил. Беспалых и Кубдя лежали на боку, курили. Лица у них были красные.

Малишевскому никто ничего не отвечал. Уголек упал к нему на колено, он пальцем сбросил его и стал говорить о любви.

Горбулин ушел, и скоро по ту сторону костра из тьмы вышла его приземистая фигура и за ним три лохматых пса. Он усадил их в ряд, поднял руку кверху и пронзительно заорал:

— Ну-у!..

Собаки подняли передние лапы и сели на задние. Морды у них были измученные, и видны были их белые клыки. Малишевскому стало страшно.

Горбулин подсел к собакам рядом и, закатывая глаза, завыл по-волчьи:

— У-у-у-о-о-о!..

Сначала одна, потом вторая собака, и наконец все три затянули:

— У-у-у-о-о-о!..

И Кобелеву-Малишевскому казалось, что сидят это не три собаки и человек, а все четыре плотника и воют, не зная о чем:

— У-у-у-о-о-о!..

Внутри, на душе, что-то непонятное и страшное. Малишевский вспомнил — сибиряки не любят ни разговаривать, ни петь, и ему стало еще тоскливее.

— Ты гипнотизер, — сказал он, подходя к Горбулину.

Горбулин потянулся к нему ухом.

— Не слышу.

Кобелев-Малишевский повторил:

— Гипнотизер ты.

Горбулин завыл еще протяжнее:

— У-у-у-о-о-о!..

Собаки с красными, остекленевшими глазами вторили:

— У-у-у-о-о-о!..

Кубдя с размаху вылил ведро воды на костер. Огонь зашипел, пошел белый пар — словно в середину желтого костра опустился туман.

Малишевский пошел прочь от костра.

IV

Амбары рубили позади пригонов, где начинался лес и камень. По бокам — сосны, а сзади — серые, сырые на вид камни.

Дальше шли горы, — если влезть на сосну, увидишь белые зубы белков. Прямо упирались в глаза пригоны, за ними монастырские колокольни с куполами, похожими на приглаженные ребячьи головки, чистые строения.

Спали плотники в избе, срубленной недавно, рядом с пригонами. По вечерам неослабным говором, мерно и жутко отдававшимся в горах, били в колокол.

Плотники в это время играли в карты, в «двадцать одно».

Емолин у работы был совсем другой, чем в селе. И строже, и как-то у места.

Ходил быстро, длинный, как сосна, в рыжем зипуне и, спешно перебирая тонкими, словно бумага, губами, вкрадчиво и строго поторапливал:

— Вы живее, вопленики!..

Отвечать ему не желали, только Беспалых это нудило.

— Иди ты подале, кила трехъярусная!..

Емолин опалял постройку взглядом и смолкал, а через минуту, словно в недуге, опять говорил:

— Пошевеливайся мясом!..

Рубили углы амбара в лапу: бревна без выпуска концов, как тесовые ящики. Так хоть дерево бережется, но в избе холоднее.

Кубдя настоял, чтоб хоть наставляли стык бревна в зуб: конец на конец, стесав оба накось и запустив один в другой уступом.

— Эх, рубители! — вскрикивал Кубдя.

Гнулись в единых взмахах мокрые спины. Под один гуд тесались бревна.

Звенели дрожью, отсвечивая на солнце, большие, похожие на играющих рыб топоры. Бледно-желтые, смолисто пахнущие щепы летали в воздухе, как птицы.

Емолин ходил вокруг, неизъяснимо улыбался и говорил сказками:

— Столяры да плотники от бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели.

Натирая «нитку» мелом, Беспалых отвечал:

— Кабы не клин да не мох, так бы и плотник издох!.. Уйди, человечий наструг, зашибу!..

Семисаженные мачтовики и трехсаженные кряжи лежали, тесно прижавшись желтой корой друг к другу.

На коре выступала прозрачная смола, и бревна пахли мхом.

Емолин не любил, когда курят.

— Надо скорей катать.

Плотники усаживались на бревна, закуривали и начинали разговаривать. Емолин ходил мимо, одним глазом смотрел на них, а потом, как гусь, заворачивал набок голову и смотрел в небо.

— Солнце высоко, ребята.

Сюда, в Улейскую обитель, забросило их, как перо ветром: везде, говорили, народ бунтуется и хочет свою, крестьянскую власть. Это говорили и приезжие мужики, и бабы, привозившие провизию, и Емолин твердил:

— Сруб кончите, запишемся в дружину «креста» — и айда большевиков крыть!..

Соломиных гудел что-то под нос, гудело под ним бревно, а Кубдя неожиданно спросил:

— У тебя баба брюхата?..

— На кой тебе ее, брюхату, надо?

— К тому, что скоро брюхатых мобилизовать будут. Народу не хватат.

Емолин качнул головой.

— Дурак ты, Кубдя, хоть и большой человек. Брякнешь зря.

— Ей-богу!.. Они такой-то народ боятся брать, бунтуют. А брюхаты как раз, как забунтует, так и скинет.

— Порют вас мало.

— На чей скус...

Плотники оставили топоры и хохотали.

— Уходи лучше, драч, уходи!..

Емолин хвалился:

— Донесу милиции: против правительства идете.

Плотники хохотали:

— Донеси только — нос отрубим.

Однажды пришел из лесу настоятель. Емолин перед тем матерно выругал Беспалых и, увидев настоятеля, согнулся, сделал руки блюдечком и подошел под благословенье.

На плече у настоятеля лежали удилища и в правой руке — котелок с рыбой. Он поставил котелок на землю и благословил Емолина.

— Как работаете?

— Ничего, слава богу, отец игумен.

Беспалых ударил топором в бревно и пропел вполголоса:

— Отец игумен вокруг гумен...

Монах, должно быть, услыхал. Он пошевелил удилищами на плече. Был он сегодня недоволен плохим уловом и сказал строго Емолину:

— А плотники-то твои, сынок, развращеннейший народ.

Емолин в душе выругался, но снаружи вертляво обошел вокруг монаха и заискивающе сказал:

— По воспитанию знаете, отец игумен.

У игумена была черная ровная борода, казавшаяся подвешенным к скулам и подбородку куском сукна.

Кубдя посмотрел ему в бороду и подумал: «Вот нетяг: ни на работу, ни на шутку!»

И неожиданно игумен бросил удочки на землю, как-то сразу пожелтел и, взмахнув широкими рукавами рясы, закричал на Емолина:

— Молчать!.. Не разговаривать, сукин сын!.. А-а?

Емолин испуганно попятился, плотники взглянули на его сразу осевшую фигуру и захохотали. Монах обернулся к ним, подскочил к срубу, плюнул и крикнул:

— Прокляну, подлецы!..

И, не подобрав удочек и ведерка, ушел, издали похожий на колокол.

Емолин смущенно сморщился и нерешительно протянул:

— Вот нрав.— Немного погодя добавил:— Стерва, а?..

Плотники оставили топоры и хохотали.

За удочками пришел тонкий и длинный, похожий на камышинку монашек в облезлой бархатной скуфье и ряске из «чертовой кожи».

— Что ты, монах будешь? — крикнул ему Горбулин.

Монашек застенчиво ответил:

— Рясофорный я... не пострижен...

— У те чо, молоко-то бугаи эти высосали, — ишь ведь, как холстина!

— Они высосут! — подхватил Беспалых.

Монашек покраснел.

Плотники осмеяли его, и он, заплетаясь длинными ногами в больших сапогах, потащил удочки и котелок.

Емолин долго ругал игумена, а потом набросился на плотников. Кубдя послал его к «ядреной бабушке», и подрядчик смолк. С городскими рабочими он поступил бы круче, но эти могли бросить работу и уйти.

Говорили, что в Алтае ездят карательные отряды и усмиряют крестьян.

Теперь впереди карателей шло темное и страшное, что обрушивалось часто на «большевицкие» деревни и хоронило в огне и крови роптавших.

Но и каратели не появлялись по одному. Из леса стреляли поодиночке и, подстрелив, прибивали гвоздями к плечам погоны, а потом бросали посреди дороги — на страх и поучение.

На Зосиму — Савватия-пчельника Кубдя сказал Беспалых:

— Завтра — крышка!

— Чего? — не понял тот.

— Не работаем.

Беспалых подумал и недоумевающе вздернул плечи.

— Не пойму, парень.

— Зосим — Савватий...

— Ну?

— В Улее престол.

Беспалых даже подпрыгнул.

— Вот черт! А я и забыл. Идем, что ли?

Кубдя посмотрел вверх. Редкие, прозрачные облака, как кисея, застилали небо. Ниже они падали на тайгу.

— Люблю охоту... Айда пополюем.

— Ружья нету.

— Соломиных привез берданку.

— Не даст.

— Даст. Он в гости идет, с утра завтра, с Горбулиным вместе, — на престол, в Улею.

Беспалых поддернул штаны, быстро высморкался и пошел просить берданку.

Наутро день был чистый, чуть ветреный. Кубдя и Беспалых надели на лицо и шею сетки от комаров, зарядили берданки и спустились к речке.

В тальнике ветра не было; тонким, неперестающим звоном пел комар, пролетал через сетку и яростно ку-

сался. Под ногами, хрустя, ломались гнилые сучья, пахло илом, осокой.

Река казалась иссиня-черной, а мелкий песок — желтым.

— От солнца, — сказал Кубдя.

В речных тихих затонах, в опоясках камыша, было много дичи. Они стреляли. Кубдя всегда влет, а потом Беспалых снимал штаны и лез в воду. Лопушники хватали его за ноги, он фыркал и кричал Кубде:

— Егорка! Утону!

Кубдя, грязный, весь в пуху, сиял на берегу своим корявым лицом, отвечая:

— Ничиво. Монастырь близко: сорокоуст закажем.

Если утка была не добита, Беспалых перекусывал ей горло и говорил:

— Обдери душеньку свою.

Уже отошли далеко от монастыря. Виднелись белки с синими жилками речушек.

— Пойдем назад, — сказал запыхавшийся Беспалых. — Куда нам их бить, обожраться, что ли...

Кубдя лез через камыш, чавкая сапогами в грязи, и неторопливо покрикивал:

— Еще, Ваньша, немного еще...

Беспалых плюнул и сел на корягу.

— Не пойду, — сказал он.

Кубдя пошел один. Скоро где-то в камышах грохнул выстрел. Беспалых хотел пойти, но удержался. «Ну его к черту, — подумал он, — с ним не выйдешь».

— Егорка-а!..

— Ну-у?..

— Сюда иди-и, ха-ле-ра-а!..

Кубдя не откликнулся. Беспалых хотел закурить, но вспомнил про сетку и выругался. Тогда он стал думать, нужно ему жениться или еще рано. Уже двадцать четыре года, а парень не женат.

«Пора уже», — решил он.

На елани трава была под мышки, и Беспалых не было видно на коряжине, он решил отдохнуть и отправиться один. Беспалых прислонился головой к дереву, под голову положил утку, ружье в ноги и закрыл глаза.

Разбудил его Кубдя. Он стоял перед ним и, дергая его за рукав, улыбался:

— Буде, выспался, пойдем на престол.

V

Кубдя был доволен и охотой, и разыгравшимся теплым днем, и ломотой в пояснице с устатка. Шагая мимо сырых стволов осин, он посвистывал и, смеясь, оглядывался на вяло тащившегося сзади Беспалых.

Беспалых, как и всегда после сна на солнце днем, распарило, и во рту его неприятно сластило.

— Айда домой, — сказал он, перебрасывая уток с руки на руку.

— Нельзя, надо бога вести как следует: осмеет народ.

Они, как и все сибиряки, редко заглядывали в церковь, но не попьянствовать во время праздника считали грехом.

С утра густо дымились трубы: жирным черным пятном полз дым в небо. Сразу было видно, что пекут блины и шаньги. На скамейках у ворот сидели мужики и, покуривая, говорили о хозяйстве.

На них были новые, пахнущие краской ситцевые рубахи, — не измятые еще рубахи топорщились колом, и похоже, что одели мужиков в бересту.

Парни ходили в ряд под гармошку по деревне.

Испорченная гармошка врала. Они же молча изгибались из стороны в сторону, лица у всех были серьезные, и не верилось, что идут пьяные люди, далеко пахнущие самогонкой.

За парнями, тоже в ряд, как утята за маткой, шли девки в ярких кашемировых платьях и голосисто пели:

Я иду-иду болотинкой,
Машу-машу рукой, —
Чернобровый мой миленочек,
Возьми меня с собой.

Кубдя и Беспалых бросили уток к учителю в сени.

Хотели снять ружья, но Беспалых сказал:

— Возьмем для близиру: хоть штаны рваны, а берданку имеем.

Умылись, повесили ружья за плечи; Беспалых переобул для чего-то сапоги, потом вышли на улицу, поздоровались с парнями и пошли в ряд, под гармошку.

Гармонист шел в середине и, втянув губы в рот, так нес гармошку и с таким видом играл, словно научился и приобрел впервые ее. Солнце отсвечивало на

жестянках клавишей, на кругленьких колокольчиках гармошки.

Под ногами гнулась молодая трава, из палисадников пахло черемухой, а на маленькой церковке торопливо, под «камаринского», трезвонили:

— Ту-лю-лю-ли-бо-ом!.. Бом!.. Бэм-м...

Когда так молчаливо и с удовольствием прошли две улицы, гармонист предложил:

— Айдате к Антошке?

Пискливый голосок из ряда сказал:

— Айдате.

Парни свернули к Антошке Селезневу.

Антон Селезнев, высокий и строгий мужик лет пятидесяти, встретил их у ворот. На нем был синий пиджак и штаны, вправленные в лаковые сапоги. Окладистой русой бородой, гладко причесанными, в скобу, волосами он тряхнул так самодовольно, что все ласково улыбнулись.

Он считался в селе всех богаче, и его всегда выбирали в церковные старосты, — поэтому-то он сегодня и угощал всех.

Селезнев провел парней к крыльцу, зашел в сени, постучал чем-то деревянным и проговорил:

— Заходи.

Парни один за другим заходили, выпивали по кружке самогонки, брали в руку пирог с калиной, — и кто был этим удовлетворен, тот выходил за ворота.

Кубдя выпил подряд две кружки, вышел на крыльцо, сел, откусил кусок пирога. К нему подошел петух, рыжий, с одним глазом.

Кубдя бросил ему корку, петух посмотрел пренебрежительно и тихонько отодвинулся. Беспалых чуть улыбнулся.

— Не ест, — сказал он. — Нравный.

Селезнев вышел с глиняной кружкой в руке и спросил:

— Еще, паря, не хочете?

Беспалых повел плечом.

— Потом, Антон Семеныч. У те петух-то пошто хлеб не ест?

— Время знат. Он у меня утром да вечером ест только. Два раза напрется — и ничего.

— Терпит?

— Не жалуется.

— Чудна Русь! — воскликнул Беспалых. — А самогонка у те добра. Табаку мешаешь, что ли?

— Ничего не мешаю, — сказал Селезнев, хозяйственно оглядывая двор. — У тебя что, голова болит?

— Не болит, а кружится.

Кубдя сказал:

— С большой ходьбы.

— Полевали? — лениво спросил Селезнев.

— Полевали.

— Бы-ват, — протянул Селезнев и замолчал.

Молчали так, словно вели большой и важный разговор. Селезнев выпил самогонки и выхлестнул остатки на землю.

— Пью, пью ее, — сказал он, — а не берет. Даже злюсь.

Беспалых посоветовал:

— А ты на голодно брюхо пей.

— На сахатого лихоманку напустить хочет. Ха-а!.. — рассмеялся Кубдя не столько над Беспалых, сколько над собой: голова его начала медленно и весело наполняться туманом.

Селезнев сел на крыльцо, свернул папироску.

— Робите? — полунасмешливо спросил он.

— Робим.

— Та-ак... Али дома места нету? Земля высохла?

Беспалых стукнул себя кулаком в грудь:

— Потому, мы странники!.. Разжевал, Антон Семеныч?

— Валяй в охоту тогда; что к чужому человеку в кабалу лезть? Не вникну я в вас. Чужую грязь гатить?.. Что проку-то?..

Кубдя с остановившимся, пьянящимся взглядом взял под мышки Селезнева.

— А ты, мил друг, не дури. Сам знаешь, с каких доходов на работу идешь. Потому-у: тоска-а!.. Был, я скажу тебе, в германскую войну, в Польше был, в Германии был, — и он, и он — все!..

Кубдя указал на Беспалых и еще на кого-то в ворота.

— Посмотрели: во-от народ... Живут, скажу тебе, робют. Чисто, сухо, кругом машина. Он тебе и человека убивать машину придумал таку — по воде и по воздуху, не говоря обо всем прочем.

— Не ври хоть...

— А ты переври лучше. Поработал он тебе в силу и отдыхает.

— А тебе плохо?

— Плохо?! — Кубдя разозленно заговорил: — Недовольны мы, понял? Желаем жить — чтобы в одно за всеми, а не у свиньи хвост лизать. Вот тебе, дескать, мамкина сиська. И с такого положенья встосковали мы!..

— Не все сразу. Скоро-то, знаешь, насчет кошек говорят...

— Зря говорят! Ленив человек-то, ленив, стерва! Ему бы все в пузе ковырять да брата своего вылаять. Нет, ты прожгись через работу-то да выплачься — вот и поймешь, на какое место заплатку ставить надо.

— А ты научи.

Кубдя соскочил с крыльца и, пошатнувшись, рассмеялся:

— Сам-то во тьме иду.

— Свечку надо?

— Не из твоей ли церкви?

Селезнев провел рукой по бороде от горла к носу и ухмыльнулся глазами:

— Свечки-то все одинаковы, лишь бы светили. Ты думаешь — с такой, а я — с другой, а к месту-то одному придем.

— К одному ли, Антон Семеныч?

Кубдя подхватил Беспалых под руку и пошел.

— Сиди, — сказал Селезнев.

— Пойдем лучше, проветримся. А то парень-то скис, — сказал Кубдя.

Селезнев шумно вздохнул и возвратился в горницу.

Тут сидели и пили самогонку гости из соседней деревни: маслодельный мастер — жирный, лысый, как горшок, мужик; мельник, как и все мельники, большой любитель церковного чтения и большой бабник, со своей дочкой; священник с дьячком.

Жена Селезнева, широколицая, высокая баба, наливала гостям самогонку в рюмки и, колыхаясь перетянутым животом, говорила:

— Кушайте, не стесняйтесь, кушайте...

В избе было жарко. Пахло зерном прелым — от самогонки, хлебом, геранью, табаком.

Мельник пронзительно, словно в избе шла мельница о шести поставах, спорил с попом и дьячком о двоеперстном крещении.

Попу хотелось спать, но уйти было неловко, и он отпихивал от себя рукой мельника.

— Уйди ты от греха, уйди!..

— Я те докажу! — кричал мельник. — От закона божия докажу, от катехизиса, от всяких, всяких!.. Сознаешь?..

Псаломщик потрогал за плечо мельника.

— Что ты одно и то же затвердил? Ты факты приводи, а криком-то и дурак возьмет, да!..

Маслодельный мастер спорил со всеми тремя и, не слушая ни их, ни себя, бубнил:

— Поп! Хошь у те и рыло и брови, как у пророка, а я тебя не желаю слушать, так как моя душа самого меня хочет слушать! У всякого человека есть внутри свой соловей... А ты мне там про Священно писанье!..

Мастер поднял вверх руки и басом заорал:

— Благослови, владыко-о!..

Псаломщик отскочил от попа и умильно взглянул на Антона.

— Блистательно народ живет.

Антон чувствовал усталость во всем теле.

Была долгая утреня и обедня, причем нужно было стоять впереди всех и, ощущая на себе взгляды, кланяться и креститься особенно истово и неторопливо; работник куда-то скрылся, и нужно было самому гнать лошадей к водопою, дать им сена.

И брала злость, а не хотелось ради праздника злиться.

Селезнев взял псаломщика за плечи, усадил рядом с собой и сказал:

— Ну, рассказывай, Никита Петрович.

Псаломщик повел высохшим лицом во все стороны и сказал:

— Домовитый вы, Антон Семеныч.

— Иначе нельзя.

— У нас в России не так.

Антон взглянул на него оживившимся мыслью взглядом.

— Знаю. Бывал.

Псаломщик стиснул зубы и вздохнул так, словно выпустил душу.

— Тоже хочу хозяйством обзавестись.

— Без хозяйства человек — ветер.

— А дальнейшее само собой, а?

— Что?

— Ну жизнь?

Псаломщик хитровато уставился на крупного чернобородого человека и подумал: «Крупен, дядюшка. А и плутень тоже».

Антон устало проговорил:

— Кто как хочет, тот и строит свою жизнь-то.

— А бог?

— Бог для ночи нужон. С ним дневать не приходится.

В это время к Антону подошла баба и сказала:

— Там те, мужик, спрашивают.

— Кто?

— Милиционеры, что ли. С ружьями, на паре приехали. У ворот.

Селезнев взглянул на ее побледневшее лицо и недовольным голосом проговорил:

— А ты уж скисла.

И, поскрипывая сапогами, мелким шагом вышел к милиционерам.

Их было двое. Они сидели в коробке и о чем-то разговаривали между собой. Каурые лошади утомленно отгоняли хвостом жужжащих мух.

Ямщик — молоденький мальчишка — смотрел на что-то у колес.

Селезнев подумал, что милиционеры свернули выпить, и он решил их угостить получше.

— Заворачивайте, — сказал он.

Милиционеры взглянули на него. Один из них был на городской манер — бритый, без усов и бороды, второй, совсем молодой, с начесанным на фуражку курчавым хохолком волоса.

Милиционер постарше сказал:

— Ты Антон Семеныч Селезнев?

И то, что сказал он эти слова так, как их говорят на суде, не понравилось Антону. Он сказал:

— Я самый.

Милиционеры переглянулись и, перегибая коробок, вылезли направо.

К коробу сбирался народ — парни, девки.

Старший милиционер оглянулся и увидел Кубдю и Беспалых с ружьями.

— Разрешенья есть? — спросил он все так же строго.

— Много, — весело отвечал Кубдя.

Милиционер потрогал кобуру у пояса, и говорить такие холодные, протокольные слова ему, должно быть, очень понравилось. Он сказал:

— Потом разберемся. Вы не уходите.

— Ладно, — сказал Беспалых. — Мы ведь здешние.

— А народ пусть разойдется. В свидетели охота? Где тут староста?

Вышел староста, заспанный мужик в сатинетовой рубахе без опояски.

— Я староста, — бабьим голосом проговорил он.

Милиционер с неудовольствием сказал:

— Дожидаться тебя приходится. Обыск вот надо произвести. Самогонку, говорят, курите?

— А кто их знат! — равнодушно ответил староста.

Милиционеры были городские, и при виде этих лохматых пьяных людей, узеньких линий глаз — где бог знает какие мысли прячутся — они вначале немного трусили.

Потом, увидав, как мужики торопливо расступились перед шинелями английского образца, пуговицами со львами и голубыми французскими обмотками, милиционеры развеселились и, вспомнив про свою трусость, осерчали.

Младший, не привыкший к ружью и постоянно поправляющий ремень, входя во двор, крикнул:

— Пьянствовать тут!..

Крик его походил на жалобу, и он смолк.

Аппарат для курения самогонки — два толстых глиняных горшка с рядом медных трубочек и жестяной холодильник — стоял под навесом, на телеге, накрытой кошмой.

Тут же стоял и бочонок с невыпитой самогонкой. Милиционер вытащил из кармана бумагу и чернильницу и начал писать протокол.

В толпе переговаривались:

— Ишь, хотят, чтоб цареву водку пили!

— Торговлю отбивашь, дескать!..

— И не говори.

Молоденький милиционер поджал губы и ссупил брови.

— Ишь, ты, задело!

— Не пьет!

Составив протокол, милиционер разбил ружьем горшки, прободал штыком холодильник и сломал медные трубки.

Мужики молчали.

Милиционер опрокинул на землю самогонку. Образовалась лужица, блеснула темноватая крыша пригона, и самогонку впитала земля.

Запахло горячим хлебом.

— Вот паскуда! — крикнул кто-то из толпы.

Милиционеру было жалко и самогонку и себя, совершающего такие нехорошие поступки; он рассердился:

— Молчать, чалдонье!

Милиционер помоложе ухватился за ружье.

— Всех переарестуем.

Толпа задышала быстрее и нажала на милиционеров. Им было тесно; старший милиционер начал ругаться по-матерному, второй испуганно глядел в пьяные, быстро мигающие лица.

Мужики нажимали.

В груди и бока милиционерам уперлись чьи-то твердые локти и руки. Пахло самогонкой и еще чем-то нехорошим — кажется, прелым камышом от повети.

Затрещал коробок у ворот.

Старший милиционер попробовал пройти — не пускают. Кругом глаза и теплое человеческое дыхание.

Милиционер помоложе вскрикнул, раздался его голос немного с хрипотцой. Его товарищ вдруг длинно, матерком каторжан, выругался.

Кто-то из толпы — вертлявый и маленький — выскочил и ударил его в зубы.

Милиционер горласто крикнул и выстрелил подряд три раза в толпу из револьвера.

Охнули.

Толпа расступилась.

Милиционеры, согнувшись, побежали к воротам.

Лица их вспотели, дрябло сморщились и иссиня побелели, как известка.

Они вскочили в коробок. Мальчишка-кучер гикнул.

Беспалых замахал руками.

— У-лю-лю-ю!..

И, сорвав с плеча ружье, выстрелил вслед им сразу из обоих стволов.

Один из милиционеров мотнул головой и нырнул в коробок. Ямщик на передке испуганно, по-бараньи, заверещал.

Кубдя снял берданку и выстрелил в воздух.

Коробок скрылся в переулок.

Мужики вышли из ограды с чувством большой беды.

У Беспалых обомлели ноги, он взглянул на Кубдю, и ему показалось, что Кубдя как будто доволен.

У Беспалых зашумело в ушах, и он быстро пошел в монастырь.

Кубдя догнал его на мосту и под стук каблуков в доски сказал ему прерывающимся голосом:

— Поохотились!..

Вечером Горбулин и Соломиных слушали, как Беспалых, задыхаясь и бегая по избе, рассказывал, как прогнали милиционеров.

Горбулин восторженно плескался руками в воздухе и поддакивал:

— Так их... так...

И было непонятно, почему так разбудилось это ленивое и сонное тело.

Соломиных сидел, поджав ноги калачиком, по-киргизски, и издали при свете сальника походил на божка.

Кубдя спал.

В монастыре протяжно пели.

В горах с шипом шумели кедры, и где-то далеко грохотало, должно быть «плакали белки», рушились льды ледников. Тьма зеленоватым кошачьим зрачком щурилась в окна.

В конце рассказа в сенях застучали. Кто-то долго шарил дверь. Беспалых смолк. Вошел Емолин и испуганно заговорил:

— Под суд подвели, сволочи! Кубдя, где Кубдя-то?

Беспалых сказал:

— Спит.

Емолин отскочил к дверям. Из темноты по-иному звучал его наполненный чем-то другим, не всегдашним, голос.

— Спит!.. Убил человека и дрыхнет. Вот каторжане, а! Господи, ну и угораздило меня связаться с ним! Теперь и меня-то из монастыря выгонят. А он дрыхнет. Буди, что ли, его, Егорша!..

Соломиных спросил:

— В самом деле убил?

— Наповал. Так в шею, братец ты мой, и всадил всю дробь.

— Дробью убил?

— И черт его угораздил!
Емолин подбежал и толкнул ногой Кубдю.
— Вставай ты, леший драный...
— Теперь вошьют, — сказал Соломиных, и Беспалых показалось, что говорит он, точно радуясь. — Или повесят, или расстреляют.
Беспалых стало жутко. Он взглянул в окно и отвернулся.
— Обоих?
— Може, и всех четырех.
— А нас-то с чего?
— Разбираться не будут.
Емолин дергал Кубдю и ругался:
— Вставай, каторжная душа, лихоманка. По-людски бужу, человеку тебя надо.
У Кубди кружилась голова, он присел на голбце, зевнул — в челюстях пискнуло.
— Что те, подрядчик, надо? — сказал он хрипло.
— Человек тебя спрашивает.
— Кто?
Емолин отошел к дверям и крикнул в темноту:
— Иди-ка сюда, Антон Семеныч!
Селезнев перекрестился и поздоровался. Кубдя взял ковш и с шумом напился.
— Ну, парень, и самогонка! — сказал он с удовольствием. — А ты что на ночь-то глядя пришел, дядя Антон?
Емолин сказал:
— Вот, клин тебе в глаз, еще спрашиват! Убил человека — и хоть бы что?
— Всем одна смерть, — сказал Кубдя, садясь на лавку.
— Ну, а я пойду, — торопливо сказал Емолин, — мне тут рук марать не приходится. Разбирайтесь сами, а только как хотите, а повесят вас.
— Повесят, — равнодушно подтвердил Соломиных.
Помолчали, сколько требуется по положению, и Кубдя спросил:
— Самовар, что ли, поставить?
— Не надо, — сказал Селезнев. — Я ведь ненадолго. К тому пришел — собираться вам надо.
Кубдя положил ногу на ногу и посмотрел в потолок.
— Наши сборы не долги. Куда идти-то?
— В чернь.

Беспалых переспросил:

— В тайгу?

Селезнев промолчал и немного спустя добавил:

— Как хошь, мне одно. Только вам уйти надо. Расстреляют колчаки-то. Я седла и тюки приготовлю, поди, под завтрашнюю ночь придут.

— Придут, — сказал Соломиных.

— В чернь, одно. Нам с этой властью не венчаться. Наша власть советская, хрестьянская...

Беспалых спросил:

— Думаешь, самогонку даст гнать?

Селезнев опять не ответил ничего и спросил:

— Как вы-то маракуете?

— Решили, что да, нужно идти в чернь.

Селезнев пошел к дверям так, словно поить лошадей — не торопясь, и у него была широкая, лошадиная спина с заметным желобком посредине.

Кубдя посмотрел на него с уважением и, когда он ушел, сказал:

— Здоровый, черт, и есть у него своя блоха на уме.

VI

Приземистый и краснощекий капитан Попов, начальник уезда в Ниловске, искренне был недоволен собой. В других уездах как будто ничего, а здесь — не то восстания, не то блажь.

— Балда! Бабища! — выругал он сам себя и велел денщику позвать прапорщика Висневского.

Возвращаясь к столу, он заметил, что нога у него как-то неловко косится. Он поднял ногу на стул.

Каблук скривился. Попов пощупал сапог. В таком положении и застал его прапорщик Висневский. Капитан, не глядя на него, сказал:

— Вот, говорят, деньги большие получаем. А сапог купить не на что.

Прапорщик считал себя очень вежливым и сейчас нашел нужным звякнуть шпорами и поклониться.

— Слышали? — спросил капитан, указывая пальцем на лежавшую на столе бумажку. — В Улее-то милиционера убили.

Прапорщик пожал крутыми плечами и подумал: «Меньше бы распускал их», — а вслух сказал:

— Пьяные. Не думаю на большевиков.

— Напрасно, — сухо сказал капитан. — В газетах сводки «На внутренних фронтах» появились. Это тоже, думаете, не большевики? Э-эх!.. Углубления в жизнь у вас недостает.

Прапорщик обиделся.

— Возьмите сорок человек из ваших и успокойте их там, в Улее. Да имейте в виду: не на пьяных поедете.

— Приказ письменный будет? — спросил прапорщик.

— Будет. Напишут.

Капитан сделал плаксивое лицо и шумно вздохнул:

— Эх, господи! Вот времена подошли: не знаешь, откуда и народ рассмотреть. Измаешься... Курите?

Прапорщик закурил и, довольный назначением, подумал: «А он не злой».

В обед на другой день отряд польских уланов под командой прапорщика Висневского выехал усмирять крестьян.

Уланы были взяты из польского легиона, стоявшего в Барнауле.

Все они знали хорошо эту землю, горы и крестьян, которых ехали усмирять. Большая часть из них раньше работала у крестьян, еще при царе, — по году, по два.

Некоторые из уланов, проезжая знакомые деревни, раскланивались с крестьянами.

Крестьяне молча дивовались на их красные штаны и синие, расшитые белыми шнурками куртки.

Но чем дальше они отъезжали от города и углублялись в поля и леса, тем больше и больше менялся их характер. Они с гиканьем проносились по деревне, иногда стреляя в воздух, и им временами казалось, что они в неизвестной завоеванной стране, — такие были испуганные лица у крестьян и так все замирало, когда они приближались.

Отъезжая дальше от города, уланы и с ними прапорщик Висневский чувствовали себя так, как чувствует уставший, потный человек в жаркий день, раздеваясь и залезая в воду. Там, у низеньких домишек уездного городка, осталось то, что почти полжизни накладывал на них город, — и уважение, и сдержанность, и еще многое другое, заставлявшее душу всегда быть настороже.

Все это сразу стерли в порошок и пустили по ветру бесконечные древние поля, леса, узкие, заросшие травой колеи дороги и возможность повелевать человеческой жизнью.

Все они были люди хорошие, добрые в домашнем кругу, и у всех почти были дети и жены, только прапорщик Висневский жил холостяком.

Прапорщик ехал впереди на серой лошади, заломив маленькую, похожую на пельмень шапочку, глубоко, с радостью дыша и воображая себя старым, древним паном.

Тонкоголовая лошадь с коротким, крепким крупом тоже чувствовала себя хорошо и, поигрывая мокроватыми желваками мускулов, шла легко и спокойно.

Вначале уланы ограничивались стрельбой в воздух, ловлей кур на ужин, но потом им это надоело, и они начали искать большевиков. Призывали старосту в поле и допрашивали:

— Кто большевикам сочувствует?

И спрашивали не в той деревне, где останавливались, а в соседней. Староста указывал, — тогда уланы ехали туда, арестовывали и пороли плетьми.

Взятые мужики указывали на других, и так, переезжая из села в село, уланы имели возможность оставлять по себе кровоточащие долгие следы.

Недалеко от Улеи поймали действительного большевика-кузнеца, раньше бывшего в городе красногвардейцем и бежавшего в деревню после переворота.

Кузнец был низенький человек с длинными руками.

Кузнеца отвели к поскотине и тут, у избушки сторожа, пристрелили.

В этом же селе уланы вечером надолго ушли куда-то и, возвратясь, многозначительно друг дружке подмигивали и хохотали. Но, как и везде, никто не жаловался.

Уже поздно вечером в разговоре прапорщик понял, что они насиловали девок, и это ему было неприятно, а вместе с тем и радостно знать.

Неприятно потому, что в городе насилия над женщинами не одобряли и за это мог быть порядочный нагоняй, а радостно потому, что прапорщику давно хотелось обнять здесь, на просторе, простую, пахнущую хлебом, деревенскую девку, а если не поддастся сама, то изнасиловать.

Прапорщику казалось, что все презирающие насилие лгут и самим себе, и другим.

На другой день приехали в Улею, — это было ровно неделя с того дня, как здесь убили милиционера.

Так же стояли темные избы, так же блистали радугой зацветшие стекла окон, улица была узенькая, как обшлаг сибирской рубахи, темная и прохладная.

На горе, как лицо девицы в шубном воротнике, тонул монастырь в лесу. По мосту постукивали копытцами овцы; пахло черемухой и водой от речки.

Мужики были на пашне. Висневский строго приказал старосте собрать их к вечеру, а сам прилег под навес на телегу и уснул.

Уланы зарезали у старосты овцу и стали жарить ее посреди двора.

От костра летели искры, староста боялся пожара, но ласково улыбался и семенил вокруг уланов.

На высокий забор вскочил с усилием, помогая себе крыльями, петух и кукарекнул.

Один из уланов прицелился и выстрелил. Петух, как созревший плод, грузно упал на землю. И тут староста ласково улыбнулся и проговорил:

— Ишь, ведь, убил.

Улан взглянул на притворявшегося старикашку, ему захотелось выстрелить в эту ровную, как столешница, грудь. Он отложил ружье.

Под вечер собрались мужики.

Прапорщик отобрал десять из них, самых страшных на вид, и велел посадить в избу, приставив часового.

Остальных мужиков уланы выпороли и отпустили.

Прапорщик спросил старосту:

— А те, которые убили, скрылись?

— Так точно, — ответил поспешно староста.

— И не знаешь где?

— Не могу знать.

Прапорщик выгнал старосту и велел позвать учителя.

— Садитесь! — сказал прапорщик Кобелеву-Малишевскому. — Очень рад познакомиться с культурным человеком!

Прапорщик не любил деревенских учителей, и от мужиков, по его мнению, они отличались только бритой бородой. Так и этот хлипкий и конфузливый человек ему не понравился.

Прапорщик угостил Кобелева-Малишевского маньчжурской сигареткой и спросил:

— Как вы живете в такой берлоге?

— Привычка!

Кобелев-Малишевский чувствовал свою застенчивость, и ему было стыдно. «Вот одичал-то!» — подумал он и затянулся крепче, а затянувшись, поперхнулся, но кашель превозмог.

— Ну, — недоверчиво проговорил прапорщик, — не могу поверить, чтобы к такому месту привыкнуть можно! У вас, наверное, другие причины есть.

Кобелев подумал, что прапорщик, может быть, подозревает его в большевизме, и торопливо сказал:

— Мамаша у меня на руках, братишки. А в городе, знаете, тяжело жить. Теперь в деревню тянутся.

— Да, в городе не легко. Понятно.

Прапорщик подумал, о чем бы еще поговорить, и спросил:

— А крестьяне не теснят вас?

— Да как сказать... Не особенно... Известно — тайга, народ, сами знаете.

— Бродяги все у вас. И жулики.

Прапорщик поднял кверху брови:

— Много здесь еще крови прольется.

— Много, — согласился поспешно учитель.

— А вы как, — не присутствовали тут... при безобразии-то?

— Нет, не пришлось.

— А кто убил, знаете?

Учитель подумал, что скрывать ни к чему, и так, наверное, мужики сказали, — он назвал плотников и Селезнева.

Прапорщик расспросил еще кое-что и спросил фамилию.

— Кобелев-Малишевский, — сказал учитель.

— Странная фамилия! — удивился прапорщик.

И тогда учитель начал излагать, каким путем образовалась эта фамилия. В конце рассказа он, как и всегда, разжалобился сам и, как ему показалось, разжалобил и прапорщика. Висневский сочувственно пожал ему руку и протяжно сказал:

— Да, невыносимо культурному человеку здесь жить.

Учитель выругал мужиков, вспомнил плотников — и тех тоже выругал, и сказал, протягивая руку с растопыренными пальцами к прапорщику:

— Вот пятеро, а против государства идут. Залезли, как сычи, на Смольную гору и думают — уйдут.

— Куда? — оживляясь, спросил прапорщик.

Учитель вдруг понял свою ошибку.

— Простите меня, — сказал он, побледнев.

Прапорщик озабоченно прошелся по горнице и, подойдя к учителю, взял его за талию.

— Ничего, — сказал он, — ну, проговорились — и ничего. Я не выдам вас. Я понимаю. С мужиками иначе как бы вы стали жить? Это хорошо.

Выходя от старосты, учитель испуганно и озадаченно спрашивал себя:

«Вот дурак!.. Вот дурак!.. Ну как ты это, а, как?»

И опасные, темные мысли торопливо заерзали в его мозгу.

Немного спустя прапорщик призвал старосту и сказал строго:

— Завтра ты меня поведешь на Смольную гору. Далеко тут? Смотри, у меня карта есть, не ври.

Староста, заминаясь, проговорил:

— Десять... верст...

Замирая сердцем, прапорщик подумал: «Есть... Не уйдут...»

А вслух заносчиво сказал:

— А пока я тебя арестую, понял? Садись тут и не двигайся.

Староста сел, поцарапал у себя за пазухой, зашептал что-то про себя и подумал: «А меня засолил, паренек».

Прапорщик почистил запылившийся национальный значок на левом рукаве и приказал денщику:

— Готовь ужин!

В день, когда прапорщик с уланами поехал ловить на Смольную гору бунтующих мужиков, эти пятеро скрывающихся людей — четыре плотника и Антон Селезнев из Улеи — тоже шли на Смольную гору ночевать, но только не со стороны Золотого озера, где ехали уланы, а с востока, по осиновой черни.

При всходе солнца было еще душно.

— К дождю, — сказал Селезнев.

Шли друг за другом, гуськом. Травы были по горло, ноги липли к тучной, влажной почве.

Тонко пахло узколистыми папоротниками и светлозелеными пучками, дикая крапива свивалась вокруг ног.

Подгнившие от старости темные осины, сломленные ветром, наполовину уткнулись верхушкой в большетравье, и приходилось идти под них, как в ворота.

Кубдя отвык ходить чернью и ругался:

— Тут пчела-то не пролетит, не то что человек. Что б озером-то пойти!

Селезнев обернулся и сказал:

— А мотри, парень, кабы озадков не было!

— А что?

— Всяк человек-то бродит. Вон поляки в Улею-то приехали. Баял я мужикам-то, айда, мол, в горы. Не хочут. Ну, теперь в тюрьме сиди.

— Кабы в тюрьме, — выкрикнул идущий сзади Беспалых, — а то пристрелят!

Селезнев быстро махнул рукой и поймал овода.

— Тощий паут-то, — сказал он, разглядывая овода, — зима теплая будет.

Беспалых воскликнул с сожалением:

— Эх! Пахать бы тебе, паря! За милую душу пахать. А ты воевать хочешь!

Кубдя пренебрежительно сморщился.

— Не мумли, Беспалых, словеса-то.

Селезнев полез через гнилой остов осины, обвитый хмелем. Остов хрустнул, поднялась коричневая пыль. Селезнев снял шапку с сеткой и потряс головой.

— Вот, лешак, весь умазался! Вы, робя, мотри под ноги-то, тут-таки пырбочки попадутся, неуворотному человеку — могила!

— Чтоб тебе стрелило!

Усталые, потные, покрытые пухом с осин и похожие оттого белизной бород на стариков, вышли они на елань, а оттуда ход шел в гору легкий.

Ель, пихта, черные пни прошлогодних палов; где особенно задевал пожар, там росла осина с березой, но тоже молодая, веселая.

С кряканьем пролетела над березняком в сторону красная утка-атайка.

— На воду летит, — провожая ее взглядом, сказал Соломиных.

Горбулину, пока шли, все казалось, что идут по следу

сохатого, сейчас он потянулся, и узенькие его глаза сонно блеснули.

— Скоро дойдем-то? — спросил он.

Беспалых рассмеялся:

— Посули ему озеро в рот!..

— А ты не гундось, кургузый! — обидевшись, сказал Горбулин. В минуты усталости он часто обижался.

Кубдя строго взглянул и сказал:

— А тут, ребята, не избу рубим, а свою жизнь. Надо лучше друг на друга-то смотреть. Нечего болтать!

Подниматься становилось все тяжелее...

Среди кедра и темно-зеленой пихты попались желтые поляны песчаных, с галькою, россыпей; серел покрытый мхом и лишайником камень.

Дул на россыпях ветер.

Селезнев снял шапку.

— Вспотел, как лошадь на байге, — сказал он и, крепко прижимая рукав к лицу, утерся.

По россыпи один за другим пробежали вихри, крутя хвою.

Селезнев блаженно улыбнулся:

— Опять к дождю, говорю, парни. Урожай ноне будет...

Он щелкнул языком, и Кубдя почувствовал смутно, нутром, его тяжелую, мужицкую радость. Кубде это не понравилось, и он усталым голосом спросил:

— Отдохнуть, что ли?

— Можно и отдохнуть. Тама-ка, за кедрой, глядень будет. Айдате!

Он свернул влево. Прошли мимо желтых, словно восковых, стволов сосен. Вышли на небольшую каменную площадку. Кубдя бросил суму и ружье и ухнул:

— У-у-у!..

— У-у-у-о!.. — далеко отбросило эхо.

— Вот местынь, — сказал Кубдя, — аж глазу больно!

И он, слегка наклонившись, будто сбираясь прыгнуть, глядел, пока Селезнев ходил куда-то за водой, а Горбулин раздувал костер.

Далеко внизу, зажатое меж гор, уходило Золотое озеро. Оно было синее, с желтоватым отливом, похожее на брошенный в горы длинный блестящий пояс.

Оторачивали озеро лохматые пихты, кедры. За озером в высокое бледное небо белыми клыками упирались белки.

А кругом — лес, вода и камень.

Кубдя лег на брюхо и поглядел вниз. На мгновение он почувствовал себя сросшимся с этим камнем. У него зазнобило на сердце.

Глядень обрывался сразу сажен на полтораста, а там шел пихтач, россыпи и камни. За пихтачом — озеро.

На средине глядня в три человечьих прохода поднималась кверху тропка.

Кубдя обернулся к Селезневу и крикнул:

— Антош, а ведь это она к нам в гору! Тропа-то! Узнал.

— К нам, — отозвался Селезнев, развязывая мешочек с солью. — Вишь, соль отсырела.

Озноб на сердце у Кубди не прекращался.

Селезнев, грузно ступая, подошел к Кубде.

— Иди, чай поспел. Что на него смотреть, — камень и камень. Никакого порядку нету, ему и бог не велел больше расти. Сколько места под пашню пропадат!

Антон зорко взглянул вниз по тропе и слегка тронул Кубдю сапогом.

— Видишь? — сказал он шепотом.

Кубдя не понял:

— Ну?

Селезнев дернул его за руку и тоже быстро лег на живот:

— Да вон, налево-то, мотри.

Голос у Кубди спал:

— Люди!.. На вершине!..

— Поляки, — сказал Селезнев и отполз. — Красные штаны, видишь.

Они на четвереньках проползли несколько шагов, встали и подняли берданки с земли.

— Поляки, — сказал Селезнев плотникам. — Туши...

Беспалых яростно разбросал огонь и начал топтать сапогами угли.

— И чаю не дадут напиться, коловорот им в рот!.. В чернь, что ли, пойдем?

— По-моему, в чернь, — сказал Горбулин и поспешно добавил: — Мужики донесли на нас.

Селезнев заложил патроны и пополз обратно.

— Кубдя!.. — подозвал он плотника. — Айда-ка, попробуем.

Поляки поднимались медленно один за другим по тропинке и весело переговаривались.

Впереди на низенькой брюхастой лошаденке ехал староста.

За ним, на серой лошади, — солдат без винтовки, должно быть, офицер. Ветер нетерпеливо чесал гривы лошадям.

Офицер часто оглядывался по сторонам и даже привставал в седле.

Но мужиков он наверху не замечал.

Антон близко навалился к Кубде, так что борода его терлась о плечо плотника, и, обкусывая бороду, он проговорил:

— Ты тово... третьего... я уж офицера...

— А старик-то?

— Старик — зря он... силком, должно... Ну!..

— Жалко человека-то... Не привык я...

— Ну, и оставался бы... Ничего нет легче человека... убить.

Селезнев положил ему руку на поясницу и ласково сказал:

— Бери, что ли...

Кубдя изнемог, поднял ружье, прицелился.

— Ну, уж бог с ним, — сказал он и выстрелил.

Как бумажки, сдунутые ветром, две лошади и два человека вначале будто подпрыгнули, потом полетели вниз с тропы, кувыркаясь в воздухе.

На тропинке кто-то пронзительно завизжал.

Беспалых выскочил на рамку камня, перегнулся и тоже выстрелил. Поляки медленно пятились, лошади храпели, а мужики, ощерившись, как волки, мокрые, бледные, стреляли и стреляли.

Староста погнал лошадь вперед, но она задрожала, забилась и вместе с седоком опрокинулась вниз...

Вечером действительно пошел дождь.

Мужики разложили большой костер под пихтой и варили щербу из сухой рыбы. Было темно, хвои словно перебирали пальцами, хрустели ветки.

Падал гром, затем желтая молния вонзалась в горы, и камень гудел.

— Гроза на Федора-летнего, — лениво сказал Селезнев, — плоха уборка хлеба будет.

— А нам-то что? — спросил Горбулин. — Нам хлеб не убирать.

Селезнев как будто с тоской произнес:
— Не придется нам, это верно...
— Верно... — отозвался Соломиных.
Кубдя посмотрел на две темные глыбы — Соломиных и Селезнева, и ему стало как-то не по себе.
— Жалко землю, что ли? — спросил он резко.
— Землю, парень, зря бросать нельзя. Нужно знать, когда ее бросить... — твердо сказал Селезнев.
— Ну, и любить-то ее больно не за что!
— От бога заказано землю любить.
— Не ври!.. Бог-то в наказанье ее людям дал, — прокричал Беспалых, — трудитесь, мол...
Селезнев упрямо повторил:
— Ты, Беспалых, не ерепенься. Может, бог-то и неправильно сказал. А только земля...
— Ну?
Селезнев взял уголек и закурил.
— У меня, Кубдя, в голове муть...
— Поляков жалко?
— Не-е... Человек — что его, его всегда сделать можно. Человек — пыль. А вот не закреплены мы здесь.
— Кем?
— Хрестьянами.
Кубдя озлился; сердито швыркая носом, он наклонился над котелком и помешал ложкой.
— На кой мне шут оно?
— Без этого нельзя.
Кубдя взглянул в его неподвижные глаза и словно подивился:
— Что я, поп, что ли?
— Може, больше...
— А, иди ты!..
— Надо, паря, в сердце жить. Смотреть... Понял?
— А что, я зря ушел? Граблю я? Грабитель?
Говорили они медленно, с усилиями.
Мозги, не привыкшие к сторонней, не связанной с хозяйством мысли, слушались плохо, и каждая мысль вытаскивалась наружу с болью, с мясом изнутри, как вытаскивают крючок из глотки попавшейся рыбы.
Беспалых, в нижнем белье, белый, похожий на спичку с желтенькой головкой, бил в штанах вшей и что-то тихонько насвистывал.
Кубдя указал на него рукой и сказал:

— Вот — живет, и ничья!.. А ты, Антон Семеныч, мучаешься. От дому-то нелегко оторваться тебе.

— Десять домов нажить можно, кабы время было...

— Ну?

— А вот не знаю, что...

Селезнев неловко поднялся, словно карабкаясь из тины, и пошел в темноту.

— Куда ты? — спросил его Кубдя.

— А так... вы спите, я приду сейчас.

Соломиных сожалеюще проговорил:

— Смутно мужику-то.

— Не вникну я в него.

— У тя душа городская. Не зря ты там года пропадал.

Соломиных достал ложки и начал резать хлеб.

— Теперь к нам народ повалит, — довольным голосом сказал он, стукая ножом по хлебной корке.

— Откуда? — спросил Горбулин.

— Таков обычай. Увидят, что за это дело как следует взялись.

Беспалых, натягивая штаны, вставил:

— А по-моему, возьмут берданки, переловят нас — да и в город. А у меня, паря, седни и вшей — у-у!..

— С перепугу.

— Должно, с перепугу.

VII

После избиения поляков отряд стал пополняться.

Ехали в большинстве из соседних с Улеею деревень, боясь мести из города. Такие приезжали вместе со скарбом, с женами и ребятами.

Но были из дальних деревень, почти все солдаты германской войны; они приходили впешую, с котомками и с берданками, у некоторых были даже винтовки.

Становище перенесли глубже в чернь, к Лудяной горе, и здесь разбили палатки. Уже было около полусотни человек.

Встретившись с Кубдей, Селезнев сказал:

— Начальника надо выбирать.

Кубдя словно вытянулся в эти дни, углы рта опустились, а может быть, придавал ему другой вид и прицеп-

ленный к поясу револьвер, снятый с убитого поляка. Кубдя согласился, и на паужин назначили собрание.

Кубдя влез на телегу, мужики сели на траву и закурили. Кубдя хотел говорить стоя, но раздумал и только снял картуз.

Среди пяти-шести телег, накрытых для затина кедровыми лапами, бродил белобрюхий щенок, из тайги пахло смолой, и казалось, приехали мужики на сенокос или сбор ореха.

Позади всех стоял на коленках Беспалых и улыбался маленьким, как наперсток, ртом.

Ему было приятно, что теперь они не одни и что с таким уважением слушают все Кубдю.

Кубдя говорил:

— Товарищи!.. Собрались мы сюда известно зачем, вам рассказывать не к чему. Никто никого не гнал, по доброй воле... А только против одного: не надо нам колчаковского старорежимного правления, желаем свою крестьянскую власть. Что мы, волки, всякого охотника бояться? У самих сила есть, а кроме — идет из-за Урала Красная Армия. Нужно продержаться, а там, как уж получится, видно будет. Та-ак... А теперь нужно выбрать начальника, потому овца — и та своего козла имеет, чтобы водить.

Мужики захохотали.

— Думал я, думал, — продолжал Кубдя, — ну, кроме одного человека, никого у нас нет. А так как надо назначить кандидатов, то мой голос за Антона Семеновича Селезнева.

— А мой — за Кубдю, — сказал Беспалых.

Кто-то еще сказал: Соломиных. Соломиных прогудел:

— Куда уж мне? Я с бабой-то едва справляюсь.

Долго мужики галдели, как на сходе. Начали поднимать руки. Большинство было за Селезнева, Селезнев густо покраснел. Беспалых сказал:

— Борода загорится.

— Мотри, паря, — добродушно рассмеялся Селезнев, — я теперь начальник.

Но вдруг сжал губы и быстро пошел меж возов к реке.

— Куда он? — недоумевая, спросил Кубдя.

Соломиных посмотрел на идущего по березняку Селезнева и ответил:

— Медвежья душа у человека, никак своей тропы не найдет.

Под вечер в лагерь пришел учитель из Улеи — Кобелев-Малишевский.

Он поздоровался со всеми мужиками за руку и сел рядом с Кубдей.

— А я ведь к вам, — неожиданно для себя сказал он.

Когда он шел, он думал только взглянуть на лагерь и уйти. Кубдя посмотрел на его вытянутую вперед голову, словно его хотели сейчас зарезать, напряженную улыбку и весело сказал:

— Милости просим!

Селезнев увидал учителя и обрадовался:

— Вас-то ведь нам и надо, Николай Осипович.

Учитель улыбнулся еще напряженнее.

— Приказ надо писать. А грамотного человека нету.

— Какой приказ? — спросил Кубдя.

— А вот что отряд действует, и пусть идут, кому надо. А наберется больше — мобилизуем округу.

Все одобрили. Селезнев достал бумаги. Учитель сел, взялся за перо, и робость его исчезла. Он весело взглянул на Кубдю и сказал:

— Что писать-то?

— Пиши, — говорил кратко Селезнев, — «По приказу правительства...»

Учитель запротестовал:

— Надо поставить, какого правительства.

— Лешего ли нас в деревне знают! Им на любое правительство начхать, абы их не трогали. Написал?

— «По приказу правительства...» Написал.

— Пиши дальше! «Объявляется сбор всех желающих... воевать с колчаковскими войсками... пешие и конные... старые и малые... брать с собой обязательно берданку или винтовку... оружия у нас мало...» Нет, это не надо! Сами догадаются. «Являться на сборный пункт...» Во-о!.. Как воинский начальник, чисто! А куда являться — не знают.

— На небо, — сказал Беспалых.

Кубдя подумал и вставил:

— Говорим так: «Первый партизанский отряд Антона Селезнева», и никаких.

Селезнев запротестовал.

— Нельзя, — сказал Кубдя, — мужик имя любит.

Все согласились, что мужик действительно любит имя...

В деревнях шел слух, что в город приехал из Омска казачий отряд атамана Анненкова. Деревни заволновались. Казаки отличались особенным сладострастьем жестокости при подавлении восстаний. Происходило это потому, что в отряды Анненкова и Красильникова записывались все особенно обиженные советской властью. Атамановцы на погонах носили изображения черепа и двух скрещивающихся костей.

На базарах загромыхали рыдваны, заскрипели телеги — съезжался народ, и после базара, у поскотины, за селами, долго митинговали.

Выступали какие-то ораторы, призывали к восстанию, говорили, что Омск накануне падения, в Славгороде и Павлодаре — советская власть, и поутру видно было на таежных дорогах мужиков, с котомками и винтовками за плечами направляющихся к Антону Селезневу.

Город тоже жил тревожно.

Говорили, что десятитысячные отряды Антона Селезнева стоят где-то недалеко в тайге и ожидают только удобного случая, чтобы вырезать весь город, за исключением рабочих. На рабочих смотрели с завистью, а начальник уезда, капитан Попов, часто беседовал с начальником контрразведки.

И телеграммы РТА сообщали, что красные уже взяли Курган и подступают к Петропавловску, Омск эвакуируется, и, словно подчеркивая эти сообщения жирной красной чертой, ползли по линии железной дороги эшелоны с эвакуированными учреждениями и беженцами.

И по ночам горела тайга, — шли палы, и полнеба освещало алое зарево.

И при свете этого зарева из низенькой кирпичной тюрьмы выводили за город к одинокой белой цистерне «Нобеля» арестованных крестьян. Крестьяне крестились на горевший оранжевой ленточкой восток, и тогда в них стреляли.

И никому не известно было, кто их хоронил и где...

В середине июля поехал в тайгу отряд атамана Анненкова. Была это, вернее, часть отряда, две роты с пулеметами при четырех офицерах. Сам атаман со своими главными силами защищал тогда от восставших крестьян Семипалатинск.

Солдаты отряда были озлоблены и неудачами на фронте, и тем, что чехи отказались воевать, и тем, что сильнее разгорается восстание, а их перевозят из одного места в другое, и убивают, и заставляют убивать.

Озлобленные, они жгли деревни, скирды, пороли и вешали крестьян, а те отплачивали тем, что пристреливали отстававших или поджигали избы с ночевавшими там атамановцами.

Кубдя хотел ехать в город, дабы сговориться с большевистской ячейкой, работавшей в подполье, но прибежавший из города рабочий с мукомольной мельницы сказал, что ячейка переарестована и члены ее перебиты. Да и в отряд прибывали и прибывали люди.

Имелась уже своя канцелярия, где главенствовал учитель Кобелев-Малишевский, хозяйственная часть, которой управлял Соломиных, и все больше скрипело телег в отряде, и все больше приходило людей к Кубде и Селезневу жаловаться.

Говорили теперь обычные крестьянские нужды: сожгли хлеба, избу, угнали скот, того-то убили; у всех было почти одинаково, и говорили одинаковыми немногословными предложениями, но от каждого мужика и от каждой бабы, отходившей после жалобы прочь, оставалась на сердце все увеличивающаяся тяжесть.

Осанка у всех партизан стала слегка сгорбленная, бросили пить, и даже Беспалых, если выпивал, то, ложась спать, стыдливо отворачивался к стене.

Никто этой перемены не замечал, все шло как нужно, люди строжали, отряд становился крупнее, лишь Кубдя временами судорожно хохотал, махая руками, — видимо, старался отойти дальше от обступившего всех чувства связанности с землей, с ее болями и от этих пахнущих таежным дымом людей, каждый день прибывавших на телегах, верхом и впешую на Лудяную гору.

Один Селезнев ходил с головой, откинутой назад, улыбаясь, обнажая верхние резцы зубов.

— Попом тебе, Антон, быть, — говорил Кубдя.

— А тебе — грешником.

Однажды прискакал верхом Емолин. Он радостно потряс всем руки, а Кубдю похлопал по плечу.

— Живешь, парень? Я вас, подлецов, в люди вывел. Молиться на меня должны.

— Достроил амбары-то? — спросил Кубдя.

Емолин закрыл глаза и помотал головой.

— Пока достроишь с вашим братом, нижний ряд сгниет. Ну и времена! И что такое деется, никак я не пойму. Спятил народ, что ли? И смешно и дико смотреть-то...

— А ты поменьше смотри.

— Неужто нельзя?

Емолин плюнул и лукаво хихикнул:

— Я ведь хозяин. Мне любопытно, как люди жисть устраивают, я и смотрю.

— Ты помогай.

— Ну, от нашей помоги вшами изойдешь. Тут инова калибра человек требуется. Я вот метаюсь-метаюсь, езжу-езжу и никак не пойму, какой тут человек надобен. Режут друг друга, жгут и все ждут кого-то, а?

Емолин подтянул подпругу и залез в седло.

— А у вас тут слобода! Кто хошь приезжай. Вот они какие, понешние-то разбойнички, видал ты их! Чудно живете, паре, чудно!

VIII

Шли разговоры о белых:

— Бегут, бают, колчаковские-то войска!.. Чуть ли не Омск взяли. Вся земля под советской властью, паре, будет, во-о!

Маленький веснушчатый Беспалых даже присел на корточки, словно не мог выдержать такой мысли.

Горбулин кормил из черепка белобрюхого щенка молоком. Щенок мотал мордой, белые брызги летели вокруг, сползали по мягкой шерсти. Между возами ходили мужики с тоскливыми и озабоченными лицами, в бору звенели топоры, ржали лошади.

— Где зимовать-то придется? — сказал Горбулин, похлопывая щенка по спине. — Одуреешь без работы-то. Мается-мается народ и сам не знает пошто.

— Знал бы — так не маялся. Анненков-то близко.

— Лихоманка его дери, сломит и он шею!

— А там как придется. Либо он, либо мы, — комунибудь придется.

— Чернь-то большая, уйдем.

— С пулей далеко не уйдешь. Им ведь английского пороху не жалко.

Беспалых удивленными глазами посмотрел в тайгу и со злостью вскричал:

— И как только английский мужик смотрит? Зачем таку пакость позволяет? Добро бы наша темень была, а то ведь у них, бают, и неученых-то нет.

— Врут! — сказал Горбулин с убеждением. — Не может быть, чтоб неученых не было; дураков везде много. А посылают снаряжение и морочат, что, дескать, охотиться народу надо.

— Из винтовок-то?

— Из винтовок на медведя, а там в прочего зверя.

— Обмундированье-то как, а?

Горбулин озадаченно посмотрел в лицо Беспалых.

— А это уж их дело, не знаю!..

Подошел Кубдя, немного вялый, с тревожным беспокойством на корявом лице.

— Собирай манатки-то, — торопливо сказал он.

Беспалых вскочил.

— Уходим, что ли? Я сказывал, Анненков близко.

Кубдя поправил пояс. Патронташ и револьвер как будто стесняли его.

— Никуда не уходим. Мы тут будем. Бабы с возами уйдут... от греха дальше. А нам, коли придется, так в белки надо...

— По другому следу?

Беспалых крепко уперся в землю и свистнул.

— Вот плакались, работы нету!..

Между возами шла спокойная широкая фигура Селезнева. Он хозяйственным взглядом окидывал телеги и рыдваны, и как поторапливал раньше при молотьбе, немного покрякивая, так и теперь торопил:

— Собирайся, крещеные, собирайся! Эку уйму лопотины-то набрали.

Какая-то старуха в грязном азяме всплакнула.

— Жалко ведь барахло-то, Антон Семеныч.

— Так... так... — деловито сказал Селезнев.

Горбулин довольным голосом произнес:

— Ай да большак!..

Через час по таежным тропам, подпрыгивая на корнях, тянулись в черни ирбитские телеги, трашпанки, коробки.

Пищали ребятишки, в коробах гоготала птица, мычали привязанные за рога к телегам на веревках

коровы, а мохноногие, пузатые лошаденки все тащили и тащили телеги.

Поспевала земляника, и пахло ею тихо и сладостно. Как всегда, чуть вершинами шебуршили кедры.

А внизу на далекие версты в тропах ехали люди: плакали и перекликались на разные голоса, как птицы.

Человек триста партизан пошли за обозами за Золотое озеро, на елани осталось не больше сотни.

Ушедшие были вооружены пистонными дробовиками, а оставшиеся — винтовками. Расставили сторожевые посты, часовых и по тайге секреты. Стали ждать.

— Доволен? — спросил Кубдя у Селезнева. — Али еще скребет?

— Как-нибудь проживем, — отвечал Селезнев, устало ухмыляясь.

— Вот и благословили тебя. Должон доволен быть.

В голосе у Кубди слышалось раздражение.

— Не жалуюсь. А кабы и пожалиться — какая польза?

— Будто новорожденный ты, ступить не знаешь куды.

Селезнев вскинул взгляд поверх головы Кубди и повел рот вбок.

— Слышал ты, — сказал он смягчающе, — Улея-то в персть легла?

Беспалых одурело подскочил на месте.

— Сожгли?..

— Спалили, — просто ответил Селезнев, вынимая кисет. — Ладно бабу вовремя увез. Повесили бы. Озлены они на меня.

— Придут седни.

Селезнев завернул папироску, прытко повел глазами и слегка прикоснулся рукой до Кубди.

— Седни не будут, помяни мое слово. А Улея-то только присказка, притча-то потом будет.

Он разостлал шинель на землю.

— Ложись, отдохни.

И, положив свое тело на землю, он углубленным, тягостным голосом проговорил:

— Самое главное — не надо ничему удивляться. А там уже и гнести нечему тебя будет, а? Кубдя! Ты как думаешь?

— Я вот думаю, — сказал Кубдя, — что у нас пулеметов нету, а у них три. Покосят они нас.

— Они укоротят, — с убеждением проговорил Горбулин.

Селезнев сорвал травку и начал ее разглядывать.

— Мала, брат, а так можно брюхо лошади набить, беда! — сказал он с усмешкой. — Ноне травы добрые. Оно, конешно, у кого косилка есть, лучше, чем литовкой. А я так маракую, что в кочках-то с машиною не поедешь, Кубдя?

Кубдя тоже ухмыльнулся:

— Не поедешь, Антон Семеныч.

Селезнев утомленно закрыл глаза.

— А и устал я в эти дни. Будто тысячу лет прожил. Ты, Кубдя, хиреть начал.

— Во мне-то и никогда жиру не было.

— Это плохо. Без жиру — как без хлеба. Завсегда запасы надо иметь.

Он прикрыл лицо картузом и крупно зевнул.

— Добро хоть гнусу нет. А то б заели.

И, лишь чуть прикрыв глаза, сонно захрапел.

Через два дня, поутру, партизаны встретились с атамановцами у Поневеских ворот.

Поперек речки Буи лежит восемь громадных камней. Среди них с плеском и грохотом скачет вода, вскидываясь белыми блестящими лапами кверху.

У левого берега вода спокойнее, здесь даже можно проскользнуть на лодке.

Вверх дальше по Бую — горы, похожие на киргизские малахаи из зеленого бархата, а внизу — речная заливная равнина.

Партизаны спускались по реке, а атамановцы поднимались.

Атамановцы растянулись по елани длинной цепью, окопались, поставили два пулемета и начали стрелять. Мужики стреляли поодиночке, тщательно прицеливаясь, разглядывая, не высунется ли казак. Несколько раз атамановцы вскакивали и с неверными криками «ура» бежали на партизан.

Но тотчас падало несколько убитыми и ранеными; атамановцы опять окапывались и торопливо щелкали затворами.

Мужики лежали за кедрами и молчали.

На небольшой елани, слева окруженной потоком, справа — чащей, в которой лежала не стрелявшая

вторая рота атамановцев, резались пули перестреливавшихся.

Людей кусали комары, и тех из атамановцев, которых ранило, пекло солнце, они просили пить.

Но пить им никто не давал; всем хотелось убить больше тех мужиков, которые спрятались за кедры и неторопливо метко стреляли.

Так они перестреливались около полутора часов.

Наконец офицеры устроили совет и приказали наступать, то есть во что бы то ни стало идти на стрелявших из-за деревьев партизан и перебить их.

И хотя бежать в высокой, опутывающей ноги, траве было нельзя и не было надежды, что партизаны побегут и не будут стрелять, все же мысль эта никому не показалась дикой, и атамановцы, вместе с офицерами крича «ура» и стреляя, полезли по траве и по чаще. В раскрытые рты набивалась трава, осыпающая неприятную сухую пыльцу.

Рядом как-то немного смешно падали раненые и убитые, атамановцы же продолжали кричать «ура», стрелять и идти вперед.

Из-за кедров, все так же помаленьку, лениво стреляли мужики, и казалось, что дерутся они не серьезно, а сейчас бросят ружья и выйдут просить мировую.

До кедров осталось не более ста шагов, как вдруг атамановцы выстрелили разом и закричали:

— Ура-а!

От этого слабого крика ли, или от чего другого, но атамановцы почувствовали, что им плохо и что им нужно бежать. Атамановцы остановились и закричали уже совсем не своим голосом:

— У-а-а-а...

И, повернув обратно, побежали.

Из-за таежных стволов, на окоемок, выскочили мужики в азямах, в ситцевых рубахах и нестройно заорали:

— Бросай винтовки-и!..

«Конец», — думали атамановцы и бежали, сами не зная куда.

Позади себя им мерещилось мужицкое дыхание, оскаленные, лохматые лица, и медно-красные пятна заплясали в глазах у атамановцев.

Некоторые из них бросились в воду и поплыли на другую сторону.

Туда же прыгнули двое офицеров, но плыть они не умели и, непонятно суетясь руками в воде, схватились за сучья повисшей над водой талины.

В это время на берег выбежали Кубдя и Беспалых и, увидев офицеров, словно напоказ, подождали, пока они крепко уцепились за сучья, тогда, вскинув ружья, выстрелили.

Напрягая волну, река потащила тела.

Насилу добежав до конца елани, атамановцы увидали здесь свои пулеметы.

Тогда они вновь почему-то почувствовали силу и начали отстреливаться.

— Назад! — оглушенно заорал Селезнев.

И, как цыплята под наседку, пригибаясь, мужики побежали в тайгу.

На берегу Беспалых почувствовал боль в голени и, пощупав мокрую штанину, сообразил: «Ранен».

Он улыбнулся вдруг ставшим белым, как старая кость, лицом и сказал громко Кубде:

— Ранили меня...

— Эх, олово! — сказал Кубдя и, взяв его под мышки, повел.

Позади на елани опять шли вперед атамановцы.

Мужики, отстреливаясь, медленно повернули вправо и пошли в горы.

А их снова ровной цепью, стреляя и прячась за стволы, догоняли атамановцы.

— Ура-а! — время от времени кричали атамановцы.

Ноги у Беспалых ныли, голова тяжелела, и все тело словно было лишнее.

Его вели, подхватив под руки, Кубдя и Горбулин, а позади шел растрепанный и потный Селезнев и после каждого выстрела торопил:

— Иди, иди, не отставай!..

Вошли в березовую чернь.

В бледноватой зелени берез, как темные пуговицы на светлом платье, пихты.

Опять мешали идти огромные травы, не было уже папоротника, но резал руки сладко пахнущий осот.

Беспалых, словно охмелев от боли, начал заплетаться языком и при каждом шаге отчаянно кричал:

— Пустите, ребята, пустите!

И, ощущая цепенеющую усталость в руках, Селезнев пятился, стреляя, и печальным голосом повторял:

— Не ной, Беспалых... не ной, парень... Поторапливайся, поторапливайся... Не отставай...

Мужики уже всей оравой ушли вперед.

Подыматься в гору становилось все круче. Остановились перевязать рану Беспалых, но, услышав близко перекликающиеся голоса атамановцев, опять пошли.

Под ногами скользили гальки, далеко по окоемку приходилось обходить каменные «лысины», а позади не переставая щелкали впустую выстрелы атамановцев.

Селезнев повеселел и повесил за плечи винтовку.

— Уйдем, — сказал он. — Уведем их к лешему!

Голова у Беспалых покачивалась, как созревшая маковка под ветром.

Солдатские штаны смочились густой кровью, этой же кровью были запачканы руки и Горбулина и Кубди.

У Кубди на локтях сатиновой синей рубахи была широкая прореха, виднелось розоватое, искусанное комарами тело.

Селезневу стало муторно смотреть, и он отстал.

Чем они выше подымались крутыми подъемами между плитами камней, величиной с избу, серых, с ровными, словно отпиленными краями, тем сильнее они чувствовали какую-то ждущую их неизвестную опасность.

Они начинали прибавлять шагу, несмотря на усталость, не огибая россыпей.

Кончились березки, осины.

Лохматились одни кедры, и хотя так же грело солнце, но с белков дул суровый, крепкий и холодный ветер.

Они затянули крепче пояса и, как будто желая разорвать опутывающие сети тишины, нарушаемой одним ветром, заговорили громче.

Под ногами захрустел мох.

Они остановились, вытерли замазанные глиной в черни ноги об седую, хрумкающую, как снег, траву, затянули крепче рану у Беспалых, переглянулись и молча торопливо пошли выше.

Ветер развевал волосы, горбом вздувал рубахи.

Мысли, с устатку ли, с другого чего, разжижались, и нельзя было заставить их исполнять свою обычную работу.

Селезнев теперь указывал дорогу.

Он был мокр, даже толстый драповый пиджак вымок, будто был под дождем. Белки глаз его подернулись красными жилками, а зрачок все расползался и расползался, как масляное пятно на скатерти.

Он кинул фуражку и шел простоволосый, с расчесанной ветром черной бородой.

Кубдя чувствовал себя разопревшим, утомленным.

Рядом на руке висел маленький, кричавший все время рыжеволосый человек. У этого человека был постоянно разинутый рот с болтавшимся там обрубком языка, рот, издававший такие звуки, как будто резали ножницами листы железа, и временами Кубдя никак не мог вспомнить, где они видели эти мокрые усы и веснушчатую, морщинистую переносицу.

Вдруг россыпь расширилась, и они увидели перед собой голое холмистое поле.

По полю ровной цепью стояли люди с винтовками, и навстречу бежало шесть человек с револьверами.

Люди были одеты в английские шинели, и мужики, взглянув на них, почувствовали холодный ветер и заметили недалекие, похожие на синеватые сахарные головы белки снегов.

Селезнев сорвал оружие и крикнул и прервал крик выстрелом:

— Беги...

«Бу-о-ах!..»

Затем он замахал руками на Кубдю, лицо его неожиданно помолодело, и он торопливо сказал:

— Бросай... беги...

Он наклонился, сунул Беспалых револьвер и, пригибаясь, побежал.

За ними побежали остальные.

Беспалых стало страшно и, желая отвязаться от мысли о себе, приставил револьвер к виску, но раздумал и выстрелил в бок.

— Все!..

Обрывками на бегу думал Селезнев:

«Путем... ошибся... Надо было... Мокрой... балкой...»

И ему пришло в голову, что он хотел еще увидеть идущих из России красных.

«Посмотрим...» — мелькнуло у него в голове.

Он остановился и ровным голосом сказал:

— Стой, паря! Не убежишь!

Услыхав его голос, Кубдя подумал: «Мертвец», — и быстро остановился.

Позади них лег Горбулин, потерявший винтовку в бегу.

— Посмотрим... — сказал Антон, всовывая обойму.

IX

Через неделю сводка «На внутренних фронтах» сообщала, что в районе Улеи бандитские шайки Антона Селезнева рассеяны, а сам он погиб в перестрелке.

А через два месяца партизаны и регулярные части Красной Армии взяли Ниловск, и крестьяне привезли с белков трупы Селезнева, Кубди и еще четырех неизвестных.

Вырыли глубокую могилу, пришли рабочие с красными знаменами, оркестр играл «Интернационал», ораторы в серых шинелях с жестяными звездочками на белых заячьих шапках долго говорили и указывали рукой на восток.

В стороне же, позади процессии, стоял подрядчик Емолин в желтом овчинном полушубке и смотрел на красные знамена, ярко сверкавшие трубы музыкантов. На душе у него было умиление и жалость. Он вытирал на носу слезы и говорил соседу:

— Заметь: хо-орошие парни были.

1921

БРОНЕПОЕЗД 14-69

ПАРТИЗАНЫ У РЕЛЬС!

I

Цифры блестели перед глазами: 85, 64 и еще 0000... как снежные четки. На дверях купе, на рамах окна, на ремне, на кобуре револьвера. Везде. Точно огромная мясистая цифра 8, на койке, упадая коротко стриженной головой в огромные, как степные дороги, плечи — прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова.

Даже на сигаретах, которые одну за другой испепелял капитан и пепел которых мягко таял в животе расколотого чугунного китайского божка, тоже цифры и английские поджарые, словно галеты, буквы.

— Что ж?.. Стекаем, как гной из раны... на окраины... Мы!.. Все — и беженцы, и утонувшие в снегу правительства... Но-о! Я ж говорю вам, прапорщик. Потом куда?.. В море?

Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мускулы капитана. Узловато ответил:

— Вам лечиться. Надо. Да!

Был прапорщик Обаб из выслужившихся добровольцев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах говорил: «Сплошь болезня».

Капитана Незеласова уважал, потому повторил:

— Без леченья плохо. Вам.

Незеласов торопливо выдернул сигаретку:

— Заклепаны вы наглухо, Обаб... ничего до вас не дойдет!..

И, быстро отряхивая пепел, визгливо заговорил:

— Как нам стронуться хоть немного... Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас... вышвырнула! Думали всё —

нужны, очень нужны, до зарезу нужны, а вдруг ра-а-счет получайте... И не расчет даже, а в шею... в шею!.. в шею!!

И капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвышал голос:

— О, рабы нерадивые и глупые!

Обаб протянул длинную руку навстречу сгибающемуся капитану. Точно поддерживая валящееся дерево, сказал с усилием:

— Сволочь бунтует. А ее стрелять надо. А которая глупее — пороть.

— Нельзя так, Обаб, нельзя...

— Болезнь. У нас. Вот атаман Семенов. Не мозгует. Бьет.

— Внутри высохло... водка не катится, не идет... От табаку — слякоть, вонь... В голове, как наседка, да у ней триста яиц... Высиживает. Э-эх!.. Теплынь, пар!.. Копошится теплое, склизкое, того гляди... вылезет. Преодолеть что-то надо, а что — не знаю и не могу...

— Женщину вам надо. Давно женщину имели?

Обаб тупо посмотрел на капитана.

— Непременно женщину. В такой работе — каждый месяц. Я здоровый, — каждые две недели. Лучше хины.

— Может быть, может быть... попробую. Почему мне не попробовать...

— Можно быстро, здесь беженок много... Цветки!

Незеласов поднял окно.

Запахло каменным углем и горячей землей. Как банка с червями, потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол.

На людях клеймо бегства.

Шел похожий на новое стальное перо чистенький учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесаные, и одна щека измятая, розовато-серая: должно быть, жестки подушки, а может быть, и нет подушек — мешок под головой.

«Портятся люди», — подумал Обаб. Ему захотелось жениться. «В семью бы хорошо...»

Он сплюнул в платок и сказал:

— Ерунда!

Незеласов теребил серую рыхлую бумагу телеграммы. Как везде, на телеграмме — цифры. Как всегда, мутнеют зрачки Обаба. Слюняв хлюпающий голос:

— Опять?

— Что опять?.. В чем дело?

Обаб и Незеласов взглянули в окно.

Беженцы смущенно рассматривали стальную броню вагонов. На платформах орудия, казалось, рассматривают его, голого [1]. Голый Незеласов костляв, похож на смятую жестянку из-под консервов: углы и серая гладкая кожа.

Он едко сказал в плечо Обабу:

— За спасителей нас считают... Ерусланы! В телеграмме пишут: у рельс вершининский отряд показался... в городе...

Обаб грузно отодвинулся от окна:

— Жиды, капитан. И в городе жиды, и у Вершинина жиды. Дайте сигарету.

— Придут японцы... Прикажите воду набирать... непременно... сейчас.

— В появлении? Опять! Неймется.

Обаб ударил себя по ляжкам длинными и ровными, как веревка, руками.

— Люблю.

Заметив на себе рыхлый зрачок Незеласова, прапорщик сказал:

— Не насчет смерти. А чтоб двигалось. Спокойно когда, — мясо ржавеет...

Обаб степенно вздохнул. Вздохнули потные острые скулы, похожие на обломки ржаного сухаря, вздохом медленным, крестьянским.

— У нас сейчас, в Барнаульском... уезде, уборка. Рука по вожже зудится...

Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:

— Прапорщик... Кто наше начальство?.. Кто непосредственное начальство?

— Генерал Смирнов.

— Ага? А где он?..

— Партизаны повесили.

— Ага?.. Так. Значит, следующий. Кто?

— Следующий?

— Вас спрашивают...

— Генерал-лейтенант Сахаров.

---

[1] В журнальной публикации эта фраза читалась так: «Беженцы рассматривали стальную броню вагонов всегда немного смущенно, и Незеласову казалось, что рассматривают его голого». *(Прим. ред.)*

— Ага?.. Он где, где?..

— Не могу знать.

— А... где командующий армией?

— Не могу знать.

Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать: «Ну, и не рассуждать — исполняйте приказания», — а вместо этого отвернулся и, скучно царапая пальцем краску рамы, спросил тихонько:

— Кого нам, прапорщик, слушаться?.. Ага? Кого мы с вами по телеграмме... Постойте.

Обаб шлепнул по животу чугунного кумирчика, попытался поймать в мозгу какую-то мысль, но соскользнул.

— Не знаю... Воду так воду... Стрелять, будем стрелять — очень просто.

И, как гусь неотросшими крыльями, колыхая галифе, Обаб шел по коридору вагона и бормотал:

— Не моя обязанность... думать... я что... лента, обойма... Очень нужно... Где?

II

Торопливо отдал честь тщедушный солдатик в голубых французских обмотках и больших бутсах.

Незеласову не хотелось толкаться по перрону, и, обогнув обшитые стальными щитами вагоны бронепоезда, он брел среди теплушек с эвакуируемыми беженцами.

«Ненужная Россия, — подумал он со стыдом и покраснел, вспомнив: — И ты в этой России».

Нарумяненная женщина с толстым задом всколыхнула в теле предложение Обаба. Капитан сказал громко:

— Дурак!

Женщина оглянулась: печальные, потускневшие глаза и маленький лоб в глубоких морщинах.

Незеласов отвернулся.

Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо, битая птица, рыба. Над некоторыми дверьми — пихтовые ветки, и в таких вагонах слышался молодой женский голос. А в одном вагоне играли на рояле.

Пахло из теплушек потом, пеленками, и подле рельс пахли аммиаком растоптанные испражнения. Еще у одной теплушки на корточках дрожал солдат и сквозь желтые зубы выл:

— О-о-о-е-е-е.

«Дизентерия, — подумал, закуривая, капитан. — Значит, капут».

Ощущение стыда и далекой, где-то в ногах таящейся злости не остывало.

Плоскоспинный старик, утомленно подымая тяжелый колун, рубил полусгнившую шпалу.

— Издалека? — спросил Незеласов.

Старик ответил:

— А из Сызрани.

— Куда едешь?

Он опустил колун и, шаркая босой ногой с серыми потрескавшимися ногтями, уныло ответил:

— Куда повезут.

Кадык у него, покрытый дряблыми морщинами, большой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и видны были чистые, белые полоски кожи.

«Редко, видно... говорить-то приходится», — подумал Незеласов.

— У меня в Сызрани-то земля, — любовно проговорил старик, — отличнейший чернозем. Прямо золото, а не земля, — чекань монету... А вот, поди ж ты, бросил.

— Жалко?

— Известно, жалко. А бросил. Придется обратно.

— Обратно идти далеко... очень...

Старик, не опуская колуна, чуть-чуть покачал головой. Как-то плечами остро и со свистом вздохнул:

— Далеко... Говорят, на путях-то, вашблаго, Вершинин явился.

— Неправда. Никого нет.

— Ну? Значит, врут! — Старик оживленно взмахнул колуном. — А говорят, идет и режет. Беспощадно, даже скот. Одна, говорят, надежда на бронипоезду. Только. Ишь ты... Значит, нету?

— Никого нет...

— Совсем, вашблаго, прекрасно. Може, и до Владивостоку доберешься... Проживем. Куды я обрать попрусь, скажи-ка ты мне?

— Не выдержишь... Ты не беспокойся... Да.

— И то говорю — умрешь еще дорогой.

— Не нравится здесь?

— Народ не наш. У нас народ все ласковый, а здесь и говорить не умеют. Китаец — так тот совсем языка русского не понимает. И как живет, бог его знает! Фальшиво живет. Зачервивешь тут. А коли лучше обратно пойти? Бросить все и пойти? Чать, и большевики люди, а?

— Не знаю, — ответил капитан.

III

Вечером на станцию нанесло дым.

Горел лес.

Дым был легкий, теплый, и кругом запахло смолой.

Кирпичные домики станции, похожая на глиняную кружку водокачка, китайские фанзы и желтые поля гаоляна закурились голубоватой пеной, и люди сразу побледнели.

Прапорщик Обаб хохотал:

— Чревовещатели-и!.. Не трусь!..

И, точно ловя смех, жадно прыгали в воздухе его длинные руки.

Чахоточная беженка с землистым лицом, в каштановом манто, подпоясанном бечевкой, которой перевязывают сахарные головы, мелкими шажками бегала по станции и шепотом говорила:

— Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... и расстреливают... Вершинин подходит...

Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бархатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспотели. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.

Комендант станции — солдаты звали его «четырехэтажным», — большеголовый, с седыми, прозрачными, как ледяные сосульки, усами, успокаивал:

— А вы целомудрие наблюдайте душевное. Не волнуйтесь.

— Чита взята!.. Во Владивостоке большевики!

— Ничего подобного. Уши у вас чрезмернейшие. Сообщение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса разыскивали.

И, втыкая в глотку непочтительный смешок, четко говорил:

— Няньку английский генерал Нокс потерял. Ищет. Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт подери, и вдруг какой-нибудь партизан изнасилует.

Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оперативные сводки штабверха. И хотя никто не знал, где этот штабверх и кто бьется с большевиками, но все ободрились.

Теплые струи воды торопливо потекли на землю. Ударил гром. Зашумела тайга.

Дым ушел. Но когда ливень кончился и поднялась радуга, снова нахлынули клубы голубоватого дыма, и снова стало жарко и тяжело дышать. Липкая грязь приклеивала ноги к земле.

Пахло сырыми пашнями, и за фанзами с тихим звоном шумели мокрые гаоляны.

Вдруг на платформу двое казаков принесли из-за водокачки труп фельдфебеля. Лоб был разбит, и на носу, и на рыжеватых усах со свернувшимися темнокрасными сгустками крови тряслось, похожее на густой студень, серое вещество мозга.

— Партизаны его... — зашептала беженка в манто, подпоясанная бечевкой. — Вершинин... Они...

В коричневых теплушках эшелонов зашевелились и зашептали:

— Партизаны... Партизаны...

Капитан Незеласов прошел по своему поезду.

У площадки одного вагона стояла беженка в каштановом манто и поспешно спрашивала у солдат:

— Ваш поезд нас не бросит?

— Не мешайте, — сказал ей Незеласов, вдруг возненавидев эту тонконосую женщину. — Нельзя разговаривать!

— Они нас вырежут, капитан!.. Вы же знаете!..

Капитан Незеласов, хлопнув дверью, закричал:

— Убирайтесь вы к черту!

Опять принесли телеграмму. Кто-то неразборчиво, и непременно припутывая цифры, приказывал разогнать банды Вершинина, собирающиеся по линии железной дороги. И в конце говорилось о каких-то японцах, итальянцах...

— Телеграмма номер двенадцать тысяч пятьсот сорок один, видите!.. Приказ, прапорщик, приказ, говорю... А кто там, кто смеет приказывать? Кто есть?

Добродушный толстый паровоз, облегченно вздыхая, подтащил к перрону шесть вагонов японских солдат. За ним другой. Маленькие чистенькие люди, похожие на желтоголовых птичек, порхали по перрону.

Капитана Незеласова нашел японский офицер в паровозе бронепоезда. Поглаживая кобуру револьвера и чуть шевеля локтями, японец мягко говорил по-русски, стараясь ясно выговаривать букву р:

— Я... есть пол-рр-лючик Танако Муццо. Тя. Я есть коман-н-тил-л-рр-лован вместе.

И, внезапно повышая голос, выкрикнул, очевидно, твердо заученное:

— Уничтожит!.. Уничтожит!..

Рядом с ним стоял американский корреспондент — во френче с блестящими зелеными пуговицами и в полосатых чулках. Он быстро, тоже заученно, оглядывал станцию и, торопливо чиркая карандашом, спрашивал:

— А этта?.. А этта?.. Ш-ш-то?..

Обаб и еще какой-то офицер, потея и кашляя, объясняли.

— Хорошо, — сказал Незеласов. — Прикажите, Обаб, прицепить вагоны... с японцами.

Он захлопнул тяжелую стальную дверь.

— Пошел, пошел!.. — визгливо кричал, матерной руганью обвертывая приказания. И где-то внутри росло желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую с эшелонов беженцев на бронепоезд № 14-69.

Капитан Незеласов бегал внутри поезда, грозил револьвером, и ему хотелось закричать громче, чтобы крик прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов... Дальше он не понимал, для чего понадобился бы ему тогда его крик.

Грязные солдаты вытягивались, морозили в лед четырехугольные лица. Ненужные тряпки одежд стесняли движения. Около стальных орудий хотелось их видеть голыми и не хотелось чувствовать тлеющих в страхе душ.

Прапорщик Обаб быстро и молчаливо шагал вслед за капитаном.

Лязгнули буфера. Коротко свистнул кондуктор, загрохотало с лавки железное ведро, и, пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок,

облитые теплым и влажным ветром, падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобой.

IV

А в это время китаец Син Бин-у лежал в траве в тени пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том, как красный Дракон напал на девушку Чен Хуа.

Лицо у девушки было цвета корня женьшеня, и пища ее была у-вей-цзы, петушьи гребешки, ма-жу, грибы величиною со зрачок, чжен-цзай-цай. Весьма было много всего этого, и весьма все это было вкусно.

Но красный Дракон взял у девушки Чен Хуа ворота жизни, и тогда родился бунтующий русский.

Партизаны сидели поодаль, и Пентефлий Знобов, радостно прорывая чрез подпрыгивающие зубы налитые незыблемою верою слова, кричал:

— Бегут, братцы мои, бегут. В недуг души ударило, оземь бьются, трепыхаются. А наше дело — не уснуть, а город-то, он у-ух!.. силен. Все возьмет!

Пахло камнем, морем.

ЧЕЛОВЕК ЧУЖИХ ЗЕМЕЛЬ

V

«Объединенным русско-японским отрядом, при поддержке бронепоезда № 14-69, партизанские шайки Вершинина рассеяны.

С нашей стороны убитых 42, раненых 115. Боевая выдержка союзников выше всяких похвал. Преследование противника в сопках продолжается.

Начбронепоезда № 14-69 капитан Незеласов
№ 8701-7-19»

VI

И вот:

Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и вялый ветер.

И тело у них было, как граниты сопок, как деревья, как травы; катилось горячее, сухое, по узко выкопанным горным тропам.

От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы.

Ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике, — пустота, бессочье.

Шестой день партизаны уходили в сопки.

Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слышались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев.

А позади — по линии железной дороги — и глубже: в полях и лесах — атамановцы, чехи, японцы и еще люди незнаемых земель жгли мужицкие деревни и топтали пашни.

Шестой день с короткими отдыхами, похожими на молитву, две сотни партизан, прикрывая уходящие вперед обозы с семействами и утварью, устало шли черными тропами. Им надоел путь, и они, часто сворачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик к сопкам, напоминавшим огромные муравьиные гнезда.

VII

Китаец Син Бин-у, прижимаясь к скале, пропускал мимо себя отряд и каждому мужику со злостью говорил:

— Японса била надо... у-у-ух, как била!

И, широко разводя руками, показывал, как надо бить японца.

Вершинин остановился и сказал Ваське Окороку:

— Японец для нас хуже барсу[1]. Барс-от, допрежь чем манзу[2] жрать, лопатину[3] с него сдерет. Дескать, пусть проветрится, а японец-то разбираться не будет — вместе с усями[4] слопает.

Китаец обрадовался разговору о себе и пошел с ними рядом.

Никита Вершинин, председатель партизанского революционного штаба, шел с казначеем Васькой Окоро-

[1] Тигр.
[2] Китаец (обл.).
[3] Одежда.
[4] Род китайской обуви.

ком позади отряда. Широкие — с мучной куль — синие плисовые шаровары плотно обтягивали большие, как конское копыто, колени, а лицо его, в пятнах морского обветрия, хмурилось.

Васька Окорок, устало и мечтательно глядя Вершинину в бороду, протянул, словно говоря об отдыхе:

— В Расеи-то, Никита Егорыч, беспременно вавилонскую башню строить будут. И разгонют нас, как ястреб цыплят, беспременно! Чтоб друг друга не узнавали. Я тебе это скажу: Никита Егорыч, самогонки хошь? А ты, талабала, по-японски мне выкусишь! А Син Бин-у-то, разъязви его в нос, на русском языке запоет. А?

Работал раньше Васька на приисках и говорит всегда так, будто самородок нашел и не верит ни себе, ни другим. Голова у него рыжая, кудрявая, лениво мотает он ею. Она словно плавится в теплом усталом ветре, дующем с моря, в жарких, наполненных тоской запахах земли и деревьев.

Вершинин перебросил винтовку на правое плечо и ответил:

— Охота тебе, Васька. И так мало рази страдали?

Окорок вдруг торопливо, пересиливая усталость, захохотал:

— Не нравится!

— Свое добро рушишь. Пашню там, хлеба, дома. А это дарма не пройдет. За это непременно пострадать придется.

— Японца, Никита Егорыч, турнуть здорово надо. Набил им брюхо землей — и в море.

— Японец — народ маленький, а с маленького спрос какой? Дешевый народ. Так, вроде папироски — будто и курево, и дым идет, а так — баловство. Трубка, скажем, дело другое.

В леса и сопки, клокоча, с тихими усталыми храпами вливались в русла троп ручьи людей, скота, телег и железа. Наверху, в скалах, сумрачно темнели кедры. Сердца, как надломленные сучья, сушила жара, а ноги не могли найти места, словно на пожаре.

Опять позади раздались выстрелы.

Несколько партизан отстали от отряда и приготовились отстреливаться.

Окорок разливчато улыбнулся:

— Нонче в обоз ездил. Потеха-а!..

— Ну?

— Петух орет. Птицу, лешаки, в сопки везут. Я им баю — жрите, мол, а то все равно бросите.

— Нельзя. Без животины человеку никак нельзя. Всю тяжесть он потеряет без животины. С души-то, тяжесть...

Син Бин-у сказал громко:

— Казаки цхау-жа! Нипонса куна, мадама бери мала-мала. Нехао! Казаки нехао! [1] Кырасна руска...

Он, скосив губы, швыркнул слюной сквозь зубы, и лицо его, цвета песка золотых россыпей, с узенькими, как семечки дыни, разрезами глаз, радостно заулыбалось...

— Шанго!.. [2]

Син Бин-у в знак одобрения поднял кверху большой палец руки.

Но не слыша, как всегда, хохота партизан, китаец уныло сказал:

— Пылыоха-о [3].

И тоскливо оглянулся.

Партизаны, как стадо кабанов от лесного пожара, кинув логовище, в смятенье и злобе рвались в горы.

А родная земля сладостно прижимала своих сынов — идти было тяжело. В обозах лошади оглядывались назад и тонко, с плачем, ржали. Молчаливо бежали собаки, отучившиеся лаять. От колес телег отлетала последняя пыль и последний деготь родных мест.

Направо в падях темнел дуб, белел ясень.

Налево — от него никак не могли уйти — спокойное, темно-зеленое, пахнущее песками и водорослями море.

Лес был как море, и море — как лес, только лес чуть темнее, почти синий.

Партизаны упорно глядели на запад, а на западе отсвечивали золотом розоватые граниты сопок, и мужики через просветы деревьев плыли глазами туда, а потом вздыхали, и от этих вздохов лошади обозов поводили ушами и передергивались телом, точно чуя волка.

А китайцу Син Бин-у казалось, что мужики за розовыми гранитами на западе желают увидеть иное, ожидаемое.

---

[1] Казаки плохи! Японец — подлец, женщин берет... Нехорошо! Казаки плохи!

[2] Хорошо!

[3] Плохо.

Китайцу хотелось петь.

Никита Вершинин был рыбак больших поколений.

Тосковал он без моря, и жизнь для него была вода, а пять пальцев — мелкие ячейки сети: все что-нибудь да и попадет.

Баба попалась жирная и мягкая, как галим. Детей она принесла пятерых — из года в год, пять осеней, когда шла сельдь, и не потому ли ребятишки росли светловолосые среброчешуйники.

В рыбалках ему везло, на весь округ шел послух про его «вершининское» счастье, и, когда волость решила идти на японцев и атамановцев, председателем ревштаба выбрали Никиту Егорыча.

От волости уцелели телеги, увозящие в сопки ребятишек и баб. Жизнь нужно было тесать, как избы, — неизвестно, удастся ли, — заново, как тесали прадеды, приехавшие сюда из пермских земель на дикую землю.

Многое было непонятно — и жена, как в молодости, желала иметь ребенка.

Думать было тяжело, хотелось повернуть назад и стрелять в японцев, атамановцев, в это сытое море, присылающее со своих островов людей, умеющих только убивать.

У пришиби[1] яра бомы[2] прервали дорогу, и к утесу был приделан висячий, балконом, плетеный мост. Матера[3] рвалась на бом, а ниже в камнях билась, как в падучей, белая пена стрежи[4] потока.

Перейдя подвесный мост, Вершинин спросил:

— Привал, что ли?

Мужики остановились, закурили.

Привала решили не делать. Пройти Давью деревню, а там — в сопки, и ночью можно отдыхать в сопках.

У поскотины[5] Давьей деревни босоногий мужик с головой, перевязанной тряпицей, подогнал игреннюю лошадь и сказал:

— Битва у нас тут была, Никита Егорыч.

— С кем битва-то?

— В поселке. Японец с нашими дрался. Дивно народу положено. Японец-то ушел — отбили, а чаем,

---

[1] Подножие яра — крутой скалистый берег.
[2] Камни, преграждающие течение потока.
[3] Главная сила струи потока.
[4] Сильнейшие струи матеры.
[5] Ограда вокруг деревни, где пасется скот.

придет завтра. Ну вот, мы барахлишко-то свое складываем да в сопки с вами думаем.

— Кто наши-то?

— Не знаю, парень. Не вашей волости, должно. Христьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и строчат. Из сопок тоже.

— Увидимся!

На широкой поселковой улице валялись телеги, трупы людей и скота.

Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на русском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз. На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.

Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точно стыдясь. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи с жесткими черными волосами прилипли на спины опрятных мундирчиков, и желтые гетры были тщательно начищены, точно японцы собирались гулять по владивостокским улицам.

— Зарыть бы их, — сказал Окорок, — срамота.

Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всегда, — спокойно-деловитые.

Только от двора ко двору среди трупов кольцами кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.

Подошел к партизанам старик с лицом, похожим на вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти, там краснела кожа щек и лба.

— Воюете? — спросил он плаксивым голосом у Вершинина.

— Приходится, дедушка.

— И то смотрю — тошнота с народом. Николды такой никудышной войны не было. Се царь скликал, а теперь — на́, чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.

— Все равно что ехали-ехали, дедушка, а телега-то трах! Оказывается, сгнила давно, нову приходится делать.

— А?

Старик наклонил голову к земле и, словно прислушиваясь к шуму под ногами, повторил:

— Не пойму я... А?

— Телега, мол, изломалась!

Старик, будто стряхивая с рук воду, отошел, бормоча:

— Ну, ну... какие нонче телеги. Антихрист родился, хороших телег не жди.

Вершинин потер ноющую поясницу и оглянулся.

Собачонка не переставала визжать.

Один партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точно просыпаясь и потягиваясь. Издохла.

Старик беспокойно поцарапался.

— Ишь, и собака с тоски сдохла, Никита Егорыч. А человек терпит.

— Терпит?

— Терпит, Егорыч. Брандепояс-то в сопки пойдет, бают. Изничтожит все и опять-таки пожгет.

— Народу не говори зря. Надо в горы рельсы.

Старик злобно сплюнул:

— Без рельсы пойдет. Раз они с японцами связались. Японец да американка все может. Погибель наша явилась, Егорыч. Прямо погибель. Народ-то, как урожай под дождем, гниет... А капитан-то этот с брандепояса из царских родов будет?..

— Будет тебе зря-то...

— Зол уж, и росту, бают, выше сажени, а борода...

VIII

Мужик с перевязанной головой бешено выгнал обратно из переулка свою игренюю лошадь.

Тело его влипало в плоскую лошадиную спину, лицо танцевало, тряслись кулаки, и радостно орала глотка:

— Мериканца пымали, братцы-ы!..

Окорок закричал:

— Ого-го-го!..

Трое мужиков с винтовками показались в переулке.

Посреди них шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые зубы, и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.

— Кто у вас старшой?

— По какому делу? — отозвался Вершинин.

— Он старшой-то, он! — закричал Окорок. — Никита Егорыч Вершинин! А ты рассказывай, как пымали-то?

Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точно тот сам явился, со стариковской охотливостью стал рассказывать:

— Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы волости. Отряд-от наш за японцем пошел дале-ко-о!

— А деревень-то каких?

— Селом мы воюем. Пенино-село слышал, может?

— Пожгли его, бают?

— Сволочь народ! Как есть все село, паря-батюшка, попалили, вот и ушли мы в сопки!

Партизаны собрались вокруг, заговорили:

— Одну му́ку принимаем! Понятно!

Седой мужик продолжал:

— Ехали они двое, мериканцев-то! На трашпанке в жестянках молоко везли! Дурной народ: воевать приехали, а молоко жрут с щиколадом. Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну и повели. Хотели старосте отдать, а тут ишь — целая компания!

Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и, как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.

От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота и поднималась с ног до головы сухая, знобящая злость.

Мужики загалдели:

— Чего-то!

— Пристрелить его, стерву!

— Крой его!

— Кончать!..

— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого движения еще сильнее захлестнула тело злоба.

— Жгут, сволочи!

— Распоряжаются!

— Будто у себя!

— Ишь забрались!

— Просили их!

Кто-то пронзительно завизжал:

— Бе-ей!..

В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше

на владивостокских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, закричал:

— Обо-ждь!..

И добавил:

— Товарищи!

Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на расстегнувшуюся прореху штанов, через которую виднелось темное тело, и замолчали.

— Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое дело — убить. Вон их сколь на улице-то наваляли. А по-моему, товарищи, распропагандировать его и пустить. Пущай большевицкую правду понюхают. Во-о как я полагаю!..

Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали хохот:

— Хо-хо-хо!..

— Хе-кче!..

— Хо-о!..

— Прореху-то застегни, черт!

— Валяй, Пентя, запузыривай!..

— Втемяшь ему!

— Чать, тоже человек...

— На камне и то выдолбить можно.

— Лупи!..

Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась и толкнула американца плечом:

— Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.

Американский солдат оглядывал волосатые краснобронзовые лица мужиков, расстегнутую прореху штанов Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мял в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде; громко, как глухому, кричали.

Американец, часто мигая, точно от дыма, глазами, поднимая кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там разъясни. Подробно. Нехорошо, мол.

— Зачем нам мешать!

— Против своего брата заставляют идти!

Вершинин степенно сказал:

— Люди вы хорошие, должны понять. Такие же крестьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Япо-

нец, он што, рис жрет, для него по-другому говорить надо!

Знобов тяжело затоптался перед американцем и, приглаживая усы, сказал:

— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим. У вас, поди, этого не знают за морем-то, далеко, да и опять и душа-то у тебя чужой земли...

Голоса повышались, густели.

Американец беспомощно оглянулся и проговорил:

— I don't understand [1].

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

— Не вникат. По-русски-то не знат, бедность!

Мужики отошли от американца.

Вершинин почувствовал смущенье.

— Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться, — сказал он Знобову.

Знобов не соглашался, упорно твердя:

— Он поймет!.. Тут только надо!.. Он поймет!..

Знобов думал.

Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, стоял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.

Син Бин-у лег на землю подле американца, закрыв ладонью глаза, тянул пронзительную китайскую песню.

— Мука мученическая,— сказал тоскливо Вершинин.

Васька Окорок нехотя предложил:

— Рази книжку каку?

Найденные книжки были все русские.

— Только на раскурку и годны, — сказал Знобов, — кабы с картинками.

Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поскотины, долго рылась в сундуках, наконец принесла истрепанный, с оборванными углами, учебник закона божия для сельских школ.

— Може, по закону? — спросила она.

Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:

— Картинки-то божественны! Нам его не перекрещивать. Не попы.

— А ты попробуй, — предложил Васька.

— Как его. Не поймет, поди!

— Может, поймет. Валяй!

Знобов подозвал американца:

---

[1] Я не понимаю.

— Эй, товарищ, иди-ка сюда.

Американец подошел.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин, — сказал твердо и громко Знобов и как-то нечаянно, словно оступясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно ответил:

— There's a chap! [1]

Знобов стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, прокричал:

— Советская республика!

Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запрыгали, и он возбужденно закричал:

— What is pretty indeed [2].

Мужики радостно захохотали:

— Понимает, стерва!

— Вот сволочь, а!

— А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!

— Ты ихних-то буржуев по матушке, Пентя!

Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и, тыча пальцами в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху на облаках висел бог, стал разъяснять:

— Этот с ножом-то — буржуй. Ишь, брюхо-то выпустил, часы с цепочкой только. А здесь, на бревнах-то, пролетариат лежит, понял? Про-ле-та-ри-ат.

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

— Про-ле-та-ри-ат!.. We! [3]

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька Окорок схватил его за голову и, заглядывая в глаза, восторженно орал:

— Парень, ты скажи та-ам. За морями-то...

— Будет тебе, ветрень, — говорил любовно Вершинин.

Знобов продолжал:

— Лежит он — пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на облаках-то японец, американка, англичанка — вся эта сволочь империализма самая сидит.

---

[1] Вот это парень!

[2] Вот что действительно прекрасно.

[3] Мы!

Американец сорвал с головы фуражку и завопил:

— Империализм! Away!..[1]

Знобов с ожесточением швырнул фуражку оземь.

— Империализм с буржуями — к чертям!

Син Бин-у подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

— Русики ресыпубылика-а. Китайси ресыпубылика-а. Мерикансы ресыпубылика-а — пухао. Нипонсы, пухао, нада, нада ресыпубылика-а. Крыа-а-сна ресыпубылика нада, нада...

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медленно подымая большой палец кверху, проговорил:

— Шанго.

Вершинин приказал:

— Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пустить.

Старик конвоир спросил:

— Глаза-то завязать, как поведем? Не приведет сюда?

Мужики решили:

— Не надо. Не выдаст.

IX

Партизаны с хохотом, свистом вскинули ружья на плечи.

Окорок закрутил курчавой рыжей головой, вдруг тонким, как паутина, голоском затянул:

Я рассею грусть-тоску по зеленому лужку,
Уродись, моя тоска, мелкой травкой-муравой
Ты не сохни, ты не блекни, цветами расцвети...

И какой-то быстрый и веселый голос ударил вслед за Васькой:

Я рассеявши пошел, во зеленый сад вошел —
Много в саду вишенья, винограду, грушенья.

И тут сотня хриплых, порывистых, похожих на морской ветер мужицких голосов подняла и понесла в тропы, в лес, в горы:

Я рассеявши пошел,
Во зеленый сад вошел.
— Э-э-эх...
— Сью-ю-ю...

[1] Долой!

Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом в сопки.

Шестой день увядал.

Томительно и радостно пахли вечерние деревья.

В ГОРОДЕ

X

На широких, плетенных из гаоляна циновках лежали кучи камбалы, угрей, похожие на мокрые веревки, толстые пласты наваги, сазана и зубатки. В чешую рыб ныряло небо, камни домов. Плавники хранили еще нежные цвета моря — сапфирно-золотистые, ярко-желтые и густо-оранжевые.

Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды мяса и пронзительно, точно рожая, кричали:

— Тле-епанга-а!.. Капитана Луска! Кла-аба!.. Тлепанга-а! Покупайло еси?.. А-а?

Пентефлий Знобов, избрызганный желтой грязью, пахнущий илом, сидел в лодке у ступенек набережной и говорил с неудовольствием:

— Орет китай, а всего только рыбу предлагает.

— Предлагай, парень, ты!

— Наше дело рушить все! Рушь да рушь, надоело. Когда строить-то будем! Эх, кабы японца грамотного найти!

Матрос спустил ноги к воде, играя подошвами у бороды волны, спросил:

— На што тебе японца?

У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова и торчащие грязные уши. Весь он плескался, как море у лодки, — рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава. Плескалась и плыла набережная, город...

«Веселый человек», — подумал Знобов.

— Японца я могу. Найду. Японца здесь много!

Знобов вышел из лодки, наклонился к матросу и, глядя поверх плеча на пеструю, как одеяло из лоскутьев, толпу, звенящие вагоны трамваев и бесстрастные голубовато-желтые короткие кофты — курмы китайцев, проговорил шепотом:

— Японца надо особенного, не здешнего. Прокламацию пустить чтоб. Напечатать и расклеить по городу. Получай! Можно по войскам ихним.

Он представил себе желтый листик бумаги, упечатанный непонятными знаками, и ласково улыбнулся:

— Они поймут! Мы, парень, одного американца до слезы проняли. Прямо чисто бак лопнул... плачет...

— Может, и со страху плакал?

— Не сикельди. Главное, разъяснить жизнь надо человеку. Без разъяснения что с него спросишь, олово?

— Трудно такого японца найти.

— Я и то говорю. Не иначе как только наткнешься.

Матрос привстал на цыпочки. Глянул в толпу:

— Ишь сколь народу! Может, и есть здесь хороший японец, а как его найдешь!

Знобов вздохнул:

— Найти трудно. Особенно мне. Совсем людей не вижу. У меня в голове-то сейчас совсем как в церкви клирос! Свои войдут, поют, а остальная публика только слушай. Пелена в глазах.

— Таких теперь много.

— Иначе нельзя. По тропке идешь, в одну точку смотри, а то закружится голова, ухнешь в пядь! Суши там кости. Кайся.

Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом. Молчаливо шли японцы, похожие на вырезанные из брюквы фигурки. Пели шпорами сереброгалунные атамановцы.

В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы, тканные на ситце, пестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шкуны, лодки рыбаков.

— Кабак, а не Расея!

Матрос подпрыгнул упруго. Рассмеялся:

— Подожди, мы им холку натрем.

— Пошли? — спросил Знобов.

— Айда, посуда!

Они подымались в гору Пекинской улицей.

Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком, маслом. Два китайца-разносчика, поправляя на плечах кипы материй, туго перетянутых ремнями, глядя на русских, нагло хохотали.

Знобов сказал:

— Хохочут, черти! А у меня в брюхе-то как новый дом строют. Да и ухни он! Дал бы нормально по носу, суки!..

Матрос повел телом под скорлупой рубахи и кашлянул.

— Кому как!

Похоже было — огромный приморский город жил своей привычной жизнью.

Но уже томительная тоска поражений наложила язвы на лица людей, на животных, дома. Даже на море.

Видно было, как за блестящими стеклами кафе затянутые во френчи офицеры за маленькими столиками пили торопливо, точно укалывая себя рюмками, коньяк. Плечи у них были устало искривлены. Часто опускались на глаза тощие, точно задыхающиеся веки.

Худые, как осиновый хворост, изморенные отступлением лошади, расслабленно хромая, тащили наполненные грязным бельем телеги. Его эвакуировали из Омска по ошибке, вместо снарядов и орудий. И всем казалось, что белье это с трупов.

Ели глаза, как раствор мыла, пятна домов, полуразрушенных во время восстания.

И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море.

И по-иному, из-за далекой овиди[1] — тонкой и звенящей, как стальная проволока, — задевал крылом по городу зеленый океанский ветер.

Матрос неторопливо и немного франтовато козырял.

— Не боишься шпиков-то? — спросил он Знобова.

Знобов думал о японцах и, вычесывая западающие глубоко мысли, ответил немного торопливо:

— А нет. У меня другое на сердце. Сначала боялся, а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести боятся, знакомые-то потому и не выдают. — Он ухмыльнулся. — Сколь мы страху человекам нагнали. В десять лет не изживут.

— И сами тоже хватили!

— Да-а!.. У вас арестов нету?!

— Троих взяли.

— Да-а... Иди к нам в сопки.

— Камень, лес. Не люблю... скучно.

— Это верно. Домов из такого камню хороших можно набухать. Прямо — Америка. Валяется без толку,

---

[1] Горизонт.

ни жрать, ни под голову. Мужичку ничего, а мне тоже скучно. Придется нам, однако, в город наступать.

— Валяйте. Вершинин как мыслит?

— Вершинин — туча, куда ветер — там и он с дождем. Куда мужики — значит, и Вершинин...

XI

Председатель подпольного революционного комитета товарищ Пеклеванов, маленький веснушчатый человек в черепаховых очках, очинял ножичком карандаш. На стеклах очков остро, как лезвие ножичка, играло солнце и будто очиняло глаза, и они блестели по-новому.

— Вы часто приходите, товарищ Знобов, — сказал Пеклеванов.

Знобов положил потрескавшиеся от ветра и воды пальцы на стол и туго проговорил:

— Народ робить хочет.

— Ну?

— А робить не дают. Объяростели. Гонют. Мне и то неловко, будто невесту богатую уговариваю.

— Мы вас известим.

— Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поездам, жги, казаков бей... Бронепоезд тут. Японец чисто огонь — не разбират.

— Пройдет.

— Знаем. Кабы не прошло, за что умирать? Мост взорвать хочут.

— Прекрасно. Инициативу нужно, нужно. Чудесно.

— Снаряду надо и человека со снарядами тоже. Динамитного человека надо.

— Пошлем. И человека и динамит. Действуйте.

Помолчали. Пеклеванов жарко, истощенно дышал:

— Дисциплины в вас нет.

— Промеж себя?

— Нет, внутри.

— Ну-у, такой дисциплины теперь ни у кого нету...

Председатель ревкома поцарапал зачесавшийся острый локоть. Кожа у него на щеках нездоровая, как будто не спал всю жизнь, но глубоко где-то хлещет радость, и толчки ее, как ребенок в чреве роженицы, пятнами румянят щеки.

Матрос протянул руку, пожал, будто сок выжимая. Вышел.

Знобов придвинулся поближе и тихо спросил:

— Мужики все насчет восстанья, ка-ак?.. Случай чего, тыщи три из деревни дадим сюда. Германского бою, стары солдаты. План-то имеется?

Он раздвинул руки, точно охватывая стол, и устало зашептал:

— А вы на японца-то прокламацию пустите. Чтоб ему сердце-то насквозь прожечь... Мы тут американца одного, до слезы...

У Пеклеванова впалая грудь, говорит слабым голосом, глаз тихий — в очках.

— Как же, думаем... Меры принимаем.

Знобову вдруг стало его жалко.

«Хороший ты человек, а начальник... того...» — подумал он, и ему захотелось увидеть начальника — здорового бритого человека и почему-то с лысиной во всю голову.

На столе валялась большая газета, а на ней хмурый черный хлеб, мелко нарезанные ломтики колбасы, а поодаль, на синем блюдечке, две картошки и подле блюдечка кусочек сахару.

«Птичья еда», — подумал с неудовольствием Знобов.

Пеклеванов, потирая плечом небритую щеку снизу вверх, говорил:

— В назначенный час восстанья на трамваях со всех концов города появляются рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода и захватывают учреждения.

Пеклеванов говорил, точно читая телеграмму, и Знобову было радостно. Он потряс усами и заторопил:

— Ну-у!.. А не сорвется опять! Вы верите уже...

— Все остальное сделает ревком. В дальнейшем он будет руководить операциями.

Знобов опустил на стол томящиеся силой руки и спросил:

— Все?

— Пока да.

— А мало этого, товарищ... Ей-богу, мало... Ну, возьми...

Пальцы Пеклеванова побежали среди пуговиц пиджака, веснушчатое лицо покрылось пятнами. Он словно обиделся.

Знобов бормотал:

— Мужиков-то тоже так бросить нельзя. Надо позвать. Выходит, мы в сопках-то зря сидели, как куры на испорченных яйцах. Нас, товарищи, много... тысячи...

— Японцев сорок. Сорок тысяч.

— Это верно, — как вшей, могут сдавить. А только пойдет.

— Кто?

— Мир. Мужик хочет.

— Эсеровщины в вас много, товарищ Знобов. Землей от вас несет.

— А от вас колбасой.

Пеклеванов захохотал каким-то пестрым смехом.

— Водкой попотчую, хотите? — предложил он. — Только долго не сидите и правительство не ругайте. Следят.

— Мы втихомолку.

Выпив стакан водки, Знобов вспотел и, вытирая лицо полотенцем, сказал, хмельно икая:

— Ты, парень, не сердись — прохлаждайся. А сначалу не поправился ты мне, что хошь.

— Прошло?

— Теперь ничего. Мы, брат, мост взорвем, а потом броневик там такой есть.

— Где?

Знобов распустил руки:

— По линии... ходит. Четырнадцать там, и еще цифры. Зовут. Народу много погубил. Может, мильон народу срезал. Так мы ево... того...

— В воду?

— Зачем в воду? Мы по справедливости. Добро казенное, мы так возьмем.

— Орудия на нем.

— Опять ничего не значит. Постольку, поскольку выходит, и никакого черта...

Знобов вяло качнул головой:

— Водка у тебя крепкая. Тело у меня, как земля, — не слухат человечьего говору. Свое прет.

Он поднял ногу на порог и сказал:

— Прощай. Предыдущий ты человек, ей-богу.

Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и, глядя на засиженную мухами стену, сказал:

— Да-а... предыдущий.

Он, весело ухмыльнувшись, достал лист бумаги и, сильно скрипя пером, стал писать инструкцию восставшим военным частям.

XII

На улице Знобов увидал у палисадника японского солдата.

Солдат в фуражке с красным околышем и в желтых крагах нес длинную эмалированную миску. У японца был жесткий маленький рот и редкие, как стрекозьи крылышки, усики.

— Обожди-ка! — сказал Знобов, взяв его за рукав.

Японец резко отдернул руку и строго крикнул:

— Ню! Сиво лезишь?

— Хрю! Чушка ты. К тебе с добром, а ты с хрю-ю! В бога веруешь?

Японец призакрыл глаза и из-под загнутых, как углы крыш пагоды, ресниц оглядел поперек Знобова — от плеча к плечу, потом оглядел сапоги и, заметив на них засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:

— Лусика сюполочь. Ню?

И, прижимая к ребрам миску, неторопливо отошел.

Знобов поглядел вслед на задорно блестевшие бляшки пояса. Сказал с сожалением:

— Дурак ты, я тебе скажу!..

КИТАЕЦ СИН БИН-У

XIII

Через три дня в отряд Вершинина, разламывая телом плетенную из тростника тележку, примчался матрос Анисимов.

Лоб у него горел волдырями, одна щека тонула в ссадине, а на груди болтался красный бант.

Матрос кричал с трашпанки:

— В городе, товарищ-щи, восстанье!.. Крой... Броневик капитану Незеласову приказано туда в два счета пригнать... Чтоб немедленно. Рабочие бастуют, одним

словом — крой, и никаких гвоздей!.. А броневик вам, значит, вручаем... А я милицию организую.

И ускакал в сопки — веселый матрос.

Облако над сопками — словно красная лента...

XIV

Эта история длинная, как Син Бин-у возненавидел японцев. У Син Бин-у была жена из фамилии Е, крепкая манза[1], в манзе крашеный теплый кан[2] и за манзой желтые поля гаоляна и чумизы[3].

А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло.

Только щека оказалась проколота штыком.

Син Бин-у читал Ши-цзинь[4], плел циновки в город, но бросил Ши-цзинь в колодец, забыл циновки и ушел с русскими по дороге Кун-ци-цзе[5].

Син Бин-у отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло, сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит песок солнце.

Ноги плещутся в море, и когда теплая, как парное молоко, волна лезет под рубаху и штаны, Син Бин-у задирает ноги и ругается.

— Цхау-неа!..

Син Бин-у не слышал, что говорит густоусый и высоконосый русский. Син Бин-у убил трех японцев, и пока китайцу ничего не надо, он доволен.

От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желтовато-зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики скотом и травами.

У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые тарелки, пулеметные ленты, винтовки.

На телеге с низким передком, прикрытой рваным брезентом, метался раненый. Авдотья Стещенкова поила его из деревянной чашки и уговаривала:

— А ты не стони, пройдет!

Потная толпа плотно набилась между телег. И те-

---

[1] Хижина.

[2] Деревянные нары, заменяющие кровать.

[3] Род китайского проса.

[4] Книга стихов, чтение которой указывает на хорошую грамотность.

[5] Дорога Красного знамени, восстаний.

леги, казалось, тоже вспотели, стиснутые бушующим человечьим мясом. Выросшие из бород мутно-красными полосками губы блестели на солнце слюной.

— О-о-о-у-у-у!..

Вершинин с болью во всем теле, точно его подкидывал на штыки этот бессловный рев, оглушая себя нутряным криком, орал:

— Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не давай!

И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало. Иные слова не приходили.

— Не да-ва-й!..

Толпа тянула за ним:

— А-а-а!..

И вот на мгновенье стихла. Вздохнула.

Ветер нес запах пота.

Партизаны митинговали.

Лицо Васьки Окорока, рыжее, как подсолнечник, буйно металось в толпе, и потрескавшиеся от жары губы шептали:

— На-ароду-то... Народу-то мильёны, товарищи!..

Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь, Никита Вершинин орал с пня:

— Главна: не давай-й!.. Придет суда скора армия... советска, а ты не давай... старик!..

Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:

— Не-еда-а-авай!!

И казалось, вот-вот обрушится слово, переломится, и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.

В это время корявый мужичонка в шелковой малиновой рубахе, прижимая руки к животу, пронзительным голосом подтвердил:

— А верю, ведь верна!..

— Потому за нас Питер... ници... пал!.. и все чужие земли! Бояться нечего... Японец — что, японец — легок... Кисея!..

— Верна, парень, верна! — визжал мужичонка.

Густая потная тысячная толпа топтала его визг.

— Верна-а...

— Не да-а-ай!..

— На-а!..

— О-о-оу-у-у!!

— О-о!!!

XV

После митинга Никита Вершинин выпил ковш самогонки и пошел к морю. Он сел на камень подле китайца, сказал:

— Подбери ноги, штаны измочишь. Пошто на митингу не шел, Сенька?

— Нисиво, — проговорил китаец, — мне ни нада... Мне так зынаю — зынаю псе... шанго.

— Ноги-то подбери!

— Нисиво. Солнышко тепыло еси. Нисиво — а!..

Вершинин насупился и строго, глядя куда-то подле китайца, с расстановкой сказал:

— Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман... У меня, Сенька, душа пищит, как котенка на морозе бросили... да-а... Мост вот взорвем, строить придется.

Вершинин подобрал живот, так что ребра натянулись под рубахой, как ивняк под засохшим илом, и, наклонившись к китайцу, с потемневшим лицом выпытывающе спросил:

— А ты... как думаешь... А? Пошто эта, а?..

Син Бин-у, торопливо натягивая петли на деревянные пуговицы кофты, оробело отполз.

— Не зынаю, Кита. Гори-гори! Не зынаю!..

Вершинин, склонившись над отползающим китайцем, глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, как у идола, тоскливо и не надеясь на ответ, спрашивал:

— Зря, что ль, молчишь-то?.. Ну?..

Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он залепетал:

— Нисиво!.. нисиво ни зынаю!..

Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на камень.

— Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимат... Разбудили, побежали, а дале что?..

И, осев плотно на камне, как леший, устало сказал подходившему Окороку:

— Не то народ умом оскудел, не то я...

— Чего? — спросил тот.

— На смерть лезет народ.

— Куда?

— Броневик-то брать. Миру побьют много. И то в смерть, как снег в полынью, несет людей,

Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.

— Жалко тебе?

Подошел Знобов, под мышкой у него была прижата папка с бумагами.

— Подписать приказы!

Вершинин густо начеркал на бумаге букву В, а подле нее длинную жирную черту.

— Ране-то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напишешь, спасибо, догадь взяла, поставил одну букву с палкой — и ладно... знают.

Окорок повторил:

— Жалко тебе?

— Чего? — спросил Знобов.

— Люди мрут.

Знобов сунул бумажку в папку и сказал:

— Пустяковину все мелешь. Чего народу жалеть? Новой вырастет.

Вершинин сипло ответил:

— Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то открыть надо.

— Зачем идешь?

— Землю жалко. Японец отымет.

Окорок беспутно захохотал:

— Эх вы, землехранители, ядрена-зелена! И-их!..

— Чего ржешь? — с тугой злостью проговорил Вершинин. — Кому море, а кому земля. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду...

— Ну, пророк?

— Рыбалку брошу теперь.

— Пошто?

— Зря я мучился, чтоб в море идти опять. Пахотой займусь. Город-то омманывает, пузырь мыльнай, в карман не сунешь.

Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яркие пятна на пристани — людей, трамвай, дома — и сказал с неудовольствием:

— Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем планетам землю отымем и трудящимся массам — расписывайся!..

Окорок растянулся на песке рядом с китайцем и, взрывая ногами песок, сказал:

— Японскова микадо колды расстреливать будут, вот завизжит, курва. Патеха-а!.. Не ждет, поди, а, Сенька? Как ты думаешь, Егорыч?

— Им виднее, — нехотя ответил Вершинин.

Над песками — берега-скалы, дальше горы. Дуб. Лиственница. Высоко на скале человек, в желтом — как кусочек смолы на стволе сосны — часовой.

Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.

Син Бин-у сказал:

— Серысе похудел-похудел немынога... а?

— Пройдет, — успокоил Окорок, закуривая папироску.

Син Бин-у согласился:

— Нисиво.

XVI

Корявый мужичонка в малиновой рубахе поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:

— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда балдой. Ты им вбей в голову, поверют и пойдут!.. Само главно — в человека поверить... А интернасынал-то?

Он подмигнул и еще тихо сказал:

— Я ведь знаю — там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем — пашня... Хорошее слово.

— Надоели мне хорошие слова.

— Брешешь. Только говорил и говорить будешь. Ты вбей им в голову. А потом лишнее спрятать можно... Это завсегда так делается. Ведь которому человеку агромаднейшая мера надобна, такое племя... Он тебе вершком, стерва, мерить не хочет, а верста. И пусь, пусь мерят... Ты-то свою меру знашь... Хе-хе-хе!..

Мужичонка по-свойски хлопнул Вершинина в плечо.

Тело у Вершинина сжималось и горело. Лег под телегу, пробовал уснуть и не мог.

Вскочил, туго перетянул живот ремнем, умылся из чугунного рукомойника согревшейся водой и пошел сбирать молодых парней.

— На ученье, айда. Жива-а!..

Парни с зыбкими и неясными, как студень, лицами собирались послушно.

Вершинин выстроил их в линию и скомандовал:

— Смирна-а!..

И от крика этого почувствовал себя солдатом:

— Равнение на-право-о!..

Вершинин до позднего вечера учил парней.

Парни потели, злобно проделывая упражнения, посматривая на солнце.

— Полу-оборот на-алева-а!.. Смотри. К японцу пойдем!

Один из парней жалостно улыбнулся.

— Чего ты?

Парень, моргая выцветшими от морской соли ресницами, сказал робко:

— Где к японсу? Свово б не упустить. У японса-то, бают, мо-оря... А вода их горячая, христьянину пить нельзя.

— Таки же люди, колдобоина!

— А пошто они желты? С воды горячей, бают?

Парни захохотали.

Вершинин прошел по строю и строго скомандовал:

— Рота-а, пли-и!..

Парни щелкнули затворами.

Лежавший под телегой мужик поднял голову и сказал:

— Учит. Обстоятельный мужик, Вершинин-то...

Другой ответил ему полусонно:

— Камень, скаля... Большим комиссаром будет.

— Он-то? Обязательна.

ПРАПОРЩИК ОБАБ

XVII

Казак изнеможенно ответил:

— Так точно... с документами...

Мужик стоял, откинув туловище, и похожая на рыжий платок борода плотно прижималась к груди.

Казак, подавая конверт, сказал:

— За голяшками нашли!

Молодой крупноглазый комендант станции, обессиленно опираясь на низкий столик, стал допрашивать партизана:

— Ты... какой банды... вершининской?..

Капитан Незеласов, вдавливая раздражение, гладил ладонями грязно пахнущую, как солдатская портянка, скамью комендантской и зябко вздрагивал. Ему хотелось

уйти, но постукивавший в соседней комнате аппарат телеграфа не пускал:

«Может... приказ... может...»

Комендант, передвигая тускло блестевшие четырехугольники бумажек, изнуренным голосом спросил:

— Какое количество?.. Что?.. Где?..

Со стен, когда стучали входной дверью, откалывалась штукатурка. Незеласову казалось, что комендант притворяется спокойным.

«Угодить хочет... бронепоезд... дескать, наши...»

А у самого внутри такая боль, какая бывает, когда медведь проглатывает ледяшку с вмороженной спиралью китового уса. Ледяшка тает, пружина распрямляется, рвет внутренности — сначала одну кишку, потом другую...

Мужик говорил закоснелым, смертным говором и только при словах: «Город-то, бают, узяли наши», — строго огляделся, но опять спрятал глаза.

Румяное женское лицо показалось в окошечке:

— Господин комендант, из города не отвечают.

Комендант сказал:

— Говорят, не расстреливают — палками...

— Что? — спросило румяное лицо.

— Работайте, вам-то что! Вы слышали, капитан?

— Может... все может... Но ведь, я думаю...

— Как?

— Партизаны перерезали провода. Да, перерезали, только...

— Нет, не думаю. Хотя!..

Когда капитан вышел на платформу, комендант, изнуренно кладя на подоконник свое тело, сказал громко:

— Капитан, арестованного прихватите.

Рыжебородый мужик сидел в бронепоезде неподвижно. Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мокрая серая глина.

Когда в него стреляли, солдатам казалось, что они стреляют в труп. Поэтому, наверное, один солдат приказал до расстрела:

— А ты сапоги-то сейчас сними, а то потом возись.

Обыклым движением мужик сдернул сапоги.

Противно было видеть потом, как из раны туго ударила кровь.

Обаб принес в купе щенка — маленький сверточек слабого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой ладони прапорщика на кровать и заскулил.

— Зачем вам? — спросил Незеласов.

Обаб как-то по-своему ухмыльнулся:

— Живность. В деревне у нас — скотина. Я уезда Барнаульского.

— Зря... да, напрасно, прапорщик.

— Чего?

— Кому здесь нужен ваш уезд?.. Вы... вот... прапорщик Обаб, да золотопогонник и... враг революции. Никаких.

— Ну? — жестко проговорил Обаб.

И, отплескивая чуть заметное наслаждение, капитан проговорил:

— Как таковой... враг революции... выходит, подлежит уничтожению. Уничтожению!

Обаб мутно посмотрел на свои колени, широкие и узловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мутным, тягучим голосом проговорил:

— Ерунда. Мы их в лапшу искрошим!

На ходу в бронепоезде было изнурительно душно. Тело исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.

Только когда выводили и расстреливали мужика с рыжей бородой, в вагон слабо вошел хилый, больной ветер и слегка освежил лица. Мелькнул кусок стального неба, клочья изорванных немощных листьев с кленов.

Тоскливо пищал щенок.

Капитан Незеласов ходил торопливо по вагонам и визгливо, по-женски ругался. У солдат были вялые длинные лица, и капитан брызгал словами:

— Молчать, гниды. Не разговаривать, молчать!..

Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались своих воспаленных мыслей. Им при окриках капитана казалось, что кто-то, не признававший дисциплины, тихо скулит у пулеметов, у орудий.

Они торопливо оглядывались.

Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные доски, несло по ровным, как спички, рельсам — к востоку, к городу, к морю.

XVIII

Син Бин-у направили разведчиком.

В плетенную из ивовых прутьев корзинку он насыпал жареных семечек, на дно положил револьвер и, продавая семечки, хитро и радостно улыбался.

Офицер в черных галифе с серебряными двуполосыми галунами, заметив радостно изнемогающее лицо китайца, наклонился к его глазам и торопливо спросил:

— Кокаин есть?

Син Бин-у плотно сжал колпачки тонких, как щели, век и, точно сожалея, ответил:

— Нетю!

Офицер строго выпрямился.

— А что есть?

— Семечки еси.

— Жидам продались, — сказал офицер, отходя. — Вешать вас!

Тонкогрудый солдатик в голубых обмотках и в шинели, похожей на грязный больничный халат, сидел рядом с китайцем и рассказывал:

— У нас в Семипалатинской губернии, брат китаеза, арбуз совсем особенный — китайскому арбузу далеко.

— Шанго, — согласился китаец.

— Домой охота, а меня к морю везут, видишь.

— Сытупай.

— Куда?

— Домой.

— Устал я. Повезут — поеду, а самому идти — сил нету.

— Семичка мынога.

— Чево?

Китаец встряхнул корзинку. Семечки сухо зашуршали, запахло золой от них.

— Семички мынога у русика башку. У-ух... Шибиршиты...

— Что шебуршит?

— Семичика, зелена-а...

— А тебе что же, камень надо, чтоб в голове-то лежал?

Китаец одобрительно повел губами и, указывая на серый френч проходившего плоского офицера, спросил:

— Кто?

— Капитан Незеласов, это, китаеза, начальник бро-

непоезда. В город требуют поезд, уходит. Перережут тут нас партизаны-то, а?

— Шанго... Пу шанго...

— Для тебя все шанго, а мы кумекай тут!

Русоглазый парень с мешком, из которого торчал жидкий птичий пух, остановился против китайца и весело крикнул:

— Наторговал?

Китаец вскочил торопливо и пошел за парнем.

Бронепоезд вышел на первый путь. Беженцы с перрона жадно и тоскливо посмотрели на него, зашептались испуганно. Изнеможенно прошли казаки. Седой длиннобородый старик рыдал возле кипяточного крана, и, когда он вытирал слезы, видно было — руки у него маленькие и чистенькие.

Солдатик прошел мимо, с любопытством и скрытой радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную гнило пахнущей, похожей на ржавую медь, водой.

— Житьишко, — сказал он любовно.

Китаец в гаолянах говорил что-то шепотом русоглазому парню.

XIX

Ночью стало совсем душно. Духота густыми непреодолимыми волнами рвалась с мрачных чугунно-темных полей, с лесов — и, как теплую воду, ее ощущали губы, и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой, как мокрая глина, тоской.

Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного. Сразу — тьма. Небо в искрах. Искры бегут за паровозом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно жалко ревет.

А сзади наскакивают горы, лес. Наскочат и раздавят, как овца жука.

Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Торопливо хватал из холщового мешка яйца, срывал скорлупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил полусырое и жевал его передними зубами, роняя липкую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри по-прежнему был жар и голод.

Солдат-денщик разводил чаем спирт, на остановках приносил корзины провизии, недоумело докладывая:

— С городом, господин прапорщик, сообщения нет.

Обаб молчал, хватая корзинку, и узловатыми пальцами вырывал хлеб, и если не мог больше его съесть, сладострастно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.

Спустив щенка на пол и следя за ним мутным медленным взглядом, Обаб лежал неподвижно. Выступала на теле испарина. Особенно неприятно было, когда потели волосы.

Щенок, тоже потный, визжал. Визжали буксы. Грохотала сталь — точно заклепывали...

У себя в купе, жалко и быстро вспыхивая, как спичка на ветру, бормотал Незеласов:

— Прорвемся... к черту!.. Нам никаких командований... Нам плевать!..

Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаб пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд — и не насыщался. Так же мелькали будки стрелочников и так же, забитый полями, ветром и морем, жил на том конце рельс непонятный и страшный в молчании город.

— Прорвемся, — выхаркивал капитан и бежал к машинисту.

Машинист, лицом чернявый, порывистый, махая всем своим телом, кричал Незеласову:

— Уходите!.. Уходите!..

Капитан, незаметно гримасничая, обволакивал машиниста словами:

— Вы не беспокойтесь... партизан здесь нет... А мы прорвемся, да, обязательно... А вы скорей... А... Мы все-таки...

Машинист был доброволец из Уфы, и ему было стыдно своей трусости.

Кочегар, тыча пальцем в тьму, говорил:

— У красной черты... Видите?

Капитан глядел на закоптелый глаз машиниста и воспаленно думал о «красной черте». За ней паровоз взорвется, сойдет с ума.

— Все мы... да... в паровоз...

Нехорошо пахло углем и маслом.

Вспоминались бунтующие рабочие.

Незеласов внезапно выскакивал из паровоза и бежал по вагонам, крича:

— Стреляй!..

Для чего-то подтянув ремни, солдаты становились у пулеметов и выпускали в тьму пули. От знакомой работы аппаратов тошнило.

Явился Обаб. Губы жирные, лоб потно блестел. Он спрашивал одно и то же:

— Обстреливают? Обстреливают?

Капитан приказывал:

— Отставь!

— Усните, капитан!

Все в поезде бегало и кричало — вещи и люди. И серый щенок в купе прапорщика Обаба тоже пищал.

Капитан торопился закурить сигаретку:

— Уйдите... к черту!.. Жрите... все, что хотите... Без вас обойдемся.

И визгливо тянул:

— Пра-а-порщик!..

— Слушаю, — сказал прапорщик, — вы что ищете?

— Прорвемся... я говорю — прорвемся!..

— Ясно. Всего хватает.

Капитан снизил голос:

— Ничего. Потеряли!.. Коромысло есть... Нет ни чашек... ни гирь... Кого и чем мы вешать будем!..

— Да я их...

Капитан пошел в свое купе, бормоча на ходу:

— А... Земли здесь вот... за окнами... Как вы... вот пока... она вас... проклинает, а?..

— Что вы глисту тянете? Не люблю. Короче.

— Мы, прапорщик, трупы... завтрашнего дня. И я, и вы, и все в поезде — прах... Сегодня мы закопали человека, а завтра... для нас лопата... да.

— Лечиться надо.

Капитан подошел к Обабу и, быстро впивая в себя воздух, прошептал:

— Сталь не лечат, переливать надо... Это ту... движется если... работает... А если заржавела... Я всю жизнь, на всю жизнь убежден был в чем-то, а... Ошибся, оказывается... Ошибку хорошо при смерти... А мне тридцать ле-ет, Обаб. Тридцать, и у меня ребеночек — Ва-а-алька... И ногти у него розовые, Обаб...

Тупые, как носок американского сапога, мысли Обаба разошлись в стороны. Он отстал, вернулся к себе, взял папироску и тут, не куря еще, начал плевать — сначала на пол, потом в закрытое окно, в стены и на одеяло, и, когда во рту пересохло, сел на кровать и мутно воззрился на мокрый живой сверточек, пищавший на полу.

— Глиста!..

XX

На рассвете капитан вбежал в купе Обаба.

Обаб лежал вниз лицом, подняв плечи, словно прикрывая ими голову.

— Послушайте,— нерешительно сказал капитан, потянув Обаба за рукав.

Обаб повернулся, поспешно убирая спину, как убирают рваную подкладку платья.

— Стреляют? Партизаны?

— Да нет... Послушайте!..

Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты, и мутно и обтрепанно глядели глаза, похожие на прорехи в платье.

— Но нет мне разве места... в людях, Обаб?.. Поймите... я письмо хочу... получить. Из дому, ну!..

Обаб сипло сказал:

— Спать надо, отстаньте!

— Я хочу... получить из дома... А мне не пишут!.. Я ничего не знаю. Напишите хоть вы мне его, прапорщик!.. — Капитан стыдливо хихикнул: — А... незаметно этак, бывает... а...

Обаб вскочил, натянул дрожащими руками большие сапоги, а затем хрипло закричал:

— Вы мне по службе, да! А так мне говорить не смей! У меня у самого... в Барнаульском уезде...

Прапорщик вытянулся, как на параде.

— Орудия, может, не чищены? Может, приказать? Солдаты пьяны, а тут ты... Не имеешь права...

Он замахал руками и, подбирая живот, говорил:

— Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть тебя, не желаю!

— Тоска, прапорщик... А вы... все-таки... человек!

— Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый... Онанизмом в детстве-то, а... Ишь, ласки захотел...

— Вы поймите... Обаб.

— Не по службе то.

— Я прошу...

Прапорщик закричал:

— Не хо-очу-у!..

И он повторил несколько раз это слово, и с каждым повторением оно теряло свою окраску; из горла вырывалось что-то огромное, хриплое и страшное, похожее на бегущую армию:

— О-о-а-е-ггты!..

Они, не слушая друг друга, исступленно кричали, до хрипоты, до того, пока не высох голос.

Капитан устало сел на койку и, взяв щенка на колени, сказал с горечью:

— Я думал... камень. Про вас-то... А тут — леденец... в жару распустился!

Обаб распахнул окно и, подскочив к капитану, резко схватил щенка за гривку.

Капитан повис у него на руке и закричал:

— Не сметь!.. Не сметь бросать!

Щенок завизжал.

— Пу-у! — густо и жалобно протянул Обаб. — Пу-усти-и..

— Не пущу, я тебе говорю!..

— Пу-усти-и!

— Бро-ось!.. Я!..

Обаб убрал руку и, словно намеренно тяжело ступая, вышел.

Щенок тихо взвизгивал, неуверенно перебирал серыми лапками по полу, по серому одеялу. Похож на мокрое, ползущее пятно.

— Вот, бедный, — проговорил Незеласов, и вдруг в горле у него заклокотало, в носу ощутилась вязкая сырость. Он заплакал.

XXI

В купе звенел звонок — машинист бронепоезда требовал к себе.

Незеласов устало позвал:

— Обаб!

Обаб шел позади и был недоволен мелкими шажками капитана.

Обаб сказал:

— Мостов здесь порванных нету. Что у них? Шпалы разобрали... Партизаны... А из города ничего. Ерунда!

Незеласов виновато сказал:

— Чудесно... мы живем, да-а?.. А до сего момента.., не знаю, как имя... отчество ваше, а... Обаб и Обаб?.. Извините, прямо... как собачья кличка...

— Имя мое — Семен Авдеич. Хозяйственное имя.

Машинист, как всегда, стоял у рычагов. Сухой, жилистый, с медными усами и словно закоптелыми глазами.

Указывая вперед, он проговорил:

— Человек лежит.

Незеласов не понял. Машинист повторил:

— Человек на пути!

Обаб высунулся. Машинист быстро передвинул какие-то рычаги. Ветер рванул волосы Обаба.

— На рельсах, господин капитан, человек!

Незеласова раздражал спокойный голос прапорщика, и он резко сказал:

— Остановите поезд!

— Не могу,— сказал машинист.

— Я приказываю! Я...

— Нельзя, — повторил машинист. — Поздно вы пришли. Перережем, тогда остановимся.

— Человек ведь! Что?

— По инструкции не могу остановить. Крушение иначе будет.

Обаб расхохотался:

— Совсем останавливаться ни к чему. Мало мы людей перебили. Если из-за каждого стоять, мы бы дальше Ново-Николаевска не ушли.

Капитан раздраженно сказал:

— Прошу не указывать! Остановить после переreза! Прошу!..

— Слушаюсь, господин капитан, — ответил Обаб.

Ответ этот, грубый и торопливый, еще больше озлил капитана, и он сказал:

— А вы, прапорщик Обаб, идите немедленно, и чтобы мне рапорт, что за труп на пути.

— Слушаю, — ответил Обаб.

Машинист еще увеличил ход.

Вагоны напряженно вздрогнули. Пронзительно залился гудок.

Человек на рельсах лежал неподвижно. Виднелось на желтых шпалах синее пятно его рубахи.

Вагоны передернуло железными лопатками площадок.

— Кончено, — сказал машинист. — Сейчас остановлю, и посмотрим.

Обаб, расстегивая ворот рубахи, чтобы потное тело опахнуло ветром, соскочил с верхней площадки прямо на землю. Машинист спрыгнул за ним.

Солдаты показались в дверях. Незеласов надел фуражку и тоже пошел к выходу.

Но в это время толкнул бронепоезд лес гулким ружейным залпом. И немного спустя еще один заблудившийся выстрел.

Прапорщик Обаб вытянул вперед руки, как будто приготовляясь к нырянию в воду, и вдруг тяжело покатился по откосу насыпи.

Машинист запнулся и, как мешок с воза, грузно упал у колес вагона. На шее выступила кровь, и его медные усы точно сразу побелели.

— Назад!.. Назад!.. — пронзительно закричал Незеласов.

Дверцы вагонов хлопнули, заглушая выстрелы. Мимо вагонов пробежал забытый в суматохе солдат. У четвертого вагона его убило.

Застучали пулеметы.

РЕЛЬСЫ

XXII

Похоже, не мог найти сапог по ноге и потому бегал босиком. Ступни у лисолицего были огромные, как лыжи, а тело, как у овцы, — маленькое и слабое.

Бегал лисолицый торопливо и кричал, глядя себе под ноги, словно сгоняя цыплят:

— Шавялись. Шавялись. Ждут...

И, для чего-то зажмурившись, спрашивал проходившие отряды:

— Сколько народу?

Открывая глаза, залихватски выкрикивал стоявшему на холме Вершинину:

— Гришатински, Никита Егорыч!

У подола горы редел лес, и на россыпях цвел голый камень За камнем, на восток, на полверсты — реденький кустарник, за кустарником — желтая насыпь железной дороги, похожая на одну бесконечную могилу без крестов.

— Мутьевка, Никита Егорыч! — кричал лисолицый.

Темный, в желтеющих измятых травах стоял Вершинин. Было у него лохмоволосое, звериное лицо,

иссушенный долгими переходами взгляд, изнуренные руки. Привыкшему к машинам Пентефлию Знобову было спокойно и весело стоять близ него. Знобов сказал:

— Народу идет много.

И протянул вперед руку, словно хватаясь за рычаг исправной и готовой к ходу машины.

— Анисимовски, сосновски!

Васька Окорок, рыжеголовый, па золотошерстном коротконогом иноходце подскакал к холму и, щекоча сапогами шею у лошади, заорал:

— Иду-ут! Тыщ, поди, пять будет!

— Боле, — отозвался уверенно лисолицый с россыпи. — Кабы я грамотный, я бы тебе усю риестру разложил. Мильён!

Он яростно закричал проходившим:

— А ты каких волостей?!

У низкорослых монгольских лошадок и людей были приторочены длинные крестьянские мешки с сухарями. В гривах лошадей и людей торчали спелые осенние травы, и голоса были протяжные, но жесткие, как у перелетных осенних птиц.

— Открывать, что ли? — закричал лисолицый. — Ждут...

И хотя знали все: в городе восстание, на помощь белым идет бронепоезд № 14-69, если не задержать, восстание подавят японцы, — все же нужно было собраться, и чтоб один сказал и все подтвердили:

— Идти... Сказать всем, всем — слышать.

— Японец больше воевать не хочет, — добавил Вершинин, слезая с ходка.

Син Бин-у влез на ходок и долго, будто выпуская изо рта цветную и непонятно шебуршащую бумажную ленту, говорил, почему нужно сегодня задержать бронепоезд.

Между выкрашенных под золото и красную медь осенних деревьев натянулось, грязное, пахнущее землей, полотно из мужицких тел. Полотно гудело. И было непонятно — не то сердито, не то радостно гудит оно от слов человечков, говорящих с телеги.

— Голосовать, что ли? — спросил толстый секретарь штаба.

Вершинин ответил:

— Обожди. Не орали еще.

Зеленобородый старик с выцветшими, распаренными глазами, расправляя рубаху на животе, словно к его животу хотели прикладываться, шипел исступленно Вершинину:

— А ты от бога куда идешь, а?

— Окстись ты, дед!

— Бога ведь рушишь. Я знаю! Никола-угодник являлся — больше, грит, рыбы в море не будет. Не даст. А ты пошто народ бунтуешь?.. Мне избу надо ладить, а ты у меня всех работников забрал.

— Сожгет японец избу-то!

— Японца я знаю, — торопливо, обливая слюной бороду, бормотал старик, — японец хочет, чтоб в его веру перешли. Ну, а народ-то — пень: не понимат. А нам от греха дальше, взять да согласиться, черт с ним — втишь-то можно... свому богу... Никола-то свому не простит, а японца завсегда надуть можна...

Старик тряс головой, будто пробивая какую-то темную стену, и слова, которые он говорил, видно было, тяжело рождены им, а Вершинину они были не нужны.

И он, выливая через слабые губы, как через проржавленное ведро влагу, опять начал бормотать свое.

— Уйди! — сказал грубо Вершинин. — Чего лезешь в ноздрю с богами своими? Подумаешь... Абы жизнь была — богов выдумают...

— Ты не хулись, ирод, не хулись!..

Окорок сказал со злобою:

— Дай ему, Егорыч, стерве, в зубы! Провокатёры тиковые!

Вскочив на ходок, Окорок закричал, разглаживая слова:

— Ну, так вы как, товарищи?.. Галисовать, что ли?

— Голосуй! — отвечал кто-то робко из толпы.

Мужики загудели:

— Валяй!..

— Чаво мыслить-то!..

— Жарь, Васька!

Когда проголосовали уже, решив идти на броневик, влево, далеко над лесом послышался неровный гул, похожий на срыв в падь скалы. Мохнатым громадным веником выбросило в небо дым.

Толстый секретарь снял шапку и по-протокольному сказал мужикам:

— Это штаб постановил — через Мукленку мост наши взорвали. Поезд, значит, все равно не выскочит к городу. Наши-то сгибли, поди, пятеро...

Мужики сняли шапки, перекрестились, за упокой. Пошли через лес к железнодорожной насыпи окапываться.

Вершинин пошел по кустарнику к насыпи, поднялся кверху и, крепко поставив, будто пришив, ноги между шпал на землю, долго глядел в даль блестящих стальных полос на запад.

— Чего ты? — спросил Знобов.

Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи, сказал:

— Будут же после нас люди хорошо жить?

— Ну?

— Вот и все.

Знобов развел пальцами усы и сказал с удовольствием:

— Это их дело. Я думаю, обязаны, стервы!

XXIII

Бритый коротконогий человек лег грудью на стол, — похоже, что ноги его не держат, — и хрипло говорил:

— Нельзя так, товарищ Пеклеванов: ваш ревком совершенно не считается с мнением Совета союзов. Выступление преждевременно.

Один из сидевших в углу на стуле рабочих сказал желчно:

— Японцы объявили о сохранении ими нейтралитета. Не будем же мы ждать, когда они на острова уберутся. Власть должна быть в наших руках, тогда они скорее уйдут.

Коротконогий человек доказывал:

— Совет союзов, товарищи, зла не желает, можно бы обождать...

— Когда японцы выдвинут еще кого-нибудь.

— Пойдут опять усмирять мужиков?

— Ждали достаточно!

Собрание волновалось. Пеклеванов, отхлебывая чай, успокаивал:

— А вы тише, товарищи.

Коротконогий представитель Совета союзов протестовал:

— Вы не считаетесь с моментом. Правда, крестьяне настроены фанатично, но... Вы уже послали агитаторов по уезду, крестьяне идут на город, японцы нейтралитетствуют... Правда!.. Вершинин пусть даже бронепоезд задержит, и все же восстания у нас не будет.

— Покажите ему!

— Это демагогия!..

— Прошу слова!

— Товарищи!

Пеклеванов поднялся, вытащил из портфеля бумажку и, краснея, прочитал:

— Разрешите огласить следующее: «По постановлению Совета Народных Комиссаров Сибири — восстание назначено на двенадцать часов дня шестнадцатого сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года. Начальный пункт восстания — казармы артиллерийского дивизиона... По сигналу... Совет Народных...»

Уходя, коротконогий человек сказал Пеклеванову:

— За нами следят! Вы осторожнее... И матроса напрасно в уезд командировали.

— А что?

— Взболтанный человек: бог знает чего может наговорить! Надо людей сейчас осмотрительно выбирать.

— Мужиков он знает хорошо, — сказал Пеклеванов.

— Мужиков никто не знает. Человек он воздушный, а воздушность на них, правда, действует. Все же... На митинг поедете?

— Куда?

— Судостроительный завод. Рабочие хотят вас видеть.

Пеклеванов покраснел.

Коротконогий подошел к нему вплотную и тихо в лицо сказал:

— Мне вас жалко. А без вас они выступать не хотят. Не верят они словам, а человека увидеть хотят. Следят... контрразведка... Расстреляют при поимке, — а видеть хотят. Дескать, с нами ли? Напрасно затеваете.

Пеклеванов вытер потный веснушчатый лоб, сунул маленькие руки в карманы короткополого пиджака и прошелся по комнате. Коротконогий следил за ним из-под выпуклых очков.

— Сентиментальность, — сказал Пеклеванов, — ничего не будет!

Коротконогий вздохнул:

— Как хотите. Значит, заехать за вами?

— Когда?

Пеклеванов покраснел сильнее и подумал: «А он за себя трусит».

И от этой мысли совсем растерялся, даже руки задрожали.

— А хотя мне все равно. Когда хотите!

Вечером коротконогий подъехал к палисаднику и ждал. Через кустарник видна была его соломенная шляпа и усы, желтоватые, подстриженные, похожие на зубную щеточку. Фыркала лошадь.

Жена Пеклеванова плакала. У нее были острые зубы и очень румяное лицо. Слезы на нем были не нужны, неприятно их было видеть на розовых щеках и мягком подбородке.

— Измотал ты меня. Каждый день жду — арестуют... Бог знает потом... Хоть бы одно!.. Не ходи!..

Она бегала по комнате, потом подскочила к двери и ухватилась за ручку, просила:

— Не пущу... Кто мне потом тебя возвратит, когда расстреляют? Ревком? Наплевать мне на них всех, идиотов.

— Маня! Ждет же Семенов.

— Мерзавец он — и больше никто. Не пущу, тебе говорят, не хочу! Ну-у?..

Пеклеванов оглянулся, подошел к двери. Жена изогнулась туловищем, как теснина под ветром; на согнутой руке, под мокрой кожей, натянулись сухожилия.

Пеклеванов смущенно отошел к окну.

— Не понимаю я вас!..

— Не любишь ты никого... Ни меня, ни себя, Васенька! Не ходи!..

Коротконогий хрипло проговорил с пролетки:

— Василий Максимыч, скоро? А то стемнеет, магазины запрут.

Пеклеванов тихо сказал:

— Позор, Маня. Что мне, как Подколесину, в окошко выпрыгнуть? Не могу же я отказаться: струсил, скажут.

— На смерть ведь. Не пущу.

Пеклеванов пригладил низенькие жидкие волосенки.

— Придется.

Пошарив в карманах короткополого пиджака и криво улыбаясь, стал залезать на подоконник.

— Ерунда какая... Нельзя же так...

Жена закрыла лицо руками и громко, будто нарочито плача, выбежала из комнаты.

— Поехали? — спросил коротконогий. Вздохнул.

Пеклеванов подумал, что он слышал плач в домишке. Неловко сунулся в карман, но портсигара не оказалось. Возвращаться же было стыдно.

— Папирос у вас нету? — спросил он.

XXIV

Никита Вершинин верхом на брюхастой, мохнатошерстой, как меделянская собака, лошади объезжал кустарники у железнодорожной насыпи.

Мужики лежали в кустах, курили, приготовлялись ждать долго. Пестрые пятна рубах — десятками, сотнями росли с обеих сторон насыпи, между разъездами — почти на десять верст.

Лошадь — ленивая, вместо седла — мешок. Ноги Вершинина болтались, и через плохо обернутую портянку сапог больно тер пятку.

— Баб чтоб не было, — говорил он.

Начальники отрядов вытягивались и бойко, точно успокаивая себя военной выправкой, спрашивали:

— Из городу, Никита Егорыч, ничего не слышно?

— Восстание там.

— А успехи-то как? Военны?

Вершинин бил каблуком лошадь в живот и, чувствуя в теле сонную усталость, отъезжал.

— Успехи, парень, хорошие. Главно, — нам не подгадить!

Мужики, как на покосе, выстроились вдоль насыпи. Ждали.

Непонятно-незнакомо пустела насыпь. Последние дни один за другим уходили на восток эшелоны с беженцами, солдатами — японскими, американскими и русскими. Где-то перервалась нить, и людей отбросило в другую сторону. Говорили, что беженцев грабят приехавшие из сопок мужики, и было завидно. Бронепоезд № 14-69 носился один между станциями и не давал солдатам бросить все и бежать.

Партизанский штаб заседал в будке стрелочника. Стрелочник тоскливо стоял у трубки телефона и спрашивал станцию:

— Бронепоезд скоро?

Около него сидел со спокойным лицом партизан с револьвером и глядел в рот стрелочнику.

Васька Окорок подсмеивался над стрелочником:

— Мы тебя кашеваром сделаем. Ты не трусь!

И, указывая на телефон, сказал:

— С луной, бают, в Питере-то большевики учены переговаривают?

— Ничо не поделаешь, коли правда.

Мужики вздохнули, поглядели на насыпь.

— Правда-то, она и на звезды влезет.

Штаб ждал бронепоезда. Направили к мосту пятьсот мужиков, к насыпи на длинных российских телегах привезли бревна, чтоб бронепоезд не ушел обратно. У шпал валялись ломы — разобрать рельсы.

Знобов сказал недовольно:

— Все правда да правда! А к чему — и сами не знаем. Тебе с луною-то, Васька, для чего говорить!

— А все-таки чудно! Может, захочем на луне-то мужика построить.

Мужики захохотали.

— Ботало.

— Окурок!

— Надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он тут про луну. Как бронепоезд возьмем, дьявол?

— Возьмем!

— Это тебе не белка — с сосны снять!

В это время приехал Вершинин. Вошел, тяжело дыша, грузно положил фуражку на стол и сказал Знобову:

— Скоро ль?

Стрелочник сказал у телефона:

— Не отвечают.

Мужики сидели молча. Один начал рассказывать про охоту. Знобов вспомнил про председателя ревкома в городе.

— Этот, белобрысый-то? — спросил мужик, рассказывавший про охоту, и тут же начал врать про Пеклеванова, что у него лицо белее крупчатки, и что бабы за ним, как лягушки за болотом, и что американский министр предлагал семьсот миллиардов за то, чтоб Пекле-

ванов перешел в американскую веру, а Пеклеванов гордо ответил: «Мы вас в свою даром не возьмем».

— Вот стерва! — восторгались мужики.

Знобову было почему-то приятно слушать это вранье и хотелось рассказать самому. Вершинин снял сапоги и начал переобуваться. Стрелочник вдруг робко спросил — в трубку:

— Во сколько? Пять двадцать?

Обернувшись к мужикам, сказал:

— Идет!

И словно поезд был уже подле будки, — все выбежали и, вскинув ружья, залезли на телеги и поехали на восток к взорванному мосту.

— Успеем! — говорил Окорок.

Вперед послали нарочного.

Глядели на рельсы, тускло блестевшие среди деревьев.

— Разобрать бы — и только.

С соседней телеги отвечали:

— Нельзя. А кто собирать будет?

— Мы, брат, прямо на поезде!

— В город вкатим!

— А тут собирай.

Окорок крикнул:

— Братцы, а ведь у них люди-то есть!

— Где?

— У Незеласовых-то? Которые рельсы ремонтируют — есть-то люди?

— Дурной, Васька, а как мы их перебьем? Всех?

И, разохотившись на работу, согласились:

— Эта можна... Перебьем!..

— Нет, шпалы некому собирать.

Все время оглядывались назад — не идет ли бронепоезд. Прятались в лес, потому — люди теперь по линии необычны, — бронепоезд несется и обстреливает.

Стучали боязливо сердца, били по лошадям, гнали, точно у моста их ждало прикрытие.

Верстах в двух от домика стрелочника, на насыпи, увидали верхового человека.

— Свой! — закричал Знобов.

Васька взял на прицел.

— Снять его. Свой?

— Какой черт свой, кабы свой — не целился бі

Син Бин-у, сидевший рядом с Васькой, удержал:

— Пасытой, Васика-а!..

— Обождь! — закричал Знобов.

Человек на лошади подогнал ближе. Это был мужик с перевязанной щекой, приведший американца.

— Никита Егорыч здеся?

— Ну?

Мужик, радуясь, закричал:

— Пришли мы туда, а там — казаки. Около мосту-то! Постреляли мы их, да и обратно.

— Откуда?

Вершинин подъехал к мужику и, оглядывая его, спросил:

— Всех убили?

— Усех, Никита Егорыч. Пятеро — царство небесное!

— А казаки откуда?

Мужик хлопнул лошадь по гриве.

— Да ведь мост-от, Никита Егорыч, не подняли. Целой.

Мужики заорали:

— Чего там?

— Провокатор!

— Дай ему в харю!

Мужичонка торопливо закрестился.

— Вот те крест — не подняли. У камня, саженях в триста, сами себя взорвали. Должно, динамит пробовать удумали. Только штанину одну с мясом нашли, а все остальное... Пропали...

Мужики молчали. Поехали вперед. Но вдруг остановились. Васька с перекосившимся лицом закричал:

— Братцы, а ведь уйдет броневик-то! В город! Братцы!

Из лесу ввалилась посланная вперед толпа мужиков. Один из них сказал:

— Там бревна, Никита Егорыч, у моста навалены, на насыпь-то. Отстреливаются от казаков. Ну, их немного.

— Туда, к мосту, идти? — спросил Знобов.

Здесь все разом почему-то оглянулись. Над лесом тонко стлался дымок.

— Идет! — сказал Окорок.

Знобов повторил, ударяя яростно лошадь кнутом:

— Идет!

Мужики повторили:

— Идет!

— Товарищи! — звенел Окорок. — Остановить надо!..

Сорвались с телеги. Схватив винтовки, кинулись на насыпь. Лошади ушли в травы и, помахивая уздечками, щипали.

Мужики добежали до насыпи. Легли на шпалы. Вставили обоймы. Приготовились.

Тихо стонали рельсы — шел бронепоезд.

Знобов тихо сказал:

— Перережет — и все. Стрелять не будет даже зря!

И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в кустарники, опять обнажив насыпь.

Дым густел, его рвал ветер, но он упорно полз над лесом.

— Идет!.. Идет!.. — с криком бежали к Вершинину мужики.

Вершинин и весь штаб, мокрые, стыдливо лежали в кустарниках. Васька Окорок злобно бил кулаком по земле. Китаец сидел на корточках и срывал траву.

Знобов торопливо, испуганно сказал:

— Кабы мертвой!

— Для чего?

— А, вишь, по закону, — как мертвого перережут, поезд-то останавливается. Чтоб протокол составить... свидетельство и все там!..

— Ну?

— Вот кабы труп. Положили бы его. Перережут и остановятся, а тут машиниста, когда он выйдет, — пристрелить. Можно взять тогды.

Дым густел. Раздался гудок.

Вершинин вскочил и закричал:

— Кто хочет, товарищи... на рельсы чтоб и перережет!.. Все равно подыхать-то. Ну?.. А мы тут машиниста с поезда снимем! А только вернее, что остановится, не дойдет до человека.

Мужики подняли головы, взглянули на насыпь, похожую на могильный холм.

— Товарищи! — закричал Вершинин.

Мужики молчали.

Васька отбросил ружье и полез на насыпь.

— Куда? — крикнул Знобов.

Васька злобно огрызнулся:

— А ну вас к...! Стервы...

И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельс.

Уже дышали, гукая, деревья, и, как пена, над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым.

Васька повернулся вниз животом. Смолисто пахли шпалы. Васька насыпал на шпалу горсть песка и лег на него щекой. Песок был теплый и крупный.

Неразборчиво, как ветер по листве, говорили в кустах мужики. Гудели в лесу рельсы...

Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:

— Самогонки нету?.. Горит!..

Палевобородый мужик на четвереньках приполз с ковшом самогонки. Васька выпил и положил ковш рядом.

Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щек песок, посмотрел: голубые гудели деревья, голубые звенели рельсы.

Приподнялся на локтях. Лицо стянулось в одну желтую морщину, глаза как две алые слезы...

— Не могу-у!.. Душа-а!..

Мужики молчали.

Китаец откинул винтовку и пополз вверх по насыпи.

— Куда? — спросил Знобов.

Син Бин-у, не оборачиваясь, сказал:

— Сыкуучна-а!.. Васика!

И лег с Васькой рядом.

Морщилось, темнело, как осенний лист, желтое лицо. Рельс плакал. Человек ли отползал вниз по откосу, кусты ли кого принимали, — не знал, не видел Син Бин-у...

— Не могу-у!.. Братани-и!.. — выл Васька, отползая вниз.

Слюнявилась трава, слюнявилось небо...

Син Бин-у был один.

Плоская изумрудноглазая, как у кобры, голова его пощупала шпалы, оторвалась от них и, качаясь, поднялась над рельсами... Оглянулась.

Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными глазами.

Син Бин-у лег.

И еще потянулась изумрудноглазая кобра — вверх, и еще несколько сот голов зашевелили кустами и взглянули на него.

Китаец опять лег.

Корявый палевобородый мужичонка крикнул ему:

— Ковш тот брось суды, манза!.. Да и ливорвер-то бы оставил. Куда тебе ево?.. Ей!.. А мне сгодится!..

Син Бин-у вынул револьвер, не поднимая головы, махнул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок.

Тело китайца тесно прижалось к рельсам.

Сосны выкинули бронепоезд. Был он серый, квадратный, и злобно-багрово блестели зрачки паровоза. Серой плесенью подернулось небо; как голубое сукно были деревья...

И труп китайца Син Бин-у, плотно прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвон рельс...

СМЕРТЬ КАПИТАНА НЕЗЕЛАСОВА

XXV

Прапорщик Обаб остался лежать у насыпи, в травах.

Капитан Незеласов был в купе, в паровозе, по вагонам. И всем казалось, что он не торопится, хоть и говорил, проглатывая слова:

— Пошел!.. Пошел!..

На смену прибежал помощник машиниста. Мешаясь в рычагах, обтирая о замасленную куртку руки, сказал:

— Сичас... нельзя так... смотреть!..

Закипели водопроводные краны.

Разыскивая в паровозном инструменте зубило, узкогорлый зашиб голову и вдруг от боли закричал.

Незеласов, пригибаясь, побежал прочь.

— Ну вас к черту... к черту...

Поезд торопился к мосту, но там на рельсах за три версты лежали бревна, огромная лиственница. И мост почему-то казался взорванным.

Бронепоезд, лязгая буферами, отпрыгнул обратно и с визгом понесся к станции. Но на повороте в лес, где убили Обаба, были разобраны шпалы...

И на прямом пути стремительно взад и вперед — от моста до будки стрелочника было шесть верст, — как огромный маятник, метался взад и вперед капитан Незеласов.

Били пулеметы, били вагоны пулеметами, пулеметы были горячие, как кровь...

Видно было, как из кустарника подпрыгивали кверху тяжело раненные партизаны. Они теперь не боялись показаться лицом.

Но тех, кто был жив, не было видно, так же гнулся золотисто-серый кустарник, и в глубине темнел кедр. Временами казалось, что бьет только один бронепоезд.

Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде. Угасали лампы, и лица казались светлее желтых фитилей.

Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного резко кричала глотка, и левая рука тискала что-то в воздухе.

Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но подумал: «Сами знают!»

И опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.

Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огромным молочно-желтым пламенем, и так как подходить и подбрасывать дрова в костер было опасно, то кидали издали, и будто костры были широкие, величиной с крестьянские избы. Бронепоезд бежал среди этих костров и на пламя усиливал огонь пулеметов и орудий. Так, по обеим сторонам дороги горели костры, и не видно было людей, а выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев. Капитану казалось, что его тело, тяжелое, перетягивает один конец поезда, а он бежал на середину и думал, что машинист уйдет к партизанам, а в будке машиниста, что позади, отцепляют солдаты вагоны на ходу.

Капитан, стараясь казаться строгим, говорил:

— Патронов... того... не жалеть!..

И, утешая самого себя, кричал машинисту:

— Я говорю... не слышите, вам говорят!.. Не жалеть патронов!

И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс левой рукой:

— Главное, капитан... стереотипные фразы... «патронов не жалеть».

Капитан схватил винтовку и попробовал сам стрелять в темноту, но вспомнил, что начальник нужен как распорядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый подбородок и подумал торопливо: «А на что я нужен?»

Но тут: «Хорошо бы капитану влюбиться... бороду,

завести в пол-аршина!.. Генеральская дочь... карьера... Не смей!...»

Капитан побежал на середину поезда.

— Не смей без приказания!

Бронепоезд без приказаний капитана метался от моста — маленького деревянного мостика через речонку, которого почему-то не могли взорвать партизаны, и за будку стрелочника, но уже все ближе навстречу, как плоскости двух винтов, ползли бревна по рельсам, а за бревнами мужики.

В бревна били пули, навстречу им стреляли мужики.

Бронепоезд, слепой, боясь оступиться, шел грудью на пули, а за стенками из стали уже перебегали из вагона в вагон солдаты, менялись местами, работая не у своих аппаратов, вытирая потные груди, и говорили:

— Прости ты, господи!

Незеласову было страшно показаться к машинисту. И, как за стальными стенками, перебегали с места на место мысли, и, когда нужно было говорить что-нибудь нужное, капитан кричал:

— Сволочи!..

И долго билось нужное слово в ногах, в локтях рук, покрытых гусиной кожей.

Капитан прибежал в свое купе. Коричневый щенок спал клубком на кровати.

Капитан замахал рукой:

— Говорил... ни снарядов... ни жалости!.. А тут сволочи... сволочи!..

Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по подушке, щенок отскочил, раскрыл рот и запищал тихо.

Капитан наклонился к нему и послушал.

— И-и-и!.. — пикал щенок.

Капитан схватил его, сунул под мышку и с ним побежал по вагонам.

Солдаты не оглядывались на капитана. Его знакомая широкая, но плоская фигура, бывшая сейчас какой-то прозрачной, как плохая курительная бумага, пробегала с тихим визгом. И солдатам казалось, что визжит не щенок, а капитан. И не удивляло то, что визжит капитан.

Но визжал щенок, слабо царапая мягкими лапами френч капитана.

Так же, не утихая, седьмой час подряд били пулеметы в траву, в деревья, в темноту, в отражавшиеся

у костров камни, и непонятно было, почему партизаны стреляют в стальную броню вагонов, зная, что не пробьет ее пулей.

Капитан чувствовал усталость, когда дотрагивался до головы. Тесно жали ноги сухие и жесткие, точно из дерева, сапоги.

Крутился потолок, гнулись стены, пахло горелым мясом — откуда, почему? И гудел, не переставая, паровоз:

— А-а-о-е-е-е-и.

XXVI

Мужики прибывали и прибывали. Они оставляли в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи и окапывались.

Бабы, причитая, встречали раненых и увозили их домой. Раненые, которые посильнее, ругали баб матерной бранью, а тяжело раненные подпрыгивали на корнях, раскрывали воздуху и опадавшему листу свои полые куски мяса. Листы присыхали к крови выпачканных телег.

Рябая маленькая старуха с ковшом святой воды ходила по опушке и с уголька обрызгивала идущих. Они ползли, сворачивали к ней и проползали тихо, похожие на стадо сытых, возвращающихся с поля овец.

Вершинин на телеге за будкой стрелочника слушал донесения, которые читал ему толстый секретарь.

Васька Окорок шепнул боязливо:

— Страшно, Никита Егорыч?

— Чего? — хрипло спросил Вершинин.

— Народу-то темень!

— Тебе что, — ты не конокрад. Известно — мир!..

Васька после смерти китайца ходил съежившись и глядел всем в лицо с вялой, виноватой улыбочкой.

— Тихо идут-то, Никита Егорыч; у меня внутри неладно.

— А ты молчи — и пройдет!

Знобов сказал:

— Кою ночь не спим, а ты, Васька, рыжий, а рыжая-то, парень, с перьями.

Васька тихо вздохнул:

— В какой-то стране, бают, рыжих в солдаты не берут. А я царю-то почесть семь лет служил: четыре года на действительной да три на германской.

— Хорошо мост-то не подняли... — сказал Знобов.

— Чего? — спросил Васька.

— Как бы повели на город бронепоезд-то? Даже шпал не хотели разбирать, а тут тебе мост. Омраченье!..

Васька уткнул курчавую голову в плечи и поднял воротник.

— Жалко мне, Знобов, китайца-то! А думаю, в рай он уйдет — за крестьянскую веру пострадал.

— А дурак ты, Васька.

— Чего?

— В бога веруешь.

— А ты нет?

— Никаких!..

— Стерва ты, Знобов. А впрочем, дела твои, братан. Ноне свобода, кого хошь, того и лижи. Только мне без веры нельзя — у меня вся семья из веку кержацкая, раскольной веры.

— Вери-ители!..

Знобов рассмеялся. Васька тоскливо вздохнул:

— Пусти ты меня, Никита Егорыч, — постреляю хоть!

— Нельзя. Раз ты штаб, значит, и сиди в штабной квартире.

— Телеги-то!

Задребезжало и с мягким звоном упало стекло в стрелочной. Снаряд упал рядом.

Вершинин вдруг озлился и стукнул секретаря:

— Сиди тут. А ночь как придет — пушшай костер палят. А не то слезут с поезда-то и в лес удерут, либо черт их знат, што им в голову придет.

Вершинин погнал лошадь вдоль линии железной дороги вслед убегающему бронепоезду:

— Не уйдешь.

Лохматая, как собака, лошаденка трясла большим, как бочка, животом. Телега подпрыгивала. Вершинин встал на ноги, натянул вожжи:

— Ну-у!..

Лошаденка натянула ноги, закрутила хвостом и понесла. Знобов, подскакивая грузным телом, крепко держался за грядку телеги, уговаривая Вершинина:

— А ты не гони — не догонишь! А убить-то тебя за дешеву монету убьют.

— Никуда он не убежит. Но-о, пошел!

Он хлестнул лошадь кнутом по потной спине.

Васька закричал:

— Гони! Весь штаб делат смотр войскам! А на капитана етова с поездом его плевать. Гони, Егорыч!.. Пошел!

Телега бежала мимо окопавшихся мужиков. Мужики подымались на колени и молча провожали глазами стоящего на телеге, потом клали винтовки на руки и ждали проносящийся мимо поезд, чтобы стрелять.

Бронепоезд с грохотом, выстрелами несся навстречу.

Васька зажмурился.

— Высоко берет, — сказал Знобов, — вишь, не хватат. Они там, должно, очумели, ни черта не видят!

— Ни лешева, — яростно заорал Васька и, схватив прут, начал стегать лошадь.

Вершинин — огромный, брови рвались по мокрому лицу:

— Не выдавай, товарищи!

— Крой! — орал Васька.

Телега дребезжала, о колеса билась лагушка, из-под сиденья валилось на землю выбрасываемое толчками сено. Мужики в кустарниках не по-солдатски отвечали:

— Ничего!..

И это казалось крепким и своим, и даже Знобов вскочил на колени и, махая винтовкой, закричал:

— А дуй, паря, пропадать так пропадать!

Опять навстречу мчался уже не страшный бронепоезд, и Васька грозил кулаком:

— Доберемся!

Среди огней молчаливых костров стремительно в темноте серые коробки вагонов с грохотом носились взад и вперед.

А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики подтаскивали бревна на насыпи и, медленно подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд подходил и бил в упор.

Бревна были как трупы, и трупы как бревна — хрустели ветки и руки, и молодое и здоровое тело было у деревьев и людей.

Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна, и ревело сверху гулким паровозным ревом.

Мужики крестились, заряжали винтовки и подталкивали бревна. Пахло от бревен смолой, а от мужиков потом.

Пихты были как пики и хрупко ломались о броню подходившего поезда.

Васька, изгибаясь по телеге, хохотал:

— Не пьешь, стерва. Мы, брат, до тебя доберемся. Не ускочишь. Задарма мы тебе китайца отдали!

Знобов высчитывал:

— Завтра у них вода выдет. Возьмем. Это обязательно.

Вершинин сказал:

— Надо в город-то на подмогу идти.

Как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали смертельным последним поцелуем землю.

Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше — земля жалела. Сначала падали десятки. Тихо плакали за опушкою, на просеке бабы. Потом сотни — и выше и выше подымался вой. Носить их стало некому, и трупы мешали подтаскивать бревна.

Мужики все лезли и лезли.

Броневик продолжал жевать, не уставая, и точно теряя путь от дыма пустующих костров, все меньше и меньше делал свои шаги от будки стрелочника до деревянного мостика через речонку. Потом остановился.

Тогда-то, далеко еще до крика Вершинина: «Пашел!.. Та-ва-ри-щи!..» — мужики повели наступление.

Падали, отрываясь от стальных стенок, кусочки свинца и меди в тела, рвали грудь, пробивая насквозь, застегивая ее навсегда со смертью в одну петлю.

Мужики ревели:

— О-а-а-а-о!!

Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников цеплялись лица, путались и рвались бороды, из их потного мокрого волоса лезли наружу губы:

— О-а-а-а-о-о!!

Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли темные, похожие на амбары вагоны, а не было пути к людям, боязливо спрятавшимся за стальными стенками.

Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась, отдаваясь у каждого в груди.

Мужики отступили.

Светало.

Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им сразу сцарапнули со спины кожу, и опять полезли на вагоны.

Вершинин снял сапоги и шел босиком. Знобов, часто приседая, почти на четвереньках, осторожно и почему-то обходя кусты, полз. Васька Окорок восторженно глядел на Вершинина и кричал:

— А ты, Никита Егорыч, Еруслан!

Лицо у Васьки было веселое, и только на глазах блестели слезы.

Броневик гудел.

— Заткни ему глотку-то! — закричал пронзительно Окорок и вдруг поднялся с колен и, схватившись за грудь, проговорил тоненьким голоском, каким говорят обиженные дети: — Господи... и меня!..

Упал.

Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, высокой, желтой, похожей на огромную могилу.

Васька судорожно дрыгал всем телом, как всегда торопясь куда-то. Умер.

Партизаны отступили.

На рассвете приехал Пеклеванов. В портфеле у него лежали прокламации, и одно стекло очков было сломано наполовину.

XXVII

Мокрые от пота солдаты, громыхая бидонами, охлаждали у бойниц пулеметы. Были у них робко торопливые и словно стыдливые движения исцарапанных рук.

Поезд трясся сыпучей дрожью и был весь горячий, как больной в тифозном бреду.

Темно-багровый мрак трепещущими сгустками заполнял голову капитана Незеласова. От висков колючим треугольником — тупым концом вниз — шла и оседала у сердца коробящая тело жаркая, зябкая дрожь.

— Мерзавцы! — кричал капитан.

В руках у него был неизвестно как попавший кавалерийский карабин, и затвор его был удивительно тепел и мягок. Незеласов, задевая прикладом за двери, бегал по вагонам.

— Мерзавцы! — кричал он визгливо. — Мерзавцы!

Было обидно, что не мог подыскать такого слова, которое было бы похоже на приказание, и ругань ему казалась наиболее подходящей и наиболее легко вспоминаемой.

Мужики вели наступление на поезд.

Через просветы бойниц, среди далеких кустарников, похожих на свалявшуюся желтую шерсть, видно было, как перебегали горбатые спины и сбоку их мелькали винтовки, похожие на дощечки. За кустарниками леса и всегда неожиданно толстые темно-зеленые сопки, похожие на груди. Но страшнее огромных сопок торопливо перебегающие по кустарникам спины, похожие на куски коры. И солдаты чувствовали этот страх и, чтобы не слышно было хриплого рева из кустарников, заглушали его пулеметами. Неустанно, не сравнимо ни с чем, ни с кем, бил по кустарникам пулемет. Капитан Незеласов несколько раз пробежал мимо своего купе. Зайти туда было почему-то страшно, через дверки виден был литографированный портрет Колчака, план театра европейской войны и чугунный божок, заменявший пепельницу. Капитан чувствовал, что, попав в купе, он заплачет и не выйдет, забившись куда-нибудь в угол, как этот где-то визжавший щенок.

Мужики наступали.

Стыдно было сознаться, но он не знал, сколько было наступлений, а спросить было нельзя у солдат, — такой злобой были наполнены их глаза. Их не подымали с затворов винтовок и пулеметных лент, и нельзя было эти глаза оторвать безнаказанно — убьют. Капитан бегал среди них, и карабин, бивший его по голенищу сапога, был легок, как камышовая трость. Уже уходил бронепоезд в ночь, и тьма неохотно пускала тяжелые стальные коробки. Обрывками капитану думалось, что он слышит шум ветра в лесу... Солдаты угрюмо били из ружей и пулеметов в тьму. Пулеметы словно резали огромное, яростно кричащее тело. Какой-то бледноволосый солдат наливал керосин в лампу. Керосин давно уже тек у него по коленям, и капитан, остановившись подле, ощутил легкий запах яблок.

— Щенка надо... напоить!.. — сказал Незеласов торопливо.

Бледноволосый послушно вытянул губы и позвал:

— Н'ах... н'ах... н'ах...

Другой, с тонкими, но страшно короткими руками, переобувал сапоги и, подымая портянку, долго нюхал и сказал очень спокойно капитану:

— Керосин, ваше благородие. У нас в поселке керосин по керенке фунт...

...Их было много, много... И всем почему-то нужно было умирать и лежать вблизи бронепоезда в кустарниках, похожих на желтую свалявшуюся шерсть.

Зажгли костры. Они горели, как свечи, ровно, чуть вздрагивая, и не видно было, кто подбрасывал дрова. Горели сопки.

— Камень не горит!

— Горит!..

— Горит!..

Опять наступление.

Кто-то бежит к поезду и падает. Отбегает обратно и опять бежит.

— Это наступление?

Ерунда.

Они полежат — эти в кустарниках, встанут, отбегут и опять.

...Побежали!..

Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, пронесся и пал в вагоны каменный густой рев:

— О-о-у-о-о!..

И тонко-тонко:

— Ой... Ой!..

Солдат со впавшими щеками сказал:

— Причитают... там, в тайге, бабы по ним!..

И осел на скамью.

Пуля попала ему в ухо и на́ другой стороне головы прорвала дыру с кулак.

— Почему видно все во тьме? — сказал Незеласов. — Там костры, а тут, должно быть, темно. И дым: они выкуривают нас дымом, чувствуете?

Костры во тьме, за ним рев баб. А может быть, сопки ревут?

— Ерунда!.. Сопки горят!..

— Нет, тоже ерунда, это горят костры!..

Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески.

Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил его из нагана.

Капитан хотел закричать, но почему-то смолчал и только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки. А у капитана в городе есть невеста... она теперь...

Карабин становился тяжелей, но надо для чего-то таскать его с собой.

У капитана Незеласова белая мягкая кожа, и на ней, как цветок на шелку, — глаза.

Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце. Невеста читает книгу. Невеста заснула над книгой. Веки женщины влажны от сна...

Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а тот стрелял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пулемет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед кричал:

— Туды!.. Туды!..

И какую книгу можно читать в эту ночь?

От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоздем сцарапывали кожу. И тут увидал Незеласов около своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными ногтями.

Потом забыл об этом. Многое забыл в эту ночь... Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести... тяжело...

И вдруг тишина...

Там, за порогами вагонов, в кустарниках.

Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть, вечер. Не нужно помнить все дни...

Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокойные, выпачканные в крови мужики. Лежать им, конечно, неудобно.

А здесь на глаза — тьма. Ослеп капитан.

Это от тишины...

И глазами и душой ослеп. Показалось даже весело.

Но тут все почувствовали, сначала слегка, а потом точно обжигаясь, — тишину терпеть нельзя.

Бледноволосый солдат, поднимая руки, побежал к дверям.

Тьма! В тьме не видно его поднятых рук.

И капитан сразу почувствовал: сейчас из всех семи вагонов бросились к дверям люди. На песке легче держаться. И можно куда-то убежать... Люди задыхались от дыма в стальных коробках... Им душно!

На мгновение стошнило. Тошнота не только в животе, но и в ногах, в руках и в плече. Но плечо вдруг ослабло, а под ногами капитан почувствовал траву, и колени скосились.

Впереди себя увидел капитан бородатую рубаху, на штыке погон и кусок мяса...

...Его, капитана Незеласова, мясо...

«Котлеты из свиного мяса... Ресторан «Олимпия»... Мексиканский негр дирижирует румынским... Осина... Осень...

Благодарю тебя, Россия... мир... все славянство... за тишину... Тишина по всей земле...»

— Кро-ой, бей, круши...

Крутится, кружится, крошится крушина...

Поезда на насыпи нет. Значит — ночь. Пощупал под рукой — волос человеческий в поту. Половина оторванного уха, как суконка, прореха, гвоздем разорвало...

...Кустарник — в руке. Кустарник можно отломить спокойно и даже сунуть в рот. Это не ухо.

Через плечо карабин! Значит, из поезда ушел?

Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда очутился пояс с патронами поверх френча.

Чему-то поверил.

Рассмеялся и, может быть, захохотал.

Вязко пах кустарник теплой кровью. Из сопок дул черный, колючий ветер, дул ветвями длинными и мокрыми. Может быть, мокрые в крови...

Дальше прополз Обаб со щенком под мышкой. Его галифе были похожи на колеса телеги.

Вытянулся бледноволосый, доложил тихо:

— Прикажете выезжать?

— Пошел к черту!

Беженка в коричневом манто зашептала в ухо:

— Идут! Идут!..

Капитан Незеласов и сам знал, что идут. Ему нужно занять удобную позицию. Он пополз на холм, поднял карабин и выстрелил.

Но одной руки, оказывается, не хватает. Одной рукой неудобно. Но можно на колено. С колена мушки не видать... Почему не стрелял в поезде, а здесь...

Здесь один, а ползет... ишь их сколько, бородатые, сволочь, в землю попадают, а то бы...

Так стрелял торопливо капитан Незеласов в тьму до тех пор, пока не расстрелял все патроны.

Потом отложил карабин, сполз с холма в куст и, уткнув лицо в траву, умер.

ПЕНА

XXVIII

В жирных темных полях сытно шумят гаоляны.

Медный китайский дракон желтыми звенящими кольцами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, звенят, грохочут квадратные серые коробки...

На желтой чешуе дракона — дым, пепел, искры...

Сталь по стали звенит, кует!..

Дым. Искры. Гаоляны. Тучные поля.

Может быть, дракон китайский из сопок, может быть, леса.

Желтые листья, желтое небо, желтая насыпь.

Гаоляны!.. Поля!

У дверцы купе лисолицый старикашка, примеряя широчайшие синие галифе прапорщика Обаба, мальчишески задорным голосом кричит:

— Вот халипа!.. Чисто юбка, а коленко-то голым-голо: огурец!..

Пепел на столике. В окна врывается дым.

Окна настежь. Двери настежь. Сундуки настежь.

Китайский чугунный божок на полу, заплеван, ухмыляется жалобно. Смешной чудачок.

За насыпью другой бог ползет из сопок, желтый, литыми кольцами звенит...

Жирные гаоляны, черные!

Взгляд жирный у человека, сытый и довольный.

— О-хо-хо!..

— Конец чертям!..

— Буде-е!..

На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горячими хмельными телами.

Один в красной рубахе кулаком грозит:

— Мы тебе покажем!

Кому? Кто?

Неизвестно!

А грозить всегда надо! Надо!

Красная рубаха, красный бант на серой шинели.

Бант!

О-о-о-о!..

— Тяни, Гаврила-а!..

— А-а-а!..

Бант.

Бронепоезд «Полярный» за № 14-69 под красным флагом. Бант!..

На рыжем драконе из сопок — на рыжем — бант!.. На рыжем!

Здесь было колесо — через минуту за две версты, за две. Молчат рельсы, не гудят, напуганы... Молчат.

Ага!..

Тщедушный солдатик в голубых французских обмотках, с бебутом.

— Дыня на Иртыше плохо родится... больше подсолнух и арбуз. А народ ни злой, ни ласковый... Не знаю — какой народ.

— Про народ кто знат?

— Сам бог рукой махнул...

— О-о!..

— Ну вас, грит!..

— О-о!..

Литографированный Колчак, в клозете, на полу. Приказы на полу, газеты на полу...

Люди пола не замечают, ходят — не чувствуют...

— А-а-а!..

«Полярный» под красным флагом...

Ага!

Огромный, важный — по ветру плывет поезд — лоскут красной материи. Кровяной, живой, орущий: о-о-о!..

У Пеклеванова очки на нос пытаются прыгнуть, не удается, куда-то сам пытается прыгнуть и телом и словами.

— В Америке — со дня на день!

Орет Знобов:

— Знаю... Сам с американским буржуем пропаганду вел!..

— Изучили!..

— В Англии, товарищи!

Вставай, проклятьем заклеймсннный...

— О-о-о!..

Очки на нос вспрыгнули. Увидели глаза: дым, табак, пулеметы на полу, винтовки, патроны — как зерна, мужицкий волос, глаза жирные, хмельные.

— Ревком, товарищи, имея задачей!..

— Знаем!..

— Буде... Сам орать хочу!..

Салавей, салавей, пташечка,
Канареючка!..

На кровати — Вершинин, дышит глубоко и мерно, лишь внутри горит — от дыхания его тяжело в купе, хоть двери и настежь. Земляной воздух, тяжелый, мужицкий. Рядом — баба. Откуда пришла — подалась грудями вперед вся, трепыхает. Настасьюшка. Жена!

Орет Знобов:

— Нашла? Он парень добрай!..

Эх, шарабан мой, американка...
. . . .
табак скурился,
правитель скрылся...

За дверями кто-то плачет пьяно:

— Ваську-то... сволочи, Ваську — убили... Я им за Ваську пятерым брюхо испорю — за Ваську и за китайца... Сволочи...

— Ну их к... Собаки...

— Я их... за Ваську-то!..

XXIX

Ночью опять пришла жена, задышала-запыхалась, замерла. Видны были при месяце ее белые зубы — холодные и охлаждающие тело — и то же тело, как зубы, но теплое и вздрагивающее.

Говорила слова прежние, детские, и было в ней детское, а в руках сила не своя, чужая — земляная.

И в ногах — тоже...

— А та-та-та!.. Ах!.. Ах!..

Это бронепоезд — к городу, к морю.

Люди тоже идут.

Может быть, туда же, может быть, еще дальше...

Им надо идти дальше, на то они и люди...

Я говорю, я.

Зверем мы рождаемся ночью, зверем!!

Знаю — и радуюсь... Верю...

Пахнет земля — из-за стали слышно, хоть и двери настежь, души настежь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще.

Леса нежные, ночные идут к человеку, дрожат и радуются — он господин.

Знаю!

Верю!

Человек дрожит — он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля, и он — небо и земля.

Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьяненная.

Хорошо, хорошо — всем верить, все знать и любить.

Все так надо и так будет — всегда и в каждом сердце!

— О-о-о!

— Сенька, Степка!.. Кикимора-а!..

— Ну!..

Рев жирный у этих людей — они в стальных одеждах, радуются им, что ли, гнутся стальные листья, содрогается огромный паровоз, и тьма масленым гулом расползается:

— У-о-у-а... у-у-у!...

Бронепоезд «Полярный»...

Вся линия знает, город знает, вся Россия... На Байкале небось, и на Оби...

Ага!..

Станция.

Японский офицер вышел из тьмы и ровной, чужой походкой подошел к бронепоезду. Чувствовалась за ним чужая, спрятавшаяся в темноте сила, и потому, должно быть, было весело, холодновато и страшновато.

Навстречу пошел Знобов. Сначала была толпа знобовых — лохматых, густоволосых, а потом отделился один.

Быстро и ловко протянул офицер руку и сказал по-русски, нарочно коверкая слова:

— Мий — нитралитеты!..

И, повышая голос, заговорил звонко и повелительно по-японски. Было у него в голосе презрение и какая-то непонятная скука. И сказал Знобов:

— Нитралитет — это ладно, а только много вас?..

— Двасать тысись... — сказал японец и, повернувшись по-военному, какой-то ненужный и опять весь чужой, ушел.

Постоял Знобов, тоже повернулся и сказал про себя шепотом:

— А нас — мильён, сволочь ты!..

А партизанам объяснил:

— Трусют. Нитралитеты, грит, и желаем на острова ехать — рис разводить... Нам черт с тобой, поезжай!

И в ладонь свою зло плюнул:

— Еще руку трясет, стерва!

— Одно — вешать их! — решили партизаны.

Плачущего, с девичьим розовым личиком, вели офицера. Плакал он тоже по-девичьи — глазами и губами.

Хромой, с пустым грязным мешком, перекинутым через руку, мужик подошел к офицеру и свободной рукой ударил его в переносицу.

— Не ной!..

Тогда конвойный, точно вспомнив что-то, размахнулся и, подскочив, как на ученье, всадил штык офицеру между лопаток.

Станция.

Желтый фонарь, желтые лица и черная земля.

Ночь.

На койке в купе женщина. Жена. Подле черные одежды.

Поднялся Вершинин и пошел в канцелярию.

Толстому писарю объяснил:

— Запиши!..

Был пьян писарь и не понял:

— Чего?

Да и сам Вершинин не знал, что нужно записать. Постоял, подумал. Нужно что-то сделать, кому-то как-то...

— Запиши...

И пьяный писарь толстым, как он сам, почерком написал:

— Приказ. По постановлению...

— Не надо, — сказал Вершинин. — Не надо, парень.

Согласился писарь и уснул, положив толстую голову на тоненький столик.

Тщедушный солдатик в голубых обмотках рассказывал:

— Земли я прошел много и народу всякого видел много...

У Знобова золотые усы и глаза золотые — жадные и ласковые. Говорят:

— Откуда ты?

Повел веселый рассказ солдатик, и не верили ему, и он сам не верил, но было всем хорошо.

Пулеметные ленты на полу. Патроны — как зерна, и на пулеметах сушатся партизанские штаны. На дулах засохшая кровь, похожая на истлевший бордовый шелк.

— А то раз по туркестанским землям персидский шах путешествовал, и встречается ему английская королева...

XXX

Город встретил их спокойно.

Еще на разъезде сторож говорил испуганно:

— Никаких восстаний не слышно. А мобыть, и есть — наше дело железнодорожное. Жалованье маленькое, ну и...

Борода у него была седоватая, как истлевший навоз, и пахло от него курятником.

На вокзале испуганно метались в комендантской офицеры, срывая погоны. У перрона радостно кричали с грузовиков шоферы. Из депо шли рабочие.

Около Вершинина суетился Пеклеванов.

— Нам придется начинать, Никита Егорыч.

Из вагонов выскакивали с пулеметами, с винтовками партизаны. Были они почти все без шапок и с пьяными узкими глазами.

— Нича нету?..

— Ставь пулемету...

— Машину давай, чернай!

Подходили грузовики. В комендантской звенели стекла и револьверные выстрелы. Какие-то бледные барышни ставили в буфет первого класса разорванное красное знамя.

Рабочие кричали «ура». Знобов что-то неразборчиво кричал. Пеклеванов сидел в грузовике и неясно сквозь очки улыбался.

На телеге привезли убитых.

Какая-то старуха в розовом платке плакала. Провели арестованного попа. Поп что-то весело рассказывал, конвойные хохотали.

На кучу шпал вскочил бритоусый американец и щелкнул подряд несколько раз кодаком.

В штабе генерала Спасского ничего не знали.

Пышноволосые девушки стучали на машинках.

Офицеры с желтыми лампасами бегали по лестницам и по звонким, как скрипка, коридорам. В прихожей пела в клетке канарейка и на деревянном диване спал дневальный.

Сразу из-за угла выскочили грузовики. Глухо ухнула толпа, кидаясь в ворота. Зазвенели трамваи, загудели гудки автомобилей, и по лестницам кверху побежали партизаны.

На полу — опять бумаги, машинки испорченные, может быть, убитые люди.

По лестнице провели седенького, с розовыми ушками генерала. Убили его на последней ступеньке и оттащили к дивану, где дремал дневальный.

Бежал по лестнице партизан, поддерживая рукой живот. Лицо у него было серое, и, не пробежав половины лестницы, он закричал пронзительно и вдруг сморщился.

Завизжала женщина.

Канарейка в клетке все раскатисто насвистывала.

Провели толпу офицеров в подвал. Ни один из них не заметил лежащего у лестницы трупа генерала. Солдатик в голубых обмотках и бутсах подумал сентиментально, что хорошо б красной подкладкой шинели прикрыть труп героя.

Но герои закопаны в гаолянах...

Солдатик в голубых обмотках стоял на часах у входа в подвал, где были заперты арестованные офицеры.

В руках у него была английская бомба — было приказано: «В случае чего, крой туда бомбу — черт с ними».

В дверях подвала синело четырехугольное окошечко и ниже — угловатая, покрытая черным волосом челюсть с моргающим мокрым глазом. За дверью часто, неразборчиво бормотали, словно молились...

Солдатик устало думал: «А ведь когда бомбу бросить, отскочит от окна или не отскочит?..»

Не звенели трамваи. Не звенела на панели толпа. Желтая и густая, как дыхание тайфуна, томила город жара. И как камни сопок, неподвижно и хмуро стояли вокруг бухты дома.

А в бухте, легко и свободно покачиваясь на зеленовато-синей воде, молчал японский миноносец.

В прихожей штаба тонко и разливчато пела канарейка, и где-то, как всегда, плакали.

Полный секретарь ревштаба, улыбаясь одной щекой, писал на скамейке, хотя столы были все свободны.

Тихо, возбужденно переговариваясь, пробежали четверо партизан. Запахло мокрой кожей, дегтем...

Секретарь ревштаба отыскивал печать, но с печатью уехал Вершинин; секретарь поднял чернильницу и хотел позвать кого-то...

...Далеко с окраины выстрелили. Выстрел был гулкий и точно не из винтовки — огромный и тяжелый, потрясающий все тело...

Потом глубже к главным улицам, разрезая радостью сердце, ударили улицы пулеметами, винтовками, трамваями... заревела верфь...

Началось восстанье.

И еще — через два часа подул с моря теплый и влажный темно-зеленый ветер.

...Проходили в широких плисовых шароварах и синих дабовых рубахах — приисковые. Были у них костлявые лица с серым, похожим на мох, волосом. Блестели у них округленные, привыкшие к камню глаза...

Проходили длиннорукие, ниже колен — до икр, рыбаки с Зейских озер. Были на них штаны из налимьих шкур и длинные, густые, как весенние травы, пахнущие рыбами волосы...

И еще — шли закаленным каменным шагом пастухи с хребта Сихотэ-Алинь с китаеподобными узкоглазыми лицами и с длинноствольными прадедовскими винтовками.

Еще — тонкогубые с реки Хора, грудастые, привыкшие к морским ветрам, задыхающиеся в тростниках материка рыбаки с залива Св. Ольги...

И еще, и еще — равнинные темнолицые крестьяне с одинаковым, ровным, как у усталого стада, шагом...

На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Горело у жены сильное и большое тело, завернутое в яркие ткани. Кровенились потрескавшиеся губы, и выпячивался сквозь платье крепкий живот. Сидели они неподвижно, не оглядываясь по сторонам, и только шевелил платье такой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями и морскими травами ветер...

На тумбе, прислонившись к фонарному столбу и водя карандашом в маленькой записной книжке, стоял американский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро, по-мышиному оглядывающий манифестацию.

А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик в шинели, похожей на больничный халат, голубых обмотках и английских бутсах. Смотрел он на американца поверх проходивших людей (он устал и привык к манифестациям) и пытался удержать американца в памяти. Но был тот гладок, скользок и неуловим, как рыба в воде.

1922

ЦВЕТНЫЕ ВЕТРА

I

Бей дрофу в голову! В крыло или в грудь ударишь — соскользнет пуля, и летит птица умирать в камыши.

Забыл это Семен, промазал птицу.

Рвет злобно нога его алый мышиный горошек, золотую куриную слепоту — нежные девичьи травы.

Траву ли тут жалеть?

В долине пахнет по-праздничному теплыми листьями. Сосна смолью течет с гор; небо камнем, как шарфом, обложено, и гудят в Чаган-Убинском урочище синие кедры.

Идет, прихрамывает на одну ногу.

На ногах бродни икры давят, тело трут в паху штаны, мокрые от пота, а до поселка четыре версты — Чаган-Убинское урочище надо еще перевалить.

— Порох вздорожал — не найдешь, а дрофа — в тридцать фунтов. Бей дрофу в голову!

— Кикимора!

Заяц перед ним монгольский, зеленоглазый — талай, выскочил на дорогу, уши поднял, смотрит. Даже заяц-талай и тот понимает — дорог порох.

Налево в синих камышах в сытом гоготе гуси. По привычке вскинул он ружье, пошел, но вспомнил, свернул на старую дорогу.

— Бей дрофу в голову!

И никогда так не случалось — сплутал он.

Смотрит — мочажина тускло-синяя, болотина, из мочажины ударил в небо черныш-утец.

— Тьфу ты, пропастина!

Стал Семен свертывать на тропу, а тут перед грудью елань — поляна. На елани высокий, лилово-

мшистый камень, а подле камня трое сидят. Еловую сухостоину жгут, на треножнике — чайник.

В шинелях трое те, в грязных, оборванных. Лица мутные, земельно-синие, а глаз кипит беспокойно по небу, по травам, по камню.

Смотрит — чужие, в его волости таких нет. Один высокий, длинный, как сосна, а лицо медно-желтое — спокойно, и только глаз, как у всех...

И будто затопилось радостью что внутри у Семена. Палец еле курок поднял.

— Неужто, восподи?.. Ане?..

Они! На земле, подле костра, темно-синие красногвардейские шапки. Винтовки к камню прислонены.

Выбрал Семен которого потолще. Взял на этот раз под ухо. Верностно.

Выстрелил.

Пал красногвардеец, рукой прямо в костер, а двое других прыгнули в чащу. Не успел патрона сменить... Обождал Семен, с какой стороны валежник затрещит.

Жук грузно валится с ветки на пенек. Чирок в мочажине крякнул.

Не слыхать, куда бегут. Плюнул.

— Лихоманка вас дери! Ну и одново хватит!

Подобрал он винтовки, два узелка с бельем, книжку какую-то, а убитого за пояс оттянул от костра, прикрыл в кустах хвоей.

Вышел по тропе в Чаган-Убинское урочище. Тяжело винтовки нести, но от радости — ничего, терпеть можно.

— Вот те и мочажина, — сказал весело.

«А главное, — подумалось еще злобно, — у дрофы перо серое, крепкое — пуля не берет, бить дрофу надо в голову, в глаз...»

II

Пахло из огорода теплым назьмом. У плетня плескалась выше головы суровая, иззелена-синяя крапива. За плетнем стремительно разговаривали.

Семен спустил винтовки передохнуть. Достал шелковый кисет.

Женский голос спрашивал тревожно:

— А кабы куда хоть, Листрат Ефимыч? Прямо сердце сгорело!.. Попрекают, попрекают!.. Роблю я плохо, што ли?..

Низко отвечали назьмы:

— Терпеть, должно, надо. Больше што я скажу? Я, Настасьюшка, много вер прошел, все бают: терпеть. Ну, терпеть — так терпеть! Муравей вон терпит и поди ты, мразь колючая, какие хоромины воздвигает!

Встал Семен, раздвинул крапиву локтями. Поднимая голову над плетнем, сказал досадливо:

— Батя, опять хороводишься тут?.. Мочи с тобой нету, по волости всей послух... Наложниц завел, хахаль, едрена мышь!

Калистрат Ефимыч, туго поглаживая твердую и прямую поясницу, не спеша отозвался:

— А ты иди, иди... Отцу у те спрашиваться?..

— Хороводиться удумал на старости лет-то! Срамота по народу на дом-то... Хахаль!..

Угловато Семен взглянул на помятые гряды, на гладкие губы женщины. Выдвинув вперед острые локти, пошел.

— Гряды перемнут, жеребцы!.. Пёрся бы в чужой огород... Терпеть, грит, надо, а сам терпит, ишь?..

Подымая винтовки, крикнул:

— Батя! Домой иди — Каурку упречь надо, краснова я там подбил...

— Соболя, што ль?..

Остро млела в жару земля. Ползли запахи — сухие и тревожные. Грязно-синеватые бежали гряды.

Колыхалась у Настасьи Максимовны твердая, порывистая грудь, словно бился под шеей подстреленный черныш-утец. Сизая, атласистая кофта. Капли крови по чернышу-птице — алые пуговицы.

— Прямо хоть шепотом говори, Настасьюшка!

Ответила гладкими, мягкими, совсем девичьими губами Настасья Максимовна:

— Шепотом-то... надо в ночь...

И улыбнулась смертоносно, по-девичьи.

Костлявый, впалый лоб у Калистрата Ефимыча, а тело широкое, тяжелое, — и длинна тяжелая впроседь борода. Пристально поглядел на ее гладкие и мягкие губы.

Низко протягивая к земле огромные руки, оглянулся, сказав:

— Ишь...

И не понимала Настасья Максимовна — радоваться в плаче или плакать в радости?..

А Семен в это время у старосты.

В грязном и заплеванном поселковом, как всегда, мужики на что-то жаловались.

Блестели старостины веселые, легкие, синеватые глаза. Желтели напускные на сапоги шаровары.

— Семену Калистратычу бога за пазуху!..

Сказал Семен:

— У те приказ-то далеко?

— Это которой? — веселился староста.— Ноне народ беда любит приказывать. Приказов этих тьма!..

— Што третьеводнись читал сходу.

— Длиннай?..

Досадливо махнул рукой Семен.

— Далеко спрятан, должно?.. А ты найди!

Староста захохотал.

— Писарь, найди тот, што за новой печатью. Как ни правитель, так печать!

Достал писарь из стола бумажку. Семен просит:

— Читай.

— Читай, — согласился староста. — Это, должно, насчет красных.

Прочел писарь:

— «Разбежавшиеся красногвардейские банды терроризуют население, уничтожая скот, поджигая леса и убивая... Вследствие вышеизложенного... принимая лично все меры... вызвать охотников... назначая наградой за каждого убитого — сорок рублей...»

— Будя, — сказал резко Семен. — А подпись какая?

Посмотрел писарь в конец, похвалил:

— Подпись настоящая — полковника Седлова. Хороший полковник: канцелярия у него в полтораста человек и все георгиевские кавалеры...

Пощупал бумажку Семен.

Выпрямил согнувшийся козырек фуражки.

Закурил писарь папироску и спичкой горючей муху на приказе прижег. Староста заговорил о хлебах. Слова у него были похожи на кряканье утки, все одинаковые.

Сказал Семен:

— Ты мне удостоверенье, писарь, напиши. На краснова-то, по приказу.

— Аль убил? — спросил староста.

— У Чаган-Убинского... трое было, да двое-то улетели...

— Чаща, — сказал один из мужиков. — Уйти легко.

Велел староста написать бумажку в волость.

— Там тебе выдадут, — сказал он. — Ты сам ужо вези. Дай-ка, писарь, шпентель.

Подфамиливая бумагу, сказал:

— Из-за твоих сорока рублей сколько хлопот.

В словах старосты егозила зависть.

Мужики не спеша говорили о дешевеющих деньгах, о привезенных из Владивостока товарах, о том, что можно идти в тайгу сбирать «керенки».

— На это надо счастье, — сказал староста.

Под навесом Семена ждала запряженная в ирбитскую телегу лошадь. Калистрат Ефимыч сидел на наваленных бревнах. Фекла выбивала на крыльце одеяло.

— Какова зверя-то поднял? — торопливо спросила она. — Видмедь осенний-то дешев. Тридцать пять в Улее давали в прошлом году. Видмедя, што ль?

— Садись, — сказал Семен.

Баба тряхнула широкой ситцевой юбкой и ушла.

Калистрат Ефимыч открыл скрипящие тесовые ворота.

В синевато-зеленый поздний вечер приехал из армии младший сын Дмитрий. Был он низенький с толстыми угловатыми челюстями, с твердо посаженной головой. Устало висела длинная солдатская шинель.

Прибежала жена из пригона, с подойником, крепкотелая, бойкая Дарья. Не снимая шинели, Дмитрий прошел за женой на сеновал. Долго там слышалось его прерывистое дыханье и охрипший солдатский голос.

Потом с плачем, оправляя волосы и платье, вбежала в избу Дарья, запыхавшись, спросила:

— Самогон есть?.. Самогону просит.

В горнице плакала на голбце слепая старуха Устинья. По столу лапил таракана белоглазый котенок.

— Брысь, — со стоном сказала Дарья. — Самогонки-то нет, баушка?..

— Не знаю, Дарьюшка, не знаю. Митенька, бают, с войны приехал... А?..

Дарья порылась в сундуках, в своем, Феклином, и растерянно оглянулась.

— Нету, баушка, самогону!

Плакала старуха, широко раскрыв бельма мокрых глаз, похожих на бабочек на тонком, замшелом пне.

— Не знаю, Дарьюшка, не знаю...

— Пойти поселком разве?.. К попу, што ль?..

Вошел Дмитрий, он был все в той же шинели, только на ноги вместо солдатских штиблет надел большие пимы-чесанки.

— Нашла? — громко и хрипло спросил он.

И был точно пьян долгим хмелем. Размахивая руками, шумно проговорил:

— Пашла!.. Жива-а!.. Баловать вам без мужей-то!.. Чтоб в два счета — марш!..

Заметив старуху, подсел на голбчик.

— А ты плачешь все, баушка?.. — громко, точно пугаясь чего-то, проговорил он.

Старуха утерла рот концом платка и сквозь слезы, часто кашляя, заговорила:

— Народу-то бьют — страсть... А тебя, Митенька, не ранили?

Дмитрий захохотал во весь голос:

— С раной, баушка, с раной... обязательно... На войне усех ранили, нет такого человека, чтоб не раненый... Верна, бабка, а?

— С кем воевали-то?.. Бают, с австрийским царем?

— Не помню!.. Много воевали — с немцем, с австрийцем воевали, с Калединым... Всех царей перебили, себя били, а теперь с чехами воюют. Нас через фронт, — валяй, грит, ползи домой... Теперь в Расеи-то большевики, мать, сам выбирал их!..

Старуха мотнула большой головой и подобрала ноги. Пахло в горнице салом от светильни, хлебом и березовыми вениками.

Густая и жаркая синь спала за окнами.

— Не знаю, Митенька, темный я человек... не вижу...

— Тебе сколько лет-то, баушка?.. Поди, сто али полтораста?

— Кто их считал... считать-то некому... А я сама-то не ученая.

Дмитрий, матерно выругавшись, захохотал.

Напившись самогонки, Дмитрий показывал Георгиевский крест без ленточки, лез целоваться со старухой, Калистратом Ефимычем. Беспокойно, точно в казарме, кричал:

— Мир со всей землей, брест-литовский мир. А тут чехи царя хочут. Батя! Жалаю я хозяйством заняться, пахотой, ну?.. Ленточку я уничтожил — революция, а крест — на, носи, на шее носи, потому теперь крестов больше нательных не приказано вырабатывать... Батя, Калистрат Ефимыч, товарищ... Господи!..

Часто гас светильник, тогда Дарья, наклонившись над печуркой, выдувала из угля огонь. Молчаливый, рослый и неясный сидел на скамье Калистрат Ефимыч.

Плакала на голбце старуха, а похоже было в темноте, что плакала печь.

А рядом отходили в расплывчато золотисто-синей тьме по Чиликтинской долине к Тарбагатайским горам вековые избы, тучные пашни, ясные горные речки и с ними — люди...

III

Рано утром возвратился из волости Семен. Прерывающейся походкой, прихрамывая, подбежал он раскрывать ворота и заметил под навесом Дмитрия, подмазывавшего тележку.

— Приехал? — спросил он. — В городе-то, бают, склад с сельскими машинами открыли. Надо зубья у косилки сменить.

Дмитрий оставил черепок с маслом и хрипло ответил:

— У вас тут чудно! Вот Сибирь так Сибирь — сливочным маслом телеги мажут... В Расеи-то и во сне отучились видеть ево...

— Мази нету. Землей не будешь мазать.

Фекла сняла ботинки, торопливо пошла в дом, оглядывая на ходу Дмитрия.

— Подтянуло тебя. На экой жизни подтянет. Тут вот полсапожки на ногах пока только на телеге, а как на землю — сымай. При экой жизни не напасешься...

Дмитрий пощупал гладко остриженную голову и вдруг, широко разевая рот, захохотал:

— А ты тут зверя красново подстрелил?.. Хо-о!.. В Расеи-то не стреляют еще...

— Придется и там...

— Придется, — ответил Дмитрий, и его толстые угловатые челюсти, похожие на лемехи, медленно зашевелились.

Розоватая жаркая дымка радовалась над поселком. Блестящие желто-синие падали на землю с золотисто-лазурных облаков Тарбагатайские горы. Пахло из палисадника засыхающей, спелой черемухой.

— Керенку выдали?

— Не хотели было, свидетелей, грит, надо...

— Ишь, стервы, свидетелей. Тут, можно сказать, дело полюбовное. Да!.. А коли подумаем: сто тысяч этих красных да по керенке за глаз...

— Большие деньги...

Прошла в пригон Фекла, дебелая, туго поворотливая, как дрофа. С глазами маленькими, серыми, как у дрофы, в мутной пленочке.

Дмитрий подмигнул на нее, по-солдатски выругался.

— Баба у тебя годна...

Прижимался незаметно к щекам у Дмитрия широкий и желтый утиный нос с маленькими в спичечную головку ноздрями, но дыхание выходило сильное и едкое.

Размашистым шагом — неучуянным, волчьим, вошел с улицы Калистрат Ефимыч.

— Пьешь ты, Митьша, здорово, — сказал он. — Сколь вчера самогонки вылакал. Объявилась в Расеи, бают, новая вера?..

— У солдата одна вера — бей, и никаких гвоздей! Про большевицку веру спрашивашь?

Калистрат Ефимыч посмотрел на Семена и, махнув, словно отстраняя рукой зелень на мочажине, сказал:

— У всякова своя вера, а какая — не пойму!.. Какая народу вера нужна, не знаю...

Он плотно закрыл губы и наклонил лицо к руке.

— Какие вины кому даны, столько те и познают. А коли на самом деле у кого забьется под сердцем большая вина, — жутким-нажутко, Митьша... Пот от страху, чисто слеза. Кто взвесить ее умеет...

— Можешь ты?

— Боюсь весить. Перекалишь железо — не будет ни серпа, ни долота, ни заслонки.

— Обитал у нас, батя, в полку унтер-офицер, Ермолин по фамилии, — коли, грит, ухристосуюсь по-настоящему, — придет ко мне лютый зверь... как бумага смирная. Ладно. А стояли мы на Польшах...

Семен вытер с твердых и впалых щек пот и нетерпеливо сказал:

— Ты хоть о верах-то брось... Поди, ко крале своей ходил. Завел тут, понимаешь, Митьша, кралю, а сам о верах все... Самому чуть не шесть десятков, а туда же... Тьфу ты!..

Дмитрий глухо, с прерывающимися взвизгиваниями захохотал:

— Ты подожди жениться! Ну так вот, тот Ермолин...

Семен плюнул и, сжав кулаки, сильно размахивая руками, ушел под навес.

В обед приехал киргиз Алимхан. Не слезая с седла, он спросил:

— Эй, мурза, не придумал ешшо?

Семен и Дмитрий стали торговаться. За поправку ворот киргиз просил пятнадцать рублей, а ему давали десять.

Киргиз соскочил с седла и, махая длинными рукавами рваного бешмета, яростно просил больше:

— Тиба диньга даром достался — раз пальнул — сорок салковых — на-а!.. Моган-мина пятьдесь день работать нужьна. Тиба один раз стриляй, мина тыщ канча мын — топором рубить надо?.. Эй, мурза! Сеньке!..

Морщилось у него усталое, матовое, раскосое лицо. Дмитрий закричал, заматерился на него.

Алимхан тревожно метнулся на седло и вскрикнул:

— Уй-бой!.. Красной — козыл урус калатил, белай — урус калатил — сапсем плохой царя пошел!..

Сговорились на двенадцать.

А когда начал Алимхан потесывать вокруг ворот, показалась из-за угла тощая лошаденка с жидким, вылинявшим, похожим на голый прут, хвостом. Задевая ногу за ногу, она тащила плетеный коробок. Поодаль в лисьих малахаях ехали четверо киргизов.

Поселковые парнишки, улюлюкая, кидались гальками в киргизов. Дикие степные лошади шарахались от стен, от мальчишек, а киргизы не оглядывались. Лица у них обобранные, желтые, жалились утомленно и тоскливо, как степь в жару.

— Кого они, — спросил Калистрат Ефимыч, — везут?

Алимхан выпустил топор, сложил руки на груди и, наклонив голову, вздохнул:

— Уй-бой!..

В коробке завернутый в рваные овчины лежал киргиз с черными спутанными волосами. Мутнело его жел-

то-синее лицо, но глаза были длинные, жесткие и темно-зеленоватые, как у рыси.

Алимхан втянул губы, опустил руки и сказал:

— Бальшой веры мулла, у-ух!.. Апо шаман... Шаман Апо, большой шаман — всех чертей-шайтанов знат и богов всех... Как баран в стаде!

IV

В эту ночь дул в Тарбагатайских горах с севера, с далекого моря синий, льдистый ветер. Нес он запахи льдов и холодил души.

Ныли под ним кедры, били ему в лицо костлявыми и могучими сучьями, хватали за синие волосы и трепали по земле, среди скал и каменьев.

И, злого, холодного, втискивали его в ущелье Исык-Тау, что на Чиликтинской долине, — камень широкий и упрямый.

Дул в Тарбагатайских горах синий ветер. А в ущелье Исык-Тау приходил он с запахами кедров, глухих, нечеловеческих болот и, необузданный и едкий, мял и жег камни.

А пряталось за камнями двое русских. Прикрывались кедровыми ветками, ноги обложили мхами и молчали, как камни. В эту ночь говорил только ветер, густым и нечеловеческим голосом.

Сыро дышали камни. Мокрые кедровые ветки не грели. Мох — холодный и жесткий.

Земля чужая и холодная. Камни чужие, холодные, как эта синяя ночь с синим, льдистым ветром.

Один из беглых — маленький, мягкий — колотил кулаками по камню, ломал ветки, царапал ими тело. Но тело устало и покорно отдавалось ветру, тогда русский ощупывал другого, высокого, жилистого и неподвижного.

Тот, вытянув ноги и руки, лежал за камнем, и только, когда рука маленького ощупывала лицо, у него яростно сжимались горячие губы.

Утром русские бежали дальше, на юг, пробирались камнями.

Ушел ветер, и пахла земля горячими травами. Низко трепыхалось в горных речушках блекло-синее небо, как огромная синяя рыба.

А вершины гор были как красные утки в синих облаках.

А тело человека просила земля — твердо и повелительно. А душу его просили горы.

Люди же эти, радостно, как хлеб, ели жирные, распадающиеся на губах травы. Но не питала земля, и не было силы двигаться. Цепляясь за кустарники, тащили на руках свое тело. Срывали кустарники одежды — голыми хотела взять их земля.

Шли русские.

...Схватила с неба земля синюю ночь. Нежно и тепло вздохнули горы...

А еще на другой день ели грибы, били палками шилохвосток в мочажинах. Срывались шилохвостки с воды, с хитрым утичьим хохотом, передразнивая горы, спускались в долину.

Никли две головы, беспомощны и голодны.

А еще шли день. Уже туман в теле, туман — тело слабое и не свое. Манила голая русалка — земля в короне зеленой, с грудью теплой.

Ползли по каменным тропам на юг. В день проползли два рысьих прыжка.

Молчал длинный, жилистый, с твердым, звериным взглядом из-под надвинутых на глаза бровей. Молчал и второй.

V

Лохматая, впрозелень, голова у попа Исидора. И голос глухой, прерывистый, пахнущий зеленью болот. Идет он широко, в темно-зеленой рясе. Кочка — осокистая голова, кочки — лохматые руки. Подземная вода — глаза, ясные и пристальные.

А в горнице холодно, чужое все для зеленоволосого тела лесного попа Исидора, и ходит он не как хозяин, а возле стен, — широкое зеленое пятно.

И будто хозяин тут Калистрат Ефимыч. Сел важно на деревянный крашеный диван, сказал уверенно:

— У те, отец Сидор, жилье плохое! Быть бы тебе пасечником. А ты в попы на мир лезешь.

Глухо вздохнул поп:

— Я, чадо, понимаю!.. На заимке, в черни, у меня благодать: воздухи — мед... трава там, скажем,

Оглянулся — на стене картинки, мухами засиженные, лампа в розовом абажуре. В соседней комнате — попадья тонкая, хрящеватая, в розовом ситцевом платье, как в абажуре.

— А нельзя — семейство питать там... одежа!.. Самогону хошь?

Упрямо переспросил его Калистрат Ефимыч:

— Про новую веру не слышал, отец?.. Новая вера, бают, объявилась...

— Не слыхал. Ты все ходишь, веру пыташь? Оно хорошо бы новую веру. Мне тоже, может быть, новую веру надо, а не слыхал...

— Тебе и со своей ладно, управляться только. Ты в себя не смотри, поп, туда еще окна нету. Там — темень. Заблудится поп. Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним... Знаешь? Ты, Сидор, будь как есть, твое дело знать...

Отделился поп от стены. Лохматую кочку наклонил к Калистрату Ефимычу. Пахло травами болотными, облили холодком подземные воды — глаза.

— Ты думаешь — я верю? Ты, Калистрат Ефимыч, молчи: а только я, как в леса попал, не верю!.. Почему бог про леса забыл? Почему в Писании про это не упомянуто? Потому что там свой бог и подвижники-то, святители-то наши, расейские...

Он сел на диван, рядом, и шепотом из зеленоватой бороды прогудел:

— Святители-то хрестьянскому богу не верили, Калистрат Ефимыч!.. Я как в леса-то попал, узнал. Стало мне, чадо, стра-ашно... Загорелось на душе моей пламя, держу его, не пуская!.. А выпущу — все леса пожгу.

Метнулся вдоль стены — лохматый, травоподобный.

— Ма-ать! Попадья, Фелицата Семеновна! Нельзя ли нам самоварчик поставить?

Все такая же, как и раньше, плыла на улице зеленоватая жара. В тени амбара спали, склонив голову, лошади, ноги у них были вялые, и вяло шевелились круглые животы.

А в комнатах попа было сыро и холодно.

— Осень все ж, — сказал Исидор, — скоро колодки с пчелой убирать буду. Ты, Калистрат Ефимыч, на заимку не поедешь?

Калистрат Ефимыч отвечал низким голосом:

— У меня по хозяйству сыны... с войны пришел один, Митрий...
— Слышал. Это который красново убил?
— Другой.
— Та-ак... Дело житейское. Одобряешь?
— Нет.
— И не надо. Я бы, чадо, тоже не одобрил, а нельзя — политика, а потом — дело мирское... Кабы богохульство али что...
— Это какое богохульство?
Исидор развел руками и захохотал. Смех у него был трескучий, словно раскалывалось дерево. Зубы показывались острые и желтые, как сосновые клинья.
— Ты меня, Калистрат Ефимыч, прости... Язык у меня лесной, шевелится туго...
— А как молишься-то?
— Молюсь?
Исидор оглянулся и, наклонившись, пахнул на Калистрата Ефимыча истлевшими травами.
— Я... только вслух... в алтаре молюсь... А так я молчу... Понял?..
Встал Калистрат Ефимыч, руки к бороде поднял, провел ими, и зазвенела тоской борода:
— Ты-то, вот, по-оп!.. Молчишь? А нам-то как же?
— А не знаю, чадо... Я ведь тебе по совести, ты не говори... Никому. Молчи и ты...
— И будем все молчать?.. Нехорошо мне, отец Сидор, звери у меня на душе бегают...
Ушел Калистрат Ефимыч. Остался один у окна волосатый в зелень поп Исидор, а внутри у него юркали маленькие, как мыши, мысли: о пчелах, о пасеке, о мужике — высоком, синебородом и непонятном.
Вздохнул поп и сказал глухо:
— Меда... воздухи!.. А тут вслух... сказать надо.
Ходила подле ворот, щупая землю тонкими, как перья гуся, пальцами, Устинья. В рваный передник собирала щепки, но они не удерживались там, проваливались, зияя на черной земле желтыми, смоляными ранами.
Беспокойно хохотал Дмитрий:
— Собирай, баушка,— умрешь — поминки справлять будем, на варево хватит. Эх!..
Алимхан рубил ворота.

Семен собирался за сестрой Агриппиной на заимку. Фекла приготовляла ему, подсевая мелкое зерно, на самогонку.

Твердые, впалые щеки Семена натянулись. Он сказал досадливо:

— Батя, ты бы хоть обутки зашил, разошлись!.. Шляешься без толку, поди, у крали своей все?

Остро взглянул он на подходившего к амбару Дмитрия.

— Чего, Митрий! Заперто там!

— У те ключи-то где? — спросил стремительно Дмитрий. — Зерно хочу посмотреть!

Семен пошарил в карманах штанов и ответил:

— Затерялись где-то. Не найду!

Дмитрий, порывисто махая руками, пошел в избу.

— Прах с тобой, хромоногий! Думаешь — пропью? Нужно мне твое зерно. Дарья-я!..

Из пригона торопливо прибежала, опуская подоткнутую юбку, Дарья.

Семен посмотрел на дверь и сказал:

— Тоже, подумаешь, инерал... заломался!..

Бродила по двору медленно, как больная курица, Устинья.

Уехал Семен. По-солдатски командовал в избе Дмитрий. Калистрат Ефимыч стоял среди двора. Спустив жилистые, длинные руки вдоль ног, дышал твердо, спокойно, тонким запахом подзноя.

В соседних дворах кричали петухи.

Алимхан смотрел на неподвижного с жесткими глазами мужика. Придумывал, что сказать ему приятное. Наконец заложил за щеку кусок табаку и проговорил:

— Тиба, мурза, карошо — борода большой, жирнай. Маган-мина — сколь сотня годов растить такой борода нада?..

Истомленные подзноем, возвращались туговымные коровы с мутно-зелеными глазами. И густое, точно каша, несли бабы молоко в подойниках.

В этот вечер Семен привез с заимки Агриппину.

Длинная, в темном платье, в горнице положила она сорок стремительных и жгучих поклонов перед ликом икон.

— За греховодников!.. за мучителей!.. за христопродавцев!..

Но шел от ее тела резкий запах кислой кожи, мялись плотски жадные губы. Плотские, ползучие по чужому телу глаза.

Сказал с хохотом Дмитрий:

— Надо тебе, мученица, мужика, во-о!..

Агриппина неподвижно и тревожно смотрела на отца. А тот был тоже неподвижен, темен и зеленоглаз.

— Жениться, бают, хошь? — спросила она, сильно сжимая пламенные, сухие губы.

Калистрат Ефимыч отвечал неспешно:

— Как придется. Может, и женюсь. Она баба хорошая, Настасьюшка-то!..

Агриппина закричала остро и больно. Подпрыгивали на ее сухом и жилистом теле тонкие в широкой кофте руки.

Вокруг стола стояли Семен, Фекла и Дарья, а на голбце рядом с Устиньей сидел Дмитрий. Были у всех угловатые, зыбко-зеленые лица.

— Восподи!.. да ведь тебе, почесть, шесть десятков — в монастырь надо, душу спасать?.. а он бабу в дом вводить удумал? Мало у нас баб-то в дому? Мать-то в гробу переворачивается, поди!.. И диви бы каку... С каким она солдатом не спала. Митьку возьми!..

Дмитрий захохотал:

— Приходилось!.. У нас раз-раз — и в дамки... Жива-а.

— По всей волости, восподи!.. В городе таскалась-таскалась... В деревню с голодухи приперлась. Всех мужиков испоганила. Позарился тоже... Прости ты меня, владычица и богородица!..

...Пахли травы молоком. А небо низкое, густое и зеленое, как травы. В травах шумно дышали стреноженные лошади, и шумно хорошо дышали люди.

Мягкие и гладкие губы у Настасьи Максимовны, мягкие и гладкие травы. Тепла неутолимой радостью земля.

К земле прижимаются люди, телом гибким, плодоносным и летним.

— Листратушка... ишь, вот... ты-ы...

И губами перебирала зеленую его бороду, пахнущую спелыми деревьями, и зубами перебирала больно и остро — его душу.

— Листратушка...

...Откинулся устало и горячо. Небо увидел низкое, зеленое и теплое.

А еще ниже — земля зеленая и теплая.

Сказал потом, из трав выпутываясь:

— Веру надо... а какую кому — неведомо...

Голосом пристальным, в душу заглядывающим, Настасья Максимовна сказала:

— Веру?.. Какую тебе веру, окромя любви, надо?..

VI

При закате солнца летели с легким криком рябки на водопой.

— Бульдьрр... бульдьрр...

Спустившись к воде, они замерли. Трепыхались перышки на вытянутых шейках, и тревожился зеленоватый глаз.

Смелков наметился и швырнул камень. Камень задел рябка в плечо, он, колыхая крылом, побочил в таволгу.

— Нету? — спросил возвратившегося Смелкова Никитин.

— Где убьешь!

Смелков лег у костра головой к огню и жалобно сказал:

— Покурить бы, а там — черт с ними, пусть хоть шкуру сдирают!

Никитин быстро сжал твердые и расширенные зубы. Стоял он длинный, суровый, в грязной шинели на голом теле. Тело же было исцарапанное, искусанное комарами и загорелое, как пески.

Смелков, почесываясь, рассказывал, как разбили их отряд, как перебили комиссаров, как убили третьего товарища. Голос у него был тоскливый и острый.

— Какая, скажи ты мне, разница между тобой и чехом? — спрашивал он серба Микешу. — Пошто один большевик...

Микеш молчал. Он растирал кедровым суком кору на камне.

В светло-голубой австрийской тужурке лежал на земле венгерец Шлюссер,

Шлюссер и Микеш подняли красноармейцев на песчаном оползне и укрыли с собой в овраг. Хлеба в овраге не было.

Выходить боялись — недалеко в лесу мужицкие заимки, а по долине и в горах — атамановские отряды.

Смелков заплакал маленьким, тощим плачем:

— Да что я, зверь? ну?..

Никитин молча, пристально взглядывал вдоль по оврагу.

Бился овраг в таволге, таволга металась в блестящих, как вода, травах. Мутно пахло влажной землей, грибами.

Молчал Никитин так же, как он молчал в первый день бегства, когда догнал Смелкова. Были те же у него жесткие, как сухостой, руки, животный, пристальный взгляд.

Смелков нарвал трав и одну за другой начал их пробовать, которая съестнее.

Серб Микеша поднялся вверх на гребень оврага и долго стоял там, глядя на юг.

— Тоскуешь! — тонко и жалобно сказал Смелков. — Поись бы хоть, а он тут... тосковать...

Потом серб сварил толченую кору в котелке. Красногвардейцы ели ее поочередно одной ложкой.

Смелков проглотил хлебок, выпустил ложку. Прижимая руки к груди, лег. Плакал.

Микеша поднял ложку и, хлебнув, передал Никитину.

Полежав, Смелков рыл коренья перочинным ножом. Нашел в пне пахнущие псиной грязно-желтые грибы и украдкой, торопливо съел. После грибов рвало.

Шлюссер и Микеша тихо переговаривались по-немецки.

Шлюссер в овраге нарвал большой пук зеленовато-золотых трав и долго варил похлебку. Попробовал ложку, плюнул и выплеснул на землю всю похлебку.

А вечером, сгибая колени и ударяя каблук о каблук, ушел Смелков на пашню воровать зерно в колосьях. Не возвратился.

Ели какие-то сладкопахучие коренья, корни аира. Шлюссер поймал рубахой в потоке двух мальков величиной с палец. Мальков разделили и съели.

Было сыро и душно в овраге. По ночам бродила зеленовато-золотистая мгла.

Трещал таволожник. Казалось им, что крадутся мужики. Вскакивал Микеша и, ступая на пальцы, убегал в тьму. Потом возвращался, и голос у него был тихий:

— Тумал... пьют... мена!..

Двенадцатый день тусклые и густые облака низко, как полог, висли над оврагом.

Из пади кверху по травам шел сырой и дождливый ветер. Свистели сучья шиповников.

Кипятили котелок с кореньями, когда раздвинулись кусты таволожника, и резкий голос сказал:

— Бог на помощь! А только огонь-то раскладываете зря!..

Стоял человек низенький, как дитя, большеголовый. Вместо ног — культяпки в две четверти длиной. Схватил было Микеша сук, но, увидав его культяпки, отвернулся.

Зло рассмеялся человечек и сказал:

— Думаешь — не донесу? Очень просто!.. За троих сто двадцать целковых дадут.

Никитин подошел к человеку и, отставляя ногу в сторону, спросил порывисто:

— Донесешь?

Подковылял бойко человечек к костру. Котелок на огонь опрокинул.

— Дураки!.. Прет дым на нос. Ладно — овраг, низко дым идет, я только учуял. А ростом выше меня пойдет?

Снял он пиджак рваный, серенький картузишко без козырька. Постелив на землю пиджак, сел.

— Не донесу! Потому мне троих где убить? А мужики коли убьют — не поделятся керенками. Опять и надоело мне, паре, добро людям делать... Ну их к лешаку!

Оглядел их уверенно и хитро и, закуривая от тлеющей головни, сказал:

— Я, парни, тридцать лет правду искал. К бродягам в тайгу пошел, баяли, там есть правда, а они меня к кедру привязали и ноги до колен сожгли... Не верю я людям, сволочи они и звери...

Но тут выхватил из кармана кусок хлеба и кинул в траву.

— Жрите!..

Микеша упал лицом на кусок, зарычал. Подбежал Шлюссер, теребя серба за плечо, слабо просил:

— Микеш, Микеш.

Никитин же, приподнявшись на локте, глядел в сторону на куст шиповника за культяпым человечком.

— А ты что ж?.. — спросил Никитина человечек.

Никитин с трудом поднялся, подошел к человечку. Ногой ударил его в зубы. Человечек закрылся руками.

Никитин хотел отойти, но запнулся и повалился на куст.

Человечек вытер окровавленные губы, сплюнул. Проговорил протяжно:

— А это ты правильно!..

VII

Случилось так на пригоне.

Семен долго и беспокойно глядел в опухшие веки Дмитрия, хитростно сказал:

— Батя — мужик хозяйственный, он это зря притворяться не будет. У него тоже собака голову не съела!.. Тут, брат!..

Дмитрий стоял, плотно, по-солдатски, сжав ноги. Мычал в стойле теленок. Угарно ложились на грудь запахи гниющего навоза.

— По-вашему выходит, машинка? — бойко спросил он. — Согласен. Я как был на действительну призван, да почесть восемь лет отчехвостил, думаю — спятил старик в эти времена!

Семен, прихрамывая, отнес вилы в угол.

— Мы тут удумали, — тихо и убежденно проговорил он, — с Феклой, она у меня баба — куда хошь. Удумали мы так — не будет зря старик болтаться, хозяйственный человек! И насчет веры выходит тут тово!.. Народ-то в вере колеблется, надоело, ну, он тут... свою и придумал. Старик-то.

Дмитрий хрипло кашлянул, поглядел на теленка. Закивал опухшей головой.

Семен, придыхая слова, говорил:

— Нам-то он ни за што не скажет — комерцеский человек. У нево отец-то какого товару, бывало, привезет — никак не покажет!.. А?

— Тут надо стратегически!..

Семен, обрадованно передернув плечами, оправил рубаху на груди. Постучал в грудь Дмитрия:

— Ты, Митя, одно пойми — торговать счас опасно — за товарами в Маньчжурию надо ехать!.. И разбойник народ!.. Раз!..

— Народ — сволочь. Били сколько лет и не перебили.

— А торговому человеку такая жизнь — могила. Он и... Вера!..

Дмитрий восторженно выматерился. Семен отогнал теленка, кинул ему сена и пошел.

Дмитрий постоял, поглядел на поветь с тугими светло-зелеными стогами сена... Вдруг начал проделывать, приседая, гимнастику.

— Ра-аз!.. Два-а!.. Раз!.. Два!..

После обеда Семен отозвал Алимхана за ворота, сказал:

— Ты мне, немаканай, келью срубишь? На манер святова!..

— Ни? — переспросил киргиз.

Семен плюнул, мотнул плечом и, прихрамывая, побежал догонять отца на улице.

— Я тебе тут, батя, — сказал он, — келью заказал, Алимханка, он ничего, срубит. Красить, жалко, не умеет!

Калистрат Ефимыч остановился, посмотрел в сторону на радужные окна зеленоватых изб. Согласился.

— Мне, што ж, коли!.. Агриппина-то замуж не сбирается? Раз келью...

Семен подмигнул.

— Обождет. Мы ей попа подыщем. Погоди, вот!.. Я понимаю.

В сенях Алимхан прорубил окно, сделал двойную перегородку из плах. Дмитрий сколотил широкую постель на деревянных козлах.

Пришла в клеть Агриппина, сухая, темная, как слежалое сено. Она долго исступленно оглядывала стены, потолок.

— Баб водить будет сюды? — пренебрежительно спросила она.

Дмитрий похлопал ладонью стены, подоткнул в пазы мох и похвалил:

— Хоть Николаю-чудотворцу туда же!.. Молись!

Через три дня Калистрат Ефимыч перешел в келью. Забежал, прихрамывая, Семен, мелко подергивая рукой, перекрестился и спросил беспокойно:

— Молишься, батя?..

Калистрат Ефимыч лежал на кровати, заложив жилистые руки за голову. Ответил твердым, широким голосом:

— Нет.

Семен потоптался, оглянул пол и, заметив валявшуюся щепку, сунул ее в карман.

— Добротна келья!.. Хошь игумену! — И добавил досадливо: — А ты молись... Я ведь знаю — ты молишься... Без молитвы какой хрестьянин! Пыль!.. А батя, верна-а?..

Был у него просящий, мелкий, как пшено, голос. Калистрат Ефимыч посмотрел на его жесткое лицо с потрескавшимися, точно древнее дерево, губами и, отворачиваясь к стене, выговорил:

— Спать хочу.

В тот же день на сходе Дмитрий шумно и оголтело кричал мужикам:

— Каки ваши дела!.. Резервный вы люд, — и никаких... Листрату Ефимычу, родителю моему, виденья видятся... Всю ночь на коленах стоит! Келью срубил, молится! Обязаны за вас мы молиться? Ну? Вы как?..

И долго путано рассказывал про виденья отца. Вспомнил генералов: Радко-Дмитриева, Рузского, предателя Ренненкампфа и вставил их в видения.

За грязной дверью присутствия повис на дрожащих и желтых ветвях черемухи лиловый клочок неба.

Мужики непонятно молчали, остро глядя в двери зеленоватыми глазищами.

Агриппина, прижавшись к стене у крыльца, придушенно спросила Дмитрия:

— Настасья-то как будет, она вить безверная?..

Дмитрий, подымавшийся на крыльцо, остановился. Сильно постукивая каблуками, сказал:

— А там мы бога ей прикомандируем!..

VIII

Святой Евтихий пришел, тихий и мягкий. Возили золотые, пахнущие медом снопы овса. Пахли медом тихие, тучные лошади с зыбкими, зелеными глазами.

Мягко, осторожно мялся на камне водопад.

Пересекая дорогу, из тальников выходили на мостик и шли в горы арбы киргизов. Скот прогнали, от него до полуночи свертывала земля жирные клубы пыли. Шла орда на запад мимо деревни Талицы.

Калистрат Ефимыч у мостика глядел на киргизов.

Тревожно перекликался с арбами Алимхан. Пахло от арб верблюдами и кизяком. Лица у киргизов были беспокойные, грязные, узкие глаза боязливо оглядывались на юг.

— Куды они? — спросил Калистрат Ефимыч.

Алимхан вздохнул:

— Байна! Кыргыз байна не любит. Кыргыз хороший царя нада!

— Война?

Увешанного амулетами и звенящими бубенчиками, провезли шамана Апо.

Ревели, шумно отплевываясь, верблюды. Нежные, тонконогие, звонко пробежали мостом жеребята.

— Байна! — помолчав, сказал Алимхан. — Белый генерал байна зовет, красный генерал не хочет... Сапсем плоха!..

От водопада летели на киргизов зеленоватые брызги.

Как племя злобных рыб, пойманных в сети, билась в камнях вода. Голубое, нежное, как мех песца, стояло небо.

Катились арбы. Было их много, как птиц на перелете. Тревожно и резко скрипели они.

На возу, тесно наполненном снопами овса, ехал Дмитрий. Увидав отца, он, указывая на киргизов, крикнул:

— Киргизы-то бегут!.. Они, как мыши, гарь чуют.

Калистрат Ефимыч медленно пошел домой. На крыльце сидела рябая баба с ребенком на руках.

— Чего ты? — спросил ее Калистрат Ефимыч.

Баба положила ребенка на ступеньку и, поддерживая рукой живот, тяжело опустилась на колени.

Подымая худые и мокрые от слез щеки на Калистрата Ефимыча, она хрипло сказала:

— Помолись... Помират...

Калистрат Ефимыч отступил. Густо засинели глаза, быстро вышедшие из тугих, острых век.

— Кто это тебя, — сказал он жестко, — послал?

Баба, передвигая худыми коленями под ветхой юбкой, хрипела:

— Помолись!.. Бают, у те вера новая... Помолись!

У дверей, упершись ладонью в косяк, стояла Фекла. Глядела она на бабу радостно.

— А ты к фершалу, — сказал Калистрат Ефимыч. — Он те и полечит. А я што?

Баба вскочила, стягивая с ребенка грязные пеленки, кричала:

— Не хошь! Другим молишься, а бедным не хошь! Ты посмотри, посмотри!..

Серое, в липкой кровяной чешуе тельце ребенка. Тыча ему под грудь пальцем, причитала:

— Сыночек ты мой, милай, никто тебя не пожалеет, не приголубит!.. Дудонька ты моя, яровенчатая!..

С тонким, прерывающимся писком напряженно дышал ребенок. Баба, протягивая, хрипела:

— Помолись!.. Тебе что? Помолись!..

Калистрат Ефимыч сказал:

— Не умею. Не молюсь.

— А ты по-своему, по-новому!..

Калистрат Ефимыч наклонился над ребенком, прочитал про себя «Отче» и сказал, отодвигая дитя:

— Неси.

Баба понесла было, но вернулась.

— А ты перекрести хоть!

— Неси, — сказал Калистрат Ефимыч и вдруг неожиданно для себя сказал радостно: — Выживет!

Баба, держа ребенка на далеко выдвинутых руках, шла слепым, срывающимся шагом к воротам.

Сторожко, подбирая юбки, пошла за ней Фекла.

В ужин Дарья принесла Калистрату Ефимычу блинов, сметаны в холодной кринке. Остановившись у стола, сказала:

— Ты, если што — калитку-то мы теперь запирать не будем.

Не понимая, спросил Калистрат Ефимыч:

— Куда мне ее?

— Мало ли... Може, и захошь... позвать Настасью!.. Улыбнулась. Хищно и плотски шевельнула грудями. Медленно вышла, выгибая спину.

Тонко пахло из пазов мхом. В горнице громко говорил Дмитрий.

Смертоносно таяло сердце, и хотелось холодного зимнего воздуха...

Синеглазый, веселый староста торопливо обходил поселок, постукивая в окна, кричал:

— Бабы, выходи!.. Девки — о-обязательна!..

Весело оправляя платья, выбегали бабы, становились в ряд. Писарь держал коротенький фиолетовый карандаш. Позади него хохотали парни.

— Дарья Смолина!.. Жена законная, двадцать семь лет — ядреная баба — айда!

Оттолкнул Дарью направо. Дарья покраснела; закрылась рукавом. Веселый староста кричал:

— Фекла Смолина. Жена законная, сорок лет!..

Посмотрел на нее, на писаря, подумал.

— Лошадь надобна — уборка. Налево пожалуйте!

Фекла плюнула и, резко крича, пошла в ворота.

— Да што меня мужики не хочут? Комитет — подумашь!.. Выбрали понимающих!..

Парни захохотали. Староста, весело щуря глаза, кричал:

— Гриппина Калистратовна Смолина. Целка!.. Двадцать пять — направо жарь!..

— Не хочу! — стремительно сказала Агриппина. — Не поеду!

Староста пошел к другой избе.

— Твое дело, — сказал он. — Казацкого захотелось, оставайся... У нас и так лошадей нету, на уборку надо. А тут баб в чернь увози. Оставайся!

Вечером в таежные заимки уходили прятаться подводы с бабами. На гумнах затопили самогоночные аппараты. Стрелки пошли бить птицу. Старухи пекли блины и шаньги.

Проскакала селом тележка. В ней культяпый Павел, стегая взмыленных лошадей, торопливо перекрестился левой рукой на церковь.

В субботу в поселок приехали атамановцы.

IX

Пили самогонку и пьяные, в обнимку, уходили в тайгу, махая остро опущенными шашками. В день приезда выбежали из тайги три кабана. Атамановцы схватили их в шашки.

Ждали еще кабанов.

Желтые, тугие лица с темными, напуганными зрачками. Ходили всегда по нескольку человек. А ночью

в душных, жарких избах говорили долго, неустанно, по-пьяному.

Офицеры, трое, посланы были вербовать киргизов в отряды Зеленого знамени. Киргизы не шли.

Вечером горькое, оранжевое небо покрывало тайгу, Тарбагатайские горы.

Потом атамановцев, большую часть отряда, услали куда-то. Говорили, к Семипалатинску. Остались самые молодые.

Пригнали мужики скот. Бабы вернулись с заимки.

Горели медленно розовые, нежные и тягучие, как мед, дни.

В один такой день встретила Агриппина поручика Миронова. Был он большой, розовый, с волноподобно переломанными бровями, оттого казался всегда смеющимся.

Остановил ее в переулке, сказал:

— У тебя, говорят, отец святой?

Исступленно взглянула Агриппина, ответила:

— Не знаю. Чудес не видала.

Офицер пошел с ней рядом.

— А ты какая, из святых? У вас тут на каждую девку парень есть — не подступишься!

Говорил он торопливо, точно догоняя кого рысью, но голос вертелся круглый и румяный.

— Ты с кем гуляешь?

Вытягивая вперед ногу в побуревшем лаковом сапоге, он рассмеялся. И так шел до самого дома, смеясь.

Ночью, густой, зеленой, как болотные воды, Агриппина металась по кровати и шептала:

— Прости ты меня, заступница!.. Аболатская, нерукотворная!.. Восподи!..

Перед лицом стоял он — темноликий, сухой, как святые на иконах. Поднимал медную руку и говорил звонкие, повелительные слова. И от его слов жгло и дымилось гарью сердце, как степь в весенние палы.

Но был офицер румяный, словно не ходил по тайге в ловлях. И только веки были в резких, угловатых морщинах.

Хотелось видеть его таким, каким подходил он к постели, ночами. Строгим, повелительным.

Агриппина сторонилась, молчала.

Злобно кричала она на приходящих убогих и жалующихся:

— Молиться надо, молиться, нехристи вы и злодеи!..

Мутнели души убогих, как весенние воды. Опуская глаза, говорили протяжно:

— Грешны, Грипиинушка, грешны, нетронутая. Молились!.. Наши-то молитвы не подымаются — будто градом колос... Грешны!..

Конопляники тошно-душные — людские лица. Нельзя в них смотреть, дышать ими. Марева в голове пойдут — облачные, радужные, неземные...

Спросила Агриппина офицера Миронова:

— Ты в бога-то веруешь?

— Верую, — строго ответил офицер и вдруг постарел, морщины с век пали на все лицо. — Верую. У меня вера осталась — одна.

— А как веруешь? — торопливо спросила Агриппина.

Замолчал офицер. Подумал. Как плуг в целых землях, путались и резали коренья души знакомые слова:

— Бог-то, бог-то, как у всех. Некогда мне было думать! — Тяжело передвигая губами, проговорил: — Семь лет воевал: на германской, здесь. Всю душу снарядами разворотило. Некогда думать.

Засмеялся вдруг, орозовел и, подпрыгнув, схватил Агриппину за груди. Она тихо отстранилась и сказала:

— А ты подумай!

Миронов двинулся за ней. Опять говорил что-то весело и запыхиваясь. Гимнастерка была широкая, пахла мылом, но под мышками был пот. Дышать Агриппине было тяжело и тесно.

Повторила она:

— Подумай...

Потом в пригоне Дарья, пронося в широком подойнике молоко, сказала ей задорно:

— Офицер-то за тобой бегает. Ты валяй — може, в город возьмет. Так издыхать... в девках, что ли?

Агриппина, не взглянув на нее, мимо. В горнице перед иконами говорила молитвы тягучие, жалобные.

Растоплялось, занимало всю грудь широкое, как весенняя туча, сердце.

Плакала она, шептала слова в плаче, — пересыпные и мелкие, как степные пески:

— Восподи!.. Восподи!.. Как это!.. Владычица и заступница Аболатская, просвети и помилуй!..

Шли мужики самотопом — в ряд, по кустам и вспугивали птицу. На опушке колка сидел в шалаше офицер, бил кренившихся к нему птиц.

Желтые и жирные, точно коровье масло, горели кусты в розовых полях. Ветер шебуршал жнивьем.

Собаки у офицера не было, Дмитрий сбирал птицу. Он взвешивал каждую куропатку на руке, говорил торопливо:

— А эта, ваше благородье, еще тижалей — чисто пушка!..

Гукали мужики. Розовело у офицера бритое, упрямое лицо. В колке при выстрелах шумно срывались с берез галки.

Сладкая, мягкая была у куропаток кровь. Как мед, лепила она пальцы. Хмельно, утомленно сказал Миронов:

— Ставь чайник... будем на вольном воздухе чай пить...

— А мужики, господин поручик?

— Пущай берут птицу и уходят. Мне ее не надо!

Гуськом, точно в церкви ко кресту, подходили мужики и брали по куропатке. Последнему досталось три. Догоняя остальных, он незаметно швырнул двух в куст и ушел, неся одну птицу.

Поднимая высоко медный котелок, повязанный полотенцем, вошла Агриппина. Она поставила котелок на землю и, остро глядя на офицера, сказала:

— Обед вам.

— Кто велел? — закричал хрипло Дмитрий.— Сколь птицы набили, а она обед!

Миронов хмельно развел сведенными от долгой стрельбы руками. Пух куропаток прилип к выпачканным в крови сапогам.

— Ничего, — вяло сказал он, подымаясь.

— Правила, господин поручик: охотнику не полагается обед из дому носить... Стыдна, однако, и обида!..

Повернулась Агриппина в колок. Длинная синяя шаль звенела желтыми травами. Тянулись по туго натянутой щеке серебристо-розовые нити осенних паутин.

Офицер, твердо и уверенно ступая на пятки, догнал ее:

— Тебя почему нигде не видно?

Агриппина молчала.

Тревожно и сладко пахло клубникой. Лиловато блеснув шкуркой, шмыгнула через сапог ящерица.

— Я о тебе скучаю, — сказал офицер неуверенно. — К Дмитрию сколько раз заходил, думал, тебя встречу.

— Не ходи, — сказала Агриппина.

Офицер взял ее за руку, помял и проговорил лениво:

— Пойдем в колок!.. Устал... отдохнуть надо...

Агриппина молча уходила в травы. Он набросился на нее, стал срывать кофту и юбки.

Агриппина опустилась под ним, порывисто дыша ему в лицо хлебом и какими-то пряными ягодами. В лицо ей уперлось мягкое и теплое плечо офицера. Она заметила лопнувшую у подмышки рубаху. Просвечивало розовое, кисло пахнущее тело.

Агриппина схватилась руками за травы, чувствуя под зубами упругое тело, укусила. Офицер сипло, нутром вскрикнул.

Агриппина, закрыв глаза, тянулась зубами по рукаву.

Офицер вскочил и сказал злобно:

— Вот собака!..

Темная и неподвижная лежала в травах Агриппина. На потных висках прыгало оранжевое солнце.

Миронов, щупая укушенное место, проговорил:

— И поиграть со скотом нельзя!.. Чего ради, спрашивается, укусила?.. Сама виснет!..

Он, так же твердо опираясь на пятки, ушел.

В клети у Калистрата Ефимыча говорила Настасья Максимовна.

— Я не знаю, Листратушка, а вот, бают, вера у те другая, хоть бы сказал мне. Я поверю. А то не знаю, как и верить, может, и не по-твоему. Ты скажи?

Поднялся Калистрат Ефимыч, высокий и прямой. Туго провел тяжелой и волосатой рукой по костлявому, впалому лбу и сказал:

— Нету у меня веры и не было.

Настасья Максимовна отвечала мягкими, атласисто-розовыми губами.

— Ну и не надо ее!.. А только у меня, Листратушка, кажись, ребеночек...

X

Послух шел поселками, волостями, синими Тарбагатайскими горами:

— Обрелся человек новой веры в Талице.

Ездил Чиликтинской долиной культяпый Павел, сказывал:

— Сам видел — праведной жизни мужик. И силищи агромадной, в сто пудов камень подымат.

Шли больные, падучие, сглаженные. Сколько их в этих осенних ясных горах?

Из каких падин-расщелин, какими ветрами темными вынесло?..

Сначала по двое, по трое, а потом десятками стали приходить.

Густая была осень, грязная. С полуночной страны накатил синий ветер. Пахло сыростью, мхами, улетающими птицами.

Люди гнулись, как сломанные деревья. У ворот встречала их Фекла, отводила на край поселка. Здесь в маленькой избушке принимал даяния Семен, говоря беспокойно.

— А ты о деньгах молчи, он не любит. Молчи!

Вечерами лошадь с сытой шеей и сонными глазами привозила даяния в амбары Семена...

Торопливо крестясь, вползали убогие на скрипучее крыльцо. Вытирая грязные руки о половик, проползали в келью. Кисли острыми запахами звериных логовищ плоские хрящеватые уши, отрепья одежд.

— Ну, чего вам, чего? — говорил низко, тревожно Калистрат Ефимыч.

Знали убогие, порченые, что без просьбы ничего не дается. Надо просить новую веру, долго и упорно просить. Калеки хрипло, визгливо никли, ныли:

— Батюшка... помолись!.. Калистрат Ефимыч, помолись!..

Матово-зеленый, пахнущий людским убожеством, воздух в келье. Мелкие, зеленоватые глаза у святых на иконах. Кто-то свечу зажег перед образами.

Глядел Калистрат Ефимыч в глубокую тьму за окном. Ныли убогие. Выл тоскливым, волчьим воем на пригоне синий полуночный ветер.

Льдами несло с полуночи, льдами.

И лед шел на сердце, холодные глыбы с острыми, больно режущими краями.

Говорил Калистрат Ефимыч:

— Кому мне молиться-то, а?

Отвечали убогие:

— Сам знаешь!

Раскрыла настежь окна. Несло летом, ветра по улице прыгали розовые, желтые и голубые. Медоносными травами пахло.

Дни пахучие, медовые, розовые.

Был офицер большой и мягкий.

Но не приходил он больше. И ныло, как рысь зимой, тонко-свистяще сердце.

Хотела видеть ночами старых, грозных и омраченных богов. Горели грузные ризы, чужие стояли бога, не спускались из темных одеяний на цветные половики горницы.

Плакалась слепая Устинья:

— Ты хоть бы за меня-то помолилась, Гриппинушка! Не останавливается слеза — течет.

Но у самой Агриппины не останавливалось, текло сердце.

Ночи текли медленные и широкие, как сибирские реки. Ревели, просили любви в Тарбагатайских горах звери — кабаны, медведи и сохатые.

Избы плыли огромные, тянулись к небу зеленые деревья. Как темные цветки, отражая звезды, пахли людьми окна. Выли, тоскуя по горам, лохматые, волчеглазые собаки. Были у них огромные, желтые клыки, и, как клыки, рвали синие тучи Тарбагатайские белки — вершины.

Нет, никому не молилась Агриппина.

Такой ночью приметнулась к школе, где жили офицеры. Постучала в окошко. Вышел Миронов, большой, теплый.

Сказала Агриппина:

— Звал, что ли?

Засмеялся офицер.

— Конечно, звал! Чего долго не приходила?

Повел ее за собой.

В тесной учительской двое офицеров играли в карты. На Агриппину не взглянули.

— На пять — десять минут можно вас попросить, господа? — спросил весело Миронов.

Низенький, длинноусый проговорил:

— Пожалуйста, Николай Матвеич, располагайтесь. Мы в классной доиграем.

Они собрали карты, взяли бутылки под мышки и вышли...

И опять дни такие же непонятные и долгие. Уехал куда-то в степь офицер. Возвратясь, ничего не говорил, не приходил, не звал.

Ныли у крыльца убогие. Шелестели руками, сухими, как осенние травы.

— Не сердись, Гриппинушка, нетронутая... не сердись, молитвенница!

Выходил на крыльцо Калистрат Ефимыч, говорил:

— Уходите вы, ради бога... Ничего у меня нету!

Ползли за ним по высокому крыльцу убогие. Протяжно и озлобленно:

— Помолись... помолись!..

Под наметанным сеном гнулись пригоны.

Гнулась в тоске душа. Ночью выходила Агриппина за ворота. Теплые и низкие, как коровы, дышали темно-зеленые избы. Ветер дул пахучий и непонятный...

XI

Лохматый, травоподобный, вполз в келью отец Исидор и, шумно дыша, сказал:

— Ты тут, чадо, какую это новую веру выдумал? Расскажи-ка!..

Округло поднял руку для благословения. Сел он почему-то не на стул, а на кровать. Точно спеша куда, заговорил:

— Не таи — все говори. Никто открывать про тебя не хочет. Какая это вера?

Но в голосе его была почтительность, словно говорил с благочинным. Калистрат Ефимыч посмотрел на него и спокойно сказал:

— Не знаю. Никакой у меня веры нету. Расту.

Поп шумно вздохнул, захохотал. Хохотали зеленоватые, пахнущие илом волосы, широкие одежды.

— Вот это-то и есть настоящая вера? Нет, ты в самом деле, Калистрат Ефимыч!.. Скажи? А у те средства от падежника нету? Пчела мрет.

— Не занимался пчелой.

— Напрасно! Много смиренья приобрести можно. Совсем напрасно!

Калистрат Ефимыч молчал. Поп, строго постучав ребром ладони по кровати, сказал:

— Баптист ты, должно, али хлыст. Христом себя считаешь?

— Нет.

Лохмато заорал поп:

— А ты назовись! Чего молчишь? Тогда я скажу — имеешь ты право за людей молиться или не имеешь! Зачем ты беспокойство мне причиняешь? У меня, быть может, оттого и пчела дохнет!.. Мне из города пишут — сообщи, что за пророк такой, а что я сообщу — сам, мол, он ничего не знат.

— Не знат.

— Брешешь! Не могу я так написать. За такую бумагу в три шеи вытурят меня... Ты разъясни.

— Про веру-то?

— Да, ну.

Калистрат Ефимыч наклонился и заглянул попу в глаза. Поп опустил лохматые брови, потно дыша, сказал испуганно:

— Ты не томи, у меня сердце слабое...

Калистрат Ефимыч поднял руку и проговорил не спеша:

— А коли... я тебе... по рылу дам... Или...

Поп Исидор, слюнявя слова, заплетаясь руками:

— Молчи... молчи!.. Богохульник!..

Большое травоподобное пятно загородило двери. Пахнуло болотами и смолой сосновой.

Укоризненно прогудел поп:

— Предатель ты, Иуда!..

XII

Как будто всем телом хромал Семен. Голос хромой, прерывающийся.

— Жениться хочет батя-то на этой городской. И женится. Ребенок у ней, бает. Брешет, не от него, поди!

— Ну?

— Не пойдет народ... Какой, скажет, святой — с потаскушкой живет. Женится еще!.. Тут нада...

Оглядел беспокойно Семен розовато-желтое тело Феклы. Пахло в предбаннике золой и вениками. Банные, бесстыжие глаза у Феклы, и смотрит на Семена по-иному. Засмеялась.

— Чего ты?

— А ты в баню с такой речью пришел? Про потаскуху таку опричь бани-то где можно придумать?

И туго колыхая большим животом, точно выталкивая бесстыдство, хохотала Фекла. Скрипя, отошла дверь; пахло из бани томящей жарой.

— Што мычишь-то, корова!

— Ты народу-то про нее бай — епитимья, мол!... Епитимью за грехи свои наложил Калистрат Ефимыч!.. Поклонов, мол, мало, так он шлюху себе в жены берет.

— Не поверют.

Завертелась перед баней желтая, бесстыдная пыль. Плотно сжимая губами клок соломы, весело проскакал теленок. Нехотя двигая толстыми бедрами, вошла Фекла в низенькую дверь.

Из бани вместе с новым клубом томящей жары крикнула:

— Коли верят... ничего!.. Скажут — так и надо!

А вечером на перине сказала Семену:

— Ты за Митрием-то следи... Он даяния-то получать-то получает, да должно... кажинный день на карачках ползат... Пьет.

Калистрат Ефимыч попа Исидора просил о венчании. Выслушал тот и сказал:

— Ну тебя, искусителя, к дьяволу! — Махая широкими рукавами, густо рявкнул: — Пошел из моего дома, чтобы моментально! Раз у тебя новая вера — не буду, не желаю! В город напишу — еретика не хочу!.. не желаю.

И шумный, как падающее дерево, долго гремел в маленьких, тесных комнатках, точно две пчелы копошились в лохматом зеленом волосе маленькие, чужие, ясные глаза.

Обдуло поселками, волостью, Тарбагатайскими горами — наложил епитимью за грехи свои Калистрат Ефимыч Смолин в Талице:

— Женится на потаскухе городской.

На Сергия вышел как-то Калистрат Ефимыч из

кельи в горы. Ярко-золотые перстни — скалы и камни неведомые на них — лиственницы. Шелковисто-розовые снега в белках. Дышит земля осторожно и чутко, как собравшийся в далекий путь странник.

И как стрепет в небо — бьет к горам душа.

Вздохнул Калистрат Ефимыч.

— Перелет ведь у птиц, поди... Летят! А тут сижу, милостыню раздаю...

Зашуршала трава, заговорила. Камешки по откосу покатились. Смотрит, выковыляла на тропу старуха древняя, лицо в лохмотьях, пала на колени, гнусит:

— Батюшка, Калистрат Ефимыч!..

А дальше и разобрать нельзя. Наклонился он к ней.

— Ты ко мне домой приходи, старуха, чаем напою, поговорим...

Гнусит старуха, заплетается губами, как и ногами.

— Нельзя ведь, родной... Денег-то нету, а у меня... дочка-то, Маша-то... батюшка!..

Сказал Калистрат Ефимыч, как научился говорить с убогими, — тихо и ласково:

— Какие деньги мне, баушка?.. Не надо...

— Сыны, сыны твои берут... просют, а мне что, кабы... да нету, нету, батюшка!..

Отошел он от старухи и по тропам незнамо куда побрел. Не заметил, как на скалу вышел, что в горах, в кедрах, в соснах.

А на скале стоят молодые талицкие парни кучкой, смотрят на запад, говорят тихо, а над ними на сосновой жерди болтается на ветру кумачовая тряпка.

— Чего вы? — спросил их Калистрат Ефимыч.

Сорвал боязливо один кумачовую тряпку, в карман сунул и ответил сердито:

— Та-ак...

Калистрат Ефимыч спросил:

— Семена не видали?

Не видали парни Семена. Да и не мог он тут быть. Незачем.

Есть снаряд такой охотничий — срубце. Делают его из жердей, узкий в горлышке, широк донцем, как бутылка. А закрывают стеблями овса необмолоченного — корни к донышку, а колосья свяжут крышей вместе.

Садится птица на конец крыши, проваливается вниз, а кверху как? Не расправить крыльев ей, не вылететь.

Вот под скалой увидал такой снаряд Калистрат Ефимыч, овес раздвинул, а там меж прутьев напуганные, голубовато-розовые птичьи глаза...

Опустил стебли Калистрат Ефимыч, выпрямился и сказал:

— Та-ак?.. Сидишь?

XIII

Приезжали к офицерам киргизы. Денщики варили баранов и подливали для крепости в кумыс спирта. Киргизы напивались, обещали офицерам привести в отряды джигитов.

Однажды пьяные офицеры и поп Исидор пошли к Калистрату Ефимычу. Постояли у ворот, но во двор не зашли из-за грязи. Глубоко, по колена оседая в темную, жирно пахнущую землю, вышла за ворота Агриппина.

— Чего не заходишь? — спросил торопливо офицер.

Исступленно тлели розоватые зрачки Агриппины. И от темной земли еще суше казалось ее тело. Офицер отвернулся.

— Хлысты! — сказал он.

С того дня Агриппина ходила каждый вечер к офицерам на другой конец села. В большой классной комнате офицеры лежали на кошмах.

Сушились на партах шкуры убитых волков. Пахло кислыми шкурами, кумысом и табаком.

Агриппина напивалась пьяная и, обняв ноги Миронова, пела матерные, солдатские песни. Так и засыпала.

Он, тихонько вытянув ноги из сапог, обувал бродни. Захватив бутылку спирта, офицеры уходили на охоту.

Утром Фекла ругалась. Дарья, озорно подмигивая, говорила:

— Завидки берут!.. — И, поймав Агриппину в сенях, совала ей за пазуху какие-то травы. — Пей с парным молоком, всю жизнь ребят не будет. На Феклу плюнь...

Калистрат Ефимыч не выходил из кельи и не пускал убогих и жалующихся. А их было много.

Объявляли наборы воевать с большевиками, а парни не шли. Кого-то расстреливали... Говорили о восстаниях.

Дни были тугие и смолистые, как кедровые шишки.

Кололи птицу. Приготовляли на зиму пригоны.

Скот ходил сытый, вялый и сонный.

Зверь в Тарбагатае был тоже сытый и сонный. Медведь таскал в берлогу сено.

А на голбце плакала ночью и днем слепая Устинья, и на слезы ее не смотрели, как на горный ручей — течет и пусть течет.

XIV

Раскиданы в долине среди трав огромные, словно пятистенные избы, серые каменные глыбы. А речушка Борель издали с гор кажется совсем матово-черной. Пахнуло из долины вверх сухими листьями. Рдяно пылала перед глазами рябина внизу.

Никитин и Микеш лежали на скале и глядели в долину.

— Сэрбиа!.. — гортанно и низко говорил Микеш. — Виноград, вино привозят!.. Здэс мягкий народ. Нэ хорроший!

Он подтянул винтовку ближе, стал свертывать папироску. Глаза впавшие, бурые, с резким взглядом, рыхло оглядели долину.

— Сделаем крепким, — отрывисто проговорил Никитин.

Солдатские штаны и рубаха плотно обтягивали его тощее тело. Босые ноги утомленно лежали на высохшей траве. И желтое — все тело было, как один большой, рваный лист растения.

— Мужик — другой. Колчак — плох, глуп. Мужик понимает!..

— Дран, граз!.. Мужык дран! Ганал, ганал, тэпэр плакат, стрэлал, стрэлал!..

Серб плюнул. Протяжно затянулся махоркой, передавая папироску Никитину, отодвинул винтовку и встал.

— Ты... ты!.. — жгуче запинаясь, выговорил он. — Ты рразговарриват хочэшь? Стрэлат — в лоб каждый! Ты — рразговарриват? — Он порывисто зашагал прочь, бормоча на ходу: — Нэ хочу рразговарриват! — Но вернулся тотчас же и вязко опустился на камень. — Скущна? Хощу Сэррбиа рреволюциа делат. Здэс наррод мягкий!

Темная плавится внизу, по долине, в камнях, Борель. Глыбы мутные и тяжелые виновато выходят из трав. Ползут, цепляясь за камень, на скалу сосенки и не могут забраться. Дышат измученно и смолисто.

Затаенно проговорил Никитин:

— Простить можно все.

И пощупал клочковатую — вниз и вверх растущую, — как валежник, спутанную бороду. Щуря глаза, чуть заметно улыбнулся.

— Побриться бы...

Серб всунул в карман руку, вытащил горсть табаку. Поглядел на него, плюнул:

— Смэлков убил! Табак прринес, дран мужик! Брасат нада, нэ могу — куррит нада!

И он яростно завернул папироску.

Горные запахи, нагруженные лугами и падями, — неослабные и медвяные. Гудит наверху в белках камень. Орет зверь какой-то остро и жалобно.

— Мэдвэд деррет! — сказал серб. — Сэрба рреволюциа сделам, еду медведа суда стррелат.

Заколыхалось волнами под скалой в логу большетравье. Испуганно нырнул в него рябок.

— Едут, — сказал Никитин. — Они.

Раздвинулись травы. Верхами четверо подъехали к скале. Долго привязывали к соснам лошадей. Мягко ступая обутками, гуськом поднялись по тропе.

Были у мужиков истомленные, виноватые лица. На широких шароварах и азямах цеплялись колючки — ехали далеко и быстро. Мокрые лоснились от пота околыши суконных татарских шапок.

Один, маленький красноволосый, как горный волк, сказал протяжно:

— Здорово живете! — И, протягивая руку, спросил: — Это ты Микитин-то будешь? Сказывал Павел, сказывал!

Беспокойно оглянулся на мужиков, ухмыльнулся вверх от бороды к желтым глазам:

— Вот мы и тово... пришли... Поговорить, значит, с тобой. С Микитиным, ну, и с другими.

Он продолжительно посмотрел на серба. Мужики сели на камни. Красноволосый спросил:

— Вы как, большавитской партии будете?

— Будем! — резко ответил Никитин.

— Трое?

— Все.

Мужики одобрительно переглянулись и в голос сказали:

— Ладно!

Красноволосый вертляво достал малиновый кисет, набил плоскую китайскую трубочку.

Вышел из-за камня Шлюссер, вежливо раскланялся и остался на ногах.

Краснобородый высохшим, точно осенняя трава, голосом заговорил, близко наклоняясь к красногвардейцам:

— Нам, видишь, Павел сказал... Давно! Мы хлеба вам посылали, дескать, что же — народ чужой, не бить же их на самом деле. А потом винтовки послали. Я и то баял вот им!..

Он указал на мужиков. Мужики сняли шапки, высморкались, пригладили мокрые на висках волосы.

— Сгодятся, мол, бог с ними. Ну, и сгодились! У нас сыны-то, Микитин, воевать не хочут.

Он вдруг подозрительно оглядел Шлюссера и торопливо спросил:

— А этот откуда?

— Из Венгрии.

— Та-ак. А другой-то?

— Из Сербии.

— А ты чьих будешь земель?

— Я из Петербурга.

— Русской, значит. То я и смотрю — хрестьянская фамилия. Крещеной, што ль, облик-то какой-то?..

— Нет, русской.

— Изголодал, значит! Мы тоже расейские.

Он вытряс трубку и, оживленно помахивая кисетом, продолжал:

— Парней-то призывают к Толчаку этому самому служить, а они не хочут. А ну его к праху, чех-собака, и земли все хочет отбирать.

— Отберет, — уверенно прогудели мужики.

— Павел и то бает — вот, мол, есть. Поднимай восстанью. Я и говорю: «Айда, ребята, в чернь, в тайгу, выходит — восстанье палить». Ладна. А они мне говорят: «Хорошо, мол, а только коли придут настоящи-то большаки и не поверют — брешете, скажут, и никаких». — «Опять, говорю, Омск заберем али другой город, — чего там делать будем?» Они мне говорят:

«Товары отымем — краснова товару нету». Ладна. А только я говорю: «Без большацкого правления наша погибель. Давай, мол, из камню большаков к восстанью тащить».

Он снова набил трубочку. Мужики заговорили разом:

— Питерской, настоящий большак!..

— Опять и разных земель!

— Пойдем, ребя, на восстанье!

Никитин отрывисто спросил:

— А зачем врешь?

Краснобородый путано заерзал желтыми глазами.

— Эта насчет чего?.. Насчет чего?

Никитин, злобно всовывая в глаза мужиков резкие, кремневые слова, поднялся на ноги.

— Об восстании зачем врешь? Две недели восстали. Назад две недели. Сколько в горах расстреляно? Убито сколько? Трусите?

Мужик пухло осел на камень и пухло проговорил:

— А ты, Микитин, не сердись. Ей-богу, не от дурной мысли-то. Бают: ты, паря-батюшка, ему скажи, вот, мол, восстанья подымается, может, меньше запросит. А раз уж знаешь дело — чего тут!

Он, вздохнув, уныло махнул рукой. Мужики дышали тяжело. Пахло от них потом.

Фыркали у скалы лошади. Шуршала трава шепеляво под ногою Никитина.

Узкогрудый мужик, похожий на киргиза, проговорил мягко:

— Тут, канешно, всякий антирес свой блюдет. Зря-то ведь как... нельзя зря! По-мому, соглашайся ты, Микитин, — и никаких! Идут, значит, наши парни под твое начальство и под остальных двоих большаков-то. Жалованью какую положим — воюй!

— Воюй, — сказал торопливо красноволосый. — Воевать тут легко — горы. Народ молодой, веселый. Чаво вам троим тут сидеть... Воюй, пока из Расеи не придут, а там — куда хошь поезжай. Войско наберешь — валяй с войском. В Китай там, в японцу — откуда они товарищи-то твои.

— Воюй, — сказали мужики. — Нам, парень, тоже слабоду надо. Землю вон отберут...

— Валяй!..

Никитин подошел к мужикам, проговорил:

— Согласен. Жалованья не надо. Но чтоб не рассуждать!

— Известно. Дисциплина... Знам...

Отвязывая от сосны лошадь, узкоглазый сказал весело:

— Сердитой, леший! Я думал, в рыло даст. Страсть зол. А большак настоящий!..

— Из Питера, — подтвердил красноволосый. — Настоящие большаки... Из другой страны есть тоже. Тощие только, как прутья.

— Подкормятся, ничего. А жалованье и не знат, како просить?

— Деньга-то каждый день растет. Счету не счесть. Придет, узнает — скажет!..

Лошади нырнули в большетравье.

Мягко шипя, лепились по ногам, по телу легкие осенние стебли. Темно-бурая, как мох зимнего медведя, спала в камнях трава.

Вечером красногвардейцы переехали на Лисью заимку.

XV

Фекла садила хлебы в печь. Плескались у ней замутившиеся, как опара, глаза. Облеплял ноздри запах горелой муки. Розово тлели в загнете угли.

Семен сидел на лавке, тупо водил глазами по широким белым хлебам.

— Не пускат! — обозленно сказал он.

Фекла взмахнула выпачканной в муке лопатой и сказала жарким, сыпучим голосом:

— Пищишь тут под руку!.. Все к бабе да к бабе!.. Без бабы ничего не знат. Прости ты меня, мать пресвятая богородица! Дай хоть мягки-то посадить.

— Сади! — остыло выговорил Семен. — Я так...

— Да иди ты на пригон, чо в кути-то торчишь! — закричала Фекла. — Братец-то вечно пьяный.

Семен, передернув плечом, вяло сплюнул в носок сапога. Не попал и плюнул еще. Фекла бросила лопату за печку, сердито оборачиваясь к Семену:

— Уйди ты, ради бога.

Семен пододвинулся за стол, потрогал пальцем хлебы.

— Неделю уже ни одного убогова не было. Не пускат. Матерится ишшо. И чо деять, не знаю?..

— Не знаю, не знаю! Да ты мужик или чо? Я за тебя должна знать?

— Настасья, надо быть, сказала ему, вот и не пушшат. Дескать, берем поборы с люда, а с ней не делимся. Завидно суке!

Фекла, хлопнув себя по ляжкам, нетерпеливо сказала:

— Ну, и ступай к ней!.. Моченьки с вами нет. Один день-деньской пьет, другой — сосунок, третья — потаскуха!

Семен, встряхивая волосы, поднялся. Прихрамывая, достал с полатей шапку. На голбце проснулась Устинья и, всхлипывая, проговорила:

— Семушка, какой ноне день-то?

Фекла закричала из-за печи:

— Лежи, ради Христа! Вот смертоньки-то на кого нету!

Старуха, вязко перебирая мокрыми губами, заплакала. Семен перекрестился, вышел.

Фекла, посадив хлебы, подмела шесток. Прикрыла заслонкой печь. Спуская засученные рукава, прошла в горницу.

На плетеном из лоскутьев половике лежал слетевший с цветка желтый лист. Фекла, расстегивая кофту, подняла лист, положила на подоконник.

Стянула с себя кофту и юбку. Достала из сундука чистую рубаху, переоделась. Вытерла полотенцем под мышками и под туго поднявшимися грудями. Пригладив волосы, проговорила недовольно:

— И тут мне... Вечно сама... Вечно самой улаживать. Прости ты меня, владычица и богородица! Грешишь!

Натянув на рубаху азям, вышла босая в сени. По голым, подпрыгивающим икрам ее потянуло со двора холодком. Грубый азям щекотал вспенившееся пупырышками тело.

Фекла, высунув голову в дверь, оглядела двор.

Гоготал, гоняясь за курицей, рыжехвостый петух. Ветер гонял раскиданную по двору солому. Под навесом лаяла в угол, на крысу должно быть, собачонка.

Нет штоб двор подмести!

Она затянула не закрывавший груди азям, подошла к двери кельи Калистрата Ефимыча.

Мягко, торопливо прерывая дыханье, билось в груди широкое сердце... Фекла, перекрестившись мелко, дернула дверь...

Калистрат Ефимыч лежал на кровати головой к дверям. Большие, заросшие синим волосом руки тоже на подушке. Похоже было — лежали три волосатые головы.

— Чего там? — не оборачиваясь, снизкоголосил он.

Фекла кашлянула и зябко ответила:

— А я это, Листрат Ефимыч...

— Ну?

Калистрат Ефимыч убрал руки с подушки, протянул их вдоль тела.

Пахла келья мужицким духом. Розовато-синее трепетало окно.

— Ты чего? — переспросил Калистрат Ефимыч, спуская ноги и оборачиваясь.

Фекла шагнула к кровати. Калистрат Ефимыч посмотрел на ее зардевшееся лицо. Фекла поглядела на его руки, дернула завязку азяма.

И вдруг сразу увидал Калистрат Ефимыч раздвинувшие рубаху крепкие груди.

Всполоснулось остро под горлом. Проглотил слюну. И точно от слюны той распустилось по телу острое, теплое и томящее...

— Зачем ты?.. — мелея голосом, сказал он.

Еще шагнула Фекла. Скинула плечом рубаху. Тело желтовато-розовое, в пупырышках от холода, и все тугое, как грудь. Запахло вязко бабьим телом.

Жарко в келье, в голове жарко, а горло, как деревянное, липнет по нему слюна. Руку — на лицо, на колено свое положил — большое жаркое колено. И сердце теплое, огромное, как эта баба.

А кровь прибывала, прибывала. Голова — сплошное кровяное пятно. Руки жмутся: «Может, уйдет». Ноги к кровати до боли прижимаются.

Натянулись жилы, заныли руки. Сердце заныло.

А Фекла глядит на ноги его. Лицо у ней мокрое, скачут губы, бормочат неодолимые слова:

— Листрат... Ефимыч... любо ведь?.. Сенька-то, он... щука!.. Давно... к тебе, Ефимыч!..

Сбились волосы на глаза. Совсем осела она на кровать.

— Э-эх!.. — крикнул было Калистрат Ефимыч. От кровати отскочил, схватил ее за плечо, подвел к дверям — нет сил, не толкает, а ползет по телу рука, к грудям, к спине — кусковатой и тугой.

Истомленно выговорил:

— Уйди!

Заходило под рукой ее тело. Ноет и молит тело, к ногам подбирается, к крови.

— Ефимыч... о-о-о!.. Ефи-и...

— А нет!..

Кверху руки и грудью толкнул ее в голую и размякшую грудь.

— Поди-и!..

Взвыла дверь. Холодом на язык, на глаза его пахнуло из сеней. Осел он вялым, одряхлевшим телом на кровать. А по шее и за ушами — липкий, пахучий пот.

У дверей в горницу, загораживая ручку, — Агриппина. Лица не видно, но выкидывает оно острый дух самогона.

Толкая холодными, тонкими, как сосульки, пальцами голое тело Феклы, закричала:

— Бегашь! Попалась! На меня кричала. Я девка — я могу!.. Я завсегда за себя отвечу.

Тек через щель по телу сухой холод. Розовая кружилась в щели пыль. Пахло куделей, мхом.

Толкалась, как слепая, Фекла:

— Пусти, Гриппинушка, пусти...

Пьяным, охрипшим самогоном кричала дверь:

— Пусти? Проси сильней, стерва, проси! Я, по-твоему, шлюха, а ты — мужняя жена?.. Снохачеством занимаешься!.. Я вижу... я все вижу!

И вдруг тычком, локтем ударила Фекла в бок Агриппину. Отшатнулась. Ворвалась в избу Фекла, заревела визгливо:

— Сам он, мамонька, сам!.. Рубаху сорвал, опоганить хотел!.. Опозорить, матушки!..

Бороздя ногами половики, догнала ее в горнице Агриппина. Сорвала клетчатый темный платок, высоко подымая руки, подскочила к Фекле. Встряхивая острой, сухой челюстью, заволочила пьяные слова:

— Я — паскуда?.. Я, честная, я богу за вас всех молилась. Я тебе... негоднице!..

И она, вяло ударяя рукой в воздух, поймала волосы Феклы в пальцы. Поймала, дернула, взвизгнув, вцепилась в них руками, а зубами в плечо.

Повалилась Фекла на половик и, дико вскидывая вверх ноги, завыла:

— А-а-а!..

Пришел Дмитрий. Остановился у порога, поглядел на дерущихся баб и хрипло захохотал.

XVI

Ветер желтый с запахами от падающих листьев несся вверх по пади. Ночью густой туго падал с белого, как олений мох, неба.

На Лисью заимку привезли выкраденные в городе слесарные станки. Поставили их в баню — темную и тяжелую, точно ржавый кусок железа. Завизжала сталь. Запахло гарью.

Слесаря приехали из деревни. Были у них не обгоревшие от стали мягко-мускульные щеки, и к станкам они подошли, точно к норовистой лошади.

Приготовляли бомбы. Вокруг бани молчаливо ждали мужики. Двор был тесно набит ими. Как тугой пояс на теле, гудели, потрескивали заплоты. Пахло пылью, пóтом далеких дорог.

Вышел Никитин. Желтое солнце лежало на его острых скулах, темных, подгоревших глазах. К первому станку. Схватил бомбу, развертел капсюль, сосчитал:

— Раз, два, три!

И бросил за баню в крапиву. Ухнула, завизжала, зашипела крапива. Свистнул, лопаясь, пень.

Ко второму станку. Так же резко и немного присвистывая:

— Раз, два, три!

И опять за баню. Еще гуще загудела земля.

К третьему станку. Бледный, с мокрым подбородком, стоял слесарь. Когда брал Никитин бомбу, слесарь зажмурился и вдруг от лба к подбородку покрылся потом. Порозовело лицо.

Разорвалась бомба.

К четвертому. Слесарь тонкий, с девичьим розовым лицом, весело улыбаясь, подал бомбу. Царапнул железный капсюль.

Кругло метнулась рука, и круглые взметнулись слова:

— Раз, два, три!

Молчит крапива. Несет из-за бани порохом, землей.

Никитин схватил другую бомбу, кинул. Подождали. Уже не порох пахнет — земля густая, по-осеннему распухшая.

Никитин кинул третью бомбу. Ничего.

Шумно, как стадо коров от волка, колыхнулись и дохнули мужики.

— Ы-ы-х... ты-ы!..

Никитин, вытянув руку, взял винтовку. Резко, немного присвистывая в зубах, сказал:

— Становись.

Слесарь с девичьими, пухлыми губами мелко закрестился. Подошел к банной стене.

Никитин приподнял фуражку с бровей, приложился и выстрелил.

XVII

Эх, земли вы мои, земли! Ветер алтайский пахучий! Медоносные пыли на душе и язык, как журавль на перелете, тоскует!..

Курочка каменная, серая, в полдень спускается по тропе к ручью — пить. А дальше — по камню обратно вверх. И ловок и радостен шажок. И мутен радостью вертлявый оранжевый глаз.

А небо густое и теплое, как беличий мех!

XVIII

Избенка у Настасьи Максимовны пьяная, на боку. А вокруг трубы черемуха обвилась, труба темная, точно большой сук.

Сидит Настасья Максимовна на краешке табуретки. Семен в переднем углу. Самовар тоже на боку, пьяный, подмигивает, косоглазит.

Пухлые руки. Голос у ней протяжный. Подумал Семен:

«Поди, в городе так баяла».

— Вы, Семен Калистратыч, скажите — детей-то он жалел?

— Которых? — досадливо спросил Семен. — У него детей много было. Законных любил. Ничего! Тебе-то куды? У вашего сословия детей, бают, не бывает.

— Отчего же? Такой же, поди, человек...

Треснул рукавом чашку, отставил и сказал нетерпеливо:

— Ты вот что, я с тобой безо всяких. Хошь в наш дом — приму, обвенчат не Сидор, так другой. Попов много. Пушшай, ради бога, он, батя-то, народ принимат. Идут ведь... За эту неделю, скажи ты мне, сколько убытку потерпели?

— Я скажу, — мягко проговорила Настасья Максимовна. — Не послушат, поди. Боюсь я его... и говорить как следует не говорила. Как медведь овцу задерет. Где тут спрашивать?..

Семен кинул ногу из-за стола, пошевелил скатерть. Оглядел выбеленные стены, пол, исскобленный мытьем.

— У нас скатертей многа. Ишшо дед скупал. Я тебе на свадьбу-то две дам. Из посуды тоже. Не поломай только, у вас, у городских, руки-то — что вилы. С добром отучились обращаться. Ишь, и чашки-то жестяные. Из жестяных чашек кто чай пить будет?

Постучал кулаком в стены, отворил и захлопнул дверь. Потряс ногой половицы, ощупал матицу и сказал досадливо:

— Думал, под курятник избенка годна, хотел перевезти. Все равно, куды те ее, раз со стариком жить будешь...

Семен протянул согнутую, как птичий коготь, руку.

— До свидань, Настасья! Заходи в гости.

Остро взглянул на нее, вздохнул и на пороге сказал:

— Ты ему пожалобней. Пушшай не дурит, не маленький. Коли так, то начинать не к чему... Эх ты, господи, времена тоже!..

Дмитрий на крыльце, глубоко втягивая дым, курил трубку. С одной ноги он скинул сапог и, мотая ногой, раскручивал портянку. Увидав Семена, путано захохотал:

— Их, лешак дери, потеха! Чисто свиньи, хрюкают, визжат, а ничто не поймешь! Фекла-то, как

плешь, голая на полу... Хо-хо-хо!.. Во-ет!.. Гриппината!..— Он засморкался, выронил трубку и, мотая плечами, с трудом проговорил: — На ней, лупит! Пьяная!.. Твоя-то... О-ох!..

Семен прошел мимо. Дмитрий поднялся, волоча портянку, за ним. Фекла у печи вынимала хлебы. Увидав мужа, она, оставив лопату, завыла:

— Сам он, мамонька, сам!.. Снохач треклятый! Сам, Сенюшка, да-авно привязывался!..

Семен сбросил шапку на голбчик к Устинье. Дмитрий запер дверь на крючок.

Из горницы вышла Дарья. Влажные, встрепенувшиеся глаза и сухие губы. Прижав руку к сердцу, она покачала головой, вздохнула.

Фекла, закрыв руками голову, выла:

— Сенюшка!.. Солнышко... камень ты мой самоцветный!.. Ле-езет старик-то!..

Семен спокойно, как бьют лошадь, ударил Феклу в шею. Фекла качнулась. Он быстро левой рукой ударил снизу в подбородок. Изо рта у ней на выпачканную в муке кофту прыснула густая кровь.

— Д-дай ей! — высохшим голосом торопил Дмитрий.

Семен отскочил и ногой ударил Феклу в живот. Фекла тяжело повалилась на стол, задела хлебы. С караваем упала на пол. Каравай облило кровью.

Семен схватил хлеб, кинул его на лавку. Дарья обтерла с каравая кровь. Фекла, вязко трепыхаясь, остро визжала.

— Уби-ил, мамонька, уби-ил!..

Семен с наскоку ударил ее сапогом в глаз. Фекла схватилась за сапог, хрипела протяжно.

— Так им, сукам! — осипло сказал Дмитрий и вдруг, обернувшись к Дарье, ударил ее в скулу.

Дарья схватилась за косяк и оползла на пол...

Пахло в избе кровью, хлебами и овчинами...

И не слышно было тихого плача слепой Устиньи.

Калистрата Ефимыча в келье не было. Семен стоял, дожидая его за воротами. Дмитрий плел на руку браслет из растущей у ворот травы и отяжелело рассказывал:

— Я, парень, за солдатчину-то больше сотни баб заразил. Пушшай ходют — докторам прибыльнее. И ду-

мал-надумывал подхватить княжну и нацепить, болтайся...

— Княжня не пойдет.

Дмитрий сплюнул.

— Очень просто! У нас фильтфебель в роте полюбовницей графиню имел, а у ней, брат, шестеро ребят. Семья. Письма присылала -- печать-то в ладонь, рыжая!..

Семен запахнул азям, прихрамывая, исправил соскочивший с крюка ставень. Ошаривая стену, он разозленно крикнул брату:

— Старик-то наш заместо бы Настасьи-то княжню каку подцепил. Лучша! Им вот, бают, поместья Колчак обратно отдаст?

— А ты к Настасье ходил?

— Ходил. Я ей говорю: коли што — так я те и в дом не приму.

— А она?

— Она, знамо, напугалась. Провалиться, грит, на этом месте, а будет старик народ примать...

Желтая, перевисая к избам травами, строгая, важная шла улица. На середине ее бродил, помыкивая, вислобокий теленок. В церкви благовестили.

Семен перекрестился.

— Праздник седни, Митьша?

Дмитрий, прислонившись к заплоту, сказал:

— Знал бы, бабу не лупил! Лучше б блинов спекла. Давно блинов не ел.

Подтягивая на колена голенища, мечтательно протянул:

— Хочу я, Сеньша, френчу сшить, как в городах... А народу пошивного нету. Работаешь, работаешь, а отдыху нет!

— Заработался, прости, восподи!..

Из переулка вышел Калистрат Ефимыч. Дмитрий втянул голову в плечи и свистнул.

— Ты его бей под сердце, — здоровай, верзила-а!.. Коли сразу не собьешь...

Был Калистрат Ефимыч особенно росл и грузен. Взрыхляли ноги желтую землю. Из переулка корчевался за ним запах поднятой земли.

Семен метнулся руками, налепил на лицо злобливость, быстро шагнул к отцу.

Дмитрий подбоченился. Калистрат Ефимыч остановился. Синяя перелетала на груди борода. Лило от него землей и травами.

Вертляво отбежал Семен и вдруг полоснулся в крике:

— Да я тебе, стерва!.. Как же?..

Низко, жилисто протянул Калистрат Ефимыч:

— Ты чего хочешь?

Твердые щеки Семена побурели, и он закричал:

— Людей-то пошто не примашь? Деньгу любишь?..

Дмитрий, часто кашляя, захохотал. Семен, размахивая сжатыми кулаками, кричал:

— Желаем мы по-добру с тобой!.. Раз ты так, мы что, маленькие? Мы тебе не работники!.. Ты думашь, один надумал веру-то?.. Кабы не я, так ты-то... мыкал. Я...

Дмитрий достал из кармана бумажку, расправив ее на колене, сказал с хохотом:

— У нас тут приходы-расходы записаны. Прямо канцелярия. Самогонки только нету. Самогонку я не написал — выпил.

Семен, перебивая его, кричал, что купил коров, а тут убытки — не идет народ. Денег нету, покупать сена не на что. Дмитрий сипло говорил о френче.

Проехали на тележке мужики с заимки в церковь.

— Баял я вам, — устало сказал Калистрат Ефимыч. — Ничево нету у меня... ни веры... а народу мне не надо, не приму. Пушшай куда хочет идет.

Семен, отскакивая, с визгом кричал:

— Брешешь! Я знаю, чо у те на уме? Ты думашь, меня омманешь? Однако я не пень. Ты другим пой. — Он беспокойно оглянулся, тоскливо сказал: — А на бабу плюнь... черт с ней... потаскуха — и только. Чо у те баб мало? Я прощу, только...

В церкви забили «Достойную». Семен закрестился.

— Пойдем чай пить. Аль нам на улице-то. как собакам, лаяться?

XIX

Настасья Максимовна нашла Калистрата Ефимыча в пригоне. Пахло зеленым, взрыхленным сеном, теплым дыханьем скотины. В колоде лежала темно-синяя глыба соли. Голубоглазая корова лизала глыбу мягким розовым языком.

Настасья Максимовна села подле, натягивая на плечи шаль, сказала дремотно:

— Ты все маешься? Семен-то жалится — убогих, грит, не примашь.

— Знаю.

— А ты как думашь?

— Я сам убогий. У меня всю душу замуслили. Мне идти некуда.

— А я-то?..

Положил ей руку на колено. Корова зашебуршала сеном. На край колоды сел воробей и удивленно взглянул блестящим глазком на соль, на человека.

— Ты душа другая. У те мед на сердце...

— А ты перестань!

— Надо. Сызмальства так... По баптистам ходил, всем богам молился. Кабы больной я был, может, и легче мне было бога найти, а тут нету ево. Никогда я не болел... Бают, в болестях находют. Поп Сидор вон лесного бога нашел.

Настасья Максимовна вздохнула.

— Лесной бог легкой. Сосной пахнет, пчелу любит.

— А я пчелу не люблю, пустая птица, хуже мужика.

— Пчела медушко дает.

— И мужик медушко дает. Я вот меду не давал. Сыны вон выдумали с меня взять. Меду всем хочется... И бог-то будто мед, а мне какого бога надо? Не знаю. Медового не надо. Я одних людей видал, они в дырку молились. Провертит в стенку дырку и шепчет туда. Доволен. А остяк вон своего бога порет.

Настасья Максимовна придвинулась теснее, положила голову на грудь. Глаза у ней мягкие, зеленовато-желтые, дремотные.

— Коли не даст медведя — порет, а даст — по губам салом мажет!.. Отец-то у меня сердитый был, пил нещадно, а меня восемнадцати лет взял да и женил. А жизнь-то я в сорок почти разбирать стал.

Шло от Настасьи Максимовны тепло. И оседало оно в ногах, уходить ему не хотелось. Тонко пахла колода долголетними сенами. Дерево было древнее, звонкое, как молитва.

— Разбирал-разбирал, до сего дня не разобрался. Ране-то до войны этой шли селами странники. Рассказывали чудеса все... Пошел. Такая же земля, народ

такой же везде злой. Прошел я пешком до Катиринбурга почти, может, три тысячи верст, плюнул и вернулся. И забыл всех... не понравилось, забыл. Будто и не был нигде... А народ все ищет, ишь как ко мне хлынули, думали — нашел. Сначала-то убогие, завсегда они сначала. А потом пришли и здоровые. А у меня, милена, ничево на душе-то нету. Тундра. Ты вот, как горносталь... Спишь, что ли?..

Сонно раскрыла глаза Настасья Максимовна, сонно проговорила:

— Я-то?.. Нет... Я так...

И опять закрыла.

Подошла корова. Шумно вздохнула круглыми, как куриное яйцо, ноздрями. Сунулась холодным носом в ладонь и вдруг стала облизывать шершавым, теплым языком солоноватую его руку.

XX

Той же ночью покинул Калистрат Ефимыч Талицу. Прохлада дремала на дороге. Фыркал конь.

Плыли вдали серебристо-фиолетовые горы. Ревели в белках медведи или ревели водопады — непонятно.

Всхлипывала Настасья Максимовна. Говорила вздрагивающим прохладным голосом:

— Ничево там нету, а оставлять жалко... Охаяли, наизголялись, а слеза так и течет, так и течет, Листратушка...

Нырнула лошадь, а потом колеса под увал — повторила эти слова Настасья Максимовна. И так в каждом логу повторяла.

Устало погрохатывала телега. Молчал Калистрат Ефимыч. Фиолетовая полутемень извивалась по плечам, шипишником пахло с логов — тоскливо и неприветливо.

Подходили лога за логами. Травы в логах мягкие, как соболиный мех. Дорогу под колеса подбрасывает, как шкуры, — задремала Настасья Максимовна.

Снились ей медведи, поп Сидор и птичий гогот.

А гогот пошел на рассвете от озер. Гоготали гуси, чибисы голубоногие разрывали камыши.

Запахло от озер амином, — холодными озерными травами...

И зеленый озерный бросился ветер — метнул к розово-фиолетовому небу лошадиную гриву, оправил шлею и синий волос Калистрата Ефимыча примял.

Тогда-то услыхали они из камышей:

— Здорово живете!..

Сидит в седле культяпый Павел — стремена подняты почти к самой луке.

Резко, как чибис, кричит:

— Откедова?.. Куды?..

Не отвечает Калистрат Ефимыч. Лицо багровое от ветра, что ль. А глаз, глубоко, как сом в водах, — незаметен.

— Тпру!..

Остановились лошади. Скосились глазами и весело по-человечьему заржали.

Скатился Павел с седла в телегу, чембырь к грядке привязал — достал кисет, говорит:

— Погоняй!.. Я с тобой!

— Не по пути, Павел.

Высек Павел из кремня огонек, раздул. Выкидывая из бороды камышинки, выговорил:

— Мне со всеми по пути. Одно — надоели мне все человеки! Я, Ефимыч, по-твоему, правду искал...

— Ну?

— Плюнул! Какое мне дело, пушшай сами ищут, а я за них отдувайся... Сёдни мужики, которы восстали, со мной в волость гумагу послали. Целу ночь камышами да болотинами пер, не поеду дале!.. Да чо я им на самом деле, малайка?..

— Надоело?

— Аж пуп травой пророс, Калистрат Ефимыч, надоело.

Затрясся у него на бороде камышиный пух. Повел щекой Павел на Настасью Максимовну, сказал:

— Спит?.. Ты, паря, бабу-то добру подцепил. Однако мне так не везло!.. Кто за правдой-то идет, кляп проглотит. Оно... самогону нету у те?

— Нет... А как ты о боге?..

Завертел тот на щеках улыбочку хитрую. Голова стала коротенькая, культяпая.

— Етова я тебе сказать не могу. За ето мне князь Таврический ноги велел отрубить.

— А говорил — видмедь отгрыз?

— Так то я охотнику баял, врал.

Он кинул шапку под голову. Лег на спину.

— Я пока — усну, а там, когда я те надоем,— разбуди. Которые так храпу мово не обожают, храплю я здорово... Как князь-то отрубил ноги...

— У те семья есть?..

Потупил Павел глаза в волос:

— Кажись, есть, Ефимыч... Не знаю. Дикие они, выгнали меня... А може...

Он вдруг густо, по-лошадиному, захрапел. Лошадь обернулась, взглянула удивленно и зарысила.

Проснулась Настасья Максимовна. Поглядела мягкими, сохранившими еще ночную фиолетовость зрачками, — от толчков катавшееся по сену тело, как бревешко. Заплакала.

— Во-от маяться, владычица!..

Встретился мужик, серобородый, на вершине. Поравнялся с телегой и вытянул хворостиной Павла.

Павел раскрыл глаза и крикнул:

— Брось, не балуй! Я всю ночь не спал.

Мужик повис над телегой. Пискливо, по-ребячьи, проговорил:

— Ступай домой. В волость-то меня послали!..

Павел начал материться вслед умчавшемуся:

— А я не могу?.. Не могу?.. Ну, ладно, я в другу волость отвезу, волости все одинаковы.

И обиженно сказал Калистрату Ефимычу:

— Я целу ночь тресся — всю задницу отбил, а они другова... Что? Значит, не доверят?.. Народ пошел... Раньше лучше были, Ефимыч?

— Не знаю.

— Нет, и раньше так же... Вот восстанью поселили в тайгу, большаки там из Питера явились. Царь послал, чтоб народу легше было...

— Какой царь?

— Ну, наследник. Под каким мы царем находимся, я почем знаю? Мне он ноги не сделат. Лешева мне от нево?..

— В Омске-то, бают, свой царь завелся,— сказала Настасья Максимовна.

— Толчак-то?.. Это Гришка Отрепьев, а не царь. В Омске-то бардака хорошева нету, не то что царя. Я там был...

Он опять лег, а затем подполз к Калистрату Ефимычу. Сказал значительно:

— Ты на заимку свою?
— Сам не знаю.
— Поезжай на заимку. В черни-то восстанье селится. Как, грит, соберем обчество, так усех богатых мужиков перережем!.. А может быть, передумают, сами в буржуи перейдут. Неизвестно.
Он сплюнул.
— А ты, Ефимыч, от греха подале — поезжай на заимку! Я те самогон хороший научу варить.
— Не хочу.
Павел лег на спину и поглядел в небо.
— Алимхана видел: силки по долине ставит. Лисица белая, грит, рассердилась — в Китай ушла... Это к побою... Воевать будем.
Желтые по дороге таволожники. Выбиваются на дорогу корни — твердые, крепкие, как рога горного козла.
Дорога в камышах, налево лиственничник пошел. За ним — бронзовый Югунтос — наваленный камень.
Хвоей запахло.
Грохочет навстречу с увала телега. Размахивает вожжами, как водорослями, лохматый, облакоподобный поп Исидор. Ревет за полверсты:
— Сторро-нись!.. Раздавлю!..
Поравнялся поп, осадил лошадь, заорал через всю степь:
— Здорово, мужики!.. У меня, паре, пчела в меду тонет — горы!.. А мед в городе — и не подступиться. Цены! Божеское дело!..
Сказал Павел протяжно:
— Довези до села, батя? Всю холку вытер, прямо как язык на сковороде.
Широко захохотал поп:
— Мм-могу, чадо!.. Садись!
Соскочил с телеги, взял на руки Павла, перенес. Потом отвязал лошадь. Павел говорил в телеге:
— Что значит священное звание: на руки посадил... У меня самово отец-то ссыльно-каторжный семинарист был.
Поп хлопнул лошадь по боку и сказал:
— Таких семинаристов нету.
— А он был. Царь велел. Самодержавец. Понял?
Телега загрохотала вниз.

Гольцы пошли в лишаях, холодные. Ветер по ним дул синий и крепкий. Лошади были в усталой розоватой пене.

Лицо Настасьи Максимовны веселилось.

— Камень, — протяжно сказала она. Зрачком затомилась, мягким и ласковым.

Густо и радостно отвечал Калистрат Ефимыч:

— Камень, Настасьюшка.

А душа цвела иная — невысказанная, необъемлемая, не каменная.

Кормили лошадь в горах. Пообедали.

Под вечер, когда белки подымались в небо, как красные зайсанские медведи, — догнали по тропе черноглазого, горбоносого.

— Садись, — сказал Калистрат Ефимыч.

Человек сел и спросил не по-русски:

— Кудда эдэшчи? Ддамой?..

— Не знаю, — ответил Калистрат Ефимыч. Улыбнулся глубоко, всем телом.

Посмотрел человек ему в лицо, положил грузную, как камень, руку на грудь.

— Пэрвый рраз встрэтил — не знаэт, кудда эхать... Да!.. Поэдом ко мнэ?..

XXI

Спит лиса лениво в лесах. Хвост у ней — китайского золота. Глаза голубоватые — белки тарбагатайские.

Зовется — Лисья заимка купцов Калмыковых. Купцов в городе расстреляли — буржуи, а на заимке восстание.

Осинник елань обегает — мохнатый, низкий, рыжий. Пахнет из осинника грибом.

А черно-лиловые пятна на пушистом желтом хвосте — амбары, избы, пригоны.

И дым от костров желтый, тягучий, как сосновая смола. В светло-золотом небе течет, плавится густое желтое пятно солнца.

Бронзоволосый мужичонко затряс рукавами рваного азяма. Сорвал шапку.

— Калистрату Ефимычу нижайшее! Заворачивай к штабу, я тебя чаем угощу.

Заскочил на грядку. Бойко ухмыляясь, дернул левую вожжу:

— Сюды, Ефимыч. По торговле али так?
— Так.
— Ну, и ладно! А то тут двое каких-то из городу торговать приехали, може, шпиены? Ладно, ребята догадались — пристрелили... Сами-то ничо торгуем, а чужих нельзя. Ты как думаешь?
— Думаю — нельзя.
— Но, но!.. — согласился мужичонко.
Распахнул ворота, пригладив у лошади мокрую шерсть, стал распрягать. Рассупонивая хомут, крикнул из-под шеи:
— А ты в горницу проходи, Калистрат Ефимыч! Я вот скотину-то обряжу, самовар доспею.
Настасья Максимовна спросила робко, протяжно:
— Черноусатый куды нас завез, Листратушка? Стра-ашна... Завез, а сам соскочил да убег. К разбойникам, что ли?
Калистрат Ефимыч, легкой походкой подымаясь на крыльцо, крикнул:
— Баба-то, Наумыч, спрашиват: к разбойникам, что ли, привезли?
Мужичонко, освободив лошадиную гриву из хомута, сказал неразборчиво. Лошадь, устало, радостно потягиваясь телом, ржанула.
Тонко пахло в горнице кожами, воском. Вбежал мужичонко, суетливо полез под кровать.
— Прямо без бабы беда! Щепу на растопку нащепать не из чего.
— А баба-то где? — спросила Настасья Максимовна.
Мужичонко вытер ладонью пот со лба; кривя поочередно щеками, ответил:
— Убили, Максимовна, как есть убили. Всю голову развалило. Разрывная пуля, бают, а бабы нету.
— Да кто?..
— Волость наша бунтовала, под Толчака не шла. Казаки, что ли? Не видал.
Вошел серб. За ним длинный, бритый, с подпаленными глазами, в короткой до колен английской шинели. Длинный человек, не снимая фуражки, остро пожав руку Калистрата Ефимыча, сел за стол.
Бронзоволосый Наумыч втащил самовар.
— А ты, Максимовна, за хозяйку — разливай давай!
Серб, указывая на длинного, сказал:

— Никитын. Начальник...

— Микитин — расейский, бойкий! — подскочил Наумыч. — Ты с ним, Ефимыч, про веру свою поговори...

Никитин спросил:

— Из Талицы?

— Оттуда, парень...

И резко, словно дробя камень, спрашивал длиннолицый подпаленными серо-фиолетовыми глазами:

— Кого привел? Кого дашь?

— Сам... Никого у меня нету.

— Никого? А там?.. Вера твоя?

— У веры моей странные да убогие калеки были.

— Не надо таких.

Помолчал Калистрат Ефимыч. Твердая синяя борода у него, голос потвердел.

— Приехал я, парень, посмотреть. Дом-то я бросил... А тут...

— Посмотри... Убежишь, донесешь — убьем.

Отставил стакан, поднялся — длинный, в светло-зеленой шинели. Серб темным глазом по нему повел. Калистрат улыбнулся радостно.

Вышел он, неслышно ступая, как лист по земле.

Хитро подмигнул Наумыч, сказал:

— Вот сосватал! — Поднял кверху кулак и добавил: — Гора!

Расплывчато пахло кожами и овчинами, подвешанными у потолка, на жерди. Светло-желтые у мужиков головы. В широкие двери виднелись привязанные на выстойку лошади.

В амбаре заседал штаб.

Калистрат Ефимыч сидел на ребре закрома. Мужики лежали на кошмах. Молодой белоусый парень говорил торопливо:

— Офицеры, те, значит, у новосел кабинетские земли отымают и кыргызам дают, потому кыргызы для Колчака полки диких дивизий сооружают. А новоселы воевать с Расеей не хочут — родина, грит, и потому никаких не хочу!..

— Ета правильно! — весело сказал рыжебородый Наумыч.

Старик с зыбкими зелено-золотистыми глазами заговорил:

— Однако... надо, паре-батюшка, по новоселам-то гитатера послать... Штобы насчет восстанья и на Лисью звал... Однако без етова ничего не будет, понял?..

Сверху, с жердей, кисло пахло овчинами. Рыжебородый толкнулся локтем.

— Овчина-то, Ефимыч, от Калмыкова осталась. Мы уберегли... а ты гришь, разбойники! — И вдруг визгливо закричал: — Это ты, Митрич, правильна! Новосел, он — што хмель! Вьется, а без толку! А прямо-то он, может, и на небо угодил бы! Очень проста, едрена лопатка!

Мужики заговорили разом. Торопливо докуривая цигарки, вошли еще трое.

Никитин, прислонившись к стене, упорно разглядывал Калистрата Ефимыча. От яркого света лицо его казалось зеленовато-желтым. Блекли тонкие, как лепестки, веки.

Выходя из амбара, рыжебородый восторженно сказал Калистрату Ефимычу:

— Каку машину завел, а? Я им баял, ета настоящий большак, во-о! А они, видмеди, не верют.

Он снял шапку и, хлопнув себя по розовой лысине, воскликнул:

— У меня тут — башка. — И, наклонившись к уху, шепнул: — Я те, Ефимыч, вижу. А только ты в свою веру ево, Микитина-то, не перетянешь. Хитрай, стерва!.. Я тебе вот што — ты тут оставайся, я мужикам-то скажу, чтобы они тебе часовню али монастырь там построили... Молись! Нам что? Мы, Ефимыч, все можем!

Он, швыркая по сухой траве обутками, побежал догонять мужиков.

Светло-лимонная пыль клубилась в калитке. С опушки несло осиной. У мужиков тугие и тяжелые лица, словно сбирались они на весенний сев.

Никитин твердо, широко, как сваи, поставив ноги, ждал у крыльца.

— Зачем приехал? — резко, но тихо спросил Никитин.

— Не знаю, парень, — неспешно сказал Калистрат Ефимыч. — Жаловаться не умею. Может, и придумал бы что... Жаловаться мне не годится!

И проговорил:

— А ты меня по новоселам возьми. Меня, парень,

знают... Вы люди незнамые, а меня... ничего... уважают. Вы там говорите, а я посмотрю...

Никитин, враждебно сузив губы, отвернулся. Помолчал.

— Хорошо. Я не боюсь. Поедем.

Голубая стала земля. Темно-голубые томятся глаза у Настасьи Максимовны. Пройдется по горнице, сядет, вздохнет.

— Тут и будем зимовать, Листратушка?

— Тут.

— Эх, восподи!.. Народ-то чужой, бездомный — ни лопатины, ни скотины.

— Пригонют.

— И не прибрано, не угояно!

Синие шепчутся со двором сени. Храпит по-лошадиному густо-синий двор.

— Угоится!

— Я и то подмела тут два раза днем-то. И все равно что не метено... опять сор. Сору-то по всей елани!

Фиолетовая борода у Калистрата Ефимыча. Голос черный, далекий.

— Ничего, пройдет...

— Тут родить-то — поди и бабки-повитухи не найдешь... Восподи!

Черно-синий метнулся по небу ветер. Пробежал по горам и нырнул в тайгу, спать, в валежники, замшелые и теплые.

Осень!

XXII

Рвалась долина желтой и твердой грудью. Но жали, приминали бока крутые лесистые горные склоны. Трещали сухостоями кабаны и медведи.

Новоселы встречали на площадях сел и деревень посланных из Лисьей заимки. Сбирались густо пахнущие людским потом толпы. Пыль цвела над площадью.

Цвели желтыми пятнами соломенные незнакомые крыши. Лица же были свои — пыльные и волосатые, крепко пахучие.

Темно и густо ревели сотни глоток.

— Не замай!..

— Верна-а!..

— Не дадим землю-ю!..

И вечерами длинные железные ходки по твердому каменному тракту шли в горы, в Лисью заимку.

Поселки уходили за поселками. Меняли агитаторам тонконогих лошадей.

По отлогому спуску еланями и редким оранжево-золотистым лесом спускались они в долину Копой.

Рассказывали — где-то в долине ищет их конная милиция и отряды атамановцев.

— Трусишь? — спрашивал Никитин.

Калистрат Ефимыч отвечал неспешно:

— Смотрю.

Спали в лесу. В поселке боялись. Калистрат сушил на суке над костром портянки. Фыркали стреноженные лошади. Ночи стояли холодные и синие.

Сказал как-то Никитин:

— Серб говорит — мужик дрянь. Верно. Мужик — тесто.

— А ты что же, парень, дрожжи? — спросил Калистрат Ефимыч.

— Я — квашня. Дрожжи другое...

— Кумыния твоя?..

Никитин, протягивая к огню озябшие руки, ответил:

— Сам знаешь. Ты другой. Ты не тесто. Поезжай обратно. Что с нами?

— Не хочу, — упорно и туго проговорил Калистрат Ефимыч. — Не поеду.

XXIII

Пили в пустой школе чай. Никитин подошел к висевшей карте и, указывая трубкой, сказал:

— Петербург.

Калистрат Ефимыч подошел к стене и спросил:

— Где? Тута? Та-ак... А нашева поселка Талицы?..

— Нет.

— Нету? — переспросил Калистрат Ефимыч. — Совсем нету? Ето зря.

Помолчал, вздохнул, возвращаясь к столу.

— А может, и на самом деле не надо ево... Поселок-то!

Вечером сказал Никитину:

— Поеду я, парень, на заимку. Подумать надо. Ни-

чево не пойму. Кричат, сбираются, люду тьма. Я все больше у себя на пригоне мозговал.

Никитин сухо улыбнулся:

— Поезжай. По бабе скучаешь?

Мягко ступая, отошел от него Калистрат Ефимыч. Лицо строгое и, как кусты над оврагом, нависли брови.

— И по бабе скучать не всякий умеет. Ты, поди, не скучашь?

— Нет.

— Тоже зря. Надо о чем-нибудь скучать.

— Я скучаю.

— Знаю.

Медленно и лениво зевнул.

— Ты, Микитин, по человеку скучашь, а я по вере... Тебе легче — у те человек-то под рукой.

И, поглаживая прямую поясницу, прошелся по комнате. На опрокинутых партах густо лежала пыль. Сурово, неустанно шевелили деревья стены школы.

— Около вас-то, Микитин, я разговаривать учусь. А только нет у вас какова-то гвоздя в душе...

— Какого?

— Самого главного. Может быть, на котором подпорка держится... Тут тебе народ жалится, а ты гришь — бей.

— Бей! Только...

Вбежал рыжеволосый Наумыч и еще в сенях заорал:

— Кузька-а приехал, братаны!

Был Кузьма — борец, высокий, под потолок, кругологолов, с плоским и широким, как пельмень, носом. Звонко, точно лось, ступая башмаками, прошел в передний угол.

Медленно оглядел комнату своими узенькими глазами. Спросил Калистрата Ефимыча:

— Ты, Микитин-то, што ль?

— Нет.

Кузьма опустил коротко остриженную голову, хотел, должно быть, что-то подумать, но, вяло шевеля толстыми губами, сказал:

— Ладно, коли... Меня мужики привезли. Микитина, грит, надо... мне. А на кой, не знаю. У вас тут поись нету?

Глухо положил толстые и темные, как кедровые сучья, руки на лавку. Потными, скользкими буграми по-

дымалось тело под рубахой. Шеи у него не было, и круглая голова сонно дремала на кочковатых плечах.

Густо запахло в комнате спелым овсом и мхами.

Рыжеволосый Наумыч сказал ласково:

— А ты, Кузя, вздремни пока.

Кузьма покорно закрыл глаза. Наумыч крепко, как по стулу, стукнул его в плечо:

— Ты, Микитин, его не знашь? Кузька эта, батырь первый, борец по-городскому-то. Он, парень, в прошлом лете хребет видмедю сломал.

— Ну?

— На байгу привезли. В Чиликтинску долину баи кыргызов сгоняют. Байга — праздник будет. И будет такой кыргыз — батырь Докой. Он, парень, в Бухаре и по всей Азии кроет. А мы на нево Кузьку... Понял?

— Нет.

— Ишь! Как же это ты не понял? Кузька-то с ним бороться будет.

— А потом?

— Поборет — и нам кыргызов лупить можно.

— Зачем?

Рыжебородый стукнул нога о ногу. Никитин надевал шинель. Калистрат Ефимыч сел в угол, подле поломанного шкафа.

— Чудак ты, паре-батюшка. Однако ничо не понял. Я те по пальцам раскладу... Кыргызов лупить надо, потому им офицеры с Толчаком кабинетские земли отдают. Ето раз! Баи, ихни богачи по-нашему, дикие дивизии, может, сто дивизий сооружают с Расеей воевать... из кыргызов. Ето два.

Никитин поправил под шинелью револьвер, сказал резко:

— Наш отряд не пойдет.

— Куды?

— Киргизов бить.

Наумыч взял Кузьму за плечо, потряс.

— Кузя, Кузя. Микитин-то здесь!

Кузька повел редкими бровями и поднялся.

— Который? — медленно, как прорываясь через чащу, спросил он.

Наумыч указал. Кузька, как из омута, далеко посмотрел на Никитина и протянул:

— Ты, што ль, Микитин-то?.. Меня мужики привезли...

Он засопел. Наумыч сказал Никитину шепотом:

— С ним только со сна и баять можна!

Кузька, пришепетывая, медленно проговорил:

— Кыргызы-то, бают, землю отымать будут... Так ты тово!.. не давай!.. А я кыргыза-то тово... борца-то ихнева... убью!

Он вытер со скулы пот и опустился на лавку. Наумыч проговорил заботливо:

— А ты, Кузя, усни!

Кузьма сонно забормотал:

— Не хочу. Поись дай!

Наумыч согласился.

— Пойдем.

Кузьма шумно, как вода, прорвавшая плотину, вздохнул. Звонко ступая огромными башмаками, вышел. Тройка отъехала от крыльца.

Никитин снимал и надевал фуражку. На лице его лежала пыль, и утомленно, точно подымая пуды, двигались тонкие веки.

— Ну? — спросил лукаво Наумыч.

Никитин упорно взглянул на Калистрата Ефимыча.

— Вернемся на заимку.

Было у Калистрата Ефимыча усталое и радостное лицо, точно он вышел из тайги после плутанья. Пригладил сонно тяжелую бороду и сказал:

— Поедем, парень, лучше. Нечего рассказывать — сами придут.

Наумыч подтвердил торопливо:

— Обязательно.

И в сенях сказал Калистрату Ефимычу:

— Микитин — башковитый парень! Люд-то сразу начальника почуял. Я им, лешакам, весной говорил, не надо убивать — сгодятся!

Длинный и легкий, как сухостойное дерево, Никитин. И только словно утомленные птицы, устало махая крыльями, летели темные глаза.

— И сгодились, паря!

XXIV

Рыжебородый, обжигаясь, дул в блюдечко, говорил:

— Сахару нету, плохо. Поди так, Микитин, года через два возьмем мы Омску?

— Раньше.

— Раньше? Значит, и сахар будет. Там японец товару понавез многа. А тебе, Ефимыч, товару на бабу тоже надо!

Глаза у него теплые, рыжие, как чай. Все в избе теплое, широкое — лавки, полати, печка. А за окном желтый осинник лопочет: дорога — точно золотая тряпица по ветру.

Сказал Калистрат Ефимыч:

— Любовь надо для люду. Без любви не проживут.

— Не надо любви, — отрывисто, точно кидая камни, отозвался Никитин.

— Нэ надда... — подтвердил серб Микеш.

Шлюссер вежливо, мелко улыбнулся.

Калистрат Ефимыч оглядел их. Довольные, сытые, и голос у него тоже стал довольный, тягучий.

— Без любви вечно воевать будут. Нельзя так.

— Пусть воюют. Надоест — хорошую жизнь устроят.

Рыжебородый, поднимая ко рту мягкий ломоть хлеба, подтвердил:

— Ета ты, Микитин, правильно!.. Бьешь, бьешь когда бабу — и то спокойной жисти захочется... а во скус вошел — бросать не охота!

— Воевать надо!.. Буржуя бить надо!..

Молчит Настасья Максимовна. Робко, ласково подает угощенье — пироги с калиной, молотую черемуху. Молчит — она знает все, ей говорить не нужно.

Спросил Калистрат Ефимыч Никитина:

— Вот к тебе приходят, жалуются, спрашивают... Ты что им отвечаешь?

— Знаю, что ответить.

— Всем? Без любви?

— Без.

Весело протянул к нему большую волосатую руку.

— Крепкой ты, парень, чудно мне таких-то видеть! Не видал. Таких-то у нас не водилось.

— Есть.

Вздохнул Калистрат Ефимыч.

— Мимо, значит, прошли. Зря прошли... Надо бы мне их.

Желтые, сытые, осенние голоса. Небо дремлет. Гуси сизоперые летят на юг. И летят, гулко перекли-

каясь, неведомо куда, белогрудые, Тарбагатайские горы...

...Отстал от гостей рыжебородый Наумыч, отводя Калистрата Ефимыча, спросил:

— По семье-то не тоскуешь?

— Нет.

— Де-ело... Семья у те тяжелая! Семен-то, сказывают, офицеров к себе поселил. Потому по народу послух идет — в восстаныо ты переселился... боится — убьют офицеры-то. А ты не мыслишь на уход?

— Не мыслил.

Наумыч поднялся к уху, проговорил торопливо:

— А ты веру-то ищи, ищи!.. Не вечно воевать будем. Она тогда и сгодится. Он ведь, Никитин-то, в Китай али к японцу уедет, с сербами-то своими... А ты не уходи!.. Мужики и то бают — не надо, грит, сейчас твоёй-то, выходит, веры... Помешат, дескать, сейчас, воевать хочут.

— Хочут? Воевать?

— Нельзя, Ефимыч, как есть нельзя. Вот и ты повоюй!.. Придется повоевать тебе. А то Толчак-то самый помешшика особова обучат, школы, бают, таки открыл, чтобы значит — потом... зажать... во!..

Он желтым пятном поплыл к двери. Бормотал по дороге непонятно, сухо. В кути перемывала горшки Настасья Максимовна.

Прошелся по горнице Калистрат Ефимыч.

— Все они помыслы мои знают.

Ласково отозвалась Настасья Максимовна:

— Кто, Листратушка?

— Люди... мужики...

— А без этова нельзя. Как же, коли помыслы твои не знать? Как они верить тебе будут?

— Не надо мне ихней веры...

— Чево же тебе от них надо, Листратушка?

...В штанах из желтых овчин, в самокатаных белых шапках, в длинных выше колен бродиях, строились мужики. Загорелые, цвета кедра, лица. Выцветшие под солнцем грязно-желтые волосы.

Строились. Проходили рядами мимо. Длинные, тяжелые ряды. Шел с ними кислый и зеленый запах овчин и болот.

Беловатые, как солонцы, глаза. На овчинах повисла хвоя, словно продирались они через непроходные чащи.

И как огромная, недубленая овчина растянулось над горами небо, прорывают его белые клыки Тарбагатайских белков.

— Смирна-а!.. Равнение направа-а!..

Строгий, легко и твердо ступая, прошел рядами Никитин. Широко улыбаясь — за ним рыжебородый.

— Товарищи! — резко, как кидая железный лист.

Колыхнулись мужики. Глухо упало на осинники, в тайгу:

— О-о-о!.. а-а!..

И, вытянув сухие, темные руки, он, упрямо повторяя по нескольку раз слова, нес в толпу:

— Товарищи!.. Наш первый полк!.. Наше восстание!..

Густели кроваво, как свежие раны, белесые, выцветшие глаза мужиков. Давили землю потные, широкие ступни. Пахло тягучей, липкой слюной.

Высоко над тайгой, перегибая небо, пронесся оранжевый горный ветер. Подхватил стаю журавлей, как сухие листья, унес их за горизонт.

Посмотрел растерянно Калистрат Ефимыч на землю и сказал Настасье Максимовне:

— Как же ето так?.. Почто?..

Не слушалось его, мягко раздвигая грудь, радостно неслось, плыло, таяло, следом за мужиками, широкое, как телега, сердце.

— Как же это?.. Чево мне в них-та?.. Чево?..

XXV

Поручик Миронов переселился к Семену. В келье, где жил Калистрат Ефимыч, развесили хомуты и заячьи шкуры. Привезли из города казаки кипы воззваний на киргизском языке.

Читая как-то бумагу, полученную из города, Миронов спросил:

— У тебя, Семен, отец где?

— На заимке, в черни. Пасеку разводит... Наш род-то пчеловодницкий...

Офицер вяло переспросил:

— Пчеловодницкий?.. На пасеке?.. А когда он приедет?

— Должно, усю зиму проживет.

Офицер румяный, как осенняя рябина. Оглядел грудь Семена, подогнутую, как сук, хромую ногу, сказал угрюмо:

— Смотри!..

Вечером, в кровати, Семен шепотил жене:

— Должно, гумагу из города-то получил... про батю. В восстании, дескать...

— А мы-то при чем?

— Скажут: помогаете. Восстанщикам-то!

Потрескивали полати. Всхлипывала во сне Устинья. Тяжело пахло печью. Сползла с кровати Агриппина, прилипая потными ногами к крашеному полу, тихо прошла к офицеру в горницу.

Фекла, нагревая дыханьем волосы Семена, отозвалась:

— Поползла!.. Надо Гриппину попросить да попу иконы батины передать... Поп попросит ахфицера...

— На ризах-то сирибра сколько. Снять, что ли?..

— Пусь прападат. Тут же хозяйство, а он об ризах. Надо иконы-то в церковь передать... пушшай... Может, ничего, не тронут.

Семен ворочался, не спал, Фекла сердито толкнула его локтем:

— Да дрыхни ты, прости, господи!

Семен вздохнул.

— Пойду я к бате...

— Куды ишшо?.. Спи...

— На восстанью пойду. Позаву ево. Хозяйству пропадать, что ли?

— Кончат те восстанники-то...

— Чево я им?

— А краснова-то убил!.. Наши парни и то хвастаются: придет, грит, наша власть — кончим Семена.

Семен сбросил одеяло с потевшего тела. Фекла, засыпая, сказала:

— Митрия пошли... А только зря... Настасья-то не пустит... старика...

Семен не спал ночь. Утром напоил скотину, пошел к попу Исидору.

Поп, закрывая широкими ладонями глаза лошади, смотрел, как работник подталкивает телегу.

— Объезжать учу... — тихо сказал он.

Лошадь, как от ветра палатка, испуганно дрожала животом. Семен подошел под благословенье.

— Батины иконы в церковь хочу отдать.

— Не приму! — сказал поп и вдруг, как падающее, подрубленное дерево, зашумел:

— Отой-ди!.. Садись!..

Лошадь, лягаясь, понесла в ворота. Повисая на вожжах, кричал в телеге работник:

— Э-э-эй!.. Отой-й-ди-и!..

Поп, отфыркиваясь широкими, как у лошади, ноздрями, пошел в дом.

— Не приму! — сказал он в сенях и в горнице добавил: — Очистить их надо!

— Иконы древние...

— Знаю. А ты знашь, что он над ними делал? Не знашь! Я и сам не знаю!.. Может или нет быть, что он над ними изгалялся.

— Однако висели они... святые...

Поп сел на диван, впуская зеленые, кочковатые руки в волосы, сказал:

— Неси. Освящу!.. Измаяли вы меня, молиться не могу. Неси.

Дмитрий пьяный лежал на сене. Увидев поднимающегося на сеновал Семена, сказал гнилым, как водянистое бревно, голосом:

— Я, Сеньша, братан, пьяный... Почем зря я... — И вытер рукавом грязные, как поганые грибки, слезы. — Робить не могу, Сеньша... Думал, братан, пять лет... подряд!.. Приду домой, пороблю... Не могу, Сеньша, я!..

— Обветрит...

Дмитрий вскочил и, размахивая руками, хрипло закричал:

— Я, брат, ничего не боюсь!.. Да!.. Ты, поди, думашь — боюсь...

— Ну, ступай к бате, — сказал Семен неуверенно.

— К какому?

— К Листрату... В восстанью... Скажи: пушшай идет. А то, бают мужики, в восстанью переселился Листрат Ефимыч. Тоды ведь нам кабала, парень.

— Я?.. Я, брат, не боюсь! Я могу! Я, парень, пойду! А кабала тебе будет, а мне никогда... Я, паря, в милисыю перейду. Наймусь! Я стрелять умею... Налево, круго-ом, ма-арш!.. Левой!..

XXVI

...Как туча, обняла небо душа. Как травы — обняла землю. Костры вы мои желтые, птицы перелетные — глаза; голос — ветер луговой, зеленый и пахучий.

У каждого сердца плакал и смеялся. Буреломами, песками, болотами пахнут хмельно они.

Бороздит рыба ил речной. Река бороздит усталую землю.

Какие камни падают в тучу? Какие лиственницы на камнях?

Эх, горы вы мои, горы Тарбагатайские! Эх, брат мой, волк красношерстный!

Сердце ваше целовал.

XXVII

Ползет по крутосклону человек. За плечами желтый мешок, фуражка солдатская.

К чему бы? Тропа в заимку одна.

«Шпиён», — подумал рыжебородый.

Встал на шипишник и, как зашебуршал листвой человек, вышел из куста — винтовку поднял, говорит:

— Обожди.

Расправил тот усы под опухшими серыми щеками, мешок за плечами подкинул, ответил:

— Ладно. Думал — ни стречу, а у вас дозоры — честь честью. Вот лешаки!

— Ты куда?

— Я-то? Я, парень, к Листрату Ефимычу.

Шипишника ягода, как кровь, алая, тугая. Пахнет мокрым, гниющим листом. Камень — как мужик — смотрит упрямо и скупо.

Рыжебородый поправил пояс, спросил:

— А ты по каким делам?

— Дела семейные. Сын я ево, Митрий.

— Та-ак!.. Отца, значит, навестить. Ето дело хорошее. Валяй, Митьша. Давай я те провожу.

Борода желтая, смеется. Камень от листвы золотой, а под тропой — падь, пропасть, и рвется там кверху голубым телом ручей.

— Ты чо с дозору уходишь?

— А ну их к лешаку с дозором! Поеду я лучше за сеном. Коров, поди, пригнали.

— Дисциплины нету.

— А я, скажу, тебя в плен взял. Могу я уйти, чудак, раз я с пленным? У вас как ноне сена-то?

— Сена ничего, дождя не было. Не сгноили. А ваши как?

— Атамановцы пожгли, а сено, парень, было — прямо хлеб. Хоть шти вари. Старики не упомнют.

— На Копае, бают, травы страсть.

— Там завсегда, там пчела-то с воробья.

На заимке промеж изб и амбаров — палатки, фургоны-ходки, накрытые кошмами. Скот бродит. Ребятишки из-за фургонов подкрадываются к лошадям дергать из хвоста волос на лески.

Бабы у колодцев ругаются.

— Цельно опчество! — сказал Дмитрий.

— У нас, парень, куды хошь. Кузька один што стоит.

Довел до дома. Снял шапку — лысина розовая, и глаза тоже розовые — довольные.

— Прошшай, Митьша!.. Попу Сидору кланяйся. Хороший поп, и на пчелу ему везет.

Калистрат Ефимыч спросил из горницы:

— Здорово, Митьша. Ты чо явился-то?

— А к тебе, батя.

— Ну, ладно, самовар, коли, надо согреть. Настасьюшка!

Мягко и быстро, как за ягодами пригибаясь, ходила Настасья Максимовна. Юбка красная. Грудь, как курица-черныш, подстреленная.

— Как у вас хозяйство-то? — спросил Калистрат Ефимыч.

— Плохо.

— Чего так?

— Офицера поселили — жрет многа. Все птицу любит. То и дело полевать ходи. Торговать Семен хотел — люди в городе новые — не верют. Доходы у нас знаешь каки!.. Белянка отелилась, а молока дает мало — сглазили, што ли. Прямо руки опускаются, беда!..

— Подати опять, бают, в закон вошли.

— Моченьки нет. С четырнадцатого года, грит, плати — и никаких. А где таки деньги найдешь?

— Трудно.

— Я и говорю...

Томительно вздохнула Настасья Максимовна. Оглянулся на нее Калистрат Ефимыч и, поспешно вставая с лавки, спросил:

— Ты зачем пришел?

Дмитрий надел и снял фуражку, подернулись быстрые, как у зверя, глаза.

— За тобой...

— Ну?..

— Буде дом срамить. Айда к себе. Что тут со шпаной-то вязаться? И Настасья пусть идет... коли што... — И, разевая широкий и серый, как шинель, рот, заговорил беспокойно: — Иди!.. Смеются поселком-то — в разбойники, грит, и душегубы! У нас семья, слава богу!..

Тихо пахло в избе хлебами. Тяжело, свободно лежало на широких лавках оранжево-золотистое солнце.

Калистрат Ефимыч, стягивая, слипая слова, как смолой, сказал:

— Зря. Не пойду. Живите одни.

Дмитрий озлобленно мотнул головой, громко стуча сапогами, подошел к дверям тушить цигарку.

Задевая порог, вошел рыжебородый Наумыч.

— Здорово живете. Пойдем, Митьша. Как ты есть, так я тебя и заарестую... Никаких.

— Куда?

— В штабу. Там тебя судить будут.

Дмитрий скинул фуражку и закричал:

— Не желаю я судиться! Не признаю я вашева правительства! Какой суд?

— А там тебе скажут. Айда! Ты не ори, у нас мужики веселые, может, простят.

XXVIII

На хомутах сидели мужики. Были у них тускло-зеленые, как кочки в сограх, лица. Остер, точно осока, неуловим взгляд.

Все те же шкуры на жердях. Пахло в амбаре конским потом.

Никитин спросил:

— Как имя?

— Дмитрий Смолин, — быстро, по-солдатски отвечал Дмитрий. — Поселка Талицы, Алейской волости. А только я тово...

— После. Товарищ Микеша, в чем обвиняете?

Серб отделился от синевато-зеленого простенка. Была на нем розовая узорная рубаха, за поясом торчала ручная бомба. Мужики заулыбались. Он, точно притворно делая злое лицо, заговорил:

— Убил!.. Такой аршин, малэнкой! Убил! Дэнга сорро ррублей, починел воррота!.. Такой сволочь — дран!.. Я эст кончил.

Мужики захохотали.

— Оратель!..

— Кончил!..

Серб наклонился и, точно уминая что руками, сказал с усилием:

— Стрелять! Такой дран...

Угловатые челюсти Дмитрия опотели. Рука сорвалась, побежала по телу к козырьку. Побежали ноги около закрома.

— Товарищи!.. Братцы!.. Не я ведь, брат это, Семен!.. Я ведь говорил: отдай деньги-то!.. Тут, хоть вам, ну! Не хочет!.. А я что же! Восподи!

Никитин, не глядя на него, сказал:

— Ваше слово, гражданин Смолин.

Дмитрий замолчал. Обшлага опотели, и он, поддернув рукава кверху, сел на закром. Ноги же продолжали бежать.

— Гражданин Смолин, ничего?.. Ваше слово...

Дмитрий бессильно шевельнул широкими, точно разваленными челюстями. Мужики отвернулись от него, как от дурного запаха.

Натруженным голосом сказал Калистрат Ефимыч:

— А ты, Микитин, мне сказать дай. Вишь, закоптили человека.

Мужики кашлянули, харкнули, согласились.

— Говори, Листрат Ефимыч!

Неослабные, тенью зашли его глаза. Тело большое и черное, как весенние земли, оттолкнуло лавку. Протянул к мужикам волосатые, твердые руки. Голос нутряной, зыбью по телам идущий.

— Сын ведь! Небось думаете — брехать буду? Не поверите... Не убивал, говорю: не убивал! На душу

греха не берите! Другой убил, а не этот!.. Мне что! Не люблю я их, ушел от них — душу замуслили!.. А зря человека зачем убивать, православные?

Здесь пискливо, не по-человечески, залился Дмитрий. Тычась мокрым, опухшим лицом в синюю тьму, близ стола, пищал он неразборчиво. Только выхлестывались, как камни в потоке, слова:

— Ваша благородие... ваша благородие...

Никитин посмотрел на мужиков:

— А ты выйди, Калистрат Ефимыч.

Черный и холодный голос как зимние воды. И лед — далекие волосатые глаза Калистрата Ефимыча.

— Не пойду! Хочу я знать, кто моего сына убьет.

Как проснувшись, взглянул Дмитрий.

— Батя!

Соболезнуя, сказал кто-то из угла:

— Не оживет!..

Вышли за дверь. У телеги посовещался штаб. По бумаге прочел Никитин. Холодный и жестокий клок бумаги, как кусок замороженного снега. Злые и насупленные стены амбара.

«По приказу временного штаба революционных войск... за предательственное убийство борцов революции... высшей мере наказания — расстрелу».

Отопрелые, скользкие Дмитриевы руки. Грудь опухшая. Точно скидывая грязь, трясутся колени.

— Эх, трус! — сказал мужик с винтовкой. — Держись! Скотина при смерти и та не мокнет. — И, протягивая ковш самогонки, добавил: — Пей — крепче будешь!..

Никитин, дотрагиваясь горячей длинной рукой до поясницы Калистрата Ефимыча, огустело сказал:

— Не томись, Ефимыч! Нельзя иначе.

Как лемех в черной земле, блестели у того зубы. Завило желтым ветром черную длинную бороду; голос завило петлей предсмертной:

— Знаю!.. Я тебе помешал, сына-то пошто угоняшь? Не уйду я от тебя, понял? Убей ты меня сразу — куда ведешь?

— Не томись.

— Убей, говорю, сразу! На свою голову меня держишь! Отпусти!.. Жалко ведь — сы-ын!..

Желтая, широкая, как осина, шинель. А тело из нее растет выше, тянется глаз неодолимый, глубокий, как тайга.

— Не знаю, зачем он пришел. Не приходил бы! Кто-то убил, в ответ надо убить. Убьем!

Отгибая, отламывая сучья, напролом, как сохатый, уходил Калистрат Ефимыч. Желтая звенела под ногой земля, еще сильнее звенело сердце.

— На свою гибель!.. не пускашь!..

— Не могу!

Вытянулся, засох, вырастая из зеленой шинели Никитин. Тоскливая вздыхала земля — запахами горькими, чужими. Желтой лисицей шмыгнул, шевельнув кусты, ветер.

Вдруг схватил сук сосновый, подломившийся, оторвал, с силой ударил по кусту. И еще, еще.

Тихо хряпая, отлетали, вонзались в землю острые щепы. Переломился сук, из средины волной опала полевая пыль.

Выпрямил Никитин сухую спину и ровной походкой пошел к амбару.

— Постановление исполнено?

Мужики, сплевывая, играли в карты. Рыжебородый доиграл банк и, тасуя карты, отвечал:

— Ето обязательно!

И, подымая колоду для снимки, спросил:

— Тебе сдавать, Микитин?

— Нет.

— Ладно... Вот ба-анк!.. Четыре керенки! Но, кто?

XXIX

Беспокойно пели камнем твердые глаза людей — камнем в ветрах и вьюгах. Огромные, жирные туши гор дымились на солнце.

Рыжебородый Наумыч говорил:

— Кыргызья, братаны, сгоняется — тьма!.. За неделю съехались... Праздник будет однако!

Из-за долин, из-за Тарбагатайских гор текли в котловину Копай киргизы.

А с другой стороны: из тайги, черни, с долин — новоселы, кержаки-старожилы.

Среди фургонов, рыдванов и телег, как огромный подсолнечник, плавал Наумыч. Выпачканы дегтем полы азяма и шаровары.

— Байга, братаны, на Покров назначается. Жива-а!.. До Покрова неделя — собирайся!

Сладко резали грузные телеги жирную и мягкую, как кулич, землю. Вяло, как пьяные, играя крупами, топтали сытые лошади горные тропы.

Словно золото, звенели тропы, словно золото, звенели кусты.

— Едешь, Листрат Ефимыч? — спросил ласково рыжебородый.

— Поеду.

Рыжебородый оперся грудью о телегу, сказал протяжно:

— А ты поезжай, може, и сгодишься.

— Я-то?

Рыжий глаз втянул всю телегу, запел:

— Ты очень просто сгодиться можешь — я тебя на уме имею. Пойдем, хочешь?

Поддержал его за руку с телеги и, как взвешивая, одобрил:

— Тижолай! Ума выйти может много.

В светло-желтую пену ныряли в долину рыдваны и телеги, как огромные рыбы. Плескались внизу водоросли — деревья алые, медно-желтые.

— Я те семейникам покажу!

Гнется телега под тремя — седые головы как снопы пакли. Азямы словно дырявые мешки, и будто не тело в прорехах видно, а седую паклю.

— Семейники!.. Смотри.

Пахнут семейники-старцы древними, тугими запахами, и голоса тиховейные — лен шелестит.

— Ты, что ли, Калистрат Ефимыч?

— Я, старик.

Видят плохо — выкатил один белый седой зрачок, — взглянул и утонул опять зрачок.

— Ты блюди!.. Мы тут в восстанью приехали, посмотреть, как и что!.. Ты за домашностью блюди! Чтоб не измотался народ...

Вздохнули все единым вздохом, легким, так бы и младенцу не вздохнуть.

— Люд на соблазну скор. Ты им старую веру за новую выдаешь, бают? Так им и надо, коли старова не хочут.

И древние годы не выдерживая, отошла телега, к земле пригибаясь. Древность звала земля.

Завертелась в хохоте рыжая борода, хохот присвистывающий в волосяной сети заплутался.

— Вот она, сила-то!.. Понял! Тут мы ее берегем. Без старика нельзя, старик только один может дело направить.

И повел Калистрата Ефимыча промеж телег. Пахла земля дегтем, телеги — мхами осенними, как паутина, тонкими. Смотрят черные колеса, как зрачки — неподвижно, по-звериному.

Калистрат Ефимыч сказал:

— Куда ведешь-то?

— Пойдем... Покажу ешшо. Смотри, как мужик идет.

— Не надо... ничего.

Оттолкнулась борода. Нога за телегу зацепила.

— Не хошь? Трусишь?

Калистрат Ефимыч хотел крикнуть, но смолчал. Вернулся к своей телеге молча.

А у телеги рыжебородый уже с Никитиным беседует.

— Проведем, — говорит рыжебородый, — мы здеся железную дорогу со всеми припасами.

Никитин отвечает:

— Проведем.

— Обязательно. Однако в бухфете водки чтоб в три тысячи градусов.

Никитин сказал:

— Мы с тобой, Калистрат Ефимыч, в телеге будем.

— Где это?

Метнулся рыжебородый вдоль телеги, ось ощупал, оглобли. Сказал досадливо:

— Опять же на байге! Потому штаб постановил — начальство и важных людей на люд не выводить. Атамановцы заарестуют, очень просто.

— А в телеге нет?

— В телеге мы тебе кошемный навес с дыркой вроде отверстия сделаем. Сиди и смотри. И чтоб ведро самогонки, потому душна... Пей.

Так и поехал Калистрат Ефимыч с Никитиным на байгу.

Каменная тропа звонкая. На душе тропа тяжелее — не взберешься, не оглянешься. Молчи и подымайся, а не то пропасть. Гибель.

Висел культяпый Павел на шее лошади, как толстый репей. И волосы на голове как пушинки. Голосок легкий — не держится на душе, уносит ветром.

— Плюнь, Листрат Ефимыч, уйди ты от них. Я те, батя, понимаю. Однако очень просто не одолеешь...

Натянул повод, на руках в седле приподнялся, попону поправил.

— Люд — сволочь! Чо те с ним валандаться! Достану я тебе лошадь, приходи завтра ко мне. Уедешь... прямо, паре, к баям в аул доставлю. Живи! И бабу!..

— Не хочу.

Шевельнул тот, как языком, поводом, вдавалась лошадь в желто-розовые кусты. И легонько отозвались кусты:

— Зря, Ефимыч.

А потом, когда вечер поравнялся с телегой, подъехал Павел и, почесывая между ушей лошадь, спросил:

— Дождусь я, Микитин, али не дождусь, штоб мог я те в харю ногой залепить?.. Как ты мне раз залепил, а?

— Когда ноги вырастут.

Над телегой Павловы длинные отрепанные руки тянули.

— Ране-е, Микитин, ране-е!.. Дождусь.

Тащит телега синюю тяжелую темноту в легкую лунную пену. А за дорогой такие же синие глыбы тьмы шелестят, а над глыбами дальше — еще глыбы.

Пахнет дорога не камнями — золой, а ветер коричнево-серый — корой осиновой.

Молчит Калистрат Ефимыч.

На передке, как пень, мужичонко, от него к черной копне, похожей на лошадиную голову, две ленточки. Фыркает копна.

Никитин с другого конца телеги сказал:

— Нужно от выступления удержать. Поехал ты зачем?

— Смотреть хочу, парень. Байга эта из года в год. Ране-то я тоже боролся было...

— А теперь на печку?

— Лисья заимка-то печь? В печь калёну лезу, а не на печь.

Откинул Калистрат Ефимыч одеяло. Отыскав среди сена коленки Никитина, дотронулся:

— Ты, Микитин, баловать-то брось...

— Ну?

— Думаешь — малой я, ребенок, дитё? Дай ты мне раз по сердцу тебе сказать?

— Говори.

Шевельнулось сено, широко, как одеяло, вздохнуло. Голос — запахи земные, густой.

— Не давай ты мужикам кыргызов бить. Пущшай посмотрют и разъедутся. Не надо кровопролитья-то, парень. Мало крови тебе, ну?

И Калистрат Ефимыч продолжал:

— Па-арень! Сам знаешь — выжгут! Скотов угонют, людей перебьют.

— Потому и еду — не допустить.

Стоном пошла телега. Оглянулся пень с передка, сморкнулся и опять к ленточкам прильнул.

— Допустишь ты, Микитин, допустишь.

— Нет.

— Убил ты мово сына... Прощу!. Хочешь ты всю округу в восстанью втянуть... вижу!..

Резко, как роняя железо, сказал Никитин:

— Стой!..

Протянул пенек:

— Тпру-у!..

Повернул Никитин Калистрата Ефимыча за плечи, в обрат, сказал:

— Видишь?

Косогором в блекло-малахитовых порослях по откосам в котловину, дребезжа, катились, как камни, глыбы телег. Охая, отдавали горы лохматые мужицкие песни. Ревели кусты:

Э-эй, ты...
Лисы-нька...
Белая-я
Горносталь...

Туго звенела земля. Из котловины солоновато несло солонцами. Вдалеке мерцали бледно-оранжевые костры киргизов.

Никитин спустил руки и лег в сено.

— Молись, чтоб возвратились.

— Я?

Закрылся Никитин с головой, не ответил.

Коричнево-серый пенек на передке, спустив вожжи, дремал. Проваливалось в дорогу лиловатое пятно телеги.

Схватив задок волосато-горячими пальцами, глядел назад Калистрат Ефимыч. Видел.

Таежными гулами пели телеги. Голоса раскатистые, как рев зверей. Звериные, сторожкие запахи шли с трав, с гор...

XXX

Пахло в горнице бараньим салом. На кошмах, поджав ноги, сидели толстые, низкие, как юрты, баи. Баланки-мальчишки в зеленых ичигах-сапогах разносили баранину на деревянных подносах.

Миронову сидеть на корточках было трудно, он притащил из кухни полено.

Плосколицый, как степное озеро, бай, распуская чембары, говорил:

— Плакой чаман пичать пошел!.. Раньше бумаги — полена толстый; пичать — тарелка. Чаман! Карашо!

И, пропуская бумагу в сальных пальцах, обронил ее на кошму.

— Моган — нам большой приказ надо. Кабинетская земля — бери кыргыз, новосел — пшёл... В Расею! Такой приказ надо, бай!..

Белое вареное сало шмыгало по пальцам в рот. Глаз был как кусок сала — пьяный, сытый. Семен раскупорил пиво.

— Сколько дадите джигитов? — спросил Миронов. — Наши Пермь взяли, к Вятке подходят!..

Бай Джаусей одобрил:

— Пермяк ладной кала-город. Народ жирный, пошто воюет?.. Пермяк раз взял, джигит пойдет, может, вся герман-война пойдет, многа!

Рыгнул бай Кошкир, пощупал худой и твердый, как седельная лука, подбородок, подтвердил:

— Будет байга. Какай, многа джигит придет, все к тебе придут. Бойна так бойна!.. Джигит бойна любит!

Агриппина раздувала в кухне самовар. На голбце, вытянув толстые отекшие ноги, спала Устинья. Семен, задев за ноги, выругался.

— Митрий не приходил?

— Нету.

— Что он, в восстанье остался, что ли?

Фекла, подтирая пол у порога, ворчала:

— Наследили-то, немаканы, восподи!..

Были у ней крутые, как стог сена, бедра, и проходивший бай Кошкир, проглотив слюну, рыгнул:

— Ладный той!.. Апицер Мирошка чаксы!.. жирный баба!..

Вечером баи, напившись пива, пели протяжные и визгливые, как степной ветер, песни. Миронов ходил среди них. Вяло, как лопатой в грязи, ворочая языком, говорил:

— У меня дедушка фельдмаршалом был и женат на внучке Суворова. А вы звери...

— Берна, берна, — соглашались баи.

Двое офицеров, обнявшись, спали у кровати. Баи обещали подарить Миронову лошадь. Бай Кошкир показывал выложенное серебром седло.

— Сто царей настоящих видал, а теперешних царей счету нет. Дарю, отдай бабу ночевать.

Миронов, обвисая пьяными боками галифе, говорил:

— Мучаюсь, мучаюсь, а на фронте я бы генералом был...

— Берна...

Тут вызвал Семена из горницы веселый синеглазый староста:

— Митрия-то в восстанье мужики порешили. Прислали — надо коли, грит, тело по-хрисьянски погребать — берите. Потому попа у них не водится.

Безутешно причитала во дворе Дарья. Плакала хрипло, точно кашляя, Агриппина.

Семен угрюмо спросил:

— За что ево?

— Да вот ведь краснова-то ты тут как-то подстрелил... Они-то, восстанщики, бают — Митрий. Ну, и кончили!

— А батя?

— Листрат Ефимыч? Неизвестна. Поедешь, что ли?

— И меня кончат?

— Кончат. Ну, не то мальчонка какого пошли. Сколько дашь?

— Заплатим.

— Найдем мальчонка!

Лохматый, шумливый, как срубленный кедр, несся поп Исидор. Разом, будто прорывая насквозь уздой лошадь, остановил телегу.

— Ты чево-о, муторной!.. Митьшу, говорят, покончили?

— Покончили.

— Царство небесное, веселый мужик был!

Размахнулся над лошадью, над телегой кочковатыми руками, и голос — телегу вверх вихрит.

— Помолюсь, чадо, помолюсь! Даром! Гроша не возьму!.. Заупокойные обедни хошь петь — отслужу.

Волосом, в четверть, зеленым, жестким обросла лошадь. Ноги короткие, в земле скребутся.

— Пчела идет, чадо! Здорово пчела идет! А мне тут бумагу прислали — кто желает в дружину Святого Креста?

Везде будто не лошадь, а поп Исидор. Телега как изба, колеса с двери. Гремит, грохочет.

— Прям на паперть и дьячка тяни. А я к утру приеду, на поминки дарю тебе меду десять фунтов. Царство небесное!

XXXI

Койонок, Койонок, где твой голубой конь, спина которого — змея в середине лета, а искры от копыт — звезды?

Ушел дух на Абаканские горы, и пути его замело снегом.

Отпали от бубна сосцы — обички.

Вот как это случилось.

Пришли к шаману Апо джатачники — рвань рванью. Одежда у них как листья зимой — гнилье.

Сказали:

— Думают ак-урус — белый русский — большой отряд из джигитов составить. Воевать на Югорской земле. А козыл-урус — красный русский — не хочет отряда

— Не надо идти джигитам, — сказал Апо.

Сказали джатачники:

— Мы люди бедные, коров у нас нету, кумыс не пьем — айран... Никто нас не слушает, как весеннюю траву косят.

Сказал Апо:

— Надо жить в мире, травы растут большие — скот растет, будто туча. Не надо воевать. Пусть русский воюет.

Сказали джатачники:

— Мы так думаем — не надо воевать. Говорит акурус: кабинетские земли получай, воюй. Скота в тысяча раз больше будет. Как делать?

Голубой шелковый бешмет надели на Апо. Серебром выложенный чекмень — пояс обтянул тощий живот Апо.

Сказал Апо, всем шаманам шаман:

— Много скота — счастье человеку. Мало скота — смерть. Кабинетский земля — даст много скота. Ладно. Буду думать.

— Думай, — сказали джатачники.

Вынес в решете золу из юрты, опрыскал землю из синеносого чайника. Лежал на кошме. Серая с алой каймой кошма. Думал.

Ходил шаман Апо, всем шаманам князь, по тайге ходил. Духи у тайги злые, надо злых духов просить. Железом стращать, в бубен бить, по топшуре-балалайке играть. С духом вести себя строго, как с человеком.

Над всеми духами — дух Ерлик-хан; над шаманами — шаман Апо.

Так, видно, надо! Так, видно, будет!

Прель осенняя в тайге пахнет мокро. Травы мокрые, сырые плачут (умирать кому охота?).

Дерево, старое дерево (может, Ерлика-хана в люльке видело) дребезжит, стынет.

Сказано — осень!

Робко шамана просили:

— Думай...

Духи железа боятся — на поясе железные планки; в губах Апо стальной кобыз дребезжит.

На русских больших духов просить надо в помощь. Больше тайги духов, чтоб им тайга как солома была, шипела, ломалась. Тут Тенгрихи — вторые духи — не помогут; тут Онгоны — души дедов и стариков — совсем, как сырье для костра, не годятся.

На русских духов каких позвать?

Елани — поляны хиреют, как лошади в джут. Травы, точно шерсть, вылазят.

И ветер тут рыжебородый, русский, злой!

Ходит шаман Апо, кафтан за кустарники, кустарники за кафтан. Всем, даже деревьям, нужен шаман. Большой шаман, как наводнение, как мороз.

Одно — Апо имя ему. Как казенная винтовка, как водка — крепкое имя.

Всех духов умилостивить трудно.

Сказал Апо в ауле:

— Буду комлать. Буду с железом, с ножом стальным, с плетью за духами гоняться. Всех духов сгоню — настращаю, просить буду. Напугаются — скажут правду!

Сказали аксакалы шаману:

— Великий бог — Кутай, Аллах. Великий Махмет — пророк его. Нету Аллаха, ушел от киргизов. Как дети без молока — мы без бога. Проси, гоняй старых духов, Апо.

— Старые боги — сытые боги, жирные, сколько лет их никто не тревожил — отдохнули. Аллах устал, плюнул на киргизов. Гоняй, бери укрючину, Апо.

Так сказали джатачники, потому что у них брюхо тонкое. Джатачники бедны, как зима теплом.

Дни бежали голые, в лохмотьях, синие от холода. Собрались с аулов пригнанные из степных кочевий офицерами русскими — киргизы.

Собралось много, как комара в сырое лето. Вокруг юрты шамана Апо стали, ждут.

Разложили костер смолистых священных щеп. Бросали священные травы, угодные духам, как кумыс — человеку. Дым от трав оранжевый, запах от трав — водка и тихий мед.

Небо над юртой зеленое, лица вокруг юрт жадные. Глаз вокруг юрт желтый.

Зазвенела тойгур-балалайка на двух струнах. Ударил одной ногой шаман Апо, вокруг костра пошел.

— Эй, эй, духи Онгоны на березовых лодках с медными веслами! Спускайтесь с Абаканских гор сюда!.. Э-эй!.. Губы у вас жирные и масленые, будто у молодого барана, волос у вас седой, вырос, — долго не тревожили! Э-эй-й!..

Всякая тайга воет вокруг — зеленая, голубая и черная. Всякие люди вокруг — стада, табуны людей, как скот весной траву — жуют.

Другой ногой ударил шаман. Заревела, обиделась земля, заревели люди:

— Э-эй, гони богов, шаман! Нечего на богов смотреть! Гони!

Взял стальной кобыз шаман. Зазвенел язык стальной, заревел, как лось со стрелой в боку. Быстро-быстро, точно жеребец у стада, догоняет огни шаман.

Бешмет мокрый от пота, шея мокрая, амулеты мокрые — очень хорошо собирает духов Апо.

— Э-эй... Восьмибородые Тенгрихи на Абаканских горах, где снег, как русский сахар, а березы с листьями китайского золота! Надевайте узду на синегривых коней, отбрасывайте на ледники троны — сюда, в долину Копай! Всех Тенгрихов буду плеткой бить, железом гнать, э-эй!.. Точу нож на сердце своем!.. Э-эй!.. Стальной нож, добрый нож, заплатил русскому три соболя.. Э-эй!..

Юрту давят киргизы, воет юрта. Дым в юрте, жиром пахнет, курдючным, хорошим жиром — боги любят жир. Духи человека не любят, не идут. А костер гоняет шаман, а огонь палит шамана, а дым в ушах и ноздрях, как водка, как мед.

Бьет в бубен-тенгур шаман. Ревет, как медведь холостой, бубен-тенгур, за пять верст в тайге слышно. За пять верст киргизы молятся — комлает шаман Апо.

Ревет, говорю, бубен, как синий ветер в Тарбагатайских горах, все ревет и ревет!

— Эй-эй!.. Ерлик-хан, над духами киргиз! Самый богатый князь, у тебя подпруга из шелка, а узда из реки Абан сплетена!.. А конь у тебя с гривой больше кедра! А чембырь из китайского гаруса! Седлай, Ерлик, лошадь, седлай, не корми! На голодной лошади выезжай, Ерлик, торопись!.. Шаман Апо из рода Чекменя, всем шаманам отец, говорит, гони!..

Лебедь всеми двенадцатью струнами поет. Топшур в обе ладони гнется — звенит. Бубенцы на шамане, как волки, оскалились.

Нет, не подымается на небо шаман!

Нет на губах священной синей пены!

Нет на амулете стянутых, догоняющих бога, пальцев!

Не летит над тайгой шаман!

Гнется юрта, стонет, ревет:

— Гони, гони богов, шаман! Всех старых богов гони!

И опять побежал за костром Апо.

Бубен и кобыз, и лебедь, и голос резкий шамана:

— О-о-о!.. ё-ё-ё — э-э-э!

И жаром пахнет и потом беговым — священнейшим. И дым — как вода, густой. И рев — как поток весенний.

Нет духов, не подымается шаман.

Сказал Апо:

— Не берут меня боги к себе, не пускают! Бубен сломал — десять шаманов каждый раз подымались над тайгой, над Абаканскими горами...

Ревут киргизы:

— Молись, сбирай старых богов, шаман!

Изнемог, голову у костра уронил, бубен в огне горит, и, как тающая головня, тихо сказал Апо:

— Плюнули духи, не хочут, не боятся! Надо русских богов звать, русским богам, крупным богам молиться...

Вышел к костру Алимхан, сказал:

— Работал у русских, всех богов видел. Большого русского шамана Калистрат видел. О-о, шаман — ростом в кедр. Давай повезу. Молись сколько хочешь.

Запрягли тележку, и в тьме, в мохнатых, сырых лесах бежал шаман Апо молиться русским богам.

Прель из черни — черная, гнилая. А под соснами, как амулет, срывается и падает луна...

Убирал колодки пчел поп Исидор. Работник Максим, из новоселов, был скудорук, неумел. Носился среди колодок поп сам, как мшистая, зеленая колода, шумно дышал на ульи, сердился:

— Ничего не умеете делать, черти! Чему вас учили в Расеи, в Сибирь поперлись?

Увидал за оградой в тележке черную, прямоволосую с желтым глазом голову Апо.

— Кыргызскому священнослужителю почтение!

Поворочал в руке сухие пальцы шамана, облокотился на тележку и, дыша медом в бешмет, спросил:

— По каким делам? Слышал — кыргызы от магометанской религии уходят на старую веру?.. Опять шаманам доход!

Заходили проворные, как блохи, глазенки, запрыгали.

Устало подымая голос из тележки, спросил шаман:

— Тибе бог какой, покажи? Время тяжелой — псех богов собирать надо!.. Солай...

Влезая в тележку, ответил поп Исидор:

— Верно! Окаянное время, сам многого не вижу, слепну. А у нас бумага из города — Зеленое знамя,

отряды религиозные для киргизов... Священная война... Понял?

— Бойна — плохо. Бойна не надо — лучша.

— А для русских — дружина Святого Креста.

Погнал с пасеки к дому поп лошаденку. Наклонясь над неподвижным, как снежное поле, лицом шамана, говорил шумно:

— Никто не понимат! Тебе каких богов надо — Исуса, Марию или Саваофа?

— Псех!.. псех лучша! Большой бог, как верблюд!

Захохотал поп. Закрыл прозрачные веки шаман, и за ними глаз просвечивает, как огонь в золе.

Отвернулся Исидор, долго хохотал в лес, на деревья.

А в комнате бродил возле стен похожий на клуб зеленого дыма. Сидел на корточках Апо, сгорбившись, в грязном бешмете, увешанном амулетами. Пахло от него айраном и дымом костров.

— Каких тебе надо богов? Наш бог — «иже еси на небеси». Понял? На небе, та-ам!..

— Не надо!.. ближе надо. Толстый бог надо.

— В христианскую веру перейти хочешь?

И вдруг, опрокидывая стулья, понесся по комнатам, орал радостно:

— Переходи в христианскую, всем табуном! Я вас в реке крестить буду, как Владимир равноапостольный!.. Водою окроплю! Сколько вас тысяч! И тогда один отряд будет — Святого Креста, — бей большевиков по-православному!

Взял со стола толстый молитвенник, раскрыл и над головой шамана, стуча кулаком по крышке, кричал:

— Креститесь! Вера наша большая, крепкая.

— Вера сильный, кыргыз псе время бьет.

— И будем бить — креститесь! А тогда сам будешь басурманов бить.

— Чаксы!.. харашо!..

— Я молитву целый день читать буду, в воде святой, я читаю... мало? Вечер еще читать могу, мало? А ты как думаешь?

И понесся по комнатам, ища попадью.

— Мать, а мать! Может, меня в архиереи произведут!.. Может, я на пасеке монастырь выстрою!

Оглянулся в комнате шаман — никого нет. Вскочил, схватил молитвенник за пазуху. Опять сел у дверей.

Вбежал поп, раскидывая толстые, как коряжины, слова:

— Согласен креститься? Ты баям своим объясни, поп Исидор не врет!

Указал шаман на иконы.

— Веселый бог, богатый... Алтын-золота сопсем торговля нету, а по нем бешмет золотой.

Пощупал пальцами, щелкнул.

— Веселай бог!.. Комлать такой бог мошно! Больше бог есть? Как лошадь, как арба?..

— Есть, — сказал поп, — пойдем в церковь. Ознакомлю. Раз ты изъявил желание, а я будто патриарх константинопольский... и Владимир равноапостольный!.. Пошли!..

Стоят возле стен в ризах серебряных с глазами усталыми — давят тяжелые ризы — святители большие и малые.

Обрадованно сказал шаман:

— Хорошай бог! Куды хочешь бог!

— Крестись, пока река не застыла.

Провел ладонью по стенам Апо, обошел иконы.

— Настоящие, старые иконы! Вот эти!.. Мотри!

Ногтем длинным и грязным царапнул шаман.

— Кафтан чаксы — корошай, настоящий серебро, не польской. Сколько кобыл возьмешь?

— Чево-о?..

— Продай бога! Сколько кобыл возьмешь? У меня кобыл многа. Баран хочешь — баран могу. Проси!..

Закрестился поп, отошел к дверям, заорал:

— Кабы не святое место, я бы тебе башку расшиб, стерве!.. Иконы немаканому продай. Да ты одурел, парень. Печку топить будешь?

— Зачем топить печку! Время тяжелый, брюхо болит — молиться хочем!

— Иконы дареные. Калистрат Ефимыч, предводитель разбойничий, — сам, может, раскается впоследствии, — подарил. Ценность! Ничего ты не понимаешь.

— Мы понимам. Зачем не понимам! Торговаться хочешь. Калистрат знам, большой купец будет, кыргыз лупить хочет. Э-эх!.. — Вздохнул и, легонько дергая попа за рясу, сказал робко: — Слушай, баба тебе надо, десять молодых баб дадим, цха-а!.. Чаксы баба — девка! Кумыс — бочка, каждый утро-вечер — баран,

козы ешь! Минь шаман Апо умират — шаман будешь — ходи с богом своим!

— Это ты мне? С нехристями, немакаными?..

Из тележки уже сказал шаман:

— Твой цена очень большой! В мой башка не влазит, не понимай...

XXXII

С воем, причитом бежала у плетня Агриппина. Волосы по плечам, по груди, как пена, а голос как камни в пене — режется:

— Ой, чует мое сердечко — разрывается... на беду едешь... Солдатушек с вами пять десяточек — побьют вместе что с батюшкой восстанщики с гор. Восподи!

Земля плакала, слезилась. Туча как бельмо в небе.

Офицер в седле, сонный, как увядающий цветок. И только губы — алым-ало.

Сказал Миронов:

— Не комедничай. Какая беда! На байге отряды в тысячи сберем. А восстанщики ваши только от податей бегают. Выпорем — перестанут.

Как хмель по кедру, заплетаясь в плетнях, причитала Агриппина. Молодело лицо, глаза молодели.

— И за што ты, восподи, наказываешь, за што ты гневаешься?.. Батюшка в разбойники-грабители пошел; милый с батюшкой на сабельки... Владычица ты моя Аболатская!

— Будет!

Ударил лошадь плетью меж глаз. Прыгнула она к туче и, отскакивая злобно от дороги, понеслась. Сапог лаковый; в нем выглянувшее из туч солнце. Клок грязи — как воронье крыло на плетне.

Нет офицера Миронова.

Прутья плетневые отламывая грудью, билась Агриппина.

Подошел, прихрамывая, Семен, пьяный. Зачерпнул грязи в руку, в лицо ей плеснул.

— Гуляй, Грипка, пьянствуй! А я по Митрию поминки справлю. Завтра хоронить будем — привезли Митьшу.

И, плескаясь косым плечом в холодном и сером ветре, бормотал:

— Бате-то... Калистрату Ефимычу... я еще с ним сквитаюсь, мы еще ему кишки высушим. Попомнит!

Костры у киргизов желтые.

Костры у русских желтые.

Собаки лают у киргизов. Собаки лают у русских.

А перед собаками поляна песчаная. Выбегут на поляну собаки, с одной стороны — русские, с другой — киргизские, лают и воют.

Через три дня байга — знают собаки.

Знают это и люди. Потому и съезжаются: по одну сторону русские, по другую — киргизы.

Табуны по тропам идут — куда киргизы без табунов!

Ружья по тропам идут — куда русские без ружей!

А собакам весело — мясо варить будут. Много табунов, много. Мясо валяться будет (ружей много).

От костров оранжевый дым.

У костра сидит шаман Апо, приехал. Киргизы вокруг. Табак за щеками. Ребятишки голые с овчинами, накинутыми на плечи.

На волосяных арканах лошади.

С арканов сорвался ветер лимонно-оранжевый, голову в небо задрал — мечется, лает.

А может, собаки лают?

Потому — ночь. Потому — костры. Потому — молчит Апо.

XXXIII

Призвал утром джатачников всех, аксакалов всех шаман Апо.

Розовый свет на травах, розовые деревья — скалы, крепкие, как камень, воздух режут, свистят.

Сказал Апо:

— Был у русского шамана. Не продает богов, а боги хорошие, богатые, в серебряных халатах и плоские, как деньги. Хорошие боги.

— Надо богов русских, — сказали джатачники. — Надо тех богов, которые воевать с русскими любят. Ты как думаешь?

Отвечал Апо:

— Мысли мои засохли, как степь летом. Всю ночь в прохладе сидел, думал...

— Скажи, шаман?

— Не отдает богов русских самый жирный русский шаман. Не отдает, и не продает, и в шаманы к нам не хочет. У русских — водка, у русских — ящики поют, у русских — хорошо...

— Ладно!..

— Ладно!.. Думал я и скажу: надо богов у русского шамана украсть.

Поглядели джатачники на золу священного костра, на кобыз, на одеяние шаманье и глазами вздохнули:

— Бисмилля!..

Сказал самый старый, самый смелый, у которого борода — аршин бязи:

— Трудно!.. Бить русские будут, одного до десяти смертей бить.

— Трудно, — подтвердили джатачники. — Русские бьют сильно!

— Сильно, — сказал самый старый, — я только коней воровал — как били! А за богов — может, моего умершего отца бить будут... Они хитрые.

— Они хитрые!..

Замолчали.

От дыханья перегородка трепещется, жестяные сундуки запотели, зола отяжелела — горько дышат киргизы.

Снял кафтан Апо, снял куйлек-рубаху — тело показалось — темное, морщинистое, как осенняя земля.

Сказал:

— Пойду на священный камень Копай, с камня того — в озеро. Умру. Десять ли киргизов жалеть, когда умрут все, как комары в дыму?..

Отвечали джатачники, чембары подтягивая:

— Поедем, украдем богов.

— Поедем, — отвечал самый старый.

Спят самогонным угарным сном крыши Талицы. И небо над крышами спит — самогонно-синее сквозь облака, как голый мужик, в разорванных лохмотьях.

Сторожка церковная заперта — сторож на рыбалке.

Нет, ломать дверей не надо. Воровать всегда через окно надо — так старики воровали, так ведется.

Сказал Апо:

— Завешивай кошмой окно, жми.

Забили мокрой кошмой оконный лист, наставили бревно, нажали. Вместе с кошмой зыкнула решетка, и стекла — на пол.

Полыхнулись сонно в колокольне, тикнули колокола — голуби...

Сказал Апо:

— Не хочут боги идти. Прижились.

Самый старый сказал:

— Скот тоже не хочет, когда воруешь. Привыкает.

Трое джигитов, молодых и тонких, как камыш, пролезли в окно. Шаман на окне лежал на переломанных решетках. Горячим, парным голосом шептал:

— Которые покрупнее, тех богов... У стены которые. Калистраткиных богов, они драться любят.

Подавали в окно тихо звякающие доски. Шлепали половицы. Пахло из церкви смолами.

Вздохнул Апо:

— Где бы травы такой достать? Хорошая трава. Может, на эту траву и старые боги вернулись...

И тут вспомнил, затрясся на подоконнике:

— Бубен ищите, бубен...

Бросились джигиты по углам искать бубен, а никто не знает, какой у русских бубен...

Принес один ковш большой и тяжелый.

— Ладно, — сказал Апо. — Клади богов в мешки, поедем к священному камню Копай...

В ауле, в становище байговом, в белокошемной и широкой, как казачьи стога, юрте бая Тертеня пьют кумыс русские офицеры.

Подбежал мальчик, у куч кизяка встретил шамана.

— В ауле русские чиновники с золотыми тарелками на плечах...

Сказал Апо:

— Собирайте народ. Дайте русским чиновникам мяса и кумыса и хорошего рассказчика — русские любят слушать.

— Эй, эый, Апо, — сказал Алимхан, — русский офицер здесь, хочет на байге джигитов сбирать!

Отвечал Апо, всем шаманам шаман:

— Не будет джигитов сбирать. Привезли новых богов, новые боги что-нибудь выдумают.

Сбирались киргизы к юрте шамана.

Били плетьми лошадей, чтоб метались они. Пускали жеребцов к кобылицам, чтоб ржали они. Тянули за арканы телят к матерям.

Спрашивал офицер Миронов:

— Что за шум в ауле?

Отвечали люди:

— Киргизы радуются, выбирают лошадей, хочут с чиновниками вместе воевать.

Спрашивал Миронов:

— Кумыс есть?

Подавали кумыс, и мясо баранье, и баурсаки, и урюк, и кишмиш.

— Кушай, урус — капитан-начальник...

Сказал Апо:

— Достать зеленые травы, цепкие, как масло, и укутать ими новых богов. И зарезать нового барана. И на камне Копай развести костер.

Поднял ковш, тяжелый, русский бубен, бил в него табызом шаманским. Вокруг костра шел и пел:

— Э-эй!.. Ушел Койонок-дух с Абаканских гор, и пути его занесло снегом. И льды заросли за ним, спит Койонок-дух, не знаю где! Э-эй!..

Стоят вокруг костра блестящие новые боги, держат их киргизы на руках. Потные руки, бешметы потные, аракчины скинули, кричат:

— Помогай, русский бог, помогай!..

Берет кусок мяса шаман Апо, трясет им в дыму — красном и липком, как мясо. В бубен русский бьет, поет:

— Э-эй, русские боги, хорошие боги, помогайте киргизам! У киргизов много скота: баранов, кобылиц... Сколько мы будем жертв приносить, киргизы не скупые!

— Помогайте, боги в тяжелых халатах!..

У ваших шаманов тяжелые бешметы, прыгают они плохо, мы будем костры вам жечь — полтайги, из священного кедрового дерева. Э-эй!.. Помогайте, боги!

Вынимает книжку из-за пазухи шаман, в дыму ныряет книжка. Бьет в бубен, пляшет шаман, кричит:

— О-о-ё-ё!.. боги русские, веселые, как водка, боги!.. Толстые, скучные слова вас сгоняют, в руке тяжело их держать. Я буду кричать вам слова легкие и приятные, как кумыс!

— Во-от!.. Бросаю плетку твоих шаманов в огонь, я буду говорить с вами ласково — вы боги богатые, у русских избаловались!..

— Надо богов умилостивить, надо богам жертвы!..

Камень Копай над озером — розовый и легкий. Шаман на нем, киргизы на нем. Пляшет шаман, в пене руки.

И боги новые в травах укутаны, на руках трясутся — трусят, тоже в пене розовато-зеленой.

Бьет в бубен шаман, кричит:

— Э-э-эй, отзовитесь, пустите шамана с вами говорить, помогайте!

Бьются в пене сердца, бьются боги, скала, озеро под ней — бьется. Скот в ауле, юрты — все кричат:

— Помогите-е!!

XXXIV

Рыжебородый Наумыч обивал кошмами верх телеги.

У потухших костров, завернувшись в тулупы, спали мужики. Телеги вздернули оглобли, и в зеленовато-желтом сумраке, казалось, рос по котловине прямоствольный тальник.

А были в котловине пески да прижухлые травы, мелкие, как песок. И еще озеро в камышах и солнцах, похожих на плиты соли.

Пришел с осмотра лагеря Никитин, одна щека была у него перевязана — болели зубы.

Наумыч сказал:

— Привезем мы вас к самой борьбе, скажем для виду-то — болящие, али что... коли спросят.

Никитин спросил:

— Оружие привезли?

Наумыч почесал молотком бок.

— Оружью?.. Ты ведь, баял, не привозить.

— Не нужно.

— Значит, не привезли. Дисциплина! Они тоже понимают!..

Калистрат Ефимыч отозвался с телеги:

— Привезли. Ты ему, Микитин, не верь.

— А ты укажи, — разозленно крикнул Наумыч, — нет, ты укажи, где оно?..

— Найдешь у вас...

— Ну, и молчи!.. Раз твое дело молчать! Я штаб, я отвечаю, понял?

Полдень закружился сухой, желтолицый, яркий.

Яркие отделились от юрт офицеры. Загарцевали в лисьих малахаях баи на иноходцах. Гикали джигиты.

Сказал Калистрат Ефимыч:

— Байга!

И, отгибая кошму, как будто радостно отозвался Никитин:

— Байга!

Пески на поляне желтые, как масло. Люди на земле — липкие, блестящие листья. С одной стороны — киргизы, с другой — новоселы.

Желтая шелковая нить песка перед ними. Лошади дышат торопливо. Тяжел, густ человеческий пот. Ржут телеги, ржут люди; вся земля — пески ржут.

Пыль над поляной, над розовым озером.

Подвезли телегу к поляне. Мокрый, с мокрой фуражкой, тискался Наумыч, кричал:

— Не жми! Не жми! Тут болящие-е!..

Хохотали мужики.

Офицер румяноуший выехал на середину поляны и, пригибаясь к луке, говорил, сбивчиво и волнуясь, о дружинах Святого Креста, отрядах Зеленого знамени, о защите отечества.

Вороная лошадь играла мускулами. Наумыч сказал:

— Ладный конь!.. Надо приметить!..

Джигит выехал с бараном через седло и понесся. С гиканьем догоняли и рвали барана джигиты.

— Кто вырвет — выиграл, — сказал Наумыч в телегу.

Густо пахнущей тайгой стояли мужики, и ни один не выбежал на поляну. Только, как ветер листьями, шевелил мчавшийся джигит волосатые веки мужиков.

— Наших нет? Не догоняют? — спросил Никитин.

— Борьбы ждут. Ето все так... зря...

Голоспинные киргизята гнались вперегон на коротконогих лошаденках. Киргизы загикали:

— Ей! Ей!

Но так же, колыхаясь глазами, тесно стояли мужики.

Киргизы взглянули на темные пласты их тел, на неподвижную шерсть бород и, замолчав, сдвинулись.

Пахло кислой кошмой в телеге, глядеть в щель нужно через Никитина. Нельзя было охватить все поле, наполненное людьми.

Калистрат Ефимыч сказал:

— Жарко.

Точно пронизывая кошму длинными коричневыми от табака пальцами, отвечал в щель Никитин:

— Нет. По-моему, прохладно...

Подходили, подъезжали еще.

Не пески, не земля дышит — люди в овчинах, в азямах, на телегах, на лошадях. Гнется, вглубь уходит земля — темнеет. Только блещет над ними озеро, камень — скала священная — Копай.

Говорит аксакалам шаман Апо:

— Душно мне. Все внутри как плесень. Зачем жмутся и молчат русские? Зачем они не веселятся, не играют?

Отвечали аксакалы:

— Ничего. Русские сразу веселиться не умеют. Русские хотят видеть борьбу.

Говорят баи:

— Где батырь Докай? Пусть готовится.

Сказал Калистрат Ефимыч:

— Тяжело тут в телеге-то, парень! Только и видно, что гриву, хвост али спину киргизскую... Надо на волю.

Через кошму кричал рыжебородый Наумыч:

— Ничего. Сиди, штаб. Это не антиресно все, счас бороться будут.

И борода его над телегами — как желтый флаг.

Дышат — хлебом — пьяным запахом мужики. Небо хмельное, играет над поляной. Лица хмельные, волосатые, как кустарники.

— Дава-ай!..

— Кузьма-а!..

— Борись!

Говорит шаман Апо:

— Сердце у меня бьется, как священный бубен. Не отдадут кабинетские земли русские.

Отвечают джатачники:

— Не надо нам земли. Пусть баи ведут нас в Китай... Не хотим мы воевать!..

Кричат джигиты на иноходцах:

— Докай идет, идет Докай, с русским хочет бороться.

Говорит шаман Апо:

— Подымите меня над арбой — хочу видеть борьбу.

XXXV

Зазвенел холм. Смотрят — подымаются длинные фургоны, зеленые. Лошади рослые и, взойдя на холм, не шелохнутся. Ждут.

Подмигнул за кошмой Наумыч:

— Немцы-колонисты!..

— Зачем они?

— Они-то, Микитин, очень просто. Приехали, значит, коли кыргызы нас бить будут — наше добро подбирать. Коли мы кыргызов — кыргызское.

Докай-борец, низенький, губы тонкие, как степное озеро, лыс, и во всю голову шрам. Кузьма над ним, как бык над овцой. Вытянул руки, взял за опояску, поднял на руках, потряс и на землю — а-ать!..

Ахнули мужики:

— Э-эх!..

Охнул в телеге Калистрат Ефимыч:

— Та-ак!..

Нет, на ногах киргиз. Песок с ичига стряс. Лицо бескровное, желтое. У Кузьмы муть по лицу.

Уперся киргизский борец, заворочался в песке ногами. Забился и вытянулся на его руках в воздухе — Кузьма.

Загикали, засвистели киргизы:

— Солай! Солай!.. Айда, Докай, айда!

Рявкнула земля, запылилась. Пыль-песок на телегу Калистрата Ефимыча.

Нет, на ногах борцы. Опояски не выдержали — лопнули. Надо сменять опояски.

Рванул за опояску Кузьма, забороздил телом киргиз. Потащил его Кузьма, как таволожник из земли.

Не падает киргиз, держится.

Полощутся на поле мужики, густой пылью рев висит:

— Кузьма! Кузя, не выдавай!

— Кузя!.. Голубь!..

Свистят киргизы. Лошади ржут, арбы скрипят.

— Докай!.. Тэ-эк!.. Батырь!

— Айда, Докай!..

В пене, в крови борцы. В пене люди и лошади. В пене земля. Все борется, все гнется, все ломается... Ветер ли, люди ли, тайга ли!..

— Э-эй, Докай!..

— Ге-ей, Кузя!..

И только те — неподвижные, четырехугольные — вдали ждут на холмах, молчат. Немцы.

И еще оторвал от земли Кузьму Докай. И еще понес, тиская мясо и жилы.

Душно в телеге, жарко. Откинул полог Калистрат Ефимыч, в голос поднялся над телегой:

— Ку-узьма!.. Ва-ляй!..

Не слышно его голоса, все орут, землю рвут телеги.

— Ку-узьма-а!..

— Ва-ляй!

И час, и два, и до обеда ходили, тискали землю борцы.

Дышат в один мах — привыкли. Глаз тоже один — мутный, смертоносный. Руки на поясах в тело вросли, опояски кости ломают, ноги землю ломают. Не переломать ей кости, не согнуть землю.

Охрипли от рева киргизы и русские. Отхлынули от борцов.

А они в пыли, в крови и в пене — ходят. Рты не закрываются.

Мечется в телеге Калистрат Ефимыч, за руки, за плечи Никитина хватает.

— Кузя!.. Не выдавай!.. Микитин, ты-то чево? ты-то! .

Темным пламенем горит глаз. Смотрит через борцов, через юрты. Не отвечает Никитин.

— Кузя, ты ево, ты ж!..

Ходят борцы. Весь день ходят. Весь день ревут на лошадях киргизы.

Вечер.

Ушли офицеры — устали. Казаки на конях дремлют.

Солнце — усталый борец — подходит к тайге. Ветер в золотом бешмете несется по котловине, сонный ветер, усталый.

Гикают киргизы, кричат:
— Кончай, Докай, славный батырь, кончай!
Гудят, ревут мужики:
— Буде, Кузя, буде, родной!.. Крой его, стерву!
Обернулся Кузьма и, не шевеля ртом, сказал:
— Си-ча-ас...
Ослабли руки, и дернул от себя тело Докая, а потом грудью — хряс. Как щепа, переломилась пыль над головой, туман розово-золотистый.
Заревели мужики:
— Так ево, та-ак...
Кинулись к песку, пыль сорвалась — опять на земле. А на земле, скрючив руки и запрокинув голову, поборотый Кузьма.
Над ним Докай, оперся в грудь его, подняться сил нет. Пальцы скрючены в опояске.
Гикают радостно киргизы:
— Солай, э-эй!.. Поборол русского! Э-эй!..
К мужикам Наумыч.
— Кузя-то, парни, отошел!
— С надсады?
— Эх, ты-ы!.. — крикнул Наумыч.
И ножом в усталый глаз Докая! По телу Кузьмы пополз Докай на землю.
В лошадях закричали:
— Кро-ой, православные!..
И топот. И рев в топоте, как пыль — алый...

С разбитою головою на арбе киргиз. Юрты в крови.
Небо багрово.
Лошади ржут.
Травы в криках:
— Степша-а!..
— Ре-ежь!..
— Не спрашивай!
— Режь!..
Топор в голову, как в гнилое полено. Аракчин на голове — не расколешь.
— Не бей топором в плечо — в голову бей!
— Офицера-а!.. Офицера!.. В погон ево, стерву, бей в погон!
Ра-аз! Топор по погону! Вместе с плечом погон полощется кровью.

— Получай генеральство!..

Патронов мало — бей кóлом.

— Кабинетскую землю — хочешь?

— Получай!

За юрты прячутся киргизы. За кучи кизяка, в табуны.

— Скотину не трошь!

— Скотина годна!..

В арбах скрипят. Визжат. Бегут по котловине арбы. Бегут киргизы. Как комар от дыма.

Табуны бегут. Никнут в топоте кровавые травы.

— Скотину не пушшай!..

— Ладно-о!..

— Волки задерут!

Киргизы по котловине. Киргизы в камыши.

— В камышах стреляют. Офицер!.. Солдаты!..

— Окопайсь!..

— Микитина сюды, Микитина!..

— Э-э-ой-ой, товарищи!

— Держись!..

Небо на земле. В озеро кровь льет. Кровь вяло пахнет.

Спускаются с холма медленно, неторопливо четырехугольные. Тихо позвякивают фургоны. Они объемистые, они подберут. Немцы.

И еще — степь... Бежит. Пески бегут...

Котловина, лога...

Кошма под ногами. Ноги мнут кошму. Ноги сорвали кошму.

Лошади рвут вожжи. Телега рвет землю.

Синебородый, огромный, мечется в телеге.

— Одно-о, Микитин, землю-ю!.. не дадим!.. Микитин... гони-и!..

Несется синяя телега. На колесах кровь, мясо, пески, травы...

— Гони-и!..

Гонит Калистрат Ефимыч лошадей. В крови гривы. Облака над степью — алые гривы.

— Товарищи-и!.. Тише, товарищи!..

— Гони, Наумыч, бей!

Камыши стреляют. Озеро стреляет. Над озером плачутся утки.

Руки Калистрата Ефимыча на топоре.

— Гони!..

— Землю тебе-е?..
— Кузьку-то... Кузьку!..
За телегами — телеги, телеги... Лошади... Винтовки... Пулемет...
— Зачем оружие? Как смели применить оружие? — спрашивает Никитин.
Камыши горят. Стреляют. Телеги ломаются на телах убитых, как на корнях.
Седла на земле. Кошмы.
Турсуки, овцы блеют, напуганы...
— Бе-ей!..
— Микитин, к камышам тебя. Микитин!..

По юртам телеги. Грохочут. Небо грохочет, ветер грохочет.
Камыши горят. Кровью горят бороды.
— Выживем.
— Выйдут!
Травы горят. Небо в дыму.
— Траву!..
— Не уйдешь!..
— Микитин!..
— Ми-ки-и-тин!..
Гарь в земле. Бегут киргизы, бегут. По котловинам, в степи...
— Бисмилля!.. Бисмилля!.. Уй-бой!..
— Карагым!.. Ченымау!..
— Бей!..
— Крой на мою голову!..
Из камышей с поднятыми руками офицер и солдаты. В камышах — дым, треск.
К озеру на телеге Никитин:
— Товарищи, не трогай-й!..
Офицер впереди, этот офицер впереди всегда. Раз ты впереди — получай, поручик Миронов!
— Бра-атцы!..
На земле офицер.
— Чужие земли раздавать?..
На документе — поручик Миронов. И еще — в кобуре наган. Сгодится.
Никитин на телеге.
— Расстрелять!.. Самоуправство! Кто тут посмел?

Нет никого. Степь. По степи киргизы. Киргизов надо догонять.

На коленях солдаты. Руки кверху.

— Э-ей!.. Конвой!..

Какие конвои! Степь горит. Камыши горят. Треск на небе. Облака горят.

На топоре рука...

— Кро-ой...

Эй, земля хмельная, убийца! Лошади хмельно мечутся. Давай лошадь! Не эту, так другую!

— Куда, Ефимыч?

— Поеду! Все равно.

Конечно, все равно: раз небо горит. Раз озеро горит.

Лошадь боится синебородого — несет. Топор за поясом, лошадь за поясом.

Все равно.

Медленно, спокойно шли длинные фургоны по следам. Лежали там ровно сложенные кошмы, меха, седла. Гнали четырехугольные, крепкие и немногословные люди крепкие стада: лошадей, овец. Медленно, неторопливо. Ночь длинная — зачем уставать? Волки огня боятся. Торопиться не стоит.

XXXVI

Заперли шамана в загон. Подох в загоне теленок, выволокли его на назьмы, за заимку, волкам и собакам. Вместо теленка — шамана.

— Пленный, — сказали.

И поставили часового.

Стоит часовой, штыком глиняную стену царапает — скучно. Пошел за табаком и не вернулся.

Забыли шамана.

Снег дул тонкий голубой. Земля была тонкая, голубая и веселая.

Жарко шаману, халат расстегнут, бегает по загону, по подмерзшему назьму.

Эх, сильно бьют русские, много крови выпустили русские, поди, так целые озера. И боги русские не помогли. Сжечь надо плосколицых, темных.

В щели дует голубой снег. Щель голубая, а в загоне темно, как за пазухой.

Кровь у шамана Апо на затылке, жарко затылку, точно горячая лепешка приложена.

Ноги болят, голова болит, богов нету.

Бубна нету, да и зачем шаману комлать, когда боги убежали, как листья от снега. Не призовешь богов. А без богов — как без кумыса.

Бегает загоном шаман. Часовой обедает, затем табак крошит на трубку.

Жарко шаману, будто лисице в гоне.

Встал на колени, запел:

— Ушел дух Койонок на Абаканские горы, ушел и не вернется! Потерял конь узду, не вернется!.. Душа твоя, как белки Абаканские,— не растают!.. Койонок, Койонок!..

Голубой снег падает. Голубые деревья растут.

Вскочил шаман. Заплясал шаман. Завыл шаман. По всей заимке — как десять троек промчалось.

Бегут русские, спешат к загону.

Заметили духи шамана. Увидал их, полетел над тайгой шаман Апо.

— А-а-а?.. Поймал глазами моими, поймал, где духи были! Когда киргизов русские убивали — вы каким мясом обжирались? Зачем сейчас шаману явились? А-а-а!..

Пляшет в священной пене шаман. Руками бьет — нет бубна. Тело содрогается, потрясает, нет на теле бубенцов, нет на теле железа, нет плети.

— Бить буду! Железом гонять буду!..

Нечем бить — нет железа, нет плети. Улетают духи на малиновогривых конях.

Русские у двери хохочут широко:

— Завертелся!..

— Орет-то, как бугай весной!..

— А нос-то в пене!

— Во-от лешак!..

На плечах у русских снег, шапки снежные, широкие. И голоса как таежные сугробы. И лохматы из собачьих шкур дохи.

— Спятил!..

— Каюк!..

— Получил кабинетские земли?

— Захотели, собаки?

— Земель всем!.. С большаками воевать!

И комлал до вечера шаман, — до вечера хохотали мужики. Приходили и уходили, а смех метался у дверей плотно и неустанно, как снег.

Вечером ушли — привезли в заимку пойманных офицеров. Было их пятеро. Все без погон, без шапок. Уши у них отморожены.

Один молоденький, прижимая руки к ушам, плакал и кричал:

— Граждане! Мы же сочувствуем!.. мы вполне... случайно!..

Рыжебородый Наумыч орал:

— Верна!.. Усе вы, стервы, сочувствуете, усе! Бить вас, стервей поганых!..

В избе заседал штаб. Ревели на улице полозья. Никитин верхом объезжал отряды, а за ним мальчонка охлябью догонял и кричал:

— Дяденька Микитин, у штабу старики просют! Дяденька!

Было мальчонке весело, свистал он, колотил лошадь кнутом по ушам.

Старик с тающими глазами и с бородой, похожей на ком грязи, сказал:

— Делов многа... Атамановцы с города наступают... Пять волостей соединилось, к нам идут. Чево тут на офицеров смотреть?

— Опять народ требует, народу надо!

Штаб вынес постановление: «Расстрелять».

Офицеров повели в тайгу. Торопливо, не оглядываясь, увязая в снегу, шли офицеры.

Плотно сбившись, с винтовками наперевес, позади мужики.

Гикали мальчонки. Громко кричали мужики. На назьмах, поджав хвосты, рвали труп теленка тощие собаки.

У самой опушки заметили на дороге к тайге мчащуюся кошеву.

— Ефимыч! — крикнул мальчонка.

И, перебивая друг друга, радостно отозвались мужики.

— Листрат Ефимыч! Едет!..

— Смолин!.. Едет!

Тряслись по кошеве алые, зеленые ковры.

Звенели бубенцами пенно-гривые лошади, и снег был над ними, под ними — атласно-голубой.

— Ефимыч!

— Батюшка!

И один из мужиков радостно крикнул офицерам:

— Бяги! Некогда с вами тут!

Офицеры, пригибаясь, царапая руками снег, побежали.

Мужики выстрелили. Офицеры осели в снег.

Махая винтовками, с гиканьем понеслись мужики к кошеве. Шарахнулись лошади, фыркнули и, изгибая в дугу потное тело, свернули и помчали кошеву сугробами.

Поднялся в кошеве Калистрат Ефимыч в бараньем черном тулупе. Махая шапкой, кричал:

— Шеснадцать волостей. Шеснадцать, хрещены, за советску власть!

Жарко и душно в штабе. Пахнет овчинами, сосновыми дровами.

Распахнув тулуп, в полушубке, затянутом зеленой опояской, в красных пимах-валенках, густо говорит Калистрат Ефимыч:

— На съезду Советов шеснадцать волостей, одна не хочет — расстрелять приказал усю.

Никитин вскочил:

— Прошу слова!.. Не уполномачивал!

Закричали со двора мужики:

— Обождь, Микитин, обождь! Дай Листрату!

— Дуй, Листрат, правильно!..

Широкий, как стол, тулуп. Воротник курчавый, мокрый, борода синяя оттаивает — каплет.

— Усех делегатов расстреляли — не дерзай, коли всем миром идем.

— Пра-авильна!..

— Не лезь!..

— Атамановцы с городов идут. Полки! Тьма-тьмущая, надо и нам сбирать. У те, как Микитин, сбираешь?

— Побьем!

— Крой!

— Усех порежем!

Злятся, трясутся стены избы. Земля на дворе обжигает черные зубы, люди на зубах у ней, как пена.

Гудит, ширится в духоте резкий голос Никитина:

— Товарищи!.. Ячейка протестует!.. Товарищи, надо!..

— Чаво там, Листрат, дуй, бей на нашу голову!!

Мокрый бараний тулуп в дверях. На крыльце. Как бревно — над головами голос:

— Шеснадцать волостей в полку!.. Колчаковскую, значит, армию бить.

— О-о-о!..

— Валяй, Листрат!.. Валяй!..

У ворот в шали и в шубе — женщина. Липнет по воротам бледно-малиновый снег. Комья его, как цветы, — на земле.

— Настасья? — спросил Калистрат Ефимыч. — Аль нет? Тебе чего тут?

Темное, сухое, как старое дерево, лицо. Руки под тулупом шарятся.

Наумыч сказал:

— Гости к тебе, Ефимыч, Грищпина.

Расталкивая снег, мечась телом, закричала Агриппина:

— Антихристы, христопродавцы! Чтоб вам ни дна ни покрышки... провалиться вам в преисподнюю, душегубы! Будь вы прокляты!

Наумыч, махая галицами, смеялся.

— Пойдем в избу, — сказал Калистрат Ефимыч, — нечо улицу срамить.

А в темных сенях зазвенели металлические ее руки.

Взвизгнул Наумыч:

— Листрат, берегись... режет!..

Мяли темноту трое.

Тыкал топор по стене. Темнота вилась и билась в крике бабьем:

— Грех... на душу, владычица Абалатская!.. Душегуба, разбойника!

— Убью!..

...Рыжебородый Наумыч притащил Агриппину к загону, где заперли шамана, втолкнул ее и разозленно сказал:

— Резаться, курва? Мы те научим!

Потрогал труп шамана, перевернул вверх лицом и, сложив ему руки крестом, сказал:

— Поди, какой ни есть, а поп. Царство небесное!

Плакала у кровати Настасья Максимовна. Грудь как сугроб, а глаза — лед ледниковый.

— Решат так тебя, Листратушка. Не один, так другой!.. Кабы не Наумыч, кончила бы она тебя, Гриппина-то.

Распуская зеленую опояску, говорил Калистрат Ефимыч:

— Меня кончат не скоро. Я стожильный. У ей, вишь, наши-то полюбовника убили... А можст, и я убил?

Помолчал и, ставя пимы на печь, добавил:

— Пришло время — надо убивать. А пошто, не знаю... Микитин не велит. По-своему гнёт. А убивать приходится.

— Кабинетски-то земли отняли?

— Отняли!.. Как же!

— А теперь каки будут отымать?

— Найдется.

Взбивая подушки, сказала Настасья Максимовна:

— Я, Листратушка, мыслю пельмени доспеть и Микитина на пельмени кликнуть. Поди, так и покормить сердечного некому?

— Доспей!

...А в это время у поселка Талицы Власьевская волость давала бой атамановским отрядам.

Бежала у поселка и по долине сизо-бурая лисица — снег густой.

XXXVII

Бежал по земле снег, густой, сизо-бурый — лисица Обдорских тундр.

Били атамановцы из пулеметов, из орудий в повисшую над ними ночь. А ночь била в атамановцев — из пулеметов, из пушки древней, что вытащили из музея. Заряжали пушку гвоздями, тащили на лыжах, били в тьму.

Трещит поселок — горят пригоны. Сено — вверх в сизо-бурое небо! Алое сено вниз — в сизо-бурую землю.

Алый огонь поджигает небо — горят избы.

Трещит поселок — горит ветер от поселка, багровый! Люди бегут поселком в багровых рубахах.

— Восподи!

— Владычица, спаси и помилуй!

Железо не любит разговора — железо заставляет молчать.

У каждого двора убито по бабе. У каждых ворот по бабе. Нет мужиков — бей баб. Разворочены красные мяса чрева.

Бить кого-нибудь надо.

Бей, жги!

Бей снега, жги небо!

Аспидные пригоны. Алый огонь. Поднял пригоны, потряс над землей, рухнул. Желтые искры по земле, гарь в нос!

Смолистый дым в нос, в глаза! Сизоперый дым в грудь! Кашляют люди, а стреляют.

Из-за каждого угла, из-за каждого сугроба.

На лыжах белые балахоны — как сугробы.

Орут сугробы:

— Крой, паря!

Смолистый дым — как заноза в глазу. А особенно, когда своя изба горит.

Хромой мужик бегает по двору, кричит багровым криком:

— Дарья!.. Фекла!.. Сундуки-то в погреб. Сундуки-то прячь!

Надо же какой-нибудь бабе быть убитой у ворот. Лежит Дарья.

А пулемет за улицей, пулемет на улице. Пулемет в поле.

— Товарищи-и, не поддавайся!

— Прицел шестнадцать — четырнадцать, Кондратьев!..

— Есть!..

У атамановцев черные погоны. У мужиков нет погон. Умирают на веселом, сизо-буром снегу атамановцы и мужики.

Умирай, умирай!

Бей, жги!

Сам Калистрат Ефимыч приедет завтра. За ним шестнадцать волостей идет!.. Бей, не унывай!

Хромоногий Семен на лошади, позади баба. Баба тяжелая, как воз. У лошади хребет тонкий. Лошадь боится пламени, несет, стонет.

Не нужно на лошади по улицам, — по пригонам — не заметят. Бежит хромоногий по пригонам.

— Митьша, эвот на лошади-то один?

— Один? Двое. Бери на мушку.

Не выдержала лошадь, перегнулся хребет — пала. Нет, это сердце у ней не выдержало — пуля его расщемила. Дерево пуля разорвет — живет дерево, а лошадь не может.

Перегнулся хребет, как сугроб под ногой, — издохла.

А в шубах те, двое, живы. Хромоногий и баба меж суметов ползут.

— Сенюшка, страсти-то какие!

— Молчи ты, сука!

А чего молчать? На улице пулемет. На каждый пулемет — десять убитых, а пулеметов всего — десять. А, может, и сто убитых на пулемет?..

Горит двор дедовский, сундуки в нем вековые, сухие, как зимняя хвоя.

А скот забыли. Ревут пригоны. Горит скот — паленой шерстью пахнет. Красно-бронзовые у скота глаза.

Красно-бронзовый ветер в небе хохочет, шипит, свистит.

Смоляной дым — как рана. Смоляной дым хотя и слепые глаза проест.

Проело слепой Устинье глаза, плачет старуха.

— Пожар, что ли, Листратушка, Семушка?

Отвечает багровый ветер с неба, шипом-шипит на сизо-бурый снег.

Тычется по двору Устинья — ворота ищет. Не надо ей ворот!

У ворот убита одна баба, — больше не надо, у каждых ворот по одной.

Эх, ветер, ветер, пурпурно-бронзовый и тугой!

Заблудилась старуха. Дым гложет глаза. Пламя по седому волосу. Бежать старухе, бежать!

Босиком она. Зима, а тепло. Босиком старуха — в пригон. Развязала ворота, распахнула.

Ага, нашлись люди, догадались выпустить скот! А почему баба на дороге? Скоту нужно бежать из пригона.

Лежит на горячей, талой земле старуха Устинья, греется, она привыкла на голбчике. А скот рогами в заплоты, скот ревет. Ворот открыть на улицу некому.

Горят ворота. Горит скот. Горит Устинья.

Небо горит, снега горят.

XXXVIII

Эх, и голубые же снега, запашистые!

На бочке верхом ехал заимкой рыжебородый Наумыч. Как в пустую бочку, кричал по дворам:

— Товаришши, спирт отбили.

Липкое желтое пламя от смольевых щеп.

— Пей, товарищи, подходи!

Со смолья багровые капли на снег. Шипит ночь, расползается.

Эх, ковши — не ковши — ведра! Пей!

Смолой пахнет жгучий спирт, разбавляй снегом, чтоб холоднее.

В широкие, как стакан, глотки ныряют жгучие ковши. Пот по волосатому телу. Жарко!

Щепы ветер рвет, пламя над бочкой, над лошадью.

— Эй, кто там еще? Подходи!

Подходят.

Всем умирать, всем пить.

Все пьют.

Пьет Калистрат Ефимыч. Ему ковш эмалированный. Никитину — ковш медный.

— Лопай, еще везут!

Ах, и голубые же снега, голубые! Ах, и звенит же тайга, звенит! Орут громогласные песни:

> Эх, распошел ты...
> Мой серый конь, пошел!..

На бочке верхом рыжебородый, бьет валенками в бочку, кричит:

— Подходи!

Бабы с ковшами из шалашей, бабы с котелками из землянок, ребятишки голобрюхие — с чашками.

— Пей!

А потом с горы, с яру, катались на шкурах, на кожах.

Вся заимка Лисья катается, гуляет.

Гуляют, пьянствуют Тарбагатайские горы!

Снег над шкурами клубом. Гора клубом. Небо клубом.

— О-о-ох!..

Голова кругом, колесом, летят, шипят, сшибаются шкуры.

На горе три сосны сухостойных подожгли. На горе пламя. Все под горой, как от щепы, видно. Полыхает гора.

— Садись, Микитин!

Ледяная гора разукатистая. Ледяное небо катится. А по небу луна тоже с гор на шкурах несется.

— Садись! Э-э-э-х, ты-ы!..

Бабы визжат. Баб, когда катаешь, обнимать надо. Как снег под полозьями, визжат бабы.

А в штабе курчавый играет на гармошке. Курчавые все и всегда — гармонисты.

Шлюссер-мадьяр и Микеш-серб с девками кадриль ведут.

У дверей парни семечки щелкают.

Мороз щелкает избы, как семечки.

Подошел парень к бочке, сказал Наумычу:

— Девка-то та, в загоне, замерзла.

Поднял кружку со спиртом рыжебородый.

— Пей! Какая девка? Гриппина-то, што ль? Пушшай! Царство небесно!

Выпил парень, пошел. Крикнул рыжебородый:

— Ты старику не говори, скажем — убегла!.. А ты как туда попал? Кралю повел, что ли?

Хохочет парень.

Кошеву в коврах привезли. В кошеве Калистрат Ефимыч, Настасья Максимовна, Никитин.

Парни по краям. На задках парни. Смольевые щепы в руках горят. Желто-багровый огонь, веселый.

Летит кошева под гору — голубой и желтый клуб. Смолистый дым, веселый. Смолистый дым — как спирт.

— Э-эй!.. Сторонись, тулупы!..

Вся душа в снегу, все небо в снегу — голубом и мягком.

...Здорово!..

XXXIX

Снега мои ясные — утренний глаз олений! Вся долина, вся земля — белки Тарбагатайские.

И медведь лохмокосый в берлоге, и красный волк на скалах, и лисица по хребту сугроба — ждут.

Ой, не скрипи, железо, по дороге, не вой за сугробом, волк, — сердце мое, как пурговая туча — по всему небу, по всей земле!..

Лиственницы бьются — не хотят на плечи снега. А снег на них бледно-зеленый, а хвоя бронзовая.

А ветер золотисто-лазурный в хвою уткнулся, бороду чешет.

Эх, снега мои ясные, утренний глаз, олений, — ждите.

...Снега шли на запад, тащили за собою морозы.

Мужики шли на запад.

Из тайги — к городам. Из гор — к городам.

Расступитесь, снега, разомкнитесь — голубое, золотое кольцо свадебное!

Сшибаются розвальни на раскатах. Закуржавели лошади. Сшибаются закуржавелые бороды.

— Е-е-ей!..

— Ей!..

От поселка к поселку, метет пурговое помело, метет. Лыжи по насту — как снежные струйки. В рукавицах топоры, винтовки, на розвальнях пулеметы.

Холодный ствол, — убьешь троих — нагреется. Руки отойдут. Душа людская отойдет — вверх.

Гонит землистоглазый старик обоз пустых подвод.

— Куды? — спрашивают.

— В городах-то возьмем!.. Бают, имущество раздавать будут!..

Хохочут старики, у самой земли — седая борода.

Города замыкаются в железо. Двери на железо — болты. Штыки за городом — болты.

— Кро-ой!..

Над тайгой зарево. Над городами таежные сполохи.

Не сиянье полярное — тайга горит. Не на льдинах белые медведи — мужики-лыжники, душегубы-охотники.

Эх, и голубые же снега, голубые, запашистые.

Нет, я иду, иду в снегах, пошел!

Любовь моя, радость неутомимая!

Эх, душа моя — кошева на повороте! А ковры туркестанские — губы.

Ковры снега мутят. Кошева на раскате. На пятнадцать верст лошадиный храп!

Так любите, люди, так!..

Плескалась по горнице мокрыми коричневыми ладонями бабка-повитуха Терентьевна. И вытаскивала из углов одной ей ведомые тряпицы.

Велеречит слова, ей нужные:

— А ты, муженек, в передний угол иди, крестись, чтоб лбу больно было... Роды тоды будут легки, как пух.

Стонала Настасья Максимовна.

Жарко в горнице, как в бане, а выскочить нельзя.

— Мамонька-а!.. темечко-о!.. Бабонька! Бо-ольно!

Оловянный у старухи глаз, бельмовый, наводит его на роженицу.

— Кричи швырче — пройдет!.. Я как рожала-то, чуть потолок криком не разорвала. Кричи!

Вышел ребенок. Будто перенявши у матери крик, полетел им по комнатам, криком тонким и белым:

— Ы-ы-и-и-и!..

— Уйди, Листрат, на двор пойди, передохни. А как в грудях заноет — приди. Исстари так!

Юбка у Терентьевны — как стог, а голос — травинка.

— Крепка у те баба-то, будто блин съесть, родила.

В воротах мечется зеленый тулуп, шапка под тулупом высокая — колокольня. А голос двери шевелит:

— К тебе, ча-адо, Калистра-ат Ефимыч!.. Грехами и муками!..

Пробил тулупом сугроб в воротах, рукавами трясет.

— Страданьями и наказаньями в логово разбойничье принесло меня!

Растет из воротника зеленый попов волос, сел на приступочку, вздохнул:

— Аки сына блудного в дом не пускаешь?

— Баба рожат, отец Сидор.

Запахнул поп Исидор тулуп, снег стряхнул.

— Тогда сам не пойду!.. Талицу-то спалили, слышал?

— Знаю. Семена не видал?

— Не видал, чадо. Може, убили, а може, сам убился. Мне-то куда? Церковь сожгли, ульи у меня сгорели... Думал, на заимке-то ограбят, домой привез... Мед-то горел — за-апах... чисто поляна...

— Все сгорело?

— Как бумага, и золы нету. В город мне бежать нельзя.

— А ты беги.

— Скажут — беженец. Деревенски мужики поймают, повесят. У вас тут места не найдется?

— Живи.

— Не служите?

— Чево?

— Обедню, скажем, вечерю. Аль требы каки?

— Не надо.

— Ну-у!.. Поди, и дите крестить не будешь?

— Буду.

— Закон!.. А жалованье как? Не полагается, поди, уставов нету... Я и на доходах могу!..

— Живи.

— А как церкви думаете строить? Поди, так и отменят стройки. Стары-то сгорят...

Ходил поп Исидор по заимке день и два.

Гнали табуны, пойманные на еланях. Шел скот худой, одичалый, на людей смотрел, как на волков. А погонщики были тоже тощие, как волки весной.

Крестился под тулупом поп Исидор, прижимался к амбарам и был весь точно копна старого мха.

Уходил в землянку, зажигал жирницу и читал, не глядя в листы, требник. Голос у него был, как у поднявшегося роя пчел.

А волости требовали людей из штаба. Никитин словно прирос к столу, и, глядя на него, казалось восстание — ворохом бумаг, поднятых ветром.

— Поезжай, — говорил он Калистрату Ефимычу. — Я здесь. Я вижу...

Неслась оснеженными полями алая ковровая кошева.

От темных изб не отчищали снега, — чтоб не заметно поселков. И были поселки как сугробы, а дороги как звериные тропы.

Спал в логовах медведь, спали горы. В избах — сонные, мягкие лица.

Много было в этом году ребят, и все ребятишки не были такими, как Васька, Листратов Васька.

А Васька, мигая теплым личиком, похожим на розовую каплю, сосал большие и круглые груди.

И небо сосало из белой зимней груди голубой дым.
Говорил попу Исидору Калистрат Ефимыч:

— Оглянуться некогда, несет, как лист в бурю.

Густо овчинами вздыхал поп:

— Куда бы мне уйти, чтоб пчел водить можно было?..

XL.

С бубенцами пронесся рыжебородый Наумыч. Вбежал в присутствие — борода плавит снег, глаза плавят куржак на бровях.

— Листрат Ефимыч, сына твово Семена пымали с белыми.

— Иде?

— Под Воробьевской в роте ефрейтовал. Как есь весь наш отряд постановил — убили твово сына, Митрия, кончили, назначить в вознагражденье Семена командером сводного отряда.

— Ну и ладно!

— Надо тебе ево?

— Семена-то? Не надо, — ответил Калистрат Ефимыч.

Сел в кошеву Калистрат Ефимыч, взглянул на солнце — молодое, играет.

Идут селом обозы, а людей в обозах не видно. Пригляделся — лежат в санях, будто все время от пуль берегутся.

— Куда?

— На спокойную землю.

Захохотал рыжебородый.

— Коней загоните, не найдете!

Молчат сани. Скрипит на полозьях молодое солнце. Темно-синие проруби чистит пешней киргиз. Пахнет дорогой, назьмами.

Сказал Калистрат Ефимыч:

— Зима-то какова? а?..

Расстегнул шубу Наумыч, трубку достал. Кони несут, довольные.

— Зима чешет почем зря! Однако белых утурили мы далеко. Поди, как март идет, — месяца-то, бают, отменены...

Обогнала кошева обозы, идущие на спокойную землю. Лежали в санях люди, похожие на трупы, а ребра у лошадей торчали в шерсти, как прутья.

Розоватые и теплые, как тело ребенка, лежали снега.

Горевала у люльки Настасья Максимовна:

— Докудова жить-то тут будем?.. Сердце — и то все в золе! Не шевельнуться, не повернуться... только и знают — народ бить.

— Обожди.

Разбросил свивальники Васька, бьется в люльке, кверху ползет.

Смотрел на него Калистрат Ефимыч, долго смотрел. Вышел на крыльцо.

Сутулый парень с ведром клейстера лепил на амбар бумаги.

— Чево ты? — спросил Калистрат Ефимыч.

Парень поставил ведро и, обтирая руки о валенки, торопливо ответил:

— Муки полно ведро завел, а приказы лепить некуда... На кедры, что ли, в тайгу?

Остановил проходивший обоз и лепил приказы на сундуки. Мужики тоскливо глядели на парня и, отъехав за амбар, соскабливали кнутовищем бумагу.

«По приказу ревштаба... первой армии... мобилизация...»

Пощупал мокрый лоб Калистрат Ефимыч, шапку на затылок передвинул.

— Теплынь!

Хрупко ржали на пригонах лошади.

Таяли снега, таяли. Рождалась розовая земля. Телесного цвета, пухлые, как младенцы, бежали на облака горы.

Уходил в леса Калистрат Ефимыч. Искали его штабники — не находили. А нарочные привозили бумаги. Востроносый, как в гагьём гнезде, сидел за столом Никитин.

Сухое, как береста, сердце Калистрата Ефимыча. Сухое и жмется от дум, как береста от жары... Ност душа, по лесам бредет.

Встретил рыжебородого Наумыча на опушке. Махал топором, как рукавицами, по деревьям зарубы.

— Куда, на каки дела?

Засунул топор за опояску. Бороду широкую, острую, как топор, — за ворот.

— Выбираю, Ефимыч, сутунки под новую избу... Намечаю. Спалено все.

— Спалено!.. — отозвался глухо Калистрат Ефимыч.

А дальше — запружали мужики горную речушку Борель. Незамерзающая она, девственница. Наваливают поперек камни, хлещет холодная волна.

Кричат мужики:

— Помогай, Ефимыч!

— Запрудим да пустим!.. Лети!..

Рассказывает Наумыч, пальцем по топору звенит:

— Мается люд. Для близиру хоть пруд гоит. Душа мутится с войны. Робить...

Сосны одни да Калистрат Ефимыч с ними. Кричат над тайгой птицы, с юга возвращаются.

Отзываются, свистят им сосны. Тающей таежной прелью пышет. И как осиновая кора — бледно-зеленое небо гнется...

Дышать тут Калистрату глубоко и быстро, как полету горных рек.

Только на елани густо, перекатисто ревет.

— Видмедь встал? — сказал тоскливо Калистрат Ефимыч. — Не должен бы... рази потревожили?

Среди елани костер. Дым аспидный, жаркий, в кедрах мнется. А вокруг костра — поп Исидор в облачении, с кадилом.

Машет кадилом, поет:

— «Еще помолимся!.. преосвященнейшему нашему...»

Обождал Калистрат Ефимыч. Не перестает петь поп Исидор.

Отломил сук, кинул.

Поп выпустил кадило, на пень сел.

— Молишься? — подходя, спросил Калистрат Ефимыч.

Выкинул угли из камина поп. Дунул, разогнал ладан.

— Молюсь, чадо-о!.. Как потерял я церковь — молиться мне хочется, а мужики-то хохочут... не признают.

— Не молятся?

— Не зовут!.. У меня душа треснула, будто молоньей раскололо, — шептал поп торопливо и напуганно: Мозг-то у меня, мозг — жижа осенняя! Ничего не пойму! Огни вокруг и — вдруг, чадо, тьма. И ангел некий с мечом над тайгой, одеяние у него — ризы!..

— А куда идти нужно, поп? Веру я, думал, поймал, как за кыргызами гнался... Сердце в крови горело — бей!.. За пашню зубом рвал. Сердце-то, как ягода спелая, думал, ветром этим сорвет, опадет, буду я покоен... как Микитин!.. Нету спокоя, ну?..

Гремит по парче кадило. Пахнет парча ладаном. Смотрит с кедра белка, хвостом морду закрывает, хохочет. И на хвое снежный беличий хвост.

— Микитин-то — сталь, боюсь я ево, чадо! Убьет, как мороз пчелу... Куда мне!..

— Куда, поп? Ты учился, как человеку страдать надо, чтобы пути нашел. Тает у меня душа, оголятся...

— Земля, чадо, обнажается, земля рождает!.. А я-то, как семя бесплодное, испорченное... — Затряс эпитрахилью, волос над ризой, как зеленая пена. — Какому святому молебен служить?.. Выдумай хоть ты святова, отслужу... Али тебе, Калистрату-мученику, служить? — Захохотал широко поп, кадило в карман засовывая. — Ты сам скоро молиться будешь. Какую веру удумал? Зря ты из Талицы ушел. Зачем уходил? Чево молчишь, предатель, Иуда?..

Пряча парчовую ризу в кусты, таскал на нее хвою. Жаловался дорогою до заимки:

— Попадью потерял!.. Хозяйственная попадья была... Как начали обстреливать, понесла лошадь в санях ее, так и унесла. Пожалуй, и сейчас несет... Дикая лошадь.

— Тяжело нести — остановит.

— Возможно, чадо. Трупик попадьин из-под снега оттаивает, возможно. Поставить бы хоть крест, где храм-то был.

— Куда?

— В Талице. Все-таки молились.

— На людей не хватает, а ты церковь...

И мутным глазом испуганно глядя на амбар, сказал поп Исидор:

— Мне-то, как убьют, поставь крест, пожалуйста. Да чтоб покрепче... Раньше-то нас в оградке хоронили... церковных.

Из-за амбара шел Никитин. Был он все в той же зеленоватой шинели, только на шапке цвела алая в ладонь звезда.

— Пропагандируешь, Сидор? — устало спросил он. — Валяй! Выгнать бы — мужики не хотят.

И как стог от спички в огне загорелся и залепетал поп:

— Грешно над стариками, гражданин Микитин!.. Я и то без семьи.

Никитин, протягивая бумагу, сказал:

— Поезжай, Ефимыч, в Сергинскую волость. Ревком просит. Любят тебя мужики, а за что?.. Тут мандат.

Достал из кармана черный камешек. Всплыла неподвижная ухмылка.

— Пласты нашел. Уголь каменный. Слышал?

— Бают, жгут. Горюч камень, выходит. Куды ево? Здесь лес вольный — жги. Угар, бают, с камня-то?..

Дробя камень пальцами, смятым, ласковым голосом говорил Никитин:

— Руды — хребты. Угля — горы. Понимаешь, старик? Заводов-то! А сейчас мастерскую. Город возьмем...

— Ты-то?..

— Я.

— За-во-ды! А где ты ране был?

Сунул бумажку в руку Никитина, пошел.

— Не поеду. Без меня люду много.

Вынесся из-за угла поп, спросил торопливо:

— Про меня не говорил?

Поймал его взгляд, тоскливый и ясный, отвел глаза.

— Говорил. Надо, грит, женить попа.

— Жени-ить?..

Взмахнул широкими рукавами поп.

— В Китай, што ли, мне скрыться?..

Волокла тощая грязная собака лошадиную ляжку. Захотел Калистрат Ефимыч кинуть камнем, нагнулся — камень легкий, как снег. А на вид — три пуда. И телом вдруг ощутил силу в руках — тугую, неуемную.

Поднял камень, еще один. Донес до ворот. Обождал. Взял и отнес обратно.

Потный, алый, как свежепеченый хлеб, вернулся домой. Хлебал радостно, быстро жирные, желтые щи.

Говорила Настасья Максимовна о ребенке:

— Подрастет, учить будешь?

— Сам научится.

Из-за стола к печи плечом попробовал.

— Повалить можно?

Улыбнулась Настасья Максимовна:

— Повалить все можно, Листратушка!

Шло от него тепло.

Теплые сапфирно-золотистые таяли снега.

Малиновые летели с юга утки.

На земле — тепло.

XLI

Было так.

Земля мычит, течет слюна — жует снега земля. Дышит в сердце человечье запахами вечными, нерукотворными.

Осилишь ли, человек?

Не осилишь!

Плечи как взбороненная земля. Грудь как стога свежие. Голос в лугах теряется.

— Листратушка... полосонька сердешная...

Голос у ней — травы весенние. Растет тревогой на душе.

Ветер зеленый плодороден и светел. Здрав будь, сладок!..

К себе землю, колебли ее и жми! Семя принесет тяжелое и розовое.

Месяц как охапка сена, подброшенная на вилы.

Не осилишь! Души не сожжешь.

Распустилось сердце, как весной снега.

Вышел на сход, поклонился Калистрат Ефимыч. Просил долго:

— Пусти, мир. На пашню...

Зеленый мир гудит. Гул оградой, скот на пригонах тревожит, ревет скот — на травы просится.

Ревет мир, не соглашается:

— Сиди!.. Надо... тебя... Сиди...

Надо человека миру. Надо и пашне человека.

Мир ревет, не соглашается:

— Этак мы все! Этак сбежим... бросим!..

Мягкие и гладкие губы у Настасьи Максимовны. Голос тревожен разутый.

— Не держите, родимые, не майте!.. Всю жись покою не было, а может, сто лет воевать!..

Хохот, как телеги сшиблись.

Дегтем мужики пахнут. Дегтярная в небе туча. Дышат лица — пятна — пятнами земляными.

Запахи земляные, извечные. Непереносные.

Не осилишь, не выпьешь!

Покинь деревянную нору, иди к травам.

Медведь из берлоги выехал. На мохнатой шерсти — хвоя. Ревет — скалы гнутся.

Сердце из берлоги вышло. Тело мягкое, теплое, поддающееся — прижми. Земля оно, пашня.

Согласно кричат:

— Тебя, Листрат, батюшка, первова! Иди!

— Блины ись придем!

— Сей!..

Завалены кедрами тропы к Талице. Дорога в сучьях, — не ездят, не идут.

Был поселок — зола. Пригоны — зола, пёрсть и гниль. Нету Талицы. Золы, пни.

И где церковь была на холмике — крест двухсаженный, осьмиконечный. Кто его воздвиг? Поп лохматый, лесной Исидор, в каталажке.

— Пока не спокоится народ. Не тревожит пусть, не брешет.

Так сказал мир. Сидит поп Исидор, ждет, когда спокоится.

Раскоряживай дороги, разметывай кедры — земли потные, земли как губы — здесь!

Трое людей. Три лошади. Три коровы!

Лилово-зеленые травы рождаются. Крести их плугом! Блекло-золотистый ветер мечется — кропи его севом!

Рождение твое празднуем, земля, рождение!

И кабан в горах роет землю. Горы роют облака — клыки у гор белые. И реки, зажмурив глаза, несутся с гор — рвут зубами пенными землю.

Обнимите дожди поля — и радуйтесь!

XLII

Вот горсть земли моей — цветет! И зрачки мои — комья земные, в травах!

Шагом легким, звериным обойду я землю и возвращусь туда, откуда пришел.

Ветер я, пыль золотая, гам зеленый, горный!

Верьте!..

Харьюз-рыба мечет икру, несется сердцем, изгибаясь против струи. И усталую родительницу уносит струя в озеро, обратно...

А в затонах песчано-клыкастый медведь гребет ее лапой на берег...

Когти мои сколько рыб выкинули на берег?

Медведь обнимал меня за плечи, помогал.

Когти мои — кедры!

Рыбы мои — облака!

А любовь моя, любовь спелая — люди, ясноголосые лебеди!

Так, горсть земли! Цветы! Оттого, что зрачки твои — комья земли, опутанные травами.

XLIII

Подымал Калистрат Ефимыч талицкую пашню.

Подъехал к борозде культяпый Павел. Стремена к луке, руки в бороденке и сам как коряжина — рваный и темный.

Говорит, к гриве склоняясь:

— Осенью-то в Сергинской битва была... Полем шли, позиция правильная. Однако свернули в лес.

— Пошто?

— Хлеба, грит, обобьем. Хлебов пожалели. А в лесу-то их всех перебили. Так нельзя.

— Чево?

— Народ не жалеют...

Прятал в лошадиную гриву слова тоскливые, как ветер, обивающий зерно:

— Может, и я хотел бы робить с тобой, кабы не свалились от цинги мои ноги...

— Баял иначе?

— У меня все иначе. Сам я инакий человек. Прилепили меня к восстанью, а чево я там маюсь?

— Свое место найдешь.

Пахнет плуг краской, новый плуг — мужики из города привезли. Лошадь веселым глазом поводит, а в глазу — березняк, мокрый, потный, культяпый Павел и синебородый Калистрат Ефимыч.

Говорит Павел:

— Избу рубить будешь?

— Буду.

— Позову я тебе Алимхана. Магарыч поставь. Бают — идут к тебе на Талицу строиться мужики... Одному туго.

— Пусть.

— Я и то — пусть... Микитину кланяться?

Развязал мешок Калистрат Ефимыч, ковригу достал. Голосом низким, протяжным, точно межа, ответил:

— Микитину-то?.. Скажи...

Отрезал ломоть, посыпал плотно хрупкой, синеватой солью. Медленно, как лошадь, жуя, проговорил что-то неясное...

Из мешка густо пахнуло на Павла хлебом...

1922

ГОЛУБЫЕ ПЕСКИ

РОМАН

КНИГА ПЕРВАЯ

КОРАБЕЛЬНАЯ ВОЛЬНИЦА

I

Была монета старая — в наш царёв пятак объемом. Косо к одному боку давили друг дружку буковки — «2 копейки. — 1798, е. м.», а на обороте широкое жирное «П» втискивало в себя «I». А над «П»— корона, которой теперь в России нет. Меди монета темной, как чугун.

В Перми, рассказывают, много раньше таких монет водилось.

Только одну вот эту монетку перевез сюда на Иртыш пермский переселенный человек Кирилл Михеич Кочанов. Да еще лапти, кошель сухарей.

Церквей в Павлодаре — три. Две из них выстроил Кирилл Михеич, а третья выбита была во времена царя с темной монетки (у церквей своя история — дальше).

Сволочь разную казацкую Кирилл Михеич не уважал, а пришел случай — женился на казачке Фиозе Семеновне Савицкой из станицы Лебяжьей. И была с этой Фиозой Семеновной тоже своя история.

Кирпича киргиз делать не умеет. Киргиз — что трава на косьбу. Выстроил кирпичные заводы Кирилл Михеич.

Бороду носил карандашиком, волос любил человеческий, не звериный — гладкий.

А телу летом в Павлодаре тепло. Из степи пахнущая арбузами розовая пыль, из города — голубоватая. Дома — больше деревянные, церковь разве в камне (но у церквей своя история — дальше).

И у каждого человека своя история. Свое счастье.

У монеты своя история. Свое счастье.

И как неразменная золотая монета — солнце. И как стерляди — острогорбы и зубчаты крытые тесом дома. И степь, как Иртыш,— голубой и розовый зверь.

На монету ли, на руку ли тугожильную шло счастье?

Счастье мое — день прошедший!
Радость, любовь моя — Иртыш голубой и розовый.

Хотел Кирилл Михеич бросить папироску в пепельницу, но очутилась она на полу, и широкая его ступня ядовито пепел по половику растащила. По темно-вишневому половику — седая полоска.

А жена, Фиоза Семеновна, даже и этого не заметила. Уткнулась,— казачья кровь — упрямая,— уткнулась напудренными ноздрями в подушку, плачет.

Кирилл Михеич тоже, может быть, плакать хочет! Черт знает что такое! Повел пальцами по ребрам, кашлянул.

Плачет.

Стукнул казанками в ладонь, прокричал:

— Перестань! Перестань, говорю!..

Плачет.

— Все вы на один безмен: наблудила — и в угол. Орать. Кошки паршивые, весну нашли... Любовников заводить...

Еще горче захныкала подушка. Шея покраснела, а юбка, вскинувшаяся, показала розоватую ногу за чулком...

Побывал в кабинете Кирилл Михеич. Посидел на стуле, помял записку от фельдшера. Эх, черт бы вас драл — чего человеку не хватает! Все бабы одинаковы: как листья весной — липнут.

Надел Кирилл Михеич шляпу и как был в тиковых подштанниках с алыми прожилками, в голубой ситцевой рубахе, так и отправился. Так, всегда носил сюртук и брюки навыпуск, но исподнее любил пермских родных мест и в цвета — поярче.

Дворяне жен-изменниц всегда в сюртуках бранят и в таком виде убийства совершают. А мужик должен жену бить и ругать в рубахе и портках, чтобы страшный дух, воспалительный, от тела шел.

Надо бы дать Фиозе в зубы!

Неудобно: подрядчик он на весь уезд — и жену, как ратник второго разряда, бьет. Драться неудобно. И опять: письмо, господи, да мало ли любовных бумаг еще страшнее бывает? Здесь, что ж, на ответное использование подозрительности нету.

«Любезная и дорогая Фиоза Семеновна! Раз сердце ваше в огне потрудитесь вручителю сего подать ваше письменное согласие на рандеву в моей квартире в какие-угодно времена...»

Михей Поликарпыч обитал позади флигелька, рядом с пимокатной. А как выходил сын из флигеля, шаркали по щебню опорки, с-под угла показывались хитрая и густая, как серый валенок, бороденка, и, словно клок черной шерсти, губы закатанные.

— Аль заказ опять? Везет тебе...

Хотел было сунуть бумажку в карман, оказывается, в подштанниках вышел. Скомкал бумажку меж пальцев.

— Час который?

— Час, парень, девятай... Девятай обязательно.

Осмотрел стройку, глыбы плотного алого кирпича. Ямы кисловато пахнущей хлебом известки. Жирные телесного цвета сутунки — огромные гладкие рыбы у кирпичных яров-стен.

— Опять каменщиков нету? Прибавил ведь поденщину, какого лешака еще?..

Поликарпыч заложил руки на хребет, бороденку повел к плечу, ответил ругательно:

— Паскуда, а не каменщик. Рази в наше время такой каменщик был?.. Етова народа прибавкой не сдержишь. Очень просто — паскуда, гнилушка. Отправились, сынок, на пристань к Иртышу. Пароход пришел — «Андрей Первозванный», человека с фронтов привез, всю правду рассказывает. Комиссар по фамильи.

— Комиссар не фамиль, а чин.

— Ну? Ловко! О-о, что значит царя-то нету. Какие чины-то придумали.

— Какой комиссар-то приехал, батя? Фамилью не сказывали?

— Вот и есть фамилья — Комиссар. А, между прочих, сказывают — забастовку устроим. В знак любвей,— это про комиссара-то. Валяй, говорю, раз уж на то пошло. И устроят, сынок. А, мобыть, грит, и на работу придем — вечером. Как там — пароход.

Старик присел рядом на бревно и стал длинно, прерываясь кашлем, рассказывать о своих болезнях. Кирилл Михеич, не слушая его, смотрел на ползущие выше дощатого забора в сухое и зеленоватое небо емкие и звонкие стены постройки. На ворота опустилась сорока, колыхая хвостом, устало крикнула.

Кирилл Михеич прервал:

— Мальчонка от фершала не приходил?

— Где мне видеть! Я в каморе все. А тебе его куды?

— Гони в шею, коли увидишь.

— Выгоню. Аль украл что?

Кирилл Михеич пнул ногой кирпич.

— И фершала гони, коли припрется. Прямо крой поленом — на мою голову. Шляются, нюхальщики!..

Старик хило вздохнул, повел по бревну руками. Соскабливая щепочкой смолу, пробормотал:

— Ладно... Ета можно.

Кирилл Михеич спросил торопливо:

— Краски не знаешь где купить? Коли еще воевать будут, не найдешь и в помине. Внутри под дуб надо, а крышу испанской зеленью....

Мимо постройки, улицей, низко раскидывая широкий шаг, прошли верблюды, нагруженные солью. Золотисто-розовая пыль плескалась, как фай, пухло-жарко оседала у ограды.

Потом Кирилл Михеич был у архитектора Шмуро.

Архитектор — прямой и бритый (даже брови сбривал) — носил пробковый шлем, парусиновые штаны и читал Киплинга. Он любил рассказывать про Англию, хотя там и не был.

Архитектор, сдвинув шлем на затылок, шагал из угла в угол, курил трубку и говорил:

— Немцы — народ механический. Главная их цель — мировая гегемония,— как на суше, так и на море. В англичанах же... тут — мысль! Разум! Наука! Сила...

И пока он вытряхивал табак, Кирилл Михеич спросил:

— Как насчет подрядов-то, Егор Максимыч? Церквато неужто не мне дадут? Я ведь шестнадцать лет церкви строю...

Архитектор передвинул шлем на ухо и лихо сказал:

— Давайте мы с вами, Кирилл Михеич, в готическом стиле соорудим... Скажем, хоть хохлам в пример.

— Зачем же хохлам готический? Они молиться не будут... И погром устроют — церковь разрушат и нас могут избить. Теперь насчет драки — свободный самосуд.

Шмуро насунул шлем на брови, и соответственно этому голос его поредел:

— Такому народу надо ограниченную монархию... А если нам колокольню выстроить в готическом? Ни

одной готической колокольни не строил. Одну колокольню?

— Колокольню попробовать можно. Скажем, в расчетах ошиблись.

Шмуро кинул шлем на кровать и сказал обрадованно:

— Тогда мы с вами кумыса выпьем. Чаным!

Киргиз принес четверть с кумысом.

— Слышали? — спросил Шмуро. — Комиссар Запус приехал.

— Много их. Так насчет церквей-то как? У меня сейчас и лес и кирпич запасен. Вы там...

— Можно, можно. Только вы политикой напрасно не интересуетесь. В Лондоне или даже в какой-нибудь Индии — просыпается сейчас джентльмен, и перед носом у него — газета. Одних объявлений — шестнадцать страниц...

— Настоящая торговля,— вздохнул Кирилл Михеич. — Жениться не думаете?

— Нет. А что?

— Так. К слову. Жениться человеку не мешает. Невесту здесь найти легко можно. Если на казачке женишься — лошадей в приданое дадут.

— Вы, кажется, на казачке женились? Много лошадей получили?

— В джут[1] все подохли. Гололедица... ну и того... высохли. Пойду.

— Сидите. Я вам про Запуса расскажу, комиссара.

— Ну их к богу! Я насчет церквей и так... вот коли рабочие не идут на работу, как с ними? Закона такого нет?

— Рассчитать.

— Только? Кроме расчета — никаких свободных самосудов?..

— Нельзя.

На улицах между домами — опять золотистая пыль. Как вода на рассвете — легкая и светлая. Домишки деревянные, островерхие — зубоспинные и зеленоватые стерляди. У некоторых домов — палисадники. В деревянных опоясочках пыльные жаркие тополи, под тополями, в затине, — кошки. Глаз у кошки золотой и легкий, как пыль.

---

[1] Гололедица.

А за домами — Иртыш голубой, легкий и розовый. За Иртышом — душные нескончаемые степи. И над Иртышом — голубые степи, и жарким вечным бегом бежит солнце.

Встретился протоиерей Смирнов. Был он рослый, темноволосый и усы держал, как у Вильгельма. А борода, как степь зимой, не росла, и он огорчался. Голос у него темный с ядреными домашними запахами, словно ряса, — говорит:

— На постройку?

Благословился Кирилл Михеич, туго всунул голову в шляпу.

— Туда. К церкви.

Смирнов толкнул его легонько, — повыше локтя. И, спрятав внутри темный голос, непривычным шепотом сказал:

— Ступайте обратно. От греха. Я сам шел — посмотреть. Приятно, когда этак...

Он потряс ладонями, полепил воздух:

— ...растет... Небо к земле приближается... А вернулся. Квартала не дошел. Плюнул. У святого места, где тишина должна, — птица и та млеет — сборище...

— Каменщики?

Когда протоиерей злился — бил себя в лысый подбородок. Шлепнул он тремя пальцами, и опять тронул Кирилла Михеича выше локтя:

— Заворачивайте ко мне. Чаем с малиновым вареньем, дыни еще из Долона привезли, — угощу.

— На постройку пойду.

— Не советую. Со всего города собрались. Комиссар этот, что на пароходе, Запус. Непотребный и непочтительный крик. Очумели. Ворочайтесь.

— Пойду.

Шлепнул ладонью в подбородок. Пошел, тяжело вылезая ногами из темной рясы, — мимо палисадников, мимо островерхих домов — темный, потный, гулом чужим наполненный колокол будто. Протоиерей Евстафий Владимирович Смирнов, сорока пяти лет от роду.

На кирпичах, принадлежащих Кириллу́ Михеичу, на плотных и веселых стенах постройки, на выпачканных известкой лесах — красные, синие, голубые рубахи. Крыльца, сутулые спины, привыкшие к поклажам — кирпича, ругани, кулаков, — натянули жилы цветные материи, — красные, синие, голубые, — слушают.

И Кирилл Михеич слушает. Раз пришел...

На бывшей исправничьей лошади — говорящий. Звали ее в 1905 году Микадо, а как заключили мир с Японией — неудобно — стали кликать: Кадо. Теперь прозвали Императором. Лошадь добрая. Микадо так Микадо, Император так Император — ржет. Копытца у ней тоненькие, как у барышни, головка литая и зуб в тугой губе — крепкая...

И вот на бывшей исправничьей лошади — говорящий. Волос у него под золото, волной растрепанный на шапочку. А шапочка-пирожок — без козырька и наверху — алый каемчатый разрубец. На боку, как у казаков,— шашка в чеканном серебре.

Спросил кого-то Кирилл Михеич:

— Запус?

— Он...

Опять Кирилл Михеич:

— На какой, то есть, предмет представляет себя?

И кто-то басом с кирпичей ухнул:

— Не мешай... Потом возразишь.

Стал ждать Кирилл Михеич, когда ему возразить можно.

Слова у Запуса были розовые, крепкие, как просмоленные веревки, и теплые. От слов потели и дымились ситцевые рубахи, ветер над головами шел едкий и медленный.

И Кириллу Михеичу почти также показалось, хотя и не понимал слов, не понимал звонких губ человека в зеленом киргизском седле.

— Товарищи!.. Требуйте отмены предательских договоров!.. Требуйте смены замаскированного слуги капиталистов — правительства Керенского!.. Берите власть в свои мозолистые руки!.. Долой войну... Берите власть...

И он, взметывая головой, точно вбивал подбородком — в чьи руки должна перейти власть. А потом корявые, исщемленные кислотами и землей, поднялись кверху руки за властью...

Кирилл Михеич оглянулся. Кроме него, на постройке не было ни одного человека в сюртуке. Он снял шляпу, разгладил мокрый волос, вытер платком твердую кочковатую ладонь и одним глазом повел на Запуса.

Гришка Заботин, наборщик из типографии, держась синими пальцами за серебряные ножны, говорил что-то Запусу. И выпачканный краской, темный, как типограф-

ская литера, гришкин рот глядел на Кирилла Михеича. И Запус туда же.

Кирилл Михеич сунул платок в карман и, проговорив:

— Стрекулисты... тоже... Политики! — отправился домой.

Но тут-то и стряслось.

За Казачьей площадью, где строится церковь, есть такой переулочек — Непроезжий. Грязь в нем бывает в дождь желтая и тягучая, как мед, и глубин неизведанных. Того ради, не как в городе — проложен переулком тем — деревянный мосток, по прозванью тротуар.

Публика бунтующая на площади галдит. По улицам ополченцы идут, распускательные марсельезные песни поют. А здесь спокойнехонько по дощечкам каблуками «скороходовских» ботинок отстукивай. Хоть тебе и жена изменяет, хоть и архитектор-англичанин надуть хочет — постукивай знай.

И вот топот за собой — мягкий по пыли, будто подушки кидают. На топот лошадиный что ж оборачиваться — киргиз он всегда на лошади, едва брюхо в материю обернет. А киргиза здесь, как пыли.

Однако обернулся. Глазом повел и остановился.

Вертит исправничья лошадь Император под гладкое свое брюхо желтые клубы. Копыта, как арканы, кидает.

А Запус из седла из-под шапочки — пельменчиком веселым глазом по Кириллу Михеичу.

Подъехал; влажные лошадиные ноздри у суконной груди подрядчика дышат — сукно дыбят. Только поднял голову, кашлянул, хотел он спросить, что, мол, беспокоите, — наклонились тут черные кожаные плечи, шапочка откинулась на затылок. Из желтеньких волосиков на Кирилла Михеича язычок — полвершка — и веки одна за другой подмигнули...

Свистнул, ударил ладонями враз по шее Императора и ускакал.

II

Соседом по двору Кирилла Михеича был старый дворянский дом. Строился он во времена дедовские, далеко до прихода Кирилла Михеича из пермских земель. И как сделал усадебный флигелек себе Кирилл Михеич на место киргизской мазанки, так и до этой

новой кирпичной постройки — стоял сосед нем и слеп.

Пучились проросшие зеленью ставни. Били, жгли и тянули их алые и жаркие степные ветры, кувыркались плясами по крыше, визжали истошно и смешно в приземистые трубы,— не шевелился сосед.

А в этот день, когда под вечер на неподмазанных двухколесных арбах киргизы привезли кирпичи на постройку, заметил Кирилл Михеич сундушный стук у соседа. И вечеровое солнце всеми тысячами зрачков озверилось в распахнутых ставнях.

Спросил работника Бикмуллу:

— Чего они? Ломают, что ль?

Поддернул чимбары[1] Бикмулла (перед хорошим ответом всегда штаны поддерни, тибитейкой качни), сказал:

— Апицер — бий — генирал большой приехал. Большой город, грит, совсем всех баран зарезал. Жрать нету. Апицер скоро большой город псех резить будет. Палле!

В заборе щели, как полена. Посмотрел Кирилл Михеич.

Подводы в ограде. Воза под брезентами — и гулкий с раскатцем сундушный стук, точно. На расхлябанные двери планерочки, скобки приколачивает плотник Горчишников (с постройки тоже). Скобки медные. Эх, не ворованные ли?

— Горчишников! — позвал Кирилл Михеич.

Вбил тот гвоздь, отошел на шаг, проверил — еще молотком стукнул и тогда — к хозяину.

— Здрасьте, Кирилл Михеич.

В щель на Горчишникова уставились скуластые пермские щеки, бородка на заграничный цвет — карандашиком — и один вставной желтый зуб.

— Ты чего ж не работал?

— Так что артель. Революсия...

— Лодыри.

Еще за пять сажен проверил тот гвоздь. Поднял молоток, шагнул было.

— Постой. Это кто ж приехал?

— Саженова. Генеральша. Из Москвы. Добра из Омска на десяти подводах — пароходы, сказывают,

---

[1] Штаны.

забастовали. У нас тут тоже толкуют — ежели, грит, правительство не уберут...

— Постой. Одна она?

— Дочь, два сына. Ранены. С фронтов. Ребята у вас не были? Насчет требований?

— Иди, иди...

В ограде горел у арб костер: киргизы варили сурпу. Сами они, покрытые овчинами, в отрепанных малахаях, сидели у огня, кругом. За арбами в синей темноте перебегали оранжевые зеницы собак.

Кирилл Михеич, жена и сестра жены, Олимпиада, ужинали. Олимпиада с мужем жила во второй половине флигеля. Артемий Трубычев, муж ее, капитан, приехал с Южного фронта на побывку. Был он косоног, коротковолос и похож на киргиза. Почти все время побывки ездил в степи, охотился. И сейчас там был.

Кирилл Михеич молчал. Нарочито громко чавкая и капая на стол салом, ел много.

Фиоза Семеновна напудрилась, глядела мокро, виновато вздыхала и говорила:

— Артюша скоро на фронт поедет. И-и, сколь народу-то поизничтожили.

— Уничтожили! Еще в людях брякни. Возьми неуча.

— Ну и пусть. Знаю, как в людях сказать. Вот Артюша-то говорит: кабы царя-то не сбросили, давно бы мир был и немца побили. А теперь правителей-от много, каждому свою землю хочется. Воюют. Сергевна, чай давай!..

— Много он, твой Артюша, знает. Вопче-то. Комиссар вон с фронта приехал. Бабы, хвост готовь — кра-асавец...

Олимпиада, разливая, сказала:

— Не все.

Летали над белыми чашками, как смуглые весенние птицы, тонкие ее руки. Лицо у ней было узкое, цвета жидкого китайского чая, и короткий лоб упрямо зарастал черным степным волосом.

— Генеральша приехала, Саженова,— проговорила поспешно Фиоза Семеновна. — Дом купила — не смотря. В Москве. Тебе, Михеич, надо бы насчет ремонту поговорить.

— Наше дело не записочки любовные писать. Знаем.

— ...Нарядов дочери навезли — сундуки-то четверо еле несут. Надо, Лимпияда, сходить. Небось модны журналы есть.

— Обязательно-о!.. Мало на тебя, кралю, заглядываются. И-их, сугроб занавоженный...

Кирилл Михеич не допил чашку и ушел.

В коленку ткнулась твердым носом собака и, недоумевающе взвизгнув, отскочила.

Среди киргиз сидел Поликарпыч и рассказывал про нового комиссара. Киргиз удивило, что он такой молодой, с арбы кто-то крикнул: «Поди, царский сын». Еще — чеканенная серебром сабля. Они долго расспрашивали про саблю и решили идти завтра ее осмотреть.

— «Серебро — как зубы, зубы — молодость»,— запел киргиз с арбы самокладку.

А другой стал рассказывать про генерала Артюшку. Какой он был маленький, а теперь взял в плен сто тысяч, три города и пять волостей, немцев в плен.

Кирилл Михеич, чуть шебурша щепами и щебнем, вышел за ворота.

Из ожившего дома через треснувшие ставни тек на песок желтый и пахучий, как топленое масло, свет. Говорили стекла молодым и теплым.

Он прошелся мимо дома, постройки. Караульщик в бараньем тулупе попросил закурить. А закурив, стал жаловаться на бедность.

— Уйди ты к праху,— сказал Кирилл Михеич.

Через три дома — угол улицы.

Посетили гальки блестящие лунные лучи,— ушли за тучу. Тополя в палисадниках — разопрелые банные веники на молодухах... Белой грудью повисла опять луна. (Седая любовь — нескончаемая.) Сонный извозчик — киргиз — остановил лошадь и спросил безнадежно:

— Можить, нада?

— Давай,— сказал Кирилл Михеич.

— Куды?.. Но-о, ты-ы!..

Пощупал голову,— шляпу забыл. Нижней губой шевельнул усы. С непривычки сказать неловко, не идет.

— К этим... проституциям.

— Ни? — не понял киргиз. — Куды?

Кирилл Михеич уперся спиной в плетеную скрипучую стенку таратайки и проговорил ясно:

— К девкам...

— Можня...

III

Все в этой комнате выпукло — белые надутые вечеровым ветром шторы; округленные диваны; вываливающиеся из пестрых материй груды мяс и беловато-розовая лампа «молния», падающая с потолка.

Архитектор Шмуро в алой феске, голос повелительный, растяжистый.

— Азия!.. Вина-а!..

Азия в белом переднике, бритоголовая, глаз с поволокой. Азиатских земель — Ахмет Букмеджанов. Содержатель.

Кириллу Михеичу что? Грудь колесом, бородку — вровень стола — здесь человека ценить могут. Здесь — не разные там...

— Пива-а!.. — приказывает Шмуро. — Феску грозно на брови (разгул страстей).

Девки в азиатских телесах, глаза как цветки — розовые, синие и черные краски. Азиат тело любит крашеное, волос в мускусе.

Кирилл Михеич, пока не напился, про дело вспомнил. Пододвинул к архитектору сюртук. Повелительная глотка архитекторская — рвется:

— Пива, подрядчику Качанову!.. Азия!..

— Эта как же? — спросил Кирилл Михеич с раздражением.

— Что?

— В отношениях своих к происходящим, некоторым родом, событиям. Запуса видел — разбойник. Мутит... Протопоп жалуется. Порядочному люду на улице отсутствие.

— Чепуха. Пиво здесь хорошее, от крестьян привезли. Табаку не примешивают.

— Однако производится у меня в голове мысль. К чему являться Запусу в наши места?..

— Пей, Кирилл Михеич. Девку хочешь, девку отведем. На-а!..

Ухватил одну за локти — к самой бороде подвел. Даже в плечах заморозило. О чем говорил, забыл. Сунул девке в толстые мягкие пальцы стакан. Выпила. Ухмылынулась.

Архитектор — колесом по комнате — пашу изображает. Гармонист с перевязанным ухом. Гармоника хри-

пит, в коридорах хрипы, за жидкими дверцами разговорчик — перешепотки.

— Каких мест будешь?

— Здешняя...

— Кирилл Михеич — стакан пива. С плеча дрожь, на ногти — палец не чует.

— Зовут-то как?

— Фрося.

Давай сюда вина, пива. Для девок — конфет! Кирилл Михеич за все отвечает. Эх, архитектор, архитектор — гони семнадцать церквей, все пропьем. Сдвинули столы, составили. Баран жареный, тащи на стол барана.

— Лопай, трескай на мою голову!

Нету архитектора Шмуро, райским блаженством увлекся.

Все же появился и похвалил:

— Я говорил — развернется! Подрядчик Качанов-та, еге!..

— Сила!

Дальше еще городские приехали: прапорщик Долонко, казачьего уездного круга председатель Беленький, учитель Отчерчи...

Плясали до боли в пятках, гармонист по ладам извивался. Толстый учитель Отчерчи пел бледненьким тенорком. Девки ходили от стола в коридор, гости за ними. Просили угощений.

Кирилл Михеич угощал.

Потом, на несчетном пивном ведре, скинул сюртук, засучил рукава и шагнул в коридор за девкой. У Фроси телеса, как воз сена,— широки... Колечки по жилкам от тех телес.

А в коридоре — с улицы ворвалась девка в розовом. Стуча кулаками в тесовые стенки, заорала, переливаясь по-деревенски:

— Де-евоньки-и... На пароход зовут, приехали!

Зазвенели дверки. Кирилл Михеича к стенке. Шали на крутые плечи.

— Ма-атросики...

Отыскал Кирилл Михеич Фросю. Махнул кулаком.

— За все плачу! Оставайся! Хозяин!

— Разошелся, буржуй! Надо-о!.. И-иих!..

Азия — хитрая. Азия исчезла. И девки тоже.

И хитрый блюет на диване архитектор. На подстриженных усах — бараньи крошки. Блевотина зеленоватая. Оглядит Кирилла Михеича, фыркнет:

— Прозевал?.. Я, подрядчик Качанов... я тово... успел...

На другой день брат Фиозы Семеновны, казак Леонтий, привез из бору волчьи шкуры. Рассказывал, что много появилось волков, а порох дорожает. Сообщал — видел среди киргиз капитана Артемия Флегонтыча, обрился и в тибитейке. В голосе Леонтия была обида. Олимпиада стояла перед ним, о муже не спрашивала, а просила рассказать, какие у волков берлоги. Леонтий достал кисет из бродеи, закурил трубку и врал, что берлоги у волков каждый год разные. Чем старше волк, тем теплее...

Протоиерей Смирнов, в чесучовой рясе, пахнущей малиной, показывал планы семнадцати церквей Кириллу Михеичу и убеждал хоть одну построить в византийском стиле. Шмуро, из-под пробкового шлема, значительно поводил глазами. Передав Кириллу Михеичу планы, протоиерей, понизив голос, сказал, что ночью на пароходе «Андрей Первозванный» комиссар Запус пиршество устроил. Привезли из разных непотребных мест блудниц, а на рассвете комиссар прыгал с парохода в воду и переплывал через Иртыш.

И все такая же золотисто-телесная рождалась и цвела пыль. Коровы, колыхая выменем, уходили в степь. На базар густо пахнущее сено везли тугорогие волы. Одинокие веселоглазые топтали пески верблюды, и через Иртыш скрипучий паром перевозил на ученье казаков и лошадей.

Кирилл Михеич ругал на постройке десятника. Решил на семнадцать церквей десятников выписать из Долони — там народ широкогрудый и злой. Побывал в пимокатной мастерской — кабы не досмотрел, проквасили шерсть. Сгонял за город на кирпичные заводы: лето это кирпич калился хорошо, урожайный год. Работнику Бикмулле повысил жалованье.

Ехал домой голодный, потный и довольный. Вожжой стирал с холки лошади пену. Лошадь косилась и хмыкала.

У ворот стоял с бумажкой плотник Горчишников. Босой, без шапки, зеленая рубаха в пыли, и на груди красная лента.

— Робить надо,— сказал Кирилл Михеич весело.

А Горчишников подал бумажку.

Исполком Павлодарского Уездного Совета Р., К., С., К. и К. Деп. извещает гр. К. Качанова, что ...уплотнить и вселить в две комнаты комиссара Чрезвычайного Отряда т. Василия Запуса.

Августа...

Поправил шляпу Кирилл Михеич, глянул вверх.

На воротах под новой оглоблей прибит красный флаг.

Усмехнулся горько, щекой повел:

— Не могли.. прямо-то повесить, покособенило.

IV

Птице даны крылья, человеку — лошадь.

Куда ни появлялся Кирилл Михеич,— туда кидало в клубах желтой и розовой пыли исправничью лошадь Император.

Не обращая внимания на хозяина, давило и раскидывало широкое копыто щебень во дворе, тес под ногами... И Запус проходил в кабинет Кирилла Михеича, как лошадь по двору — не смотря на хозяина. Маленькие усики над розовой девичьей губой и шапочка на голове, как цветок. Шел мимо, и нога его по деревянному полу тяжелее копыта...

Семнадцать главных планов надо разложить в кабинете. Церковь вам не голубятня, семнадцать планов — не спичечная коробочка. А через весь стол тянутся прокламации, воззвания: буквы жирные — калачи и каждое слово — как кулич — обольстительно...

Завернул в камору свою (Олимпиаду стеснили в одну комнату) Кирилл Михеич, а супруга Фиоза Семеновна, на кукорки перед комодом присев, из пивного бокала самогон тянет. А рядом у толстого колена — бумажка «письмо!».

Рванул Кирилл Михеич: «Может, опять от фельдшера?» Вздрогнула сквозным испугом Фиоза Семеновна.

Бумажка та — прокламация к женщинам-работницам.

Кирилл Михеич, потрясая бумажкой у бутылки самогона, сказал:

— За то, что я тебя в люди вывел, урезать насмерть меня хошь? Ехидная твоя казацкая кровь, паршивая... Самогон жрать! Какая такая тоска на тебя находит?

И, в сознании больших невзгод, заплакала Фиоза Семеновна. Еще немного поукорял ее Кирилл Михеич, плюнул.

— Скоро комиссар уберется? — спросил.

Пьяный говор — вода, не уловишь, не уцедишь.

— Мне, Киринька, почем знать?

— Бумажку-то откеда получила?

— А нашла... думала, сгодится.

— Сгодится! — передразнил задумчиво. — Ничего он не сказывал, гришь? Не разговаривала?.. Ну...

От комода — бормотанье толстое, пьяное. Отзывает тело ее угаром, мыслями жаркими. Колыхая клювом, прошла за окном ворона.

— Ничего я не знаю... Не мучай ты меня. Господь с вами со всеми, чо вы мне покою не даете?..

А как только Кирилл Михеич, раздраженный, ушел, пересела от комода к окну. Расправила прокламацию на толстом колене.

Жирно взмахнув крыльями, отлетела на бревно ворона и с недоверчивым выражением глядела, как белая, и розовая, и синяя человечья самка, опустив губы, вытянув жирные складки шеи, следила за стоящим у лошади желто-вихрым человеком.

За воротами Кирилла Михеича поймала генеральша Саженова.

Взяла его под руку и резко проговорила:

— Пойдем... пойдем, батюшка. Почему же это к нам-то не заглядываешь, грешно!

Остановила в сенях. Пахло от ее угловатых, завернутых в шелк костей нафталином. А серая пуховая шаль волочилась по земле.

— Что слышно? Никак, Варфоломеевскую ночь хотят устроить?

Кирилл Михеич вяло:

— Кто?

Нафталин к уху, к гладкому волосу (нос в сторону), шепотом:

— Эти большевики... Которые на пароходе. Киргиз из степи сзывают резать всех.

— Я киргиза знаю. Киргиз зря никого...

— Ничего ты, батюшка, не знаешь... Нам виднее...

Грубо, басом. Шаль на груди расправлена.

— Ты по совести говори. Когда у них этот съезд-то будет? У меня два сына, офицеры раненые... И дочь. Ты материны чувства жалеть умеешь?

— Известно.

— Ну вот. Раз у тебя комиссар живет, начальник разбойничий. Должен ты знать.

— А я, ей-богу...

С одушевлением, высоко:

— Ты узнай. Немедленно. Узнай и скажи. У тебя в квартире-то?

— У меня.

— Ты его мысли читай. Каждый его шаг, как на тарелочке.

Приоткрыв дверь, взволнованно:

— Два. На диване — дочь. Варвара. Понял?

— Известно.

Сметая шалью пыль с сапог Кирилла Михеича, провела его в комнату. Представила.

— Сосед наш, Кирилл Михеич Качанов. Дом строит.

— Себе,— добавил Кирилл Михеич. — Двухэтажный.

Офицеры отложили карты и проговорили, что им очень приятно. А дочь тоненько спросила про комиссара, на что Кирилл Михеич ответил, что чужая душа потемки, и жизнь его, Запуса, он совсем не знает — из каких земель и почему.

На дочери была такая же шаль, только зеленая, а руки тоньше Олимпиадиных и посветлей.

Кирилл Михеич подсел к офицерам, глядя в карты, и после разных вежливых ответов спросил:

— К примеру, скажем, ежели большевики берут правление — церкви строить у них не полагается?

— Нет,— сказал офицер.

— Никаких стилей?..

— Нет.

— Чудно.

А генеральша, меся перед пустой грудью пальцами, басом воскликнула:

— Всех вырежут. На расплод не оставят...

Дочь тоненько, шелковисто:

— Ма-а-ма!..

— Кроме дураков, конечно... Не надо дураками быть. Распустили! Покаетесь горько. Эх, кабы да...

Ночью не спалось. Возле ворочалась, отрыгивая самогоном, жена. В комнате Олимпиады горел огонь и тренькала балалайка. Из кухни несло щами и подымающейся квашней.

Кирилл Михеич, как был в одних кальсонах и рубахе, вышел и бродил внутри постройки. Вспомнил, что опять третий день не выходят каменщики на работу,— стало обидно.

Говорили про ружья, выданные каменщикам,— звать их будут теперь Красной гвардией.

Ворота не закрыты, въезжай, накладывай тес, а потом ищи... Тоже обидно. А выматерить за свое добро нельзя, свобода...

Вдоль синих, отсвечивающих ржавчиной кирпичей блестела чужим светом луна. Теперь на нее почему-то надо смотреть, а раньше не замечал.

При луне строить не будешь, одно — спать.

Тени лохматыми дегтяными пятнами пожирали известковые ямы. Тягучий дух, немножко хлебный, у известки...

И вдруг за спиной:

— Кажись, хозяин?

По голосу еще узнал — шапочку пельмешком, курчавый клок.

— Мы.

Звякнув о кирпичи саблей, присел.

— Смотрю, кого это в белом носит. Думаю, дай пальну в воздух для страха. Вы боитесь выстрелов?

Нехорошо в подштанниках разговаривать. Уважения мало, видишь — пальнуть хотел. А уйти неудобно, скажет — бежал. Сидит на грудке кирпича у прохода, весь в синей тени, папироска да сабля — серебро, видно. Надо поговорить:

— Киргиз интересуется: каких чеканок сабля будет?

Голосок веселый, смешной. Не то врет, не то правду:

— Сабля не моя. Генерала Саженова слышали?

Дрогнул икрами, присел тоже на кирпичики. Кирпич шершавый и теплый.

— Слы-ы-шал...

— Его сабля. Солдаты в реку сбросили, а саблю мне подарили.

Махнул папироской.

— Они тут, рядом... В этом доме Сажеповы. Знаю. Тут ведь?

— Ту-ут... — ответил Кирилл Михеич.

Запус проговорил радушно:

— Пускай живут. Два офицера и Варвара, дочь. Знаю.

Помолчали. Пыхала папироска и потухла. Запус, зевая, спросил:

— Не спится?

— Голова болит,— соврал Кирилл Михеич.

Спросил:

— Долго думаете тут быть?

— Надоел?

— Да нет, а так — политикой интересуюсь.

— Долго. Съезд будет.

— Будет-таки?.. ишь!..

Скребает осколки кирпича саблей. Осколки звенят, как стекло. Небо — синего стекла, и звон в нем, в звездах, тонкий и жалобный, — «12». Двенадцать звонов. Чего ему не спится? Зевнул.

— Будет. Рабочих, солдатских, казачьих, крестьянских и киргизских депутатов. Как вас зовут-то?

— Кирилл Михеич.

— А меня Василий Антоныч, Васька Запус... Власть в свои руки возьмет, а отсюда, может, власть-то Советов в Китай, Монголию... Здесь недалеко. Туркестан. Бухара. Маньчжурия.

Кирилл Михеич вздохнул покорно:

— Земель много.

Запус свистнул, стукнул каблуками и выкрикнул:

— Много!..

А Кирилл Михеич спросил осторожно:

— Ну, а насчет резни... Будет? Окромя, значит, Туркестана и Китая — в прочих племенах... Болтают.

Запус, звеня между кирпичей, фиолетовый и востренький, колотил кулаком в стены, царапал где-то щепкой.

— Здесь, старик,— Монголия. Наша!.. Туда, Михей Кириллыч,— Китай — пятьсот миллионов. Ничего не боятся. На смерть плевать. Для детей — жизнь ценят. Пятьсот миллио-нов!.. Дядя, а Туркестан — а, о!.. Все наша!.. Красная Азия! Ветер!

Он захохотал и, сгорбившись, побежал к сеням.

— Спать хочу!.. Хо-роо-шо, дьяволы!.. Ей-богу.

И тотчас же Кирилл Михеич — тихим шагом к генеральше. Мохнатый пес любовно схватил за икру, фыркнул и отправился спать под крыльцо. Постучал легонько он.

Гулким басом спросили в сенях:

— Кто там?

— Это я,— ответил,— я... Кирилл Михеич.

— Сейчас... Дети, сосед: не беспокойтесь.

Звякнула цепь. Распахнула генеральша дверь, и тут при свете только вспомнил Кирилл Михеич — в одних он подштанниках и ситцевой рубахе.

Охнул, да как стоял, так и сел на кукорки. На колени рубаху натянул.

Генеральша — человек военный. Сказала только:

— Дети, дайте Сенин халат.

В этом Сенином пестром халате сидел Кирилл Михеич в гостиной и рассказал три раза про свою встречу. На третий раз сказала генеральша:

— Тамерлан и — злодей.

И подтвердила дочка тоненько:

— Совсем как во французскую революцию...

Потом, отойдя в уголок, тихонько заплакала.

Тогда попросила генеральша посидеть у них и покараулить.

— Вырежут,— гулко добавила.

А сын на костылях возразил с насмешкой:

— Спать ушел. Напрасно беспокоитесь.

Генеральша, махая руками, передвигала для чего-то стулья.

— Я — мать! Если б не я вас вывезла, вас давно бы в живых не было. А тебе, Кирилл Михеич, спасибо.

Указывая перстом на детей, воскликнула:

— Они не ценят! Измотались — ничего не стоят. Кабы не любовь моя, господи!..

И вдруг, присев, заплакала, тоненько, как дочь. Кириллу Михеичу стало нехорошо. Он поправил на плечах широчайший халат, кашлянул и сказал только:

— Известно...

Поплакав, генеральша велела поставить самовар.

Офицеры ушли к себе, долго доносился их смех и стук не то стульев, не то костылей.

Варвара, свернувшись и укутавшись в шаль, качала на руках кошку.

Генеральша говорила жалобно:

— Ты уж нас, батюшка, побереги. Разве я думала, что здесь экая смута. Нельзя показаться — зарежут. Тут и халат носят, только ножи прятать. Сходи ты на этот съезд, послушай. Какие они там еще казни выдумают...

И отправился Кирилл Михеич на съезд.

V

А оттуда вернулся хмурый и шляпу держал под мышкой. Сапоги три дня не чищены, коленка выпачкана красным кирпичом. Взглянула на него Фиоза Семеновна и назад в комнаты поплыла,— в ручках пуховых атласистых жалостный жест.

Дребезжащими словами выговорил:

— Чего тебе? Что под ноги лезешь?

Все такой же сел на стул, ноги расслабленно на половицы поставил и сказал:

— Самовар вздуй.

Слова, должно быть, попались не те; потому — отменил:

— Не надо.

— Ну, как? — спросила Фиоза Семеновна.

Бородка у него жаркая, пыльная; брови устало сгорбились. Кошка синешерстная боком к ноге.

Вспомнил — утром видел,— Запус веточкой играл с этой кошкой. Пхнул ее в бок.

Подбирая губы, сказал:

— Генеральшину Варвару за воротами встретил. Будто киргизка, чувлук напялила. Чисто лошадь. Твое бабье дело — скажи, хорошо, что ль, собачьи одеянья носить? Скажи ей.

— Скажу.

Хлопнул ладонью по стулу, выкрикнул возбужденно:

— Молоканы не молоканы, чего орут — никаких средствиев нету понять. Киргизы там... Новоселы.

— Наших, лебяжинских, нету?

— Есть. Митрий Савицких. Я ему говорю: «Митьша, неужто и ты резать в Варфаламеевску ночь пойдешь?» — «Обязательно, грит, дяденька. Потому я большавик, а у нас — дисциплина. Резать скажут,— пойду и зарежу». Я ему: «И меня зарежешь?». А он мне: «Раз, грит, будет такое приказанье — придется, ты не

сердись». Ах, сволочь, говорю, ты, и не хочу я тебя больше знать. Хотел плюнуть ему в шары-то, да так и ушел. Свяжись.

— Вот язва! Митьша то, голоштанник.

— Я туды иду — думаю, народ, может, не строится, так по теперешним временам приторговать хочет. Ситцу, мол, им нельзя закомисить?.. Лешего там, а не ситцу... Какое. Делить все хочут, сообща, грит, жить будем.

— И баб будто?..

— А ты рада?

Несколько раз вскакивал и садился. Тер скулистые пермские щеки. Голова острижена наголо, розоватая.

— Тоисть как так делить, стерва ты этакая? Ты это строил? На-а!.. Вот тебе семнадцать планов, строй церкви. Ржет, сука!.. Штоб те язвило, кикиморы!

Однако съезду не поверил, попросил у Запуса программу большевиков. Раскрыл красную книжку, долго читал и, прикрыв ее шляпой, ушел на постройки.

— Все планы понимаю, весь уезд церквями застроил, а тут никак не пойму — пошто мое добро отымать будут?

А над книжкой встретились Олимпиада и Фиоза Семеновна. Густоволосое, пахучее и жаркое тело Фиозы Семеновны и под бровью — волчий глаз, серый. И рука из кружевного рукава — пышет, сожжет, покоробит книжку.

Как степные увалы, смуглы и неясны груди Олимпиады. Пахнет от нее — смуглые киргизские запахи: аула, кошем, дыма.

— Пусти,— сказала Фиоза Семеновна,— пусти, мужу скажу. Убьет.

Зуб вышел Олимпиады — частый, желтоватый. Вздрагивая зубом, резко выкрикнула:

— Артюшка? Этому... Говори.

Рванула книжечку, ускочила, хлопнув дверью.

Между тем Кирилл Михеич с построек пошел было к генеральше Саженовой, но раздумал и очутился на берегу.

У Иртыша здесь яры На сажени вверх ползут от реки. А воды голубые, зеленые и синие — легкие и веселые. В водах, как огромные рыбины, сутунки плотов, потные и смолистые.

С плотов ребятишки ныряют. Как всегда, паром скрипит, а река под паромом неохватной ширины, неохватной силы — синяя степная жила.

У пристани на канатах — «Андрей Первозванный» пароходной компании «М. Плотников и С—ья».

Какая компания обвенчалась с тобой, синеголовым? Весело!

— Гуляете? — спросил протоиерей Смирнов, подходя.

— Плотов с известкой из Долона жду. Должны завтра, крайне, прийти.

Седым, старым глазом посмотрел протоиерей по Иртышу. Рясу чесучовую теплый и голубой ветер треплет, ноги у протоиерея жидкие — как стоит только.

— Не придут.

— Отчего так?

— Ибо, слышал, на съезде пребывать изволили?

— Был.

— И все слышали? А слышали — изречено. — Протоиерей повел пальцем перед бровью Кирилла Михеича: — «Власть рабочих и крестьян». Значит сие, голубушка, плоты-то твои не придут совсем. Без сомненья.

— Не придут? Плоты мои? Три сплава пропадут?

— Потому будут здесь войны и смертоубийства. Дабы ограбить нас, разбойники-то на все... Я боюсь, в собор бы не залезли. Ты там за Запусом-то, сын, следи... Чуть что... А я к тебе завтра киргиза-малайку пришлю — за ним иди непрекословно. Пароход-то, а? Угояли?

— Чего стоит? Дали бы мне за известкой лучше съездить,— сказал Кирилл Михеич. — Известка в цене. Стоит...

Протоиерей уходил, чуть колыхая прямой спиной желтый вихрь пыли. А тень позади редкая, смешная — как от рогожи.

Выше по реке тальники — по лугам, сереброголовые утки. Рябина — земная рана. Вгрызся Иртыш в пески, замер. Ветер разбежится, падет,— рябь пойдет, да в камышах утячий задумчивый кряк.

Желтых земель — синяя жила! Какая любовь напрягла тебя, какая тоска очернила?

Собака и та газету тащит. Колбаса в газету была завернута. Раньше же колбасу завертывали в тюремные и акцизные ведомости. По случаю амнистий арестантов в тюрьме не существует, самогон же продается без

акцизу — самосудным боем бьет за самогон солдатская милиция.

На углах по три, по пять человек — митинги. Воевать или не воевать? Гнать из города Запуса или не гнать?

А Кирилл Михеич знает про это? Каждый спрашивает: известно почему. Покамест до постройки шел, сколько раз вызывали на разговоры.

Хочет Кирилл Михеич жить своей прежней жизнью.

Господи! Ведь тридцать семь лет и четыре месяца! А тут говорят, прожил ты годики эти и месяцы неправильно — вор ты, негодяй и жулик. Господи!

Не смотрел раньше на господа-бога. Как его зовут, чуть не забыл. Ага! Иисус Христос, бог Саваоф и дух святой в виде голубыне...

Со свадьбы, кажись, и в церкви не был. Нет, на освящениях церковных бывал — опять-таки не помнит, чему молились. Пьяный был и бабой расслаблен. С бабой грешил и в пост, и не в пост.

Жаром пышут деревянные заплоты. Курица у заплота дремлет, клюв раскрыла. На плахах лесов смола выступила. И земля смолой пахнет — томительно и священно.

Обошел постройку, выругать никого нельзя. И глупые ж люди — сами для себя строить не хотят. Ну, как к ним теперь, с которого конца? Еще в зубы получишь.

С красными лентами на шапках проехали мимо рабочие с пожиловской мельницы. Одежда в муке, а за плечами винтовка. «Пополам, грит, все. И-их, и дьяволы...»

Генеральша ждала у ворот. Она все знала. Липкий пот блестящими ленточками сох по лицу, щеки ввалились, а вместо шали рваный бешметишко. Забормотала слезливым басом:

— Казаки со станиц идут... Вырежут хоть большевиков-то. Дай ты, владычица, хоть бы успели. Не видал, батюшка, не громят? Сперва, пожалуй, с магазинов начнут.

Пока никого не громят. Может, ночью? Нельзя ли от Запуса какую-нибудь бумажку взять? Два сыны раненые и дочь. Возьмут в Иртыш, да и сбросят. Старуха плакала, а Варвара в киргизском чувлуке ходила по двору и сбирала кизяк. «Ломается»,— подумал Кирилл Михеич, и вдруг ему захотелось есть.

Поликарпыч с пимом в руках появился за воротами. Был он неизвестно чему рад — пиму ли, удачно зашитому, или хорошо сваренному обеду.

— Правителей, сказывают, сменили! — крикнул он и перекрестился. — Дай-то бог — може, люду получше будет...

Он хлопнул пимами и оглядел сына.

— Жалко? Ничего, Кирьша, наживем. А у те семья больша, не отымут. Кы-ыш!.. Треклятые!..

Он швырнул пимом в воробьев.

В зале, у карты театра военных действий, стояли Запус и Олимпиада. Запус указывал пальцем на Польшу и хохотал. Гимнастерка у него была со сборками на крыльцах и туго перетянута в талии.

— Отсюда нас гнали-и!.. И так гнали, а-ах... Не помню даже.

VI

Усталые, бледно-розовые выплывали из утренней сини росистые крыши. Сонные всколыхнулись голуби. Из-под навеса нежно, дремотно пахнуло сеном, — работник Бикмулла выгнал поить лошадей. Вздрагивая и фыркая, пили лошади студеную воду из долбленого корыта.

Бикмулла спросил Кирилла Михеича:

— Пашто встал рано? Баба хороший, спать надда долга.

Он чмокнул губами и сильно хлопнул ладонью лошадь.

— Широкий хазяйка, чаксы.

На разговор вышел из пимокатной Михей Поликарпыч. Он потянулся, поддернул штаны и спросил:

— В бор не поедешь?

— Зачем?

— Из купцов много уехало. Чтоб эти большаки не прирезали.

Бикмулла стукнул себя в грудь и похвалился:

— Быз да большавик. Мой тоже большавик!

— Молчи ты уже, собачка, — любовно сказал Поликарпыч. — Большавик нашелся.

Бикмулла покраснел и стал ругаться. Он обозвал Поликарпыча буржуем, взнуздал лошадь и поехал в джатаки — пригородные киргизские поселки.

— Возьми ево! Воображат. Разозлился. Тоже о себе мыслит. Говорю тебе: поезжай в бор. На заимку или кардон. Там виднее.

— А Фиоза?

— Никто ее не тронит. — Поликарпыч подмигнул. — Она удержится, крепка.

— Строить надо. Подряд на семнадцать церквей получил.

Подымая воздух, густо заревел пароход. В сенях звякнуло — выбежал Запус, махнул пальцами у шапочки и ускакал. Лошадь у него была заседлана раньше Бикмуллой.

— Бикмулла стерва, — сказал Поликарпыч. — Пароход-то ихний орет. Должно, сбор, ишь и киргиз-то удрал, — должно, немаканых своих собирать. Прирежут всех, вот тебе и церкви... семнадцать.

— Таки же люди.

— Дай бог. Мне тебя жалко. Стало быть, не понимаешь ты моих родительских мук. Ну, и поступай.

Фиоза Семеновна тоже поднялась. Ходила по комнатам, колыхая розовым капотом, — шел от нее запах постели и тела.

— Умойся, — сказал Кирилл Михеич.

Лицо у нее распускалось теперь поздним румянцем — густым и по бокам ослабевших щек. Нога же стучала легче и смелее. И где-то еще пряталось беспокойство, за глазом ли, за ртом ли, похожим на заплату стертого алого бархата, отчего Кирилл Михеич повторил сердито и громко:

— Умойся.

Из своей комнаты выпрыгнула упруго Олимпиада и, махая руками под вышитым полотенцем, крикнула:

— Надо, надо!.. День будет горячий — пятьдесят потов сойдет. Сергевна, ставь самовар!..

И верно — день обрушился горячий и блестящий. Даже ядреные тени отливали жирными блестками — черный стеклярус...

Самовар на столе шипел, блестел и резал глаза — словно прыгал, и вот-вот разорвется — бомба золотая... Сквозь тело в стулья, в одежду шел-впитывался жар и пот. Потное пахучее стонало дерево, кирпич и блестящий песок.

А жизнь начиналась не такая, как всегда. Ясно это было.

Разговоры тревожные. Тревожны неровные пятна пудры, румян и застегнутое кое-как платье.

Хрипло — задыхаясь — ревел пароход.

— Куда их?

— Плывут, что ли? Уходят?

Один только Кирилл Михеич сказал:

— Дай-то господи! Пущай!

Да за ним повторила старуха генеральша на крыльце.

У палисадника остановилась Варвара. Заглядывая в окна, говорила намеренно громко. От этого ей было тяжело, жарко, и развивались волосы на висках.

— Братья у меня уезжают в Омск. У них отпуск кончился.

— А раны?

— Зажили. Только пока еще на костылях. В Петербурге большевики волнуются, — порядочным людям там быть нужно. Мама очень встревожена, говорят — по Сибирской линии забастовка... Вы не знаете?..

Ничего Кирилл Михеич не знал. Выпил положенные четыре стакана чая, вытер лоб и подумал: «Надо идти». А идти было некуда. На постройке — из окна, из палисадника видно — нет рабочих. Нет их и на казачьей площади — все у парохода. Туда же верхами промчались киргизы — джатачники.

Потоптался у плах. Зачем-то переложил одну. Подошел старик Поликарпыч, тоже помог переложить. Так всю грядку с места на место и переложили. Сели потом на плахи, и старик закурил.

— Таки-то дела...

— Таки, — сказал Кирилл Михеич. — Дай закурить.

И хоть никогда не курил, завернул. Но не понравилось — кинул.

Главное, пока не начиналась хлебная уборка, у киргиз и казаков лошади свободны. Из бору можно бы много привезти сутунков и плах. Не привезешь — зимой переплачивай... Это главное, — потом известка, — плоты задержатся — лопнут скрепы, — глядишь, сгорела. Тут тебе и нож в бок...

И ничего ни у кого спросить нельзя. Никто не знает. Бумаги летят, как снег, — засыплет буран смертельный. К Запусу как подступить? Был бы человек старый, степенный, а то мальчишка.

Впопыхах прибежал киргиз — работник Смирнова.

— Айда... Завут, бахчи.

И ушел по улице, махая рукавами бешмета и пряча в пыли острые носки байпак.

Хотел не пойти Кирилл Михеич. Бахчи за церковью, а к церкви кладбищенской идти через два базара, — жар, духота, истома.

Все же пошел.

Лавки некоторые открыты. Как всегда, гуськом, словно в траве, ходят от лавки к лавке, прицениваются киргизы. Толстые ватные халаты-чапаны перетянуты ремнями, в руках плети. Киргизки в белых чувлуках и ярких фаевых кафтанах.

Торговцы — кучками — указывают на берег. Указывай не указывай — ничего не поймешь. На дощатых заборах измазанные клейстером афиши, воззвания. Красногвардеец, верхом с лошади, приклеивал еще какие-то зеленые. Низ афиши приклеить трудно — длинная, и висла она горбом, пряча под себя подписи. А подписано было: «Василий Запус».

Протоиерей о. Степан Смирнов сидел на кошме, а вокруг него и поодаль — люди.

— Присаживайтесь, Кирилл Михеич. Арбузу хотите?

— Нет.

— Ну, дыни?

— Тоже не хочу.

— Удивительно. Никто не хочет.

Учитель Отчерчи кашлянул и, взяв ломоть, сказал:

— Позвольте...

На что протоиерей протянул ему ножик.

— Герой. Кушайте на здоровье. Арбуз нонче поразительный. Дыню не видал такую. А все зря.

А на это архитектор Шмуро сказал:

— Из Индии на континент всевозможный фрукт вывозится. А у нас — бунт и никто не хочет не только арбузов, но и винограда.

— Угостите, — сказал Отчерчи. — Съем виноград.

Здесь встал на колени Иван Владимирович Леонтьев. На коленях стоять ему было неудобно, и он уперся в арбуз пальцами.

Саженях в пятидесяти из шалаша выполз старик сторож и ударил в трещотку, отгоняя ворон от подсолнухов. В городе орал пароход; у Иртыша стреляли. Ломкие под кошмой потрескивали листья. Тыквы — желтые и огром-

ные — медово и низко пахли. И еще клейко пах горбатый и черноликий подсолнечник.

Леонтьев, перебирая пальцами по арбузу, как по столу, говорил:

— Граждане! Нашему городу угрожает опасность быть захваченным большевиками. Имеются данные, что комиссар Запус, приехавший с Западного фронта, имеет тайные инструкции избрать Павлодар базой организации большевицкой агитации в Киргизской степи, Монголии и Китае. Имеются также сведения, что на деньги германского правительства, отпущенные Ленину.

— Сволочи!.. — крепко сказали позади Кирилла Михеича. Он обернулся и увидел сыновей генеральши Саженовой.

— В противовес германским — вильгельмовским влияниям, имеющим целью поработить нашу родину, мы должны выставить свою национальную мощь, довести войну до победоносного конца и уничтожить силы, мешающие русскому народу. С этой целью мы, группа граждан Павлодара, с любезного разрешения отца Степана, созвали вас, чтобы совместно выработать меры пресечения захвата власти... Нам нужно озаботиться подготовкой сил здесь, в городе, потому что в уезде, как донесено в Группу Общественного Спасения, группирует вооруженные силы среди казаков и киргиз капитан Артемий Трубычев...

— Артюшка-то!.. — крикнул отчаянно Кирилл Михеич. — Посмотрел тупо на Леонтьева и, не донеся рук до головы, схватился за грудь. — Да что мне это такое!.. Сдурел он!..

— Не прерывайте, Кирилл Михеич, — проговорил печально Леонтьев и, хлопая ладонью по арбузу, продолжал, нерешительно и растягивая слова, высказывать предложения Группы Общественного Спасения: — Захватить пароход... Арестовать Запуса — лучше всего на его квартире... Казакам разогнать Красную гвардию... Командировать в Омск человека за оружием и войском... Избрать Комитет Спасения...

Был Леонтьев сутуловат, тонок и широколиц, словно созревший подсолнечник. Голос у него был грустный и томный: ленивый, домохозяйственный, любил он птицеводство; преподавал в сельскохозяйственной школе геометрию, а отец у него — толстый и плотный баболюб (держал трех наложниц) — имел бани.

Рядом с ним на кошме сидел Матрен Евграфыч, пожилой усталый чиновник с почты. Шестой год влюблен он в Ларису, дочь Пожиловой — мельничихи, и Кирилл Михеич помнил его только гуляющим под руку с Ларисой. А сейчас подумал: «Чего он не женился?»

За о. Степаном, рядом с братьями Саженовыми, был еще бухгалтер из казначейства — Семенов, лысый, в пикейной паре. Он был очень ласков и даже очки протирал, словно гладил кошку. Он увидал, что Кирилл Михеич смотрит на него, подполз и сказал ему на ухо:

— Глупо я умру. Нехорошо. Чего ради влип, не знаю...

Тут Кирилл Михеич, вспомнив что-то, сказал:

— А по-моему, плюнуть...

Леонтьев поднял руки над арбузом и спросил нерешительно:

— На что плюнуть?..

Кирилл Михеич пошевелил бородку по мягкой кости и ответил смущенно:

— Воопче. Зря, по-моему. — Он вспомнил Саженову-старуху и добавил: — Вырежут...

— Большевики?

— Обязательно. О чем и говорят. И Артюшка зря лезет. Я ему напишу, а бабе его от квартеры откажу. Хоть и родня, а мне из-за них помирать какой план? Брось ты, Иван Владимирыч... На казаков какая надежа? Брехать любят, верно. Я с ними церква строил, знаю. Хуже киргиз.

— Следовательно, с предложеньями Группы вы не согласны?

Кирилл Михеич вынул платок, утер щеки, высморкался и опять сунул платок:

— Силы у вас нету...

— Две сотни казаков хоть сейчас. Под седлом.

— Вырежут. Впрочем, дело ваше, а меня, Иван Владимирыч, избавь. Мое дело сторона...

Протоиерей грохнул арбуз о кошму и вскочил.

— Вот и води с таким народом дела! — закричал он пронзительно.

Вороны метнулись от подсолнечников. Он сбавил голос:

— Раз у тебя родственник Артемий Иваныч такой, за родину, я и думал. Не подгадит, мол, Кирилл Михеич...

— Родственник-то он по жене... А жена... воопче.

— Воопче, воопче!.. — закричал опять протоиерей. —

Вы не воопче говорите, а за себя. Ради вас же стараются... Я думал подряды вам устроить побольше. Семнадцать церквей получили.

— Что вы меня, отец Степан, церквами-то корите? Я их не воровать берусь, а строить. Да ну их...

Протоиерей торопливо перекрестил его. Кирилл Михеич сплюнул и сказал тише:

— С такими работниками сартира не выстроишь, не то что в готическом стиле. Надоели они мне все. Столько убытков несут — и я и они, господи...

Шмуро громко вздохнул:

— Такой климат. Плотность населения отсутствует, значит, все плохо. Не предприимчивый.

Кирилл Михеич погладил кадык.

— В горле першит от крику. Плюньте, господа... Лучше б кумыса по такому времени, а? Матрен Евграфыч, верно?

Тот устало повел губами:

— Кумыс подкрепляет.

Все подымались. Архитектор скатывал кошму. Леонтьев собирал корочки расколотого арбуза. Когда кошма докатилась до него, он вдруг яростно стал топтать корки по кошме. Архитектор, колыхая шлемом, хохотал.

Леонтьев растянуто сказал:

— Предатели вы... Артемий надеется. Письмо прислал: «При первой возможности подойду к Павлодару с казаками. Может быть, вы своими силами уберетесь». Перетрусили, убрались...

Протоиерей подмигнул:

— Ничего. Мы еще наладим. Не так, тогда этак... Я сегодня обедню не стал служить, проповедь отложил, а тут даже арбуз не съели... Человеки-и!..

Кирилл Михеич спросил протоиерея:

— Вы, батюшка, семян мне не одолжите?..

— Каких тебе?

— Арбузных. От этих полос, подле коих рассуждали. Крупный арбуз и, главное, крепок — как по нему Иван Владимирыч бил, — хоть бы што... Мне на бакча такой, а то в Омск справляю, мнется. Арбуз для этого надо крепкий.

Протоиерей подумал и сказал:

— Могу.

Кирилл Михеич счистил приставшую от кошмы шерсть и посоветовал:

— Брось, отец. Ты в летах, ну их... Я тут почесь всю ночь просидел — программу большевицкую читал. Читал, отец, читал... Ведь я скажу тебе — нет такого плана, чтоб не понял. Хоть на всю землю здание — пойму. А тут — пошто, откуда оно — никак не вникну. Туман.

— Не читал, не интересуюсь.

— Твое дело церковное. Может, и грешно... Как ты, отец, полагаешь: скажем, отымут... дома там, имущество. Надолго?

— А я думаю, коли отымать, так и совсем отымут.

Кирилл Михеич ухмыльнулся.

— Не верю. Главное, пропить некому будет: на кой им это все?

— Найдут, — шумно дыша, сказал протоиерей. — Им только взять.

VII

На назьмах, подле белой уездной больницы, расстались.

Шмуро, Кирилл Михеич и протоиерей шли вместе.

В самом городе, как заворачивать из-за сельскохозяйственной школы на Троицкую улицу, за углом в таратайке ждала их матушка Вера Николаевна. Лицо у ней как-то смялось, одна щека косо подрыгивала, а руки не могли удержать вожжей.

— Куда тебя? — спросил протоиерей. — Таку рань...

И тут только заметили, что попадья в азяме, киргизском малахае и почему-то в валенках. Тряся вожжами по облучку, она взвизгнула, оглядываясь.

— Садись...

Протоиерей тоже оглянулся. У палисадника через загородку пегий теленок силился достать листья тополей. Розовую шею царапали плотные перекладинки, и широкие глаза были недовольны.

— Ищут!.. — еще взвизгнула попадья, вдруг выдергивая из-под облучка киргизскую купу. — Надевай.

Протоиерей торопливо развернул купу. В пыль выпал малахай.

Шмуро дернул Кирилла Михеича за пиджак.

— Пошли... Наше здесь дело?.. Ну-у...

Протоиерей, продергивая в рукава руки, бормотал:

— Кто ищет-то? Бог с тобой...

— Залезай, — визжала попадья. — Хочешь, чтоб зарезали? Ждать будешь?

Она вытянула лошадь кнутом по морде. Лошадь, брыкая, меся пыль, понесла в проулок, а оттуда — в степь.

Кирилл Михеич торопливо повернул к дому. Шмуро забежал вперед и, расставляя руки, сказал:

— Не пущу!

— Окрстись, парень. К собственному дому не пустишь.

— Не пущу!..

Вся одежда Шмуро была отчего-то в пыли, на шлеме торчали навоз и солома. Бритые губы провалились, а глаза были, как растрепанный веник.

— Не пущу, — задыхаясь и путаясь в слюне, бормотал он, еще шире раздвигая руки, — донесешь... Я, брат, вашего брата видал много... Провокацией заниматься?

Кирилл Михеич отодвинул его руку. Шмуро, взвизгнув, как попадья, схватил его за полу и, приближая бритые губы к носу Кирилла Михеича, брызнул слюной:

— Задушу... на месте, вот... попробуй.

Здесь Кирилл Михеич поднес к его рту кулак и сказал наставительно:

— А это видел?

Шагнул. Шмуро выпустил полу и, охнув, побежал в проулок. Кирилл Михеич окликнул:

— Эй, обождь... (Он забыл его имя.) Ладно, не пойду. Только у меня ведь жена беспокоится.

Шмуро долго тряс его руку, потом на кулаке оправил и вычистил шлем.

— Я, Кирилл Михеич, нервный. От переутомленья. Я могу человека убить. О жене не беспокойтесь. Мы ей записку и с киргизом. Они — вне подозрений.

— Кто?

— Да все... — Он косо улыбнулся на шлем. — Продавил. Где это?.. Ко мне тоже нельзя. Может, меня ждут арестовать. Пойдемте, Кирилл Михеич, на площадь, к собору. Народ-то как будто туда идет...

Из переулков, из плетеных и облепленных глиной мазанок, босиком в ситцевых пестрых рубахах сбегались на улицу мещане. Останавливались на средине и долго смотрели, как бабы, подобрав юбки и насунув на брови платок, бежали к площади.

Мещане вскинули колья на плечи и плотной толпой, в клубах желтой и пахучей пыли, пошли на площадь.

— Зачем это? — спросил Шмуро.

Желтобородый и корявый мещанин остановился, лениво посмотрел на него и безучастно сказал:

— Спички нет ли?.. Закурить. А бигут-то большавиков бить, в церква, бают, пулемет нашли. Отымать приехали. И попа повесили... на воротах.

— Не бреши, — сказал Кирилл Михеич. Шмуро цикнул в шлем. Мещанин побежал догонять, одна штанина у него была короче, — и казалось, что он хром...

Шмуро значительно повел согнутой кистью руки:

— Видите?..

— Не повесили ведь? Сами видали.

— Ничего не значит. Повесят. Если б это культурная страна, а то Ро-осси-ия!..

В садике перед площадью какая-то старуха, рваная и с сумой через плечо, согнув колени, молилась кресту собора. С рук на траву текли сопли и слезы, а краюхи, выпавшие из сумы, бесстрашно клевали толстые лохмоногие голуби. Шмуро подскочил к ее лицу. Торопливо сказал:

— Не ори...

Старуха запричитала:

— В алтаре... усех батюшек перерезали, жиды проклятые! Христа им мало, владычица!..

А за садиком, перед церковью, как в крестный ход, билась сапогами, переливая ситцами, толпа. На площадке у закрытых огромным замком дверей церкви молились старуха и бабы. Одна билась подле замка. Взывал кто-то пронзительно:

— Не допустим, православные!.. Злодеев, иродов...

Подходили с кольями мужики: коротконогие, потные и яркие — в новых праздничных рубахах. Безучастно смотрели на ревущих баб — точно тех избил кто... Ровной и ленивой полосой выстраивались вокруг церкви. Подымали колья на плечи, как ружья... Молодежи не было — все бородатые впроседь. Мальчишки сбирали гальки в кучки.

Над крестами кружились и звонко падали в глухое, бледное и жаркое небо голуби.

Шмуро ловил Кирилла Михеича в толпе, тянул его за рукав и звал:

— Идемте к Иртышу, в купальни хотя бы... Стрельба здесь начнется, вам ради чего рисковать? Идемте.

Кирилл Михеич все втискивался в толпу, раздвигал потные локти, пахнущие маслом бороды. Плотным мясом толкали в бока бабы; старухи царапали костями. Какой-то скользкий и тающий, отдающий похотью и тоской, комок давился и рождался — то в груди, то в голове...

— Отстань, — говорил он.

Никто его как будто не узнавал, но никто и не удивлялся. И толпу пройти нельзя было, — только выходил на край, как поворачивался, и опять он входил туда же.

— Идемте!..

— Отстань.

Потом Шмуро больше не звал его. Но, раздвигая тела, вдыхая воздух, пахнущий табаком и сырым, недопеченым хлебом, Кирилл Михеич повторял:

— Отстань... отвяжись...

Вдруг Кирилла Михеича метнуло в сторону, понесло, глубоко-глубоко бороздя сапогом песок, и он вместе с другими хрипло закричал:

— Ладно... Правильно-о!..

А тот, кому кричал Кирилл Михеич, перегнувшись из таратайки и прижимая к груди киргизский малахай, как наперсный крест, резко взывал:

— Не допускайте, православные! Не допускайте в церковь!.. Господи!..

И он оборачивался к улыбающемуся красногвардейцу Горчишникову. А Горчишников держал револьвер у виска о. Степана и кричал в толпу:

— Пропусти! Застрелю.

На козлах сидела и правила матушка.

Толпа стонала, выла. Спина в спину Горчишникову стоял еще красногвардеец, бледный и без шапки. Револьвер у него в руке прыгал, а рукой он держался за облучок.

— Пу-ускай!.. — кричал в толпу Горчишников. — Пускай, а то убью попа.

Толпа, липко дыша, в слезах, чернобородая, пыльная, расступилась, завопила, грозя:

— По-одожди!

Тележка понеслась.

А дальше Кирилл Михеич тоже со всеми, запинаясь и падая, без шляпы, бежал за тележкой к пристаням.

Протоиерея по сходням провели на пароход, а матушку не пустили.

Лошадь подождала и, легонько мотая головой, пошла обратно. Толпились у сходен, у винтовок красногвардейцев — орали каменщикам, малярам, кровельщикам:

— Пу-усти...

А у тех теперь не лопатки — штыки. Лица поострели, подтянулись.

Махал сюртуком Кирилл Михеич, падая в пыль на колени:

— Ребята, отца Степана-то... Пу-усти...

— Здесь тебе не леса! Жди...

Работник Бикмулла сдвинул на ухо тибитейку, босиком травил канат.

Пароход отошел от пристани, гукнул тревожно, и вдруг на палубу выкатили пулеметы.

Толпа зашипела, треснула и полилась обратно с берега в улицы.

И только в переулке заметил Кирилл Михеич — потеряна шляпа; штанину разорвал, подтяжки лопнули, и один белый носок спустился на штиблет.

VIII

Тонкая, как паутина, липкая шерсть взлетала над струнами шерстобойки.

Кисло несло из угла, где бил Поликарпыч шерсть. И борода у него была, как паутина — голубая и серая.

Кирилл Михеич лежал на кровати и говорил:

— Ты в дом-то почаще наведывайся. Бабы.

— Аль уедешь?

— В бор-то. Лешева я там не видал. Раньше не мог, теперь поздно.

— Поздно? Пымают.

— Поймали же попа.

— Попа и я могу пымать. На то он и поп. Куды он убежит дальше алтаря? Нет, ты вот меня поймай. А то — нарядил купу киргизку, а волосы из-под малахая длинней лошадиного хвоста... Убьют, ты как думашь?

— Я почем знаю, — с раздражением ответил Кирилл Михеич.

Поликарпыч свалил шерсть в мешок и, намыливая руки, сказал:

— Надо полагать, кончут. Царство небесно, все там будем.

— Чирей тебе на язык.

Поликарпыч хмыкнул:

— Ладно. Жалко. А того не ценишь, что в Павлодаре мощи будут. Ни одного мученика по всей киргизской степе. Каки таки и места... И тебя в житьи упомянут.

Он хлопнул себя по ляжкам и засмеялся. Кирилл Михеич отвернулся к стене...

Поликарпыч спросил что-то, надел пиджак и ткнулся к маленькому в пыльной стене зеркалу.

— Пойду к бабам. Што правда, то правда — от таких баб куда побежишь? Сладше раю...

— Иди, ботало! Вот на старости лет...

Вспомнил Кирилл Михеич — давно книжку читал — «Красный корсар». Пленных там вешали на мачте. Подумал про о. Степана: «А мачта мала!» И никак не мог вложить в память ясно: выдержит мачта или нет. Красят их синей краской, мачты существуют для флага. Флаг, конечно, легче человека...

И еще вспомнил — пимокатню пермских земель. Там, должно быть, читал «Красного корсара». С тех времен книги видел и читал только конторские: с алыми и синими графками. Сверху жирно — «дебет, кредит». Все остальное — цифры, как поленья в бору — много...

Пристроечка в стену флигелька упирается. Так что с кровати слышно — могучим шагом, гремя половицами, идет Фиоза Семеновна. А легче-то, должно быть, Олимпиада или, может, отец.

Ржет лошадь: протяжно и тонко. Должно быть, не поили. Вечер по двору — синяя лисица. Медов и сладостен ветер — чай в такую погоду пить, а здесь по мастерским прячься. И от кого?.. В своем доме.

Лошадь жалко — не человек, кому пожалуется. Натянул сюртук Кирилл Михеич, приоткрыл лопнувшую зеленую дверь.

По двору — топот. К пригону. Насвистывая, ввел кто-то лошадь. Звякнуло железом. Сапоги заскрипели. Потом стременами, должно, тронули.

В щель пахнуло лошадиным потом, — и голос Запуса:

— Старик, спишь?

Вскочил Кирилл Михеич в кровати. Натянул кое-как одеяло. Дверь подалась, грохнулась на скамью тяжесть — седло.

— Спишь?

Свистнул. Зажег папироску. Сплюнул.

— Спи. Огонь напрасно не гасишь, пожар будет. Я погашу.

Дунул на лампу и ушел.

Еще за стеной шаги — расписанные серебряным звоном. Смех будто; самовар несут — Сергевна ногами часто перебирает.

И такой же нетленный вечер, как всегда. И крыши — спящие голуби.

Телеги под навесом, пахнущие дегтем и бором. Земля, сонная и теплая, закрывает глаза.

А душа не закрывает век, ноет и мечется, как зверь на плывущей льдине.

Мелко, угребисто, перебирая руками, точно плывет, — Поликарпыч.

— Хозяин прикатил. Видал?

— Видел.

— Хохочет. Тебя, грит, у парохода приметил... На коленях молился.

— Брешет.

— Ты ему говори. Я, грит, ему кланяюсь, — ён и не видит. Освободители-и!.. Куды, грит, сейчас изволил отбыть?.. Фиоза-то...

— Ну?..

— Вместе с Олимпиадой, ржет... Я ее в бок толкаю, а она брюхом-то, как вальком, так и лупит, так и лупит. Ловко, панихида, смеется. Поди, так штаны лопнули.

Кирилл Михеич потер ладони — до сухой боли. Кольнуло в боку. Вздохнул глубже, присел на скамейку, рядом с седлом. От конского запаха будто стало легче.

— Тебе б, пожалуй, парень, пойти в добровольную. Мало ли с кем не бывает, а тут за веру.

— Иди ты с ними вместе...

— Материться я тоже могу. Однако, грит, введёны в город военные положенья, чтоб до девяти часов, а больше не сметь. Вроде как моблизация... призыв рекрутов. Ладно!.. Я ему говорю — отец-то Степан жив? Куды, грит, он денется. Очень прекрасно... Выпил я чай и отправился. Ступай и ты. Баба мне Фиоза-то: «Пусть, грит, идет...» Пошел, что ли?..

— Не лезь! — крикнул Кирилл Михеич.

Поликарпыч посмотрел на захлопнувшуюся дверь. Поправил филенку и сказал:

— Капуста...

Стоял Кирилл Михеич, через палисадник глядел в окно.

Опять, как утром, — самовар бежит, торопится — зверь медный. Плотно прильнув к стулу, Фиоза Семеновна подлым вороватым глазом — по Запусу. И жарче самовара — в китайском шелке дышат груди. Рот как брусника на куличе...

Смеются.

У Олимпиады глаза — клыки. Фиоза смеется, — в ноги, — скатерть колышет, от смеха такого жилы, как парное молоко, вянут...

Вянет у Запуса острый и бойкий рот. Усики, как в наводнение, тонут в ином чем-то...

Харкнул Кирилл Михеич, отошел. Хотел было уже в комнаты, но вспомнил генеральшу, хромых офицеров и Варвару. Пригладил волос, а чтоб короче, через забор.

На стук — громыхнуло ведро, треснула какая-то корчага и напуганный густой голос воззвал:

— Кто-о!..

Отодвинулся немного Кирилл Михеич, чтобы дверь отворять, не беспокоить. Сказал неуверенно:

— Я, Кирилл Михеич.

— Кто-о?..

— Кирилл Михеич!.. Сосед!

Громыхнуло опять что-то. Звякнуло. Из синей и жесткой тьмы крикнули сразу несколько:

— Не знаем... кто там еще на ночь? Здесь раненые...

— Ранены-ые... — давнул в двери бас.

Собака тявкнула, будто скрипнуло колодцем... Известкой понесло от постройки.

Дошел Кирилл Михеич до ворот, а там, прислонившись к столбу, — киргиз. Конь рядом. Чембырь прикреплен к поясу.

Киргиз обернулся и поздоровался:

— Аман-бы-сын?..

И, немного пришепетывая, словно в размякших зубах, сказал по-русски:

— В пимокатной никого нет? Я видал — комиссар проехал.

Кирилл Михеич подошел и, дергая киргиза за пояс, проговорил вполголоса:

— Артюшка!.. Эта ищо что за дикорация?

— Не ори, — сказал Артюшка, быстро отцепляя чембырь: — Коня надо на выстойку привязать. Нет, значит? Я пойду.

Он, подкидывая песок внутрь, косыми ногами, пошел. Кирилл Михеич обомленно тянул его за пояс к себе. Ремень был потный и склизкий, как червь.

Вспомнил Шмуро в переулке и, стараясь, спокойно сказал:

— Обожди.

Артюшка выдернул ремень и, трепля потную челку лошади, одной к другой ноге сгребал песок.

— Я устал, Михеич. После скажешь.

— Урежут.

— Кто?

Кирилл Михеич подскочил к морде лошади. Так он глядел и говорил через морду. Лошадь толкала в плечо влажными и мягкими ноздрями.

— Сёдни восстанье было. Церковь отбивали, а потом, говорят, казаки идут. И будто ведешь их ты. Со всех станиц. Протоиерея арестовали.

— Знаю.

— Нельзя тебе, парень, показываться.

— Тоже знаю. У тебя овес есть? Я к старику пойду, бабе скажи — щей пусть принесет. Я есть хочу. А там как хочешь.

Лошадь дмыхнула ноздрей. Артюшка разнуздал ее и сунул под потник руку — «горячее ли мясо, можно ли снять седло»?

Кирилл Михеич хлопнул себя по ляжкам и, быстро вращая кистью руки, закричал:

— Да что вы — утопить меня хотите? Сговорились вы, лешак вас истоми! Поп туды тянет, архитектор — туды... разорваться мне на тысячу кусков? Жизнь мне надоела, — идите вы все к чемеру!.. Только подряды пропали, время самое лес плавить, господи...

Крик его походил на жалобу.

Из палисадника, ленивый и желтый, как спелая дыня, выпал голос Фиозы Семеновны:

— Чего там ещо, Михеич?

— Видишь, орешь, — сказал Артюшка, идя под навес. — Скажи — сбрую привезли...

Жена переспросила. Кирилл Михеич крикнул озлобленно и громко:

— Сбрую привезли, язва бы вас драла!..

И еще ленивее, как вода через край, выплеснула Фиоза Семеновна в комнате:

— Что волнуется, не поймешь. Чисто челдон.

Лица у Артюшки под пушистым малахаем не видно, — блеснули на луну зубы. За плечи спрятались пригоны, пахнущие распаренно-гниющим тесом и свежим сеном. Пимокатная.

Поликарпыч удивлялся, когда не надо. Должно быть, для чужих... Развешивая по скамье вонючие портянки, отодвинул и поздоровался спокойно:

— Приехал? Садись. Баба и то, поди, тоскует. Видал?

— Ись хочу, — сказал Артюшка.

— Добудим. Схожу в кухню.

Артюшка вдруг сказал устало:

— Не надо. Дай хлеба. Постели на земле...

Старик, видимо довольный, отрезал ломоть хлеба. Кирилл Михеич, положив жилистые руки на колени, упорно и хмуро глядел в землю. Артюшка ел хлеб, словно кусая баранину — передними зубами, быстро и почти не жевал.

Съев хлеб, Артюшка вытянулся по скамье, положив под голову малахай. Тибитейка спала на землю. Старик поднял ее одним пальцем и сказал недовольно:

— Зачем таку... Как пластырь. Образ христианский у тебя. Хфеска все-таки на картуз походит.

— Кого еще арестовали? — быстро спросил Артюшка.

Так же, словно зажимая слова меж колен, в землю отвечал Кирилл Михеич:

— Одного протоиерея, говорят. Больше не слышно.

— Разговаривали сегодня?

— С кем?

— С кем. Со всеми.

— Ты откуда знаешь?

Артюшка сердито, как плетью, махнул тибитейкой.

— Когда вы по-настоящему отвечать научитесь? Всей Росее надо семьдесят лет подряд в солдатах служить... Тянет, тянет, как солодковый корень. Говорили, значит.

— Говорили.

— И ничего?

Кирилл Михеич почему-то вспомнил голубей над церковной крышей — будто большие сизые пшеничные зерна... Громко, словно топая ногой, сплюнул.

— Я так и знал. Я никогда на рогожу не надеюсь. Надо шпагат. Казаков не разоружили?

— А будут?

— Я должен знать? Вы что тут, — яйца парите? У баб титьки нюхаете?..

Старик рассмеялся:

— Ловко он!..

Шевеля длинными и грязно пахучими пальцами ног, он добавил хвастливо:

— Кабы мое хозяйство, я б навинтил холку.

На дворе по щебню покатилось с металлическим синим звоном. Артюшка подобрал ноги и надвинул тибитейку на лоб.

— Идет кто-то... С вами и камень материться начнет. Огурцы соленые, а не люди.

За дверью по кошме кто-то царапнул. Поликарпыч с кровати шестом пхнул в дверь.

Вошел щурившийся Запус. Подтягивая к груди и без того высоко затянутый ремень, сказал по-молодому звонко и словно нацепляя слова:

— На огонь забежал, думаю, скучно старику. Почитать попробовал, а в голове будто трава растет... Вас — полная компания. Не помешал?

— Гостите, — сказал Кирилл Михеич.

Запус поглядел на него и, убирая смех, надвигая неслушавшиеся брови на глаза, проговорил торопливо и весело:

— Здравствуйте, хозяин. Я вас не узнал — вы... будто... побрились?

Старик хлопнул себя по животу.

— Ишь... я тоже говорю, а он не верит...

Запус, указывая подбородком на Артюшку, спросил:

— Это новый работник? Ваш-то к нам на пароход поступил.

— Новый, — ответил неохотно Кирилл Михеич.

Артюшка пригладил реденькие, по каемочке губ прилипшие усики и сказал:

— Пале́!

— Он по-русски понимает?

— Мало-мало, — ответил Артюшка.

— Из аула давно?

— Пчера.

— Степной аул? Богатый? Джатачников много? А сам джатачник?

— Джатачник, — раздвигая брови, ответил Артюшка.

— Чудесно.

Запус, перебирая пальцы рук, часто и бойко мигая, огляделся, потом почему-то сел по-киргизски, поджав ноги на постланную постель Артюшки.

— Я с тобой еще говорить буду много, — сказал он. — А ты, старик, не сказки рассказывал?

— Нет. Не учил, парень.

Запус вытащил портсигар.

— Люблю сказки. У нас на пароходе кочегар Миронов — здорово рассказывает. Этому, старик, не научишься. А карт нету?.. Может, в дурака сыграем, а?

— Карты, парень, есть. Не слупить ли нам в шестьдесят шесть?

Запус вскочил, переставил со стола чайники и чашки. Ковригу хлеба сунул на седло, сдул крошки, чайные выварки и выдвинул стол на средину.

— Пошли.

— Садитесь, — сказал он Кириллу Михеичу. Тот вздохнул и подвинул к столу табурет. Артюшка захохотал. Запус взглянул на него весело и быстро объяснил Кириллу Михеичу:

— Доволен. Инородцы очень любят картежную игру, — также пить водку. Я читал. Жалко водки нет, угостить бы...

Кириллу Михеичу не везло. В паре против них были Поликарпыч и Запус. Поликарпыч любил подглядывать, а Запус торопился, и карты у него в руках порхали. А Кириллу Михеичу были они тяжелее кирпича и липки, как известка. Злость бороздила руки Кирилла Михеича, а тело свисало с табурета — мягкое и не свое, как перекисшая квашня...

«Шубу» за «шубой» надевали на них. Поликарпыч трепал серую бороденку пальцами, как щенок огрызок войлока, и словно подтявкивал:

— Крой их, буржуев!.. Открывай очки... крой!..

У Запуса желтой шелковинкой вшивались в быстрые поалевшие губы-усики. Как колоколец, звенели в зубы слова:

— Валяй их, дедушка! Не поддавайся...

А завтра день, может быть, еще хлопотней сегодняшнего. Запус донесет или возьмет сейчас встанет и, сказав: «Что за подозрительные люди», — арестует. Ноздря ловила горький запах конского пота с седел; коптящая лампа похожа на большую папироску.

Влив жидкими зеленоватыми клубами в конский и табачный дух вечерние и сенные запахи, появилась Олимпиада. А позади ее — сразу согрела косяки и боковины дверей — Фиоза Семеновна.

У стола Олимпиада вскрикнула:

— Ой!

Запус оттолкнул табурет и, держа в пальцах карты, сказал:

— Накололись?..

Поликарпыч закрыл ладонью его карты торопливо.

— Не кажи... Тут хлюсты, живо смухлюют.

Держа по ребрам круглые и смуглые руки, Олимпиада отвела глаза от тибитейки Артюшки.

— Нет, накурено. К вам, Василий Антоныч, пришли.

— Много?

— Трое.

Запус потянулся, вздохнул через усики и передал карты Олимпиаде:

— Доиграйте за меня. Я долго. Как пришли ко мне, так спать захотел... Опять заседание, нарочно с парохода сбежал. Думал — отдохну.

Покачав за пальцы руку, наклонил голову перед Фиозой Семеновной — идол в синем шелке, золото в коралловых ушах, зрачок длинный и зеленый, как осока:

— Спокойной ночи.

А ночью этой же толчками метнулась под брови, в лоб и по мозгам винтящая и теплая кровь, — вскочил Кирилл Михеич на колени. Махнул пальцами, захватил под ногти мягкий рот Фиозы Семеновны и правым кулаком ударил ее в шею. Хыкнула она, передернула мясами, — тогда под ребра... И долго — зажимая, мокрой от слюны, рукой бабий вечный крик — бил кулаком, локтем и босыми твердыми мужицкими ступнями муж свою жену.

IX

День и ночь двухэтажный, американского типа пароход «Андрей Первозванный» вытягивал и мазал небо с желтыми искрами дымной жилой. Сухие — железные и деревянные — ребра плотно оседали, подминали под

себя степную иртышскую воду. Ночью оранжевым клыком вонзался и царапал облака прожектор — и облака, кося крылом, ускользали, как птицы.

По сходням, босые, в выцветших ситцевых рубахах, подпоясанные тканьевыми опоясками, с порванными фуражками, вбегали на пароход. В руках — бумажки, за плечами — винтовки. Ремней на винтовки не хватало — держались на бечевках.

Потому-то густоголосый и рыжебровый капитан ворчал у медного рупора:

— Рваные туда же... Самара-а!..

А такой же «самара» рядом с ним стоял и контролировал контрреволюцию. Вместо платка у «самары» — кулак, а пальцы вытирал о приклад винтовки.

Влепились и черным зрачком с голубого листка косились буквы. По всему городу косились и рассказывали (многие уверяли — неправда, а верили):

> Павлодарский Рев. Комитет С. Р., С., К. и К. Деп. за попытку восстания, организованного буржуазией, предупреждая... все дальнейшие попытки вырвать власть из рук рабочих и крестьян... будут караться немилосердно, до расстрела на месте виновных. Настоящим...
>
> Контрибуцию с буржуазии г. Павлодара... пятьдесят тысяч рублей.
>
> *Комиссар Василий Запус.*

И на углах улиц, по всему берегу — по пулемету. На каждом углу — четыре человека и пулемет. У забора мальчишки, с выцветшими волосенками, щелкают семечки и просят:

— Дяденька Егор, стрельни!

Егор сидит на пустом ящике от патронов, тоже щелкает семечки. Отвечает лениво:

— Отойди. Приду домой, матери скажу — шкуру сдерет.

— Мамка в Красну гвардию ушла! Батинки, бают, выдавать будут. Будут, дяденька, а?

Молчат. И лень, и жарко, и земля не камень, — пески.

Да и сроку два дня. Через два дня не внесут контрибуцию — пали по улицам. Улицы как песок, пуля как кол — прошибет! Стеганем так стеганем.

Подгоняет.

По сходням гуськом, через баржу-пристань, вверх

по сходням в каюту второго этажа — очередь. Именитейшее купечество городское стоит. Приходилось последнее время в очереди стоять за билетами — поехать куда, — и то редко: все приказчики заменяли. А теперь куда повезут за соответственные денежки? На тот свет, что ли? Эх, казачонки, казачонки, эх, Горькая Линия[1], подгадили!

А по яру — у берега песчаного и теплого, — кверху брюхом, пуп на солнце греют, — голь и бесштанники. Ерзают по песку от радости хребтом горбатым и голым. Коленки у них как прутья сухие, надломленные; голоса размыканные горем, грязные, как лохмотья. В прорехи вся истина видна, а лапами гребут — песок подкидывают от растаких — прекраснейших видений.

— Первой гильдии Афанасий Семенов приперся!..

И завыли:

— У-у... — прямо волчьим злым воем на седую семеновскую голову. Вот она где слеза-то соленая сказывается...

— Мельник Терешка Куляба...

— С деньгой? Гони-и!

И погнали криком, визгом, свистом по скрипучим сходням, под скобку скобленную упрямую голову. Вот они жернова-то какие, мелют!..

— Самсониха, а? Шерсть скупать явилась?..

— Надо тебя постричь, суку!

Сухие, как шерсть, длинные в черном Самсонихины косточки тоже на сходнях. Терпи, мученицы терпели, а ты тоже кой-кого глодanула... Кровь в щеках поалела, а ноженьки подползают под туловище — мало крови. Ничего, отдашь, и отойдет.

— Крылов! Крылов! Мануфактурщик!..

Подняли с песка желтые клювы, заклёкотали, даже сходни трещат.

— Давай деньгу!..

— Гони народну монету!..

— Их-ии-хьих... тю-тю-тю...

— Сью-ю... и... и... ююююю... ааую...

Рыжими кольцами свист — от яра на сходни, со сходен на пароход. Кассир в каюте пишет в приеме квитанции. На кассире, конечно, фуражка, и на гимнастерке, помимо револьвера, — красная лента.

---

[1] Горькая Линия — цепь казачьих поселков вдоль Иртыша.

Царапая дерево саблей с парохода, — сходнями, — идет на лошадь Запус. Ему — один пока имеющийся, триста лет ношенный, крик:

— Урр-ра-а-а!

И, раздавив царское, «р» — повисли:

— А-а-у-а-а...

(Ничего — время будет, другое научатся кричать. Так думает Запус. А может, и не думает.)

Обернулся здесь сутуловатый старичок Степан Гордеевич Колокольщиков, — борода, продымленная табаком (большие табачные дела делает), и глазом больше, чем губами, сказал:

— Сейчас резать пойдут.

Спросил Кирилл Михеич:

— Пошто?

Втиснул бороду в сюртук, табаком дыхнул:

— А я знаю?.. Поревут, поревут, да и пойдут резать. Кричать надоест и вырежут. И не однако на сходнях, а и в городе вырежут. Поголовно.

Подвинулся на два шага (один освободился плательщик) — пальцем клюнул к песчаному жаркому яру, тихонько бородой погрозился:

— Обожди... придется и над тобой надсмеяться... посмеемся.

Как будто на минуту легче Кириллу Михеичу — повторил и поверил:

— Посмеемся...

Еще на два шага. Ощупал в кармане золото — не украли бы? А кто украдет, люди все рядом именитые — купеческие. Дурной обык карманы щупать...

Золото же в кармане лежало, потому — прошел слух, не принимают контрибуцию бумажными, золото требуют. У всех в одном кармане мокрое от пота золото, а в другом влажные от золотого пота ассигнации — перещупанные...

Еще на два шага.

— Двигается?

— Сейчас быстрее.

— Пронеси ты тучу мороком, осподи...

Под вечер на другой день косоплечий с длинными запыленными усами подскакал к пароходу казак. Немножко припадая на левую, прошел в каюту. И голос у него был косой, вихлявый и неразборчивый. Глядя напуганно под опрятные искусственные пальмы, полированный

коричневый рояль, рассказывал Чрезвычайной тройке (был здесь и Запус), что штаб организованного капитаном Артемием Трубычевым восстания против большевиков находится в поселке Лебяжьем. В штабе, кроме Трубычева, — поручик Курко, — ротмистр Ян Саулит и еще казаки из войскового круга. И с неудовольствием глядя на опадающую с штанов на чистый ковер желтую широкую пыль, назвал еще восемь фамилий: братья Боровские, Филипп и Спиридон, Алексей Пестряков, Богданов и Морозов, Константин Куприяпычев, Афанасий Сизяков и Василий Краюкин. Потом Чрезвычайная тройка поочередно крепко пожала казаку руку.

Казак затянул крепче подпругу и поскакал обратно. Через час патруль красногвардейцев нашел его близ города у мельницы Пожиловой. Шея у него была прострелена, и собака с рассеченным ухом нюхала его кровь.

Кирилл Михеил увидал Пожилову под вечер. Он бродил поветью и щупал ногой прогнившие жерди. Пожилова, колыхая широкими свисшими грудями в черном длинном платье, бежала сутулясь по двору. Было странно видеть ее в таком платье бегущей, словно бы поп в полном облачении в ризе ехал верхом.

Она, добежав до приставленной к повети лестнице, крепко вцепилась в ступеньки из жердей.

— Убьют... разорят... — с сухим кашлем вытянула она. — Ты как думаешь, Кирилл Михеич?

Кирилл Михеич, ковыряя носком прелую солому, спросил:

— Мне почем знать?

От ворот подвинулись дочери Пожиловой — Лариса и Зоя, обе в мать: широкогрудые, с крестьянским тяжелым и объемистым мясом.

— Я что могу сделать? — Он подумал про сидевшего в мастерской Артюшку и добавил громко: — У меня самого шея сковырена. Ведь не вы убили? Нечего бояться, на то суд.

— Нету суда.

Дочери в голос повторили то же и даже взялись за руки. Пожилова, прижимая щеку к жерди, заплакала. Кириллу Михеичу неловко было смотреть на них вниз с повети, да и отсюда почему-то нужно было их утешать.

— Пройдет.

— Лежит он в десяти саженях и пулей-то ко мне повернут.

— Какой пулей?

— Дырой в шее. Франциск и заметил первый. Толку никакого не было, знать, притащили убитого... Говорят: из твоей мельницы стреляли.

Франциск — пленный итальянец — жил на мельнице не то за доверенного, не то за хозяина. Пожилова везде водила его с собой и все оправляла черные напомаженные волосы на его голове. Рассказывали о частых ссорах матери с дочерями из-за итальянца.

— На допросе была. Только что поручителей нашли голяков, отпустили. Заступись.

— Большевик я, что ль?..

— Не большевик, а перед Запусом-то походатайствуй. Некому стрелять. Сожгут еще мельницу. А тут ветер в крыло, робить надо. Скажи ты, ради бога...

— Ничего я не могу. У меня все тело болит.

Он, чтоб не глядеть на женщин, посмотрел вверх на зеленую крышу флигелька, на новую постройку, на засохшие ямы известки и вдруг до тошноты понял, что это уходит, как старая изветшалая одежда.

Кирилл Михеич сел на повети, прямо в прелое хрупкое сено, и больше не слышал, что говорили женщины.

Он, вяло сгибая мускулы, спускался, и на земле как будто стало легче. Мигали сухожилья у пятки, а во всем теле — словно там на повети на него опрокинулся и дом, постройка... выдавило...

Фиоза Семеновна, подавая связанного петуха, сказала:

— Заруби. Да крылья не распусти, вырвется... Чего губа-то дрожит, — все блажишь?

Кирилл Михеич подтянул бородку.

— Уйди... Топор надо.

Маленький солдатский топорик принесла Олимпиада. Как-то притиснув его одной кистью, вонзила в бревно. Пощупала на бревне смолу, присела рядом с топором. Кирилл Михеич, с петухом под мышкой, стоял перед ней.

— Казаки восстанье подняли, слышал? — как будто недоумевая, сказала она.

— Ничего не знаю.

Олимпиада кончиками пальцев погладила обух топора.

— Все шерсть бьете. Шерстобиты!.. В Лебяжьем восстанье. Наших перестреляют.

— В Ле-ебяжьем.

Олимпиада передразнила:

— Бя-я... Бякаете тут. У тебя кирпичные заводы не отняли? Отымут. Портки последни отымут, так и знай.

— Изничтожут их.

— Кто? Уж не ты ли?

— Хоть бы и я?

— Шерстобиты!.. На бабе верхом. Запус-то тебе глаза пальцем выдавит, смолчишь. Восстанье поедет подавлять. От Лебяжья, говорит, угли останутся.

— Врет.

— Переври лучше. Когда бороду тебе спалят, поверишь. И то скажешь, может, не так...

Кирилл Михеич отчаянно взмахнул петухом и крикнул:

— Да я-то при чем? Что вы все на меня навязались? Что у меня голова-то колокольня, каждый приходит и звонит!

Он рухнул перед бревном на колени и, вытирая о петуха вспотевшее лицо, выговорил:

— Давай топор.

Олимпиада, щупая пальцем острие, проговорила словно с неохотой:

— А ты его топором.

— Ково?

Она наклонилась к самой сапфирно-фиолетовой шее петуха и, прикрывая пальцем розовое птичье веко, сказала:

— Запуса.

Кирилл Михеич вытолкнул из-под мышки петуха, протягивая его шею к бревну.

— Не болтай глупостев, — сказал он недовольно.

— Вот так!

Она наклонилась к петуху и вдруг разом перекусила ему горло. Сплевывая со смуглых и пушистых губ кровь, пошла и крикнула через открытое окно в кухню:

— Фиоза, возьми петуха — мужик-то зарубил ведь...

Поликарпыч починил телегу, прибив на переломившуюся грядку дубовую планку; исправил в колодце ворот и съездил на завод узнать, работают ли кирпичи. Киргизы, оказалось, работали. Поликарпыч очень обрадовался.

Кирилл Михеич стоял у мастерской. Пальцы в кармане пиджака шевелились, как спрятанные щенята...

— К чему ты все?

— А что?
— Робишь?
— Ну?
— Отымут.

Поликарпыч, не думая, ответил:

— Сгодится.

Запахло смолой откуда-то. У соседей в ограде запиликали на гармошке. Кирилл Михеич поглядел на отца и подумал: «Сказать разве».

И он сказал:

— Прятать надо.

Поликарпыч, завертывая папироску в прокуренных коричневато-синих пальцах, отозвался:

— Ты и ране говорил.

Кирилл Михеич удивился.

— Не помню.

— Говорил. Только ничего, поди, у них пе выйдет.

— У кого?

— У этих, у парней-то с пароходу. Матросы пропьются и забудут. А молодой-то, должно, все больше насчет баб, а?

— Ты места подыщи, — сказал Кирилл Михеич тихо.

Поликарпыч клюнулся к земле и вдруг, точно поверив во что, утих, одернул рубаху. Провел сына в мастерскую. Здесь часто поднося к его носу пахнущие кислой шерстью ладони, тепло дышал в щеку:

— В сеновале — погреб старый, под сеном. Трухи над ним пол-аршина. Ты его помнишь, я рыл... — Он хихикнул и хлопнул слегка сына по крыльцам. — Вижу, у старого память-то лучше. Там песок, на пять саженей. Человека схоронить, тысячу лет пролежит — не сгниет... Туда, парень, все и можно. Хоть магазин.

От его дыханья было теплее. Да он и сам тоже, должно быть, тосковал, потому что говорил потом совсем другое, пустое и глупое. Кирилл Михеич терпеливо слушал.

Сизые тени расцвели на земле. Налился кровью задичавший кирпич. У плах, близ постройки, серая и горькая выползла полынь. Ее здесь раньше не было.

Кирилл Михеич наткнулся на жену у самого порога кабинета. Не успев подобрать рассолодевшее тело, она мелко шла внутренним истомленным шагом. Розовый

капот особенно плотно застегнут, а ноги были босые и горячие (от пола отнимались с пенистым шумком).

Кирилл Михеич уперся острым локтем ей в бок и, взмахнув рукой, хотел ударить ее в слоистый подбородок. Но раздумал и вдруг с силой наступил сапогом на розовые пальцы. Фиоза Семеновна вскрикнула. В кабинете скрипнула кровать.

Он намотал завитую прядь волос на руку и, с силой дергая, повел ее в залу. Здесь, стукая затылком о край комода, сказал ей несколько раз:

— Таскаться... таскаться... таскаться...

Выпустил. В сенях, бороздя пальцами по стене, стоял долго. Потом, в ограде, выдернув попавшую занозу, тупо глядя в ворота, кого-то ждал.

В мастерской Поликарпыч катал из поярка шляпу. Увидев сына, сказал весело:

— Я кукиш ему выкатать могу.

Кирилл Михеич лег на кровать и со стоном вытянул ноющие руки.

— Будет тебе!..

Старик с беспокойством обернулся:

— Нездоровится? Може, за фершалом сбегать?

— Да ты что смеешься... надо мной?..

Поликарпыч недовольно дмыхнул:

— Еще лучше!

X

Гореть бы дню за днем — жаркому, вечному огню. Пески под огнями неплавные, вихри на солнце, как радуга. Травы готовят человеку жатву — великий и сладостный груз горбатит спелые и желтые выи.

А здесь каждый день, как рана. И плод ли созревший — люди?..

Стоит Кирилл Михеич посреди двора, слышит — в генеральшиных раскупоренных комнатах пианино пробуют.

Фиоза Семеновна пронесла под навес платье.

— Куды?

— Вытресть, сложить. Моль сожрет.

Кирилл Михеич сказал жене:

— Сундуки приготовь, в комнату перетащи. Ночью рассмотреть надо... — добавил торопливо: — Сёдни.

Фиоза Семеновна боком как-то, точно сто пудов ухмылочка:

— Ладно.

— Нечо губы гнуть, слушай, когды говорят.

— Я и то слушаю. Глядеть на тебя нельзя? Добрые люди на пианине играют... Плакать мне?

— Когда комиссар уедет?

— Я совдеп, что ли?.. Ступай в Народный дом — спроси. Я у него над головой не стою.

— Поговори еще.

Взвизгнула внезапно. Платье швырнула оземь. Зеленобокая курица отбежала испуганно. Перо у курицы заспанное, мятое, в фиолетовых пятнах.

— Ну, вдарь, вдарь!.. Бить только знашь!..

— Фиёза!..

— Бей, говорю, бей!..

Кофта злобно пошла буграми. Губы мокрее глаз. А зрачок вот-вот выпадет... И голос уже в кухне:

— Пермяки проклятые, душегубы уральские!..

Кирилл Михеич сердито посмотрел на Сергевну, подбиравшую кинутое, и прогнал:

— Не трожь!..

Устало поднимался на крыльцо Саженовых, увидал сбоку на доске кирпич, придерживающий сушившуюся тряпку, подумал: «Леса на стройке разворуют...»

Во всю залу по-киргизски разостланы кошмы. Ни стульев, ни столов; у дверей забыли, надо думать, сундук. Офицеры, братья, бритоголовые лежат на кошме, а позади них у стены Варвара. Потому, должно быть, что увидал ее лежащую, — ноги заметил жиденькие и с широкой птичьей ступней.

Сидел Кирилл Михеич на сундуке, еле доставая каблуком до пола, и говорил неодобрительно:

— Напрасно, господа, азиатам подражаете. Архитектор вон в англичанина метит, все-таки... У англичанки-то, сказывают, пароходов больше мильена. На сто человек пароход.

Старший брат-офицер, сухоликий, в мать, сказал:

— Европе конец, сосед. Европа, не привыкшая к крови, не выдержит и рассыпится... Ты в Петербурге не был?

И, не дожидаясь ответа, для себя больше, а может, для сестры, сказал:

— Петербург в брюхо уходит, обомлел от крови. Распадется, на камне камня не будет, пока не придут туда люди, привыкшие веками к железу и крови. Зажмут, как тряпицу, это грязное и ленивое племя, обмакнут

в керосин и подожгут Европу. Азиат это сделает. Будет Европе, узнала много, больше не надо ей!..

— Большевики, что ль? — спросила Варвара и еще добавила что-то не по-русски.

— Никаких большевиков нет. Это солдаты домой хотят... Вот и все большевики.

Кирилл Михеич, упираясь ладонью в теплую жесть сундука, склонил немного плечи, спросил:

— Знаю вас не первый день... имя, отчество каки будут?

— Яков... Илья... Викторовичи...

— Тамерланом, так хочу понять, думаете... Таких ноне много. Кажыный человек свою страсть иметь обязан.

Старший брат Илья поджал ноги и, качая тибитейкой, закричал в бас, объемисто:

— Никаких страстей у этого грязного, неповоротливого племени, никаких страстей!.. У татар научились жрать много, да и только брюхо набивать. Мужик каждый день, хоть у него и сто тысяч капитала, — щи да каша. Чем богаче, тем жирнее щи да каша. А кроме щей?.. Блины, оладьи — все татарское, все. Пельмени у китайцев научились... Дети такие же растут — коротконогие и тупые звери! И все мы этим больны, и все за это расплату понесем от раба, поднявшегося и мстящего за побои, которые мы ему наносили... мало! Держать его с петлей на шее и вести, пока не приведешь, пока не нарастишь мускулы и лоб не сделаешь в палец. А не удастся — зарезать, утопить, но пе сметь пускать на волю... Живьем нас будут закапывать в землю, ноздри грязью забьют, — тогда поймем...

Яков легонько рассмеялся. Варвара, бороздя кончиком ботинка кошму, спросила:

— Почему, Кирилл Михеич, не нравятся вам киргизы? Они на лошадях хорошо ездят. Яков, я хочу на лошади кататься.

— Большевики прокатят.

Кирилл Михеич сказал с неудовольствием:

— Одно и умеют — ездить на лошади. Собаки, и больше слов им никаких нету. Крови-то они больше русских боятся.

Старуха генеральша в дверях по-мужски перешагнула через порог, сказала:

— В какие места меня завезли?.. Азия, Азия. Умрешь, поплакать некому. Архитектор идет, тоже азиатец...

Знала бы, не поехала ни за что. На Кавказе черкесы красивее, а здесь — не лицо, комок растоптанной грязи какой-то...

— Карамель твои черкесы.

— Все-таки!..

Мать с дочерью заспорили. Братья тоже говорили между собой. Кирилл Михеич вздыхал. Через все комнаты несло бараниной и луком.

Шмуро, пригибаясь, вошел в комнату. Вытер мокрые усы, огляделся и спросил торопливо:

— Здесь все свои? — Прислонившись к стене, махая шлемом от подбородка к груди, сказал, глотая слюну: — Во-первых, протоиерей Степан утоплен в мешке сегодня утром. Тело еще не найдено. Во-вторых, Матрён Евграфыч и Леонтьев арестованы час назад. Пришли четыре матроса и увели, даже чаю не дали напиться.

Генеральша рыхло опустилась рядом с Кириллом Михеичем. Мелкими, как горох, крестиками крестилась, бормотала... Офицеры вскочили и тоже встали вдоль стены. Одна Варвара лежала, по-кошачьи заглядывая в лица.

— Необходимо, господа, скрыться. Протоиерей, черт бы его драл, всех выдал. Перетрусил... Все равно не спасся.

Он вдруг заплакал. Генеральша, взглянув на него, широко разевая рот, закричала:

— Кровопийцы!.. Я вам говорила не уезжать!.. Что вам здесь понадобилось!

Варвара притворила дверь. Рот у генеральши хлюпал, на платье текла слюна. Десны открылись. Всхлипывая, Шмуро ощупывал для чего-то карманы:

— Зачем я в эту авантюру влез. Все Отчерчи... Неужели, господа, нельзя найти места? Пикеты, говорят, вокруг города. Кирилл Михеич, куда вы? Вы же здешний, вы должны знать.

Генеральша, ища образ сузившимися глазами, попеременно то молилась, то ругалась густой, еще не потерянной, руганью. Кожа собралась к ушам, нос удлинился и обмок.

Кирилл Михеич отвел локтем подскочившего Шмуро и, плотно притворив дверь, на крыльце вдруг вспомнил, шляпа осталась там... Здесь догнала его Варвара и, тряся за руку, проговорила:

— Ничего. Они психопаты. Вам трудно здесь жить?..

Кирилл Михеич протянул к ней руку. Она еще раз пожала. Она повторила растерянно:

— Ничего. Жена у вас красивая.

Хотел было пройти к старику, но увидал на улице Пожилову, и за ней — Лариса и Зоя. Кирилл Михеич свернул в постройку и сел на кирпичи, где уже однажды разговаривал с Запусом.

Пожилова искала в дому и мастерской, а он сидел и слушал разговор двух девиц. Одна, по голосу — Лариса, царапала зонтиком кирпичи и спрашивала:

— Почему у них всегда ярче платья, чем у нас, и духи крепче? На мужчин, наверное, это действует сильнее.

— Хоть и проститутки, а платьев у них больше, чем у нас.

— Тяжело, наверное, с каждым спать.

— Попробуй.

Девицы рассмеялись тихонько, совсем просто:

— С мельницы выгонят, пойдем туда. Ты бы пошла?

— Я бы пошла. Только не в нашем городе. Здесь все знакомые ходят. Стыдно будет. У нас тело крепкое, много дадут.

— Туда, я у рабочих слышала, и Франциск ходит.

— Маме надо сказать.

Они опять рассмеялись.

— А муж у Фиозы Семеновны, говорят, там часто бывает. Перины вытащат в залу и на перинах пляшут.

Зашебуршал песок, и напуганный голос Пожиловой проговорил:

— Не нашла. Здесь где-то был, и лешак унес. Отец говорит: Фиоза в Лебяжье уехала. Догонять, может, побежал.

— В Лебяжье? А пикеты?

— Ей что? Она с комиссаром-то — берег да вода. Пропустят. Это у нас мельницы отнимать можно, скот тоже бери, а ихнее тронут разве? Сперва фершала кормила, а тут...

И, заметив выскочившего из простенка Кирилла Михеича, замолчала. Дочери фыркнули, махая зонтиками, выскочили за ворота и с хохотом побежали по улице. Пожилова оправила шаль и, выпрямив хребет, пошла к мельнице степенно и важно.

А Кирилл Михеич, вырывая путавшиеся меж сапог полы, вбежал в мастерскую и, стуча крепким кулаком о верстак, закричал:

— Ты что, старый черт, какое имел право Фиозу отпускать? Велел я тебе? Я здесь хозяин али нет? Пока не отняли мое добро — не сметь трогать... Убью!..

Поликарпыч отряхнул медленно бородку и, словно радуясь, указал на Артюшку:

— Я тут ни при чем. Это его штука.

Артюшка затянулся папироской, сплюнул на край табурета и, сапогом стирая слюну, сказал:

— Не откусят. Тебе хватит. Явится, Михеич. А в Лебяжье я с ней цидульку черканул. Я отвечаю. За все, и за нее тоже.

Он вытянул ноги и, глядя в запылившееся синее окно, зевнул:

— Слышал? Попа утопили, а он других за собой тянет. У Пожиловой мельницу отняли, и еще... Запус на усмиренье в станицу едет. Да!

— Вишь, а ты ругаешься, — сказал Поликарпыч, щепочкой почесывая за ухом. — Ругать отца, парень, не хорошо. Грешно, однако.

Подымает желтые пахучие пески раскосый ветер. Полощет их в тугом и жарком небе, у Иртыша оставляет их усталых и жалобных.

Овцы идут по саксаулам. Курдюки упругие и жирные, как груди сартянки. И опять над песками небо, и в сохлых травах свистит белобрюхий суслик.

И опять степь — от Иртыша до Тянь-Шаня, и от Тарабагатайских гор — пустыни Монгольской, а за ними ленивый в шелках китаец, и в Желтом море неуклюжие джонки.

Всех земель усталые пальцы спускаются, а спустятся в море, и засыпают... Усталые путники всех земель — дни.

А тут, в самом доме, залазь на полати и, уткнувшись в штукатурку, старайся не слышать:

— Хозяин! Хозяин!..

Запус — опять, и с пустяком: в Петрограде, мол, восстание и в Москве бои. Солдаты с немцами братуются, и рабочие требуют фабрик. Раз уже к тому пошло, пущай. Но у Кирилла Михеича и без этого — забот...

Уткнись носом в свою собственную штукатурку, на полатях, и жди — сколько? Кто знает. Дураки спрашивают, бегают к Кириллу Михеичу. А Запус знает, а весь Совдеп знает? Никто ничего не знает, притворяются только, будто знают. Что каждый год весна — ясно, но человеческой жизни год какой?

Ткнуло жаром в затылок...

— Господи, владыко живота моего...

Откапывая замусоренные, унесенные куда-то на донышко молитвы, сплетал их тут, у штукатурки, и, чуть подымая глаз, старался достать икону. Но бревенчатая матка полатей закрывала образ, а дальше головы высунуть нельзя, Запус нет-нет да и крикнет:

— Хозяин!..

Дыханье послышалось из сеней. Пришепетывает немного и придушенно — словно в тело говорит:

— Ты сюда иди. Он ушел.

Артюшка. А за ним — подошвой легкой, словно вышивает шаг, — Олимпиада.

— Не ушел, тоже наплевать. Я не привык кобениться. Уговаривать тебя нечего, слава богу, семь лет замужем. Я Фиозе говорил, не хочет.

— Меня ты, Артемий, брось. Из Фиозы лепи чего хочешь...

— Я из всех вас вылеплю. Я с фронта приехал сюда, чтоб отсюда не бегать. Каленым железом надо.

— Надоел ты мне с этим железом. Слов других нету?

— С меня и этих хватит. Я Фиозу просил, не может или не хочет. В станицу удрала. Нам надо Запуса удержать на неделю. А потом казаков соберем...

— Треплетесь.

— Не твое дело.

— Пу-усти!..

Шоркнуло по стене материей. Запус, насвистывая, прошел в залу, звякнул стаканом. Ушел. Шепотом:

— Липа, ты пойми. Господи, да разве мы... звери? Кого мне просить? За себя я стараюсь? Пропусти день, два, опоздай — приедут в станицы красногвардейцы. Как каяться? Не хочу каяться, что я собака — выть. Ей-богу, я нож сейчас себе в горло, на месте, к черту!.. Сейчас надо делать. Без Запуса они куда?

— Убей Запуса. Очень просто. А то Михеича попроси, он не трус — убьет. Пусти руку... Ступай к киргизкам своим.

Дыханье — кобыльим молоком пахнущее — на всю комнату. От него, что ли, вспотели ноги у Кирилла Михеича. Руку отлежал, а переменить почему-то боязно...

— Тебе легко, Липа... Фиоза — солома, ее на подстилку. Убить нельзя, — заложников перестреляют. Хуже получится. А здесь на два дня, на неделю задержать. Поди-и!

— Не стыдно, Артемий!

— А ну вас... Что я — мешок, ничего не чувствую разве!

— Киргизок своих пошли.

— Отстань ты с киргизками. Мало что...

Вскрикнула:

— Мало что? Ну, так и я могу по-своему распоряжаться. Тело мое.

— Липа!..

— Ладно. Отстань. А к Василию Антонычу пойду. Отчего не пойти, раз муж разрешает? Можно. Валяй, Олимпиада Семеновна, спасай отечество... И-их, Сусанины...

Открыла дверь в залу, позвала:

— Василий Антоныч!..

— Ась? — отозвался Запус, скрипнул чем-то.

— Можно на минуточку?

Опять шаг. С порога на пол царапают сапогом — Запус, он ногой даже спокойно не может:

— Чем могу служить? — И смеется.

— Алимбек программу большевиков просит.

— Он? Да он по-русски только ругаться умеет.

— Старик, говорит, переведет. Поликарпыч.

Даже, кажется, ладонями хлопнул.

— Чудесно! Могу. Я сейчас принесу...

— А вы заняты? К вам можно посидеть?

— Ко мне? Пожалуйста. Во-от везет-то. Идемте. Сергевне бы сказать насчет самовара.

— Алимбек скажет.

И будто весело:

— Скажи, Алимбек.

— Верно, скажи. А программу я тебе сейчас достану, принесу. Непременно надо на киргизском языке напечатать.

Остальное унес в залу и дальше — в кабинет...

Слез Кирилл Михеич с полатей. Артюшку догнал в сенях. Тронул за плечо. Сказал тихонько:

— Я, Артюш, от греха дальше — пойду ее позову обратно. Скажи, пошутил.

Артюшка быстро повернулся, схватил Кирилла Михеича за горло, ткнул затылком в доски сеней. Выпустил и, откинув локоть, кулаком ударил его в скулу.

Тут у стены и нашел его Запус, вернувшийся с книжкой:

— Киргиза не видали? Работника?

— Нет.

— Передайте ему, пожалуйста. Он, наверное, сейчас придет. Сергевну ищет.

Так с книжкой и вышел Кирилл Михеич.

Поликарпыч на бревне вдевал нитку в иголку — все никак не мог попасть. Сидел он без рубахи, — лежала для починки она на коленях. Костлявое тело распрямлялось под жарой, краснело. Увидав Кирилла Михеича, спросил:

— Книжкой антиресуешься. Со скуки помогат. Я ране любитель был, глаза когда целыми находились. Гуака читал? Потешно...

И, указывая иголкой на прыгавших подле бревна воробьев, сказал снисходительно:

— Самая тормошливая птица. Прямо как оглашенные...

XI

Машинист парохода «Андрей Первозванный», тов. Никифоров, был недоволен. Он говорил тов. Запусу:

— Народное добро из-за буржуев тратить — все время под парами стоим. Сделать один рейс по Иртышу и снести к чертовой матери все казацкое поселение. Не лезь против советской власти, сука! Я этих казаков по девятьсот пятому году знаю.

Лоб его был так же морщинист, как гладки части машин. Особенно, как все машинисты, слушая под полом ровный гул, стоял он в каюте, стучал по револьверу и жаловался:

— На кой мне прах эту штуку, если я этой сволочи, которая меня в пятом году порола, пулю не могу всунуть.

— Там дети, товарищ. Женщины.

— Дети в тридцать лет. Знаем мы этих лодырей.

В кают-компании на разбросанных по полу шинелях валялись босоногие люди, подпоясанные солдатскими ремнями. Спорили, кричали. Пересыпали из подсумков обоймы. На рояле валялись пулеметные ленты, а искусственная пальма сушила чье-то выстиранное белье. Дым от махорки. Плевки — в ладонь.

— Гнать туды пароход!..

— Товарищ Никифоров...

— Тише, давай высказаться! Обожди.

— Сами знам.

Маленький, косоглазый слегка, наборщик Заботин прыгал через валявшиеся тела и кричал:

— Ступай наверх! Не пройти.

— Жарко. Яйца спекутся...

— Хо-хо-хо!..

И хохот был, словно хлюпали о воду пароходные колеса.

А ночью вспыхивал на носу парохода прожектор. Сначала прорезал сапфирно-золотистые яры, потом прыгал на острые крыши городка и желтил фигурки патрулей на песчаных улицах.

— Тра-ави!.. — темно кричал капитан с мостка.

Лопались со звоном стальные воды. Весь завешенный черным — только прыгал и не мог отпрыгнуть растянутый треугольник прожектора, — грузно отходил пароход на средину Иртыша. Здесь, чавкая и давясь водой, ходил он всю ночь вдоль берега — взад и вперед, взад и вперед.

— Ждешь? — спрашивал осторожно Никифоров.

И Запус отвечал медленно:

— Жду.

Пахло от машиниста маслом, углем, и папироска не могла осветить его широкое квадратное лицо. Качая рукой перила, он говорил:

— Тебе ждать можно. А у меня — жена в Омске и трое детей. Надо кончать, — кто не согласен, в воду, под пароход. Рабочему человеку некогда.

— Долго ждали, подождем еще.

— Кто ждал-то? У тебя ус-то короче тараканьего. В городе сказывают — утопил будто попа-то ты.

— Пускай.

— И взаболь утопить надо. Не лезь.

Он наклонялся вперед и нюхал сухой, пахнущий деревом, воздух.

— Много в нем офицеров?

— Не знаю.

— Значит, много, коли ждешь восстанья. Трехдюймовочку бы укрепить. Завтра привезем из казарм. Куда им, все равно домой убегут солдаты. Скоро уборка.

Отойдя, он тоскливо спрашивал:

— Когда здесь дожди будут?.. Пойду песни петь.

Сережка Соколов, из приказчиков, играл на балалайке. Затягивали:

На диком бреге Иртыша...

Не допев, обрывали с визгом. Бойко пели «Марсельезу».

Золотисто шелестели за Иртышом камыши. Гуси гоготали сонно. Луна лежала на струях, как огромное серебряное блюдо. Тополя царапали его и не могли оцарапнуть.

Слова пахли водой — синие и широкие...

Внизу, в каюте у трюма, сидели протоиерей Смирнов, офицер Беленький и Матрен Евграфыч, купец Мятлев.

У каютки стоял часовой, и, когда арестованные просились по нужде, он хлопал прикладом в пол и кричал:

— В клозет вас, буржуев, посадить. Гадить умеете, кромя што!..

Река — сытая и теплая — подымалась и лезла, ухмыляясь, по бортам. Брызги теплые, как кровь, и лопасти парохода лениво и безучастно опрокидывались...

Быстро перебирая косыми крыльями, проносились над пароходом чайки. Дым из трубы — ленивая и лохматая птица. Ночи — широкие и синие воды. Вечера — сторожкие и чуткие звери...

Таким вечером пришла Олимпиада на сходни.

Темно-синяя смола капала с каната — таял он будто. Не мог будто сдержать у пристани парохода, вот-вот отпустит. Пойдет пароход в тающие, как смола, воды. Пойдет, окуная в теплые воды распарившуюся потную грудь.

Олимпиада, задевая платьем канат, стояла у сходен, где красногвардеец с высокими скулами (сам тоже высокий) спрашивал, будто ел дыню:

— Пропуски имеите, товарищи?

И не на пропуски глядел, а на плоды мягкие и вкусные.

Олимпиада говорила:

— У Пожиловой припадки. Со злости и горя. Зачем мельницу отняли?

— Надо.

Передразнила будто. Глянула иссиня густыми ресницами (гуще бровей), зрачок как лисица в заросли — золотисто-серый. Карман гимнастерки Запуса словно прилип к телу, обтянул сердце, вздохнуть тяжело.

— На-адо!.. Озорники. Ты думаешь, я к тебе пришла, соскучилась? У меня муж есть. Я пароход хочу осмотреть. Протоиерея, правда, утопили?

— На пароход не могу. — Запус тряхнул головой, сдернул шапочку и рассмеялся: — Ей-богу, не могу. Ты — враг революции, тебе здесь нечего делать. Поняла?

— Я хочу на пароход.

— Мне бы тебя по-настоящему арестовать надо...

Пригладил ладонью шапочку, на упрямую щеку Олимпиады взглянул. Плечи у ней как кровь, платье — цветное, праздничное. Ресницы распахнулись, глаз — смола расплавленная.

— Арестуй.

— Арестую.

— Говорят, на восстанье поедешь. Мне почему не говоришь?

— Здесь иные слова нужно теперь. Язык у нас русских тягучий, вялый — только песни петь, а не приказывать. Где у тебя муж?

— Тебе лучше знать. Ты с ним воюешь. Зачем протоиерея утопил?

— Врут. Живой. В каюте сидит.

— Можно посмотреть?

Длинноволосый в споре восторженно кричал кому-то на палубе.

— Когда сбираются два интеллигента — начинают говорить о литературе и писателях. Два мужика — о водке и пашне... Мы, рабочие, даже наедине говорим и знаем о борьбе! Товарищ Никифоров! С проникновением коммунистических идей в массы, с момента овладения ими сознанием...

Олимпиада оправила волосы:

— Голос у него красивый. Значит, можно посмотреть?

— Сколько в тебе корней от них. Ты киргизский язык знаешь?

— Знаю. Зачем?

— Надо. Программу переводить.

— Но я писать не умею.

— Найдем.

— Значит, пойду?

— Попа лобызать? Если так интересно, иди. Товарищ Хлебов, пропустите на пароход барышню. Скажите товарищу Горчишникову, — пусть допустит ее на свидание с арестованными.

На палубе под зонтиком, воткнутым в бочонок с углем, сидел и учился печатать на машинке товарищ Горчишников. Пальцы были широкие и все хватали по две клавиши. Дальше в повалку лежали красногвардейцы. Курили. Сплевывали через борт.

Товарищ Горчишников, увидав Олимпиаду, закрыл машинку фуражкой, сверху прислонил ружье, чтобы не отнесло ветром. Сказал строго:

— Кто будет лапаться, в харю дам. Не трожь.

Мадьяры, немцы, русины, пять киргиз. У всех на рукавах красные ленты. Подсумки переполнены патронами. Подле машинного отделения кочегары спорили о всемирной революции. Какой-то тоненький, с бабьим голоском, матросик толкался подле толпы и взывал:

— Брешут всё, бра-атцы!.. Никогда таких чудес не было!.. Бре-ешут.

Из толпы, прерывая речь, бухал тяжело Никифоров:

— Ты возражать, так возражай по пунктам. А за такой черносотенный галдеж, Степка, сунь ему в зубы!..

— Я те суну штык в пузо!..

— А да-ай ему!.. Э-эх...

Толкались. Кричали. Звенела лебедка, подымая якорь. Пароход словно нагружали чем-то драгоценнейшим и спешным... Даже машины акали по-иному.

...Указывая на каютку, Горчишников сказал:

— Здеся.

— Что?

— Поп и вся остальная офицерня.

Олимпиада улыбнулась и прошла дальше.

— Мне их не нужно.
— А приказывал, кажись...
— Может, не мне.
— Значит, ослышался. Другая барышня, значит. Как это я?.. И то — какая вы барышня, мужняя жена, слава богу. Кирилл Михеич-то здоров?
— Ничего.
— Ен мужик крепкой. Жалко, что в буржуи переписался. Может, судить будут, а может, простят. Тут ведь, Олимпиада Семеновна, штука-то на весь мир завязывается. Социальная революция — у всех отберут и поделят.
— Раздерутся.
— Ничего. Выдюжут.
Олимпиада по сходням сходила с парохода. Запус стоял у конторки пристани. Чубастый корявый казак, с шашкой через плечо и со следами оторванных погон, рассказывал ему, не выговаривая «ц», а — «с», — о том, как захватили они баржу. Пароход перерубил канат и, кинув баржу, уплыл в Семипалатинск, вверх по Иртышу. Тогда они поймали плот с известкой и баржу прицепили к плоту. На песках нашли троих расстрелянных казаков-фронтовиков. Приплавили их на расследование.
Плот пристал недалеко от пристани. Уткнувшись в сутунки, широкая, груженная пшеницей баржа зевала в небо раскрытыми пастями люков. На соломе спали казаки-восстанщики, а подле воды, прикрытые соломой («чтобы не протухли», сказал казак), в лодке, — трое расстрелянных.
С парохода к плоту бежали красногвардейцы. Кто-то в тележке подъехал к яру, красногвардеец пригрозил ружьем. Тележка быстро повернула в проулок.
— Поговорили? — спросил Запус Олимпиаду.
— Да.
— Передайте, пожалуйста, гражданину Качанову: в ближайшие дни он имеет дать показание по делу офицеров. Не отлучался бы. Я буду на квартире завтра или послезавтра.
— Передам.
— Всего хорошего.
И, прерывая рассказ казака, сказал подошедшему Заботину:

— Женщина много стоит. О заговоре донесла женщина, на попа донесла. Дайте мне табаку, у меня весь вышел.

А матрос, лениво крутивший лебедку, плюнул под ногу на железные плиты, вытер пот и сказал в реку:

— Любит бабье ево...

XII

Через два дня отряд конной Красной гвардии ехал подавлять восстания казачьих станиц.

Серая полынь целовала дороги. На спиленных телеграфных столбах торчали огромные темноклювые беркуты. Таволожник рос по песчаным холмам. Тени жидкие, как степные голоса.

Скрипели длинные телеги. На передках пулеметы.

По случаю далекого пути красногвардейцы были в сапогах. Фуражек не хватило, выдали из конфискованного магазина соломенные шляпы. Словно снопы возвращались в поля.

Запус лежал на кошме — золотой и созревший колос. Рассказывал, как бежал из германского плена.

Лошади рассекали потными мордами сухую жару. От Иртыша наносило запах воды, тогда лошади ржали.

И все — до неба полыни. Облака как горькая и сухая полынь.

Галька по ярам — оранжевая, синяя и палевая.

Хохот с телег — короткий, как стук колес.

Беркут на столбе — медлителен и хмур. Ему все знакомо. Триста лет живет беркут. А может, и больше...

Сразу после отъезда Запуса выкатил из-под навеса телегу Артюшка, взнуздал лошадь. Потянул Кирилл Михеич оглоблю к себе и сказал:

— Не трожь.

Кривая азиатская нога у Артюшки. Глаз раскосый, как туркменская сабля. Не саблей, глазом по Кириллу Михеичу.

— Отстань. Поеду.

— Мое добро. Не смей телегу трогать. Ты что в чужом доме распоряжаешься?

— Доноси. Пусть в мешок меня. Иди в Народный дом. А я, если успею, запрягу. Не успею, твое счастье. Доноси.

— Курва ты, а не офицер, — сказал Кирилл Михеич.

Натянул вожжи Артюшка. Кожа на щеках темная.

— За кирпичами поехал. Если спросит кто. На пароход кирпич потребовался. Понял?

— Вались!..

Глазом раскосым по Олимпиаде. Оглядел и выругал прогнившей солдатской матерщиной. И, толстой киргизской нагайкой лупцуя лошадь, ускакал.

— За что он тебя? — спросил Кирилл Михеич.

Не ответила Олимпиада, ушла в комнату. Как мышь, скреблась там в каких-то бумажках, а дом сразу стал длинный, пыльный и чужой. Сразу в залу выскочили откуда-то крысы, по пыли — цепкие следки ножек. Пыльная возилась у горшков Сергевна. Глаза у ней осели, поблекли совсем, как гнилые лоскутья.

Заглядывать в комнаты стало неловко и как-то жутко. Будто лежал покойник, и Олимпиада отчитывала его.

А тут, к вечеру, вместе с разморенными и тусклыми лучами месяца, входило в тело и кидалось по жилам неуемное плотское желание. Бродил тогда по ограде Кирилл Михеич, обсасывал липкой нехорошей слюной почему-то потолстевшие губы.

Выпятив грудь, проводил по ограде (через забор, видно — упал забор) архитектор Шмуро генеральскую дочь Варвару и особенно прижимал ее руку, точно разрывая что-то, — знал эту голодную плотскую ужимочку Кирилл Михеич, в азиатском доме видал. Чего хотела Варвара, нельзя было узнать, шла она бойко, сверкая ярким и зовущим платьем. Гуляли они по кладбищу, возвращались поздно. Разговора их Кириллу Михеичу не слышно.

А в доме братья-офицеры Илья и Яков бродили пьяные и в погонах. За воротами погоны снимали, и от этого плечи как-то суживались, стягивались к голове. Пили, пели студенческие песни.

Ночью пробирались в дом, близ заборов — днем боялись ходить городом, — дочери Пожиловой Лариса и Зоя. Тогда старый дворянский дом сразу разбухал, как покойник на четвертый день. Шел из дома тошный, тяжелый человеческий запах. Плясали, скрипя

половицами. Офицеры гикали один за другим, — такие крики слышал Кирилл Михеич в бору.

Улица эта — не главная, народа революционного идет мало. Киргизы везли для чего-то мох, овчины. Сваливали посреди базара и, не дождавшись никого, испуганно гнали обратно в степь лохматых и веселых верблюдов. Еще учитель Отчерчи появлялся. Мышиным шепотом шептал у крыльца — кого арестовали, кто расстрелян. И глаза у него были словно расстрелянные.

Яростно в мастерской катал Поликарпыч пимы. «Кому?» — спрашивал Кирилл Михеич. А пимы катал старик огромные, как бревна, — на мамонтову ногу. Ставил их рядами по лавке, и на пимы было жутко смотреть. Вот кто-то придет, наденет их, и тогда конец всему.

Пришел как-то Горчишников. Был он днем или вечером — никому не нужно знать. Вместо сапог — рваные на босую ногу галоши. Лица не упомнишь. А вот получился новый подрядчик вместо Кирилла Михеича — Горчишников; какими капиталами обогател, таких Кириллу Михеичу Качанову не иметь. Купил все добро Кирилла Михеича неизвестно тоже у кого. Осматривает и переписывает так — куплено. Карандаш в кочковатых пальцах помуслит и спросит: «А ишшо что я конхфискую?» И скажет, что он конфискует народное достояние народу. Очень прекрасно и просто, как щи. Ешь. Ходил за ним Жорж-Борман (прозвание такое) — парикмахер Кочерга. Ходил этот Жорж-Борман бочком, осматривал и восхищался: «Счастье какое привалило народу! Думали разве дождаться». Увидал пимы, выкатанные Поликарпычем, и отвернулся. Ничего не спросил. И никто не спросил. А Поликарпыч катал, не оборачиваясь, яростно и быстро. Шерсть белая, на нарах — сугробы... Так обошли, записали кирпичи и плахи, кирпичный завод, церковную постройку, амбары с шерстью и пимами, трех лошадей. Не заходя в дом, записали комод, четыре комнаты и надобный для Ревкома письменный стол. В бор тоже не заходили — далеко, полтораста верст, приказали сказать, сколько плах и дров заготовлено как для пароходов, так и для стройки, топлива и собственных надобностей. Плоты тоже, известку в Долонской станице. Оказалось много для одного человека, и Жорж-Борман пожалел: «Тяжело небось управляться. Теперь спокойнее. Народу

будете работать. Я вас брить бесплатно буду, также и стричь. Надо прическу придумать советскую». Поблагодарил Кирилл Михеич, а про народную работу сказал, что на люду и смерть красна. И в голову одна за другой полезли ненужные совсем пословицы. Дождь пошел. Кирпичи лежали у стройки, ненужные и хилые. Все сплошь ненужно. А нужное — какое оно и где? Кирпичи у ног, плахи. Конфискованная лошадь ржет, кормить-поить надо. Так и ходи изо дня в день, — пока кормить народом не будут. Тучи над островерхими крышами — пахучие, жаркие, как вынутые из печи хлеба. Оседали крыши, испревали, и дождь их размачивал, как леденцы. Дни — как гнилые воды — не текут, не сохнут. Пустой, прошлых годов, шлялся по улицам ветер. Толкался песчаной мордой в простреленные заборы и, облизывая губы, укладывался на желтых ярах, у незапинающихся и знающих свою дорогу струй.

И бежал и дымил небо двухэтажный американского типа пароход «Андрей Первозванный».

XIII

Ночью с фонарем пришел в мастерскую Кирилл Михеич.

Старик, натягивая похожие на пузыри штаны, спросил:

— Куды?

Огонь от фонаря на лице — желток яичный. Голос, как скорлупа, давится.

Кирилл Михеич:

— Сапоги скинь. Прибрано сено?

— Сеновал?

В такую темь каждое слово — что обвал. Потому — не договаривают.

— Лопату давай.

— Половики сготовь.

Фонарь прикрыли половиком. Огонь у него остроносый.

— Не разбрасывай землю. На половики клади.

Половики с землей желтые, широкие, словно коровы. Песок жирнее масла.

В погребе запахи льдов. Плесень на досках. Навалили сена.

Таскали вдвоем сундуки. Ставили один на другой.

Точно клали сундуки на него, заплакал Поликарпыч. Слеза зеленая, как плесень.

— Поори еще!

— Жалко, поди.

— Плотнее клади, не войдет.

Тоненько запела у соседей Варвара — точно в сундуке поет. Старик даже каблуком стукнул.

— Воет. Тоскует.

— Поет.

— Поют не так. Я знаю, как поют. Иначе.

Песок тяжелый, как золото, — в погреб. И глотает же яма! Будто уходят сундуки — глубже колодца. Остановился Поликарпыч, читал скороговоркой неразборчивыми прадедовскими словами.

А Кирилл Михеич понимал:

> Заговорная смерть, недотрожная темь —
> выходи из села, не давай счастье раба
> Кирилла из закутья, из двора. В нашем
> городе ходит Митрий святой, с ладаном,
> со свящей, со горячим мечом да
> пращей. Мы тебя, грабителя, сожгем огнем,
> кочергой загребем, помелом заметем
> и попелом забьем — не ходи на наши пески-заклянцы. Чур, наше добро, ситцы, бархаты, плисы, серебро, золото, медь семижильную, бело-сизые шубы, кресты, образа —
> за святые молитвы, чур!..

Заровнял Поликарпыч, притоптал. Трухой засыпал, сеном. А с сена сойти, — отнялись ноги. Ребячьим плачем выл. Фонарь у него в руке клевал острым клювом — мохнатая синяя птица.

— За какие таки грехи, сыночек, прятать-то?.. А?

Мыслей не находилось иных, только вопросы. Как вилами в сено, пусто вздевал к сыну руки. А Кирилл Михеич стоял у порога, торопил:

— Пойдем. Увидют.

И не шли. Сели оба, ждали, прижавшись плечо в плечо. Хотелось Кириллу Михеичу жалостных слов, а как попросить — губы привыкли говорить другое. Сказал:

— Сергевну услал, Олимпиада не то спит, не то молится.

Часы ударили — раз. В церкви здесь отбивают часы.

— О-ом... — колоколом окнули большим.

И сразу за ним:

— Ом! ом! ом! ом!.. м! м! м!

Как псы из аула, один за другим, — черные мохнатые звуки ломали небо.

Дернул Поликарпыч за плечо:

— Набат!

И не успел пальцы снять, Кирилл Михеич — в ограде. Путаясь ногами в щебне, грудью ловил набат. Закричать что-то хотел — не мог. Прислонился к постройке, — слушал.

По кварталу всему захлопали дверями. Лампы на крылечке выпрыгнули — жмурятся от сухой и плотной сини. В коротенькой юбочке выпрыгнула Варвара, крикнула:

— Что там такое?

И басом, одевая ее, мать:

— Да, да, что случилось?

— На-абат!..

А он оседает медногривый ко всем углам. Трясет ставнями. Скрипит дверями:

— Ом!.. ом!.. ом!..

С другой церкви — еще обильнее медным ревом:

— Ам!.. м... м... м... ам!.. ам!..

И вдруг из-за джатаков, со степи тра-ахнуло, раскололо на куски небо и свистнуло по улицам:

— А та-та-та... ат... ета-ета-ета ата!.. ат!..

Кто-то, словно раненый, стонал и путался в заборах. Медный гул забивал ему дорогу. В заборах же металась выскочившая из пригонов лошадь.

— Та. Та... а-а-ать!.. ат!..

Взвизгнуло по заборам, туша огни.

— Стреляют, владычица!..

Только два офицера остались на крыльце. Вдруг помолодевшими трезвыми голосами говорили:

— Большевикам со степи зачем?.. Идут цепями. Вот это слева, а тут... — Ну, да — не большевики.

И громко, точно в телефонную трубку, крикнул:

— Мама! Достань кожаное обмундирование.

Визжали напуганно болты дверей.

До утра — затянутые в ремни, с прицепленными револьверами — сидели на крыльце. Солнце встало и осело розовато-золотым пятном на их плечи.

По улицам скачет казак, машет бело-зеленым флагом.

— Граждане! — кричит он, с седла заглядывая в ограды. — Арестовывайте! На улицы не показывайся, сичас наступленье на Иртыш!

Стучит флагом в ставни и, не дожидаясь ответа, скачет дальше.

— Большевики, выходи!..

А за ним густой толпой показались киргизы с длинными деревянными пиками.

В казармах солдат застали сонных. Не проснувшихся еще, выгнали их в подштанниках на плац между розовых зданий. Казачий офицер на ленивой лошади крикнул безучастно:

— По приказу Временного правительства разоружаетесь! За пособничество большевикам будете судимы. Сми-ирно-о!..

Солдаты, зевая и вздрагивая от холода, как только офицер шире разинул рот, крикнули:

— Ура-а!..

В это время пароход «Андрей Первозванный» скинул причалы, немножко переваливаясь, вышел на средину реки и ударил по улицам из пулеметов.

Квартальный староста Вязьмитин обходил дома.

Пришел и к Кириллу Михеичу. Заглядывая в книгу, сказал строго:

— Приказано — мобилизовать до пятидесяти лет. Вам сколько?

— Сорок два.

Улыбнулся пушистой бородой. Щеки у него маленькие, с яичко.

— Придется. Через два часа являться, к церкви. Заборов держитесь — большевики по улицам палят. Оружие есть?

— Нету.

— Ну, хоть штаны солдатские наденьте. Ползти придется. — Стукнул ребром руки о книгу, добавил задумчиво: — Ползти — песок, жарко. Ладно, грязи нету. Больше мужиков не водится в доме?

Кирилл Михеич сказал уныло:

— Перебьют. Не пойти разе?.. А коли вернутся с Запусом?

— Убили Запуса. Артюшка.

— Ну-у?.. Откуда известно?

Староста поглядел вниз на усы и сказал строго:

— Знаю. Естафета прискакала из станиц. Труп везут. Икон награбленных — обоз с ними захватили...

Верно, насквозь прожжена земля: Иртыш паром исходит, от прокаленных желтых вод — голубой столб пара; над рекой другая река — тень реки.

От вод до неба — голубая жила. И, как тень пароходная, прерывный напуганный гудок — вверху, винтит в жиле:

— У-ук! ук!.. а-а-а-и-и... ук! ук!.. а-а-и-а-а-и-и... ук!.. у-у...

Песком, словно печью раскаленной, ползешь. В голове угар, тополя от палисадников пахнут вениками, и пулемет с парохода — как брызги на каменку. От каждого брызга соленый пот по хребту.

Не один Кирилл Михеич, — так чувствовали все. Как волки или рысь по сучьям, ползли именитые павлодарские граждане к пароходу, к ярам. Срединой улицы нельзя — пулемет стрекочет.

Винтовки в руках обратно, к дому, тянут, словно пятипудовые рельсы в пальцах. А нельзя — тонкоребрый офицер полз позади всех с одной стороны, с другой, позади, — в новых кожаных куртках сыновья Саженовой.

Кричал офицер Долонко:

— Граждане, будьте неустрашимей. До яра два квартала осталось... Ничего, ничего — ура кричите, легче будет.

Неумелыми голосами (они все люди нужные — отсрочники, на оборону родины) кричали разрозненно:

— Ура-а-а!..

И рядом, с других улиц, взывали к ним заблудившиеся в песках таким же самодельным «ура».

Яков Саженов полз не на четвереньках, а на коленях, и в одной руке держал револьвер. Кожаная куртка блестела ярче револьвера.

Кирилл Михеич полз впереди его людей на десять и при каждом его крике оборачивался:

— Двигайтесь, двигайтесь! Этак к ночи приползем,

до вечера, что ль? Жива-а!.. Кто свыше трех минут отдыхать будет — пристрелю собственноручно.

И ползли — по одной стороне улицы — одни, по другой — другие. А посередине — в жару, в пыли невидимой пароходные несговорчивые пули.

Было много тех, что стояли в очереди на сходнях — платившие контрибуцию. Первой гильдии — Афанасий Семенов, Крылов — табачный плантатор, Колокольщиковы — старик с сыном. Об них кто-то вздохнул, завидуя:

— Добровольно ползут!

Колокольщиков, пыля бородой песчаные кучи, полз впереди, гордо подняв голову, и одобрял:

— Порадеем, православные. Погибель ихняя последняя пришла.

А впереди, через человека, полз архитектор Шмуро, оборачивался к подрядчику и говорил скорбно:

— Разве так в Англии, Кирилл Михеич, водится? В такое унизительное положение человека выдвигать. Черви мы — ползти?!

Какой-то почтовый чиновник прокричал с другой стороны улицы:

— А вы на земле проживете, как черви слепые! Горький немцам продался и на деньги немецкие дома в Англии скупает. Вот царь-то кого не повесил!..

— Ура-а!.. — закричал он отчаянно.

Шмуро опять обернулся.

— Фиоза Семеновна не приехала? Напрасно вы жену отпускаете, в таком азиатском государстве надо по-азиатски поступать.

Кириллу Михеичу говорить не хотелось, а по песку молчком ползти неудобно. Еще то, — надел Артюшкины штаны, а они узки, в паху режут.

— Кто теперь город охранять будет? На солдат надёжи нету, не нам же придется. Самых хороших плотников перебьют, это за что же такая мука на Павлодар-то пала? Поеду я из этих мест, как только дорога ослобонится.

Фельдшер Николаенко где-то тут тоже ползет. Голова у него голая, как пузырь, пахнет от него йодоформом. На кого нашла позариться Фиоза Семеновна!

— Ладно хоть к уборке счистят шваль-то. Хлеба бы под жатву сгнили.

Штык ружья выскользнул из потных пальцев. Прапорщик Долонко закричал обидно:

— Качанов, не отставай. Э-эй, подтянись, яры близко.

В песок сказал Кирилл Михеич:

— Я тебе солдат? Чего орать? Ты, парень, не очень-то.

А правильно — оборвались дома, яры начались утоптанные.

— Окопайсь!..

Гуляют здесь вдоль берега по яру вечерами барышни с кавалерами. От каланчи до пристани и обратно. Двести сажен — туда, сюда. Жалко такое место рыть.

Выкопали перед головами ямки. Опалило солнце спины, вспрыгнуло и осталось так, высасывая пот и силу. Передвинул затвор Кирилл Михеич и, чтоб домой скорей уйти, выстрелил в пароход. Так же сделали все.

Саженовы командовали. Команды никто не мог понять, стреляли больше по биению сердца: легче. Офицерам казалось, что дело налаживается, и они в бинокль считали на пароходе убитых.

— Еще один!.. Надбавь!.. По корме огонь, левым флангом, — ра-аз!.. Пли!

— Троих.

Кирилл Михеич ворочал затвор, всовывая неловко обоймы, и говорил у разгоревшегося ствола ружья:

— А, сука, попалась? А ну-ка эту...

XIV

Плотник Емельян Горчишников, заместитель Запуса, командовал пароходом. Был он ряб, пепельноволос, и одна рука короче другой. Вбежал в трюм, увидал мешки с мукой, приказал:

— Разложить по борту.

Борта высоко обложили мешками. В мешках была каюта капитана, а рыжий, выпачканный мукой капитан стоял на корточках перед сломанным рупором и командовал бледным, мокрым голосом по словам Горчишникова:

— Полный вперед... Стоп. На-азад... Тихий

Пароход словно не мог пристать к сходням.

Пули с берега врывались в мешки с мукой. Красногвардейцы, белые от муки и мук, всунув между кулей пулеметы и винтовки, били вдоль улиц и заборов.

Горчишников, бегая взад и вперед — с палубы и в каюты, — скинул тяжелые пропотевшие сапоги и, шлепая босыми ступнями, с револьвером в руке торопил:

— Ниже бери... Ниже. Эх, кабы да яров не было, равнинка бы, мы бы их почистили.

И подгоняя таскавшего снаряды киргиза Бикмуллу, жалел:

— Говорил, плахами надо обшить да листом медным пароход. Трехдюймовочку прозевали, голуби!

Гришка Заботин сидел в кают-компании, курил папиросы и лениво говорил:

— Запуса бы догнать. Они бы с одного страха сдались. Тут, парень, такая верстка получится — мельче нонпарели. Паршивая канитель.

Горчишников остановился перед ним, выдернул занозу, попавшую в ступню.

— Пострелял бы хоть, Гриша.

— Стреляй не стреляй — не попадешь. Ты чего с револьвером носишься?

Говор у Гришки робкий. Горит в каюте электричество — захудало как-то, тоще. Да и — день, хотя окна и заставлены кулями.

— Блинов, что ли, из муки состряпать? Напоследки. Перекрошат нас. Емеля — твоя неделя...

Закурил, сплюнул. Звякнула разбитая рама. Рвался гудок. Заботин поморщился:

— Жуть гонит. Затушить его.

— Кого?

— Свисток.

— Пущай. Ты хоть не брякай.

— О чем?

— А что перекрошат. Народ неумелой. Обомлет.

— Я пойду. Скажу.

Он спустился по трапу вниз и с лесенки прокричал в проходы:

— Товарищи, держитесь! Завтра утром будет Запус. Белогвардейцы уменьшили огонь. Ночью мы пустим в город усиленный огонь. Товарищи, неужели мы!..

Красногвардейцы отошли от мешков и, разминая ноги, закричали «ура».

Горчишников поднял люк в кочегарку и крикнул:

— Дрова есть?

— Хватит.

Все обошел Горчишников, все сделано. Сам напечатал на машинке инструкцию обороны, расставил смены. Продовольствие приказал выдавать усиленное. Ели все много и часто.

Гришка опять сидел на стуле. Шевелил острыми локтями, вздыхал:

— Ладно, семьи нету. Я, брат, настоящий большевик: ни для семьи, ни для себя. Для других. Только поотнимали все, работать по-новому, а тут на те... убьют.

— Убьют? Черт с ними, а все-таки мы прожили по-своему...

— Это бы Запус сказал. А как ты думаешь, восстанут пролетарии всех стран?

— Обязательно. Отчего и кроем.

Гришка осмотрел грязные пальцы и сказал с сожалением:

— Никак отмыть не могу. Раньше такое зеленое мыло жидкое водилось, хорошо краску типографскую отмывало. Из наших наборщиков в Красную-то я один записался... У меня отец пьяница был, все меня уговаривал — запишись, Гришка, в социалисты, там водку отучат пить.

— Не помогало?

— Ищо хуже запил. Больно хорошо пьяниц жалеют, а трезвого кто пожалеет... Хочу, грит, жалости. Жулик!

Он послушал пулеметную трескотню, крики окопавшихся на берегу, поцарапал яростно шею и сказал:

— Заметь, с волненья большого всегда вша идет. У нас в Семипалатинске кулачные бои были. Ходил я. Так перед большим боем обязательно под мышками вшу найдешь, а теперь по всему телу... Сидят они?

— Арестованные?

— Ну?

— Чего им. Мятлев, купец, на двор часто просится. Я ему ведро велел поставить. Ребятам некогда следить за ними.

— Трубычев все хороводит белым-то. Серьезный мужик, не скоро мы его кончим. Запусу не уступит.

— Далеко.

— Говорить не умеет. А этот, как зальется, даже поджилки играют. Красив же стерва. Офицером только быть. Он, поди, из офицеров.

Горчишников любовно рассмеялся:

— Лешак его знат. Башковитый парнишка. Поджечь бы город-то, жалко. Безвинны сгорят. А зажечь славно б.

— Безвинных много.

Переговаривались они долго. Потом Гришка свернулся калачиком на диване и заснул. Горчишников обошел пароход, для чего-то умылся.

Пули щепали обшивку и колеса. Все так же сидел капитан у рупора, бледный, грузный, рыжеусый. Нестройно кричали с берега «ура».

На другом берегу из степи проскакали к лесу казаки, спешились и поползли по лугу.

— Кругом хочут, — сказал какой-то красногвардеец.

Мадьяры запели «Марсельезу». Слова были непонятные и близкие. Громыхая сапогами, пробежал кашевар и громко звал:

— Обедать!..

Горчишников вернулся в каюту, помуслил карандаш и на обороте испорченной «инструкции обороны» вывел: «Смерть врагам революции», — но зачеркнул и написал: «По приговору Чрезвычайной тройки...» Опять зачеркнул. Долго думал, писал и черкал. Наконец, достал один из протоколов заседания и, заглядывая часто туда, начал: «Чрезвычайная тройка Павлодарского Сов. Р., С., К., Кр. и Кирг. Деп. на заседании своем от 18 августа...»

Чуть ли не пятьсот раз выстрелил Кирилл Михеич. Сухая ружейная трескотня облепила второй одеждой тело, и от этого, должно быть, тяжелее было лежать. Песок забрался под рубаху, солнце его нажгло; грудь ныла.

А стрельбе и конца не было.

Шмуро тоже устал, вскочил вдруг на колени и махнул вверх фуражкой:

— Ребята, за мной!

Ему прострелило плечо. Фуражка, обрызнутая кровью, покатилась между ямок. «Где шлем-то?» — по-

думал Кирилл Михеич, а Шмуро отползал на перевязку. Он не возвратился. Еще кого-то убили. Запах впитываемой песком крови ударил тошнотворно в щеки и осел внутри неутихающей болью.

Кирилл Михеич остановил стрельбу. Потускнели — песок, белый пароход, так деловито месивший воду, огромные яры.

Травы захотелось. Прижаться бы за корни и втиснуть в землю ставшее понятным и дорогим небольшое тело. Хрупкие кости, обтянутые седеющим мясом...

Кирилл Михеич незаметно перекрестился. Больше прижать ружье к плечу не находилось силы.

Крикнул зоркий Долонко:

— Стреляй, Качанов.

Попробовал выстрелить. Ружье отдало, заныла скула.

Кирилл Михеич подполз к прапорщику и, торопливо глотая слюну, сказал:

— Можно за угол?

— Зачем?

Прапорщик, вдруг понимая, улыбнулся.

— Ступайте. Только не долго. Люди нужны.

Кирилл Михеич дополз до угла. Хотел остановиться и не мог, полз все дальше и дальше. Квартал уже от яров, другой начинается...

Здесь Кирилл Михеич сел на корточки и, оглянувшись, побежал вдоль забора на четвереньках.

За досками кто-то со слезами кричал:

— Не лезь, тебе говорят, не лезь! Ми-ша!.. Да-а...

Кирилл Михеич пробежал на четвереньках полквартала, потом вскочил, выпрямился и упал.

Другой стороной улицы подстрелили собаку, и она, ерзая задом, скулила в разбитые стекла дома.

Так четвереньками добрался до своего угла Кирилл Михеич. Прошел полной ногой в мастерскую, закрылся одеялом и заплакал в подушку.

Поликарпыч тер ладони о колени, вздыхал, глядел в угол. Подставил к углу скамью. Влез и обтер покрытый пылью образ.

Под утро привезли эстафету: комиссар Запус из разгромленной им станицы Лебяжьей, прорвав казачью лаву, вместе с отрядом ускакал в поселки новоселов. Снизу и сверху — из Омска и Семипалатинска — подходили пароходы Сибирской областной думы для за-

хвата «Андрея Первозванного». Со степи съезжались казаки и киргизы.

Всю эту ночь Горчишников не спал. Заседала Чрезтройка, вместо Запуса выбрали русина Трофима Круцю. Придумать ничего не могли. Ночь была темная, в два часа пароход зажег стоявшую у плотов баржу. Осветило реку — пристани и яры. Ударили в набат, по берегу поскакали пожарные лошади. Приказали остановить стрельбу, когда обоз подскакал, рассмотрели: людей на обозе не было. Лошади, путая постромки, косились спокойно на пожар. Утром вновь начался обстрел города. Лошадей перебили. Убежала одна подвода, и размотавшийся пожарный рукав трепался по пыли, похожий на огромную вожжу... Когда заседание кончилось, Горчишников присел к машинке и перепечатал написанное еще вчера постановление. Поставил печать и, сильно нажимая пером, вывел: «Емел Горчишников». Вынув из кобуры револьвер, спустился вниз.

У каютки с арестованными на куле дремал каменщик Иван Шабага.

Дежурные обстреливали улицы.

От толчка в грудь Шабага проснулся — лицо у него мягкое с узенькими, как волосок, глазами.

— Поди усни, — сказал Горчишников.

Шабага зевнул:

— Караулить кто будет?

— Не надо.

Шабага, забыв винтовку, переваливаясь, ушел.

Горчишников растворил дверь, оглядел арестованных и первым убил прапорщика Беленького.

Купец Мятлев прыгнул и с визгом полез под койку. Пуля раздробила ему затылок.

Матрен Евграфыч отошел от окна (оно было почему-то не заставлено мешками), немного наклонился тучной грудью и сказал, кашлянув посредине фразы:

— Стреляй... балда. Сукины сыны.

Горчишников протянул к его груди револьвер. Мелькнуло (пока спускал гашетку) решетчатое оконце в почте: «заказные» и много, целая тетрадь, марок. Зажмурился и выстрелил. Попал не в грудь, а метнул с лица мозгами и кровавой жижой на верхние койки.

Протоиерей, сгорбившись, сидел на койке. Виднелась жилистая, покрытая редким волосом, вздрагиваю-

щая шея. Горчишников выругался и, прыгнув, ударил рукоятью в висок. Перекинул револьвер из руки в руку. Одну за другой всадил в голову протоиерея три пули.

Запер каюту. Поднялся наверх.

— Мы тебя ждем, — сказал Заботин, увидев его, — если нам в Омск уплыть и сдаться... Как ты думаешь?

Горчишников положил револьвер на стол и вяло проговорил:

— Арестованных убил. Всех. Четверых. Сейчас.

И хотя здесь защелкал пулемет, но крики двоих — Заботина и Трофима Круци — Горчишников разбирал явственно.

Он сел на стул и, устало раскинув ноги, вздохнул.

— К Омску вам не уехать, — помолчав, сказал он, — за такие дела в Омске вас не погладят тоже. Надо Запуса дожидать, либо...

Он вытер мокрые усы.

— Сами-то без него пароход бы сдали. Я вас знаю. Ерепениться-то пьяные можете. Теперь небось не сдадите. Подписывайте приказ-то.

Он вынул из папки напечатанный приказ и сказал:

— Шпентель-то я поставил уж. Две подписи, тогда и вывесить можно.

Заботин дернул со стола револьвер и, вытирая языком быстро высыхающие губы, крикнул:

— Тебя надо за такие из этого... В лоб! В лоб!.. Какое ты имел право без Тройки?.. И не жалко тебе было, стерва ты этакая, без суда... самосудник ты!.. Ну, как это ты, Емеля... да... постойте, ребята, он врет!..

— Не врет, — сказал Круця. — За убийство мы судить будем. После. Сейчас умирать можно с пароходом, подписывай.

Он взял перо и подписался по-русски. Заботин, пачкая чернилами пальцы, тыкал рукой.

— Я подпишу. Вы думаете, я трушу. Черт с вами! А с тобой, Емельян, я руки больше не жму. Очень просто. Грабительство...

Утром город ухнул. Далеко за пароходом, к левому берегу, в воду упал снаряд.

Горчишников сказал:

— Говорил — трехдюймовку привезти надо. Выкатят к берегу и начнут жарить.

Он посмотрел на еще упавший ближе снаряд.

— Из казарм лупят. Заняли, значит.

Просидевший всю ночь у рупора, капитан прокричал:

— Тихий... вперед. Стоп!.. Полный!

В полдень над тремя островами поднялся синий дымок. Взлетал высоко и словно высматривал.

Красногвардейцы, сталкивавшие трупы в трюм, выбежали на палубу.

— Пароход! Из Омска! Наши идут.

А потом столпились внизу, пулеметы замолчали. Тихо переговаривались у машинного отделения.

Пороховой дым разнесло, запахло машинным маслом. Пароход вздрагивал.

Машинист Никифоров, вытирая о сапоги ладони, медленно говорил:

— Все люди братья!.. Стервы, а не братья. Домой я хочу. Кабы красный пароход был, белые б нас обстреливали? Давно б удрали. У меня — дети, трафило б вас, я за что страдать буду!

Из улиц, совсем недалеко, рванулось к пароходу орудие. Брызнул где-то недалеко столб воды.

Делегация красногвардейцев заседала с Чрезтройкой.

На полных парах бешено вертелся под выстрелами пароход. Часть красногвардейцев стреляла, другие митинговали. С куля говорил Заботин:

— Товарищи! Выхода нет. Надо прорваться к Омску. Запус, по-видимому,. убит. Идут белые пароходы. К Омску!

Подняли оттянутые стрельбой руки: к Омску, прорваться. Стрелять прекратили.

Тут вверху Иртыша расцвел над тальниками еще клуб дыма.

— Идет... еще...

«Андрей Первозванный» завернул. Капитан крикнул в рупор:

— Полный ход вперед.

Из-за поворота яров, снизу, подымались навстречу, связанные цепями, преграждая Иртыш, три парохода под бело-зеленым флагом.

Горчишников выхватил револьвер. Капитан в рупор:

— Стой. На-азад. Стой.

«Андрей Первозванный» опять повернулся и под пулеметную и орудийную стрельбу ворвался в проток Иртыша — Старицу. Подымая широкий, заливающий кустарники, вал пробежал с ревом мимо пристаней с солью, мимо пароходных зимовок и, уткнувшись в камыши, остановился.

Красногвардейцы выскочили на палубу.

Машинист Никифоров закричал:

— Снимай красный. Белый подымай. Белый!..

Пока подымали белый, к берегу из тальников выехал казачий офицер; подымаясь на стременах, приставил руку ко рту и громко спросил:

— Сдаетесь?

Никифоров кинулся к борту, махая фуражкой, плакал и говорил:

— Господа!.. Гражданин Трубычев... господин капитан!.. Дети... да разве мы... их-ты, сами знаете...

Офицер опять приставил руку и резко крикнул:

— Связать Чрезтройку! Исполком Совдепа! Живо!

Разбудил Кирилла Михеича пасхальный перезвон. Застегивая штаны, в сапогах на босу ногу, выскочил он за ворота. Генеральша Саженова, без шали, поцеловала его, басом выкрикнув:

— Христос воскресе!..

Кирилл Михеич протер глаза. Застегнул сюртук и, чувствуя гвозди в сапоге, спросил:

— Что такое значит?

Варвара целовала забинтованную руку Шмуро. Архитектор подымал брови и, шаркая ногой, вырывал руку.

Варвара взяла Кирилла Михеича за плечи и, поцеловав, сказала:

— Христос воскресе! Большевиков выгнали. Сейчас к пароходу пойдем, расстрелянных выносить. Капитан Трубычев приехал.

Шмуро поправил повязку и, сдвинув шлем на ухо, сказал снисходительно Кириллу Михеичу:

— Большое достоинство русского народа перед Западом, это, по общему выводу, — добродушие, отзывчивость и какая-то бешеная отвага. В то время как Запад — например, англичанин — холоден, методичен и

расчетлив... Или, например, колокольный звон — широкая, добродушная и веселая музыка, проникшая во все уголки нашего отечества... Сколько в германскую войну русские понесли убитыми, а Запад?.. Гражданин Качанов!..

— У меня жены нету, — сказал Кирилл Михеич.

Варвара погрозила мизинцем и, распуская палевый зонтик, сказала капризно:

— Возьмите меня, Шмуро, здоровой рукой... А вы, Кирилл Михеич, маму.

Маму Кирилл Михеич под руку не взял, а пойти пошел.

— Совсем взяли? — спросил он. — Всех? А ежели у них где-нибудь на чердаке пулемет спрятан?

Шмуро обернулся, поднял остатки сбритых бровей и сказал через губу, точно сплевывая:

— Культура истинная была всегда у аристократии. Песком идти, Варя, не трудно? Извозчики разбежались...

Горчишников отбежал к пароходной трубе и никак не мог отстегнуть пуговку револьверного чехла. Карауливший арестованных, Шабага, схватил его за плечи и с плачем закричал:

— Дяденька, не надо! Пожалуйста, не надо.

Вырывая руку, Горчишников ругался и просил:

— Не замай, пусти, черт!.. Все равно убьют.

Красногвардейцы толпились вокруг них. Безучастно глядели на борьбу и, вздрагивая, отворачивались от топота скакавших к берегу казаков. Шабага, отнимая револьвер, крикнул в толпу:

— Застрелится, нас перебьют. Пущай хоть один.

Толпа, словно нехотя, прогудела:

— Пострадай... Немножко ведь... Авось простят. Пострадай.

— Брось ты их, Емеля, — сказал подымавшийся по трапу Заботин. — И то немного подождать. За милую душу укокошат.

Горчишников выпустил руку.

— Ладно. Напиться бы... Как с похмелья.

С берега крикнули:

— Давай сходни!

Всплывали над крестным ходом хоругви.

Идти далеко, за город. Вязли ноги в песке. Иконы — как чугунные, но руки несущих тверды яростью. Как ножи, блестят иконы, несказанной жутью темнеют лики несущих. Колокольный звон церковный, пасхальный, радостный.

А как вышли за город к мельницам, панихидный, тягучий, синий и тусклый опустился, колыхая хоругви, колокольный звон... И вместо радостных воскресных кликов тропарь мученику Степану запели.

Двумя рядами по сходням — казаки. По берегу, без малахаев, с деревянными пиками киргизы. Мокрой овчиной пахнет. С парохода влажно — мукой и дымом. На верхней палубе капитан один среди очищенной от мешков палубы. Он пароход довел до пристани. Он грузен и спокоен.

У сходен на иноходце — Артюшка. Редок, как осенний лес, ус. Редок и череп.

Кричит, как полком командует:

— Выноси!

Прошли в пароход больничные санитары.

Кирилл Михеич, крестясь и ныряя сердцем, толкался у чьей-то лошади и через головы толпы пытался рассмотреть, что в пароходе. А там мука, ходят люди по муке, как по снегу, сами белые и на белых носилках выносят алые и серые куски мяса.

Зашипело по толпе, качнуло хоругвями:

— Отец Степан...

Визжа, билась в чьих-то руках попадья. Три женщины бились и ревели, — прапорщик Беленький был холост.

— Мятлев!..

— Матрен Евграфыч, родной!..

Мясо несут на носилках, мясо. Целовали испачканные мукой куски расстрелянного мяса. Плакали. Окружили иконами, хоругвями, понесли. Отошли сажен пятнадцать. Остановились.

Тогда из трюма повели арестованных красногвардейцев. Впереди Чрезтройка — Емельян Горчишников, Гришка Заботин и Трофим Круця. А за ними, по-трое,

в ряд, остальные. Один остался на пароходе грузный и спокойный капитан.

Гришка шел первый, немножко прихрамывая, и чувствовал, как мелкой волнистой дрожью исходил Горчишников и остальные позади. И конвой, молчаливо пиками оттеснявший толпу.

Артюшка пропускал их мимо себя и черешком плети считал:

— Раз. Два. Три. Четыре. Восемь. Одиннадцать...

Пересчитав всех, достал коричневую книжечку. Записал: «Сто восемь. Пошел».

Но толпа молчаливо и потно напирала на конвой.

— Давят, вашблагородие, — сказал один казак.

— Отступись! — крикнул Артюшка.

Кирилл Михеич подался вперед и вдруг почему-то тихо охнул. Толпа тоже охнула и подступила ближе. Артюшка, раздвигая лошадью потные, цеплявые тела, подскакал к иконам и спросил:

— Почему стоят?

Бледноволосый батюшка, трясущимися руками оправляя епитрахиль, тоненько сказал:

— Сейчас.

Седая женщина с обнажившейся сухой грудью вырвалась из рук державших, оттолкнула казака и, подскочив к Заботину, схватила его за щеку. Гришка тоненько ахнул и, махнув левшой, ударил женщину между глаз.

Казаки гикнули, расступились. Неожиданно в толпе сухо хрястнули колья. Какой-то красногвардеец крикнул: «Васька-а!» Крикнул и осел под ногами. В лицо, в губы брызгала кровь, текла по одежде на песок. Пыль, омоченная кровью, сыро запахла. Седенький причетник бил фонарем. Какая-то старуха вырвала из фонаря сломанное стекло и норовила попасть стеклом в глаз. Ей не удавалось, и она просила: «Дайте разок, разок...»

Помнил Кирилл Михеич спокойную лошадь Артюшки, откинутые в сторону иконы, хоругви, прислоненные к забору, растерянных и бледных священников. Потом под ноги попал кусок мяса с волосами, прилип к каблуку и не мог отпасть. Варвара мелькала в толпе, тоже топтала что-то. Визжало и хрипело: «Православные!.. Родные!.. Да... не знали...»

Прыгали на трупы каблуками, стараясь угодить в грудь, хрястали непривычным мягким звуком кости. Красногвардеец с переломленным хребтом просил его добить, подскочила опрятно одетая женщина и, задрав подол, села ему на лицо. Красногвардейцев в толпе узнавали по залитым кровью лицам. Устав бить, передавали их в другие руки. Метался один с вырванными глазами, пока казак колом не раздробил ему череп.

Артюшка поодаль, отвернувшись, смотрел на Иртыш. Лошадь, натягивая уздечку, пыталась достать с земли клок травы.

Когда на земле валялись куски раздробленного, искрошенного и затоптанного в песок мяса, глубоко вздыхая, люди подняли иконы и понесли.

XV

Нашел Кирилл Михеич — в ящичке письменном завалилась — монетку-счастьеносицу — под буквой «П» — «I».

Думал: были времена настоящие, человек жил спокойно. Ишь, и монета-то у него — солдатский котелок сделать можно. Широка и крепка. Жену, Фиозу Семеновну, вспомнил, — какими ветрами опахивает ее тело?

Борода — от беспокойства, что ли, — выросла, как дурная трава — ни красоты, ни гладости. Побрить надо. Уровнять...

А где-то позади сминалось в душе лицо Фиозы Семеновны, тело ее сосало жилы мужицкие. Томителен и зовущ дух женщины, неотгончив. Чье-то всплывало податливое и широкое мясо, — азиатского дома ли... еще кого ли... не все ли равно кого, можно мять и втискивать себя... Не все ли равно?

Горячим скользким пальцем сунул в боковой кармашек жилета монетку Павла-царя, слышит: шаг косой по крыльцу.

Выглянул в окно. Артюшка в зеленом мундире. Погон фронтовой — ленточка, без парчи. Скулы острокосы, как и глаза. Глаза — как туркменская сабля.

Вошел, пальцами где-то у кисти Кирилла Михеича слегка тронул.

— Здорово.

Глядели они один другому в брови — пермская

бровь, голубоватая; степной волос — как аркан, черен и шершав. Надо им будто сказать, а что — не знают... А может, и знают, а не говорят.

Прошел Артюшка в залу. Стол под белой скатертью, — отвернулся от стола.

— Олимпиада здесь? — спросил как будто лениво.

— Куды ей? Здесь.

— Спит?

— Я почем знаю. Ну, что нового?

Опять так же лениво, Артюшка ответил:

— Все хорошо. Я пойду к Олимпиаде.

— Иди.

Сел снова за письменный стол Кирилл Михеич, в окно на постройку смотрит. Поликарпыч прошел. Кирилл Михеич крикнул ему в окно:

— Ворота закрой. Вечно этот Артюшка полоротит.

Вспомнил вдруг — капитан Артемий Трубычев и на тебе — Артюшка. Как блинчик. Надо по-другому именовать. Хотя бы Артемий. И про Фиозу забыл спросить.

В Олимпиадиной комнате с деревянным стуком уронили что-то. Вдруг громко с болью вскричала Олимпиада. Еще. Бросился Кирилл Михеич, отдернул дверь.

Прижав коленом к кровати волосы Олимпиады, Артюшка, чуть раскрыв рот, бил ее кнутом. Увидав Кирилла Михеича, выпустил и, выдыхая с силой, сказал:

— Одевайся. В гостиницу переезжаем. Будет в этом бардаке-то.

— То есть как так в бардаке? — спросил Кирилл Михеич. — Я твоей бабой торговал? Оба вы много стоите.

— Поговори у меня.

— Не больно. Поговорить можем. Что ты — фрукт такой?

И, глядя вслед таратайке, сказал:

— Ну, и слава богу, развязался. Чолын-босын!..

Вечером он был в гостях у генеральши Саженовой. Пили кумыс и тяжелое крестьянское пиво. Яков Саженов несчетный раз повторял, как брали «Андрея Первозванного». Лариса и Зоя Пожиловы охали и перешептывались. Кирилл Михеич лежал на кошме и говорил архитектору Шмуро:

— Однако вы человек героинский и в отношении прочих достоинств. Про жену мою не слыхали? Говорят, спалил Запус Лебяжье. Стоит мне туда съездить?

— Стоит.

— Поеду. Кабы мне сюды жену свою. Веселая и обходительная женщина. Большевиков не ловите?

— На это милиция есть.

— Теперь ежели нам на той неделе начать семнадцать строек, фундаменты до дождей, я думаю, подведем.

— Об этом завтра.

— Ну, завтра так завтра. Я люблю, чтоб у меня мозги всегда копошились. Я тебе аникдот про одну солдатку расскажу...

— Сейчас дело было?

— Ну, сейчас? Сейчас каки аникдоты. Сейчас больше спиктакли и дикорации. Объем!..

Варвара в коротеньком платьице, ярко вихляя материей, плясала на кошме. Вскочил учитель Отчерчи и быстро повел толстыми ногами.

Плясал и Кирилл Михеич русскую.

Генеральша басом приглашала к столу. Ели крупно.

Утром росы обсыхали долго. Влага мягкая и томящая толкалась в сердце. Мокрые тени, как сонные птицы, подымались с земли.

Кирилл Михеич достал семнадцать планов, стал расправлять их по столу, и вдруг на обороте написано карандашом. Почерк мелкий, как песок. Натянул очки, поглядел: инструкция охране парохода «Андрей Первозванный». Подписано широко, толчками какими-то — «Василий Запус».

КНИГА ВТОРАЯ

КОМИССАР ВАСЬКА ЗАПУС

I

Идя обратно, — с озера, — у пашен, где крупное и твердое жнивье, — Запус увидал волка. Скосив набок голову, волк подбористой рысью пробежал совсем близко. Запус заметил — в хвосте репейники, а один бок в рыжей глине.

Запус (подумав так: «Репейники, вцепилось, круглое, пуля, убить».) дернул руку к пуговице кобуры. Волк сделал высокий и большой, словно через телегу, прыжок. Запус тоже подпрыгнул, стукнул каблуками и закричал:

— Ау-ау-ау!..

И дальше, всю дорогу до сеней просфирни, Запус смеялся над растерянным волчьим хвостом:

— Как тряпица!.. Во-о-олк... Во-о-оет!.. Ко-оро-ова!.. Корова, а не волк, черти! Ха-а-а!.. Тьфу!

Напротив сеней, подле воды, в боте (долбленой лодке) сидел Коля Пимных. Голова у Пимных маленькая, как бородавка, а удилище в руке висело, как плеть. В садке неподвижно лежали золотистобрюхие караси, покрытые кровавыми полосами — точно исхлестанные. Запус остановился у бота и, глядя через плечи Пимных, спросил:

— Просфирня дома?..

Голос Пимных был гулкий, но какой-то гнилой.

— Мое какое дело? Ступай, узнаешь. Это ты с матросами-то удрал из Павлодару. Оку-урок! Землю когда мужикам делить будешь, мне озеро в рыбалку вечную отдай.

— Рыбачишь?..

Пимных встречал Запуса каждый день. Ночами приходил к ферме, где стоял отряд. Со стога, против фермы, долго с пискливым хохотом глядел на костры. А в деревне, встречая Запуса, задавал чужие вопросы:

— Карась удочку берет, когда шипишка в цвету, знай. Карася счас ловят сетью али саком, можно ветшей. Ты не здешний?..

— Удочку зачем тебе?

— Это не удочка, а удилище. Только леска для отвода прицеплена, дескать, хожу на рыбалку. Бывает, что отнимают, скажут, буржуй.

— Отымут?.. Кто?

— Все твои, дизёнтеры. Ты им когда земли нарежешь? Пущай они осядут, не мешают. Сам-то какой губернии? Я все губернии знаю — Полтавскую, Рязанскую, вобласть царя Донского — атамана Платова... спросить можно: в вашей губернии как баб боем берут...

Он вдруг широко блеснул белками глаз, пискливо засмеялся:

— В каждой губернии на бабу свой червяк, как на рыбу. Где бьют, где щекочут.

Запус повернулся к просфирниным сеням. Пимных, густо сплевывая в воду, бормотал поверья о бабах. Руки у него липко щелкали, точно ощупывая чье-то потное тело, голос облеплен слюной. Запус обернулся, — губы у Пимных были жилистые, крепкие, как молодая веревка.

— Ты, Васелий, к просфирне зачем?

— В армии тебе надо служить, а не лодырничать.

Пимных прикрыл губы ладонью — нос у него длинный и тонкий, точно палец. Ладонь — в тине, да и весь он из какой-то далекой и неживой тины. Гнилой гноистый голос:

— Грыжа с рожденья двадцать пять лет идет. Кабы не грыжа, гонялись бы за мной казаки, как за тобой, никаких... А я по бабам пошел, это легче.

В этих низеньких, с полом, проскобленным дожелта, комнатках надо бы ходить медленно, чинно и глубоко кланяясь. Подоконники — сплошь горшки с цветами: герань, фуксия, малиновый кюшон. Плетеные стулья и половики-дорожки, плетенные, цветного тряпья.

Просфирня — Елена Алексеевна и дочь у ней — Ира, Ирина Яковлевна. Брови у них густые, черные, поповские, и голос молочный, белый. Этим молочным голосом говорила Ира в веснушчатое лицо Запуса.

— С медом кушайте.

Запус весело водил ладонью по теплому блюдечку.

— Благодарствую.

Дальше Елена Алексеевна, почему-то строго глядя на дочь, спросила:

— Долго ли продолжится междоусобица?

Запус ответил, что долго. Елена Алексеевна хотела спросить объяснений, а потом, будто невзначай, — про сына Марка. Но смолчала. Запус тоже молчал, хоть и лежала у него в кармане френча маленькая бумажка о Марке и о другом.

Сказал же про волка и Пимных.

— Никола-то? — жалобно протянула Елена Алексеевна. — Какой он ловец, он все насчет чужого больше... Только слова он такие нашел, что прощают ему за них. Один ведь он...

— Какие слова?..

Тогда Елена Алексеевна достала из ящика толстую книгу рукописного дела с раскрашенными рисунками. Запус, чуть касаясь плеча Иры, наклонился над книгой.

— Апокалипсис, — сказала Ира, слабо улыбаясь, — из скитов. Двести лет назад писан. Здесь все объяснено, даже нонешнее...

Елена Алексеевна рассказывала про узенькие рисуночки: желтые огни, похожие на пальмы; архистратигов, разрезающих дома и землю, как ножом булки. Запусу понравилось — розоватая краска рисунков похожа на кожу этих женщин. Он пощупал краску пальцем — атласистая и теплая.

Ира взглянула на его волосы, улыбнулась и быстро, так что мелькнули из-под оборки крепкие босые икры, выбежала. Просфирня утерла слезы, проговорив жалобно:

— Теперь так не умеют.

Запусу стало скучно смотреть рисунки. Он поиграл с котенком кистью скатерти, огляделся, согнал мух с меда. Торопливо пожав руку просфирне, выбежал.

Елена Алексеевна выглянула на него в окно. Плаксиво крикнула дочери в сени:

— Убирай чашки, расселась!.. Мука мне с вами — зачем его дьявол притащил к нам? Ты, что ли, с ним думаешь гулять?

— Нужен он мне.

В широкой ограде фермы Павлодарской сельскохозяйственной школы жили матросы и красногвардейцы, бежавшие от казачьих поселков. Посредине ограды мальчишка в дабовых штанах и учительской фуражке варил в огромном котле-казане баранину.

На плоской саманной крыше, между трех пулеметов,

спали вповалку красногвардейцы. Матрос Егорко Топошин, сидя на краю крыши, медленно доставал из кармана штанов просо. С ладони сыпал его в дуло револьвера, а из револьвера, махнув, рассыпал просто по песку.

Мальчишка у казана радостно взвизгивал, указывая на кур:

— А-а-ах, ки-икимо-ора-а!..

Матрос взглянул на Запуса и, вытирая рукавом потные уши, протяжно сказал:

— Военные курьё будёт, пороху нажрется. Мы их вместо почтовых голубей... Отобрал?

— Нет.

Матрос протянул низко и недовольно:

— Ну-у-у?..

Хлопнул себя по ляжке и тяжело спрыгнул. Мягко треща крыльями, разбежались по двору курицы. Мальчишка, подкинув дров, подскочил к матросу и, запрокинув голову, радостно глядел ему в подбородок.

— Пошто?

— Жалко, — поднимаясь на одной ноге, сказал Запус.

Матрос укоризненно посмотрел на его ногу.

— Ну-у-у!.. Врешь, поди. Девку, что ли, жалко?

— Обеих.

— И старуху? Хм, чудно. Что ж контрецюнеров жалеть. Дай-ка бумагу.

Он сунул бумагу в карманы широких, выпачканных дегтем штанов и, точно нарочно, ступая с тяжелым стуком, пошел к воротам.

— Ты бы дозоры объехал, — сказал он, не оборачиваясь.

Мальчишка с сожалением посмотрел Топошину в спину.

— Дяденька, он куды?

— По делам.

Запус схватил мальчишку за плечи и повалил. Мальчишка кувыркался, орал, кидал песок в глаза Запуса:

— Пу-усти, черт, пу-усти, говорят. Шти сплывут.

Вырвался и бросился бежать, размахивая руками.

— Что, догнал? Что, догнал? Бу-уржуй!..

И когда Запус сидел в комнате, мальчишка стукнул ложкой по казану и, сплевывая, сказал:

— Виселые, халипы.

Скинул покрышку и на радостях сунул подбежавшей собаке плававший сверху кусок сала.

— Жри.

Хлебнул ложку щей, посмотрел одним глазом в небо. Еще взял пол-ложечки, почесал пальцем за ухом и закричал:

— Вставай!.. Братва, жрать пора, э-эй!..

А в бумажке, которую в широком кармане твердо нес Топошин, написано было:

> 3 сентября 1917 г. Чрезвычайный Штаб Павлод. У. Совета Р., К., К., К. и К. Деп., заслушав доклад о работе в уезде погромщика и монархиста капитана Трубычева и его ближайших помощников: прап. Марка Вознесенского, Е. Коловина и пор. Степыша, как предателей рабочего народа, — постановил: имущество предателей конфисковать, а также их семей, движимое и недвижимое
>
> Председатель Чрезштаба комиссар *Запус*
> Секретарь *А. Попушенко.*

II

День воскрес летних жаров, хоть и сентябрь. Расцвели над базаром тугие и жаркие облака.

В Сохтуе по воскресеньям базар.

В веселых, жарких, тесовых балаганах — ситцы, малиновые пряники. Под небом, как куски воды, — посуда.

В этом году базары редкие. Народ не едет, казаков ждут, потому что на ферме — Васька Запус, парень в зеленой рубахе и с шелковым пояском, похожим на колос.

— В этом году пожрет землю солнце. От осени через всю зиму пройдет и на то лето выйдет...

Так говорила просфирня Елена Алексеевна дочери Ире, а в обед того же дня можно было говорить еще. Плакать можно громче, — приехала с казачьих поселков Фиоза Семеновна.

Сидело за столом ее широкое, окрепшее на казачьих полях, тело. Из пухловатых век распрямлялись нагие и пьяные зеницы — во все лицо.

Просфирня, вытянув руки по столу, спрашивала:

— Зачем вам приезжать, Фиёза Семеновна? В го-

роде хоть и впрогорячь, а терпеть можно. Тут-та... Из-за Марка у меня все отняли, последнюю животину.

— Вернет, — сказала Ира и рассмеялась — не добавила кто. Может быть, Марк, может, капитан Трубычев...

— Последнюю кожуру слупят. Разбойники, Емельяны трижды-трою проклятые...

Фиоза Семеновна выглянула в окно, через реку, на ферму. На бревнах перед фермой лежали длинные снопы конопли. Фиоза Семеновна вспомнила запахи — зыбкие, желтые почему-то: как раздавленные муравьи. Зыбко отеплели плечи.

— Там?

— Громом вот резанет их!.. Церковь в конюшню хотели обратить, а подойти не могут. Думают только, а сила не пускает на паперть. Так и уходят.

— Поселок наш выжгли, я в Талице жила.

— Казаки скоро придут?

— Не слышно. Новоселов боятся. С войны, бают, оружию везут. Меж собой подерутся, тожно[1] казаки приедут... Новоселы и вправь пушки везут?

— Разве у них, Фиёза Семеновна, различишь? Может, и пушка, а может, новая сноповязка. Я и на картинках пушек боюсь; пусть все возьмут, живым бы остаться.

— Господи, и пошто такие на нас расстани удеяны?..

По воскресеньям в Сохтуе не базары, а митинги.

Немного спустя, по приезде Фиозы Семеновны, пришел в Сохтуй с Кишемского курорта лазарет. Трое солдат ехали впереди верхами, играя на балалайках, четвертый шел с бубном. Больных везли длинные фуры новоселов, покрытые от солнца больничными халатами.

Молоденький солдатик, с головой, перевязанной бинтом, задергивая халат меж ног, подскакал верхом и, не слезая, сказал Запусу:

— Разрешите доложить, товарищ комиссар, так как мы есть на вашей территории... По обоюдному соглашению — решено общим собранием — врачей отпустить по домам в бессрочный, а лазарету тоже по домам, в Томскую губернию. Буде, полежали, дураков нету. Помогчи ни надо?

[1] Потом.

Топошин лениво подергал толстыми пальцами халат верхового и спросил:

— Лекарства есть?

Солдатик закричал радостно:

— Лекарства? Как же лекарствам не быть!

— Тащи. Сгодятся. Оружье есть?

— Оружье?.. Оружье, как же, для охраны-то пулемет.

— Тащи и пулемет.

Солдатик замотал руками:

— Пулемет самим нужон. Лекарства — можно.

Топошин ткнул кулаком в морду лошади:

— Тащи пока. Осерчам мы на вас и больных не посмотрим, так наскребем... Не крякай. Живо расформируем. Тащи.

Пулемет притащили, а в двух мешках из рогожи — лекарства. Топошин задумчиво ковырнул их ногтем ноги:

— Хрен их знат... Фельшера надо где-нибудь сцапать. Запиши, Алешка, на память насчет фельшера.

Играли, прищелкивали балалаечники, плясали больные в пожелтевших халатах. Парни ходили с гармошкой по улицам. С заимок, к вечеру, приехали с самогоном дезертиры.

Густая и тесная жара наполнила тело Фиозы Семеновны. Пустой пригон жег щеки сухими запахами сенов. Прошла пригонами просфирня, тоскливо ощупала стойла, забормотала:

— Што — нешто добра осталось... пожрали, поди, скотину. У кого толку добьешься?.. Орут по селу, а резаться удумают — кто уймет. Этот, с фермы-то, только хохочет... Кобель!

— Где он?

— А я знаю, провалился б он младенчиком из утробы прямо в гиенну... Приходил как-то, а должно, совестно стало — не показывается. Заместо чумы послан...

Она протянула, завывая, руки.

— Сына бы, Марка, уберечь, Фиёза Семеновна. Ты боишься, что ль?

— Кого?

— Я гляжу — в пригоне сидишь. Шла бы в горницу.

— Тесно.

— И то тесно. Мужики с тесноты и пьют. От мужа давно вести имела?

— Давно.

— Вот жизнь... И откуда оно доспелось?

Когда просфирня ушла, Фиоза Семеновна поднялась было с поваленного плетня, но вновь села. Длинный теплый лист тополя принесло на колени. Лист был темно-красный, как сушеное мясо.

Тени поветей тоже были темно-красные. Улицы хрипели растяжно и пьяно.

Спать хотела Фиоза Семеновна в сенях. Просфирня разостлала чистые половики и принесла перину. Еще раз, стуча кулак о кулак, рассказала, как отняли коров и как хотят отнять дом.

— Сожгу, не дам... Возьму грех на душу...

Не спалось. Тихо оттянув теплую щеколду, Фиоза Семеновна вышла в палисадник. Маслянисто взыграла по реке рыба. Расслояли землю жирные и пахучие зеленью воды.

Держась за палисадник, вся в темной шали, Фиоза Семеновна посмотрела через речку на ферму. Колебались в лазоревой степи костры.

Прошли мимо парни. Один простуженным солдатским голосом сказал:

— Кабы за этова Запуса деньги дали, я б его в перву голову кончил. В Польше как я был или у немца — там обязательно — раз отступник, полиция ищет, готово... платят...

Кто-то громко, словно ломая лучину, харкнул:

— Хлюсты!.. Там люд состоятельный. Там корова ведро молока дает... Казаков слышно?..

Солдатский голос рассказывал о польских девках. Парни хлопали друг друга кулаками.

Фиоза Семеновна запомнила одно: «Ждут казаков».

У ней — родственник Артюшка, ей надо б матросов бояться. Скажут — шпионка... Вспомнила, такой же клейкой болью ныло сердце, когда по Лебяжьему бил из пулеметов Запус. Скотину резало, а один казак — двоюродный братец ее, Лифантий Пестов, — полз в пыли. Скула у него была сворочена, исщеплена пулей, и кровь походила на смолу.

Опять из переулка вышли парни с гармошкой.

Заскрипели половицы крылечка. В белом появилась Ира. Окликнула:

— Фиёза Семеновна, вы где?

Ира, щелкая пальцами о пленки палисадника, мимо Фиозы, направилась к реке.

Один из парней, подскочив к воротам, уперся в затвор спиной. Свистнул. Стукнула гармошка. Парни, с трех сторон, подскочили к Ире.

Ира вытянула руки по бедрам, мелко затопталась.

— Ва-ам чего?

— А ничего. Хочем поближе ознакомиться. Имназия!..

Парень шлепнул ее по рту, повалил и терся коленками о ее тело. Другой, простуженно кашляя, тряс головой.

— Не мни... не мни, говорю, а то на всех не хватит...

Перехватил гармошку и, чуть-чуть пиликая, торопил:

— Рот вяжи, вяжи рот... чтоб не слышно... Давай фуражку... нос-то не надо, пущай носом... Их, кабы да лопату с поленом...

— Можно и так...

Подымая пыль, парни неловко потащили Иру к речке.

Путаясь в мокрой шали, Фиоза Семеновна, оседая скользким животом, забила локтями в ставни. Роняя горшки, в сенях пробежала просфирня. Осевшим голоском, приоткрывая двери, спросила:

— Кто-о... та-ам?..

— Насильничают... парни, Иру насильничают...

Просфирня споткнулась, упала. Забыв разогнуться, скорячившись, гребя одной рукой пыль, метнулась к реке.

...Хрястнуло — точно гнилой пень.

Платье Иры с ног на голове. Так и домой...

— А-ма-а-а-манька-а!..

Просфирня еще махнула колом. Замлевшему телу Фиозы Семеновны отдалось заливным криком:

— Так... так!.. Глаза выдеру... кушак давай, Фиоза... шаль давай... Нньа-а-ах... ы-ы... сююды...

Фиоза хватала просфирню за локти.

Парень хрипло, с перерывами, заорал. Просфирня надавила ему коленом рот. Склоняясь за шалью, Фиоза Семеновна хватила носом солодковатый запах крови с едким потом. Парня стошнило, липкая слизь обрызгала ее пальцы. Она, истошно визжа, побежала от просфирни.

III

Старуха, стряхая с подола цепляющуюся солому, искала у костров Запуса. Костры из соломы — огонь был веселый и широкий, дым над фермой белее молока.

Старуха кланялась Запусу, платок от поклонов слезал на тонкую, как бечевка, шею:

— Корова многодойная, уносистая, я эту корову теленочком примала. Разве на мясо можна такую корову резать?.. Ты отдай мне ее, паренек, я тебе в ножки поклонюсь и в поминанье... Просфирне-то, верно, коров куда-а, у меня коровушки-то не водится... Умилостиви сердце-то, Васелий Антоныч...

Косилась к забору, где Топошин, махая топором, кричал корове в глаза:

— В которое место бить, ты мне укажи?.. Я у ней сразу весь поповский дух вышибу!.. В которо?..

Пимных, вяло разводя руками, сказал:

— В которо?.. Я думаю, самое лучше меж рог надо бить... А ты здоровый, все равно убьешь — крой...

Мальчишка-кашевар, верхом на заборе, бил радостно голыми пятками и хвастливо звал:

— Иди-и, у нас Власивна корову проси-и-т... оре-ет... Сичас братва ухрясит корову-у... Иди-и...

От реки боязливо отзывался парнишка:

— Да-а... а коли нас би-ить буду-ут?..

Запус повернул старуху и легонько толкнул ее под локоть:

— Ступай к тому матросу, он тебе сердце отдаст. Товарищ Топошин, отдайте бабке сердце...

— Сердце?.. Коровье, что ль?.. Али мое, бабка, надо?.. Лакома...

Мальчишка на заборе отчаянно закричал в темь:

— Иди-и... си-ичас будут...

Длинноногий мужик, кашляя и отплевываясь, проскочил через дым и остановился подле Запуса:

— В деревне, товарищ комиссар, убийство. Просфирня двух дизёнтеров убила; дочь, грит, хотели изнасильничать. Деревенски сбежались, кабы не усамосудили ее.

Подымаясь на стременах, дозорный крикнул на весь двор:

— Лошадь!..

Мальчишка пронзительно затянул:

— Лоша-адь Василью Антонычу, иеей!..

Царапнув стременем деревянную кобуру маузера, Запус подбородком уткнулся в пахнущую дымом гриву. Топошин взглянул на него, крякнул и вдруг с силою ударил обухом меж рог. Корова рухнула. Топошин отбросил топор и, вспрыгивая в седло, крикнул:

— Свяжи, а я... Сичас!..

Дальше Запус помнил: дрожащий деревянный мосток через речку; как крылом махнувший — рыхлый запах вод; сухие, наполненные гнетущим дневным жаром, ветви тополей.

Запус подскакал к палисаднику — и дальше по двору просфирни.

Три мужика с фонарем, подштанники у них спадали, фонарь качался, и нельзя было уловить который.

— Куда?.. Ступай на хферму!.. Мы сами...

Рукоятка маузера теплая, но вжимается в кожу, как заноза.

Мужики поняли. Фонарь упал, и мужик, должно быть, не раненый весело:

— Уби-ил!

Топошин подхватил его фонарь и весь, огромный, пахнущий соломенным дымом, прыгал на лошади.

Мужики, мягко топоча, бежали по улице следом.

У крыльца просфирни горела поленница дров. Просфирня черпала воду из колодца и все никак не могла донести до поленницы. Два трупа, покрытые мешками, лежали рядом, высоко задрав колени.

Хватаясь за потник Топошина, высокая грудастая женщина, бежала, слегка хромая:

— Товарищ комиссар! Товарищ комиссар!

Увидав Фиозу Семеновну, Запус подскакал к крыльцу и, хватая Иру в седло, крикнул Топошину:

— В ферму!.. В ферму!.. Судить!

И, колотя маузером в гриву, повернул. Толпа, дыша перегаром самогона, переплетая скользкие руки, давила лошадей. Топошин поднял ступню и, брызгая слюной, погнал коня.

— А-а, ну-у!..

Улица, мокрая, бородатая, расступилась, где-то у ног ухнула:

— Су-удить...

И рысью, тяжело давя сонную землю, пошла за конями.

А когда матросы с женщинами вскочили в ограду фермы, цепь красногвардейцев рассыпалась у забора.

За ворота выехал Топошин и сказал:

— Чрезштаб Усовета в экстренном заседании постановил, товарищи, когда прибудут депутаты от волисполкома, тогда судить. Значит, завтра. Сейчас спать надо, каки дела-то. А мы не ужинали...

Мужики, напирая к воротам, размахивая кольями, загудели.

Кто-то швырнул куском глины в Топошина.

Старуха, просившая корову, утираясь платком, выкрикнула:

— Девку жалко?.. Богоотступники-и!..

Тогда, словно расколов колья, с шипом метнулась толпа.

Топошин осадил лошадь.

— Товарищи-и!..

— Волк тебе товарищ, сволочь!..

— За девку людей бить?..

— Дава-ай сюды просфирню... мы ей кишки-то повыжмем. Давай!..

— Каки там исполкомы, давай баб! Гони!..

Красногвардейцы, вороша локтями солому, выстрелили вверх.

Мужики отошли.

Немного спустя на лугу загорелся стог.

Мужики ходили кучками.

Выли бабы.

Через луг, махая маузером, проскакал мимо них без шапки Запус. За ним восемь матросов с карабинами.

Мужики кинулись в деревню.

Запус вызвал председателя исполкома лазарета. Застегивая гимнастерку, выбежал молоденький солдатик с перевязанной головой.

— У нас скоро дежурство будет, — сказал он весело. — Сейчас только спим... пристали...

Запус наклонился и, оглядываясь, сказал ему в лицо несколько слов. Мушка маузера слегка касалась щеки солдатика.

Тот быстро закрестился и начал расстегивать гимнастерку.

— Счас?.. Ночью спят ведь, товарищ комиссар.

Маузер — оружие тяжелое. Запус улыбнулся и положил его на гриву лошади.

— Четыре пулеметных катушки выпустим в вас, списки на небо придется представлять. Это ближе, чем Томская губерня... я, товарищ, говорю просто: если через пять минут...

Матросы и Запус поскакали к ферме.

Председатель же лазаретного исполкома пощупал опотевшие подмышки, сплюнув, и пошел будить лазарет.

И вот через пять минут тестообразными, сонными голосами весь лазарет запел «Марсельезу».

Натягивая штаны, халаты, сморкался и пел. Два солдата подыгрывали на балалайках.

Дальше лазарет сел в фуры; на углу каждого переулка останавливался.

Пропев «Соловей, соловей, пташечка» и «Дуню», двигался к другому переулку.

Сначала примчались мальчишки, потом бабы.

Мальчишки, подпрыгивая, подпевали, свистели. Бабы спешили от фермы.

— Лечебники с ума спятили!

— Удумали!

— Спать не дают...

Старуха Власьевна грозила кулаком, обернутым в платок, ферме:

— Долечили!.. Спятили.

Фиоза Семеновна, охлапывая платье, подымая к плечам налившиеся жаром руки, нашла Запуса у сарая. Он, подпрыгивая на одной ноге, с хохотом обтирал шапкой потную лошадь. Поводя тонкими ушами, лошадь весело фыркала ему в уши.

— Идем, Васинька, — сказала Фиоза Семеновна.

Запус кинул шапку, схватил Фиозу Семеновну за груди и слегка ее качнул.

— Вот что значит: тактика. Идем, ты мягкая.

Заднело совсем, когда встал Запус. Сухо и задорно пахло осенней землей. Лазоревый пар подымался от куч соломы.

Красногвардейцы гнали лошадей к реке. Мальчонка, растирая сажу по лицу, раздувал огонь под казаном.

Топошин ковшом из ведра обливал себе широкую рыжую шею.

Запус осмотрел его подбородок и сказал:

— Усы бы тебе надо...

— Усы?.. Нет, зачем же усы? Мне вот «техническая энциклопедия» нужна. Дела улягутся, — я в строители, техником пойду. Ты с инженерным делом знаком?

— Инженерное дело?.. Нет, зачем же мне инженерное дело?.. Инженером-то со сна можно еще, в тесноте. Здесь, товарищ, степи — здесь больше все насчет пулеметика. Ты вчера мужиков не струсил, ко-олья-то, а?..

— Ладно, дразнись. Здесь вон в какую-то деревню летчик с фронта на побывку прилетел — это фунт!.. А то что...

А в обед Запус шел мимо скирдов, за селом. Вздумал закурить и услышал подле скирда вздохи. Он их знал хорошо, поэтому не стал закуривать, а, подмигивая сам себе, легонько шагнул вперед. Запнулся о слегу и упал, шебурша руками по сену. Из-за скирда вышла Ира. Сморщив губы, качнула плечом и, выпрямляя лицо, сказала:

— Пожалуйста... Еще что-нибудь подумаете... Проходите.

За ней Запус увидал Пимных. Тот, протянув ему горячую руку, тягуче отделяя слюну от крепких губ, посмотрел вслед Ире:

— Конечно, дело ваше, а я бы на вашем месте, товарищ комиссар... уважал права невинности. У нас дегтем мажут...

Запус быстро лег на сено, расстегнув грудь под солнце. Усаживая на ноготь божью коровку, длинно и радостно потянулся.

— Иди ты, Пимных, к черту... а сначала объясни мне: для чего я ее спасал? Ты не индивидуально...

— Што-с?

— Зачем, говорю, техническая энциклопедия тебе?.. Малинники-смороденники!..

Тогда же Василий Дементьев, хромой сказочник, посланный стариками, выехал с возом навоза ко кладбищу. Скидал навоз, достал со дна телеги седло. Выпряг лошадь и, кинув телегу, верхом через степь помчался в казачьи поселки.

Это для того, чтобы через четыре дня, зажигая заревом степь, поднялась на Сохтуй казачья лава.

IV

Поликарпыч обошел всю ограду, постоял за воротами и, щупая кривыми пальцами ноющий хребет, вернулся к мастерской. Тут в тележке подъехал к навесу Кирилл Михеич. Сюртук у него был выпачкан алой пылью кирпичей, на сапоге прилипла желтовато-синяя глина.

— За городом дождь был, а тут, как сказать, не вижу.

— Тут нету.

Поликарпыч распустил супонь. Лошадь вдумчиво вытянула шею, спуская хомут.

— Видал, Кирилл, поселковых? Они на завод поехали, стретим, грит, его там. Я про бабу, Фиёзу, спрашивал...

— В Талице она гостила...

— И то слышал, гостила, говорят. Я про хозяйство, без бабы какое хозяйство?.. Поди, так приехать должна скоро, письмо, што ль, ей?..

Кирилл Михеич повел щекой. Оправил на хомуте шлею и резко сказал:

— На пристань пойду, женску роту на фронт отправляют... В штанах, волосы обрили, а буфера-то, что пушки.

Поликарпыч сплюнул:

— Солдаты и бритых честь почестью... Вояки! У нас вот в турецку войну семь лет баб не видали, а терпели. Брюхо — в коросте!..

— Воевать хочут, ни что-нибудь, якобы...

— Ну, воевать! Комиссар Васелий тоже в уезде воюет. Грабители все пошли... Чай пить не будешь? Сынок!..

Поликарпыч укоризненно посмотрел на сутулую спину уходившего сына, скинул свой пиджак, вытряс его с шумом:

— Маета! Без бабы кака постель, поневоле хошь на чужих баб побежишь... Они, вишь, ко фронту за ребятишками поехали...

Он хлопнул себя по ляжке и, тряся пыльной бороденкой, рассмеялся:

— Поезжай, мне рази жалко!..

Кирилл Михеич, крепко расставляя ноги, шел мимо тесовых заборов к пристани. Раньше на заборах клен-

лись (по углам) афишки двух кинематографов «Заря» и «Одеон», а теперь — как листья осенью всех цветов —

«Голосуйте за трудовое казачество!»

«Да здравствует Учредительное собрание!»

«Выбирайте социалистов-революционеров!»

И еще — Комитет Общественной Безопасности объявлял о приезде чрезвычайного следователя по делу Запуса. Следователь, тощий паренек с лохматыми черными бровями, Новицкий, призывал Кирилла Михеича. Расспросил о Запусе и, краснея, показал записки Фиозы, найденные на пароходе.

Это было неделю назад, а сегодня поселковые рассказали, как Фиоза уехала к Запусу. Казак Флегонт Пестов, дядя убитого Лифантия, грозил кулаком в землю у ног Кирилла Михеича:

— Ты щщо думашь: за таки дела мы помилуем? Ане, думашь, как нас осилят, не вырежут?.. Она, может, списки составила?..

Кирилл Михеич считал кирпичи, отмечая их в книжку, и молчал. Казаки кирпичи везли на постройку полусожженной Запусом церкви, — Кириллу Михеичу неловко было спросить о плате. Казаки стыдились и врали про Фиозу, что, уезжая, она три дня молилась, не вставая с колен.

— Околдовал, штобы его язвило!

У пристани — крепко притянутая стальными канатами — баржа. За ней буксирный пароходик — «Алкабек». По сходням взад и вперед толпились мещане. На берегу на огромных холмах экибастукской соли прыгали, скатываясь с визгом вниз, ребятишки. Солдаты, лузгая семечки, рядами (в пять—восемь человек) ходили вверху по яру. Один босой, в расстегнутой гимнастерке, подплясывая, цеплялся за ряды и дребезжаще кричал:

— Чубы крути, счас баб выбирать будем!..

Пахло от солдат острым казарменным духом. Из-за Иртыша несло осенними камышами; вода в реке немая и ровная. На носу парохода, совсем у борта, спал матрос-киргиз, крепко зажав в руке толстый, как жердь, канат.

«Упадет», — подумал Кирилл Михеич.

Здесь подошел Шмуро. Был он в светло-зеленом френче, усы слегка отпустил. Повыше локтя — трехцветный треугольник. Выпятив грудь, топнул ногой и,

пожимая вялую ладонь Кирилла Михеича, сказал задумчиво:

— Добровольно умирать еду... Батальон смерти, в Омск. Через неделю. Только победив империалистические стремления Германии, Россия встанет на путь прогресса...

— Церкви, значит, строить не будете?

— Вернусь, тогда построим.

Кирилл Михеич вздохнул:

— Дай бог. На могиле-то отца Степана чудо свершилось, — сказывают, калика исцелилась. Пошла.

— Религиозные миазмы, а впрочем, в Индии вон факиры на сорок дней в могиле без вреда закапываются... Восток! Капитана давно не видали?

— Артюшку?

— Уездным комиссаром назначен, из Омска. Казачий круг доверие выразил. Был у него сегодня — обрился, телеграмму читает: казаки на Сохтуй лавой...

— Куда?.. Брешут, поди. Ленивы они...

— Сохтуй, резиденция Запуса. Только разве фронтовики в казаках, — а то беспощадно... Заходите.

Шмуро быстро выпрямился и пошел к генеральше Сажeновой. Обернулся, протянул палец к пуговицам френча:

— В уезде военное положение. Пароль и лозунг!.. Беспощадно...

Кирилл Михеич посмотрел на его высоко подтянутый ремень и вяло улыбнулся: Шмуро подражал Запусу.

Втягивая зад (потому что на него и о нем хохотали солдаты), прошла на баржу женская рота. Если смотреть кверху — видно Кириллу Михеичу, такие же, как и на яру, солдатские лица. Глаза, задавленные широкими щеками со скулами, похожими на яйца, лбы, покрытые фуражками, степные загары. Рядом с девкой из заведенья хитрого азиата Бикмеджанова увидал Леночку Соснину, она в прошлом году окончила гимназию в Омске. Теперь у ней также приподнялись щеки, ушли под мясо глаза и тяжело, по-солдатски, мотались кисти рук.

Саженовы кинули на баржу цветы.

С тележки, часто кашляя и вытягивая челюсть, говорил прощальную речь Артюшка.

Кирилл Михеич речи его не слушал, а пошел, где нет народа. У конторы пристани, на завалинке, сидели

грузчики. Один из них, очищая розовато-желтую луковицу, говорил бойко:

— Приехал он на базар, тройка вся в пене. Шелкова рубаха, ливервер. Орет: «Не будь, грит, я Васька Запус, коли всех офицеров с казаками не перебью». Повернул тройку на всем маху и в степь опять...

— Вот отчайной!..

— Прямо в город!..

Извозчик, дремавший на козлах, проснулся, яростно стегнул лошадь и язвительно сказал Кириллу Михеичу:

— И для че врут, конь и тот злится. Шантрапа!.. Садитесь, довезу.

Кирилл Михеич взялся было за плетеную стенку, чтоб влезть. Грузчики вдруг захохотали. Кирилл Михеич опустил руку.

— Не надо.

Извозчик, точно поняв что, кивнул и, хлестнув крутившегося в воздухе овода жирным и толстым кнутом, опять задремал.

Расстегнув френч и свесив с дрожек кривые ноги, показался капитан Трубычев. Кирилл Михеич тоже расстегнул сюртук.

— Артюш!..

Трубычев убрал ноги и, шурша сеном, подвинулся.

— Садитесь, рядом... Домой!

Дрожки сильно трясло.

— Когда это пыль улягет?

— Да-а... — устало сказал Артюшка. — Как хозяйство идет? Подряды имеются? Мне о церквах каких-то говорили.

— Нету нонче никаких подрядов, например, бумага одна получается. Как сказать фунтаменты провели, есть, а народ воюет. Олимпиада здорова?..

— Скоро можно строить. Казачья лава пройдет, Запуса прогонят. Следователь сказывал, письмо Фиозы нашли в пароходе.

Кирилл Михеич пошарил в кармане, точно ища письма. Вдруг взмахнул рукой и схватил Артюшку за коленку:

— Ты мне, Артюш, записку, записку такую по всему уезду... чтоб пропускали везде: дескать, Кирилл Михеич Качанов по всему уезду может, понял? Я завтра отправлюсь.

— Записка, пропуск?

— Ну, пропуск. Мне-то что, мне только ехать.

— Записка выдается людям, связанным с гражданскими или военными организациями.

— Петуха знаешь?

— Какого петуха?

— Олимпиада петуху одному горло перекусила... А мне в уезд надо ехать, церкви строить!.. Давай записку.

— Петух-то причем?

Веки Кирилла Михеича точно покрылись слюной. На лице выступила розовато-желтая кожа. Он дергал Артюшку за острое колено, и тому казалось, у него нарастает что-то на колене...

— Какой петух?

— Не петух, а человека губят. Же-ну! Пущай я по всему уезду спокойно... церкви, скажу, осматривать. Я под законный суд привезу.

— Зачем ее тебе? Таких — к Бикмеджанову ступай, десяток на выбор. Кто ее потрогает?..

— Могу я осматривать свои постройки; я в губернию жаловаться поеду. Стой!

Он прыгнул из дрожек и, застегивая сюртук, побежал через площадь в переулок. Киргиз-кучер посмотрел на его ноги и шлепнул пренебрежительно губами:

— Азрак-азрак сдурел... Сопсем урус бегать ни умет. А-а!..

Вечером архитектор Шмуро сидел перед Кириллом Михеичем в кабинете. Шоркая широкими ступнями по крашеному полу, он вразумительно говорил:

— Окончательно, на вашем месте, я бы отказался. Я люблю говорить правду, ничего не боюсь, но головы мне своей жалко, сгодится... Хм... Так вот: я объясню — Трубычев вам не давал бумажку потому, что ревнует жену к Запусу, а Фиоза Семеновна при нем если, — не побежит же туда Олимпиада. Затем Олимпиада повлияла, сплетница и дура. Отпустил. Мне говорит: «Командирую с ним, не выпускайте из казачьей лавы». А что там палкой очерчено, здесь идут казаки, а здесь нет. Поедете?

— Поеду, — сказал Кирилл Михеич.

— Вам говорю: зря. Откажитесь. Я бы мог, конечно, несмотря на военную дисциплину — я защищать фронт еду, а не мужей, — мог бы отказаться... Он меня здесь очень легко со злости под пулю подведет...

Он вытер потные усы и, еще пошоркав ногами, сказал обреченным голосом:

— Поедете?..

— Поеду, — отвечал Кирилл Михеич и попросил отдать ему пропуск по уезду.

Шмуро вздохнул:

— Здесь на нас, на двоих... А впрочем, возьмите.

V

У тесовых ворот фермы на бревне сидел толстоногий мужик. Увидав Фиозу Семеновну, он царапнул ружьем по бревну и, тускло глядя ей в груди, сказал:

— Нельзя пускать, сказано. Вишь — проволочны загражденья, лупят... Камфорт, язви их!.. Ступай в поселок лучше.

Лугом, вокруг фермы, трое парней вбивали в сырую землю колья. Босой матрос обматывал колья колючей проволокой.

Фиоза Семеновна ушла.

Горче всего — тлел на ее заветревших (от осенних водяных ветров) пальцах мягкий желтый волос Запуса. Дальше — голубовато-желтые глаза и быстрые руки над ее телом... Горче осенних листьев...

И шла она к ферме не за милостью — городские ботинки осели в грязь, — надо ботинки; от жестких и бурых, как жнивье, ветров — шубу.

А по жнивью, пугая волков, одетый в крестьянский армяк и круглую татарскую шапку, скакал куда-то и не мог ускакать Васька Запус. Как татарские шапки на лугах — стога, скачут в осенних ветрах, треплют волосом и не могут ускакать. Лугами — окопы, мужичьи заставы. Из степей желтым огнем идет казачья лава.

Плакала Фиоза Семеновна.

Четвертый раз говорил ей толстоногий мужик Филька, — в ферму не велено пускать. Неделю не подъезжал к палисаднику Запус. Дни над стогами — мокрые ветряные сети, птицы летят выше туч.

Сидеть бы в городе Павлодаре, смотреть Кирилл Михеича. Печи широкие — корабли, хлеба белые: от печей и хлебов сытый пар.

Не надо!

Просфирня укоряла Иру: поселком говорят, не блюдет себя. Ира упрямо чертила подбородком. Остры девичьи груди, как подбородок. Фиоза Семеновна, проходя в горницу, подумала: «Грех... надо в город», — и спросила:

— Урожай какой нынче?

Просфирня скупо улыбнулась и ответила:

— Едва ли вы в город проедете... Заставы кругом, не выпустят. Пройдут казаки, тогда можно.

— Убьют!

— Ну, может, и не убьют, может, простят... Не пускает он вас? Другую, поди, подобрал — до баб яруч. Муж, поди, простит... Не девка... Это девке разъезды как простить, а баба выдержит. Непременно выдержит.

Просфирня стала опять говорить дочери.

Мимо окон, наматывая на колесья теплую пахучую грязь, прошел обоз. Хлопая бичом и поддерживая сползавшие с плеч винтовки, скользнули за обозом пять мужиков.

Просфирня расставила руки, точно пряча кого под них.

— Добровольцы... Сколь их погибши. Что их манит, а? Дикой народ, бежит с одной войны на другую, ни один гриб-то?..

Треснул перекатисто лугом пулемет. В деревне закричали пронзительно — должно быть, бабы. Просфирня кинулась к чашкам, к самовару. Ира сказала лениво:

— Учатся. Казаки послезавтра придут. Испугались.

— Ты откуда знаешь?

— Пимных, Никола, сказывал.

Фиоза Семеновна обошла горницу. В простенке, между геранией, тусклое зеркало. Взяло оно кусок груди, руку в цветной пахучей кофте, лицу же в нем показаться страшно.

— Солдатское есть? — спросила тоскливо Фиоза Семеновна.

Просфирня, охая и для чего-то придерживаясь стены, вошла в горницу. Долго смотрела на желтый крашеный пол.

— Какое солдатское?

— Белье там, сапоги, шинель. У всех теперь солдатское есть.

— Об нас спрашиваете, Фиоза Семеновна?

И вдруг, хлопнув ладонь о ладонь, просфирня быстро зашарила по углам:

— Есть, как же солдатскому не быть?.. от сына осталось... сичас солдатского найдем... как же... Ира, ищи!..

— Ищи, сама хочешь так. Что я тебе барахлом торговать?

Выкидывая на скамейку широкие, серого сукна, штаны, просфирня хитро ухмыльнулась:

— К мужу под солдатской амуницией пробраться хочешь?

— К мужу, — вяло ответила Фиоза Семеновна, — шинель коли найдется, куплю.

— Все найдется. Ты думаешь, солдат легче пропускают?

— Легче.

— Ну, дай бог. И то, скажешь, с германского фронта ушел; нонче много идет человека, как гриба в дождь.

Штаны пришлись впору: ноги лежали в них большими солдатскими кусками. Ворот рубахи расширили, а шинель — узка, тело из-под нее выплывало бабьим. Отпороли хлястик, затянули живот мягким ремнем — вышло.

— Хоть на германскую войну идти.

Фиоза Семеновна ощупала руки и, спустив рукава шинели до ногтей, тихо сказала:

— Режь.

— Чего еще?

— Волос режь, наголо. — И, дрогнув пальцами, взвизгнула: — Да, ну-у!..

И, так же тонко взвизгнув, вдруг заплакала Ира.

Просфирня собрала лицо в строгость, перекрестилась и, махнув ножницами, строго сказала:

— Кирилл Михеичу поклонитесь, забыл нас. Подряды, сказывают, у него объявились огромадные. Держжись!..

Приподняв смуглую прядь волос, просфирня проворно лязгнула ножницами. Прядь, вихляясь, как перо, скользнула к подолу платья. Просфирня притопнула ее ногой.

Провожали Фиозу Семеновну до ворот. Ноги у ней в большом и теплом сапоге непривычно тлели, словно

вся земля — нога. От шинели пахло сухими вениками, а голова будто обожженная — и жар и легость.

Растворяя калитку, просфирня повторила:

— Кланяйтесь Кирилл Михеичу. Вещи ваши я сохраню.

— Не надо.

В кармане шинели пальцы нащупали твердые, как гальки, хлебные крошки, сломанную спичку и стальное перышко. Фиоза Семеновна торопливо достала перышко и передала просфирне. Тогда просфирня заплакала и, поджав губы (чтобы не выпачкать слюной), стала целоваться.

А за селом, где, налево от деревянного моста, дорога свертывала к городу, Фиоза Семеновна, не взглянув туда, повернула к ферме.

Толстоногий мужик все еще сидел на бревнах, только как будто был в другой шапке.

— Сирянок нету закурить? — спросил он.

Фиоза Семеновна молча прошла мимо.

В сарае, где раньше стояли сельскохозяйственные машины, за столом, покрытым одеялом, сидел Запус. Подтянув колено к подбородку и часто стукая ребром ладони о стол, он выкрикивал со смехом:

— Кто еще не вписался?.. Кому голов не жалко, а-а?.. Головы, все? Последний день, а то без записи умирать придется, товарищщи!..

Небритое его лицо золотилось, а голос как будто осип. Так, когда солома летит с воза, такой шорох в голосе.

Защищая локтями грудь, Фиоза Семеновна шла через толпу. В новой одежде, по-новому остро входили в тело кислые мужские запахи. А может быть, это потому: казалось, схватят сейчас и стиснут груди.

С каждым шагом — резче по столу ладонь Запуса.

— Кто еще?

Увидал рядом со своей ладонью рукав шинели Фиозы Семеновны. Щелкнул пальцем — секретарю, вытянул руки, спросил торопливо:

— Еще?.. Имя как? Еще один! Товарищи!.. Тише!

— К порядку! — крикнул кто-то басом. — А ишшо Учредительно, гришь, ни надо...

Фиоза Семеновна опять схватила в кармане хлебные крошки, хотела откинуть с пальцев непомерно длинный рукав шинели и заплакала.

Запус мотнул головой, колено его ударило в чернильницу, а рука щупала козырек фуражки Фиозы Семеновны. Высокий матрос — секретарь, охватив стол руками, хохотал, а мужики шли к выходу. Запус отшвырнул фуражку и сказал секретарю:

— Фуражку новую выдать и... сапоги. — Хлопнул ладонью о стол и сказал: — В нестроевую часть назначу! Приказ есть — женщинам нельзя... а если нам блины испечешь, а?

Еще раз оглядел Фиозу Семеновну:

— Нет, в платье лучше. Собирай, Семен, бумаги, штемпеля, — блины печь. Постриглась!

VI

Под утро матрос, секретарь Топошин, кулаком в дверь разбудил Запуса. Сморкаясь и протирая глаза, сказал:

— Вечно выспаться не дают. Арестованных там привезли.

— Сколько?

— Двое. Из города ехали, говорят, жену ищут. У кордона, на елани поймали. Оружья нет. Одного-то знаю — подрядчик, а другой, грит, архитектор. Церкви какие-то строят, ничего не поймешь. Какие теперь церкви? Насчет казачьей лавы бы их давнуть, знают куда хочешь. Возможные казачьи шпионы, и вообще чикнуть их...

— Подумают, из-за жены. Допросить. В сарай. Зря нельзя.

Запус вернулся в комнату. Заголив одеяло и тонко дыша усталым телом, спала Фиоза Семеновна. Щеки у ней загорели и затвердели; крутым обвалом выходили пахучие бедра.

— Весело! — навертывая портянки, сказал Запус. И опять, как вчера, резко стуча по столу ребром ладони, одной рукой завертывая папироску, спрашивал:

— Подрядчик Качанов? Архитектор Шмуро?

Шмуро не хотел вытягиваться, но вытянулся и по-солдатски быстро ответил:

— Так точно.

И, тыкаясь в зубы отвердевшим языком, Шмуро (стараясь не употреблять иностранных слов) рассказывал о восстании в городе.

— Мобилизовали, — сказал он тихо, — я ни при чем. Мне и руку прострелили, а какой я вояка?

Сюртук под мышками Кирилл Михеича лопнул, торчала грязная вата. Разрежая бородку пальцами, он отодвинул Шмуро и, устало глядя в рот Запуса, спросил:

— Жена моя у тебя? Фиёза?

Запус поднял ладонь и через нее взглянул на свет. Плыла розовая (в пальцах) кровь, и большой палец пах женщиной. Он улыбнулся:

— А вы, Качанов, в восстанье участвовали?

Кирилл Михеич упрямо повел головой:

— Здесь жена-то или нету?..

Шмуро тоскливо вытянулся и быстро заговорил:

— Артемий Трубычев назначен комендантом города. Организован из представителей казачьего круга Комитет действий; про вас ходят самые противоречивые и необыкновенные слухи; мы же решили уйти в мирную жизнь, дабы...

— Нету, значит? — глядя в пол, сказал Кирилл Михеич.

Запус закурил папироску, погладил колено и указал конвойным:

— Можно увести. Казаки будут близко — расстреляем. Посадить их в сарай, к речке.

Солдат-конвойный зацепил в дверях полу шинели о гвоздь. Стукая винтовкой, с руганью отцепил сукно. Запус наблюдал его, а когда конвойный ушел, потянулся и зевнул:

— Я на сеновал, Семен, спать пойду. У меня баба там лежит, разбуди. Зовут ее Савицкая, она у нас добровольцем. Скажи — пусть оденется, возьмет винтовку и караулит.

— Мужа?

— Обоих. А этот караул ты сними.

Матрос Топошин сплюнул, вытер узкие губы и широко, точно нарочно, расставляя ноги, пошел.

— Ладно. — Обернулся, дернул по плечу рукой, точно срывая погон: — Это для чего?

— Песенку знаешь: «милосердия двери отверзи ми»?..

— А потом?

— Маленький я в церкви прислужничал, попу кадило подавал. Вино любил пить церковное и в алтаре курил в форточку. Запомнил. Песенку.

— Ишь...

Матрос Топошнн вышел в ограду, махнул пальцем верховым и, стукая пальцем в луку седла, сказал тихо:

— Туда к речке, в тополя валяйте. Как трое из сараев пойдут, бей насмерть.

Корявый мужичонко поддернул стремя и пискнул:

— Которого?

— Видать которы бегут, амбиция. Своих, что ли?

— Своих мы против.

В сарайчике на бочке сидели Шмуро и Кирилл Михеич. Скрестив ноги и часто вздрагивая ляжками, Шмуро крестился мелкими, как пуговка, крестиками. Губы у него высохли, не хватало слюны, и в ушах несмолкаемо звенело:

— Господи помилу... господи помилу... господи поми...

Иногда потная рука ложилась близко от подрядчика, и он отодвигался на краешек.

— Барахло-то наше поделют? — спросил Кирилл Михеич. — Все ведь теперь обще. А я белья набрал и для Фиёзы шелково платье.

Шмуро стал покачиваться всем туловищем. Бочка затрещала. Кирилл Михеич тронул его за плечо:

— Слышь, англичанка! Сломашь.

Шмуро вскочил и, вихляя коленками, отбежал в угол. Здесь рухнул на какие-то доски и заерзал:

— Госпоми... госпоми... госпо...

В сарайчике солоновато пахло рыбой. Голубоватые холодные тени, как пауки. В пиджаке было холодно. Кирилл Михеич нашел какую-то рваную кошму и накрылся.

У дверей женский сонный голос спросил:

— Не сходить?..

Другой, тверже:

— Полезут, лупи штыком в морду. Буржуи, одно! Буфера-то — чисто колеса, у-ух, нарастила! Мамонька, ишо дерется!

Сбросил, потом опять надернул кошму Кирилл Михеич. Робея, ногой подтоптал под себя скользкую глину сарайчика, — подошел к двери. С ружьем, в солдатской фуражке и шинели, она, Фиоза. Отвердели степным загаром щеки и вспухли приподнятые кверху веки.

Наклонившись, щупая пальцем щель, сказал Кирилл Михеич:

— Фиёза! Жена!..

Законным, извечным испугом вздрогнула она. Так и надо. Оттого и быть радости.

— Твое здесь дело, Фиёза?

Неумело отвела ногу в желтом солдатском сапоге; повернула ружье, как поворачивала ухватом, и неожиданно жалобно сказала:

— Сиди, Кирилл Михеич... сиди... Убью! Не вылазь лучше. — И еще жалобнее: — Владычица, богородица!.. Сиди лучше.

Ему ли не знать закона и богородицыных вздохов? На это есть другой, мужичий седой оклик:

— Фиёза, изобью! Отворяй! Я из-за тебя всю степь до бора проехал; убьют, может, из-за тебя... Васька-то твой, может, съест меня, измотает живьем, а ты чем занимаешься?! Поселок Лебяжий попалили, ни скота, ни людей...

— Не лезь, Кирилл Михеич, не лезь лучше...

И, хряпая досками, предсмертно молился Шмуро:

— Господи поми... господи по... господи поми... — Потом тише, так, как говорил когда-нибудь в кровати о пермской любви, о теплых перинах широких, как степь, хлебах, о сухой ласке, сухими мужичьими словами: — Опять ведь все так, Фиёзушка, я тебе все прощу... Никто ничего не знат, ездила в поселок и — только. Ничего не водилась, спальню окрасим... Артюшка уехал, никого, всем домом наше хождение... Комиссар-то, думаешь, тобой дорожит, так, мясо, потрется и — будет. Он и караул-то этот снял, тебя поставил — бежите, дескать; куда мне вас... Фиёзушка!

Припадочным, тягучим криком надорвалась:

— Бежите-е?.. Врешь! Врешь...

Штыком замок — на землю. Замок на земле, как тряпка. Хрястнул неловко затвор. Кирилл Михеич в угол, черная смоляная дудка дрожит на сажень от груди.

— Фиёзушка-а...

Обводя тело штыком, кричала:

— Пиши... пиши сейчас... подписку пиши... развод пиши... развожусь... Ты, сволочь!

Мягко стукнул приклад в Шмуро. Архитектор вскочил, сел на бочку и, задыхаясь, спросил:

— Вам что угодно?

На него тоже дуло. Под дулом вынул Шмуро блокнот и, наматывая рассыпающиеся буквы, написал хи-

мическим карандашом: «Развод. Я, нижеподписавшийся, крестьянин Пермской губернии, Красноуфимского уезда, села Морева, той же волости, Кирилл Михеич Качанов...»

В это время Васька Запус брился перед обломком зеркала. Секретарь, матрос Топошин, вытянув длинные ноги, плевками сгонял мух со стены. Мухи были вялые, осенние, и секретарю было скучно.

— Параллелограм... — сказал Запус, — ромб... равенство треугольников... Все на войне вышибло. Чемоданы тяжелее ваших вятских коров, Семен?

— Тяжелей.

— Пожалуй, тяжелей. Все придется с начала учить. Паралеллограм... ромб... И насчет смерти: убивать имеем право или нет? И насчет жизни...

— Насчет жизни — ерунда.

— Пожалуй, ерунда.

Топошин пальцем оттянул задымленный табаком ус. В ноздрю понесло табаком. Матрос жирно, точно из ведра, сплюнул:

— Табаку бы где-нибудь хорошего достать.

VII

Все утро, похрустывая замерзшими беловатыми комьями грязи, бродил старикашка у дверей, у наброcанных подле амбара досок. Дергал гвозди.

Спина у Кирилла Михеича ныла. Шмуро от холода накрылся доской, и доска на нем вздрагивала. Шмуро быстро говорил:

— Сена им жалко, могли бы и бросить.

— Гвозди дергат, — сказал тоскливо Кирилл Михеич.

— Кто?

— Сторож.

Шмуро скинул доску на землю, вскочил и, топая каблуками по доске, закричал:

— Я в областную думу! Я в Омский революционный комитет! К черту, угнетатели, грабители, воры! Ясно! Я свободный гражданин, я всегда против царского правительства... Это что же такое?..

— Там разбирайся.

Старик сторож постукивал молотком. Кирилл Михеич посмотрел в щель:

— Выпрямляет.

С рассвета в ограде фермы скрипели телеги, кричали мужики и командовал Запус. Телеги ушли, протянул мальчишка:

— Дядинка-а, овса надо?

Остался один старик, дергавший гвозди. Шея у старика была закутана желтым женским платком, он часто нюхал и кашлял.

— Какой нонче день-то? — крикнул ему в щель Кирилл Михеич.

Старик расправил гвоздь, посмотрел на отломанную шляпку его и сунул в штаны. Кашлянув, вяло ответил:

— Нонче? Кажись, чятверк. Подожди, в воскресенье холонисты конокрадов поймали, во вторник я поветь починял... Верно — чятверк. Тебе-то па што?

— Выпустят нас скоро?

— Вас-та? Коли не кончут, выпустят... а то в город увезут по принадлежности. Только у нас с конокрадами строго — насмерть, кончают. Не воруй, собака!.. Так и надо... Я для тебя ростил? — Он внезапно затрясся и, грозя молотком, подошел к дверям. — Я вот те по лбу жалезом... и отвечать не буду, сволочь!.. Воровать тебе?.. Поговори еще...

Кирилл Михеич устало сел на доски. Его знобило. К дверям подпрыгнул Шмуро и, размазывая слова, долго говорил старику. Было это уже в полдень, широкозадая девка принесла старику молока. Пока старик ел, Шмуро палкой разворотил щель и тоненько сказал:

— Ей-богу же, мы, дедушка, городские... Ты, возможно, девушка, слышала о подрядчике Качанове, на семнадцать церквей подряд у него...

— Городски... — протянул старик, — самый настоящий вор в городе и водится. Раз меня мир поставил, я и карауль. Мужики с казаками за землю поехали драться, а я воров выпускай; видал ты ево!

— До ветру хотя пустите.

— Ничего, валяй там, уберут.

Девка, вытянув по бедрам руки прямо как-то, заглянула в амбар.

— Пусти меня, деда, посмотрю.

— Не велено никому.

Шмуро забил кулаками в дверь.

— Пусти, дед, пусти. У меня, может быть, предсмертное желание есть, я женщине хочу его объяснить. Я понимаю женское сердце.

И, обернувшись к Кириллу Михеичу, задыхаясь, сказал:

— Единственный выход! Я на любовь возьму.

— Так тебе она ноги и расставила. Ты им лучше сапоги пообещай. Хорошие сапоги.

Старик девку в амбар не пропустил. Она взяла крынку, пошла было. Здесь Шмуро торопливо сдернул свои желтые, на пуговицах, сапоги и, просовывая голенище в щель, закричал, что дарит ей. Девка тянула сапог: голенище шло, а низ застревал. Старик, ругаясь, открыл дверь. Кирилл Михеич и Шмуро быстро вышли. Девка торопливо махнула рукой:

— Снимай другой-то.

Засунула сапоги под передник и, озираясь, ушла. Старик объяснил:

— За такие дела у нас... — Он, подмигнув, чмокнул реденькими губами. — Я только для знакомства.

— Может, мои отдать? — сказал Кирилл Михеич.

— А отдай, верна. Лучше, парень, отдай. Возьмут да и кончут, — бог их знат, какому человеку достанутся... сапоги-то ладные. Я вот гвоздь дергаю для хозяйства, тоже в цене... а тут лежит зря, гниет.

— Подводу мы в город достанем?

— Подводу? Не. Подводы все мобилизованы, в поход пошли, с пареньком этим, с Васькой-комиссаром, казаков бить. Ты уж пешком иди, коли такое счастье выпалило. Мне бы вас выпускать не надо, коли вы конокрады, тогды как, а? А я, поди, скажу — убегли, и никаких. Ты не думай, што я на сапоги позарился, — я бы и так их мог взять, очень просто. Я из жалости пустил... А потом, раз вы нужные люди, они бы вас перед походом пристрелили. Лучше вам пешком, парень. Скажу, убегли, а убьют в дороге — тоже дело не мое... Пинжаки-то вам больно надо, я пинжаков не ношу, у меня сын с хронту пришел...

— Пошли, — сказал Кирилл Михеич. — Ноги закоченели.

Сквозь холодную и твердую грязь порывами густые запахи земли — на лицо, на губы. Прошли не больше версты они, вернулись. Нога, словно кол, — не гнется. А в головах — озноб и жар.

Верно, никто в селе не дал подводы: боятся перед миром. Просфирнина дочь Ира подарила им рваные обутки брата. Просфирня, вспомнив сына, заплакала. Еще Ира принесла кипу бумаги.

— Заверните, будет ноге теплее.

— Знаю, сам в календарных листках читал: бедняки в Париже для теплоты ноги в бумагу завертывают. А когда от такой грязи плаха даже насквозь промокает — на черта мне ее?

И все-таки взял Шмуро газеты под мышку.

После теплого хлеба просфирни широки и тяжелы степные дороги. Пока был за селом лесок — осина да береза, — держалась теплота в груди; мимо — лесок, как муха, мимо — запахи осенних стволов медвяные. Под ноги — степь. За всем тем степным: бурьяном, крупнозернистым песком, мелким, как песок, зверем и, где-то далеко за сивым небом, снегами, — печаль неисцелимая, неиссякаемая, как пески. Тоска. Боль — от пальцев, от суставчиков, и дробит она о мелочи, щепочками все тело, все одеревеневшее мясо.

Шли.

Пощупал Кирилл Михеич газеты у Шмуро. И не газеты нужны бы, а человек, тепло его.

— Куда тебе ее?

— Костер разожгу.

— Из грязи? На степи человек — как чирий, увидят, убьют. Свернем лучше с дороги.

— Куда? Плутать. И-их!.. Сидели бы лучше дома, Кирилл Михеич, а то — бабу искать. Бабу вашу мужики кроют... Искатели!.. Меня тоже увязало. Никогда я вам этого простить не смогу, хотя бы отец родной были.

Кирилл Михеич, бочком расставляя ноги, шею тянул вперед. Архитектор Шмуро шел сзади и следы ног его давил своими.

— Революция бабья произошла. Баба моя от мужиков взята, к мужикам и уйдет, кончено. У бабы плоть поднялась, ушла. Каждая пойдет к своему месту, а мы будем думать — само устроилось. Ране баба шла на монету, теперь на тело пойдет... Кому против мужицкого тела конкулировать? Мужик да солдат — одно... Кончено. Старики об этом бабьем бунте говорили, я не верил.

— Предрассудок. Любовь у вас случилась.

— В Пермской губернии от крепостного права умные старики остались...

Вязкий, все дольше, длиннее след Кирилла Михеича. Раздавить его труднее, надо ногу тянуть. Со злостью тянет ногу Шмуро, размазывает.

— Как в такое время одному человеку жить — хуже запоя ведь!..

— В большевики идите, баб по карточкам давать будут.

Верхом навстречу — казак. Нос широкий — от бега ли, от радости ли — ал. Чуб из-под краснооколышной фуражки мокр от пота. От лошади тепло, и сам казак, теплый и веселый, орет:

— Матросы с казаками братуются! Ворочай назад, битва отменена, подмога не требуется... Павлодар-то под советской властью, Ваську-комиссара над всей степной армией командером выбрали... Атамана Артюшку Трубычева собственноручно в Иртыш сбросил!.. Во как, снаружи!..

Заткнул нагайку за опояску, сплюнул и поскакал.

Лег Кирилл Михеич тут же, подле дороги, в полынь, ноги скорчил, застонал:

— Господи, господи, прости меня и помилуй!

А в следы его, последние перед полынью, встал архитектор Шмуро. Злорадно посмотрел в грязную серенькую бороденку подрядчика.

— Дождался? Комиссаров тебе на квартиру принимать, женой потчивать? Из-за вас, сиволапые стервы, некультурная протоплазма, погибаем!..

Казак скакал далеко, у лесочка. Кирилл Михеич не шевелился, дышал он хрипло и быстро.

«Помирает», — подумал Шмуро, а вслух сказал:

— Вот человек хочет идти к богу, как к чему-то реальному, а я стою рядом и не верю в бога... Кирилл Михеич!

VIII

«Павлодарский вестник», газета казачьего круга, сообщила о приезде инженера Чокана Балиханова с важным поручением от Центрального правительства.

В этот же день расклеили по городу на дощатых заборах, на стенах деревянных домов списки кандидатов. В городскую думу. Рядом со списками — синяя афиша, и на ней: «Долой правительство Керенского!

Вся власть Советам!» Ниже этого — список рабочих кандидатов в городскую думу, а на первом месте:

№№ по поряд.	Имя, отчество и фамилия	Род зан. в данное время	Род зан. до революции	Местожительство в данное время
1	Василий Антонович Запус	Комиссар Рев. штаба	Матрос	Сельскохоз. ферма на уроч. Копой Пав. у Семип. об.

Полномочий от центра Чокан Балиханов не имел. Был он в голубоватой форме с множеством нашивок. Черные жесткие волосы острижены коротко, а глаза узкие и быстрые, как горные реки. Происходил он из древних киргизских родов ханов Чекменей.

Полдень. Стада в степи грызут оттаявшие травы. Глухие, осенние; они скупы, словно камень, эти травы.

Чокан Балиханов и атаман Артемий Трубычев пришли с заседания Комитета Общественной Безопасности в гостиницу. Владелец гостиницы, немец Шмидт, спросил почтительнейше:

— Из уезда слухи различные плывут, на заборах различные афиши, — пройти в вашу комнату не разрешите?

— Успокойтесь, успокойтесь,— сказал Балиханов,— катайтесь на своем иноходце. Ходу переливного иноходец... какие есть в степи кони... ах!

Так и прошел в комнаты, полусощурив длинные глаза.

Олимпиада разливала чай. Женщин Балиханов, как все азиаты, любил полных, чтобы мясо плыло, как огромное стадо с широкими и острыми запахами. Олимпиада ему не нравилась.

— Я в степь еду,— сказал Балиханов и, вспомнив, должно быть, кумыс, охватил чайное блюдечко всей рукой.

— Джатачники к большевикам переходят. Или у вас, действительно, есть поручения из центра к киргизам?

— Это казаки трусят Запуса и лгут. Я в род свой поеду, джатачников у нас немного: мы — вымрем, а революций у нас не будет.

Говорил он немножко по-книжному, жесты у него быстрые и ломкие.

— Я уехал из Петербурга потому, что русские бунтуют грязно, кроваво и однообразно. Даже убивают или из-за угла, или топят. У нас, как в старину, раздирают лошадьми...

— Лебяжий поселок Запус выжег. Я комиссию составил и прокурора из Омска вызвал.

Балиханов улыбнулся, перевернул чашку и по-киргизски поблагодарил:

— Щикур. Я в Омске о Запусе слышал. Страшно смелый человек, много... да... много...

Олимпиада вышла.

— Его женщины очень любят. Я вам по секрету: когда арестуете его, пошлите за мной. Я приеду. Я посмотрю. У нас в академии малоросс один был, я не помню фамилии его, он чудеса делал.

Атаман вдруг вспомнил, что с инженером раньше, до войны еще, они были на «ты», теперь Балиханов улыбается снисходительно, говорит ему «вы», и на руках его нет колец.

«Украдем, что ли?» — подумал атаман и сказал со злостью:

— Врут очень много. Запуса выдрать, и перестанет.

— О да. Лгут люди много. Я согласен. Я ведь крови не люблю...

— Это к чему же?

Балиханов не ответил. Улыбаясь протяжно, чуть шевеля худыми желтыми пальцами, просидел он еще с полчаса. Артюшка показал ему новую винтовку — винчестер. Киргиз похвалил, а про себя ничего не стал рассказывать. Артюшка вытащил седло, привезенное из степи,— инженер поднял брови, крепко пожал руку и ушел.

Олимпиада сказала:

— Обиделся.

— Повиляла бы перед ним больше, глядишь бы, не обиделся.

— Артемий!..

— Молчи лучше, потаскуха!

Ночью, когда Олимпиада опять повторила мужу — не отдавалась она Запусу, только поцеловала, сам же Артюшка просил выведать,— тогда атаман стал врать ей о ненормальностях Запуса; о том, что это сказал ему Балиханов. Олимпиада краснела, отворачивалась.

Атаман дергал ее за плечо, шипел в теплое ухо:

— Молчишь? Ты больше моего знаешь... молчишь! Сознайся, прощу — лучше он меня? Не врешь?..

— Пусти, Артемий, больно ведь.

Он вспоминал какой-то туманный образ, а за ним слова старой актрисы, пришедшей на днях просить пропуск из города: «Женщина отдается не из-за чувственности, а из любопытства».

— Потаскуха, потаскуха!..

Вверху, где тонкие перегородки отделяли людские страдания (не многочисленные страдания), где потели ночью в кроватях (со своей или купленной любовью), где днем было холодно (дров в городок не везли — у лесов сидел Запус), вверху жила Олимпиада.

Внизу, где в двух заплеванных комнатах толкались люди у биллиарда, где казаки из узких медных чайников пили самогон, днем гогот стоял: над самосудами, над крестьянскими приговорами, над собой, — сюда по скользкой лестнице, словно вымазанной слюной, проходила Олимпиада.

Были у ней смуглые руки (я уже о них говорил), как вечерние птицы. Платья муж приказывал носить широкие, синие, с высоким воротником. Как и о платье, так же важно упомянуть о холодной осени, о потвердевших песках и о птицах, улетающих медленно, словно неподвижно.

Над такими городками самое главное здание — тюрьма, потому — раньше здесь шли каторжные тракты на рудники, в тачки. Еще — церкви, но церкви (не так, как тюрьмы) пусты, их словно не было; они проснулись в революцию. Вкруг тюрьмы — ров с полынью, перед воротами палисадник — боярышник, тополя, шиповник.

Все это к тому, — в тюрьму казаки водили людей, мужиков из уезда; пахли мужики соломой, волосы были выцветшие, как солома. Как ворох соломы, осеннее солнце; как выцветшие ситцы, холодные облака.

И любовь Олимпиады — никому не сказанная — темна, тонка. От каждодневной лжи мужу высыхали груди (старая бабка объяснила бы, но умерла в поселке Лебяжьем); от раздумий высыхали глаза; губы — об губах ли говорить, когда подле нее весь городок спрыгнул, понесся, затарахтел?

От Пожиловской мельницы (хотя она не одна), сутулясь, бегали сговариваться с Мещанской слободки рабочие; ночью внезапно на кладбищенской церкви вскрики-

вал колокол; офицеры образовали союз защиты родины; атаман Артемий Трубычев заявил на митинге:

— Весь город спалим, большевики здесь не будут.

А внутри сухота и темень, и колокол какой-то бьет внезапно и туго. Ради горя какого ходила Олимпиада городком этим с серыми заборчиками, песками, желтым ветром из-за Иртыша?

Генеральша Саженова пожертвовала драгоценности в пользу инвалидов. На мельнице Пожиловых чуть не случился пожар; прискакали пожарные — нашли между мешков типографский станок и большевистские прокламации. Арестовали прекрасного Франца и еще двоих. Варвара Саженова поступила в сестры милосердия, братья ее — в союз защиты родины. Старик Поликарпыч забил досками ограду, ворота, сидел внутри с дробовиком и вновь купленной сукой. Атаман Трубычев увеличил штаты милиции, из казаков завели ночные объезды. Три парохода дежурили у пристаней.

И все-таки: сначала лопнули провода,— не отвечал Омск; потом ночью восстала милиция, казаки; загудели пароходы, и — на рассвете в город ворвался Запус.

Исчез Артюшка (говорили — утопил его кто-то). Утром в Народном доме заседал Совет, выбирая Революционный трибунал для суда над организаторами белогвардейского бунта.

IX

Надо было б объяснить или спросить о чем-то Олимпиаду. Пришел секретарь исполкома тов. Спитов и помешал. Бумажку какую-то подписать.

Запус — в другой рубашке только или та же, но загорела гуще, как и лицо. Задорно, срывая ладони со стола, спросил:

— Контрреволюция?.. Весело было?

Олимпиада у дверей липкими пальцами пошевелила медную ручку. Шатается, торчит из дерева наполовину выскочивший гвоздик.

— Или мне уйти?

Здесь-то и вошел тов. Спитов.

— Инженер Балиханов скрылся, товарищ. Джатачники организовали погоню в степь...

— Некогда, с погонями там... Вернуть.

— Есть.

Так же быстро, как и ладони, поднял Запус лицо. На висках розовые полоски от спанья на дерюге. В эту неделю норма быстрого сна — три часа в сутки.

— Куда пойдешь? Останься.

— Останусь. Фиоза где?

— Фиоза? После...

Здесь тоже надо бы спросить. Некогда. Мелькнуло, так, словно падающий лист: «Пишут книжки, давал читать. Ерунда. Любовь надо...» Вслух:

— Любовь...

— Что?

— Дома, дома объясню. На ключ. Отопри. У меня память твердая, остановился на старом месте... Кирилл Михеич Качанов... Товарищ Спитов!

— Есть.

— Пригласите по делу белогвардейского бунта подрядчика Качанова.

— Это — у вас домохозяин?

— Там найдете.

— Есть.

Еще мелькнули тощенькие книжки: «Кого выбирать в Учредительное собрание», «Демократическая Республика», «Почему власть должна принадлежать трудовому народу». Нарочно из угла комнаты вытащил эту пачку, тряхнул и — под стол. Колыхнулось зеленое сукно.

— Ерунда!

Дальше — делегаты от волостей, от солдат-фронтовиков, приветственные телеграммы Ленину — целая пачка.

— Соединить в одну.

— Есть.

Комиссар Василий Запус занят весь день.

Дни же здесь в городе — с того рассвета, когда ворвались в дощатые улицы,— трескучие, напитанные льдом, ветром. Шуга была — ледоход.

Под желтым яром трещали льдины. Берега пенились — словно потели от напряжения. От розоватой пены, от льдов исходили сладковатые запахи.

И не так, как в прошлые годы, — нет по берегу мещан. С пароходов, с барж, хлябая винтовкой по боку, проходили мужики и казаки. На шапках — жирные красные ленты, шаг отпущенный, разудалый, свой.

Кто-то там, между геранями, голландскими круглыми печками и множеством фотографий в альбомах и

на стенах,— все-таки надеялся, грезил о том, что ускакало в степь: сытое, теплое, спокойное. Здесь же (по делу) проходил берегом почти всегда один комиссар Запус. Пьяным ему быть для чего же? Он мог насладиться фантазией и без водки. Он и наслаждался.

Мелким, почти женским прыжком, в грязной солдатской шинели и грязной фуражке, вскакивал он на телегу, на связку канатов, на мешки с мукой, на сенокосилки и говорил, чуть-чуть заикаясь и подергивая верхней — немного припухшей — губой:

— Социальные революции совершаются во всем мире; отнятое у нас, у наших предков возвращается в один день; нет больше ни богатых, ни бедных — все равны; Россия первая впереди. Нам здесь особенно тяжело — рядом Китай, Монголия — угнетенные, порабощенные — стонут там. Разве мы не идем спасать, разве не наша обязанность помочь?

На подводах, пешком проходили городом солдаты — дальше в степь. Молча, прослушав речь, не разжимая губ, поворачивались и шли к домам.

Запус спать являлся поздно. Про бунт скоро забыли; вызывали для допроса Олимпиаду, сказала она там мало, а ночью в постели спросила Запуса:

— Ты не рассердишься?

— Что такое?

Потрогала лбом его плечо и с усилием:

— Я хочу рассказать тебе об муже...

Веки Запуса отяжелели — сам удивился и, продолжая удивляться, ответил недоумевающе:

— Не надо.

— Хорошо...

Запус становился как будто грязнее, словно эти проходившие мимо огромные толпы парода оставляли на нем пыль своих дорог. Не брился, и тонкие губы нужно было искать в рыжеватой бороде.

Если б здесь, у руки, каждую минуту не стоял рев и визг, просьбы и требования; если бы каждый день не заседал Совет депутатов; если б каждый день не нужно было в этих, редко попадавших сюда, газетах искать декреты и декреты, возможно, подумал бы Запус дольше об Олимпиаде. А то чаще всего мелькала под его руками смуглая теплота ее тела, слова, какие нельзя запоминать. Сказал мельком как-то:

— Укреплять волю необходимо...— Вспомнил что-то,

улыбнулся: — Также и читать. Социальная революция...

— Можно и не читать? — спросила задумчиво Олимпиада.

— Да, можно... Социальная революция вызвана... нет, я пообедаю лучше в исполкоме...

Фиозу так и не видала. Запус сказал — встретил ее последний раз, когда братались с казаками. Разве нашла Кирилла Михеича,— живет тогда в деревне, ждут, когда кончится. А смолчал о том, как, встретив ее тогда между возов в солдатской гимнастерке и штанах, провел ее в лес и как долго катались они по траве с хохотом. Ноги в мужских штанах у ней стали словно тверже.

Поликарпыч сидел в пимокатной, нанял какого-то солдата написать длинный список инвентаря пимокатной, вывесил список у дверей. Кто приходил, он тыкал пальцем в список:

— Принимай, становой, сдаю... Ваше!..

Была как будто еще встреча с Кириллом Михеичем. Отправилась Олимпиада купить у киргиз кизяку. И вот мелькнул, будто в киргизском купе, маленький, немножко сутулый, человечек с косой такой походкой. Испуганно втерся куда-то в сено, и, по наученью его, что ль, крикнули из-за угла мальчишки:

— За сколько фунтов куплена?.. Комиссариха-а!..

Тогда твердо, даже подымая плечо, спросила Запуса:

— Надолго я с тобой?

Запус подумал: спросила потому, что начал наконец народ выходить спокойно. Распускают по животу опояски, натянули длинные барнаульские тулупы.

Кивнул. В рыжем волосе золотом отливают его губы.

— Навсегда. Может быть.

— Нравлюсь?

— Терпеть можно.

И сразу, к одному, не забыть бы:

— Дом большой, куда нам двоим? Я вселю.

Хотела еще, — остановилась посреди комнаты, да нет, — прошла к дверям:

— Почему детей не было с Артюшкой?

— Дети, когда любят друг друга, бывают.

— Немного было бы тогда детей в мире... Порок?

— Я же объяснила...

— Э-э...

Перебирая в исполкоме бумаги с тов. Спитовым, спросил:

— Следовательно, женщины... а какое к ним отношение?

До этого тов. Спитов был инструктором внешкольного образования. Сейчас на нем был бараний полушубок, за поясом наган. Щеки от усиленной работы впали, и лоб — в поперечных морщинах. Ответил с одушевлением:

— Сколько ни упрекай пролетариат, освобождение женщины диктуется насущностью момента. Раньше предавались любви, теперь же другие социальные моменты вошли в историю человека... Стало быть, отношения...

— Если, скажем, изменила?.. Обманула?

Спитов ответил твердо:

— Простить.

— Допустим, ваша жена...

— Я холостой.

— А все-таки?

— Прощу.

С силой швырнул фуражку, потер лоб и вздохнул:

— Глубоко интересуют меня различные социальные возможности... Ведь если да шараахнем, а?..

В то же время, или позже, показалось Запусу, что надо подумать об Олимпиаде, об ее дальнейшем. Тут же ощутил он наплыв теплоты — со спины началось, перешло в грудь и, долго спустя, растаяло в ногах. Махая руками, пробежал он мимо Спитова и в сенях крикнул ему:

— А если нам республику здесь закатить? Республика... Постой! Советская республика голодной степи... Киргизская... Монгольская... Китайская... Шипка шанго?..

Широколицый солдат в зале, растопив камин, варил в котелке картошку. Тыча штыком в котелок, сказал:

— Бандисты, сказывают, в уезде вырезали шесть семей. Изголяются, тоже... Про-писать бы им.

— Прокламацию?

— Не, винтовочного чего-нибудь...

— Устроим.

Постоял на улице, подумал — к кому он испытывает злость? Артюшка, Кирилл Михеич, Шмуро — еще кто-то.

Их, конечно, нужно уничтожить, а он на них не злится. Теплота еще держалась в ногах, он быстро пошел. Вспомнил — потерял где-то шпоры. Решил — надо достать новые. Опять Кирилл Михеич — не глаза у него, а корни глаз, и тоже нет детей. Пальцы холодели — «надо достать варежки; зимы здесь»... С тех пор как выпал снег, в Павлодаре еще никого не расстреляли...

— Сантиментальности,— плюнул Запус.

И ладонью легонько три раза хлопнул себя по щеке.

Через три дня — впервые за всю войну и революцию — в Павлодаре стали выдавать населению карточки на хлеб, сахар и чай.

X

В желтом конверте из оберточной бумаги предписание: «Принять все меры к организации в уезде и городе регулярных частей Красной Армии. Инструкции дополнительно».

Дополнительно же приехали не бумажки, а инструктора-спецы и тов. Бритько. Инструктора остановились в гостинице Шмидта, в номере, где жил Артюшка. На раме у синеватых стекол сохранились рыженькие лапки мух — как-то раздавила Олимпиада. Бритько же ночевал у Запуса. Рос у Бритько по всему рябоватому лицу длинный редкий и мягкий, как на истертых овчинах, волос.

— Женаты? — спросил он Запуса.

— Не пришлось.

— А эта ходит, тонкая?

— Живет со мной. Жена Артемия...

— Атамана?

И тогда, словно на палку натягивая губы, он внезапно стал рассказывать, как его морили в ссылке, как хорошие ребята от тоски ссорились и чахли. Губы остановились. Потянулась к подбородку рука.

— Заседания посещать необходимо. В момент напряженнейшей борьбы всякое ослабление... У вас здесь люди неорганизованны... восстание за восстанием. У нас сил нет посылать к вам... Вы уже сами пытайтесь, чтобы в случае чего без пощады!

На заседании уисполкома тов. Бритько сначала заметил о дезорганизации, о халатном отношении к буржуазии и кулачеству. Вспомнил тряские дороги, тяжелую доху, отдавившую плечи; на мгновение ему стало тоскливо, как в ссылке. Он стукнул кулаком по столу и кашляя хрипло закричал:

— В единении сила, товарищи! Не спускайте победоносного красного знамени...

И вдруг забыл что-то самое важное. Сел, пощупал синюю бумагу папки, оторвал быстро кусочек ее и отшвырнул:

— Я кончил.

Дальше говорил инструктор-спец. Желтый полушубок, такой же, как у тов. Бритько, морщился в плечах, словно оттуда бились нужные слова.

А Запус сидел с краю стола, рядом с председателем Совета тов. Яковлевым. Был у того казачий (как челноки в камышах) нос, отцветшие усы и коротколалые желтые руки.

Через щели, в доски декораций врывался ветер. Стены актерской уборной выпачканы красками, исчерканы карандашами. В железную печку театральный сторож подкидывал поленья — осины. «Осиновая изба не греет»,— вспомнил Запус.

Слушали: организация в уезде Красной Армии. Постановили: принять все меры. Избрать комиссаром и руководителем начальника революционных отрядов тов. Василия Запуса.

А в проходике между кулисами, где толпились делегаты, задевая шинелями и тулупами картоны декораций, — предусовдепа тов. Яковлев сказал:

— Мы, дорогой мой, с фактами все, с фактами. А факты за революцию и за товарища Запуса. Ты хоть что мне говори, тем не менее...

Запус глубже на уши шапку, поднимая саблю:

— Каждый отвечает за себя...

— Мне инструктор говорит: в момент напряжения... а я ему: мало у нас баб перешло по рукам, да коли каждой опасаться... Однако, дорогой мой, атаман-то удрал и инженер Балиханов с ним. А?

Протянул ему короткопалую руку и тихо. приблизив к щеке пахнущие табаком усы, шепнул:

— Ты ее не щупал насчет прибывания?..

— Спрашивал.

— Не говорит? Где ей сказать, своя буржуазная... я ихнюю подлую мысль под землей вижу. Может тебя подвести, товарищ?..

У дверей Народного дома, где снега трепали синие свои гривы, Запуса одернули.

— Товарищ Василий Антоныч... Товарищ...

Видит: на подбородке весенним снегом — чуть грязноватым и синим — бородка. Поверх грязной, дурно пахнущей шинели — полушубок. Собачьего меха шапка по уши, а Запус все ж его узнал.

— Гражданин Качанов, вы на допросе были об организации восстания? Если...

— Я совсем не про жену, я по делу мести... Мое мнение, товарищ Василий Антоныч, самый главный виновник всего злодейства Артюшка... и Олимпиада тут ни при чем, пущай живет с кем хочет. Я ради жены убийству подвергся, подряды и имущество потерял...

И, отведя Запуса за фонарь, к сугробу, толкаясь валенком, туманно и длинно стал рассказывать о заговоре в городе. Живет Кирилл Михеич в мещанском домике на окраине и там же прячется в кладовке «меж капустой» — Артюшка, у него все планы, все нужное и списки. Пахло от него самогоном.

Идя улицей, вслед за Кирилл Михеичем, подумал Запус, что, пожалуй, лучше бы арестовать подрядчика и передать его в Чека. Пусть разбираются, а зачем он Запусу? Здесь, даже не думая, а так как-то позади, прошло неудовольствие, высказанное инструктором из центра и предусовдепа Яковлевым: зачем живет с Олимпиадой. Нет, лучше самому раскрыть заговор и привести Артюшку. Злясь недолго, подумал он о смуглом желтоватом лице атамана, захотелось увидать его напуганным, непременно со сна, чтоб одна щека была еще в следах — от капусты, что ли?

— А, сволочь, — сказал он вслух.

— По поводу чего? — спросил Кирилл Михеич.

Запус не просил вести, и Кирилл Михеич не звал, а оба они, сгорбившись, скользя по снегу, торопливо шагали к окраине. Еще Запус подумал: «Надо бы позвать с собой матроса Топошина», — и вспомнил: зачем-то вернулся тот на ферму Сохтуй. Позвать с собой можно было бы многих, хоть бы из своего отряда.

— Сам!

Кирилл Михеич, запыхаясь, сказал:

— В хорошем хозяйстве все сам делаешь. Трудное...

Спросил Запус, бьет ли жену Кирилл Михеич. Тот ответил — так как Запус не живет с ней и жить не намерен.

— Не намерен,— подтвердил Запус.

— ...то, конечно, можно сказать по совести — бил и, если найдет ее вновь, бить будет. Казачья у ней кровь. Возможно, из-за битья она ушла, все же в суд жаловаться не пойдет, и если вернется — значит, подтверждение: жену бить надо. Олимпиаду муж тоже бил, и всегда так бывает: второй муж битьем не занимается. Таков и Запус.

— Второй муж?

— Кому какое счастье, Василий Антоныч. Я на вас не сержусь... Будьте хоть завтра вы подрядчиком на весь уезд.

Квартал не доходя, Кирилл Михеич затянул полы полушубка. Запус тоже вспомнил незастегнутый ворот шинели, застегнул было, а потом, улыбнувшись, распустил. Темно, ветрено. Дома — как сугробы, дым над ними — как снег на гребнях сугробов. Улыбки его Кириллу Михеичу не видно, Запус улыбнулся еще раз, для себя. В кистях рук заныли теплые жилы.

— Собак у них нету, Василий Антоныч. Шашку-то подымите, она на снегу не гремит, а здесь, оказывается, пол... Шум произойдет.

Старуха какая-то открыла дверь. Тотчас же ушла. Должно быть, привыкла к незнакомым. Подрядчик взял руку Запуса, выпрямил и повел ею:

— Там... в кладовой... направо... через два мешка перешагнуть... спит... ведь час времени?

— Десять.

— Зачем орешь?.. Сей сикунд огня принесу. И ключ от...

Ушел и дверь в избу припер плотно.

Запус подождал, опять выпрямил руку так, как ее выпрямлял подрядчик, и опустил. В дверь кто-то поскребся: «Мышь... нет, мыши в дверь не скребутся... значит, кошка». Запахло капустой: кисло и тепло. Запах становился все гуще и гуще. Еще шорох. За ним вслед мысль, что здесь ловушка, заговор. Никто Кирилла Михеича раньше в городе не видел, и Чека его не смогла найти. Отступил Запус к стене, нащупал вдруг отяжелевший револьвер и радостно вспомнил, что в револь-

вере шесть уверенных в себе пуль. Вытащил, чуть приподнял, так Кирилл Михеич сейчас выпрямлял его руку.

Тогда он, сразу приподымаясь на цыпочки, решил пройти в кладовую и, если там нет никого, бежать, пока еще не пришли.

Он, с трудом сгибая замерзшую подошву, ощупывая стену пальцами, прошел к тесовой двери. Быстро дернул скобу: замок был плоский и холодный, так что примерзали пальцы. Тогда он накрыл скобу и замок полой шинели. Завернув узлом шинель на саблю, дернул. Укололи пальцы свежие щепы. К запаху капусты примешался запах картошки и человеческой мочи.

«Здесь...»— подумал он быстро.

Он шагнул два раза — наверное, через мешки: кочковатое и скользкое. Дальше; он не понимал, что должно быть дальше, но явственно почувствовал человеческое дыхание. Дышали торопливо, даже капала слюна: трусит. Запус вытянул руки, сабля глухо стукнула о мешки. Тот, другой, совсем близко неразборчиво пробормотал:

— Кыш!.. орп!.. анне!..

Тогда Запус сжал кулак, поднял револьвер выше, шагнул и негромко сказал:

— Арестую.

Человек на капусте метнулся, взвизгнул. Капуста — у ней такой скользкий скрип — покатилась Запусу под ноги. Запус, держа револьвер на отлете, бросился на того, другого. В грудь Запуса толкнулись и тотчас же вяло подломились чужие руки. Подумалось: ножа нет, стрелять тому поздно. Здесь человек ударил коленом между ног Запуса. Револьвер выпал. Освободившимися и вдруг потвердевшими руками Запус охватил шею того, другого, Артюшки, атамана... С револьвером вместе выскользнула всякая уверенность и необходимость ареста. Запус наклонился совсем к лицу, хотел плюнуть ему — огромный сгусток слюны, заполнивший рот, но не хватило сил. Вся сила ушла в сцепившиеся пальцы и на скользкие потные жилы длинной, необычайно длинной шеи. Словно все тело — одна огромная шея, которую нужно стянуть, сжать, пока не ослабнет.

— Жену!.. жену тебе бить!.. бить!..

И когда уже пальцы Запуса подошли к подбородку, шея ослабла. Пальцы попали на мелкие и теплые зубы. Запус отнял от человека руки и, перегибаясь через его

тело, нащупал свой револьвер. Хотел всунуть его в кобуру и не мог. Он достал из кармана шинели спички. Зажег. Всунул револьвер. Спичка потухла. Он зажег новую, руку над ней сделал фонариком и поднес ее к подбородку. Бритый рот, светловатые брови, коротенькие, и мокрый нос. По бровям вспомнил («бреет» — рассказывала Олимпиада) — Шмуро, архитектор.

— О, че-ерт! — И он сдавил спичку так, что обжег ладонь. Сжал ее и кинул в лицо, в темноту уже. — Сволочь!..

Потом быстро достал еще несколько, поднял над головой, зажег. Капуста, три кадочки, рваная одежонка и сундук. Еще на рваном одеялишке Шмуро с длинной измятой шеей.

Тогда Запус, гремя саблей и не вынимая револьвера, прошел через сени (он сразу почему-то вспомнил дорогу) в избу.

— Архитектора-то нету? — спросил Кирилл Михеич. — Идет?..

Запус расстегнул кобуру, к рукоятке как-то прилип снег. Он сковырнул его и, кладя револьвер на стол, спросил:

— Артюшка где?

— Артюшки здесь не было, Василий Антоныч. Я его не почитаю и боюсь. Разве я с ним стану жить?.. Я же подрядчик, меня же военную службу по отсрочке... Выпить, с тоски — выпил! Бикметжанов хозяин тоже был раньше, бардак держал, из него девки к тебе на пароход ездили... Бикметжанов говорит мне: я, говорит, кровь купеческая, острая; хочу с отчаянным человеком пить; зови, говорит, сюда Запуса, Василия Антоныча-то, мол, друга...

Он отодвинул дуло револьвера на край стола и, царапая пальцами бородку, хмельно, туманно, рассмеялся:

— Запуса-то, могу!.. Пошел сначала к Олимпиаде, а та говорит: на заседании; я в Народный дом... А Шмуро трусит, на картошке, на капусте сидит... Мне Запус что, я с Запусом самогон желаю пить!

— Шмуро был любовником?

— Чьим?

— Фиёзы?

— Фиёзки-то? а я знаю?.. У ней любовников не было, у ней мужья были. Ты мне вот что скажи, пуганул ты Шмуро?.. Здорово?..

Он, наклонившись, рыгая, достал из-под стола четверть самогона. Тощая старуха принесла синеватые стаканы.

— Надоел он мне... на картошку и ходит!.. Шмуро-о!..

Бикметжанов, азиат, был в русской поддевке и лаковых сапогах. Глубже, в комнате на сундуке, прикрытом стеганым одеялом, лежала раскрашенная девка. Бикметжанов улыбнулся Запусу и сказал:

— Не подумайте, я теперь — раз закона нет — ни-ни... Это у меня дочь, Вера. Вера, поздоровайся с гостем...

Вера, выпячивая груди и качаясь, медленно прошла к столу.

Запус всунул револьвер и, отворачиваясь от Веры, сказал в лицо Бикметжанову:

— Я вашего гостя в кладовой кончил.

Бикметжанов отставил стакан, отрезвленный выпрямился и вышел. Старуха ушла за ним. Вера подвинула табурет и, облокачиваясь на стол, спросила:

— А на войне страшно? — В сенях завизжали. Визг этот как-то мутно отдался внутри Запуса. Вера отодвинулась и лениво сказала:

— Господи, опять беспокойство.

Впопыхах, опять опьяневший, вбежал Бикметжанов и, тряся кулаками, закричал на Кирилл Михеича. Сквозь пьяную липкую кожу глянули на Запуса хитрые глазенки — пермские. Скрылись. Кирилл Михеич расплеснул по столу руки и промычал, словно нарочно длинно:

— Я-я... при-и!.. они-и!.. меж со-обой... Я здесь!..

Тогда Бикметжанов отдернул четверть с самогоном. Пред Запусом, совсем у шинели, метнулось лицо его и крик:

— Господин... господин матрос!.. господин комиссар!.. Ведь я же под приют свой дом отдал, малолетних детей! Добровольно от своего рукомесла отказался! У меня же в Русско-Азиатском банке на текущем счету, вам ведь все досталось!.. — И тут ломая буквы: — Нэ губи, нэ губи душу!.. скажи — сам убил, собственноручно... Мнэ же!.. э-эх!.. — И еще ниже к уху, шепотом: — Девку надо, устрою?.. Ты не думай, это не дочь, despite?.. ширма есть, поставлю... отвернемся... девка с норовом и совсем чистый... а?..

И Вера тоже шепотом:

— Матросик, душка, идем!

Бикметжанов из стола выхватил тетрадку.

— Собственноручно напиши: убил и за все отвечаю. Зачем тебе порядочного человека губить?.. Я на суде скажу: в пьяном виде. А сюда напиши, не поверят. Я скажу — пьяный. Вот те бог, скажу: в пьяном виде. И девка подтвердит. Вера?..

— Вот тебе крест, матросик.

Запус поднял (легкое очень) перо. Чернила мазали и брызгали. Он написал: «Шмуро убил я. За все отвечаю. Василий Запус». Налил два стакана самогона, сплюнул липкую влагу, заполнившую весь рот, выпил один за другим. Придерживая саблю, вышел.

В сенях уже толпились мещане, Кирилл Михеич спал, чуть задевая серенькой бородкой синюю звонкую четверть самогона.

XI

Встретила Олимпиада Запуса тихо. Подумал тот: «Так же встречала мужа...»

Озлился, она сказала:

— Кирилл Михеич приходил, хотела в милицию послать, чтобы арестовали его, не посмела... а если важное что?

Она широко открыла глаза.

— А если бы я к Артюшке пришел, ты бы тоже в милицию послала, чтобы меня арестовали?

— Зачем ты так... Вася? Ты же знаешь...

— Ничего я не знаю. Зачем мне из-за вас людей убивать? — Но здесь злость прошла. Он улыбнулся и сказал:

— На фронте. Окопы брали, с винтовкой бежал, наткнулся — старикашка мирный как-то попал. Руки кверху поднял и кричит, одно слово, должно быть, по-русски знал: «Мирнай... мирнай»... А я его приколол. Не судили же меня за это?

— Неправда это... Ну, зачем ты на себя так...

— Насквозь!

— Неправда!

— Так и Шмуро...

— Чаю хочешь?

— Кто же после водки чай пьет.

Она наклонилась и понюхала:

— Нельзя, Вася, пить.

— И пить нельзя, и с тобой жить нельзя...

— Я уйду, хочешь?

— Во имя чего мне пить нельзя, а жить и давить можно? Монголия, Китай, Желтое море!..

Он подскочил к карте и, стуча кулаком в стену, прокричал:

— Сюда... слева направо... Тут по картам, по черточкам. Как надо идти прямо к горлу! Вот. Поучение, обучение!

Он протянул руку, чтоб сдернуть карту, но, оглянувшись на Олимпиаду, отошел. Сел на диван, положил ногу на ногу. Веселая, похожая на его золотистый хохолок, усмешка — смеялась. Сидел он в шинели, сабля тускло блестела у сапога — отпотела. Олимпиаде было холодно, вышла она в одной кофточке, комнаты топили плохо.

— Где же Кирилл Михеич? — спросила она тихо.

— Убил. Его и Шмуро, в одну могилу. Обрадовалась? Комиссар струсил, крови пожалел! Ого-о!.. Рано!

Он красным карандашом по всей карте Азии начертил красную звезду, положил карандаш, скинул шинель и лег.

— И оттого, что убил одного, с тобой не спать? Раскаяние и грусть? Ого! Ложись.

— Сейчас,— сказала Олимпиада,— я подушку принесу из спальни.

Бывало, каждый вторник и пятницу за кладбищенской церковью на площади продавали сено. Возы были пушистые и пахучие, киргизы, завернутые в овчины, любили подолгу торговаться. Из степи с озер везли соль — называлась она экибастукская. Верблюдов гнали, тяжелокурдючных овец. Мясо продавалось по три копейки фунт, а сало курдючное — по двадцать. В степь увозили «Цейлонские» и «№ 42» чаи — крепкие, пахучие, степных трав, оттого-то, должно быть, любили их киргизы. Везли ситцы, цветные, как степные озера или как табуны; полосатые фаевые кафтаны; бархат на шапки и серебро в косы.

Бывало, торговали этим казаки и татары. Губы у них были толстые и, наверное, пахучие. По вечерам

они сидели на завалинках, ели арбузы и дыни и рассказывали о сумасшедшем приискателе Дерове, о конях, о конских бегах и о борцах. (Однажды приехал сюда цирк с борцами. В цирк ехали киргизы со всей степи дарить борцам баранов.)

Обо всем ушедшем — горевали (и не мне рассказать и понять это горе, я о другом), обо всем ушедшем — плакали казаки. Что ж?

Радость моя — золотистохохлый Запус. Смуглощекая Олимпиада, большевики с мельницы, с поселков новоселов и казаков. Степи, лога — в травах и снегах,— о них скажу, что знаю потому, что в меру свершили они зла и счастья себе и другим и в меру любовь им моя!

Говорили мещане в продовольственной лавке, когда пошла Олимпиада получать по карточке:

— Поди, комиссар твой возами возит провьянты... Вон товарищи-то на мельнице Пожиловской всю муку поделили.

— Житье!

Молчала Олимпиада. Если бы отошла от мужа к другому, к офицеру, хотя — поднять эту тяжесть ей легко и просто. Помогли бы. Здесь же, кроме Запуса, который и к кровати приходил редко (все спал в Совете), нужно было в сердце впустить и тех, что отобрали мельницы, кирпичные заводы, постройки, дома, погоны и жалованье, людей, прислуживавших раньше. И когда думала о Запусе, свершалось это вхождение тепло и радостно.

Саженовых встретила как-то на окраине. Мать спросила ее:

— Кирилл Михеич сидит?

— Да, арестован.

— Отнесу хоть ему передачу. Кто о нем позаботится!

Оттянула в сторону длинную темную юбку и сердито ушла.

Протоиерей Митров, вместо расстрелянного о. Степана, мимо Олимпиады, гневно сложив на груди руки и опустив глаза, проходил.

А у ней тугое и острое полыхало сердце. Хотелось стоять молчаливо под бранью, под насмешками, чтоб

вечером, засыпая, находить в ответ смешные и колкие слова и хохотать.

Например:

— Большевики бабами меняются...

— Тебя бы на дню десять раз меняли.

Однажды Запус сказал ей, что укому нужен заведующий информационным отделом — ее могут взять туда. Олимпиада пошла.

XII

Шмуро схоронили Саженовы. Гроб везла коротконогая киргизская лошаденка. Варвара и мать ее, генеральша, плакали не о Шмуро, а об арестованных братьях. Арестованные же сидели в подвалах белых базарных магазинов.

В Народном доме, на сцене, где заседал Совет, к декорациям гвоздиками прибили привезенные из Омска плакаты.

На эти плакаты смотрел Запус, когда тов. Яковлев, предусовдепа, говорил ему:

— Признаете ли вы виновным себя, товарищ Запус, что в ночь на семнадцатое декабря, в доме Бикметжанова, будучи в нетрезвом виде, убили скрывавшегося от революционного суда архитектора Шмуро?

Смотрел на розовое веселое лицо Запуса предусовдепа тов. Яковлев, и было ему обидно: в день заседания об организации армии революционной напился, дрался и убил.

— Убил,— ответил Запус.

— Признаете ли вы, товарищ Запус, что, по показаниям гражданина Качанова Кирилла, в уезде самовольно приговорили его к смерти и занимались реквизициями без санкции штаба?

Поглядел опять Запус на плакат: огромную руку огромный рабочий тянул через колючие проволоки, через трупы другому рабочему в клетчатой кепке. Подумал о Кирилле Михеиче: «Наврал»,— а вслух:

— Сволочь!

Еще радостнее вспомнил, наполненный розовой тишиной, Олимпиаду, ее легкие и упругие шаги. Сдвинул шапку на ухо, ответил звонко:

— Признаю. Если это вредно революционному народу, раскаиваюсь.

Яковлев свернул из махорки папироску. Ему было неприятно повторять мысли (хотя и по-другому), сказанные сегодня эсэром, городским учителем, Отчерчи. Он оглядел членов Совета и сказал хмуро:

— Садитесь, товарищ Запус.

Закурил, погасил спичку о рукав своего полушубка и начал говорить. Сначала он сказал о непрекращающихся белогвардейских волнениях, о революционном долге, об обязанностях защитников власти Советов. Дальше: об агитации над трупом Шмуро. Эсэры положили ему на гроб венок с надписью: «Борцу за Учредительное собрание»; о резолюции лазарета с требованием удаления военкома Запуса; о неправильно приговоренном подрядчике Качанове, который заявил, что арестован был по личным счетам: Запусом увезена жена Качанова, Фиёза Семеновна...

— Курва,— сказал весело Запус. — Вот курва!

— Прошу выслушать.

Говорил, качая лохматыми (полушубок был грязен и рван) плечами, опять о революционном долге, о темных слухах, о необходимости постановки самого важного для республики дела — организации Красной Армии — руками надежными. Предложил резолюцию: отстранить Запуса от должности военкома, начатое дело, из уважения к революционным его заслугам, прекратить.

Табурет под Запусом хлябал. За окнами трещали досками заборов снега. Запус думал о крепко решенном: выгонят, зачем же говорят? И оттого, должно быть, не находилось слов таких, какие говорил всегда на подобных собраниях. Крепким и веселым жаром наполнялось тело, и когда, выпячивая грудь, инструктор из Омска, тов. Бритько, взял слово в его защиту, Запусу стало совсем жарко. Он расстегнул шинель, закрывая ею выпачканный красками табурет, достал мандат, выданный Советом, сказал:

— У меня все с добра. Грешен. Бабы меня любят, а мужья нет. В центр не отправите? Я отряд могу организовать...

Бритько подумал: «Хитрит»,— надписал на мандате: «Счит. недействит. Инстр. Бритько»,— вслух же:

— Всякая анархическая организация отрядов прекращена. Мы боремся против анархии посредством Красной Армии и подчинения в безусловности центру периферий...

— А вы в Китай меня пустите?

Бритько встал и высоким тенором проговорил:

— Революционный народ умеет ценить заслуги, товарищ Запус. Однако же говорю вам: не время организовывать единичную борьбу... Пролетариат Китая сам выйдет на широкую дорогу борьбы за социализм...

— Разевай рот пошире!..

— Тише, товарищ Запус!

Встал, надавил на табурет. Пополам. Еще раз и резко, сбивая щепки, отнес табурет к железной печи. Все молчали. Тогда Яковлев кивнул сторожу, тот сложил доски от табурета в печь.

— Смолистый! — сказал тенорком Бритько.

Запус посмотрел на его отмороженную щеку. Вспомнил его ссылку и вяло улыбнулся.

— Извиняюсь, товарищи!.. Сидеть мне перед вами не на чем. Пока пролетариат Китая организуется и подарит товарищу Бритько табуретов... Сейчас... Я стоя скажу...

Он оглянулся и, вдруг надевая шапку, пошел.

— Впрочем, я ничего не имею.

Яковлев узкими казачьими глазками посмотрел ему вслед. Не то обрадовался, не то сгоревал. Сказал же тихо:

— Обидели парня.

Тов. Бритько, очень довольный организующейся массой (он так подумал), проговорил веско и звонко:

— Эпоха авантюров окончена. Конспиративная мерка неуместна, мы должны беспокоиться за всю революцию. Переходим к следующему...

Дорога обледенела. У какого-то длинного палисадника Запус поскользнулся и упал. Под ноги подвернулась сабля. Он сорвал ее вместе с ремнями и, матерно ругаясь, ударил ею о столб. Ножны долго не разрывались.

А через час вернулся, собрал при свете спички осколки и в мешке принес домой. Мешок, перевязанный бечевкой, спрятал в чемодан. Чемодан же швырнул в кладовую. Накрылся тулупом и заснул на диване.

В спальне тихо — так горит свеча — плакала Олимпиада.

Матрос Егорко Топошин принес бумажку от Павлодарского укома об исключении из партии с.-д. большевиков комиссара Василия Запуса.

Бумажку приняла Олимпиада, а Запус лежал в кабинете и стрелял в стену из револьвера. Вместо мишени на гвоздик он прикреплял найденные в письменном столе Кирилла Михеича порнографические открытки. Простреленные открытки валялись по полу. От каждого выстрела покрывались они пылью, щебнем.

— В себя не запустит? — спросил Егорко.

Олимпиада молчаливо посмотрела в пол.

Егорко, словно нарочно раскачиваясь, пошел.

— Парень опытный, опустошит патронташ и уедет. Не жизнь, а орлянка... Ракообразные!

Расстреляв патроны, Запус не уехал.

Запус обошел комнаты. Для того чтобы обойти, узнать и запомнить на всю жизнь четыре комнаты, нужна неделя; если делать это быстро — четыре дня. Запусу для чего торопиться? Он запомнил ясно: где, какая и почему стоит мебель, где оцарапаны стены — человеком или кошкой. Отчего в зале замерзает, настегивая синий лед, окно. Как нужно ходить, когда злишься, и как, когда сыт: в одном случае мебель попадает под ноги, в другом она бежит мимо.

Запус обошел ограду. В холодной пимокатной спал Поликарпыч. Запус сыграл с ним в карты и обыграл. Старик молчал и почему-то все посматривал на его руки.

— Кирилла Михеича выпустили,— сообщил Запус.

Старик закашлял, замахал руками:

— Не надо мне его... пущай не приходит... ничего я не перепрятывал!

Запус не стал расспрашивать и согласился быстро:

— Смолчу.

— Ты гони... гони его!.. какие они бережители!..

— Выгнать мне теперь ничего не стоит.

— Разве так берегут!.. Так?

Запус скоро ушел от него. В пимокатной пахло плохо. «Умрет,— подумал Запус,— чего-нибудь отслужить хочет...»

Хотел сказать Олимпиаде и забыл.

Инструктор из Омска тов. Бритько уехал.

В ограду (из степи, должно быть) забегали лохматые мордой, тощие собаки. Запус долго смотрел, как скреблись они на помойке и, когда он махал рукой, они далеко отпрыгивали. Тогда он жалел: «Растранжирил патроны».

Сугробы подымались выше заборов. В шинели становилось холодно. Олимпиада принесла толстое пальто на сером меху.

— Артюшкино?

— Зачем тебе знать?

— Надену не потому, что от твоего мужа, а потому, что бежавший буржуй. Он мне на пароход контрибуцию не приносил? Вместо...

В шубе было тепло. Он положил в карманы руки и стал говорить протяжно:

— Через десять лет революции, Олимпиада, люди в России будут говорить другим языком, чем сейчас. Как газеты... У меня много времени, и я привыкаю философствовать... Они будут воевать, а я научусь говорить, как профессор...

Олимпиада заговорила об упарткоме. Запуса вспоминают часто, и дело его будет пересмотрено в Омске. Уныло отозвался:

— До пересмотров им!.. Они буржуев ловят. Газеты принесла?

Он унес газеты. Читать их не стал, а взял нож и обрезал бобровый воротник у шубы. Достал в кухне сала, вымазал воротник и отнес на помойку. Тощие собаки, рыча и скребя снег, вцепились. Прибежал Поликарпыч и, размахивая поленом, отнял огрызки воротника.

— Берегешь! — крикнул Запус.

— Грабитель!.. Во-ор!..

Старик махал поленом.

Ночью Запус зажег фонарь, взял лом и пошел по пригонам, по амбарам, погребам. Стучал ломом в мерзлую землю, откидывал лом и высоко кричал Поликарпычу:

— Здесь?

Поликарпыч стоял позади его, заложил руки за спину. Лицо у него было сонное, в седых бровях торчала сероватая шерсть. Он кашлял, егозил лицом и притворно смеялся:

— И чо затеял!

— Найду! Клад ваш найду,— кричал Запус.

Уже совсем светало. Поликарпыч засыпал стоя, просыпаясь от звяканья брошенного лома. А не уходил. Запус с силой вбил лом и сказал:

— Здесь, старик!

Поликарпыч отступил, шоркнул пим о пим.

— Копай, посмотрю.

— Через пятьдесят лет, батя, все твои спрятанные сокровища ни черта не потянут. Через пятьдесят лет у каждого автомобиль, моторная лодка и прожектор. Сейчас же с этим барахлом распростись. Во имя будущего... Возможно ведь, из этого я бабе какой-нибудь штаны теплые выдам, а она нам Аристотеля родит... в благодарность. Прямая выгода мне потрудиться.

— Вот и копай.

— Тебе прямая выгода после этого умереть. Не уберег и вались колбаской! Преимущество социальных катастроф состоит в уничтожении быстрейшем и вернейшем всякой дряни и нечисти.

Он внезапно откинул прочь топор. Поднимая лом, сказал, отходя:

— Брошу. Не верю я в клады и не к чему их! Я сколько кладов выкопал, а еще ни одного не пропил. Прямая выгода мне — не копать... пулю в самое сердце чтоб, и на сороковом разе не промахнуться, пули так пускать — тоже клад большой... а говорят, не надо, миноги!

Он вышел и со свистом швырнул лом в помойную яму. Воя, побежали в снега тощие псы.

Поликарпыч выровнял изрубленную, изломанную землю. Закидал соломой изорванное место. Пошел.

— Балда-а!.. Всю ночь...

Запус говорил с Олимпиадой. Запус говорил с ней о муже ее, о ее любовниках.

Как всегда, она не любила мужа, и любовников у нее не было. Она умела тихо и прекрасно лгать. Запус говорил:

— Я начну скоро говорить стихами... На фронте я умел материться лучше всех. Зачем тебе мои матерки, когда ты не веришь, что я мог убивать людей! Убивать научиться так же легко, как и материться! Революция полюбила детей... Почему у тебя не было ребенка?

— Он не хотел...

Она не всегда говорила одно и то же. Она иногда путалась. Запус не поправлял ее. Запус лежал на диване. Олимпиада ходила в валенках и, когда ложилась рядом, долго не могла согреться. У ней были свои обиды, маленькие, женские, она любила их повторять, обиды,

причиненные мужем и теми другими, с которыми «она ничего не имела»...

Запус думал. Запус скоро привык слушать ее и думать о другом. Казаки, например. Станицы в песках, берега Иртыша, тощие глины и камни. Сначала у станиц мчались по бакчам, топтали арбузы, а потом по улицам топтали казачьи головы. Длинные трещащие фургоны в степи — это уже бегство к новоселам. У новоселов мазанки, как на Украине, и дома у немцев, как в Германии. Запус все это миновал в треске пулеметов, в скрипе и вое фургонов и в пыльном топоте коней. Здесь Запус начинал думать о собаках — бегут они тощие, облепленные снегом, длинными вереницами по улицам. Зеленоватые тени уносят ветер из-под лап. А они бегут, бегут, заполняют улицы.

— Мечтатели насыщаются созерцанием... — прочитал он в отрывном календаре. Календарь сжег.

Рано утром Олимпиада кипятила кофе (из овса). Запус пил. Олимпиада шла на службу в уком.

Снега подымались выше постройки Кирилла Михеича. На заносимые кирпичи стройки смотрел Запус злорадно.

Примечателен был этот день.

Хотя такие же голубовато-розовые снега нажимали на город, хотя также ушла Олимпиада — разве голубовато-розовые были у нее губы и особенно упруги руки, обнявшие на ненадолго шею (ей не нравились длинные поцелуи),— но, просыпаясь, Запус ощутил — медвяно натужились жилы. Он сжал кулак и познал («это» долго сбиралось из пылинок, так сбирается вихрь), что он, Василий Запус, необходим и весел миру, утверждается в звании необходимости человеческой любви, которую брал так обильно во все дни и которой как будто нет сейчас. Он вновь ощутил радость и, поеживаясь, пробежал в кухню.

Он забыл умыться. Он поднял полотенце. Холст был грязен и груб, и это даже обрадовало его. Он торопливо подумал об Олимпиаде: розовой теплотой огустело сердце. Он подумал еще (все это продолжалось недолго: мысли и перекрещивающиеся с ними струи теплоты) и вдруг бросился в кабинет. Перекувыркнулся на диване, ударил каблуками в стену и закричал:

— Возьму вас, стервы, возьму!..

Здесь пришел Егорко Топошин.

Был на нем полушубок из козьего меха и длинные, выше колен, валенки. Матросскую шапочку он перевязал шарфом, чтоб закрыть уши.

— Спишь?

— Сплю,— ответил Запус,— за вас отсыпаюсь.

— У нас, браток, Перу и Мексика. От такой жизни кила в мозгах...

Он пощупал лежащий на столе наган.

— Патроны высадил?

— Подсыпь.

— Могем. Душа — дым?

— Живу.

— Думал, урвешь. Тут снег выше неба. Она?

— Все.

— Крой. Ночь сегодня пуста?

— Как бумага.

— Угу!

— Куда?

— Облава.

Топошин закурил, сдернул шарф. Уши у него были маленькие и розовые. Запус захохотал.

— Чего? Над нами?

— Так! Вспомнил.

— Угу! Над нами зря. Народу, коммуны мало. Своих скребу. Идешь?

— Сейчас?

— Зайду. «Подсудимый, слово принадлежит вам. Слушаю, господин прокурор...»

Полновесно харкнув, он ушел.

Запус, покусывая щепочку, вышел (зимой чуть ли не впервые) на улицу.

Базар занесло снегом. Мальчишки батожками играли в глызки.

Запусу нужно было Олимпиаду. Он скоро вернулся домой.

Ее не было. Он ушел с Топошиным, не видав ее. Ключ оставил над дверью — на косяке.

Шло их четверо. Топошин отрывисто, словно харкая, говорил о настроении в уезде — он недавно объезжал волости и поселки.

Искали оружия и подозрительных лиц (получены были сведения, что в Павлодаре скрываются бежавшие из Омска казачьи офицеры).

К облавам Запус привык. Знал: надо напускать строгости, иначе никуда не пустят. И теперь, входя в дом, морщил лицо, ладонь левую держал на кобуре. Все ж брови срывала неустанная радость, и ее, что ли, заметил какой-то чиновник (отнимали дробовик).

— Изволили вернуться, товарищ Запус? — спросил, длинным чиновничьим жестом расправляя руки.

— Вернулся,— ответил Запус и, улыбаясь широко, унес дробовик.

Но вот в киргизской мазанке, где стены-плетни облеплены глиной, где печь, а в ней — в пазу — круглый огромный котел-казан. В мазанке этой, пропахшей кислыми овчинами, кожей и киргизским сыром-курт, нашел Запус Кирилла Михеича и жену его Фиозу Семеновну.

Кирилл Михеич встретил их, не здороваясь. Не спрашивая мандата, провел их к сундуку подле печи.

— Здесь все,— сказал тускло. — Осматривайте.

Плечи у него отступили как-то назад. Киргизский кафтан на нем был грязен, засален и пах псиной. Один нос не зарос сероватым волосом (Запус вспомнил пимокатную). Запус сказал:

— Поликарпыч болен.

Кирилл Михеич не посмотрел на него. Застя ладонью огарок, он, сутулясь и дрожа челюстью, шел за Топошиным.

Топошин указал на печь:

— Здесь?

— Жена, Фиёза Семеновна... Я же показывал документы.

Топошин вспрыгнул на скамью. Пахнуло на него жаром старого накала кирпичей и распаренным женским телом. За воротами уже повел он ошалело руками, сказал протяжно:

— О-объем!.. Ну-у!..

Опустив за ушедшими крюк, Кирилл Михеич поставил светец на стол, закрыл сундук и поднялся на печь. Медленно намотав на руку женину косу, он потянул ее с печи. Фиоза Семеновна, покорно сгибая огромные зыбкие груди, наклонилась к нему близко.

— Молись,— взвизгнул Кирилл Михеич.

Тогда Фиоза Семеновна встала пухлыми голыми коленями на мерзлый пол. Кирилл Михеич, дернув с силой волосы, опустил. Дрожа, пнул ее в бок тонкой ступней.

— Молись!

Фиоза Семеновна молилась. Потом она, тяжело прижимая руку к сердцу, упала перед Кириллом Михеичем в земном поклоне. Задыхаясь, она сказала:

— Прости!

Кирилл Михеич поцеловал ее в лоб и сказал:

— Бог простил!.. Бог простит!.. Спаси и помилуй!..

И немного спустя, охая, стеня, задыхаясь, задевая ногами стены, сбивая рвань, ласкал муж жену свою, и она его также.

Это все о том же дне, примечательном для Запуса не потому, что встретил Фиозу Семеновну (он думал, она погибла), что важно и хорошо — не обернула она с печи и лица, что зыбкое и огромное тело ее не падало куда-то внутрь Запуса (как раньше), чтобы поднять кровь и, растопляя жилы, понести всего его... — Запусу примечателен день был другим.

Снега темны и широки.

Ветер порыжелый в небе.

Запус подходил к сеням. От сеней к нему Олимпиада.

— Я тебя здесь ждала... ты где был?

— Облава. Обыск...

— Арестовали?

— Сам арестовывал.

— Приняли? Опять?

— Никто и никуда. Я один.

— Со мной!..

Запус про себя ответил: «С тобой».

Запус взял ее за плечи, легонько пошевелил и, быстро облизывая свои губы, проговорил:

— За мной они скоро придут. Они уже пришли один раз, сегодня... Я им нужен. Я же им необходим. Они ку-убические... я другой. Развить веревку мальчику можно, тебе, а свивать чтоб крепко — мастер, мастеровой, как называются — бечевочники?.. Как?

— Они пролетарии, а ты не знаешь, как веревочники зовутся.

— Я комиссар. Я — чтоб крепко!.. Для них, может быть, глупость лучше. Она медленнее, невзыскательнее и покорна. Я...

— А если не придут? Сам?..

— Сами...

— Сами, сладенький!

Этот день был примечателен тем, что Запус, наполненный розовой медвяной радостью, с силой, неразрешимой для него самого, сказал Олимпиаде слово, расслышанное ею, нащупанное ею — всем живым — до истоков зарождения человека.

— Любовь? — спросила Олимпиада.

— Пущай.

Но в следующие дни и дальше Запуса не звали.

XIII

Атаман Артемий Трубычев четыре дня, прикрыв текинским ковром кривые, обутые в огромные байпаки ноги, лежал в юрте хана Чокана Балиханова.

В фиолетовых отцветах весенней пыли, в запахах молодой травы шли, цокая копытцами, бараны, низкорослые, с волчьим глазом лошади, широконоздрые — в кулак — быки. Выцветшая за зиму шерсть их — как бороды солдат.

Атамана тошнило от жирного запаха стад, и он не мог понять, что находит здесь инженер Балиханов, с утра до вечера скачущий между стад. Седло его пропахло прадедовским потом, халат неловко висит на узких плечах.

Иль радуют узкие тропы меж стад? Не потому ль широки у Чокана в седле взмахи его тела? Хана Чокана Балиханова кумысом и жирными баранами-курдюками угощают в юртах киргизы.

Чокан в степи не был больше пятнадцати лет. В Лондоне он служил у фирмы «Стинберг и К^0», он привык к пружинным постелям, он курил трубку и обижался, когда смеялись над его плохим выговором.

Здесь его тошнит с жирного мяса, и от кумыса пучит живот.

Одни бывают довольны стадами, другие женой — думает атаман.

Чокан Балиханов привел к атаману офицера-поляка. Длинное и тусклое, как сабля, лицо. Одни погоны вывез в степь поручик Ян Налецкий.

Был он в крестьянском армяке и оленьих пимах. От стыда за одежду особенно выпячивалась гулкая грудь.

— Имею доложить. Прожил три недели, скрываясь в Павлодаре и окрестностях... при обыске по кварталу видел Запуса.

Балиханов рассмеялся. Смехом он мстит за болтающийся ханский халат: «Халат у него как в сметане седло»,— сказал как-то атаман солдатскую шутку.

— Да... Документы признали сомнительными, арестовали... какие огромные и глубокие сугробы в городе, атаман. Я устал...

— Конечно, конечно.

Балиханов потряс халатом.

— Здесь вы поправитесь, видите, какие обильные одежды. Будете сыты, я вас по гостям возить буду. Я хан.

Ян Налецкий:

— Господа офицеры...

Конечно, конечно, о чем думать — Яну Налецкому будет дана одежда и обувь, Ян Налецкий со слезами показывает погоны.

Об Яне Налецком говорится, потому что трое суток спустя в степь приехали из Омска бежавшие генералы. Они жаловались на русских и просили Чокана организовать киргиз для восстания. На первый раз было бы хорошо взять Павлодар. Ян Налецкий сообщил: чехи и поляки заняли Казань и всю Волгу, казаки в прииртышских станицах готовы, выкапывают пулеметы и смазывают их маслом.

— Соленым? — спросил Чокан.

Ян Налецкий козырнул и хрипло ответил:

— Соль разъедает сталь, господин хан.

Тогда Чокан стал настаивать:

— Завяжите связь с уральскими казаками.

Генералы сказали Яну Налецкому:

— Вы едете через степь, к семиреченским и дальше уральским казакам.

— Слушаюсь.

По тропам, пахнущим выцветшей шерстью стад, Чокан Балиханов водил Налецкого и атамана. Чокан говорил о том, как степь влияет на его душу, атаману же казалось, что он врет и просто подыскивает слова, дабы оправдаться в трусости.

— Все мы бежали, Чокан...

У Налецкого неприятно топорщились широкие прозрачные уши. Атаман думал: этот тоже трусит.

— Я исполняю ваше приказание, господа офицеры, я еду по степям, не зная ни слова по-киргизски, сар-

товски... У меня довольно престарелая мать в Томске, я же еду в противоположную сторону.

Чокан сбивался с тропы, быстро выскакивал откуда-то сбоку.

Плечи у него острые, злые.

— Вы едете от аула к аулу...

Он вспомнил какой-то бульварный роман и напыщенно проговорил:

— Хотите, я дам вам мой перстень?

Поляк неожиданно обрадовался и потряс ему руку. Чокан оттягивает губы:

— Я хан.

Он сбрасывает малахай, трясет, визгливо смеясь, синей бритой головой.

— Атаман скучает, не то поехал бы через степь он. Определенно с радостью. Атаман колоссальный герой, и мы чтим за это его. Но ему очень хочется возвратиться в Павлодар,— мы доставим ему это удовольствие. Какую роль исполняет там Запус и заметили ли вы какую-нибудь внутреннюю целость в большевиках?.. Как они относятся к культуре?.. Если вам хочется в Томск, обратитесь к атаману, я же могу пустить вас по аулам, я только хан.

Атаман морщится, хан, сгорбившись и тряся малахаем, бежит к своей юрте.

Он нелеп, и ему стыдно за себя. На нем дурацкий пестрый халат, и он повелитель полудикого племени, около двухсот лет не видавшего ханов. Племенем Огюн-орды, ответвлением Алаша — великой киргизской орды, правили русские чиновники через биев — волостных старейшин.

Теперь чиновников нет, и бии выбрали род Балихановых, остатки ханов Чекменей, потомственными ханами.

Атаман Трубычев присутствовал на совещании генералов, бежавших из Омска. Накатанные старые слова говорили генералы.

Чокан неожиданно начал хвастаться своими стадами и стратегией киргизских кавалерийских войн. Атаман тоскливо смотрел на его скрипучее смуглое горло. Похоже было, что по доске тащили просмоленную сухую веревку. Дерево сухое и тоже скрипит.

Зачем бежали генералы?

Трое казаков, скрывшихся с атаманом в степи, не отдают им чести.

Канавы у дорог наполнены желтыми (пахнущими грибом) назьмами. Плотно они стояли в глазах атамана, может быть, потому, что по ним, неумело гикая, несся хан, а за ним, втыкая животы в луки седел, генералы.

Ночью как-то, напившись кумысу, они говорили о киргизских девочках. «Твердое мясцо»,— сказал один из них.

Генералы разрабатывали план наступления на Омск. Атамана Трубычева на разработку не пригласили.

Тогда атаман уехал в другой аул.

Нелепые чиновники засели в юрту ханов из рода Чекменей. Почтово-телеграфист из английского насаждения разыгрывает хана. Акцизные чиновники перерядились генералами.

Кем ряжен атаман?

— Сволочи,— кричал Артемий Трубычев,— перестрелять.

Из станиц к аулу стягивались казаки.

XIV

Дни Запуса и Олимпиады.

Матрос Егорко Топошин влетел в ограду на таратайке.

Трещала плетеная ива под его толстыми, как столетние ивовые стволы, ногами.

Плетенье коробка оседало рыхло, мешком на дроги.

Орет:

— Вась!.. давай сюды.

И нарочно, что ль, Запус сидел, свесив ноги с крыши сеновала?

Над золотисто-розовым (слегка веснушчатым) лбом выкинуло, трепало ветром — теплым, веселым — горсть сена, ковыль желтовато-белесый, маслянистый.

Кого Запусу кормить этим сеном?

Егорко Топошин смотрит на его руки.

— Ва-ась!.. Ревштаб, конечно... да иди ты, стерва, вниз. Ва-ась!.. Атаманы под городом, Трубычев там, генералье казаков ведет, растуды их... Я им, в штабе, заявил на общем собранье — пленум? Конешно... При сюда Ваську.

— А в партию?

— Вся наша партия на небо пойдет. Бритько говорит: Омск взят чехами, а коли не взят — откуда, кто поможет? Там разберемся, коли прогоним. Не прогоним — каки у тебя ни востры жилы на шеях-то, а шашка крепче казачья...

— Крепче. Мне что...

— Понес?

— Есть.

И, когда Егорко полез опять разрушать таратайку, Запус, мотая руками, крикнул:

— А прогоним, возьмут?

— В партию-то?

— Ну!

— По-моему, с комфортом... Они заелись, ну и выперли.

Еще:

— Они послали?

В воротах по кирпичам, словно грохочет бревно:

— Кто?..

— Ревштаб, кикимора!

— Не-е... это я са-ам, Ва-ась... Не ломайсь!.. «Революци-и... прегра-ады, не зна-ако-мы!..» Крой гвоздем!

Олимпиада помнила такие же дни, когда у пароходных пристаней метался «Андрей Первозванный», а Запус жег казачьи поселки. Такое же, как и в прошлом году, сероватое, горькое, как полынь, над степью небо.

Сердце, что ль, старится, — болит крепче и выходит наружу сухими алыми пятнами.

Олимпиада шла в уком. Стук пишущих машинок — словно прутом сухим вести по плетню. Закрыть глаза — и машинка как длинный звонкий прут. В бревенчатых стенах Народного дома, среди плакатов, похожих на ситцы, Запус и другие, о которых не думала Олимпиада.

И вот часами из этих бревенчатых стен они и Запус вырывались наружу, кого-то убивали и, возвращаясь обратно, совсем не становились спокойнее.

История взятия казаками Павлодара в восемнадцатом году будет историей Олимпиады, так как Запус через кровь и трупы видел ее мокрые — словно все из воды — смуглокожие глаза; над серым пеплом пожарищ головни тлели, сосали грудь, как ее косы.

Чубастые (с носами, как челноки в камышах) казаки, заменившие было шинели домоткаными бешметами, — их было немного, едва ли сотня, и не потому

ль особенно яростно гнали они в степь коней и яростно умирали (один всунул руку в рот киргиза и вырвал челюсть).

Сопели бревенчатые улицы конскими глотками.

Загораживая нужную мещанам жизнь, мчались, тихо звеня железом, краснобантные.

Пустовали церкви.

В собор, в простреленные окна, влетали и гикали под кирпичными сводами твердозобые голуби.

Слушая перестрелку, думал о них протоиерей о. Палладий: «Сожрут просфоры и причастье».

Лебеда в этот год подымалась почти синяя, выше человека, а лопух толст был, как лепешка, и широк (под ним любили спать собаки).

Мимо синей лебеды тяжело ходить мещанам, а ходить нужно — мобилизованы рыть окопы.

А Кириллу Михеичу сказали:

— Сиди... стариков приказано отстранить.

И потому ль, что мчащиеся всадники, тряся весело бантами, загораживали нужную жизнь, или что не взяли работать окопы, Кирилл Михеич поздно ночью пришел в свой дом.

В кабинете, где раньше на широком столе раскладывал он планы семнадцати церквей, стоял самовар, и Запус, показывая выложенную золотым волосом грудь, пил чай.

Слышал Кирилл Михеич голос Олимпиады, а матрос Егорко грохотал под потолками хохотом.

— Живут, — сказал Кирилл Михеич и перекрестился.

А Поликарпыч, растянув по жесткой шее густую, как валенок, бороду, лежал на верстаке. Усы у него потемнели, вошли в рот.

Он повернул лицо к сыну и, схаркивая густую слюну, протянул:

— Че-ево?..

Кирилл Михеич подставил табурет к верстаку и, наклоняясь к его бороде, сказал:

— Воду и то покупать приходится: за водой идти не хочут даром, большие деньги надо... Палят.

Старик повел по шее бородой.

— Палят?

— Палят, батя... Фиёза-то меня послала, говорит: «Ступай, скажи...»

Поликарпыч открыл дурно пахнущий рот и улыбнулся:

— Ишь, антирисуется!..

— Бате-то, сказывают, плохо. Потом война, убить ни за что ни про что могут. Ты имущество-то перерыл?

— Нет, оставлю на старом!.. Жди! Тебе-то куда, ты-то хранишь ево? Я ево храню, мое... я и знаю где...

— Тут насчет еды, батя... Исть нечево, воду — и ту за большие деньги. Муки на день осталось три фунта...

— Ну, это многа-а!.. Хватит...

— Ты, ради бога, скажи мне... нельзя одному знать такие места... не дай бог...

Старик, оплевывая бороду, дрыгая и стуча коленями, заговорил:

— Бережители, бережители вы! Куды от своего места побежал?.. жрать захотел, вернулся?.. Выкопать, выкопать тебе, указать? Я сам, иди к хрену, я тутока все места знаю... вы ранее меня все передохнете...

— Фиёза-то худеет, батя, бытто вода тело-то стекает. До смерти ведешь?

Поликарпыч, ерзая по верстаку, плевался:

— Пуппу! ппу!.. Солдатскими хлебами откормилась, на солдатском спала — стекашь?.. Теки, черт-те драл, теки! Мне што?.. Я-то сберегу!..

И целую ночь до утра Кирилл Михеич сидел подле отца в пимокатной. Отец засыпал, пел в нос визгливо частушки. Один раз заговорил о Пермской губернии, тогда Кирилл Михеич вспомнил: надо взять спящего за руку и он все расскажет. Кирилл Михеич взял потный с мягким ногтем палец и тихо спросил: «Куды перекопал?» Старик открыл глаза, поглядев в потолок, попросил пить.

А на третий день, когда нос Поликарпыча резко и желто, как щепа, выступил из щек, Кирилл Михеич, тряся его за плечи, крестясь одной рукой, закричал:

— Батя, батя!.. Сгниет все... Куды спрятал?

Тут старик потянулся, сонно шевельнул бородой и, внезапно подмигнув, сказал молодым тенорком:

— Взял? Что?..

И, не открывая больше рта, к вечеру умер.

О похоронах его Запус сказал Егорке Топошину так:

— Там у меня во флигеле старикашка отвердел...

от тифа, должно быть... Направить его в общую обывательскую могилу.

— Есть, — ответил Топошин.

А Кирилл Михеич отца провожать не пошел: противилась и плакала Фиоза. Олимпиада же секретарствовала на заседании укома партии.

Генеральша Саженова провожала Поликарпыча. А когда завалили яму, нашла она на кладбище пустое место, посидела, поплакала на травке, а потом принесла лопату и, басом шепча молитвы, рыла могилу. В ревком же подала ходатайство: «В случае смерти схоронить ее и дочь Варвару в вырытой собственноручно могиле из уважения к заслугам родины, оказанным генералом Саженовым». В могилу эту генеральше лечь не удалось, а закопали в нее после взятия Павлодара жену председателя Совета тов. Яковлева, Наталью Власьевну. Была она беременна, и на допросе ее заспорил Чокан Балиханов с атаманом Трубычевым: мальчик или девочка — будет большевик? «Девочка», — говорил Чокан. И у Натальи Власьевны, живой, распороли живот. Девочку и мать зарыли в генеральскую могилу, а труп тов. Яковлева, с отрезанными ушами, кинули подле, на траву, и лежал он здесь, пока не протух.

XV

Когда в Народный дом прискакал нарочный и донес, что казаки в пригороде, в джатаках, предусовета тов. Яковлев приказал Запусу:

— Берите командование, надо прорываться через казаков к новоселам, в степь.

— Есть.

Яковлев широкой, с короткими пальцами, рукой мял декорации.

В зрительном зале сваливали в кучи винтовки.

В гардеробной какой-то раненый казак рубил топором выдернутую из шкафа боярскую бархатную шубу.

Запус улыбался в окно.

— Вы понимаете, товарищ Запус, ценность защиты завоеваний революции? Если б происходила обыкновенная война...

Улыбка Запуса перешла и скрылась в его волосах.

— Видите ли, товарищ Яковлев...

— В обыкновенной войне вы могли бы считаться со своими обидами... огорчениями.

— Я совсем не об... — Он заикнулся, улыбнулся трудно выговариваемому слову. — Об обидах... у меня есть, может быть, сантиментальное желание... Черт, это, конечно, смешно... вы потом это сделаете... а я хотел бы сейчас... с зачислением стажа...

— В партию?

Яковлев тиснул ему руку, толкнул слегка в плечо:

— Ничего. Мы зачислим... с прежним стажем...

— До — Шмуро?..

— До всего прочего.

Запус откинул саблю, пошел было, но вернулся.

— Ну, закурить дайте, товарищ Яковлев...

Олимпиаде же сказал в сенях:

— Взяли...

— Куда?

— В партию.

Запус и Егорко Топошин скакали к окопам подле ветряных мельниц.

Олимпиада прошла в кабинет председателя укома, вставила в машинку кусок белого коленкора. Печать укома она искала долго — секретарь завернул печать в обертку осьмушки махорки. Она сдула влипшие меж резиновых букв — «У Комитет Р. К. П. (б-в)» — крошки табаку, оглянулась. В пустой комнате сильно пахло чернилами. В углу кто-то разбил четверть. Она сильно надавила печатью на коленкор и подписала: «Ал. Яковлев», а где секретарь — «Смолин».

Теперь короткая история смерти.

Запус быстро, слегка заикаясь, говорит о своем включении в партию. У мельниц голос его заглушается перестрелкой.

По пескам, из степи, часто пригибаясь, бегут казаки — к мельницам.

Крылья мельниц белые, пахнут мукой, — так, мгновение, думает Запус.

Тогда в плечах подле шеи его тепловато и приторно знобит.

Запусу знакомо это чувство; при появлении его нужно кричать.

Но окружающие его закричали вперед — всегда в такое время голоса казались ему необычайно громкими, ему почему-то нужно было их пересилить.

Казаки, киргизы — ближе.

Бегство всегда начинается не с места убийств, а раньше.

Для Запуса оно началось в Народном доме два дня назад, когда неожиданно в саду стали находить подбрасываемые винтовки: кто-то куда-то бежал, и страшно было то, что не знали, кто бежит.

Донесения отрядов были: «Все благополучно, кашевары не успевают варить пищу». А пищу ели лошади: они одни стояли спокойно.

Запус в седле.

Колени его трутся, давят их крупы нелепо скачущих коней, словно кони все ранены.

Казаки рубят саблями кумачовые банты, и разрезанное кровянисто-жирное мясо, как бант.

Запуса тошнит; он, махая и тыча маузером, пробивается через толпу. Его не пускают; лошадь Запуса тычется в крыло мельницы.

Между досок забора и ближе, по бревнам, он видит усатые казачьи лица. На фуражках их белые ленты.

Запус в доски разряжает маузер.

Запус выбивает пинком дверь (может быть, она была уже выбита).

Запус в сенях.

Здесь в сенях, одетая в пестрый киргизский бешмет, встречает его Олимпиада. Запуса почему-то удивляют ее руки — они спокойно и твердо распахивают дверь в горницу. Да! Руки его дрожат, рассыпая патроны маузера.

— Кабала! — крикнул Запус. Но он все же доволен, он вставил патроны. Когда патроны вставлены, револьвер будто делается легче.

И, наверное, это отвечает Олимпиада:

— Кабала.

И, точно вспомнив что-то, Запус быстро возвращается в сени.

Олимпиада молчаливо ждет.

Казаки остервенело рубят лошадь Запуса.

Егорко Топошин бежит мелкими шажками; выпуская патроны, Запус ложится возле бочки с капустой в сенях.

«Курвы», — хрипит Егорко. На крыльце два казака тычут ему в шею саблями. «Какая мягкая шея», — думает Запус, затворяя засов; Егорко не успел вбежать в сени, но с его живота сострелил Запус киргиза.

— В лоб! — кричит Запус и, вспоминая Егорку. — Курва!..

Левая рука у него свисает, он никак не может набрать патронов. Олимпиада топором рубит окно. Ему необычайно тепло и приятно.

Топор веселый и звонкий, как стекло.

Запуса втаскивают на подоконник.

Он прыгает: прыжок длится бесконечно — его даже тошнит, и от необыкновенно быстрого падения загорается кожа.

Олимпиада через прогоны волочит Запуса к дрожкам.

Олимпиада гонит дрожки. Запус всунут под облучок. Подол платья Олимпиады в крови Запуса. И от запаха крови, что ль, неистово мчится лошадь. Казаки продолжают стрелять в избу.

Олимпиада смеется: какой дурак там остался, в кого они стреляют?

Дрожки какого-то киргизского бея. Но уже подушка бея, вышитая шелком, в крови Запуса. Колеса, тонкий обод их вязнет в песке. Перестрелка у тюрьмы, у казарм. Город пуст. Лошадь фыркает на трупы у заборов. Жара. Трупы легли у заборов, а не среди улиц.

Олимпиада скачет, где спокойнее. У пристаней белые холмы экибастукской соли. Пароходы все под белыми флагами. Мимо пароходов, вдоль пристаней, гонит Олимпиада. Хорошо, что ременные вожжи крепки. Перестрелка ближе. От каланчи под яр дрожки с Запусом.

Воды неподвижные, темно-желтые, жаркие. В седом блеске Иртыш.

Моторный катер у берега. К носу прибит длинный сосновый шест и от него полотенце — белый флаг. Трое матросов, спустив босые ноги в воду, закидывают головы вверх на яр. Считают залпы.

Олимпиада не помнит этих лиц. Лошадь входит в воду и жадно пьет. Олимпиада берет на руки Запуса.

— Дайте трап, товарищи, — кричит она.

Средний, приземистый, темнолобый подбирает ноги и, грозя кулаком, орет с матерками:

— Что, не видишь, сука? Сдались!.. Иди ты... с хахалем своим... Привезла!

— Под убийство нас подводит!

— В воду его, пущай пьет!

— Любил...

Веснушки на пожелтевшем лбу Запуса крупнее. Кофточка — от его крови — присыхает к рукам. Держать его Олимпиаде тяжело, и она идет по воде, к лодке.

Матросы мечутся, матерятся. У низенького острые, неприятные локти.

— Он же раненый, товарищи!..

— Серый волк тебе товарищ, стерва!

— Да-ай ей!.. Все мы ранены.

Олимпиада с Запусом в воде по пояс. Вода смывает кровь с его рук, и они словно становятся тоньше.

Матросы трогают борта, они плюются в воду навстречу шагающей Олимпиаде. Они устали воевать, им хочется покоя, к тому же вся Сибирь занята чехами.

Вода выше. Весь Запус в воде. Золотые его волосы мокры — или от воды, или от плача, от ее слез.

Олимпиада идет, идет.

Подбородок Запуса в воде. Она подымает голову его выше, и вода подымается выше.

Она идет.

И она кричит, вскидывает руку. Голова его скрывается под водой:

— За вас ведь он, товарищи-и!..

Здесь лодка гукает.

Поворачивается боком.

Темнолобый матрос расстегивает для чего-то ворот рубахи, склоняется с борта и вдруг хватает Запуса за волосы.

— Тяни!

И все матросы обрадованно в голос кричат:

— Тяни, Гриньша-а!..

Неистово гукая, лодка несется по Иртышу. Темнолобый матрос срывает шест и белым полотенцем перетягивает простреленное плечо Запуса. Рот матроса мокрый, и стыдливо гнется кожа на висках. Он говорит Олимпиаде:

— За такое дело нас кончат, барышня... понимаешь? Нам надо было его представить по начальству, раз мы сдались... мы, что зря белый флаг вывесили? Ладно, нас не видят... а как из пулемета по нам начнут? Пуля-то у него не разрывная?

— Не знаю, — говорит Олимпиада.

Матрос смущенно щупает у ней платье.

— Ширстяное, высохнет скоро...

Лодка — налево через Иртыш, к Трем Островам. Потом, мимо островов, пугая уток, протоками, среди камышей.

Лодка — в пахнущий водорослями ил берега.

Матросы выпрыгивают, переносят Запуса, кладут его на шинель. Жмут Олимпиаде руку. Из лодки уже кидают на берег буханку хлеба.

И в протоке темнолобый матрос Гриньша лезет в свой мешок, вынимает полотенце и, матерясь, прибивает его к шесту.

XVI

Земным веселым шорохом наполнены камыши.

Утро же холодное и одинокое.

Олимпиада не разводила костра.

Где-то близко у камышей скачут кони, — может, табуны, может, казаки. Черемуха за камышами — черные, страшные у ней стволы.

Дальше черемухи не шла Олимпиада.

Револьвер — браунинг. Один за другим шесть раз. На шестерых. А здесь двое.

Шинель пропиталась илом. Запус замерз, бредил.

Тогда Олимпиада вышла за черемуху.

Меж колей травы испачканы и пахнут дегтем.

Запус бредил.

Олимпиада шла колеями.

Страшен запах дегтя — он близок: человек.

Со злостью срывала Олимпиада замазанные дегтем стебли.

Но дорога длинна, и кожа ее рук нужна другому.

Олимпиада услышала стук колес.

Он был грузный и медленный.

Нет, так хотелось.

Он был быстрый и легкий.

Олимпиада зашла в черемуховый куст.

Она была темна, как ствол черемухи, — спала на иле и не хотела умываться, потому что тогда словно слипались для нее дни — творился и мучился один день.

Олимпиада — в черемуховом кусте.

По дороге быстро и легко — таратайка. Круглощекий розовый мещанин осторожно правит лошадью.

Дни ее — неумытые, темные — длились, как один; в этот день она почти через весь город промчалась по распоротому человеческому мясу, — почти мужским стал ее голос, когда она крикнула веселому мещанину:

— Слазь!..

А мещанин внезапно убрал щеки, лицо его состарилось, и словно выпали брови.

Олимпиада указала револьвером на лошадь.

Мещанин навернул вожжу на оглоблю, чтоб конь не бежал.

Тогда Олимпиада увела его через черемуху в камыши.

Одной рукой она придерживала голову Запуса, другой — револьвер, направленный в голову мещанина.

Мещанин положил Запуса в тележку, снял свое пальто, накрыл им Запуса и спросил:

— В город, к парому повезете?

— К парому...

— Действительно, паром теперь в действии, переправляет.

И он торопливо, обрадованно пошел в камыши принести шинель Запуса.

А когда он, запыхавшись, наклонился над шинелью, Олимпиада выстрелила ему в шею.

Липкая теплая тина на руках Олимпиады.

Мещанин тяжел и неповоротлив, как тина.

Хотела накрыть его землей — ни лопаты, ни топора, и Запус ждет. Кинула.

Выпачканные дегтем травы зашипели о колеса тележки.

Лошадь под чужой рукой стремилась напуганно.

Как плетни, туго завиты степные дороги в ковыле, в логах.

Дороги тонкие, как прутья.

Олимпиаду встречали позади деревень, ночами. Приходила больше молодежь, и долго шепотом, словно передавая другое совсем, рассказывали истинные степные тропы, куда не попадают казаки.

Павлодар молчит.

Куда везет Олимпиада Запуса?

Каждый указывал свою дорогу. Ни одна из них не вела обратно.

Запус беспамятствовал. Тележка трясла, выбивая его кровь.

Нигде не хотели Запуса, везде указывали дороги дальше, вперед.

Олимпиада — в киргизских аулах.

Олимпиада показывает беям — аульным старшинам — бумаги: она, жена, везет лечить на Горькие Озера раненого мужа своего офицера Артемия Трубычева.

У Олимпиады револьвер, огромная жирная печать на бумаге, — беи дают лошадей.

Мимо киргиз и часто вместе идет война... Мало ли мчится офицеров?

Если эта тонконогая женщина хочет везти быстрее других, — она жена.

Беи угощают ее иримчиком и айраном и расспрашивают о павлодарском восстании.

Чем глубже, тем тише степные дороги. Колеи словно выложены войлоком.

Запус лежит на овчинах.

Возница-киргизенок поет самокладку: «Ээыый... желтоголовый офицер... голова у него словно из масла... а глаз не видать, как в песках воды... Я везу его быстро — так коршун тащит птицу; тонкая женщина сидит рядом, у ней маленькое ружье, меньше ладони, и громкий рот...»

Ян Налецкий встретил Олимпиаду в ауле Иык-Тау. Ян Налецкий не торопился ехать в Аик — он ел у беев баранов, пил кумыс.

Ему жаль только — нет чистого белья, тогда б он позволил себе отдохнуть дольше. Все равно уральские казаки не восстанут, да и кого теперь убедят бумажки, написанные генералами?

Так он и сказал Олимпиаде:

— Наши женщины, в Польше, похожи на вас, сударыня...

Налецкий стыдливо скрывает в длинных рукавах бешмета грязные руки.

Говорит он много, шипяще и нараспев:

— Изволите везти мужа?

— Да...

Ян Налецкий наигранно всплескивает руками:

— Как прекрасны русские женщины! В гражданскую войну, когда на дорогах ежеминутно попадаются шайки, когда мне, представителю правительства, часто не дают лошадей... О, великий русский народ!

Они показывают свои бумаги бею.

Низенькие, как грибы, столики.

Медные куганы с длинными, как лебединая шея, носками.

Розовое солнце на темно-желтых ногтях бея.

Олимпиада переводит по-киргизски слова Налецкого:

— Я представитель сибирского правительства... еду по срочному поручению в Аик... Ян Станиславович Налецкий, поручик... прошу не задерживать и отправить меня в первую очередь.

Он осторожно берет бумаги Олимпиады и опять наигранно плещет:

— Атаман Трубычев! О, мати боска, доблестнейший человек, герой!.. Атаман нездоров?

Олимпиада быстро сует бумаги в карман. Листья теплые, влажные.

У ней на плечах маленькая черная накидка, подбитая голубым сатином.

Она спускает накидку на грудь и еще ею прикрывает бумаги.

— Вы слышали о нем?

— Великий человек! Вся Сибирь знает! Мне ли не слышать об атамане Трубычеве?..

Он жмет ее руку.

— Мало, мало я знаком с ним! Ведь он меня и отправил...

Ян Налецкий закидывает узкое лицо. Хохот у него длинный и глухой:

— Но ведь он будет бешено смеяться!.. Он почти догнал меня и теперь имеет право сделать мне выговор за растянутое движение... Разрешите...

— Он ранен.

— А-а-а... — Налецкий плещется, тянется, стонет. — Какое-е несчастье... а...

— Вы его увидите, когда он проснется.

Олимпиада говорит по-киргизски бею:

— Генерал желает ехать со мной в одной подводе. Дайте пару... Ямщиков не надо, из следующего аула лошадей вам вернут. Генерал правит сам...

Бей напуган, бей боится потерять лошадей. Но генерала он боится еще больше. Он сам бежит из юрты выбрать лошадей похуже.

— Что с ним? — спрашивает Налецкий.

В юрте они одни.

Дни Павлодара кончились, начались дни степи.

Нужно часто прикасаться к голове Запуса, менять повязки.

Ей тяжело поднимать револьвер, и на Яна Налецкого нет злости.

А говорить приходится громко и напыщенно, и от этого подымается злоба:

— Я везу не атамана Трубычева, не мужа... Запуса везу! Сейчас я велела запречь лошадей, без ямщика... вы сядете править... Если вы не согласны, я вас пристрелю...

Она отходит к дверям, чтоб не выронить револьвера. Ян Налецкий без оружия, и он говорит:

— Разве я буду стрелять в женщину?.. Нелепо! Глупо!..

Ян Налецкий сидит на облучке. Шея у него длинная, длиннее лица.

Лошадьми он правит хорошо.

Олимпиада велит ему не оборачиваться. Когда он спрашивает, он наклоняет голову.

Сначала он вежлив, а затем визгливо тянет:

— Куда вы меня везете? Мне в другую сторону ехать!..

К вечеру он решает покорить ее любовью.

Он рассказывает о своих победах, о том, что его никто не любил.

Любовь такое великое чувство: однажды на фронте ему отдалась девушка, девственница.

— Она отдалась накануне сражения: меня могли убить. Это такое счастье! Больше я ее не мог найти!.. Она пожалела меня.

Олимпиада думает: что с ним делать ночью. Она устала, ей хочется спать.

Запус бредит, его приходится часто поить.

Голова его у ее колена. Меняя повязку — Яна Налецкого она отгоняет в степь.

Олимпиада связывает его на ночь. Бечевка хлипка; Олимпиада часто просыпается.

Налецкому холодно; все же он лежит неподвижно; ему кажется, что Олимпиада его сейчас в темноте убьет.

Утром он дремлет.

Вожжи скользят из его рук; облучок плывет назад. Грудь саднит.

Он стонет:

— Что я за несчастный человек!..

Шарахаются из трав птицы.

Летом восемнадцатого года отряд красноармейцев Стального Ижевского полка встретил подле Урочища Бык-Бала в Оренбургских степях подводу.

Высокий длиннолицый человек в киргизском бешмете правил лошадьми. Плеская руками, он упал, гребя коленами песок, закричал:

— Ах, убейте, убейте меня скорее...

Золотоволосый, с перевязанной полотенцем рукой, розово — всем лицом — улыбнулся и спросил:

— Самарских у вас нету?..

Олимпиада распорола пояс кофточки, вытащила лоскуток коленкора и подала Запусу. Над неразборчивой подписью тов. Яковлева напечатано: «Предъявитель сего тов. Василий Запус является членом Павлодарской организации Р. К. П. (б-в)». Запус погладил бумажку и, перегибая тело (чтоб не разбередить плечо), вылез из тележки. Ян Налецкий пошел было к нему, но вдруг вытянулся с шипящей длинной нараспев речью:

— Я умру, как подобает офицеру... Я представитель сибирского правительства.

...Пески, бурханы, кустарники — такие, как и в Павлодаре. Голубая, почти белая, полынь. В пески глядела Олимпиада. Тихо, как степь, дышали верблюды; у них острые, пахнущие песком морды и немного раскосые глаза.

Яна Налецкого ведут в концентрационный лагерь. В широкие его уши набивается тяжелая пыль. Степная жаркая пыль на висках, словно камень.

Васька Запус в ячейке отряда Стального Ижевского полка делает доклад о белогвардейских восстаниях в Сибири.

...Губы у Васьки не степные, — порозовели, и в дрожи окунается в них Олимпиада.

Веселые, молодые над нею облака.

КНИГА ТРЕТЬЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЛИННЫХ ДОРОГ С ПОВЕСТЬЮ ОБ АТАМАНЕ ТРУБЫЧЕВЕ

I

Монголия, глухие земли; камень, песок да ветер!

Чокан Балиханов сказал атаману Трубычеву:

— Я привел вам тысячу киргизских седел... по соглашению между нами в полках будут русские инструктора. Я просил бы назначить инструкторами казаков, — они говорят по-киргизски...

Чокан отрастил усы — были они зеленовато-черные, тонкие, словно губы обведены ниткой. Склонив крепко бритую голову, он внимательно смотрит на плечи атамана.

От взятия Павлодара прошло два года. Чокан в это время съездил на Дальний Восток к атаману Семенову (Колчака и эсеров он не любил). У атамана Семенова слегка подергивающиеся плечи, — Чокан сравнивает с ним Трубычева.

В юрте пахнет кумысом и седлами на сундуках.

— Всю Сибирь скоро займут большевики... мы тут на камне сидеть будем. Я приказываю вводить безжалостную дисциплину!.. Если...

Он внезапно стихает, опускается на кошму:

— Вы меня простите, я устал, Чокан... Вы со стадами пришли, Чокан?

— Я пришел всем моим народом.

— Значит, мяса у нас будет достаточно?

Чокан целый год не улыбался. Когда взяли Павлодар и позднее Омск, Чокана русские стали называть хитрым азиатом. Имея власть, нужно твердеть лицом. Чокан — хан. Чокан скинул европейскую куртку со

светлыми пуговицами (он ее очень любил) и натянул халат. Оставаясь один (это происходило редко), он достает из чемодана «Юмористический чтец-декламатор» и, широко разевая рот, хохочет.

Атамана он знает давно. Едва ли тот сколько-нибудь изменился: только говорит длиннее. Чокан улыбается:

— Да, мяса много.

— Рассчитывая на помощь киргизского народа, имея за плечами помощь Японии...

Чокан вдруг хохочет:

— Что такое?

— Я вспомнил японских женщин... как к ним ходили казаки... и бесцельно! Мне атаман Семенов рассказывал, это бесподобная история. Женщины у них маленькие — как ткань...

— Что?

Чокан играет уздечкой. Седло выложено точеным серебром — Чокан подарил год назад.

— О Павлодаре не думаете, атаман?

— У меня там ничего, Чокан.

— Я знаю, я не об этом. Я думаю часто... оттуда мы вошли в Сибирь. Ворота!.. Как его... там находится... о силе еще много рассказывали. Я его, правда, не видал, я о силе наслышался. У вас же редко встречаются розовые свежие лица... вы не помните его фамилии, атаман?..

Чокан думает, что атаман не ответит. Атаман закуривает и говорит спокойно:

— Запус. Он теперь с моей женой живет. Точно в Павлодаре ли он?

— Мне не известно. Если желаете, приму меры.

— Бросьте... стоит ли?

Проезжая среди телег беженцев из Сибири, Чокан говорил о степях, пастбищах. Халат у него пестр, как весенние лога. Как на весну, смотрят на него киргизы.

Скрипят толстоколесые арбы. Шалаши из камыша. Шерстью — серой и грязной — наполнены арбы и шалаши. Ордой наполнена монгольская долина Ак-Тюрши.

Атаману Трубычеву нельзя долго ездить. Он провожает Чокана до его юрт. Широкозадый киргизенок подымает пред ханом кошомную дверь.

Возвращаясь, атаман думает о дисциплине. Степь разваливает крепость духа, — это доказывает атаману

казак, сплошь заросший диким волосом. Он лежит на животе под телегой и для чего-то полотенцем трет себе шею. Атаман решает, что казак бежал с караула.

Он склоняется с седла и бьет казака плетью по голым ногам.

— Сволочи! С караула удрал! Есть отпускной билет?

Казак выше лошади. В голубых его глазах слезы, и это еще больше злит атамана.

— Так точно, господин полковник, есть...

— Женщина, лежавшая рядом с казаком, — Фиоза Семеновна. Возможно, что, увидев ее, подумал так о казаке атаман Трубычев.

— Из Лебяжьего?

— Так точно, господин полковник.

— Фамилья?

— Егор Заливин.

— Иди. Я ж говорил — не сметь шляться к беженцам. На два часа под ружье. Доложи.

— Слушаю, господин полковник.

Атаман причембыривает коня к телеге, Фиоза Семеновна садится рядом, у ней такое же, как и раньше, широкое тело, и еще не осел внутрь мутный зрачок. Атаман плетью сшибает с краг шерсть кошмы.

— Кирилл Михеич здесь?

— Он кизяк в степи собирает, Артемий Иваныч. А этот, был что, из Заливиных... Лебяжинских, помните? Вы его больно-то не наказывайте...

— Постоит. После всегда веселее становится.

— Самовар согреть, Артемий Иваныч?

Атаман вдруг вспоминает, как однажды в Павлодаре он играл в карты с Запусом. Для кого вошла тогда в пимокатную Олимпиада? Он со злостью смотрит на загоревшие вялые щеки (они теперь, как осенние листья) Фиозы Семеновны.

— Муж-то с тобой спит?

— Он теперь, Артемий Иваныч, в религию пошел. День и ночь молится.

— Спит, что ль?

— Когда спит. Я его еле уговорила из Павлодара ехать, красные-то на него злы, — урезали бы. В городе-то одни стены остались.

— Не к чему ехать. Сидели бы, зарежут — пусть.

— Все едут.

— Все?..

Атаман Трубычев оглядывает мягкое лоснящееся тело Фиозы Семеновны. Он устал от монгольских женщин — ими густо наполнены юрты подле лагеря, они пестры и раскрашены. Ламы в желтых халатах, китайские офицеры с золотыми драконами на погонах, мохнатоскулые казаки — все они ходят к женщинам курить опий и пить густой, приправленный салом монгольский чай. Стада овец и коней твердо бьют копытами желтую землю, кочуя к западу. Стада пахнут кислыми осенними травами. Такие же запахи у женщин в юртах. Атамана злит, что отряды, бежавшие от большевиков, приобретают эти запахи. Как только люди наполняются до изнеможения кисловато тягучими запахами созревших стеблей, они бегут песками на ленивый запад, к Индии.

Войлок юрт от обильнейших ласк промаслился человечьим потом. Юрты темны и широки, как толстые женщины. Атаману приятно лежать под телегой, она пахнет дегтем поселков.

Атаман сказал:

— Ты ко мне в палатку приди.

Фиоза Семеновна не спросила зачем, а только — когда.

Чокан Балиханов, хан, потомок Чингиса, ранее инженер в Петербурге, собрал беев — старейшин — и объяснил им о национальном возрождении Монголии. «Генералы — друзья киргиз и монголов, — говорил он, — спасенная Россия не забудет своих союзников, в огне познается дружба». Священники, ламы и муллы служили затем молебны о победе над красными. Вечером Чокан угощал беев и русских офицеров кониной. Тогда же, в своей палатке, атаман положил на кошмы пахнущее поселками огромное тело Фиозы Семеновны.

II

В ночь, когда беи ели конину и пили кумыс, когда женщины едва успевали приносить темные, жесткие (на ощупь) турсуки, Чокан Балиханов пришел звать атамана Трубычева.

Фиоза Семеновна лежала у своих телег, где подле передка, у горки кизяка, на восток молился Кирилл Михеич. Восток черен и суров, как некая риза, закры-

вающая лицо; какие молитвы надо читать Кириллу Михеичу, дабы умилостивить и поднять ризы?

Чокан запнулся о сбрую.

— Вы спите, атаман?

Трубычев зажег лампу. Губы у него необычайно широкие, словно вышли из нутра. Френч длинен не в меру, и один карман оторван. Натягивая сапоги на кривые ноги, он сказал:

— Я же совершенно твердо отказался, Чокан, от празднества. Мне тяжело повторять мои слова о наших задачах... Здесь в этих песках, может быть, необходим опий... слова мои не опий для моих людей, они ходят к монгольским проституткам в юрты.

И довольно часто.

— У меня нет также веры, что беи примут предложение хана... Хотя вы потомок хана.

Чокан распахнул халат. Бешмет у него был подпоясан дедовским серебряным поясом. Он стукнул бляхами и сказал спокойно:

— В степи я могу кричать не так, как в столице. Мне смешно кричать вам... Я — хан!

Дым костров пахнет травой. Казаки, завернувшись в тулупы, видят родные сны. Атаман, ворочая саблей кизяк в костре, задумчиво спросил Чокана:

— А вы видите когда-нибудь во сне Петербург?

Чокан солгал:

— Вижу... Хотя не часто.

— Я Монголию во сне еще ни разу... Я и не знаю, как можно видеть во сне степь.

— Барон Унгерн прислал нам приглашение приехать на совещание... Там, в приглашении, он отметил важность исполняемой вами работы.

— Меня нужно было известить первым... Я — русский.

— Но здесь степь, Монголия. Я — хан!

— Барон Унгерн — русский.

— Он хочет быть ханом, хутухтой, гыгеном...

— Я поеду. Мне скучно, я становлюсь мелочным...

В степи завыл волк. Рога скота поднялись, как кустарники. Чокан отошел от костра и шарил что-то по земле.

— Какая вам нужна родина, Чокан?

— Вы свою родину, атаман, почувствовали давно. Я до тридцати пяти лет жил в Петербурге и думал: моя

родина — Россия. А теперь я растерян, мне так легко объяснить, — да вот хотя бы беям, — что степь должна быть нашей родиной, а не русских. Они очень легко соглашаются со мной и говорят, им не нужно идти с казаками в Россию, если степь их родина. Казаки захотят большего и вернутся сюда.

Чокан бросил в костер баранью лопатку.

— Я сейчас гадать буду. Если трещины пересекаются, к зиме мы придем в Россию.

— Зачем?

— Вы же сами зовете меня. А затем, я же жил в Петербурге, я хочу короноваться монгольским ханом в Петербурге. Ха-а!.. Я люблю цивилизацию, и я защищаю не одну степь.

Атаман хотел выбранить барона Унгерна, а вместо этого сказал:

— Я сегодня Запуса вспомнил... В борьбе своей... с большевиками... я как-то плохо отделял ложе...

Он сплюнул в костер.

— Ложе!.. Ложе жены от родины, от нации. Мне стыдно сейчас думать, что я боролся за жену. Я сейчас спокоен. Я Запуса видел немного, он борется не за женщин, а женщины — за него. Я одну сегодня из них... она неподвижна... в ней все-то еще горит Запус!

— Золото.

— Что?

— Я говорю, он похож на золото, его волосы в сердцах русских, как золото скряге... А? Из вас он вышел?

— Совершенно.

— Я рад, что вы нашли родину. Я никогда не думаю о женщине... в степи меньше всего... Хороший конский бег весьма способствует воздержанию.

— Я был ей благодарен за многое...

Чокан, внезапно гикнув, вонзил шашку в баранью лопатку. Кинул кость на землю и наклонился.

— Э! Трещины прямые, как тракт. В России мы не будем, атаман. Я уйду со своими стадами в Индию.

— Вам география знакома?

— По географии я в Индию не попаду. Но стада доведут. Мы пойдем за стадами. Вы же раскаетесь перед советским правительством, и, когда тысячи дураков с красными флагами в день Октябрьской революции пойдут гадить на улицы, вам, полковник, будет пожалована амнистия.

— Чокан!

— Я же учился в Петербурге. Там не верят бараньим лопаткам, не верьте и вы... Я завидую людям, нашедшим родину, ибо, полковник, существует родина, похожая на текст «Слова о полку Игореве», читать можно, а попробуйте разговаривать на таком языке? Пойдете есть казы?

— Благодарю.

— Если б разбудить ваших казаков и сказать им кое-что о ваших мыслях... они бы на пятьсот верст за ночь ускакали... в Россию, конечно... и воевать, а не сдаваться.

— Чокан, вы старый друг... и если бы...

Балиханов легонько всунул ему свою ладонь под мышки, шевельнул слегка и, покачиваясь, отошел от костра. Лисий его малахай походил на вздыбленную лодку.

— Угодно вам, полковник, выпить на «ты», так как с письмом барона Унгерна мне привезли еще ящик коньяку. Выпив, мы поговорим о дальнейших судьбах родины... Угарное будущее познается угарным настоящим.

Атаман Артемий Трубычев согласился.

Атаман прислугой имел пленных красных. Иногда атаман бил прислугу, — когда жара удара отхлынет с мускулов, приятно сознавать, что побои причинены не своим. В отряде атамана существовала порка, но в Монголии от нее отучились — женщины покорны, их много. Степь, что ли, влияла на сердце атамана, но преступлений по дисциплине находил мало.

Прислуга, красноармеец Еровчук, забыл выстоять коня. Атаман простил ему. Он нехотя увидал конопатое, светлобородое лицо Еровчука и подумал:

— Русский...

Атаману хотелось осязать найденную родину. Он спросил Еровчука: велика ли у того семья, какой губернии. Еровчук отвечал быстро, но слова были глупые, крестьянские. Он новосел-переселенец, семья в пять человек.

— Видел ли он Запуса?

Еровчук Запуса не видал, но наслышался много: безбожник и отчаянный человек.

Атаман сказал ласково:

— Скоро война кончится, домой попадешь. Только большевиков в деревне перережь.

Еровчук вытянулся и крикнул по-солдатски:

— Слушаюсь, господин полковник.

Лежа в постели, атаман думал: все не плохие люди, и, если бы не война, разве он стал бы вешать людей. Он вспомнил одну жену комиссара, повешенную на журавле колодца. Произошло это почти год назад, — женщина походила на Олимпиаду.

Атаман закурил.

Под утро он услышал топот — беи разъезжались по своим юртам. Он ухмыльнулся наивным мыслям Чокана о великой Киргизии. Алаш-орда (Великая орда) во времена Колчака помещалась подле Семипалатинска, в пригороде, на левом берегу Иртыша.

Атаман сказал грустно:

— Джатачники, джатачники!.. И столицу-то свою уткнули в мазанки...

Засыпал он всегда, только подумав что-нибудь хорошее. Теперь он заснул при мысли о любви какой-нибудь чистой, нетронутой девушки. Есть же где-нибудь такие, и стоит же ради нее пройти всю Россию. Олимпиада не была девушкой, она говорила, что ее изнасиловал отчим... Конечно, есть же в России девушки, способные так любить!

Надо думать, что есть...

III

Чей-кем, который от места слияния своего с Га-кемом получает название Уля-кем, значит быстро цветущий. Берега его подобны бледно-зеленому бериллу, потому что запахи водяных берегов столь же сладки коню, сколь запах драгоценного камня — человеку. Кони ржут, поводя ушами, глаза их наполняются светло-зеленым бериллом. Губы их пересохли, износились, похожи на сапоги погонщиков их, людей, беженцев.

Все же от запахов берилла, от вод Чей-кема к горным кряжам подымаются телеги. Деготь родных мест с них высох и унесен в пыли, с пылью.

Подле скалы Алтаин-нуру, глядя в пустыню, из которой шли телеги, атаман прочел письмо от барона Унгерна.

Атаман недовольно сплюнул. Ой, как далеко до Урги, до ставки барона, если туда ехать, кони уйдут в песок по грудь.

Барон Роман Унгерн пишет: «Государства крепли своими монархами и их верными помощниками-аристократами. У нас, аристократов, одна идея, одна цель, одно дело: восстановление царей. Как погибает человечество на Западе, под влиянием социалистических и анархических учений, так воскресает человечество на Востоке, хранящем в своих сердцах устои монархизма...»

Конверт письма из полосатой японской бумаги. Атаман не верит в армию барона, на чужих землях армии похожи на перелетных птиц: не выводят птенцов и не защищают гнезд. Посланному барона мало понятна аллегория. Он затянут в ремни, и лицо его под пробковым шлемом неподвижно. Тогда атаман, не слезая с камня, казачьими матерками ругает офицера в пробковом шлеме.

Посланный звенит шпорами и едет к хану Балиханову. В тот же вечер юрты киргиз и белая расшитая шелком юрта хана Чокана откочевали на север долины. От повозок, что ли, они откочевали? Потому что новые повозки беженцев из Сибири грохотали в долине. Мрачны сбруи повозок.

Атаман повернулся к адъютанту. Камень под его ладонью остер и холоден: чужой. Атаман вскочил.

— Допросить тщательно беженцев. Имею сведения о большевицких агитаторах. Внимательнее — за бабами, казаки легко поддаются на баб. Большевики все умеют усчитывать.

И, сам поверив внезапно выдуманной лжи о беженцах, ударил папироской в камень.

— Я тоже все знаю, какие там заговоры.

Адъютант — одноглаз, с черной засаленной повязкой на лбу. Он еле шевелит губами — повязка словно мешает ему говорить.

— Слушаюсь, господин полковник.

— Следить за прислугой...

— Слушаюсь, господин полковник.

— Следить за ханом!

Атаман посмотрел на юрты, покрывшие север долины. Издали они походили на весенние норки сусликов. И здесь, в Монголии, юрты поставлены, и дым из

них такой же, что и там, в Голодной степи, дома, подле Иртыша. «Нужно ли им возвращаться...»

— Впрочем, что ж за ним следить?

У адъютанта взмыленный, загнанный глаз. Пьяный, он срывает повязку и хвастается, что глаз вырвали большевики, и за этот глаз он своей рукой расстрелял семьдесят три человека. Фамилия его Сандгрен, и в приказах он подписывается «фон Сандгрен». Подсаживая атамана в седло, он говорит:

— Казаки стадо сайг выследили.

— Пущай облавят...

— А вы, атаман?..

Атаман ударил тяжелой витой плетью коня по животу. Сандгрен отскочил.

Атаман гнал коня мимо подымающихся в горы повозок. Иль там в камнях теплее — ближе к солнцу? Атаман слышал обрывки напряженных речей. Чиновник, поправляя синий рваный картуз, стонал: «Умереть спокойно негде». Атаман, задерживая коня, крикнул:

— Как фамилия?

— Уфимцев... Степан...

— Явись после обеда в штаб к атаману. Я тебя в отряд принимаю. Умрешь. Две кости и череп. Уго!..

От юрт в смутно серовато-желтую полынь шли стада. Казалось, всю жизнь идут стада полынью, тлится под копытами пыль солончаков.

Вот в юрте хана Чокана ламы в толстых длиннорукавых одеждах (еще на кисть руки за пальцами болтается рукав) ели баранину. В широких деревянных блюдах плавают в супе нарочито толстые куски мяса, и ламы нарочито берут его пальцами, хотя тысячу лет изобретены вилки. И бывший инженер Чокан Балиханов тоже берет мясо пальцами.

Атаман сидел на сундуке, а ламы на кошмах, раскиданных по полу юрты. Молодой лама в огромных китайских очках просил надеть пенсне хана Чокана. Прорезы глаз в китайских очках, как жилка в листке тополя. Чокан подал ламе пенсне, тот погладил стеклышки.

— Англичан берегет железо, ишь — голое стекло... стекло голое нельзя на глаза, ее... как баба... надо в золото. Англичан.

Раньше ламы приписывали все русским. Теперь они говорят, что Россия отошла к англичанам: офицеры и

казаки бегут в Монголию, не желая служить англичанам.

Конечно, Чокан ответит напыщенно и зря, так же как эти халаты стеганые и с рукавами длиннее пол, — все ж атаман спрашивает хана:

— Я плохо понимаю по-монгольски. Почему вы не убеждаете их, что Россия есть?

— У нас с гостями не спорят, полковник. Кроме того, они могут возразить: зачем русским бежать, если у них есть родина. Я про себя говорю: мы, киргизы, ищем кочевий.

— Барон и вам, наверное, писал: человечество воскресает на Востоке...

— Не одновременно ли приехал я с бароном на Восток?

— Я сегодня выгнал посланного барона, он убежал к вам.

Атаман внезапно кричит:

— Я прошу его выдать мне!.. я не признаю власти барона!.. Я его на оглоблю вздерну!

Чокан велел подать кумыса. Губы Чокана чуть подбриты, и один уголок их пригибается. Халат у него опалового шелка; возможно, что он улыбается на халат, Чокан не лишен иронии.

— Кроме вас, полковник, офицер барона имел послание ко мне. Там он тоже говорит о монархии на Востоке. Мне, аристократу, понятна его мечта. Посланному я подарил халат, и он, довольный мной, спит в юрте. Офицеров у нас мало, — зачем вешать офицера? Повесьте кого-нибудь из своих казаков, — они столь же виноваты пред вами, как и посланный... На худой конец — десяток пленных...

— У меня все готово... я подожду, когда к зиме большевики надоедят крестьянам, и пойду к Иртышу. Я объявляю мобилизацию беженцев...

— Эээ... сила войск закрепляется войнами, полковник.

Из тонкой, как камыш, трубочки Чокан курит тибетский табак. Дым слегка пахнет полынью. Чокан, слегка улыбаясь, с любопытством глядит на лам. Ламы говорят о торговле: китайские купцы платят хуже русских и товары их дряблы, как мох. Атаману бьет в виски муть от сладковатого запаха кож, китайских молитвенных свечей.

— Власть завоевывается, а не дарится, полковник... Я искренне рад за вас.

— Почему вы так же не ответите барону?.. И что вы ему вообще пишете, хан?

— Я говорю о вашем здоровье, полковник, а не о бароне. Барон объявил себя хутухтой, он — святой, он — Будда...

— Вы-то — магометанин.

— В годы войны и джута, говорит пословица, да молится человек всем святым.

— Зачем вы откочевали от моего отряда, хан?

— Мои пастухи утверждают, что от долгого стояния на казачьих лошадях появилась заразительная болезнь... Еек. Я плохой скотовод и верю накопленному опыту. Возможно, что лечение, предложенное бароном Унгерном... Угодно полковнику кумыса?

В покинутую полковником юрту киргизки внесли еще кумыса. Сразу по выходе атамана голос хана дребезжит, он бранит кого-то.

У прикольев, полузакрыв прозрачными розовыми веками глаза, дремлют жеребята.

Атаман вел в поводу свою лошадь. Так он вел целый час, пока не пересек долину и не подошел к становью своего отряда.

Подле куч свезенного монголами аргала, у края становища, стояли три черные рваные юрты. Здесь жили продавцы опиума и проститутки. Ремесло «готовой лечь» не считается позорным в Монголии. По утрам у проституток гостили ламы. Несколько раз приезжал настоятель монастыря Танну-ола, тогда подле юрт кололи баранов. Днем приезжали китайские офицеры курить опиум, казаки же приходили днем и проституток почему-то уводили в степь, в полынь.

У китайских офицеров были рыхлые сонные лбы, глаза и нос они закрыли ладонями. И еще странно маленькие рты. «Не потому ли они едят так мало?» — подумал атаман.

Накрашенная монголка с большим достоинством указала ему на степь: «Бармыс!» — и тотчас же перевела: «Туда!» Атаман отвел ее рукой, и она села поправлять огонек у очага.

Рыжеусый казак, сопя приплюснутым потным носом, дремал на связке сбруи подле двери. Атаман тронул его за плечо. «Волнуюсь», — сказал казак, открывая

глаза. Атаман потребовал объяснения. Казак ходил сюда, чтоб посмотреть, как утешаются китайцы. «Диви бы шло в меня опия, тоды и я б доспел».

— Нужно говорить — мечтаю, — сказал атаман и велел казаку перевести, как по-монгольски, чтоб атаману дали трубку.

— Кому в первый раз, они с травой такой — убур — дают, чтоб не обалдел, а когда привыкнешь — чистый, — пояснил казак.

Атаман, расстегнув френч и притягивая подушку, крикнул:

— Иди к черту! Скажи с травой.

После ухода атамана Трубычева хан Чокан собрал биев — старейшин, лам и мулл. Хан сидел перед юртой на туше только что заколотой кобылицы (кобылицей должны были кормить собравшихся по окончании речи).

Бии (лишь один имеет молодые брови), ламы (их губы от обильных яств широко загнуты, как крыши пагод от обильных молитв), муллы (они в знак горя не моют своих белых чалм) — все, слушающие хана, — сидели священным кругом, подобным озеру. Как в озере благословенны воды, так речь хана охлаждает тоску войн. Пальцы их лежали на коленях, а это означает, что мозг, работающий быстрее пальцев, преклоняется, слушая, как верблюд перед погонщиком.

Чокан говорил медленно, потому что он вспоминал бумажку, на которой по-русски была записана его речь:

— Из степей, где наши стада пасут люди, любящие красное, сообщили мне... Эээ... Волк тоже любит красные листья и небо осенью, потому что осенью скот неповоротлив и жирен. Я знаю, это так, я — хан...

— Ты хан, — повторили ламы, муллы и старейшины, нажимая коленные чашечки. — Ты мудр...

— Из степей присланы бумаги, говорящие, что русские с красными флагами идут в Монголию. Что им отнять ли наши стада, если они идут с другими русскими, которые сбежали из тюрем и украли оружие. Летом и осенью тяжело идти пустыней, а зимой толстые короткие ружья, одна минута жизни которых уничтожает людей больше числом, чем все мои стада... зимой они

вкатывают эти ружья на сани, цепляют парус с красным флагом и через снега Гоби могут пробежать в одну ночь на лыжах, утром же петь песни, убивать и есть наших баранов... Эээ!.. Предвидя войну, великий хутухта, барон и царь Роман Унгерн приказывает собрать войско на них.

— Хорошо собрать войско, — сказали ламы и муллы.

— У лам толстые откормленные губы, и муллы напрасно не моют своих чалм, — разве грязью показывается горе? Идут ли муллы и ламы умирать под выстрелы толстых, как и коротких, как дыня, пулеметов? Они идут молиться и после этого в черные юрты, что оставят русские, когда уйдут воевать. Русские научили «готовых лечь» многому, и после русских лестно... — так сказал один из биев, — губы у него самого сухие и тонкие, как лапа воробья («Высохли, считая баранов...» — сказал лама Ча).

— ...Кроме тысячи седел, уже данных русским, мы откажемся дать новому царю молодые седла и джигитов. Они выбирают царей да ждут, эти казаки. Пока у них от «готовых лечь» вырастут дети и заменят отцов в войне, этого они ждут... Калом казаков, что лежит подле их телег, можно удобрить всю Гоби...

Злые волчьи губы у бия. У всех биев, сидящих в кругу, стали такие губы.

— Если мы вернемся в свои степи, не меньше ли перебьют русские, чем здесь казаки в войне? Просить прощенья легче, чем воевать.

Тогда хан Чокан Балиханов сказал:

— Кроме вестей с теплого языка, люди привезли из степи бумаги, которые расклеили русские на телеграфных столбах и на березах в колках. Таких бумах три. В них рассказывается, как мы можем вернуться к русским, и что мы должны им платить, и что они должны нам платить.

Ламы и муллы сказали:

— Не надо. Русские лгут, как женщины, опившиеся кумысу. Бумага побледнеет ли от лжи?

Бии пошевелились на кошмах.

— Сразу видно лам: умеют верить себе. Надо знать торговлю и уметь сходиться в цене.

Но все же бии не стали слушать бумаги.

Бии, ламы и муллы съели кобылицу.

Бии, ламы и муллы ушли молиться, рыгать и объезжать стада. Чужие пастбища не столь обильны сенами, как свои у берегов Иртыша и в пахучих и темных логах. Китайский чай, хотя пахуч и зелен, но не столь крепок и тверд, сколь «42 №», настоящий «Цейлон».

Бии думали крепче других, потому что их заставляли и жены, и пастухи, и стада.

Несколько дней думали бии и, вновь собравшись к хану, сказали:

— Читай.

На синей толстой (в какую закупоривают головы сахару), толстой, чтоб не разорвал ветер, — на такой бумаге, разделенной жирной чертой надвое, с одной стороны — по-русски, с другой — по-киргизски, вверху: «Товарищи, трудящиеся степи!», внизу: «Председатель Ревштаба Степных дивизий Василий Запус», — на такой бумаге напечатано все.

Русские буквы тяжелы и круглы, как паровозы, киргизская вязь, словно осенние травы.

Хан начал киргизскую вязь.

Бии сказали:

— Читай по-русски.

Ламы и муллы не пришли к юрте Чокана. Они молились.

Влажным нательным гневом облились горы Монголии. Тоскливо молочно-белое небописание. Сухая степная обволочь подымается из пустыни к кряжам. Обсеменяет тоской камни, скот и погонщиков: в степи нет людей, есть только погонщики. Горы не дома: сколько ни поднимайся выше, теплее не найдешь. Все в горах разложили свои костры беженцы. Казаки проигрывают в карты своих возлюбленных-беженок. И каждого из возлюбленных спрашивает она: «Скоро домой?» Каждый думает, что она любит героя, каждый собирается воевать. Всех милее один, он говорит: «Завтра». Его ласкают даже сонного, и ему почти не нужно играть в карты.

Но его фамилия — не Трубычев, и имя его — не Артемий.

В день чтения прокламаций Запуса ханом Балихановым атаман услышал от монголки:

— Опий в трубке без примеси.

IV

Или нельзя, или трудно запомнить, но лицо людей в революцию изменилось мало. Оно осело или распустилось, когда кончилась революция. Были они напряженными, обесцвеченными, вогнутыми в себя — так кажется вогнутой туго натянутая ткань.

Но быстро, каждый год, менялись одежды. Я говорю о тех, кто воевал. Как только избежал смерти, меняй одежду, говорят солдаты. (У людей, в окопах обросших волосом до пояса, есть много странных поверий и привычек.)

Семнадцатый, — начало Запуса, — нес с собой еще остатки мирного быта: какой-нибудь клочок ситца — на плечах женщины; шелковый плетеный пояс у бедер; иногда в кармане внезапно находили носовой платок. Но уже на портянки употреблялись мохнатые полотенца (теплее), и потому же солдаты любили портьеры.

Был год шинелей. Года шинелей. Русская шинель гранитного цвета. Революция началась в Петербурге, где Запус видел манифестации на гранитных набережных.

Был год портфелей.

Портфели сменил год мешков за плечами.

Конечно, и кожаные куртки примечательны, но они характерны для тех, кто как будто со своим лицом проходил чрез всю революцию. Не лучше ли сапоги, сначала доходившие до колен, а затем выше, и, наконец, не видно штанов; френч с карманами, как портфели, и мощная нога, горной глыбой громоздящаяся над напуганной землей?

Осенью двадцатого года Запус приехал в Павлодар, мотаясь в зеленоватой английской шинели со львами — гербом Британии — на блестящих бронзовых пуговицах. Шинель была непомерно широка, он выпрыгивал из нее, она неслась позади косматым зеленым пятном, догоняя его портфель.

Пароход высадил Запуса и его спутников не у пристани, а прямо у яра, в город. У яра была мель, и с большим уважением к Запусу пароход ткнулся и застрял в песке.

Все же сходни не достали до берега, и сажени две пришлось идти по воде. Запус на руках вынес Олимпиаду.

Президиум Совета ждал Запуса подле автомобиля. Город имел два автомобиля, захваченные у колчаковцев. Новобранцы, щелкая семечки, толпились подле знамени, где выцвела надпись: «Вся власть Советам».

Запус принимал доклад в Народном доме.

Где-то подле Долонского бора появились «зеленые», предводительствовал ими какой-то граф Строганов. Павлодарский уезд выполнял разверстку плохо. Старожилы, у них огромные бревенчатые заборы, восставали против Колчака с молебнами, и теперь у них на дне кованых огромных сундуков, в тряпках у каждого, непременно спрятан портрет царя Николая. Графу Строганову они, конечно, поверят... Кроме этого, секретные донесения информационного отдела сообщали о монархистах-попах, о самогонщиках и тут же рядом таинственно жаловались, что избы-читальни не получают газет и книг... прижать бы почту...

Последнее сведение почему-то чрезвычайно обидело предусовдепа тов. Миронова. Был он тощ, со слезящимися робкими глазами, и все не решался сесть рядом с Запусом.

— Уш луше я, товаришш, постою... и чо, раззязви их в шары-то, лепечут: ни понимают — разруха.

Запус, накрепко прикрывая бумаги рукой, спросил:

— А вы знаете, товарищ Миронов, что здесь двух председателей разорвали и мне плечо проткнули? Здесь революционную дисциплину... я уполномочен расстреливать... даже вас.

Тов. Миронов держал «индивидуальный» огород и боялся, что Запусу донесли. Он многозначительно повел пальцами поверх волос.

— Война, раззязви их... Несмотря на уничтожение сословий...

Запус нехотя подумал: «Надо его сменить, переизбрать», — и он, чтобы больше поверить, спросил подробности, как тов. Миронов и еще двое красноармейцев частью перебили, а частью арестовали шайку «чернобандистов» в сорок человек. Дело о бандитах сегодня разбирает Особый отдел дивизии под председательством товарища Олимпиады.

— Главное, машина... — начал тов. Миронов.

Складывая донесения в портфель, Запус увидал там вырезку из газеты. «Белогвардейскими отрядами в Северо-Западной Монголии командует вешатель рабочих и

крестьян Сибири атаман Трубычев. Товарищи красноармейцы...» — говорилось в ней. Вырезка измялась: или забывал, или стоит ли отдавать...

Тов. Миронов погладил горло.

— На митинг в кирпичные заводы, товарищ Запус...

Запус сунул вырезку в конверт, написал сверху: «Тов. Олимп. Савицкой. Особотдел». Тов. Миронов крикнул курьера.

В автомобиле Запус попросил Миронова повторить рассказ о бандитах. Черноглазый шофер часто оборачивался и скалил зубы. «Опрокинешь!» — строго сказал Миронов. «Даешь», — ответил шофер. Миронов пояснил: «Он на бандистов машину попер... кабы не машина...»

Повесть была незатейлива и коротка. «Чернобандисты» сидели в деревне, когда ворвался автомобиль, крытый брезентом. Дело было ночью, по «краешкам бревешок натыкали вокруг автомобиля, чтобы на пулеметы походили, заорали им: выходи по двое! — ну, они и выходили на фонарь. Которые помягче лицом, тех пристреливали, — не забрать же сорок человек в одну машину, — а предводителей привезли. Они, раззявви их в нос, думали, деревню-то батальон оцепил».

— Чудно, — сказал Запус.

— Чудно, — согласился Миронов.

И шофер, скаля зубы, подтвердил:

— Чудна Русь...

Обеспамятелые пустые магазины на большом киргизском базаре, и, поджав тощие хвосты, бродят вокруг них собаки.

На кирпичных сараях многие помнили «Андрея Первозванного», бегство Запуса в урочище и сельскохозяйственную ферму. Выпачканные в глине, пахнущие дымом и землей, подле низеньких сарайчиков, похожих на хлевы, торопливо, чтобы не задерживать, жали они Запусу руки. «А это баба Овчинникова, того, что разорвали», — сказал один. И Запус потряс ее холодную руку. Мокрая глина осталась у него на пальцах.

Он мало говорил о социальной революции, больше вспоминал о Павлодаре семнадцатого года. Рабочие наполнялись чем-то иным, даже плохо понятным сейчас для него, они только плотнее нажимали на столик, с которого он говорил. Шапки у них походили на обломки

кирпичей и тяжело, точно жуя глину, двигались за его словами их рты.

Он почему-то подумал, что после его речи не будут, как везде, жаловаться на плохие пайки, отсутствие одежды и обуви, напрасно разгоняемые базары. Так оно и случилось. Плотно, многочадно обступив, проводили его до автомобиля, и какой-то киргиз крикнул одобрительно:

— На-а!..

И тогда нагрянуло сухо, надтреснуто, словно глыба обрушившихся каленых кирпичей:

— Ура-а!.. Ва-а-аська!.. кро-ой!..

Запус с митинга поехал в Народный дом захватить забытый портфель. Тов. Миронова он спустил подле Особого отдела: нужно дать показания о «чернобандистах».

Парадная дверь была открыта настежь. «Не поперли бы»,— подумал Запус, торопливо отшвыривая с пути стулья. Он подставил табурет и влез через рампу на сцену. Подле стола, где лежал его портфель, сидела женщина.

— Простите, это мой портфель,— сказал Запус.

— Я знаю.

У женщины были необычайно густые брови, а волосы, наверное, совсем нельзя показывать — желтая кашемировая шаль колебалась на них, как кофточка на груди. Руки у ней были голы выше локтей, у изгиба кисти — маленькие розовые морщинки.

Таким же густым, как ее брови, голосом она спросила:

— Не узнаете?

— Вы как сюда пришли? Вы актриса, что ль?

Из кармана у ней торчала бумага. Запус подумал: «Роль».

— Играю. Я вас давно в сенях ждала, когда вы с товарищем Мироновым...

— Я же не велел никого пускать.

— Я в сенях, Василий Антоныч. А потом, вижу, вы без портфеля пошли,— значит, вернется. Я бы подошла, да Миронова боюсь.

— Миро-о-нова! Товарища Миронова?

На лице у ней почти не было загара: Запус бы должен помнить такие лица. Он покачал головой:

— Не помню.

Она обиженно подвинула ему портфель. Запус подвинул стул и поглядел на ее, словно намеренно сгибающиеся, пухлые руки. Она улыбнулась. Губы у ней гнулись как-то через все лицо, она опустила ресницы, словно любуясь на свою улыбку.

«Ба-аба!» — подумал Запус и снял фуражку.

— Меня Ирой зовут... мама у меня просфирня, вы меня на ферме от мужиков в седле увезли.

Запус вдруг покраснел:

— Помню... просфирня... да... ну, как жива она?

— Ничего, слава богу. У нас теперь тихо там.

— Тихо?

Запус опять покраснел и удивленно, глядя на ее губы, переспросил:

— Тихо?..

Ира убрала руки, но вместо этого метнулись от порозовевших щек к неизменным черным бровям длинные, как перья, ресницы.

— Тихо... совсем никого нет. Вы нас забыли.

Он вспомнил вдруг волка, которого видел раз подле гумна. Он рассмеялся. Она, прикрывая локти шалью, напомнила ему о ферме, а затем рассказала, как Кирилл Михеич и Шмуро искали подводу в город. Рассказывая, она налегала грудью на стол и вдруг сказала:

— Здесь холодно, я люблю в артистической комнате сидеть, там диван есть. Мы соскучились по вам.

Тут (о себе) Запус понял: два года тому назад он бы навзрез взял эту женщину, не спрашивая, почему она пришла и действительно ли так скучно в деревне. Раньше нужно было бы надбавить движение и чаще рассмеяться.

Он поколебал столик, зацепил двумя пальцами портфель и, помогая Ире спуститься со сцены, ответил:

— Меня машина ждет, митинг.

Ира пожала ему руку в сенях и на деревянный тротуар выскочила далеко впереди Запуса.

«Завтра, что ль, ее позвать?» — подумал Запус. Портфель скользнул из пальцев. Шофер подпрыгнул, схватил портфель и, шлепнув по нему рукой и подмигивая на уходящую Иру, воскликнул:

— Тепла-а...

Все же Запусу было приятно, он еще раз поглядел ей вслед.

— По частям его резать мало, а не то что пристрелить, — со злостью сказал шофер, берясь за руль.

— Кого?

— Мужа ее, Пимных, чернобандиста, нонче Отдел судит...

— Чьего мужа?

— А ее, вот этой, ишь вертит!..

Шофер указал на Иру.

Прошлым летом, когда брали Курган, у Олимпиады от Запуса родился ребенок.

Заведовала она тогда политотделом. Ребенка на заседания приносила в портфеле.

В походе, к югу от Петропавловска, где трава в степях масляниста и гуще кустарников, в казачьей станице Пресногорьковской ребенок умер.

Запус помнил: без приглашения явился отпевать ребенка седенький голубоглазый попик. Олимпиада не прогнала его. Попик, всхлипывая, рассказал о расстреле двух сыновей. Чувствовалось — не столь отпевать он пришел, сколь пожаловаться и поплакать пред большевиками.

Дети вносят в войну слабость.

Олимпиада отказывается теперь от детей: после войны.

Запус быстро вытащил из кармана папироску.

Неимоверно широкие мягкие кресла запружали весь номер гостиницы. А на одном из них тщательно вычищенная пишущая машинка, накрытая полотенцем. Полотенце греет, чуть шевеля, теплый песчаный ветер.

Запус двинул кресла к стене. Толстогубый казак, тряся огромным, как ворох сена, чубом, радостно приоткрыл дверь.

— Те-есно-о.

— Тесно.

— Ничево...

— Сегодня поставили мебель, она в номере, как полено в ножнах.

— Так точно, у баржуя нонче сисизировал. Мы, товаришш, в адин мамент.

— А машинку зачем?

— Товарищ Миронов приказал, чтоб машинка и вестовой. Вестовой-то я, Афанасий... наготове...

Он, восторженно тряхнув чубом, прикрыл дверь.

Запус, торопливо кидая бумаги, сидел на подоконнике. Несколько мещан остановилось подле телеги, а мужик с облучка кричал в переулок:

— Подь суды, черт, тута Запу-ус!..

Впрочем, если и прочитала что Ира, важного из них узнает мало. Здесь дополнения, все же сказано раньше в приказе по штабу армии: «Тов. Запусу организовать отряды и направить их для борьбы с белогвардейцами в Северо-Западную Монголию. Обратить внимание на комплектование ячеек добровольцев из местностей, опустошенных атаманом Трубычевым...»

И еще: Запус вспомнил — почти за три года он не изменил Олимпиаде. Он спрыгнул с подоконника и захохотал.

Каждый, соблюдающий верность, когда-нибудь думал: стоит ли?

У Запуса мелькнуло об этом: потому, что он вновь в Павлодаре, где, кроме «Андрея Первозванного», были и азиатский человек Бикметжанов с девками, прыгающими с парохода, и Фиоза Семеновна, и Олимпиада, а может быть, потому, что отпустил Иру...

Олимпиада же пришла к своему мужу, а Фиоза Семеновна к Запусу. Теперь же...

— Я еду в Монголию, — сказал он вошедшей Олимпиаде.

— Меньше дури.

Олимпиада устало скинула шляпку, перевязанную слинялым лиловым шарфом. Слегка двинула кресла и улыбнулась на машинку. Носовым платком было стянуто несколько книг, она распустила узелки.

Брови у нее двинулись далеко по лбу:

— Свежие. Ты бы лучше почитал.

У ней вглубленные, сокровенной влажностью наполненные, зрачки. Сапоги бурые, солдатские, громыхающие. На скинутом грохоте их она всегда останавливала зрачки.

— Вам, мужчинам, легче, вам как-то... верят, а нам приходится учиться. Ты для чего мне вырезку о Трубычеве прислал, чтоб напомнить, могу ли я судить других, сама имевшая такого мужа? Так? Иметь его, конечно, преступление... меня судили... я еще сейчас сужусь.

— Кем?
— Тобой.
— Оправдана.
— Надолго ли?
— Ша.
Он рассказал ей об Ире.
— Их сегодня, — она посмотрела на часы, — расстреляют в четыре утра. Она, наверное, хотела воздействовать через тебя на меня. Пимных был предводителем...
— Каков он?
— Поди посмотри сам, я же плохо помню лица.
Запус закурил.
— Не умеем ненавидеть лично... террор тоже массовый. Меня толпа перла. Хочу самостийно. Трубычева своей рукой пристрелю... Ты не уговаривай.
— Мне что, я подсудимая.
— Кабала. Рапорт подаю. Еду.
— Ты какой губернии, Вася?
— Самарской. Что?
— Ничего, и в Сибири есть народ.
— У нас Волга.
— Обь шире Волги...
— Волга не стынет, в Волге крокодилы...
Он вспрыгнул в кресло, забил пятками.
— Дале-ее-ко-о...

Человеческое сердце — словно соль озера Калкамена: на пол-аршина под водой полутороаршинные пласты соли — умей взять.

Крестьянское сердце любит речь медленную, спокойную, — так движется лошадь в полной клади. И как конь даже в буран найдет свой дом, так к скирдам, пашням, к воде внушительно великоросло нужно двигать свое слово и дальше: о разбое, грабежах, белых виселицах, о мужицкой, вдогад, справедливости.

Широкие — шире площади — улицы со слабо наезженными колеями, поросшие влажной травой. Приземисты с маленькими в кулачок оконцами мазанки. Вместо заборов и плетней вокруг усадеб горе горькие канавы, а за канавами степь: мертвые тракты, зверь и киргиз. У новоселов в поселках Переходном, Михайловском, Полтавском, Багорчековом, Гурьевском с бревен, с пней (мимо которых и подле которых — расстреливал, по-

рол — проходил атаман Трубычев), на улицах, в степи, в бору говорил такие мужицкие речи Васька Запус.

Казачья мечта — как степной конь: сто верст без отдыха, с храпом, в байковой пене, а перед смертью, сладостно горделиво поведя глазом, на последние силы фыркнет. Жизнь в пикетах, в станицах — горче полыни. Разговоры, как высохшие летом речки с деревянными мостиками, скуды. Словами надо — как ногой в стремя, иначе сбросит конь! Словами надо — как беркут на утку! В станицу надо влететь с грохотом, звоном, чтоб шпоры на пол-аршина, чуб чтоб из-под фуражки — словно золотой флаг!

Соленые короткие казачьи слова говорил Запус.

Подле озера Джамбая крупнозернистые степные ветры обнажили граниты, темно-малиновые порфиты, ярко-зеленые сланцы. Медленно подымаются в степь камни — словно верблюды от чоха погонщика. В пещере Аулие-Тау есть большой, с углублениями в средине, камень. Со стен и потолка пещеры скопляется в нем холодная вода. Омовение ею целит бесплодие. От холмов Сары-Тау, от логов Субунды-Куль прикочевали киргизы. Малахаи открыли глаза, ставшие жесткими, подобными темно-малиновым порфитам, сердце их не омыто водой из Аулие-Тау, но оно оплодотворено.

Почему?

В степи трава не будет выжжена солнцем — от копытца овцы она подымется выше конского хребта! Казачью девятиверстную полосу берегов Иртыша могут косить киргизы? Стада биев и ханов отходят к народу! Чтобы взять, надо быть сильным! Все это говорилось раньше золотоголового в островерхом малахае.

Почему?

Речь его для киргиза — словно караванный тракт в Индию, смех в ней — как бубенцы нагруженных бухарскими товарами верблюдов. Слова — будто московские ткани: фай, парча и пахнущий чаем ситец. Растяжные должны быть речи, ропотлив смех и серповидны руки.

Рассласти слово твое, как сады свои — туркестанцы! Будут сладки губы говорящего!

Вот почему порфиты озера Джамбай подобны глазам киргиз, из-под малахаев глядящих на Запуса...

Но темнее и душнее Экибастукских шахт домишки мещан. Остра кирка на каменный уголь, а черные пласты в домишках тверже железа.

На юго-запад в Каркаралинск, на юго-восток в Семипалатинск к могиле Ак-Тау, к гористой долине реки Тесте-Карасу, по вьючным тропам за Каркаралинском к Спасскому медноплавильному заводу, другими вольными степными трактами — ожесточенно, с переливчатым звоном — развертывалась и рвала, тянула и опрокидывала, цепляла и чертила пятиугольники на шапках, — к пристаням, где народные пароходы стоят под парами, — пружина золотоволосых слов Васьки, Василь Антоныча, Баскэ, комиссара Запуса...

Монголия, глухие земли; камень, песок да ветер!

V

«Приказываю немедленно, объединив свои силы, двинуться в местности, занятые отрядами Казагранди. Войти в ближайшие сношения с ханом Балихановым. Беспощадно наказываю изменников Родине... Атаман, ради бога, прошу...

В народе мы видим разочарование, недоверие к людям, ему нужны имена известные, дорогие, чтимые. Такое имя одно лишь — законный хозяин земли, император всероссийский Михаил Александрович.

Монгольским племенам, где бы они ни жили, как со стороны Русской, так и со стороны Китайской революции, грозит смертельная опасность... Борьба в объединении племен внешней и внутренней Монголии, управляемой ныне Богдоханом... объединение всех племен и верований монгольского корня в одно серединное государство, возглавляемое императором из кочевой маньчжурской династии...»

Таково было второе письмо генерала барона Унгерна, таковы воззвания осведомительного Отдела штаба Отдельного конного урянхайского отряда войск генерала барона Унгерна.

Письмо было к атаману Трубычеву, воззвания — к казакам и киргизам племени Балиханова.

Письмо вручил монгол Цан-Вану. Щелкая серебряным с золотыми вензелями портсигаром, он угощал атамана американскими сигаретами. Портсигар подарил ему барон. Веки Цан-Вану припухшие, цвета солодкового корня.

Он рассказывал о том, как Богдохан милостивым приказом, данным в Урге, по высоким заслугам наградил русского генерала барона потомственным великим князем Дарван-хошей Цин-Ваном в степени хана. Ему предоставляется право иметь паланкин зеленого цвета, красновато-желтую курму, желтые поводья и трехочковое павлинье перо с присвоением званья: «дающий развитие государству Великий Герой».

— Три дня пастухи кололи скот для угощения... зеленую бобовую чени привезли из Шанхая. Сто американских генералов говорили речи Богдохану и барону. Великие пиры встречают великих героев, атаману будет подобная встреча...

Цан-Вану обернут кушаком в целый кусок шелка. Он говорит рассудительно, и совершенно плавны его движения.

Чтоб позлить гостя, атаман долго не отвечает ему. Сдергивает пропотевший под мышками френч. Монгол смятенно смотрит в пол.

— Генерал будет писать Великому Герою.

— Иди к черту, собака... Надоели. Как волки после случки, разбежались кто куда. Почему барон хан, а я? Чего вы мне врете все... Сколько тебе барон заплатил сюда приехать??? Вели-икий Геро-ой, едрена мать! Ступай к Чокану, он тоже ха-анны...

Атаман положил голову на седло. Седьмой год голова отдыхает на кожаной подушке седла, седьмой год над глазами прокуренное небо палатки. Жирномозглые генералы, учителя и чиновники-министры, офицеры-аристократы в штабах: опять то же самое. Поднявшие восстание казаки превращены в палачей, их приучили расстреливать и пороть. Чиновники почтово-телеграфных контор, вдруг превратившиеся в министров, возмущаются казачьим варварством, Колчак стыдился принимать атаманов.

Трубычев раздраженно гладит барабан револьвера. У пятившегося к дверям монгола видны зеленые задники сафьяновых сапог.

Разве стал бы так пятиться солдат!

— Великое монгольское царство. Ступай к Чокану, соболька... Сволочи-и. Не хочу гнать людей через пустыню. Барон. Я сам поведу. Я сам — на Сибирь. Я сам вывел их...

Монгол пыхтит, ему жарко в стеганом халате, кто же на приеме кричит и грозится револьвером?

Китайцы через монголов продают офицерам отряда кокаин. Может, Цан-Вану тоже привез в тороках кокаин... Казаки митингуют в полыни... Они вместе с атаманом не верят грабителю и лжецу барону. Атаман отправил барону тысячу киргизских седел: за тысячу всадников атаман Семенов давно бы уже дал генеральское звание. Цан-Вану врет, когда говорит, что киргизские всадники разбежались в пути. Хан Чокан...

— Хан Чокан отказал в седлах, — осторожно сказал Цан-Вану. — Генерал барон пишет ему особой тростью... Всадники возвратились к своим стадам.

— Чокан знает.

— Ему все известно, он мудрый и ученый хан. Он десять лет учился по всему миру, как водить стада. Он в три года увеличит стада в тысячу раз... он обещает...

— Я расстреляю его.

Цан-Вану, почтительно коснувшись порога, ушел. Адъютант есаул Сандгрен опустил за ним полу палатки.

На языке атамана кисловато-вяжущие следы... Опия атаман больше курить не будет.

Есаул Сандгрен докладывал о состоянии продовольствия.

— Что? Крысы?

— Никак нет, вы ослышались.

— Я вам говорю, какие в степи крысы! Для проституток воруют. Усилить караулы... Я прикажу расстрелять Чокана.

Казаков приучили расстреливать: в ветреные удушливые дни они расстреливают скот, назначенный в еду.

Смятенно смеется над черной повязкой адъютанта. Она у него, как почтовая марка.

— Кстати, какие марки в Монголии?

А в ребрах виснет такая же кисловато-вяжущая изнурь, что на языке. Атаман, опрокидывая низенький монгольский столик, вскидывает полу палатки. Сухой ветер остро кидается ему в ноздри. Полынь от солнца белая. Верблюды в полыни, словно камни.

Конечно, он не расстреляет хана, но испуганный Чокан сберет дезертировавших всадников.

— Количество пастухов увеличилось у него?

— Казаки сообщают об увеличении, господин полковник.

— Ага! Хорошо доехали!

Он фыркает:

— Ага. Составить приказ: расстреляю и запорю инструкторов русских, не собравших дезертиров.

Несколько вечеров назад или с месяц атаман говорил с Чоканом о найденной родине, о ложе Олимпиады.

Оставшись один, он хохочет, не раскрывая рта. Смех вяжущий и кислый лепит скулы.

Фиоза вечерует у него через три дня. В неделю ей приказано выдавать пять фунтов масла, десять муки и одну осьмую кирпичного чая.

Одну осьмую.

Вполне точно (как отдавая атаману себя) она получает чай.

Родина.

Три беженки уже приходили жаловаться на Фиозу: купаясь с ними, она хвастала любовью Запуса и казакам отдается с агитационной целью. Все три были молоденькие, и всем хотелось заменить Фиозу.

Попросту-то он ревновать не способен.

И то — он не прогнал Фиозу.

Вошедшему хану, впуская его в палатку, он бормочет о родине.

Лоб у атамана с большимиریзалисинами, от бровей через виски к скулам глубокая морщина. Лоб лоснился от пота и пах конем.

— Родина. Наврал я вам, хан, про родину... они там сплошь с ума сошли, сплошь больные. Мы их расстреливали, а их лечить надо... может быть, поддакивать и лечить... А мы расстреливать привыкли, чтобы пользы настоящей не принесли, нас чиновники научили... Они, чиновники-то... достаточно хитры.

Он потянулся через столик, раздавил по пути локтем папироску хана и, почти касаясь губами его усов, выговорил:

— Расстреливать только своих нужно.

Хан отшатнулся, поднимая узенький чиновничий подбородок.

— Например, меня.

Атаман даже взвизгнул от радости:

— Ва-ас. Друзья, однокашники — и к камню. Во-о! Это подвиг, это геройство, понял? Дезертиров вернешь, иначе?..

Чокан осторожно пошевелил раздавленную папироску. Достал портсигар, он с такими же вензелями, как у Цан-Вану. Царапнув по вензелю длинным и твердым ногтем, выкатил такие же круглые и ровные, что папиросы, слова:

— Дурак. Я — хан. Ханов не расстреливают, а разрывают лошадьми. Казачьи лошади не приучены разрывать ханов. — И тщетно пошарив в карманах: — Нет ли спичек, полковник?

Тусклыми, дрожащими пальцами атаман раздавил коробок. Высыпал спички. Чокан выбрал самую тонкую.

Выслушал о казачьих митингах, кокаине.

— От скуки вам бредится, полковник. Кстати, монгольский опий ядовитее кокаина. Самый превосходный опий в Кантоне, а также из того мака, что цветет в лессе...

— У меня в отряде развал, беженцы сплошь большевики.

Чокан всмотрелся в его ощеренные желтые зубы.

— Какие пустяки! Даже если б к вашему отряду я присоединил свой народ, вы бы и тогда не взяли Сибири.

— В России послевоенный психоз, я знаю, как взять.

Он сделал какой-то неуловимый жест подле глаз. На стене его палатки целый десяток кнутов. Каждая степь имеет свой кнут, всех тяжелее плеть пустынь Гоби. Один павлодарский (его подарил Чокан), весь запекшийся, мутно-багровый: им запорото восемь председателей волисполкомов.

— Надоели.

— Нет, когда же прошлое надоедает? Врачи тоже учатся на ошибках.

— Человеческое прошлое всегда тошно. Один жрет, другой давится.

Чокан собрал в коробок спички. Медленно переступал с небольшим раскачиванием.

— Запус готовится к переходам через пустыню... в России есть пустыни не меньше Гоби. Это последние сведения, — сказал он в дверях, не оборачиваясь.

Расплывчивы полосы его халата, палатка медленно опускается за ним.

Атаман щелкнул револьвером.

— Собака.

За звоном стремени он услышал тихий голос хана:

— Кане-ке (ну-ка), дегендей ак кылыкты кылдыкт (мне уже довольно сделал)...

Атаман кинул револьвер.

— Есаул.

Кружились у головы коня синевато-белые запахи полыни. Конь был смешной, жидкохвостый.

Хватаясь за повод, атаман торопливо спросил:

— Митингуют? Социализму в степи захотели?

Подле козырька рука в черной перчатке. Сейчас лишь заметил, и на руке одноглазая черная повязка. Захохотал.

— Никаких митингов в окрестностях не наблюдал, господин полковник.

Атаман вертел его поводья.

— Нету?

— Никак нет, господин полковник.

Атаман вытянул шею и сказал решительно:

— А все-таки Еровчука повесить. Туда...

Он указал на скалы, за палатками беженцев. Там сохло в камнях единственное вблизи стана дерево. Проскакивая мимо, атаман рубил с него ветки. Последний раз, вчера, он не мог достать шашкой сук.

— Слушаюсь.

Неподвижен широкий пухлый рот есаула.

— Наблюдать за настроением казаков во время исполнения приговора. Сказать: раз за свою социалистическую губернию воевал, виси, наблюдай ее. Да. Родина, ма-атушка, ай-я-яй... Виси...

— Еще будут приказания?

Он опять задергал повод.

— Как же, как же... мобилизацию. На всех мужчин мобилизацию, беженцев, киргиз. Обучать строю. Б... навезли, защищай их. Погрелись, будет. Немедленно написать приказ о повешении красноармейца Еровчука, о расстреле... всех красноармейцев пленных, имеющихся в отряде, мобилизации мужского населения долины Улякем, обучение боевому строю. Караулы усилить.

Сандгрен, привстав в седле, сорвал фуражку и закричал:

— Ура-а...

Казаки сбегались.

В палатке, ложась на кошму, он вспомнил — надо было отдать еще приказ: выгнать проституток и уничтожить их опий.

Он хотел подняться, но в крыльцах сильно заломило. Ноздри покрылись испариной. Посоветоваться с доктором.

Он, вспомнив Чокана, радостно пробормотал в пахнущую полынью шерсть:

— Съел.

Вестового Еровчука схватили подле казана, в котором он варил щи атаману и есаулу. Был он белобрыс, толстоног и бабоподобен. Волочась в толпе лениво шагающих казаков, он мазал, забытой в руке, ложкой усы и бороду. Ему казалось, что он плачет, но слезы не шли. Здесь есаул ударил его по шее плетью. «Митинговать, тварь!» — закричал он пискливо. Плеть скользнула вяло. Казаки молчали. Есаул оглянулся. У всех лупленые жаром носы, начинающиеся ниже глаз, скатанный, цвета спелых камышей, волос. Есаул махнул плетью: «Веревку забыли». Казаки, не слушая его, продолжая лениво бороздить песок, шагали к скалам. Есаул заметил, что все они были босые, но с саблями. «Не по уставу... Веревку», — повторил он. К толпе, с горы, спешили беженцы, но женщин среди них не было. От толпы едко пахло, руки есаула Сандгрена вязли в потных телах, мокрых одеждах. Он уже не мог высвободить и поднять плеть. И чем ближе к дереву, тем прямее тело поганого Еровчука, он находит силы обернуться к есаулу. Он даже, кажется, ехидно поводит щекой. «Молчать!» — закричал есаул, пытаясь поднять руку. А Еровчука теснили не к дереву, а к камням. К дереву же теснили есаула. Его плечи наклонили к земле, и вдруг все головы обернулись к нему. Он вспомнил, что в толпе, кроме него, не было офицеров. Он раскрыл губы, но чья-то широкая (от уха до уха), пахнущая махоркой, ладонь стянула его щеки. Теплый кусок льда вошел ему в спину. Он попытался укусить ладонь. «Шалишь», — сказал пухлый голос. Уши охладели. Волосы его цеплялись за кору дерева. «Митингу...» — но здесь казак, зажимавший ему щеки, кривым монгольским ножом вырезал ему горло.

Тогда же почти Еровчук влез на камень, вытер выпачканные кашей брови, сплюнул и, поднимая кулак, заорал:

— Товаришши...

Немного ранее этого верховой казак Наных от па-

латки атамана помчался, махая белым флагом. Скакал он между телег, юрт, стад и скал. Прогудев в рожок, он кричал «либизация» и читал приказ атамана.

Подле юрт казак кричал приказ по-киргизски. «Кутай, бу ни мене», — выли киргизки, за айдары (клок волос на маковке) хватая своих ребятишек. Все дети любят войну.

Таков был прадедовский обычай казачьих мобилизаций.

А недалеко от белой юрты хана в казака выстрелили. Наных уронил флаг и приказ. Лошадь лягнула, казак упал разбитой головой в аргал. Бурая жирная овца осторожно потянула сначала флажок, потом приказ, но, учуяв кровь, отошла.

Хан Чокан, услышав выстрел, испортил слово.

Тряхнул малахаем, зачеркнул. Продолжал писать. Русские буквы огромны и тяжелы.

Вкруг него, вдоль увешанных коврами стен, неподвижно сидели бии и впервые пришедшие в юрту хана пастухи.

Офицеры, опустив поводья, скачут к палатке атамана.

Уши коней тверже камня. Уши коней, касаясь бледных щек офицеров, колются, мажут губы их едкой пылью.

Выше дери удила.

Офицеры, крутясь в седлах, разряжают назад маузеры.

Назад, в палатки беженцев, где белошеие девушки только что слушали от них слова, кружащие сердца. Назад харкают восемь маузеров.

Прямо в конопельные взбунтовавшиеся усы.

Казаки, а впереди их Еровчук.

Потому-то от палаток беженцев — к атаману.

Но поперек пути за камнями цепи...

Эх, ко многим погоням привыкли господа офицеры, но страшнее всех погоня из-под одеял любви.

Тридцать две подковы, восемь маузеров, восемь поводьев — натянулось, рвет, стреляет, мечется.

Не для бегства крупный галечник долины Уля-кем, для гостевых прогулок.

Две ноги пополам. Одна рука обмакнулась в кровь и — словно кипяток зашипел в жилах.

Атаман кличет подле палатки есаула.

Но у есаула третья повязка на теле — черное вырванное горло.

Пики казаков длиннее долины Уля-кем. Нет страшнее смерти после любви, нет пики больнее пики брата. На погонах офицеров белый череп и перекрещивающиеся кости. Ведь люто же знают казаки намалеванные неумело кости, зачем их срывать?

— Сдавайся, уцелешь...

— Поизголялись над нашим братом...

Офицеры крючковато кидают маузеры.

Грудятся подле лошади, сломавшей ногу.

Кровь их так же, как и лошадиную, быстро впитает песок.

Восемь френчей подымают руки.

Тогда-то вот от палатки атамана каурый конь выносит всадника.

Долина крута, как стремя, впившееся в кривую ногу.

Кривоногий вскрикивает в уши коню:

— Бунт... бунт...

Подковы о щебень: бу-нт... ббу-нт, бу...нт, бу...

Казаки не спешат.

Скачи не скачи: Гоби шире неба, времени хватит догнать.

Известно, хорошая пуля берет на три версты.

В отряде много хороших пуль, но еще больше коней.

Кони застоялись.

Скачи, атаман.

Казаки недаром выхохатывают:

— Подрал.

— Ишь затрясло лихоманку.

— Седло... грызет.

Но тут, сбоку от киргизских юрт, за атаманом второй всадник.

Позади его пестрым, стеганым полукругом на сытых иноходцах — бии. Степь мимо их стремян — медленная, как стадо овец. Золотая и опаловая пыль подле их седел.

Атаман, натянув поводья, задерживает лошадь.

Конь его крутится, гнет шею, не верит биям.

Выхлебывает:

— Бунт, ха-ан... бу-унт...

И с ханского седла, с усмешечкой — жаль далеко не видно ее, — осторожной чиновничьей усмешечкой, степенно возвышая голос:

— Лучше вам сдаться, атаман... От имени народа гарантирую вам...

Конь обрадовался. Вперед.

А тот малюет нагайкой воздух.

— Остановитесь, атаман.

Поздно.

За Чоканом, гикая, понеслись бии.

Иноходцы их плавны и веселы: куда торопиться? Усиливается гик, и оттого кажется, — кони распластались, — ветер.

Куда торопиться биям: атаман Трубычев скачет к крутизне. Один мудрый хан, плохо знакомый с долиной, пытается догнать атамана. Пусть догоняет: оба они не вооружены.

Трубычев вгоняет на скалу. Конь круто храпит. Храп его в сердце, как седельная лука в теле, потому что на одно мгновение атаман взглянул вниз.

А там кочковато кружится готовый разнести все скалы багровый поток. Голубовато-рыжий водопад обрушивается, грызет камни, добираясь до сосен. А сухие верхушки собирают вонзить шипящую хвою.

Бии почтительно задерживают иноходцев.

Один из них говорит хану:

— Остановись. Он умирает как богатырь... конь у него наших табунов, такой конь не устрашится прыгнуть в пропасть на камни. Хорошо.

— Хорошо, — вытряхивают бии.

Они собирают коней в круг. Они, сняв аракчины, трут вспотевшие затылки: прекрасны осенние жары.

Неподвижна скала.

— Молодец, — говорит бий, — всегда полезно перед смертью вручить свою душу богу. Так и в песне будут петь.

Вдруг атаман поворачивает коня.

Спрыгивает.

Подняв руки, идет к Чокану.

Хан скачет прочь.

Гикают.

Бий, свистнув арканом укрючины, схватывает атамана под мышки.

Бранясь, бьет его плетью по лицу.

Френч атамана в крови и песке. Рот разорван в куски плетями сыромятной нагайки.

— Православные... — храпит атаман, — господи-и...

А бий, любящий песни, спихнул тем временем со скалы лошадь атамана. Все же о чем-нибудь можно будет пропеть, так чтоб вкруг его толпились девушки с двойными серьгами?

К скалам, лениво, с песней, едут казаки. Они босы и без шапок.

У переднего, свисая с пики, вечерний ветер полощет по спине огромный кумачовый лоскут.

VI

— Важно ли в революцию хранить себя? Или сразу зачеркнуть!

— Э... Усталость. Было, что зачеркивать?

— Было.

— Скажи.

— Сейчас понимаю: что-то — зачеркнуть. Срезать... А! Несомненно я сделал.

— Матросом был? По роже офицеры били?

— Нет.

— Сполоснуло бы все вопросы... от молодости и скуки. Ты, хлопец, способный. Меня, как два раза к стенке и один раз с солью выпороли, на продолжительнейшее время откинул... о ценности личности...

— Я-то воюю, а тут... бумаги.

Никитин порывисто вытянулся. Лицо у него квадратное и серое и прямые, как строка, брови. На такой бумаге, серой, как его кожа, печатали в революцию газеты. У него своими строками заверстан мозг, и беспокойные смятые слова Запуса ему мешают. Однако он уважает Запуса за бесстрашие, его рот, похожий на прямой черный лозунг, гнется, он ухмыляется.

— Война может быть чудом, а революция нет.

— Уездная война... Трубычев — это исправник уездный. А я море видел... и дредноуты... Он опять удерет, опять через всю революцию по уездной грязи тащить на горбу его тело... рысью. А вы тут бумажки в пески шлете.

— Устал ты, детинушка, устал... Бумажка-то, огурчик, вторая душа... Тут. Они, бумаги, камни из этого песку слепят. Чем заменишь?

— А я знаю?

— Ну, и не крякай.

Здесь в перевалах монгольского Алтая, на границе пустыни, Никитину приятно усадить в охотничей избушке штаб отрядов на продолжительное заседание. Квадратами, ромбами, прекрасной цветистой диаграммой, нигде не сталкиваясь, по горам и по Иртышу, по станицам, пикетам, деревням — лежит перед ним список революции. Он четырехугольной спичкой закурит точеную трубку и будет говорить прокламациями. И эти диаграммы чернобандистов и статистика настроений, а рядом отряды трудовой армии работают в приисках. Все проверено инструкторами, и разве не радостно сознавать, что пока диаграммой (раз нельзя железные дороги и копи) закручены человеком горы.

— Плохо ты философствуешь, Вась. Ты лучше пойди с камушков медведей постреляй.

— Сейчас медведи линяют...

— Откуда мне это знать?

Подле избушки, свесив с пня в травы длинные, корявые, словно корпи, ноги, качнулся навстречу Запусу партизан Микола. Он с удовольствием посмотрел на беспорядочно спутанные волосы Запуса. Он подмигнул, и словно в зеленой тине блеснула рыбка.

— Сподвижник-то увещал... Ничево, я твою бабу видел, с такой не жалко срастись. Душа у тебя золотая, а золото в однех руках не любит находиться... Для никитинского дела людей надо верных, чтоб быдто часы. На жись, на смерть по сикандам крой. А ты и часами и молотком хочешь быть... Ты не тоскуй...

Он гордо оглянулся.

Запус, беспричинно подергивая плечами, уходил в гольцы.

Партизаны привезли с собой лыжи и лохматые собачьи дохи. Беспокойно трепал их резкий гольцовый слеток.

Отряды ждали снегов, чтоб по первопутку ринуться в пустыню.

Митинговали о боге, о социальных революциях, трудовых армиях. Уральские рабочие жаловались: буржуи в колчаковщину все машины вывезли и попортили. Казанки их пальцев были в резких, разъеденных кислотами морщинах, и сибирские снега не успели отморозить кожи.

На скалистых склонах, круто падающих к пустыне, грелись красноармейцы. Каждый день они хохотали над

непроходимыми бомами: «Наворочено-то... мать ты мая. Лесу-то, камню-то...»

Подходившему Запусу один махнул:

— Кабы да через нее ароплан.

Хохот.

— Нельзя: от жары бензин испарится, ароплан в песку утонет, — тут пески, что омуты.

— Один тут ароплан — верблюд.

А в канцелярии отряда — мухи. Всю войну вслед Запусу летели они. «Паршиво мух замечать», — подумал Запус.

Тут же, подле, пензенский мужичок, ныне алтайский партизан Микола, восторженно глядел в усы студенту — секретарю штаба. Тот рассказывал о радии. Заметив возвратившегося Запуса, мужичок радостно плеснулся лицом:

— Товаришш Василь, нет, ты пойми, как мы тут вычитали... сонце-то, грит, никогды не погаснит — мильярт лет, грит, гореть будет... Едрит твою мышь! И в земле-то, внутри-то ее, сплошь радии, мильярт лет еще, стрялец, проживет. Выходит тут...

У него на косолапых глазах слезы, он восторженно хлопнул кулаком по книжке.

— Когды-нибудь да возьмет наша... времени-то... уборок-то. Мы, брат, до баржуя доползем... мы...

Запус сказал студенту:

— В Омске в рабочем факультете одиннадцать крестьян с ума сошло, когда им доказали, что бога нет. Почему это?

— Лучше бы им оставить бога...

Тряся листками, перебил его Микола:

— Видно сразу, книжка-то про радий после их смертей обнаружилась... Тогда бога зачем, коли радий?

— Чего тебе радий?

— Радий, радий чего? Парень, Вась, эх!.. да ведь оно, значит, радось. Очень просто,

VII

Даже беркуту видно.

От бархан до звезд колючие вихри.

Бесчисленны под беркутом тропы пустыни. Саксаулы в мертвых судорогах корчатся на песках барханов.

Это беркуту — с неба, а внизу ободья колес в персть стирают знойные щебневые тропы. Сбруи сгнивают от пота. Запах его противен беркуту, и подле хомутов падали он оставляет мясо. Остатки грызут мыши.

Караваном, без вожжей, волочится орда.

Арбы. Нестройные тюки беженцев на верблюдах. Телеги с женщинами. Джигитующие всадники. Казаки. Лампасы. Шитые шелком малахаи. Шляпы мещан и попов. Над ордой — сухая песчаная вонь. Над караванами рвутся узорные крики и звоны. В скрипах — вопли пастухов.

А вокруг стада, табуны...

Собак кормят плохо. Волки с падали, остающейся позади караванов, жиреют и по трое суток непробудно спят на барханах.

Собаки отстают от орды, у них свои стаи.

Позади и вокруг орды по правую сторону бегут волки, по левую — обволчившиеся собаки.

...Чему бы мог здесь воспротивиться Кирилл Михеич?

От них бежал он и под их тканью возвращался.

Потому что —

Во главе орды четверо волов везут длинную немецкую фуру.

В ней тычутся о деревянные перекладины головами атаман и восемь его офицеров.

У всадника же, что рядом с фурой, оголенная шашка и на укрючине красный флаг.

И от этого иль от чего другого, — шея Кирилла Михеича заросла серым волосом. В таком же волосе его душа.

Ночью к Фиозе Семеновне приходят казаки. Однажды он слышал, как смеялись над ней: «Сразу целый полк родит».

Еще год назад, полтора, он бил ее дедовским пермским боем. Необъятное тело ее было под каблуком, словно глина, что месят для построек. Визг ее — как голуби, влетающие в непокрытый дом.

Теперь он забыл, как надевать тугие сапоги. Ступни его завернуты в сыромятную воловью шкуру.

Пока мужик лезет к ней в телегу, он печет на костре картофель. Даже в небо с молитвой здесь... Но оттуда в глаза сыплется земля, колени после молитвы разгибаются с большой болью.

Казаки в долине Уля-кем покинули бога. Попы остригли волосы, муллы сбросили чалмы. Председателя каравана Еровчука они просили не выдавать их красным.

— Разберемся, — ответил он, переходя к текущим делам.

Ее послал бог, и он не смог оплодотворить эту землю. Кирилл Михеич думал: его нива — постройки, церкви, кирпичи... Она тучнеет и томится. Кирилл Михеич чистит и печет для нее картофель.

Но все же сильнее жжет внутри, чем картофель пальцы, когда казак, отталкивая его, говорит:

— Обождь, я еще не был.

Плечи Кирилла Михеича пустые и дряблые.

Фиоза взяла хлеб отнести атаману.

Она лежала с казаками, дабы ее пропустили к фуре.

Кирилл Михеич проследил за ней.

Гикая, улюлюкая, гонит ее прочь караульный.

Одурелая лунная тень от нее — шире телеги.

Кирилл Михеич только нашептывает пальцами: руки его блекло прижались к телу. Он от колеса тянет голову к облучку, слюняво лопочет ей: нельзя говорить о посещениях Артюшки в долине. Она ворочается с одутловатым солдатским смехом:

— Уу-ди, мизгирь...

Жердь облучка жирно пахнет хватавшими ее руками. Сизую грязь с жерди можно соскоблить щепкой.

Он спал возле колеса, прикрывшись дерюгой.

Его воза или чужие? Он в начале бегства из Павлодара вывез четыре воза. Сейчас возы спутались, беженцы говорят: большевики все отнимут. Все же гонят лошадей, понукают стада — вперед.

Однажды Кирилл Михеич видел хана Балиханова.

Носит тот уже пиджак, грязную мещанскую шляпу, брит. Быстро мигая, говорил он что-то биям. Они же, туго перетянув бешметы, хмуро оглядывались на казаков, гнавших на водопой скот. Киргизский и свой.

В тот же день пастухи схватили биев и хана.

Биям под расписку выдали по иноходцу и мешку курта. Проводив их за пределы орды, сказали: «Поезжайте замаливать грехи в Мекку».

Стада их исполком каравана постановил пригнать в подарок революционным рабочим Сибири.

Хана же кинули в телегу, где сидел Трубычев.

Но Кирилл Михеич не видал одного:

Артюшка пхнул хана ногой в зубы и отвернулся. Губу хана оцарапал рваный ноготь. Он достал из кармана клочок бумаги, смочил слюной и заклеил ранку.

Под Зайсаном, когда орду встретили передовые разъезды отрядов Запуса, случилось так, что Кирилл Михеич отстал.

Произошло это просто, как и все в его жизни. Сначала лопнул чересседельник. Кирилл Михеич пробовал его сшить. Дратва пересохла и ломалась, словно тростник.

Румяный всадник показался подле обоза. Острый шишак с малиновой звездой делал его похожим на Запуса.

— Офицеров не прячете, граждане?

Тогда обоз рванулся почему-то, понесся вперед через кустарники, по щебню, вниз, в луга.

Загикал кто-то, засвистал, выстрелил.

— Грабят, — завизжал женский голос, — режут!

Шишак темно сверкнул наганом.

— У кого тут оружие спрятано?

И поскакал вслед за грохочущим вниз обозом

Кирилл Михеич распряг лошадь.

Дня два он ждал чего-то в кустарниках возле реки. Зажигать костер боялся. Фиоза спала, просыпаясь же, просила есть, хрипло ругая слякоть, холод и Кирилла Михеича.

Тронулись.

Луга, тальники, камыши затоптаны ордой. Острая вонь шла от дороги. В кустах застряли ломаные ободья, лагушки, оглобли. Ободранная, полуизгрызенная падаль с дико торчащими багровыми ляжками.

И везде — по траве, по ветвям — седой человеческий волос.

Уже в Лебяжьем рассмотрел он, что в приведенной телеге, кроме Фиозы и половиков, находилась рассохшаяся лагушка и сломанная ось, захваченная в растопку.

А в поселке — обгорелые хаты. Почти всю родню постреляли: чернобандисты, белые, партизаны, зеленые... все приложили руки. Поп остригся и ходит в пиджаке. Рыба в Иртыше чахнет. Станицу же переименовали в село, и в школе ставит спектакли Союз молодежи.

Кирилл Михеич жалостливо помахал пальцами и отказался остричься, а волос через воротник полз на спину. Тогда, за тихий его ум, приход назначил его сторожем в церковь, а весной обещали пустить с общественным стадом.

Фиозу же взял кузнец. Был он росл, рыжебров и на заимке, в бору, варил самогон. Теперь, кроме самогона, он угощал в кузнице парней Фиозой.

Над каждым своим словом, над проходившими мимо, над кузницей и над Фиозой одервенело хохочут парни.

Сгущались над поселками соленые овражные вечера.

Осень.

Зима.

Весна.

Лето.

Осень!

Зима!!

...И жизнь и смерть приходят в свое время.

VIII

Запус прыгнул к окну.

По противоположному забору улицы мальчишка клеил газеты. И даже через пыль прочитаешь заголовок: «Суд над сибирской белогвардейщиной».

Благонравно шлепая расхлябанными досками тротуаров, собирались к забору обыватели. Издали газета походила на большой кусок грязи. Шел дождь. Тусклоблестящие зонтики заслоняют газету.

Пробираясь к дивану, Запус гладил виски, вспухшие густой тяжестью. Две ночи в Семипалатинске происходили облавы, а в казачьем районе, подле кладбища, их обстреливали. Запус путается в половике. Вздрагивает.

— Усни, — задумчиво говорит Олимпиада.

Не обращая внимания, Запус резко подбирает под себя ноги.

Розовато-золотистые щеки его вдруг словно нашли кости. Нос обострился.

— Я жду... я отступления перед ним... я последний раз. Он, знаю, скажет там...

Они не пошли на суд.

. . . .

Областной Семипалатинский революционный трибунал вел дело «белогвардейского полковника-атамана Трубычева, его штаба и его сообщников». Суд происходил в железнодорожном депо. Между шпал в черную угольную землю вбили колья, поверх доски — это скамьи для народа. Помостом — грузовая платформа, крытая брезентом. Длинный стол, укутанный в кумач. С потолка на кумач сыплется от рева толпы пепел, красноармеец осторожно тычет судьям метелку: сами. Двое из судей, партизан и рабочий, спорят перед началом заседания о земельной политике советской власти. Об атамане молчат. На ржавом паровозе, что позади платформы, упираясь в пыльные паутины стены, лепятся телефонист и секретарь Запуса, товарищ Архипов.

. . . .

Запус тупыми, словно пустая обойма, глазами глядел на плетенные из лоскутков половики. Там торчали расплюснутые, похожие на пауков, окурки.

— Разве в номерах такие должны ковры быть?.. Были, наверное, были... по описи значились, когда национализировали... а теперь прислуга подменила... А там Трубычева подменивают, борца из него за монархию... Это исправник уезд усмирял. А...

— Усни, ты же сколько не спал.

— Война.

Он быстро ткнул кулаком в скулу. Боль уже переметнулась в затылок. Тогда он со свистом, былым матросским харчком, плюнул через номер.

— Чего тебе нужно?

— А я знаю... России нужна революция, это я знал... И бороденка у него противная, и ходит, будто у него бревно меж ног. А-а. Никитин про меня — интеллигентщина. Ну. Сами вместо суда митинг демонстрированьем живого монархиста... вместо концертного отделения расстрел. Я на войне сам много этих концертов слышал... Кто не был... Ты мне душу его, сволочи.

— Ты же не пошел.

— Холодно, Олимпиада.

Она подала ему шинель. Хотела погладить его, он отшатнулся.

— И суды я такие видал... В Омске так колчаковских министров судили. Ты про бой быков читала?

— Ну.

— Не понимаю для чего... Какая агитация.

Зашипел на столе полевой телефон.

Запус, волоча на рукаве шинель, тронул аппарат. Олимпиада стояла, вытянувшись, у притолки. Лицо у ней — цвета осеннего калинника, зябкие зеницы и глубокий канал грудей. Новые тесовые перегородки пахли смолой, а ей хотелось, чтоб хоть немного пахло олифой или лаком. Осенние бивуаки пахнут смолой...

— Слушаю. Что? Перерыв? Какой перерыв? Ах да, это вы, товарищ Архипов... Слушаю.

Он глубоко, до заноз, царапал мизинцем стол. Крошечный голосок шипел, точно проволоку внутри сверлили.

. . . .

Глаза толпы так же запылены, как потрескавшиеся окна огромного депо. Согревают стены, потеющие мазутом, волосатые руки. С потолка каплет: там дребезжат стеклами крики, рев. Вокруг двенадцати подсудимых обострились штыками красноармейцы. Немного кривя губы, атаман Трубычев делает показания о расстрелах рабочих:

— Вы расстреливали каждого десятого?

— Не всегда.

— Расстрелы и порки вы производили собственноручно?

— Нет. Чаще всего есаул, офицеры. Пороли казаки.

— Но были случаи собственноручного?..

— Да.

— Для чего это производилось?

Молчание.

— Вы считали расстрелы рабочих необходимым средством укрепления власти Колчака и барона Унгерна?

— Я не признавал барона.

Молчание. Подсудимый тычет в толпу пальцем.

— Вы имеете сказать?

— Да.

— Я прошу выйти из зала мою жену, Олимпиаду...

. . . .

Запус, покраснев, оттолкнул аппарат.

Доклад оборвался. Секретарь дует в пальцы: карандаш на холоде плохо пишет. С хрипотцой телефонист говорит: «Какие нынче карандаши». Процесс продолжается.

Запус закутал ноги шинелью.

— Притом здесь много личного... моего...

— Ты думаешь, ревность? Пора...

— Кто как называет... Одно время я хотел его застрелить, это когда из песков пришли киргизы и казаки с ним. Я ускакал. Орду принимал Никитин... Поймали его в конец войны. Меня сейчас словно с фронта гонят... или бегу, на паровозе. Так бежал с германской. У него рожа паршивого... паршивого паровоза. Офицер, курва, исправник. Для тебя фронт кончился.

— На днях кончается.

— Иногда женщина на пулемете зыбку пристроит.

Внесли самовар.

Олимпиада насыпала в чайник кофе.

— Будешь, Вася, пить?

Груди у ней приближаются к чайнику. «Обожжешь!» — кричал всегда Запус. И теперь она взглянула на него. Он смолчал.

Почему нельзя обнаженно писать о любви, о жизни, а о смерти можно? Мало в нас радости.

— А ты?

— Я для тебя.

— Не хочу.

— Самовар стынет, тускнеет.

Мальчишка долго, точно сквозь весь забор, клеит объявления. Он без шапки, потому что курчав.

— Кокетничает, шельма, — говорит Олимпиада.

Откинутая форточка быстро свертывает дым. Все же рот меньше форточки, не успевает за ней накуривать.

Телефонный внутренний шип. Раз. Два.

— У телефона. Слушаю! Я...

. . . .

...Чокан Балиханов говорит о культуре. Кочевым народам необходимо в целях своего самоохранения приобщиться к европейской культуре. С этой целью он приехал в степь и, когда его выбрали ханом, — согласился. Но у власти Колчака и особенно позже, у барона Унгерна, заостришего провинциальную власть, были стимулы восточной культуры, как раз той, все этапы которой Восток прошел и благотворно которая на киргизах не отразилась бы. Он видел авантюристов и палачей. В интересах киргизского народа он вошел в сношения с готовящимися к мятежу казаками и помог им арестовать атамана. Если бы хотел, он мог бы укочевать со своими стадами в глубину Монголии...

— Известно ли было подсудимому, что народно-революционная армия Дальневосточной республики подходила к Урге?

— Такие сведения имелись.

— Известно ли, что барон Унгерн просил помощи у киргизских ханов и монгольских князей?

— Известно.

— Не стояла ли в связи с крушением власти барона помощь Чокановых киргиз восставшим казакам?

— Нам нечего было бояться.

Атаман Трубычев протягивает руку...

— Вы просите слова?

— Да.

Атаман рассказывает, как они с Чоканом вспарывали живот жены павлодарского председателя совдепа, чтоб узнать, кем беременна она.

Опять трещат разрушаемые скамейки. Рабочие оттесняются винтовками. Старуха, прорвавшись через цепь, харкает в лицо хана. Атаман услужливо подает ему платок. Чокан кидается платком. Звонит председатель.

— Это ложь... демагогия... демагогия, гражданин председатель...

. . . .

Запус отодвинул аппарат.

— Что?

— Всякие бывают митинги.

Волочится за ним шинель. Хохолок завился в другую сторону, он, не замечая, крутит его на потухшую папироску.

— Решился вначале — раз — и понес, не рассуждая. В одно, в одно, как в сучковатое полено. Расколется, стерва. Раскололось.

В ладонях жар, он охватывает ими телефон.

Голова на кисти руки. Там... в машинке свист и легкий топоток, словно игрушечный паровозик... вот пары выпустил.

Запус до десяти вечера сидит у телефона. Через каждые полчаса-час секретарь сообщает о процессе.

В десять движение прекращается. Город на военном положении. То есть — деревянные домишки приготовились к войне.

Полчаса десятого — подсудимых на большом грузовике, окруженных конвоем, мчат в тюрьму. Мальчишки

свищут и кидаются грязью. Идя на казачий казарменный митинг, Запус видит: в одном из дворов курчавый расклейщик газет изображает его, Запуса.

— Догоню, белая сволочь, — пронзительно кричит он.

А дальше он встретил обозы. Свистя полозьями, несутся они. Солдаты словно путаются в винтовках. Песок, ветер, снег.

— Какого полка? — спрашивает он.

— Запуса, — отвечают ему.

Да.

Не плохо так с винтовкой бежать полем. Если не зачем в Монголию, так есть еще Приморье.

Мало ли полей в России, по которым нужно пробежать с винтовкой?

Да.

Запус возвратился, не дойдя до казарм.

Третий день за столом Запус слушал шипенье телефона.

— Все пройдет, — говорила Олимпиада, — нынче все быстро проходит. Тебе чего нужно-то?

Телефон шипел:

...допросы... пояснения... они каются... атаман Трубычев обрывает их... они понимают, жизнь одна... грузовик... партизан-судья зовет Запуса пить чай... а если...

Словно раскаленная проволока в воде — телефон.

— Слушаю. Я. Запус. Слушаю.

. . . .

...Конечно, Чокан всегда за народ. Конечно, странно думать о социализме среди киргиз в период первобытного кочеванья. Можно ли судить человека, когда, брошенный волной на подобного себе, он раздавит того? («Плавать умей», — кричат из толпы.) Человеческие волны так же высоки и горьки, как и морские. Атаман Трубычев, он организатор и активный деятель монархизма.

— Не тебе... не тебе...

Офицеры его штаба, оглядываясь на толпу, смеются над ним. Все они тонколицые и прямые, а он скуласт и кривоног. Береза и саксаул не растут рядом. И сначала один, а потом все восемь.

— Он нас заставлял под револьвером...

Тяжело подымая грубые пальцы, обвинитель-рабочий кричит в толпу:

— Грабителям, вешателям, палачам, морившим Россию с голоду, расстреливавшим вас... еще кровь не высохла подле этого депо, к стенке которого атаман ставил десятого... царским опричникам, душегубам — какое наказание?

Толпа втаптывает в землю скамьи. Молчит, дышит слюной и потом. Паровозы, копоть, дым, лязги буферов — и вдруг выше всего, заглушающий даже само слово, грохот:

— ссссммммееееррррттьььь...

. . . .

— Семипалатинский областной трибунал постановляет: атамана Трубычева, его восемь сообщников-офицеров белогвардейского штаба... высшей мере... без права кассации... Чокана Балиханова, самозванно присвоившего себе сан хана... заключению в концентрационные лагеря на все время гражданской войны...

. . . .

Запус опять придернул телефон:

— Да, да... Дайте Архипова, Архипова, говорю. Да, я. Нет, жду. Товарищ Архипов, вы? Товарищ, благодарю вас за сообщения. Немедленно по исполнении приговора позвоните мне... Что? Буду ли я завтра на пленуме?.. Не знаю.

Ночью, около четырех часов, он внезапно спрыгнул с кровати. Не зажигая огня, кинулся к крючку, где висело платье.

Зашумел кожей и вдруг один за другим возгласы:

— Ать... Ать... Ать...

И три выстрела.

Толкаясь в него, в стол, звеня и обрезаясь об упавшую посуду, Олимпиада:

— Вася... Васинька... Ва... да, да что-о...

По коридору бежали с грохотом. Кто-то разбил окно и вопил во двор:

— Скорей, скорей, Запус застрелился!..

Он приоткрыл дверь в коридор и сказал медленно:

— Ничего, это у меня револьвер разрядился. Все спокойно.

Он зажег лампу.

Олимпиада, босая, в рваной рубашке, ощупывала его. Он увидал на ее ноге кровь от пореза и наклонился. Олимпиада плача схватила его голову. Колени ее надломились в стекло, Запус успел подставить руку, слабая, вяжущая влага облила его пальцы. Она толкалась ему в плечо: «Тебе чего... чего... ребенка... так возьми... возьми». Запус, широко раскрыв губы, смотрел на ее шею. Какая-то серо-желтая улыбка вталкивалась на его лицо:

— Это я в него... его... атамана. Не хотел умирать...

Здесь зашипел телефон и голос тов. Архипова сказал:

— Слушайте... сейчас исполнен приговор над...

IX

Продовольственные карточки выдавали каждый месяц. В деревне имеется одна печать, в уездном — десяток, в губернском — ах, сотни резиновых машинок шлепались на листки. Но и печати почиют по-разному: барышня ее — словно французский каблучок — легко; красноармеец — будто гвозди вбивает; у породистого канцеляриста — ровно и чистенько, словно не печать, а вицмундир старых времен. Но, как и от вицмундира, одни приятные воспоминания подле этой печати. Что значит — печать? Раньше — это награда, увольнение, сообщение о повышении, аттестат зрелости, женитьба, на худой конец. Теперь же на одну печать приходится не больше золотника хлеба, а в каждом золотнике ползолотника микробов, не считая различных инфузорий.

Короче говоря, простояв сутки рядом в очереди, два мещанина, Максим Боголепов и Семен Кисель, решили убить Запуса.

Боголепов — лыс, ростом с телушку, при соответствующей ей расширенности тела и подрыгивающей телячьей походке. Кисель — соборный звонарь. Посему глух, великокост (во сне он часто видит — возьмет с паперти да и достанет рукой до колокольни), Боголепов понравился ему за тонкий голосок. Ему надоели колокола, он ловит по весне комаров, и ему кажется, что он слышит их писк. Он давит их на блюдечке.

Кончить Запуса решили вот почему. Боголепов сбегал из очереди и сорвал «Семипалатинскую правду». Кисель, склонив громадное, словно копыто, ухо, слушал с умилением непонятный писк Боголепова. В хронике

сообщалось: «Василий Запус по расстроенному здоровью получил отпуск и едет лечиться в алтайские деревни».

— Лечиться, — подмигнул Боголепов, — знаем мы это лечение самогонкой внутрь.

Винтообразно повращав рукой, Кисель сказал мрачно:

— На колокольню бы его... — И неизвестно почему заорал вдоль очереди: — Да вы что молитесь? Двигайтесь.

— Двигайтесь, граждане, — пискнул Боголепов.

Другие стоят в очереди, получают в день три четверти фунта хлеба, едят селедку... Они решили убить Запуса.

То есть не то чтоб решили убить, а переглянулись и подумали: «Неплохо, кабы кто-нибудь его сегодня при отъезде по башке кокнул».

— Кокнут, — вздохнул мрачно Боголепов.

А Кисель покачал головой:

— Мне сегодня вечерню выбивать, опоздаю.

— Для такого дела не вредно опоздать.

Так Кисель и Боголепов попали к номерам, обитаемым Запусом. Какому-то мутнообразному, с приклееным поверху синим картузом, Боголепов шепнул: «Не предполагаете, могут его сегодня?..» Посмотрел внимательно — чекист, наверное, чекист, по голым губам видно — чекист. Юркнул за угол, подождал, выглянул — нет, рядом со всеми и даже по-большевицки грудь пятит. Верно, спорят об расстреле атамана, и мутнообразный сопит, словно снег по крыше: «Так ему и надо».

— Позвольте, — шепнул Боголепов, — есть точные сведения... А вдруг провокация. — Шаркнул конспиративно пимом по снегу, подмигнул Киселю и сказал басовито: — Смотри.

— Ничего не вижу, — сказал Кисель. — Холодно, верно... пайки худые... Подводы бы хоть ему подавали. Губернатор когда выезжал, стражники за пять часов весь снег по городу утаптывали: не любил, чтоб сугробы. Архирей, тот при выездах протоерею говорил: попроси Киселя на колоколах машину изобразить. У меня такие колокола есть, что девочки...

— Смотри.

— Ничего не вижу.

— Да и я ничего не вижу, а смотрю.

А увидать бы они могли вот что.

X

Когда огромные цепи белых подходили к его отряду, сначала по телефону... Дальше прибегали сами. Всегда в глазах таких вестников были гнойные точки. «Прикажите отходить». Тогда ему нравилось спрашивать: «Убитые есть?» — «Нет». — «Раненые?» — «Нет». — «Зачем же отступать? Шарахнем!»

Сейчас в его отряде нет убитых и раненых. Но его спутники частью расходятся по домам, частью вступают в трудовую армию. Сеять. Копать. Плавить руду. Прииски. Лес гнать. У Никитина на все уже имеются соответствующие диаграммы. От Никитина никакого запаха, словно стекло.

Мужики же, окружившие Запуса, глубокоглазы, по волосам их прошли метели. В избе они пахнут землей, а на снегу шаг их отдает деревом. Они в зипунах, жестких и пахнущих коноплей, и в ушатых волчьих шапках.

— Перепер, Васька, с ливорветром-то, перепер... Сплошашь да спросоня в себя пустишь. Лимпиада, ты чего смотришь, тут надо с уголька спрыскивать...

— Ничего, товаришши, оживет...

И Микола распускает кушак.

Партизан-судья Словцов жмет ему руки и уговаривает взять побольше книг. Тягучебородый, агатовый и низенький выскакивает из-за его спины другой:

— Пчела-то нонешним летом пойдет, Вась, я тебе говорю по синице. Ульев хочешь, меду ломать надобно — получай ульи...

— Получай... — гудят, словно уходя в землю, мужики. У одного подле уха в бороде теплая золотая соломинка. Запус улыбается. Расплывчивость словно несколько проходит, он вскакивает, идет между мужиками, волоча за собой шинель. Тусклые, какие-то вымышленные бороды. Он опять садится.

— Никитин скоро?

— Сичас... Да ты не жди его, ты прямо садись, сичас кошевы подадут. Мы те с шаркунцами пожгемь...

— А-а...

Одурело махая шапкой, топчется подле стен Микола. Несколько раз сбивает об стену снег с пимов.

— Да вить как же это так?.. да вить етак сдохнуть легко! Нада жа и над сваим телам думать.

Он наклонился к Запусу, потрогал расстрепанные полы шинели.

— У те в ногах ознобу нету?

— Нет.

— Выходит — не тиф, а то бы в больницу тебя.

Запус молчит. Если это не митинг, лучше молчать. Мужика в одиночку не убедишь.

Они садятся на пол и ждут, охватив колени руками.

Поплевывая, они вспоминают германскую войну.

Олимпиада сбирает половики, чтоб не заплевали.

Один спрашивает ее:

— Ты остаешься?

— Да.

— И то хорошо.

Впопыхах входит Никитин... Он держит смятую газету. И смята она у него так, словно свернута четырехугольником.

— Слушай, Запус, ты, что ж, передумал?

— Как?..

— Но тут пропечатано: ты едешь в алтайскую деревню... поправляться.

Запус кивает на мужиков:

— Они считают меня больным, один из них дал в хронику... Я еду в Питер.

Мужики топчутся вокруг Никитина, но не дотрагиваются до него. Он — словно дом, выстроенный в лесу, одиночкой. Трубка его яростно хрипит. Запуса надо в деревню, он уже в стены палить начал. Слова у них длинные, как алтайские травы. Запус болен, они же понимают. Зря они приехали. Дно их слов Никитин видит: там громадная тропа к пашне...

— Приехали зря.

— Кошевы при воротах... Не дури ты, Микитин, зачем парня сбиваешь...

— У меня машина «при воротах». Готово?

— Есть, — отвечает Запус.

Он, тряся хохолком, быстро целует Олимпиаду. «Устроюсь — напишу», — повторяет он. Он помогает ей укутаться в тулуп, сам надевает полушубок. Микола дарит ему свою волчью шапку.

За автомобилем, вымываясь из снегов, шуркунцами, звоном катят кошевки. Мужики, обнявшись, орут: «На

диком бреге Иртыша», — и, не доезжая железнодорожной станции, сворачивают на тракт, к горам.

Мимо их — стога в снегах, сорока на стогу, воз, свернувший с дороги и застрявший в сугробе. Песня у них похожа на пьяную. «Свадьба», — думает встречный. Далекую сотню так было назад и на далекие сотни вперед — тройка, шуркунцы, стога в снегу и застрявший воз.

— Жжжггёётт!!

XI

Для Кобдо, Кульджи, Чугучака и Булун-Тохой, для бухарцев, китайцев и киргиз был раньше в Семипалатинске меновой двор и таможня. На меновом дворе — 4-й трудовой батальон Красной Армии, а в таможне — отощавшие крысы. На пристани с юга привозили тонкую, как пыль, монгольскую шерсть, разноцветные меха для русских, масло...

Весной Олимпиада работала на субботнике по погрузке железной ломью пароходов. В соседней пристани, через забор, арестанты исправдома и буржуазия концентрационных лагерей таскали соль в баржи.

В перерыве Олимпиада прошла мимо пакгаузов к баржам. Работами арестантов руководил Никитин. Арестанты курили. Соленая грязь нежно лепилась на подошвы. Приятно было ее соскоблить с доски сходен, приятна изнеможенная сонливость мускулов.

— Можно вас на минутку? — вдруг услышала она.

Никитин отошел.

Перед ней, дергаясь паучьими морщинками висков, узкоплечий, с раскосым лицом казах.

— Не признаете, Олимпиада Семеновна?

— Нет.

— Я Чокан Балиханов.

Пожатие ее острое, как укол иголки. Чокан торопливо сел подле нее на пласт соли. Она не смотрела на него, и он перестал приглаживать клоками растущую бороденку.

— Я вас не задержу... я хотел попросить вас, чтоб мне чаще пропускали передачу. Назначены условные дни, а киргизы никак не могут разобраться... тем более часы и сорт продуктов. Здесь необходимо только одно словечко председателю Чека, даже коменданту лагерей... Или вот товарищу Никитину.

— Я скажу.

— Благодарю вас. У вас нехорошие воспоминания обо мне.

— Нет, почему же...

— Спасибо. Тут видите: гружу каждый день, иногда удается надсматривать. Публика не привыкла к работе, интригует... Василий Антоныч здоров?

— Он в Петербурге.

— Это мне известно. Здоров, значит?

— Да.

— Служит где?

— Учится.

— Превосходно. Храбрый воин, героическая личность. Он в «школе маршалов»?

— Нет, в другой...

— Я учился в политехникуме. Из него превосходный инженер выйдет...

— А вы почему знаете?.. Он пишет, что учение идет успешно... Я скоро, быть может, тоже туда вырвусь...

Олимпиада улыбнулась. Чокан разозлился и, положив ногу на ногу, без необходимости громко сплюнул.

— Конечно, выйдет... Я бы тоже продолжал ученье, но тут разве что достанешь! Учебники, окружающая среда. Во французскую революцию заключенная аристократия читала Овидия, Вергилия... перед эшафотом... А мы больше сплетничаем, подделываемся, интригуем. Я же на досуге занимаюсь этнографией. Вспоминаю легенды, предания. Записал на днях, например, один вариант сказания о голубых песках. Если желаете, расскажу.

— Успеете ли?

Он, порывисто взглянув ей в лицо, забормотал:

— Ее. Пока я с вами разговариваю, меня не позовут на работу. Капп. Произошло это задолго до Карла Маркса и даже до Корана. На месте Семипалатинска стояли семь дворцов из необожженного кирпича, их крыши были из дунганского фарфора. Монгольская орда Бык-Буу устала от суровой окружающей ее природы, захотела воды, которая бы доставалась даром, и заклубила дороги, ища счастья. Не успели обтрепаться нитки у подрубленных краев кафтанов, как народ попал в некую пустыню Убы. Почва ее была отличного голубого цвета, так что, когда временами ветры подымали пыль, народ думал — он на небе. Счастье всегда кажется удоб-

ным и маленьким. Народ искал его во всех расщелинах. Обширны были поиски, пуховые платки стерлись об волосы, и женщины ходили гологоловыми, подобные зверю. Народ беспокойно вскидывал ртами слюну, словно лошади, которых тревожит овод. «Для чего растет высокая полынь, — говорили они, — для чего мы ищем и где найдем?» Много вождей умерло... но в последнее время выделился своей смелостью юноша Зоршинкид. Он хорошо умел делать жубат — пустяками утешать человека. Он сказал, что умершие вожди скрывали от них, потому что боялись пустить туда народ, — скалы и пропасти: вождей могут убить, — есть в скалах гор пустыни Убы золотая дорога, ведущая вверх, к счастью; там, вверху, кому нужно, — будет хлеб, масло и сыр, женщины и кони, юрты и постели. Народ заклубился в скалах. Но он уже пожрал весь хлеб, скот имел суровое лицо. И, когда увидали лепящуюся по скалам над пропастью золотую дорогу не шире ладони, у немногих были силы подойти к началу ее. Мудрецы говорили речи; молодежь собрала силы и побежала вверх по дороге. Все они расшиблись, и на голубых песках было много крови. Тогда Зоршинкид сказал: «Я вынесу вам счастье». Он простился с любимой девушкой: у какого героя нет любимой девушки? Ее. Завязал глаза и ощупью побрел вверх по золотой дороге. Голубые пески несли голубую пыль над ним, и всем казалось, что Зоршинкид уходит в небо. Но он ушел и не возвратился. Возможно, что, устав идти, подобно слепому, он понадеялся на свой успех и развязал глаза. Увидал пропасти, охнул — и скатился. Может быть, поскользнулся, потому что он был истинным героем, и, когда голодал народ, голодал и он, — значит, он был слаб. Народ подождал, подождал — дольше всех ждала его любимая девушка, но и она возвратилась к старым жилищам, где вновь расселился народ Быык-Буу. У скал, ожидая друга, издохла одна собака. Но ее имя забыто... А по другим вариантам, имеющимся у меня, видно, что народ кидается вслед Зоршинкиду. Горы удивляются их смелости, пропасти закрываются, и все они, за исключением мертвых, попали в круг счастья...

Олимпиада встала. Не оборачиваясь, сказала на ходу:

— Почему вас еще не расстреляли?!

Чокан бессмысленно посмотрел на ее брови. Они седеют у переносицы. «Самая хитрая лисица — седобровая», — вдруг вспомнилась ему киргизская пословица. Он, комкая соль в руке, шагал за ней:

— Знаете... знаете... забыли. Но вспомнят.

И вдруг остановился:

— В чужой орде ханы всегда были рабами...

«Он смелый», — подходя к погрузке, подумала она.

Подъехал в телеге разъезжающий по работавшим партиям оркестр. Инструменты, наверное, теплые, и ревут они, словно прыгая по воздуху. Барабанщик поджал губы, жалеет — в «Интернационале» барабану мало работы. Он ждет «Марсельезу».

За оркестром загудел пароход. Был он блестящий, белый, словно одна глыба соли. Железную ломь застенчиво прячет под себя.

Поднимали громадную ржавую балку. К ней прилипали грибы и мягкие щепы.

— Раздавит, — закричал какой-то рабочий на подходившую Олимпиаду.

Она уже хотела согнуться, но красноармеец подал ей записку.

На махорочной обертке Чокан писал жирным черным карандашом:

«Ради бога... я больной... простите за сказанное... я больн... одичавший челов.... я прошу... кругом дрянь... не забудьте... Никитину... все-таки...»

Олимпиада не дочитала до конца. Она отшвырнула.

— Поо-одхо-оди, на-аа-летай...

Она подставила плечо.

Железо показалось жидким, потому что сразу осело по всему телу. Глубоко отяжелели кости, и пот выступил по вискам. Ботинки — словно скатываются каблуки...

— Шею уберите, заест, — прохрипел ей в спину чей-то жгущий кожу голос.

Каждый вершок трапа вдвое тяжелит балку, каждый сучочек доски налит кровью и трепещет, больно отдаваясь в ушах. Какая длинная дорога!

Олимпиада несла...

1923

ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДДЫ

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

История мытья посуды и рассказ Дава-Доржи о трехсотом пробуждении Сиддарты Гаутамы, прозванного Буддой

...Один Будда являлся в бесчисленных видах, и в каждом из бесчисленных видов — является один Будда.

Камень, поставленный близ Пекина 1323 года 16 числа, 3-й Луны

Котелок придвигается к трубе по возможности поближе. Дрова нужно класть подальше от стенок печи, ибо пламя, устремляясь вверх, покрышку печи накаляет быстрее, чем при обычной топке, и тогда картофель варится ровно шестнадцать с половиной минут. Есть картофель нужно сразу, с кожурой и в оставшейся горячей воде вымыть лицо, затем руки и, наконец, посуду.

Едва профессор спустил руки в воду, едва лишь тонкое тепло обволокло его руки, как в дверь постучали.

— Обождите десяток минут, — крикнул профессор Сафонов. — У меня в сутки двадцать минут теплой воды. Я спешу вымыть посуду.

Он быстро взял щепоточку золы и сильно потер тарелку. Надо спешить. Стук повторился.

— Я не медик, медик выше, — еще громче крикнул профессор, озлобленно вскидывая тощие свои брови. — Здесь живет профессор Сафонов, ничего не понимающий в медицине, голодный, холодный. Прошу проходить дальше, или обождите, если вас интересуют вопросы истории Востока — я кое-что понимаю в этой области, хе-хе!

Живот профессора наполнен приятным жаром картошки, его руки в теплой и веселой воде. Профессор обеспокоен. Стук в двери сильный и как бы сытый. Профессор, надев меховую шапку и шубу, идет к дверям. Перед дверным крюком, грохоча цепью, он обозленно кричит:

— У меня только третьего дня, милостивый государь, да и вчера, — простите, запамятуешь, приходили ваши с обыском. У меня нет столько теплоты в квартире, чтобы каждый день допускать обыски. Имеете ли вы, черт возьми, полномочный ордер?

Из-за двери отвечают неторопливо, но громко:

— Мне нужно профессора Виталия Витальевича Сафонова по личному делу.

— У меня нет личных дел, я голоден и одинок.

Но все же профессор, придерживая воротник у горла, снимает крюк.

— Медик этажом выше, милостивый государь, и какого черта вы стучитесь, если вам говорят «обождите».

— Господин профессор, мне необходимо видеть вас.

Человек в солдатской шинели и фуражке быстро, не обращая внимания на профессора, прошел в кабинет. Рукава шинели необычайно длинны, шинель подпоясана узким лаковым поясом. Профессор, догоняя солдата, сказал со злостью:

— Еще человечество надеется на продолжение жизни, — каждый день по нескольку раз стучат ко мне, в то время как знают, что другой профессор, медик, этажом выше. Они еще лечиться хотят...

— Надежда, как перо, мала, а указывает мудрейшие пути, — сказал солдат, не оборачиваясь.

— И превосходно, надейтесь, а я не желаю надеяться и к медику вам путь указывать не намерен. — Профессор плотно прикрыл дверь кабинета. — Я могу понимать мгновенно, милостивый государь, я привык. Если вас послали предложить мне картофель и муку, говорите. Но предупреждаю вас: у меня только книги. У меня пустота! Вчера я, академик и автор почтеннейших трудов, ночью крался по Неве, дабы украсть доску из баркаса. Я пират, милостивый государь... В минуты тепла я ни с кем не разговариваю, я снимаю пальто, шапку, — читаю и пишу. Можете снять свое пальто, вашу шинель...

Солдат тихо берет миску из рук профессора.

— Простите, гражданин, но там нет картофеля, я его съел. Сейчас моется посуда, гражданин солдат.

— Я более опытен в мытье посуды, во-первых, а во-вторых, вы меня старше и мудрее...

— Не дадите ли вы за всю мою мудрость мешок картошки?

Человек в шинели расстегивает лаковый ремень. У человека неподвижное и злое лицо. Глаза у него маслянистые и темные.

— Я расстегну шинель, господин профессор, я не раздевался две недели. Меня зовут, господин профессор, Дава-Дорчжи, я из аймака Тушуту-хана...

— Говорите короче, а если хотите погреться, то в молчании греться более удобно. По опыту могу сказать, что вы можете скинуть верхнее платье на сорок минут. Видите, я снимаю...

Профессор, непонятно почему раздражаясь все больше и больше, тщательно закрывает вьюшку печи. Раздражает профессора и степенный вид грязного и почему-то всех презирающего солдата; раздражает его реденькая, словно выгнившая бороденка, тонкий и пискливый голос.

— Сообщайте причину вашего прибытия поскорее, не такое времечко теперь, чтоб нам вести нравоучительные разговоры. Мне важно иметь тепло и незамерзшие пальцы, гражданин солдат.

— В Ху-ху-хото, неизвестно откуда, подобно вот моему появлению, — как-то неумело улыбаясь, сказал солдат, — неизвестно откуда прибыл отшельник Цаган-лама Рачи-джамчо. Была осень. Сотворив умеренное количество чудес в городе, отшельник ушел в горы. В горах, гражданин профессор, его застала непогода.

— Чрезвычайно глупо! Ну зачем мне знать, что какого-то отшельника застала в горах непогода? Плевать мне и на отшельника, и на погоду... Говорите короче!

— В горах, уважаемый Виталий Витальевич, отшельник поселился для подвижнической жизни близ скалы Дангу-хода и здесь проводил время постоянно, читая номы, помогая людям изучать правила буддизма и ревнуя о совершенствовании своего духа. Войны и сражения проходили мимо него... Вскоре он распустил руки, сложенные в молитвенном положении, и в год Красноватого зайца...

— Сражения у скалы Дангу-хода?.. В год Красноватого зайца? В тысяча шестьсот двадцатом приблизительно?

— В тысяча шестьсот двадцать седьмом году, дорогой Виталий Витальевич. Я знаю, с кем разговариваю. Убедительно прошу вас выслушать меня. В этом году он построил кумирню высотой в пять цзяней в долине аймака Тушуту-хана, у горы Баубай-бада-раху, при истоках речки Усуту-гола. Там моя родина, так как я из аймака Тушуту-хана.

— Мне совершенно неинтересно это знать. Вы утомили меня.

— Подвижник, ради испрошения блага для лам, воинов, пастухов и всех одушевленных существ, замуровал себя в скалу Дангу и в этом положении прожил семь лет, претерпевая свой трудный подвиг, помогая людям усваивать закон и учение Будды. Он скончался в двадцатый год правления Шуно-чжи, проведя в созерцании около тридцати лет. Главнейшие ученики его Цагай-дайчи, Чакар-дайчи и Эрдени-дайчи, размуровав с достойным благоговением келью его, обрели уже не кости Цаган-лама Рачи-джамчо, они обрели там бронзовую золоченую статую — бурхан Сиддарты Гаутамы, прозванного Буддой... Так совершилось трехсотое пробуждение на земле высочайшего ламы Сакья, вечного спасителя существ и подателя всяческой добродетели...

Профессор сложил миски у стены. Солдат сидел неподвижно. Уже тепло уходило, скоро надо брать шубу: день тепла пропал. Профессор воскликнул раздраженно, потирая руки:

— Очень великолепно, очень! Спасибо, что сообщили такую увлекательную легенду...

— Именно, увлекательную, — пискливо ответил солдат.

— И все же, если порыться в хороших книгах, — эту легенду можно найти. Я даже, помнится, где-то читал ее! Книги кормили мои мысли, а теперь кормят мое тело. Не угодно ли: «Лависс и Рамбо. История девятнадцатого века» в восьми томах! Прекрасный коричневый переплет с золотым тиснением, можно выгодно продать. Там есть превосходные портреты и глупейшее содержание... Или вот, это может еще больше понравиться: «Двор Екатерины Второй». Почему я покупал такие книги? У меня была жена, она любила книги с золо-

тыми тиснениями, она предвидела голод и то, что во времена революций обостряется интерес к истории. Вот и вы...

— Владетели аймака Тушуту-хана, — прервал солдат, неподвижно глядя в лицо профессора, — владетели издавна с должным уважением берегли статую Будды. Канты по краям его одежды оторочены проволокой из золота, подобной же проволокой отделаны ногти.

— Превосходно, превосходно! Но, видимо, книги вам не подходят? Иным я ничем не обладаю, смотрите сами. Но если на деньги, то какова будет цена картофеля?

Картофеля, по-видимому, солдат не имеет. Солдат отрицательно мотнул головой. В этом мотании профессор заметил даже какое-то ехидство. Профессору нужно бы гнать солдата, но профессор спрашивает: может быть, мука есть? Ни муки, ни хлеба. Челюсть у профессора слабо вздрагивает, он предлагает надевать верхнее платье, ибо сорок минут тепла на исходе. И хотя солдат понимает, что сорок минут еще далеко не минуло и что, предлагая надевать ему платье, профессор как бы гонит его, солдат протяжно и хвастливо говорит:

— В аймаке Тушуту-хана, уважаемый Виталий Витальевич, я имею три тысячи голов скота, то есть имел до революции...

— А теперь отняли. И превосходно сделали! По справедливости, один человек, каким бы молчанием он ни обладал и какие бы великие планы ни держал в себе, он не имеет права держать три тысячи голов скота. Сколько это пудов мяса будет?..

— Революция как огонь: ест и не наестся. Но мой скот за время революции удвоился. Это мне точно известно.

Профессор торопливо подымает крюк двери. Внизу скрипят камни лестницы, — скрип склизкий, протяжный, нудный: кто-то тянет на верхние этажи бревно. Слышны вздохи, харканье. Лестница пахнет сыростью. Лифт обледенел и покрыт снежными мохнатыми сосульками. Какое ехидство нужно иметь, чтоб прийти и сообщить глупую легенду и то, что ты имеешь три тысячи голов скота в Монголии, за десять тысяч верст от Петрограда. Жалкие тоскующие люди!.. Профессору хочется утешить глупого монгола, и Виталий Витальевич говорит:

— Весьма благодарен за лестное сообщение легенды; запишу немедленно, несмотря на голод, холод,

недоразумения. Легенда необычайно ценная, особенно в наше время, не правда ли?

Рука у монгола твердая, жесткая. Лицо его обрадованно сияет, и он говорит несколько торопливо профессору:

— Весьма рад, что вы согласились. Я так и предполагал. Тогда же, в год появления бурхана Будды, явилось в песках воплощенное сомнение, но оно было немедленно же уничтожено нами. Я рад, что вы меня поняли, и обещанное мною вам стадо я еще более увеличу... На сто голов, — и три жены, да, увеличу.

— Какое обещанное стадо?

Монгол, весь сияя радостным лицом, исчезает в льдистых пролетах лестницы. Шаги у него звонкие и холодные. Да, на пороге холодно! Профессор задумчиво возвращается в кабинет. Здесь он, закутав поверх пальто ноги одеялом, пытается думать о картофеле, муке, о деньгах. Но мысли его возвращаются к тому чувству, которое мелькнуло в нем сегодня утром, когда он проснулся. Он почувствовал себя одиноким. Правда, это чувство длилось одно мгновенье, но и это мгновенье было очень тяжелым.

Три тысячи голов скота... пастух, наверное, не чувствует себя одиноким. Но ведь ясно, что в революцию необходимо, в целях самосохранения, сидеть дома и быть одиноким. Если одинок, то сосредоточишься на самом себе, будешь заботиться только о самом себе. Там, где раньше стены были улеплены афишами, сообщающими об увеселениях, о премьерах или концертах филармонии, теперь наркомы и Советы взывают о помощи грозными, охрипшими от битв и приказаний голосами. А сугробы взбираются все выше и выше и закрывают воззвания. И вот по сугробу, на уровне воззваний, уже залепленных снегом, уже неразборчивых, идет монгол Дава-Дорчжи из аймака Тушуту-хана... Дурак монгол! Если ты имеешь три тысячи голов скота, то почему ходишь в рваной шинелишке, и стучишься в незнакомые квартиры, и врешь, и придумываешь легенды о статуях Будды, врешь только для того, чтоб согреться у железной печки? И даже смелости не хватает, чтоб, перед тем как скрыться, сказать: «А я вам наврал, никакого Будды не было в аймаке Тушуту-хана на моей родине. Я голоден и замерз, я думал, в вашей миске остался

картофель или даже картофельная шелуха, ибо не знаю же я, что вы съедаете картофель вместе с шелухой».

И профессор с удовлетворением думает, что картофеля хватит на три дня, а если съедать половинную порцию, то на шесть или на неделю. И, кроме того, во двор забегала собака из соседнего дома — из квартиры, где живет комиссар продовольствия... Почтенный комиссар продовольствия кормит собаку... Нет, не беспокойтесь, пожалуйста, никакой собаки у комиссара продовольствия нет. Он сам живет голодно, он в дикой кожаной куртке...

Профессор выдумал забежавшую собаку, дабы отогнать мысли об одиночестве, так же как и выдумал монгол статую Будды в своем аймаке Тушуту-хана. Очень нужно Будде опускаться в аймаке Тушуту-хана — грязном, вонючем селении. Там даже вода пахнет падалью, верблюды усеяны огромными клопами, пастухи зубами бьют вшей, а у Будды — «ногти отделаны золотом»... Профессор тихо грозит пальцем: самому себе, легковерному и грустному монголу Дава-Дорчжи, остывшей печке, треску мороза на петербургских улицах...

Но тут в дверь опять стучат. Профессор без шубы, без шапки, со злостью потрясая руками, бежит к дверям и, срывая крюк, кричит озлобленно:

— У меня нет времени записывать ваши глупейшие сказания!

За порогом в кожаной куртке и коричневой кожаной фуражке с изломанным натрое козырьком любезно улыбающийся человек. Он вежливейше и тишайше спрашивает нежным дискантом:

— Разрешите узнать, здесь ли живет многоуважаемый профессор истории Сафонов?

— Никому еще не помогло, что я профессор Сафонов. Ко мне продолжают лезть. Никому это не помогло быть вежливым!

— Виталий Витальевич, если не ошибается адрес? Вы простите, Виталий Витальевич, все же. — И человек в кожанке, наилюбезнейше кланяясь, достает длинный пакет и с гордостью говорит: — Профессору Сафонову от товарища наркома по просвещению в личные руки...

И человек улыбается, потому что теперь-то известно — профессор не закричит, не вздумает возмутиться невежеством. Профессор смотрит на него, и взгляд его говорит: «Могу закричать, но чтоб не волновать тебя,

дурака, не закричу. Почтительнейше беру пакет и почтительнейше раскрываю». Человек понимает мысли профессора, человек хочет быть взаимно вежливым; он даже, сняв перчатки, голой рукой берет крюк и, как бы подчеркивая свою вежливость, говорит:

— Не заметили ли, на улице — двадцать пять по Реомюру. Нас ждет машина...

Хм, на машине приехал! Понадобился профессор Сафонов, так на машине приехал? А полено дров прислать не могли, и если бы труп нашли профессора Сафонова, кому бы пакет вручили? Профессор со злостью разрывает пакет и нарочно читает не то, что к нему обращено, а оборотную сторону бумажки:

— «Всероссийский союз городов, в дополнение к отношению своему, напоминает вторично...»

К чертовой матери летит почтительнейшая вежливость кожаной куртки. Раздается раздраженный голос:

— Вот дьяволы, саботажники, контрреволюционеры! В Чека таких, других путей нет. Важные отношения надо на чистой бумаге печатать, а они на обороте бланка союза городов, чтобы бедность нашу подчеркнуть. Переверните, гражданин профессор.

— «Народный комиссар просвещения. 16 ноября 1918 года. Проф. Вит. Сафонову. Народный комиссар просвещения просит гр-на Сафонова немедленно пожаловать на совещание экспертов в особняке бывшего графа Строганова по вопросу о статуе Будды. Народный комиссар (подпись). Секретарь (подпись)...» Ерунда какая, — восклицает профессор, — совершенно неправдоподобная бумага! Зачем мне Будда! Второй раз сегодня Будда.

Человек в кожаной куртке внимательно смотрит на бумагу.

— Действительно неправдоподобно, — соглашается он, — но это оттого, что я спешил. Подписи действительно нет, а одно пустое место. Но я сейчас подпишу, потому что секретарь-то — я. Химическим карандашом, — и вот вам вполне правдоподобная бумажка.

— А как же Будда, разве он существует, господин секретарь?

— Будда? А почему не существовать Будде, если существует бумажка. Разрешите вам заметить, что эти разговоры праздные и как бы невежливые, ибо нас ждут...

— Будда?

Человек в кожаной куртке ухмыляется бесподобному остроумию профессора. Действительно, куда спешить, если ожидает Будда. Нет, их ждет закон революции. Профессор замечает: химическим карандашом на фуражке секретаря наркома выведена звезда, пятиконечная и кривая.

День солнечный и тревожный. По Троицкому мосту идут матросы с карабинами за плечами. Автомобиль гудит, поворачивает... Кидается в сторону испуганная старушка в длинной шубе с воротником искусственного кенгуру. Какие-то важные и неуловимые мысли в голове профессора. Нужно их немедленно же собрать, соединить и развеселиться, и тогда тревога немедленно исчезнет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вязаные изделия, некоторые речи об археологических изысканиях и о Российской Красной Армии

> ...Важные пути тем дальше, чем укромное шествие становится медлительней.
>
> *Сыкун-Ту*

На ковры накиданы рваные рогожи. Рогожи, конечно, не защищают ковры от грязных валенок и сапог, но очень сильно показывают унижение дворца графов Строгановых. При входе часовой гордо курит трубку, сапоги у него укутаны ковром. Часовой искусно ловит пропуск трубкой и одним пальцем. Секретарь, неизвестно чем гордясь, говорит профессору, что даже и при появлении наркома часовой не встанет.

— И пропуск трубкой поймает?

Секретарь не понимает ехидности вопроса, но что-то в походке профессора ему кажется обидным, секретарь говорит:

— Теперь музей, а не частная квартира, а потому никакого унижения не выявляем, гражданин.

Почему они все страшно боятся унижения? Они говорят громкими голосами. Неправдоподобный свет льется через грязные, заснеженные окна. Все это очень похоже на аукцион. Вот к секретарю подходит человек в черной шинели, с круглым, как бревно, портфелем.

Растоптанные валенки косят, и длинный до пят шарф напоминает портьеру на низеньких дверях. Человек в валенках сразу начинает кричать человеку в кожаной куртке:

— И вечно вы, товарищ Дивель, не координируете действий! Сейчас звонят мне: вопрос о Будде, мол, дело не Наркомпроса, а комиссариата по делам национальностей. Следовательно, ни вы, ни нарком просвещения мне не нужны. Здесь должен говорить нарком по национальностям или его заместитель.

— Следовательно, по-вашему, товарищ Анисимов, я напрасно за профессором на Выборгскую сторону гонял? Я не позволю себя унижать, у меня вежливости хватит, но тем не менее такие свинства...

— Молчать, товарищ Дивель!

Товарищ Дивель, закатив глаза, тонким дискантом кричит совсем по-бабьи:

— Я тогда складываю с тебя ответственность за собрание. Я... вечные ведомственные трения... Я!

Он горячо жмет руку профессору, извиняется и сообщает, что произошло недоразумение, он не курьер, чтоб для комиссариата национальностей профессоров-экспертов разыскивать. Профессор может ехать домой. Как домой?.. Анисимов хватает профессора за рукав. Дивель за другой. Профессор смиренно и ехидно улыбается. Спорящие понимают его улыбку, но рукава все же отпустить не могут. Наконец Анисимов кидает портфель и подбегает к телефону.

— Аллё. Комендатура? Говорит комендант дворца Анисимов. Слушайте! Что? Да, да. Я, я!.. Сейчас пойдут Дивель и профессор Сафонов, так вот, у входа профессора задержать впредь до распоряжения, а Дивеля выпустить, пускай идет к черту, волынщик!

Дивель возвращается и кричит что-то совершенно непонятное, обидное перед лицом Анисимова. Они опять спорят; звонят в комиссариаты, требуют машину. Профессор садится в кресло. Мебель, портьеры, ковры — на все приклеены свежие нумерки. Действительно музей. В соседней комнате, видимо, канцелярия, оттуда несет табачным дымом и стучит машинка. Оттуда же с лохматой бараньей шапкой в руках выходит Дава-Дорчжи. Появление это не удивляет профессора, только как будто прибавляет в нем ехидства. Дава-Дорчжи спокойно говорит спорящим:

— Заместитель наркома выехал. Он просил передать выговор товарищу Дивелю за нераспорядительность и товарищу Анисимову за суетливость, или наоборот, не помню.

Дава-Дорчжи явно врет, но секретарь и комендант смотрят на него растерянно и смолкают немедленно. Дава-Дорчжи садится на ручку кресла и говорит в лицо профессору:

— Я забыл добавить к истории Будды еще рассказ о храме, Распространяющем Спокойствие. Хотя этот рассказ относится к более поздним временам, но к событиям вокруг бурхана Будды имеет непосредственное отношение. Надо сказать, что аймак Тушуту-хана в эпоху династии...

— Аймака Тушуту-хана нет. Он сгорел в тысяча двенадцатом году и с того времени не восстановлен, — неожиданно для себя врет ему профессор.

— Насколько мне известно, его восстановили весной текущего года, — немедленно и явной же ложью отвечает ему Дава-Дорчжи. И, помолчав мгновение, он добавляет значительно: — И это восстановление тоже имеет отношение к событиям вокруг бурхана Будды.

Профессор понимает, что теперь-то ему надо сказать, что он, Виталий Витальевич Сафонов, находится вне опьянения революционным экстазом, что у него мало времени предаваться праздным и трудным мыслям, ему надобно работать, он не может ездить осматривать все дворцы, захваченные революционерами, — ему надобно немедленно ехать домой. Сказать это надо смиренно, тихо, а Дава-Дорчжи несомненно отпустит его. Вернее, соврет что-нибудь необычайно пышное, и профессора выпустят. Но вместо всего этого профессор глубоко надвигает шапку на уши и говорит многозначительно и медленно:

— Да, события вокруг бурхана Будды становятся для меня все более и более ясными.

Дава-Дорчжи отходит от кресла, наклоняет голову. Лицо его неподвижно, глаза сияют.

— Я рад. Все задуманное вами кончится быстро. Вон идет Цвиладзе, заместитель наркома по национальностям. Человек он горячий, как и подобает грузину, ибо в их стране так же много винограда, как в нашей — легенд. Он горячий, но мудрый для своих лет. Сюда, Виталий Витальевич, сюда...

Толпа черноволосых и широкоскулых людей в солдатских шинелях и стеганках осторожно стоит на рогожах. Пахнет казармой: кислым хлебом и капустой. К этим запахам примешивается тонкий запах овчин и растаявшего снега на лыках. Солнце осторожно пробирается мимо ног на рогожи. У одного из солдат обмотки завязаны электрическим проводом. Дава-Дорчжи, прямой и широкогрудый, надменно смотрит в лицо товарища Цвиладзе. Но глаза толпы обращены выше рослого заместителя наркома. Взгляд толпы рассеянный, сонный, но как бы вековой. Профессор ощущает усталость и тоже подымает глаза.

До половины окна дотягиваются и бессильно свисают ветви сосны. Зелень их почти синяя, и выше этой зелени в окне сверкают золоченые плечи. На высоком мраморном пьедестале — литой, полуторасаженный, золоченый, в высокой короне Будда. На ладонях и ступнях у него лотосы. Около висков веероподобные украшения. Профессор опять вспоминает: «Канты по краям его одежды оторочены золотой проволокой, ею же отделаны ногти». Ну и глупо, глупо! Почему же Виталий Витальевич Сафонов, профессор истории Востока, должен стоять и думать о золотых кантах на статуе Будды? Пускай думают о кантах эти сонноглазые люди. Может быть, и гортанный голос Цвиладзе напоминает им вечерние или утренние голоса коней. Каждый странник должен гордиться тоской по своей родине... Сафонов не странник, он хозяин, он дома...

Заместитель наркома высокогруд, в сером пиджаке и серой барашковой шапке. Из кармана у него торчат газеты, он говорит быстро и с какой-то насмешливой уверенностью:

— Товарищи и граждане, все трудящиеся Востока! Приветствую вас от имени Совета Народных Комиссаров. В вашем лице, товарищи и граждане, мы видим пред собой представителей далекой Монголии и, кажется, даже Китая. Позади меня статуя Будды, вывезенная из монгольского ламаистского монастыря, святыня монголов, захваченная в аймаке Тушуту-хана царским генералом и палачом монгольского народа Савицким. Статуя эта является религиозным фетишем: предметом поклонения для монахов и одураченных ламами темных масс. Однако, товарищи... мы, пролетарии, умеем уважать не только принципы национальности, но и иск-

реннее религиозное чувство. В то время как царский генерал Савицкий проиграл в карты графу Строганову статую Будды, мы, коммунисты, уважая ваши национальные требования и сознавая, что там, где национальное объединение и самоопределение разбивают и уничтожают отжившие рамки патриархального и родового быта, там, где разбивают реакционные узы семьи, рода, племени и соседской общины... где создают необходимую историческую почву для классовой борьбы, — там коммунизм выдвигает национальное объединение в противовес патриархальной анархии и внешнему иноземному национальному гнету. Мы желаем, чтобы складывались национальные типы киргизов, туркменов, монголов... Все же, товарищи, если мы помогаем вам выявить свое национальное лицо, то это не значит, что мы идем на помощь церковникам, ламам и монахам. Поэтому, товарищи монголы, постановление Малого Совета Народных Комиссаров о передаче в руки представителей монгольского народа находящейся здесь в покоях...

Заместитель наркома поднял кулак и, злобно тыча им в японские гобелены, тибетское оружие и на окружающие статую низенькие черного пахучего дерева крошечные божки, воскликнул:

— ...в покоях графов Строгановых статуя Будды из аймака Тушуту-хана, — еще не значит, что большевики покровительствуют ламам! Нет! Статуя Будды передается как музейная редкость, как национальное художественное сокровище. В наблюдение за точным исполнением инструкций Наркомнаца у монгольской границы будут допущены в Монголию представители советской власти на местах... Из центра же командируется для сопровождения перевозки политический комиссар товарищ Анисимов.

— Нами рекомендуется в качестве представителя экспертов товарищ профессор истории Востока Сафонов, — вдруг торопливо, даже вздрогнув, выкрикивает Дава-Дорчжи.

Заместитель наркома мельком глядит на монгола и повторяет:

— Совершенно верно, профессор Сафонов командируется в качестве...

Виталий Витальевич всего ожидал, но этого... он бормочет что-то несвязное: мои труды, белые ночи.

Дава-Дорчжи ловит его на этом бормотании, на растерянности. Подавая заместителю наркома выпавшие из кармана газеты, Дава-Дорчжи лениво говорит:

— Господин профессор, по-видимому, желает вам возразить.

И тогда, сжав в кулаке газеты, Цвиладзе с внезапным кавказским акцентом восклицает быстро, проходя мимо профессора:

— Гражданин профессор, вэ... когда идет рэволюция, нет возможности вилять хвостом. Завтра в одиннадцать дня — ко мне, в Наркомнац, за инструкциями, за мандатами, — и, кинув газеты на рогожи, оборачивается к монголам: — Да здравствует международная революция и раскрепощение трудящихся Востока.

— Ура-а!..

Громче всех кричит Дава-Дорчжи. «И все врет, и все врет», — думает профессор. Дава-Дорчжи, словно угадывая его мысли, подходит к нему. О, ему чрезвычайно приятно ехать с таким просвещенным спутником! И у него действительно веселое лицо. Он провожает профессора до ворот. Оба они минуту смотрят на пустынный Невский. Темнеет, проспект походит на лесную просеку, ветер несет холодный снег.

— Мы все получим по вязаной фуфайке, — вдруг тихо говорит Дава-Дорчжи, — мне обещали. Вернее, у меня уже ордер есть на вязаные изделия.

— Мне нужно жить в Петрограде, — так же тихо отвечает ему профессор, — я не желаю покрывать... ваши фокусы.

— Вы имеете возможность отказаться от фуфайки, Виталий Витальевич. И зачем нам фуфайки, когда миллионы народа сейчас голодают, в тифу. Да, революция научила нас великому чувству, не правда ли, — это стыдиться богатства. И чем дальше революция продлится, тем все глубже и глубже будет это чувство, и это самое важное в мире. От этого чувства появился Будда...

— Вы думаете посмеяться надо мной: что старика профессора, как комиссара, можете направить. Я смогу найти на вас управу. Я!.. — Виталий Витальевич понимает, что так утвердительно говорить нельзя, что это указывает на его слабость. И Дава-Дорчжи ухмыляется самодовольно. Он стоит долго, потирает кончики пальцев о шинель и смотрит, как профессор, слегка припадая на левую ногу, идет через Мойку к арке Генераль-

ного штаба. На мосту через Мойку несколько мальчишек с салазками: они катаются. Петроград совсем похож на деревню: у окон сугробы, проруби на реке, в небе редкие дымы из труб. Небо низкое, светлое. Женщина в солдатской шапке несет мимо профессора конскую голову. И Дава-Дорчжи еще сильнее трет пальцы, ибо профессор останавливается и спрашивает больше по привычке: «Продаете?» И женщина, тоже, должно быть, по привычке, стыдливо глядя себе в ладонь, отвечает: «Нет». Да, люди стыдятся быть богатыми, им стыдно иметь конскую голову, — и тут ли не поехать профессору, — в командировке выдают продукты, усиленный паек...

Дома профессор думает о пайке. Наполнив котелок картофелем, профессор кидает дрова в печь и начинает собирать рукописи. В комнате становится теплее, профессор думает: кому он оставит на сохранение свои рукописи? Он перевязывает рукописи бечевками и сверху на каждой рукописи жирным красным карандашом пишет: «Рукопись профессора В. В. Сафонова, уехавшего в правительственную...», подумав, переправляет: «уехавшего в научную командировку на границу Монголии. Просят обращаться осторожно». Рукописей много. Он подкидывает в печь дрова. Тепло. Но дров все же жалко, и он кидает в печку черновики, ненужные книги. Сколько ненужных книг и сколько нечитаных!

Но вдруг он останавливается. Как же так произошло и какая причина заставила его согласиться на поездку в Монголию? Ведь если пойти завтра в Наркомпрос, то распоряжение Наркомнаца легко можно аннулировать. Тем более что и Дивель поссорился с Анисимовым. Паек!.. но ведь если и здесь похлопотать, наконец, согласиться почитать лекции красноармейцам, ему давно предлагали читать лекции гарнизону Петропавловской крепости... Дава-Дорчжи не угрожал, хотя он весь и наполнен какими-то темными планами. Нет, авантюризмом наполнена вся земля; он, старый профессор Сафонов, на шестом десятке лет, как мальчишка, как гимназист, увлеченный экзотикой, легендами, соглашается ехать в Монголию. Глупый, грязный монгол, возможно — переодетый лама, везет его для каких-то своих, может быть, грабительских целей. А он уже собрал рукописи... Из печки вырывается бумажный пепел, он реет по комнате. Профессор сонно смахивает пепел со щек.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Политрук Анисимов говорит о Российской Красной Армии, то есть то, что он не успел сказать во второй главе

...Так: лев, сиречь смерть, весь род человеческий мучит и раздирает, а ты сего аспида одной рукой поведешь.

Г. С. Сковорода, «Письма»

— Необходимо голову завязывать платком, иначе от бумажного пепла выпадают волосы. Да и мыть голову трудно при мыльном кризисе, — так начал появившийся после десяти часов вечера политрук Анисимов. Он насвистывает, он доволен своей энергией. Анисимов помогает профессору сгребать в печь бумаги.

— Монгол с вами разговаривал?

— Разговаривал долго, аж в пот вогнал, гражданин профессор.

— О чем же он с вами разговаривал?

— Совсем не помню. Но говорил действительно много.

— И не казалось ли вам, что монгол Дава-Дорчжи многое выдумывает? Не врет, а как бы сгущает то, что он знает, и это как бы вас тревожило. Уж не может же быть такой неправдоподобной жизнь...

— Жизнь может быть неправдоподобной, — вдруг остановившись собирать бумаги, говорит Анисимов. — Я только что с фронта, и жизнь Красной Армии — совершенно неправдоподобная жизнь.

— Как же это так? Тогда ведь, если жизнь армии неправдоподобна, и то, за что она воюет, тоже неправдоподобно, и, завоевав это неправдоподобие, она заставит нас жить черт знает в чем и где, в легенде какой-то. Мне кажется, что об армии с вами тоже говорил Дава-Дорчжи.

— Нет, об армии он не говорил. О Красной гвардии мы разговаривали, но Красная гвардия, конечно, правдоподобна.

— Почему же правдоподобна была жизнь Красной гвардии? Да, я вас понимаю. Вы хотите сказать, что жизнь Красной гвардии еще не была машиной, механизированной, то есть что там, больше чем где-либо, борьба походила на борьбу на баррикадах.

— Совершенно верно...

Анисимов весело улыбается. Улыбка у него совершенно детская, лицо мягкое и без тревоги, и оттого появление Анисимова в десять часов вечера кажется еще более странным. Чтобы сделать ему приятное, Виталий Витальевич спрашивает:

— Дивель жаловался на ваше распоряжение о моем аресте при выходе?

— Дивель, этот? Поорал, и будет. Вечером в пешки приходил играть. Он меня и направил к вам: пойди, говорит, человек-то, наверное, волнуется. Вот я пришел: вы не волнуйтесь, мы мигом слетаем в Монголию.

— Я не волнуюсь, но меня удивляет: зачем я, профессор истории, должен сопровождать статую Будды в Монголию? Есть ли в этом смысл?

— Есть.

— Объясните!

Профессор с тревогой посмотрел в лицо Анисимова. Если этот ясный и простой человек так легко говорит, что есть причина, — значит, эта причина неизмеримо велика и важна для человечества. Анисимов улыбается.

— Это мне-то вам объяснять? Да вы и без меня знаете, даже и лучше меня. Вы ведь раньше меня согласились ехать.

— Раньше вашего прихода — вы хотите сказать?

— Ну да.

— Раньше.

— То-то и оно. А я шел вас уговаривать. Вот вы, значит, и без меня поняли — и поняли до точки. А я все шел и думал: как бы это ему складно и толково объяснить? Я объяснять люблю. Вы давно в профессорах?

— Двенадцать лет.

— В партии не состояли?

— Нет.

Анисимов счастливо расцвел.

— А я в партии третий год. Вот как... Так, значит, завтра едем. Хлопот-то завтра, хлопот...

И точно: утром пришлось им ждать три часа, пока подписали уже давно заготовленные мандаты. Полсуток бегали, добывая наряд на теплушку. Теплушка оказалась без печки. «А мы вашу прихватим», — вдруг заявил Анисимов Виталию Витальевичу, и неожиданно Виталий Витальевич обрадовался, что печка поедет с ним.

Возвращаясь с вокзала, увидали они на Невском, как черный, груженный дровами грузовик, далеко воняя бензином, волок громадную телегу с толстыми чугунными колесами. На телеге несколько солдат придерживали тесовый ящик, обтянутый сбоку канатом. Ящик был свеж, ярок, и весело-весело прыгали на нем наляпанные суриком буквы: «Верх, осторожно».

— Вот наша динамика-то, и Будду и дрова по пути везут. И телесное тепло и душевное... Пойти помочь, что ли... — Анисимов лихо раскланивается с Дава-Дорчжи. Профессор гневно проходит мимо. Грузовик катит мимо Знаменской гостиницы.

Позже везет профессор свое добро на салазках к вокзалу. Трамваи стоят. Линии рельсов занесены снегом. Снег застыл, как лед. В лаптях и шинелях, перетянутых ремнями, под красным кумачовым знаменем, обгоняют профессора солдаты. Он устал, и оттого на мгновение ему кажется, что они займут его теплушку. Он скользит, торопится. «Буржуй торговать едет,— кричат солдаты,— обсмотреть бы его, ощупать!..» Дава-Дорчжи встречает его у подъезда. Отталкивая подбежавшую к профессору жалкую старуху («Продать, милый, хлеба нет ли али менять»), монгол ведет его среди людей, лежащих вповалку на грязном, заплеванном полу вокзала. «Правей, правей, гражданин профессор. Если б я обладал свободным временем, я приложил бы все усилия для помощи вам. Но снег твердый, санки ваши подкованы железом, я полагаю — вы не утомились».

Профессор тяжело дышит. Грудь колет. Каждый раз, как он видит Дава-Дорчжи, ему кажется, что происходит какая-то унизительная нелепость. Теперь вот кажется, что здесь, на вокзале, произойдет необычайное важное событие... если задержатся. Надо спешить.

— Когда поезд отходит? Анисимов пришел?

— Не беспокойтесь, до отхода поезда бесконечное количество времени, и товарищ Анисимов не опоздает.

— Но у него все мандаты и документы.

Дава-Дорчжи возмутительно бесстрастен. О, он знает такое слово, которое важнее всех мандатов и документов, с этим словом... С таким лицом, наверное, проходили Русью татары.

Стены теплушки обиты войлоком, вынутым из подстилок. Солдаты спят на соломе. В углу круглая железная печка профессора. На полене подле печи, в бутылоч-

ке, керосин с коптящим длинным фитилем. Коптилку поправляет женщина. Профессор не видит ее лица: на дворе сумрак и снег. Внизу, под полом, пробегают, постукивая по колесам молотком. За печатью, во всю длину вагона, тесовый ящик. От него пахнет смолой, поблескивают светом коптилки новые гвозди. Тесный промежуток между стенами, стеной вагона и ящиком заложен кирпичами. С кирпичей тает снег. К запахам смолы примешивается запах воды. Будда, Сиддарта Гаутама, плывет в новой лодке. На лодке надпись суриком: «Верх, осторожно».

Дава-Дорчжи маленьким топориком колет дрова.

— Не считая вас, профессор, у нас наряд на двенадцать человек. Вы и товарищ Анисимов едете по другому литеру. Но двенадцатый человек отказался ехать на родину, и я взял женщину...

— Почему он отказался ехать?

— Он умер. Я взял женщину, она монголка. Я поступил мудро.

— Она чья-нибудь жена?

— Не знаю, возможно. Но она — женщина, — хихикнул он неожиданно. — С женщиной у нас будут ссоры и драмы, и мы будем узнавать друг у друга весьма легко характеры. Не правда ли, я поступил мудро?

— Мудрость — это поступать так же, как вы поступали вчера. Иной мудрости нет.

— Вы ловите мои мысли, профессор. Эта наша мудрость, и вы думаете, что, высказав ее мне, вы добьетесь у меня ее объяснения. Вы правы, в этой мудрости самое важное — объяснение.

Полено не колется. Дава-Дорчжи распахивает дверь и спрыгивает. Морозно звенят буфера. К составу прицепляют паровоз. Бранится машинист. У дверей, размахивая портфелем, что-то торопливо говорит Анисимов.

— Где ж ваш багаж? — спрашивает профессор. Анисимов указывает на портфель и, отставив широкий и длинный валенок, отвечает поучением:

— Какие же в коммуне багажи? Отсталый индифферентизм... Вот мы вчера с вами о Красной Армии разговаривали, а сейчас в третьем классе митинг затеяли. Меньшевичок нашелся. Вот я им и покажу. Что, портфель оставить? А на чем же я спать буду?.. Я не отстану, не отстану...

Анисимов исчезает. Профессор возвращается к печке, он греет руки и говорит:

— Я одинок, господин Дава-Дорчжи. Я верил, что благодаря своим трудам я приобрету тихую старость, то есть сытость, тишину...

— У нас добавляют: молодую жену, господин профессор. Я обещаю вам счастье и молодую жену, шестнадцати лет, не более. Она будет вас любить, ибо у нас женщины любят больше всего мудрость. А вы мудры, вы сразу поняли меня... Вы возвращаете этой поездкой свою молодость, вы сможете еще долго заниматься трудом, умственным трудом, великим трудом, единственным, которым может гордиться человечество. Что сила, если в мгновение ока бык валит самого сильного человека земли? Что голос, если гром заглушает голос целых армий?..

— Я вас не понял, вы выдумали меня...

— У нас впереди много времени, гражданин профессор, и для объяснений, и для благочестивых размышлений... Да будут затканы драконами ваши мысли, Виталий Витальевич.

Монголы ровняют солому для сна. Женщина уходит в угол. Солдаты собираются и слушают лениво говорящего Дава-Дорчжи. Дава-Дорчжи проводит пальцем черту: они садятся по этой черте на корточки удивительно ровно. «У восточных народов есть чувство, не свойственное нам, геометрическое чувство»,— думает профессор.

А вовсе надо думать не о геометрическом чувстве, нужно думать о другом, то есть захотеть думать о другом, заставить себя думать...

...Роль Красной Армии в русской революции, необычайные принципы организации армии. Товарищ Анисимов говорил и понимал, что остановиться нельзя, ибо те необычайно сильные доводы, которые он придумал, ускользнут. Меньшевичок уцелеет. А прервать нужно было бы для того, чтоб попросить коменданта станции задержать на десять минут поезд, пока товарищ Анисимов не кончит речь. Где догадаться самому коменданту? Вот он, разинув рот, смотрит на оратора,— и товарищ Анисимов в продолжение сорока минут громит подлого меньшевика. Поезд тем временем уходит...

...В теплушке, у соснового ящика с Буддой, молились монголы. Дава-Дорчжи, распластав перед Буддой руки, читал восхваления:

— Преклоняю колена с выражением чрезвычайнейших почестей пред своим высочайшим ламою, видение которого не имеет границ, и даже пылинки, поднимаемые ногами его, являются украшением для чела многих мудрецов. Молитвенно слагаю свои ладони. Разбрасываю хвалебные цветы перед обладающим могуществом десяти сил, драгоценностью нежных ногтей, которыми украшены короны ста тэнгиев. Благословенно...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Мундиры итальянцев и французов, павлиньи хвосты, а также разговор о клозете великого князя Сергея Михайловича

Мысль живет ранее кисти.
Очарование пребывает вне картины,
Подобно звуку, гнездящемуся в струне,
Подобно дымке, делающейся туманом.

Ху-Ан-Юе. «Категория картин»

Снаружи, на дверях, профессор крупно мелом написал: «Вход воспрещается. Служебная народного комиссара просвещения». Все же солдаты заглядывали и спрашивали: «Нельзя ли, товарищ, доехать?» Дава-Дорчжи говорил: «Груз сопровождаем. Проходи».

Весь день в теплушке монголы пьют чай. На станциях кипяток захватывают ведрами, и женщина один за другим подогревает чайники. За чаем они говорят о скоте, о лекарствах и религии. Иногда, зевая, Дава-Дорчжи ложится на спину и медленно, точно вдевая в иголку нитку, переводит профессору разговоры солдат. Часто они что-то продают, торгуются, хулят и хвалят продаваемое и сговариваются пожатием пальцев, причем один опускает рукав, а другой всовывает туда руку. Пожав тайно пальцы, — сговорившись, — монголы опять пьют чай.

Вначале профессор записывает разговоры, мысли, встречи, но бумагу он теряет и, прикрыв ноги одеялом, целыми днями сидит перед печью. Ночью на станциях солдаты воруют дрова, доски, какие-то шпалы. Станции забиты поездами. Звенят, напрягаясь, линии рельс.

Теплушки забиты солдатами, женщинами, мешочниками. Со звоном, визгом и гулом проносится все это мимо. Иногда теплушку ставят в тупик, и она днями стоит там, пока ее в ночь не прицепят.

Внезапно, где-то па разъезде, в теплушку вбегает товарищ Анисимов. Шарф у него еще грязнее, а валенки в саже. Стукнув кулаком по ящику, он оторопело кричит:

— Здесь! Едешь! Еле нашел вас, ладно — номер запомнил. Тифозных нету? Сейчас борьба с эпидемиями. Белогвардеец прет. Я сейчас!..

Опять бежит. Портфель у него стал тоньше, волосы — цвета старого хлеба — растут где-то по носу. Он, хватаясь за голову, вскакивает на паровоз проходящего поезда и опять исчезает.

Профессора раздражает лень, ежеминутные чаи, своя неожиданная поездка, свое неуменье устраиваться, холод и ветер за дверями. Ложась спать, он говорит Дава-Дорчжи:

— Я вынужден буду предупредить политрука, гражданин, что в вашем лице едва ли едут представители трудового народа Монголии.

Дава-Дорчжи шуршит соломой.

— Разве Виталий Витальевич знает трудовой парод Монголии? Сам заместитель наркома докладывал вам, что у нас пятьдесят процентов населения — ламы.

— Политруку неизвестно, какое отношение имеете вы к статуе Будды... когда, насколько я понял вас, вы — гыген, настоятель монастыря, и вообще, с точки зрения политрука, лицо подозрительнейшее. Да-с!

— Разве я виноват в том, что священнейший и благословеннейший Будда в очередном воплощении своем избрал мое грешное тело...

— Вы же не говорили об этом заместителю наркома.

— ...Но он этому не поверит. Вы только один верите этому.

— Я вам верю?

— Тогда зачем же смеяться над религиозными предрассудками или верованиями других? Можно говорить о другом, например, о мундирах итальянцев и французов. Кстати, я знаю анекдот о мундирах, с присовокуплением павлиньего хвоста... Вначале я скажу вам не-

сколько слов, как я попал на германский фронт, а дальше буду...

Профессор, кашляя и почему-то ощущая дрожь в ляжках, говорит:

— Если бы я имел больше подлости, я бы сказал политруку о вашем офицерском звании... возможно...

Профессор Сафонов опрокинут, давится: жесткая солома забивает ему рот. Ноздрю больно колет, и склизкая теплота заливает ему нёбо. Дава-Дорчжи тычет ему кулаком в ребра и, отплевываясь, быстро бормочет:

— Счастье твое, помет, что меньше подл!.. а! Я тебе покажу офицерское звание. Тебе что, хлеба мало или мяса захотел, сволочь? Наран. Ыйй!..

Женщина зажигает коптилку. Дава-Дорчжи вскакивает. Профессор выплевывает солому и напуганно бормочет извинения. Дава-Дорчжи быстро застегивает шинель, он глядит в угол и говорит:

— Если вам не хватает вашей порции хлеба, мы можем добавить. Если вам нужна женщина, я ей скажу, чтоб она легла с вами, — она же не понимает по-русски.

— Отстаньте от меня! — говорит тихо профессор.

Тогда Дава-Дорчжи распахивает дверцы и смотрит вниз под колеса. Солдат, закрываясь тулупом, кричит:

— Закрой, и так понимат!..

Женщина гасит коптилку: керосину мало, нужно беречь. Дава-Дорчжи говорит из тьмы:

— Или вас интересуют анекдоты более легкого содержания? Тогда я бы мог рассказать вам прекрасный анекдот из жизни великого князя Сергея Михайловича. Клозет великого князя, как вам известно, часто заменял ему кабинет. Там у него была библиотека, преимущественно из классиков, легкий музыкальный инструмент и виды Палестины...

Профессор тычется лицом в солому. От печки несет холодным железом. Солдаты храпят.

— Как вам не стыдно!

— Я тоже думаю, профессор, как это два интеллигентных человека не могут найти общей темы для разговора... А я же все стараюсь говорить о вашей русской культуре, совсем не касаясь наших степных истин. Я ведь полагал совсем иное... хотя вы прекрасно сможете обосноваться в Сибири... там есть хлеб и все потребное для вашего существования. Я не настаиваю на Монголии.

Профессор вспоминает со злостью, что Дава-Дорчжи ходит, несколько скрючивая ноги. Видимо, ему доставляло удовольствие чувствовать себя степняком. О русских он говорил презрительно. И опять со злостью, млея сердцем, подумал профессор: «Этаким он стал после революции. Он после революции говорит так о России». Чтоб убедиться, он говорит в тьму:

— Вы где учились?

— В Омском кадетском... Увы, считали нужным и воплощенного Будду учить. Впрочем, я сам пожелал, мне пенять не на кого. На войне меня не ранили, притом я доброволец...

— У вас был свой отряд?

— Да, на Кавказском фронте.

— Для чего вы везете Будду?

Он хохочет.

— Открою этнографический музей в аймаке Тушуту-хана... Вы заведующим будете, профессор. Мы же договор подписали — уплатить большевикам пятьсот голов за Будду... Вы думаете, даром говорил заместитель наркома? Пятьсот голов крупного рогатого скота мы вручим им на границе... Пятьсот голов они получат... Музей нынче дорого обходится непросвещенным варварам... вот русские взяли отняли у графов дворцы, превратили их в музеи, а на ненужное им имущество творят национальную политику Востока... И дешево и благородно...

Утром, когда профессор идет за кипятком, позади себя он замечает монгола-солдата. Монгол смотрит ему на руки и хохочет. У монгола широкие и длинные, как сабля, губы. Зубы в них — как гуси в реке.

Профессор спрашивает: зачем он следит за ним? Подмигивая, монгол просит у него кольцо с руки. Профессор, не набрав кипятку, возвращается. Дава-Дорчжи, качая плечами, слушает профессора. Затем он просит показать кольцо и удивляется, почему профессор в такой голод не променял кольца. Монгол же, объясняет он, убьет профессора, если тот вздумает прогуляться куда-нибудь, например, в Чека.

В этот же день сбежал из теплушки монгол-солдат. На станции Вологда был митинг, и монгол остался. Вначале Дава-Дорчжи смотрит профессору на палец, на пальто. Отворачивается.

— Он слишком много понимал по-русски, профессор.

Я боюсь — не повредило бы это вам. Знание... Солдат, конечно, не возвратится. Или он напугался, или донесет .. хотя за доносы большевики не платят.

Коптилка горит всю ночь: ждут ареста или боятся бегства профессора.

У дверей на бревне сидит часовой.

Профессору скучно: ему дали больше, чем всегда, хлеба, он сначала не хотел есть, а потом съел. Часовой шинелью заслоняет весь свет коптилки, в теплушке так же темно, как и всегда ночью. Все же профессору не спится.

Профессор Сафонов думает о своем кабинете, о даче под Петергофом. Вспоминает умершую жену — образ ее плоский и неясный, как фотография, а он жил с ней шесть лет. После ее смерти жениться не решался, и каждую субботу к нему приходила девушка. Иногда, чаще всего в усиленные работы, он заказывал девушке приходить два раза в неделю. Сегодня суббота. Он ловит себя: не подумал ли прежде о девушке, а потом о жене?

У него согреваются ноги. Теплота подымается выше. Он оглядывается на часового. Тот кидает окурок к печи и дремлет. Какое кому дело, о чем думает он. Он покрывается с головой, но ему душно, потеют подмышки.

Он подымается, чтоб подкинуть полено в печь, но неожиданно для себя ползет. На полдороге останавливается и смотрит на часового. Дремлет тот. Он смотрит в угол, где Будда. Веки вспотели, и он протирает их теплой ладонью. Потеют губы. Он, низко наклонившись к полу, сплевывает.

Подле ящика Будды спит женщина. Он не подкидывает дров, подползает к рыжему тулупу и трогает круглое, выпуклое тело. Женщина подымает голову, не узнает его, по-видимому. Тогда он лезет под тулуп к женщине.

...Утром за чаем Дава-Дорчжи говорит ему о своих лошадях. Профессор думает: узнала она или нет? Он смотрит на нее украдкой и вдруг замечает на своем рту ее медленный — как степные озера — испаряющийся взгляд. Он чувствует жар в щеках.

— Как ее имя? — спрашивает он.

Дава-Дорчжи наливает чай в блюдечко.

— Чье?

— Этой женщины.

— Не знаю.

Дава-Дорчжи спрашивает у солдат, шумно вздыхая, тянет чай и сообщает:

— Цин-Джун-Чан... очень длинно, профессор. Но у русских есть еще длинней. Как звали вашу жену, Виталий Витальевич?

ГЛАВА ПЯТАЯ

Высокопарные рассуждения о мандатах наших душ, крушении цивилизации, сосновых ящиках различных размеров. Неисправные истопники, по вине которых в степи видны волки. Гыген волнуется

...В вечер его остановки на этой мысли Будда, словно видение, пролетел в воздухе, показав свое золотистое тело.

«Сказание о строительнице Пу-А»

Виталий Витальевич делает вид, что забыл происшедшее ночью: он улыбается и острит. От улыбки седоватые его усы щекочут щеки, и чем он больше улыбается, тем неприятнее щекам. Похоже — чужие усы в чужой улыбке щекочут его щеки. Но гыген Дава-Дорчжи не глядит на него, он строгает длинным перочинным ножом лучину, и монгол Шурха заглядывает через плечо гыгена. Из лучины получается сначал меч, затем рыба, — и в виде птицы она исчезает в печи. Шурха визгливо смеется: череп его кочковат, волосы рыхлы и походят на лоскутья.

Виталий Витальевич видит в лучине какое-то предзнаменованье, и он мастерит лучину крестом. Скрепляет нитками. Ножа у него нет, — значит, он совершенно безоружен. Он кидает крест в печь, но и здесь гыген не оборачивается. Везде за профессором следит монгол Шурха. «Разве написать записку, кинуть», — и ему смешно.

На станциях все больше плакатов. Везде один и тот же краснощекий генерал колет рабочего и крестьянина. Везде подле плакатов споры. В вокзальных буфетах отпускные солдаты голосуют: пропускать им этот поезд или задержать?

Никто не возьмет его записки. Кому нужен его призыв? Люди читают воззвания, плакаты, листовки, брошюры и сводки о фронтах в серых газетах.

Поезд идет с длинными остановками. Кондуктора — в черных тулупах, и днем и ночью с зажженными фонарями; вагоны длинны и темны, как гроба. Рельсы визжат и рвутся — говорят о взрывах. На поездах охрана, — каждую ночь перестрелки с бандитами. Если зеленые задержат поезд, то коммунистов ставят налево, беспартийных путешественников — направо. Левых расстреливают тут же у насыпи.

Виталий Витальевич думает: «Куда же поставят меня?»

— Узнаете в свое время, — говорит Дава-Дорчжи.

За Вяткой начинаются туманы. Шурха ходит совсем у самого плеча профессора и, кашляя, заглядывает ему в шапку — он, должно быть, пугается туманов. Сосны подле насыпи выскакивают иногда, как напуганные огромные птицы. Зыбко дрожит пол вагона, дрожь отдается в коленях, и оттого тошнота.

От туманов тоже вытягиваются и темнеют встречные лица: стрелочники, люди в длинных шинелях, — словно весь перрон — серые, вялые складки шинелей. Голодным, сжавшимся взором провожают они поезда. Локомотивы, сгибая шеи, рвутся в туман, и туман рвется на них. Пассажиры у насыпей валят сосны, пилят и колют их — это когда локомотивы останавливаются. Чугунное чрево накаляется вновь, и паровоз долго бьется в вагоны, сталкивая их с примерзших рельс. Иногда нужно воду (на станциях водокачки опустошены другими поездами), тогда в тендеры валят снег. Солдаты, женщины, кондуктора далекой цепью вытягиваются в туман и передают ведра со снегом.

Однажды, ночью, передавали воду в тендер с реки подле моста. Далеко в кустах (возможно, что шуршали не кусты, а снега) начали обстрел поезда, и кто-то кричал:

— Сдавайсь, перебьем иначе...

Кинув ведра, люди поползли, падая (подъем вдруг обледенел), бежали к вагонам, и женщина, прерывая голос,— точно били ее, — кликала ребенка. Машинист — он принимал и лил в тендер воду — тоже откинул ведро и откуда-то из угла, где ящик с ключами и гайками, выволок на тендер пулемет. Солдаты, хлопая рукавицами, ложились с винтовками между колес вагона, приглашая пассажиров уйти в поезд.

Профессор долго не может заснуть.

Утром (опять — разве объяснишь эти дни) он долго смотрит в потемневшие голодные лица. Конечно, они провожают ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Слез и воплей не хватит на такие морозные туманы, вьюги и снега — лица у них как плакаты.

— Аргонавты! — говорит Дава-Дорчжи на слова профессора.

И гыген, точно намеренно, рассказывает о раскопках близ города Калгана, у скалы, именуемой «Верблюжьей Пятой». Он приводит легенду о брате Чингисхана, Хасаре, и говорит, вспомнив туманы:

— Ясно, здесь не шел Чингисхан на Русь... Тогда бы не было таких туманов. Все сырые места он очищал человечьей кровью... припомните Туркестан, профессор.

Иногда в теплушку входят люди в тулупах поверх кожаных курток. Они проверяют мандаты. В бумагу они смотрят плохо, а так поверх голов куда-то, словно по запаху знают — те ли и туда ли едут. Птицы в перелетах, наверное, такие же. И глаза у них забагровевшие от ветров и необычайно расширенные ноздри.

Такие же ноздри увидал профессор у монгола Чжи. Дава-Дорчжи хлопотал у коменданта станции о прицепке к очередному составу. Профессор попросил кружку с теплой водой. Чжи, подавая кружку, сломанной ручкой ее начертил на грязном, заплеванном полу неправильную пятиконечную звезду и, сплюнув, быстро ткнул пальцем в свою грудь.

Нужно было профессору выучить монгольский язык. Он жалеет об этом, и оттого, что ли, вода кажется ему необычайно сладкой...

В ту ночь зеленые опять обстреливают поезд. Всех солдат, находящихся в поезде, мобилизует комендант. Теплушку караулят женщина, Шурха и профессор Сафонов.

Чжи и еще трое не возвращаются.

Профессор спрашивает:

— Убили?

Дава-Дорчжи тычет револьвером к ящику.

— Ушли! С красноармейцами!.. Собственноручно бы пристрелил собак, если бы не... Что им там, как мне тут понять?

Виталий Витальевич вспоминает звезду, нарисованную Чжи на полу, и понимает.

На той же станции (или монголы понимали по-русски и кое о чем догадались?) теплушку догоняют орудия. Серовато-голубые чехлы машин горбятся и блещут изморозью. Темные глыбы броневиков. Желтое крыло аэроплана. (Да, да, убежавшие монголы почуяли запах войны!)

Всю ночь с тяжелым грохотом, словно сливая в клубы звенящие рельсы, мчатся мимо грузовые платформы. Теплушки с людьми почтительно сторонятся. В теплушку стальные машины бросают плакаты, клочки газет, на которых, как брызги затвердевшей стали, — слова-крики: «Война!.. Товарищи!..»

Вслед за машинами — люди в кожаных куртках. Они кажутся профессору тоже кусками машин, только без чехлов. Он замечает у них одни груди — так, как замечал у женщин в дни своей молодости. Странно дыхание этих грудей; ровные, чуть выпуклые блестящие четырехугольники, — они, наверное, очень теплы, выпуская такое сильное дыхание.

Туман оседает за соснами. Профессор задумчиво уходит в теплушку.

Вскоре туда торопливо прибегает Дава-Дорчжи и за ним потный Анисимов. Портфеля у него нет, но кожаная куртка удивительно напоминает портфель. Он горячо пожимает руку профессора и оглядывается.

— Едете? Валяйте, валяйте!.. Я тут пока что повоюю. В отряд наш питерский, отряд коммунистов, — так я записался. Генералы наступают, всеобщие мобилизации... Да, прилизанная сволочь, да!.. — Он еще раз трясет руку профессора. — Я на вас, товарищ Сафонов, очень надеюсь... Хоть вы и профессор, а мне с первого взгляда понравились. Сидит и бумагой печку топит — совсем по-нашему. Я ему еще говорю — голову повязать надо... Начали мы тут с ним о всемирной революции говорить... всю ночь напролет. Пойдем к нам в теплушку, чаем угощу, и в пешки сыграем. Там и Дивель со мной, туда же...

Он оглядывается, щупает ящик: «Сидишь?»

Дава-Дорчжи ласково трогает плечи профессора.

— Едва ли профессор пойдет с вами, товарищ Анисимов. Хотя мы и находимся в отвратительнейших условиях, но, несмотря на это, решили, как просвещенные европейцы... вернее, это относится к одному профессору... решили и употребляем весь наш дневной досуг на

ряд научных изысканий в области монголоведения. Хотя я и скромный представитель...

Анисимов одергивает куртку, щупает вздернутый нос и торопливо шагает к выходу.

— Одним словом, некогда!.. Всякому свое, обыкновенная история... я ведь не лекцию читать, — а нельзя — и нельзя!.. Очень просто!..

Он спрыгивает. Звонят на станции. Поезд уходит. Дальше.

Поезд стоит в соснах. Может быть, где-нибудь близко — зеленые. Сосны шумят, трогают друг друга — холодно, ветер — соснам тоскливо. Солдаты по пояс в снегу сбирают сучья. В теплушке пахнет смолой, но не от ящика Будды. Женщина Цин-Джун-Чан спит: ее недавно, перед тем как поезду остановиться, посетил сам гыген. Гыген есть живое воплощение Будды: она довольна.

Профессор Сафонов слыхал это посещение. И вовсе не оттого он говорит сердитым голосом:

— Я могу распоряжаться собой так, как хочу. Если бы у меня было желание пойти к Анисимову, разве я не могу пойти? И потом, меня возмущает ваша постоянная ложь. У меня нет к вам доверия!..

— Дорогой Виталий Витальевич! Прежде всего закройтесь плотней: солдаты постоянно входят, а вы значительно подвержены простуде. Разве можно говорить, что вы не можете распоряжаться собой... Да, о владыка Сакия-Муни! Все делается в ваших интересах, каждый шаг — это моя сплошная забота, и не моя вина, если вы ее отвергаете. Я привык к путешествиям, — зачем вам подвергаться ненужным опасностям? Идти вам к большевикам-захватчикам, есть и пить их пищу?! Я же — в заботах... Вам есть пища, тепло, любознательный разговор и женщина, молодая и искусная в любви... и не моя вина...

Профессор глядит в потолок.

— Плохая театральная декламация...

— По-монгольски, Виталий Витальевич, выйдет значительно лучше... почти песня... У нас есть мудрая поговорка: никогда не злись на дорожного спутника.

Профессор пальцем постукивает в печь. Монголы укладываются: они хотят чаю, но сырые дрова плохо горят. Они длинно со свистом сплевывают.

— Дава-Дорчжи! Вы глубоко испорчены цивилизацией, и вам не к лицу Восток...

— Раздражение обостряет наблюдательность.

— Склонность к дешевым сентенциям!.. Ваша любовь к мудрости... Ха... Вы ведь и одни уедете, Дава-Дорчжи, без меня...

— Одного меня назовут вором. Анисимов не возвратился, что ему с нами?.. Ему поручено разрушать, а мы созидаем и укрепляем, как вам угодно понять.

— Надоели вы мне насквозь, Дава-Дорчжи, и мне хотя больно говорить так...

Профессор Сафонов садится. Вероятно, от сотрясения вагона у него дрожат губы. Он долго упрекает гыгена, пересчитывает ему обиды. Дава-Дорчжи лежит на спине, заложив нога за ногу. Он, щупая свои отросшие жесткие, как камыш, волосы, слушает очень внимательно. Монголы спят. Пахнет сырым дымом.

Окончив говорить, профессор так же, как и Дава-Дорчжи, ложится на спину. Они долго молчат. Гыген поднимается, чтобы подложить в печь дров. Он садится перед печью, делая ноги лотосом.

— Если мои люди... Знаете, что они мне говорят? Надо ехать в Монголию и делать большевиков... Мои стада они оставляют мне пока, потому что я им помогу отсюда выбраться. Они плохо знают по-русски, но успехи делают заметные... так же, как вы по-монгольски, профессор... но стада других гыгенов и лам они решили поделить так же, как поделили их в России. Если мои люди мне не верят, как вас я смогу убедить, профессор!

Губы у него пепельного цвета, как потухающая головня. Солдатская гимнастерка расстегнута, и видны натянувшиеся жилки: он очень тощ. Профессору хочется извиниться, но он молчит.

— Я могу доехать в аймак Тушуту-хана один, без людей и без бурхана Будды... я уже был бы там. А без этого соснового ящика не могу... Пока я воевал с немцами, они захватили мои стада и юрты.

— Кто?

— Там... разные... Будде они отдадут. Лежащие рядом этому тоже не верят, говорят, что большевиком с красной звездой гораздо больше можно получить стад и юрт.

— Так три тысячи голов-то не ваши?

— Они мои, но молоко их пьют чужие мне люди, даже не родственники.

— Какие же пятьсот голов вы заплатите большевикам?

— О прибытии Будды, со мной поедете вы и еще... сообщите, что Будда на границе.

Он вдруг, широко раскрыв рот, кричит:

— Они отдадут стада, иначе!.. Иначе!..

Женщина испуганно вскакивает. Он машет рукой, она ложится.

— Привыкла при крике менять трубку с опием, поэтому и вспрыгнула... Как бы можно было назвать на вашем языке, профессор, проклятие Будды: «Ты никогда не воплотишься в родах, которые не возвратят мне стад?»

— Я первый раз слышу.

— Запишите или, лучше, запомните. При всем уважении к вам, карандаша мы не одолжим. Денег у меня нет — я истратил их в Петербурге... впрочем, едва ли вас интересуют финансовые дела экспедиции.

— Я тоже не имею денег.

Дава-Дорчжи тычет пальцем в огонь. Говорит мечтательно:

— На станциях продают калачи...

— Я видел также творог и даже гуся... Мясо они меняют исключительно на соль.

— Да... у нас соли мало...

Профессор, успокоенный, засыпает.

Позже он пытается понять, что его успокоило. Он с некоторым сожалением смотрит на маленького, черненького человечка. Правый сапог у Дава-Дорчжи лопнул, и он чинит его. Гнилая кожа лезет, расползается, как грязь, шило блестит, узкое, словно глаз Будды.

У солдат гортанные голоса, и Виталию Витальевичу кажутся понятными их выкрики и даже то, что они так много пьют чая. Он только не догадывается, откуда у них чай: сейчас в России совсем нет чая. Он мочит тонкий сухарь в воде и долго поясняет Дава-Дорчжи свои мысли о крушении европейской цивилизации, о том, что Европа будет скоро огромным мертвым музеем.

Дава-Дорчжи думает свое. Потом, когда профессор смолкает, он пальцами показывает ему, как ловят тибетцы яков. Дава-Дорчжи был в Тибете и подарил далай-ламе часы с музыкой: это было давно, мальчиком. Солдаты, одобрительно вскрикивая, смотрят на его пальцы.

Теперь профессор Сафонов хочет понять себя: чего ему хочется. У огромного плаката, прилепленного на уборную, где надпись: «Статским вход воспрещается», профессор Сафонов говорит гыгену:

— Я буду с вами разговаривать.

Говорит он так, дабы решить быстрее: чего ему хочется. Он, сбивая пристающий к каблукам твердый синеватый снег, ходит от уборной к станционному колоколу. Позади за ним следит монгол Шурха.

Станции походят одна на другую, только в иных вместо колокола звонки дают ударом в вагонный буфер: значит, станцию захватывали зеленые, они для чего-то увозят все колокола. Но Будда уже проехал Вятку.

Профессор думает о колоколах, станциях, о том, что мертвых хоронят теперь без гробов. Когда ходили в деревню менять одеяло на хлеб, старуха со злостью указала:

— Вон у тех просите, они вам дадут!..

Три громадных бревенчатых амбара набиты сверху донизу трупами. Зачем мертвым амбар? Тепло нужно живым. Однако никто не дает ни хлеба, ни дров.

«Не все ли равно: ехать ли в Сибирь, Туркестан или Монголию? Никуда не доедешь. Дава-Дорчжи пусть мечтает о табунах и кумирнях с тысячью Будд. Библиотекой моей топит «буржуйку» какой-нибудь жилец, и придет время, когда будут топить манускриптами и Остромировым евангелием здания на углу Невского и Садовой». Так думал профессор Сафонов, раздраженный путешествием и жизнеспособностью Дава-Дорчжи. По его мнению, Дава-Дорчжи должен был подчиняться течению событий так же, как подчиняется им профессор. Иначе что же это такое? Русский профессор оказывается бо́льшим буддистом, чем буддийский перевоплощенец? Разница лишь в том, кто обоснованнее бранит советскую власть? Экая невидаль! Многие профессора теперь бранят. А там, глядишь, побранят, побранят, да и встанут за кафедру читать лекции. А хорошо на кафедре — не то что в этой проклятой теплушке! И почему, собственно, он согласился ехать? Поздно проснувшаяся страсть к путешествиям, скука, стремление к пище или желание сделать добро монголам? А в чем добро? В статуе? Статуя — это лишь металл и сама по себе никакого добра не несет. «А какое ж добро несешь ты, профессор?

У политрука добро скромного размера — и все-таки, пожалуй, добро. А у тебя?»

Профессор Сафонов, как видите, размышлял с полной серьезностью и, кажется, с полной растерянностью.

Колокола на станции дребезжат морозно. Станционные колокола звонят России похоронную. Профессор Сафонов сидит в теплушке рядом с живым воплощением Будды — гыгеном Дава-Дорчжи. Гыген ест мерзлую брюкву и, одобрительно кивая, слушает.

— Будет же что-нибудь выдвинуто в противовес этой неорганизованной тьме, этому мраку и буре. Неужели же кровь и смерть? Неужели такое же убийство, как и у них? Генералы будут вешать, расстреливать, грабить коммунистов... Коммунисты будут восставать и расстреливать генералов, и колокола будут звонить все меньше и меньше, буфера вагонов занесет снег... Дава-Дорчжи, для чего нам даны сердца?

Сырые дрова горели плохо. Женщина забилась в ящик, глаза — ресницы их были бледновато-синими — бледные от снега глаза она плотно прикрыла, спрятав куда-то внутрь. Профессор дал ей одеяло; гыген отвернулся. Ушли из теплушки, отстали еще четыре монгола, остался один Шурха.

Дава-Дорчжи и профессор Сафонов стоят подле дверей. Синяя тяжелая ночь. Через сугробы, за соснами, в холмах — искры.

— Волки, профессор!

Виталий Витальевич думает о дровах. Но у всех заборов часовые. Их кормят исправно, и они не разучились еще откидывать затворы. Крестьянам не нужна вшивая и грязная солдатская одежда, они гонят: «Зараза». Греться только разрешают в хлевах, но кто их будет караулить: они могут выпить молоко или отрубить у живой скотины ногу, — в хлева пускают редко.

Дава-Дорчжи берет зазубренный, соскальзывающий с рукоятки топор и рубит сверху там, где написано суриком «Осторожно».

Выходит из рогожи, из стружек желтое, раскосое лицо и, отпотелое, благостно улыбается вечной улыбкой на вечно теплый огонь.

Профессор снимает сапоги и, выжимая портянки, говорит:

— Я решил, Дава-Дорчжи. Безглазой дикой тьме мы противопоставим омытое европейской пытливостью

благословенное, настойчивое шествие вперед. Наши сердца! Я пока не знаю куда... но хотя бы провести Будду через водопад... мор и голод... Мне неизвестно, какие у вас мотивы для движения вперед, у меня есть они: сердце, — хоть капля его, уцелевшая в цивилизации, мысль вечная и пьяная всегда своей волей... я с вами!..

Дава-Дорчжи пальцем указывает женщине: возвратить профессору одеяло, теперь тепло. Подвигая чайник на более раскаленное место покрышки, он отвечает:

— Я так и думал, Виталий Витальевич!

Что он думает о словах профессора, которые чрезвычайно туманны, крайне трудно понять. Профессор, по правде говоря, и не пытается. Он утомился от размышлений, и, если уж передать вам тайну, он недоволен собой. Профессор истории, знаток Востока, — и его, по сути дела, ведет вперед почти невежественный монгол! Даже ведь в области буддоведенья профессор знает гораздо больше, чем Дава-Дорчжи. Ах, этот поток жизни! Как он странен, непонятен и одновременно певуче нежен и кипуч!

Неделю они топят печь досками, которыми забит Будда.

Через семь дней видны его ноги...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Металл, распространяющий спокойствие

> Конфуций над рекой говорил: «Уходящее, — оно подобно этому, ведь не перестает ни днем, ни ночью»
>
> *Луи-Юй, IX Эб*

> Колокол толст, — непременно не звонок;
> Ухо заложено, — непременно глухо.
>
> *Юань-Мэй*

События, описанные в настоящей главе, должны бы начинаться так: в тьме, холоде и ветре теплушка несется вперед. Гыген, злобно махая топором, рубит ящик. Топор (писал уже) зазубренный: летят пахучие, лохматые щепы. Низенький, плечами немного скошенный, серобороденький человек, намеренно кротко улыбаясь, подкидывает щепы в печь. Женщина и Шурха боязливы:

их пугает золотистое тело обнаженного Будды. И вышедший из сосновых досок улыбкой лотоса приветствует снега и ветры.

Последний солдат гыгена покидает вагон — он последний, его надо запомнить — Шурха. Гыген отворачивается, когда монгол собирает свои тряпки.

— Теперь вас некому караулить, профессор.

— Я сам караулю себя.

— В последнее время мне часто приходится опускать или отвращать свое лицо, профессор. Сможете ли вы себя укараулить? Их тянет красная звезда и еще не знаю что... Страсть проливать кровь?

Будда сидит: его поставили так, когда вынимали снизу доски. Видны вееродобные украшения у его висков. Не потому ли Дава-Дорчжи щупает его руку?

— Значит, действительно, профессор, тяжело, если решился уйти Шурха... какие-то духи здесь помимо голода и мороза. Он был верней меня...

— Вы хотите сообщить, Дава-Дорчжи...

— Что мне сообщать! У него какие стада. Никаких... все же он был самый верный из всех... вернее меня.

Дава-Дорчжи гладит руку Будды. Конечно, тело Будды светлее тела гыгена (оттого сквозь узкие тигровые глаза его — улыбка).

Тогда как глава начинается не этим, а вот чем.

Виталий Витальевич вдруг ощущает в локтях внутреннюю легкую испарину, словно кости, опустошенные, наполняются водой, теплой, как парное молоко. Либо вкус парного молока приходит вперед того ощущения. Он смутно помнит. В жилы, еще куда-то (совсем трудно уловить) испарина взметывается острой, пронизывающей ломотой, и желудок вдруг крутит и трясет тело. Он совершенно уверен, что Дава-Дорчжи, находящийся сейчас за спиной Будды, ест там вместе с женщиной хлеб и масло. Пищу ему принес сбежавший монгол Шурха, как выкуп за свой уход. Он, Дава-Дорчжи, жаден и даже не прожевывает кусков, в то время как Виталий Витальевич с весны этого года учится возможно медленнее жевать пищу. (Зубы нужно сжимать плотнее, вкус пищи тогда долго держится в нёбе и деснах.)

Зато Дава-Дорчжи обещает в Монголии обильно кормить Виталия Витальевича: бараньим мясом, парным молоком и мягким весенним хлебом. Виталий Витальевич поспешно обходит Будду (действительно, жел-

тый металл очень тепел). Дава-Дорчжи успел спрятать, он действительно скребет ножом стену вагона. Он хитрый.

Профессор притворяется непонимающим. Он разводит руки, и ему трудно их свести обратно: он опускает их вдоль тела. Необычайно длинны у человека руки.

— Вы не думаете сегодня искать пищи, Дава-Дорчжи?

— Да, да... я иду.

Он сыт, куда ему торопиться? Но в угоду профессору он спешит, даже не повязывает вокруг шеи полотенца. Ясно, — в чем профессору сомневаться? — он понюхал полотенце, оно пахло теплым ржаным хлебом. Профессор ухмыляется и грозит женщине пальцем.

— Обманщики, обманщики!.. Старика обманывать... Голодного старика!..

Женщина тоже хитро ухмыляется и проводит ладонью по губам: они у ней кровяные и плотные. Когда человек питается хорошо, разве будут бледные губы. Она, по-видимому, хвастается. А еще Дава-Дорчжи жалуется на отсутствие пищи!

Следовательно, Виталию Витальевичу нужно самому спасать себя. Придерживая рукой борт шинели (пальто он давно променял на шинель, — пальто сейчас все закапывают: Россия вся ходит в шинелях, — она мчится и воюет), он зажат между Буддой, железной печкой и ворохами мокрой соломы. Женщина сидит у подножия бурхана, глаза у ней закрыты, и лунообразно ее лицо.

В былое время, если б он захотел есть... он бы купил. Он часто говорит с Дава-Дорчжи, что можно было купить раньше.

И все-таки Дава-Дорчжи его обманывает.

Ему жалко самого себя, и он плачет. Он голоден, бос и одинок.

Потом он возвращается к Будде. Он полагает, что думал давно о поступке, который он сейчас совершит. Началось еще в особняке графов Строгановых, когда в первый раз увидел Будду. Или нет, когда Дава-Дорчжи мыл его посуду и рассказывал легенду. «Дава-Дорчжи глуп и за пищу распускает своих людей, он сыт и не может подумать о статуе».

Подпрыгивая, срываясь, зачем-то подскакивая на одной ноге, он скачет вокруг Будды. Ногти у него скользят и срываются — они до противного мягки. А зо-

лотая проволока плотно вправлена в твердую медь, и нет у ней конца, за который ухватиться и потянуть. Он запирает дверь на болт, как ночью, и запаляет коптящий, сильно пахнущий керосином светец. Он внизу ножом гыгена расковыривает конец проволоки и тянет. Проволока в углублении скреплена крошечными медными гвоздиками, он режет их, золото осыпается мелкой пылью.

Ладони его мокры, проволока вырывается: он обматывает руку полотенцем гыгена. Про женщину он забыл, — она в ужасе визжит в углу. Он оборачивается, видит непомерно большой рот и на острых коленях грязный кусок цветистого платья. Он грозит ей ножом. Рукой, завернутой в полотенце, трогает ее губы и отскакивает снова к Будде. Рот ее под полотенцем такой же неуловимый, как проволока. Она смолкает — за свою жизнь она научилась понимать приказания.

Меньше кулака получается плохо свернутый клубок золотой проволоки. Он в углу топором откалывает доску обшивки, всовывает туда проволоку и вновь забивает гвозди. Ножом соскребает с полу искорки золота, их совсем мало, можно пересчитать, но сыплет их в карман брюк.

Женщина скажет о случившемся Дава-Дорчжи, и, продавая проволоку, гыген не будет уже скрывать от Виталия Витальевича пищу и молоко.

Между пальцами сильно болит оттянутая проволокой кожа. Зачем же он трудился? И Дава-Дорчжи может сделать то же самое, к тому же он моложе и опытнее во всяких работах. Напрасно.

Но Виталию Витальевичу приятно чувствовать себя утомленным. Притом, по понятию язычника, он свершил святотатство, едва ли Дава-Дорчжи решился бы сделать такое...

...Дава-Дорчжи возвращается поздно: поезд стоит на разъезде, и деревня далеко в степи. Он приносит полкалача и доску, сорванную с забора. И с радостью Виталий Витальевич думает, что другую половину калача гыген съел дорогой. Половина делится натрое. Женщина молча наливает чай.

Сердце у Виталия Витальевича бьется неспокойно, и он ждет, как гыген откинет раскалываемую доску и вскрикнет. Но женщина молчит. Он съедает свою часть калача,

— Чай пустой пить будете? — говорит Дава-Дорчжи.
Профессор виновато гладит кистью руки колено.

— Мне сильно хочется есть.

— Дело ваше.

Гыген роняет на пол оторвавшуюся от гимнастерки пуговицу. Он берет лучину. Смолистая щепа загорается сразу; чтоб продолжить ее горение, он подымает ее выше над головой. Ищет на полу пуговицу. Смола капает ему на рукав, он выпрямляется.

В Будде горят сотни лучин, брови у него мягкие и круглые.

Дава-Дорчжи вдруг вскрикивает:

— А-а-а...

Он сует другую лучину в печь и, треща искрами, подбегает к статуе. Хватает пальцами лицо Будды. Надергивает шапку и вместе с горящими лучинами выпрыгивает из вагона.

— Ага! — несется из пухлых, синих и розовых снегов.

...Вечер вязнет на твердых ветках берез. Темно-синие березы, и в них черным звоном звонит колокол проходившему поезду...

Виталий Витальевич ждет. Он застегнулся, повязал туго шею. Он готов к допросам и аресту. Всегда устраивается не так, как думаешь. Если Дава-Дорчжи нашел нужным доносить на него, как на вора, то стоит ли умалчивать об его офицерском звании? Если расстреляют, то пусть расстреливают обоих.

Внезапно Виталий Витальевич ощущает благодарность к женщине Цин-Джун-Чан — она смолчала и скажет о проволоке при допросе. Он берет ее вялую руку и жмет. Она улыбается: у ней совсем молодое лицо и тоненькие круглые брови. Она слегка коротенькими мягкими пальцами касается его лба и говорит:

— Ляр-ин!..

«Это, наверное, значит, люблю или что-нибудь в этом роде», — думает профессор.

Он ждет, когда сильно заскрипит снег: люди, ловящие других, ходят тяжело и быстро. Сильно ноют плечи, и зябнут руки. «Так он и не выменял варежек».

Долго спустя Дава-Дорчжи приводит трех мужиков. Один из них, рыжебородый, в овчинном бешмете со сборками, тычет пальцем на статую и говорит другому:

— Этот?

У спрашиваемого детское розовое лицо и совсем мужской хриплый голос:

— Много работы, дяденька...

Они ходят вокруг Будды, стучат пальцами и хвалят хорошую медь. Дава-Дорчжи проводит рукой по лицу Будды, по складкам его одежды и внезапно отскакивает. Губы у него скрючены, он брызжет слюной в уши профессора, толкает его кулаками в печень:

— Ободрали, сволочи, всю проволоку дочиста... теперь я понимаю, почему они ушли от меня!..

— Кто?

— Солдаты... кто!.. они постоянно выпроваживали меня из вагона, а сами ящик разбили и проволоку выдрали... Вы-то, вы-то чего смотрели...

— Мне! Мне! Мне?

— Вам! Вам!.. вы же сопровождаете, вы тоже ответите, здесь на триста рублей золотом!.. Я-то подумал: почему так ящик легко раскололся?.. Попадись теперь они мне, я...

Он замахнулся кулаком и, обернувшись к крестьянам, крикнул:

— Беретесь, что ли?

Рыжебородый мужик снял шапку. Лысина у него была тоже рыжая и широкий веселый нос в веснушках. Профессор улыбнулся ему. Мужик посмотрел на него и, улыбнувшись, протянул руку:

— Здорово живете, давно в дороге-то?

Дава-Дорчжи прервал нетерпеливо:

— Ну, беретесь?!

Мужики осторожно переглянулись, и рыжий ответил тихонько:

— Поди так и на золотой не наскребешь. Ты как, Митьша, полагаешь?

Митьша в вязаном спортсменском шлеме и дырявом полушубке ответил уклончиво:

— Бог его знат... главное — не русская штука... и слышать не приходилось. Из китайцев ен, што ли, статуй-то?

Рыжий мужик решительно надернул рукавицы.

— По работе и заплатим, мы тоже не живоглоты... сколько наскребем, столько и получите... еще влезешь с таким золотом, — нонче ведь, раз-раз, да и к стенке!

Дава-Дорчжи вяло оперся о печку.

— Скребите... поскорее. Задержите, прицепят теплушку, как я с вами... останетесь.

Мужики ушли за инструментом.

Остается самый младший. Он, ворочая сапогами солому, ходит по теплушке и смотрит во все углы.

Спит профессор плохо, мужики принесли дров, угарно, несет теплом печка, воняют человечиной высыхающие одежды. Профессор стыдит себя, ворочается. Дава-Дорчжи, сытый и сонный, бормочет:

— Блоха спать не дает, завелась...

Среди ночи Виталий Витальевич просыпается от шороха соломы. Ему кажется, что он угорел, — во рту сухо. Через полузанесенное снегом окошечко — на соломе пятна света. По соломе ползет человек. Это Дава-Дорчжи к женщине. Профессор закрывается с головой. Но от женщины гыген возвращается быстро. Профессор ощущает на себе его руку. Пальцы легко пробегают по телу, ощупывают одежду и сапоги. Гыген ищет даже в подушке и в соломе под подстилкой. Затем он возвращается. Он ищет проволоку.

Утром Дава-Дорчжи говорит:

— Это русские ободрали Будду. Я честно везу его домой. Русские сорвали проволоку и сдирают позолоту. Но увеличивается святость божества от поруганий...

Три дня мужики соскабливали с Будды позолоту. Толще, чем везде, лежит позолота на лице Будды, на его круглых щеках. И вот красный, злой, медный выступает из золота лик его. Губы его темнеют, и совсем внутри глаза. Вокруг статуи настлана шерстяная шаль, золото осыпается туда.

— Выколотим, — говорит рыжебородый.

На теле остается кое-где позолота: желтые, как прыщи, пятна. Совсем не могут снять золото с пальцев Будды.

За золото Будды мужики приносят мешок мерзлых булок, меру картофеля и дров. Они бережно завертывают шаль, на которую падали крупинки, и в газету — листочки золота с лица. Потом рыжий мужик, вздыхая, жмет руки:

— Продешевили мы, да уж...

Гыген выторговал еще кусок рваной кошмы. Из дров он устроил себе кровать. Он поминутно заставляет женщину подкидывать в печь поленья.

— Если бы я догадался раньше... за проданную проволоку мы бы ехали спокойно. Теперь я простудился, и меня знобит. Утянули... — Он кутается в шинель. Намеренно громко хохочет: — Я вас ночью видел, вы к женщине шли, Виталий Витальевич. Сказать ей, чтоб она вам не сопротивлялась?

— Мне мало нравятся ваши солдатские шутки, Дава-Дорчжи.

— Тогда я могу рассказать какую-нибудь поучительную монгольскую легенду. Теперь я вам разрешаю записывать, потому что я вам верю. Вы очень подробно объяснили, чего хотите... Например, история кутухты Муниулы с жизнью его — непристойной и женолюбивой...

— Когда мы доедем?

— При хорошей экономии на полтора месяца нам хватит продуктов. К тем дням мы будем в Сибири, там много почитателей моего перевоплощения, и я склонен надеяться на пищу, питье и достойные меня благочестивые разговоры.

Профессор, заложив руки за спину, слегка сутулясь, ходит из угла в угол. Он решил молчать о проволоке, ему наскучили ссоры, упреки. Он расспрашивает про аймак Тушуту-хана. Гыген словоохотлив, немного витневат и часто, с прихлебываниями какими-то, смеется. Он говорит историю своего рода, в ней много имен, мест и замечательных битв. Профессор понимает смутно, но слушает охотно.

Утром Дава-Дорчжи знобит сильнее. Он много пьет чая и лежит, сжимая виски пальцами.

Профессор на станции из красноармейского лазарета приводит доктора. Он щупает голову гыгена, раскрывает грудь, спрашивает, не дожидаясь ответа:

— Голова болит? Ноги болят? Озноб?

У доктора широкие, длинные и тонкие, как ремни, пальцы. Он проводит пальцами по руке профессора:

— Лекарства у нас нет, в Омске иногда принимают в лазарет... все перегружено. У него тиф. Кофе, чистое белье и компрессы.

Смотрит на Будду, стучит ногтем и говорит «медь» и уходит.

Гыген вдруг начинает плаксиво просить револьвер. Хотя револьвер у него под подушкой, все же профессор прячет его у себя. Гыген грозит застрелиться. Он упре-

кает профессора в леностн, из-за которой он, гыген, должен умереть. Лучше ему погибнуть сразу, если нельзя достать лекарств. Он по-монгольски бранит женщину, и та падает на колени, уткнув голову в пол.

— Какие домашние лекарства есть? Где мне достать кофе?.. Ступайте менять револьвер!

Профессор идет.

Бред начинается через день. Профессор со стыдом думает, что гыген притворяется. У него нет никакого повода так думать, но ему кажется намеренным, как Дава-Дорчжи срывает компрессы и разбрызгивает кофе. Гыген часто садится в постели, предварительно сунув себе под спину шинель (стена холодная); одними и теми же словами он вяло говорит:

— В тебя одного переходит дух Будды... ты один воплощение гыгена, Дава-Дорчжи... дай мне из бокового кармана... напишу в аймак.

Сует какие-то бумаги с монгольскими надписями и жалуется:

— Все меня бросили. Ты только один перед смертью. Я уже умер... я опять дух Будды.

Профессор носит кипяток, ставит компрессы.

Скучный, сухой весь лежал Дава-Дорчжи. Постоянно нужно было лить в него воду — поить. Волосы отросли необыкновенно густо и как-то все сразу: жутко было смотреть на пряди, торчащие из носа. Подушка вся залепилась слюной, — переворачивая голову, Виталий Витальевич силой заставлял себя не отдергивать руку. Из ушей торчала вата (гыген боялся ушной простуды), и теперь она походила на черных тараканов.

Часто гыген вскрикивает гортанно и длинно и, подняв тощие руки, лживо приветствует заместителя наркома по делам национальностей от имени монгольского народа. Затем он говорит речь об угнетателях — китайских империалистах — и сразу почти из слова в слово (насколько помнит профессор) передает легенду о статуе Будды из аймака Тушуту-хана. Начинается она словами: «В год Красноватого зайца...», и Виталию Витальевичу представляется большой, с собаку, красноватый заяц на бесконечном снежном поле. Тогда он отворяет дверь.

Чаще всего происходит это на ходу поезда. В зубы профессора несется колючий и твердый, словно камни, снег. Серый дым откидывают вагоны.

«Есть какое-то возмездие за наши поступки», — думает профессор, возвращаясь к печке.

Женщина — ее профессор сокращенно зовет «Цин» — моет в кипятке белье гыгена. У него всего одна пара, и, когда однажды женщина мыла, профессор захотел узнать, насколько оно крепко. Он подошел к котелку (мыла нет, тряпки просто жамкаются и преют), поверх, в кусках грязи, плавали серые точки. Профессор наклонился ближе: это были сварившиеся вши.

Поэтому ли, или по чему другому в этот вечер Виталий Витальевич чувствует особенную боль в ногах, ему холодно, хотя он сыт и в теплушке ярко горит печь.

Раз утром Цин идет искать сухой растопки. У гыгена сильный бред, — он вскакивает и порывается бежать. Его во время восстания ловят большевики. От сырого дыма болят у профессора глаза, и потому же кричит гыген: «Зачем глаза выкалываете?» Тонкие, скользкие руки гыгена раздражают, и голос у него становится пискливым.

Много спустя является с щепками Цин. Подле дверей Виталий Витальевич видит высокого, горбоносого человека в черной, до пят, собачьей дохе. На шапке у него широкая красная лента.

Профессор высовывается:

— Вам что нужно?

— А ничего, — распахивая доху, говорит человек.

Профессор раздраженно стучит по ручке двери.

— Проходите, здесь больной... Проходите, вам говорят, здесь правительственный груз! Проходите прочь.

Доха, отходя вразвалку, гудит:

— Ну, не очень-то верещи... правительственный!

Виталий Витальевич грозит кулаком Цин. Та смущенно взвешивает на ладони принесенные щепы: они сухи совершенно. Она не понимает.

На рассвете в дверь скребут. Женщина Цин снимает засов и, чуть наклонив голову, смотрит в темноту. Чья-то лохматая, в шкурах, рука просовывается и тянет ее за платье. Она, не обернувшись, уходит.

Профессор озлобленно хватает гыгена за вытянутую вперед руку. Тот садится, глаза его мечутся по потолку, на лице блаженная радость. Профессор опускает ему руку, тот вздрагивает.

— Сми-и-ирна-а! — кричит Дава-Дорчжи. — Здорово, молодцы-ы!

Виталий Витальевич шевелит его плечо, семенит вокруг кровати и, стараясь перекричать гыгена:

— Послушайте, она ведь ушла, ушла!.. Необходимо крикнуть: назад! Я же не знаю этого слова по-монгольски... Послушайте, ее присутствие в ваших интересах, — кто вам будет мыть белье!.. Разве мне разорваться! Послушайте, Дава-Дорчжи.

— Молчать! Какая там сволочь строй ломает? Ни с места! Сми-и-ирна-а-а!..

Профессор распахивает дверь и тоненьким, срывающимся голоском — в ночь:

— Послушайте, вы-ы!..

По щепке, что лежит подле вагонных ступеней, шуршит и перекатывается снег. Сухой шорох, щепка тоже сухая. Ее обронила Цин.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Все о том же металле, благоухающем спокойствием

...Жизнь человека часто бывает лишь продолжением его детства.

Из записной книжки профессора Сафонова

...Поезда пропускали грохочущие и звенящие дни. Доски, железо и люди мчатся вперед. У синих льдов одинокие волки, туго задрав молодые морды, воют на поющую сталь. В степи одна должна быть песня — волчья. У людей песни человечьи и железные. Волку страшно.

Дава-Дорчжи чувствует пальцы. Оно трепетно и радостно — это первое ощущение. Поднять и опустить палец руки — на вершок, — отодвинуть его по одеялу. Влажно и слабо все тело, горят уши, — так, наверное, цветут цветы. Упоенная цветущая слабость.

Подле печки, как и всегда, сидит в шинели, подпоясанный облупившимся ремнем, сутулый старикашка.

— Профессор!

Старикашка, вихляя одной ногой, знакомым шагом подвигается к кровати. Дава-Дорчжи манит его пальцем, шепчет, задыхаясь, в ухо:

— Не подох ведь!

И улыбается, ему кажется — он улыбается всем лицом, но шевельнулись только брови и слегка мускулы подле губ.

Профессор не знает, что теперь делать. Волновать нельзя. Он жует, косится, задумчиво вздыхает.

— Да... теперь питаться нужно.

— Давайте же!

И Дава-Дорчжи ест.

Профессор кормит его размоченными в воде булками, он жадно тянет воду и пальцами шарит в кружке:

— Еще!

Чтобы отвлечь его, Виталий Витальевич говорит осторожно:

— Цин скрылась уже три недели, и я ничего не слышал о ней.

— Еще!

— Вы были в бреду, и, по-моему, достаточно было крикнуть одно слово, чтобы она немедленно вернулась. Ее увел какой-то или грузин, или черкес.

— Еще!

На другой день Дава-Дорчжи сжимает уже кулак и трет им по одеялу:

— Еще давай, старая карга!

— Вам нельзя много есть, Дава-Дорчжи, у вас суженный кишечник...

— Давай! Еще давай, жрать хочу!.. Все поел... мяса хочу!

Тогда профессор меняет в поселке возле станции свое обручальное кольцо. Когда он возвращается с мясом и молоком, гыген лежит на полу: он пытался ползти.

— Давай!

Он хватает зубами молоко, льет его себе на шею и с шеи скребет ладонями в рот.

— Еще... еще!..

Профессор отодвигает бутылку.

— Уже Омск, Дава-Дорчжи. Где здесь у вас знакомые?

Гыген сыт, спит.

Теплушка в тупике, на сортировочной. Тысячи пустых вагонов. Между составами рыскают собаки. Виталий Витальевич собирает по вагонам оставленные поленья, доски.

В комендантской говорят ему:

— На Дальнем Востоке и в Маньчжурии белогвардейские восстания, товарищ. Мы не имеем времени отправлять какие-то экспедиции с Буддами... а если у вас там в Буддах-то эсеровские воззвания, вы такой возможности не допускаете?

— Осмотрите.

— У меня, товарищ, семьдесят составов каждый день — да коли каждому под подол заглядывать...

Однако профессор Сафонов снимает рогожи, прикрывавшие Будду, и всего вытирает тряпкой. Во время тряски отломился кусок высокой короны, зияет кроваво медь. Куска нет: вымела или утащила Цин.

Профессор осматривает свои мандаты: на них бесконечное число штемпелей, справок и резолюций.

— Правильнее мы поступим, Дава-Дорчжи, если отправимся через Семипалатинск, горами? Подле Иркутска восстание. И пускают поезда в Семипалатинск... Оттуда ехать труднее.

— Мне все равно!

Дава-Дорчжи зажмуривается и мнет ладонь так, что слышно шебуршание кожи.

— В аймаке есть бараны... курдюк пятнадцать фунтов. Надавишь — из него масло... ццаэ.

— Вы можете не увидеть баранов, Дава-Дорчжи, если не будете слушать меня.

Гыген дергает бровью.

— Увижу, я хитрый... Дайте мне есть, мне все равно.

Профессор, заложив руки за спину, ходит по вагону. Пол подметен. Перед Буддой и вокруг него доски и поленья. На коленях в лотосоподобно сложенных руках — береста для растопки, доставать оттуда близко.

— Несомненно, это наиболее целесообразный выход, но, раньше чем предпринять решительный шаг, я подожду вашего полного выздоровления, Дава-Дорчжи. Тем временем я составлю подробный маршрут и смог бы составить подробную смету, если бы имелись деньги.

— Мне все равно!

— Ешьте!

Он видит круглые желваки на челюстях гыгена, и ему кажется, что во время болезни он приобрел над ним какую-то непонятную власть. Он резко говорит:

— Не ешьте, не трогайте!

Дава-Дорчжи боязливо отодвигает чашку.

— Но мне хочется!
— Не ешьте!
— Немного!
— Нельзя!
И гыген говорит покорно:
— Хорошо.
Профессор медленно двигается по вагону.
— Можете есть!
Он для чего-то отряхивает с себя кусочки щепок и какие-то приставшие перья.
— И завершительные станции нашей поездки, вплоть до этого места, не разубедили меня в тех мыслях, какие как-то я вам высказывал, Дава-Дорчжи... Более того, они яснее и яснее вырисовываются мне. Ваше героическое стремление со статуей, вашей родовой святыней, — оно является скорей всего голосом крови, непонятным зовом ее на Восток. Ваша неорганизованная мысль, простите меня, бессознательно исполнила великую задачу: она побудила меня особенно внимательно прочесть мудрые строфы Сыкун-Ту...
— Пить!
Профессор сплеснул осевшую пыль и подал кружку.
— Вы, опьяненный взрывами шестидесятитонных снарядов, танками, разрушающими города... таких танков еще нет, они будут, или вы думаете, что они есть... в вашем бреду вы видели их, — опьяненный тридцатиэтажными домами и радио, вы метнулись туда, куда позвала Европа. Но дух веков заговорил перед вами, когда Европа скинула свое покрывало и — и пока на Россию только — выпустила своих волков. Вы вспомнили, что вы воплощенный Будда, гыген, повезли через мрак и огонь, сам претерпевая мучения — очищая себя...
— Помогите подняться!
Дава-Дорчжи, сдирая длинными, грязными ногтями засохшую кожу с губ, быстро дышал. И шея у него была вытянута, словно при беге. Глаза сонные, как паутина.
— Чтоб у себя в кабинете изучать спокойное течение стад? Нет? Ощутить их на воле, где они похожи на течение вод в озерах. Мягкие спины их пахнут камышами и землей, ярко нагретой солнцем. Кроткие женщины, в любви к которым незнакома ревность, кумирни со статуями Будды, улыбающимися, как небо... Вы

к этому и еще к чему-то другому стремились, Дава-Дорчжи... Другое, более ценное, несу я. Я преодолеваю большие проходы, огромными камнями заложен мой путь. Цивилизация, наука, с ревом разрывающие землю... от пустой мысли, что являюсь одним из властителей земли... это глупая, гордая мысль, может быть, — самое важное, от нее труднее всего оторваться... Это блестящий, бесцельный, глупый колпак на голове. Укрепление же — там, подле стад и кумирен, — укрепление одной моей души будет самая великая победа, совершенная над тьмой и грохотом, что несется мимо нас — и мы с ней, по-своему разрезая ее. Спокойствие, которое я ощущаю, все больше и больше... чтоб сердце опускалось в теплые и пахучие воды духа...

— Есть хочу!..

Сквозь быстро жующий рот и влажные от жадности глаза гыгена профессору видится радостное согласие Дава-Дорчжи. Тот еще молчит; слова об еде, выбрасываемые им, скомканы, невнятны; если бы их даже не говорил гыген, они все же были бы понятны.

В свою записную книжку (он ее получил в Екатеринбурге на митинге в честь Третьего Интернационала: барышня в рваном свитере, стыдливо моргая белесыми глазками, раздавала их, — «от печатников на память») профессор заносит: «Идет снег. Дава-Дорчжи пытается сидеть — трудно. Необходимо подумать, насколько повлияла на Сибирь восточная культура. Связь между восстаниями и ею. Здесь наиболее долго длится борьба с тьмой».

И еще пониже: «Жизнь человека часто бывает лишь продолжением его детства».

Дава-Дорчжи встает. Опираясь на стену, он бредет к дверям. Снег в проходах высокий и пухлый. Вагоны заносит, и без колес они веселее — похожи на конфетные коробки.

— В городе есть наши, — говорит гыген, — они дадут еды.

Профессор послушно одевается.

— Вы мне сообщите их адреса?..

Гыген вдруг улыбается. Профессор замечает: какие у него необычно большие скулы, точно уши сунуты под глаза. Кожа на скулах темная и, наверное, очень толстая и твердая, как мозоль.

— Я помню... да... совсем забыл...

Он, продолжая улыбаться (теперь улыбка у него во все лицо, и так, пожалуй, хуже), водит длинными пальцами перед ртом:

— Забыл... забыл... это не болезнь была... а новое мое перевоплощение... да... Принесите мне, пожалуйста, есть.

Профессор в городе. Он отправляется в отделение Географического общества. В музее вповалку спят солдаты. У входа в библиотеку, на ступеньках лестницы, человек в пимах и самоедской малице. На вороту малицы — музейный ярлык.

— Вам кого?

Профессору необходимо поговорить с председателем Общества. Правление и председатель арестованы за участие в юнкерском восстании. Малица жалуется:

— Спирт из препаратных банок выпили, крокодилом истопили печь, на черепахе мальчишки с горы катаются.

Кто же профессору может сообщить о монголах? Откуда малице знать о монголах, — их в шкафах нету, он стережет библиотеку, дабы не расхитили.

— Обратитесь в исполком.

Исполкомовская барышня посылает в Киргизскую секцию. Там юный мусульманин переводит на киргизский язык «Коммунистический манифест». На вопрос профессора он спрашивает: «Товарищ, вы знакомы с системой пишущих машинок? Необходимо в срочном порядке переменить русский алфавит на киргизо-арабский алфавит». Монголов в городе нет, они скрылись неизвестно куда, впрочем, если товарищ владеет монгольским языком, ему могут предложить переводческую работу.

Теплушка за Омском.

Дава-Дорчжи неуверенно и легко, точно ноги его из бумаги, выходит из вагона. Виталий Витальевич ведет его под руку.

— В Новониколаевске я буду хлопотать, чтобы нас пустили по южному пути на Семипалатинск.

— Мне все равно.

Едва только Дава-Дорчжи приобретает силу, чтобы самому надеть сапоги, он берет котелок.

— Куда вы?

— По вагонам... у солдат каши просить...

— Я могу сделать это! Возвратный схватите, Дава-Дорчжи.

— Я же не болен... откуда у меня возвратный... Вам они каши не дадут... вы старик, а похожи на китайца...

— Дава-Дорчжи, на мне лежит обязанность.

— Почему вы меня голодом морите? Вы сами все втихомолку съедаете...

Профессору стыдно думать о золотой проволоке. Пусть она лежит в углу, плотно забитая гвоздями, и погибнет вместе с вагоном. Для себя он ее не употребил и не употребит — он не вор. Думая так, он чувствует себя спокойнее. Весь Будда в пыли, только почему-то слабо оседает пыль на бровные извилины. Спина — в зеленоватом налете, профессор смазывает ее маслом, которое достает тряпочкой с вагонных колес.

Однажды в составе, везущем на дальневосточный фронт коммунистов, он среди кожаных курток замечает товарища Анисимова. Впрочем, он пристально не разглядывает: он бежит в комендантскую — ждет. Если Анисимов придет за справкой — он перехватит его.

Он ждет напрасно: Анисимова нет.

Дава-Дорчжи приносит котелки с кашей и щами. Ест он жадно, опуская пальцы в пищу, точно желая напитать жиром пальцы рук. Ложка у него кругом обкусана, и на металле круглые следы зубов. И зубы у него точно выросли и заострились: профессору больно смотреть на них. Каша темная и густая, походит на землю, и запах ее стелется по полу.

Гыген почти не разговаривает с профессором и не спрашивает о пути. Движения его становятся быстрее, спина выпрямляется.

В Новониколаевске он исчезает на целый день.

В распредпункте как-то неожиданно быстро комиссар делает пометки на заявлении профессора Сафонова: «Удовлетворить, направив по просимому маршруту».

Вечер. Профессор долго путается среди составов, отыскивая теплушку. Надпись на дверях соскоблена: это он видит при ярком свете дугового фонаря. «Нужно восстановить», — думает он.

Дава-Дорчжи сидит на постели. Он распахивает новый козий полушубок и поправляет ворот гимнастерки.

Профессор спрашивает:

— Подарили?

Ему хочется пошутить с гыгеном, и он хочет сказать: «В разрешении на южную дорогу отказано».

— Получил!

Он, все думая о своем, как-то позади себя говорит:

— Вот что... где же выдают полушубки странникам?

Гыген делает несвойственный ему жест: подбочениваетcя. Лицо удлиняется, и профессор видит белые, как бумага, глаза. Голос у Дава-Дорчжи высок, почти крик:

— В полку, в полку, в полку... сволочь ты этакая... отстань! Подыхать мне тут с тобой! С голоду мне умирать. Не поеду, остаюсь! Мне здесь надо... я здесь... я...

Он пытается вскинуть вдруг ослабевшие руки, профессору страшно подумать, что он вскинет их. Он расстегивает шинель, забывает и опять шарит в петлях давно выкинутые крючки.

— Конечно, конечно, ваше дело...

Он вдруг обрадованно находит оставшийся крючок, но сукна подле крючка нет. Должно быть, серое, мокрое от снега сукно.

Дава-Дорчжи так и не подымает рук.

— Я совсем другое думал, Дава-Дорчжи... я полагаю, мы сможем сговориться... Я, наконец, могу достать деньги, получено разрешение. В таких случаях, знаете...

— Доносить пойдете — доносите! Я в анкете сам написал — офицер...

Профессор смотрит на его облупившееся лицо и распухшие (очень неровно, алыми горошинами) веки. Дава-Дорчжи кричит о новом своем перевоплощении: он отныне не Будда, не гыген, он не болел — он умирал, он оставлял дух того, который вот, в золотых пятнах, рядом; так разве болеют. Профессор говорит тихо:

— Оставьте шутить, Дава-Дорчжи... Вы офицер, вы почти русский, и вам ли идти служить к большевикам... Вы обязаны, если вы честный человек... Я вам не верю.

Дава-Дорчжи достает из кармана бумаги, они завернуты в носовой платок профессора. Он их швыряет на кровать.

Дава-Дорчжи идет к дверям военной прямой походкой. Ноги у него слегка кривятся, отворяет дверь пинком сапога.

Дава-Дорчжи, гыген и лама, уходит.

Он бормочет о новом перевоплощении — и непонятно, верит он этому или нет. Или он верит разговору солдат у вагона: «Заблудилась в тундрах железна дорога, можно теперь тысячу лет ехать»; или — после

тифа, когда мозг иссушен болезнью, — владеет его ногами желудок. Ноги идут к свободной пище!

Он, подлезая под вагон, чтоб сократить путь, говорит:

— Вот надоел, старый хрен! Вези теперь!..

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Что думал Хизрет-Нагим-бей и что мог бы думать красноармеец Савоська. Степь весной, суслики, и пестрые травы, и ветры

...В дымке, в дымке села далеких людей. Люблю свой дымок на пустыре. На дверях и на дворе нет мирской пыли, в пустом шалаше живет в довольстве свобода. Я долго был в клетке.

Тао, «Свой сад»

Человек пробует засов. Железо в крюке лежит крепко. Долго по железу дрожит рука в шинели — засов недоумевает: почему?

Потому, что человек слушает. После болезни трудно узнать шаги. Но нога ожидаемого не скользит на ступеньках.

Проходы немы. Железнодорожники, как везде, — в тулупах и с фонарями, маслянистый свет которых никогда и ничто не в силах осветить. Прицепляют вагон, тулуп шуршит о буфера и стенку.

Человек гнется справа налево, слева направо — всем телом. Так гнется кисть тушью на бумаге, и непонятные знаки означают непонятное. Будде непонятно, зачем человек творит эти знаки.

«Это неправда!

Будде все понятно. И медным гневом залито его лицо. И лотосы рук — как льдины в шугу, золотые пальцы ломают синь, как солнце утром ломает вершины гор».

Человек лежит в теплушке. Его затылок сжимает подушка, он отрывает голову, дребезжаще злобится:

— Что, взял, взял? Думал освободиться, думал освободиться, думал одному уехать! Я уйду!

Человеку незачем поднимать голову: он один и самого себя хорошо слышит. Резки, почти враждебны его тощие губы.

«Придете в ужас и преклонитесь перед тем, который привезет вам святыню. Раскроете глиняные монастыри, чтоб просияло на него оттуда спокойствие. Он сам проходит последние тьмы. Он...»

Самому себе нужно говорить высоко и грубо. Он так и говорит. Он много раз повторяет самому себе:

«Один субурган, пройденный — мирно пройденный с Буддой. Только один субурган прошел Дава-Дорчжи. Другой субурган — проникновение в великую мудрость, превращение в Будду — не прошел к нему Дава-Дорчжи... От второго субургана свернул Дава-Дорчжи в сторону. Но я не сверну!»

Будда не думает так. Глаза у Будды занесены пылью...

«Это неправда!

Лицо благоотшедшего горит медью всесовершенной победы. Величие чрезвычайной долговечности основывается в его ровно, как птица над пустыней, парящем круглом подбородке... его ресницы видят создание в течение одного часа миллиона субурганов. Ресницы его как сон, отрешившиеся от страданий. Металлописная его сила, потому что он — Будда».

Профессор Сафонов — европеец. Он знает: чтобы не думать, нужно занимать тело и разум движением. Двигаясь все время, не размышляя о смысле движения, Европа пришла в тьму. Восток неподвижен, и недаром символ его — лотосоподобный Будда.

Виталий Витальевич двигается и совершает свои обычные работы в вагоне. Ночью, под влиянием темноты и отчаяния (горько остаться одному), он мог совершить ряд глупых возгласов и жестов. Теперь ему что: он европеец, он должен исполнить свою обязанность, и, кроме того, цивилизованному европейцу достаточно дня, даже несколько часов, для победы над своими душевными волнениями. Ему поручено довезти Будду до монгольской границы и сдать его представителям монгольского народа. В Петрограде у него квартира, книги, обстановка и рукописи: труды всей жизни. Он вернется, исполнив поручение. Предположим, что монгольские ламы в благодарность за услугу пожелают его иметь гостем в своей стране, — почему он не сможет остаться и прожить до конца революции или же просто отдохнуть и набраться сил. И его и чужое мнение было бы: он обязан доехать. Он довезет Будду.

Профессор Сафонов отдирает доски и кладет в карман кусок золотой проволоки. Где растет хлеб, там цветет золото. В ближайшей деревне (поезд идет так, точно машинист рожает на каждой остановке — постоянно в тендер льется вода и начальники разъездов торопливы, как повивальные бабки) профессор предлагает мужикам за коротенький — со спичку — кусок проволоки дать ему хлеба и масла. Толстый и низенький, как телега, в серой байковой рубахе мужик осторожно, словно червяка, берет проволоку. Катает кусочек по ладони, пробует зубом, звенит о сковородку и отдает обратно. Потом опять берет, щупает, кусает — и опять возвращает. Вносит калач и говорит:

— Оно, кажись, и в самом деле золото, а возьми ты его лучше обратно. Золото-то оно золото, — вдруг с мощей. Нонче ведь к нам разные люди ходют. Вот если кольцо или, на худу голову, крест...

Профессор берет калач и уходит. В иной избе ему дают шаньги или картошки, но золото везде возвращают.

Ночью он ложится у засова, когда в дверь стучатся, он плотно прижимает губы к щели (чтоб не отдавалось эхо в пустом вагоне): «Занято... командированный...» Доски трещат, хриплые лохматые голоса матерятся, пока не отходит поезд.

Так встретил весну профессор Сафонов.

День и ночь, особенно сильно к утру, дует в Семипалатинск ветер и несет желтый песок. Выдувает из степи целые камни, похожие на дома. Иртыш бережет тополя, иначе задул бы песчаный ветер, как свечу, и воды, и травы, и даже небо. Небо отражается в Иртыше и только этим живет.

Профессор Сафонов в комендантской на станции Семипалатинск. На борту тужурки коменданта красный бант, а лицо серое и прямое. Комендант привык писать на бумажках с угла на угол, и пальцы держат перо тоже как-то углом. Читает профессорские накладные, мандаты, литеры и прочее. Читает долго — точно наступает сапогом на каждую букву. Часы в комендантской хрипят со скуки. Скучно смотрит на профессора, точно читает «свод законов». К тому же профессор плохо переплетен: ему стыдно за свой костюм.

— Садитесь, товарищ...— Комендант долго, точно фамилия рассыпана в мандатах, ищет.— Товарищ Сафонов. Обождите...— Он опять ищет.— Товарищ Сафонов.

Наконец складывает мандаты, перегибает их, словно ему еще раз хочется прочесть. Всовывает рукав в рукав и смотрит.

— Приехали, значит?

— Я имею просьбу к вам, товарищ комендант.

Мозги у коменданта словно занесены песком, он крутит яростно головой, продирает с усилием, будто в первый раз, глаза.

— Какую просьбу? — спрашивает он подозрительно. Глаза его щурятся, закрывают щеки, лоб...— Какую просьбу, товарищ?

— Статую Будды, которую поручено сопровождать мне, выгрузили из теплушки, и она безо всякого присмотра лежит на дворе. Боюсь, как бы не нанесли повреждений, так как статуя имеет ценность не только археологическую или религиозную, но и высокохудожественную и общественную. Совнарком, поручая мне...

Комендант с сожалением распускает рукава, щупает грудь и носом дует в усы, словно хочет их сдуть:

— Та-ак. Выгрузили, и хорошо. Что же, год ей в теплушке лежать? Дорого сейчас в Питере все. Хлеб-то почем?

— Я прошу вас, товарищ комендант...

Тогда комендант подымается, поворачивает стул медленно и тяжело, словно это корова. Щупает сиденье и протяжно, как канат, тянет в соседнюю комнату:

— Сергей Николаич... А?..

И так же протяжно, толсто катится, как бревно, из другой комнаты:

— Но-о-о...

— Да идите же!

Наконец появляется из другой комнаты низенький человек с неимоверно длинными черными усами. И бас у него нарочно для таких усов. Они читают мандаты вместе, и вдруг Сергей Николаевич густо и широко, точно смазывая дегтем, хохочет:

— Бу-у-уд-ду! Бога... Черти!.. Перуна на-ам!.. Хо-хо-хо!..

Комендант смотрит ему в рот, долго дожидается и внезапно пускается хохотать. Они катаются по столу,

стулья падают. Сбегаются барышни, смотрят и вдруг с визгом, щипая в восторге друг друга, прыгая, мелко, бисерно, с продергом, хохочут. В спину барышням толкаются сонные солдаты, коридор дрожит в хохоте. На перроне, облокотясь о лесенку, мрет в смехе какая-то ветхая старушка...

Но тут комендант, хлопая рукой по кобуре револьвера, кричит в толпу:

— Убирайтесь!.. Работать мешаете!..

Он вытирает с усов слезы и тревожно спрашивает у Сергея Николаевича:

— А подписи правильные?..

— Как будто правильные.

— А надо бы узнать, верно ли правильные.

— А как их узнаешь, что они правильные?

— Сверить надо.

— У нас заверенных петроградских подписей нету.

И комендант долго, точно ведро с водой из колодца, тянет новую мысль:

— А раз нету заверенных питерских подписей, значит, поддельно... если бы правильные подписи...

Профессору хочется плюнуть, крикнуть или еще что-нибудь.

— Разрешите заметить, товарищ комендант, я с этими подписями приехал из Петрограда.

— То из Петрограда... а у нас тут власть на местах. Из Семипалатинска-то вы бы не доехали. Вот кабы правильные подписи...

Басом, как кирпич, брошенный в пустое здание, вздыхает Сергей Николаевич:

— Правильная подпись, значит, дело правильно, вот, по-моему.

Комендант садится на стул и опять соединяет рукава. Вновь тянется ведро, плещется на губах слюна:

— Разве в центре по телеграфу подписи заверенные запросить?

Он опять разъединяет, как вагоны, рукава и думает вслух:

— Чудно. Зачем они нам Будду прислали?.. Да мы бы им тут из любого колокола десять свежих Будд отлили. Чудно!

— Чудно! — басом прет Сергей Николаевич.

— Посмотреть, что ли, Сергей Николаевич?

— Посмотрим!

Трое идут на товарный двор. Позади догоняет их барышня с бумажкой на подпись. Она тычет в несущийся песок бумажкой — сушит чернила. Комендант плавно, точно танцуя, опускает ногу на бурхан. Сергей Николаевич шевелит свой палец по сломанной короне: «Изъянец». Комендант опять спаивает свои рукава.

— Пальцы-то золотые...

— Позолоченные.

— То-то, я и то думаю, — как из Петрограда золотые пальцы выпустят.

Он кивает головой:

— А ведь безвредный. Пущай лежит.

Профессор кладет мандаты в карман.

— Я его увезу!

— Ну, и везите. Вам, собственно, от нас чего надо?

— Караул поставить!

— Караул?

Комендант смотрит на Сергея Николаевича. Тот где-то внутри ворочает:

— Караул можно.

Комендант быстро, точно шея у него отрывается, кивает:

— Можно. Поставить ему Савоську — тот спать любит, пущай спит...

Савоська коротконог и ходит так медленно, точно ноги у него уперты в пол, и ресницы курчавые. Шинель он несет на штыке, стелет ее подле статуи, и у него внезапно появляются ноги. Он закуривает, стучит пальцем в бок Будды.

— Медный, — мычит он с уважением. — А ты, дяденька, сказки не знаешь? — спрашивает он профессора. И, пока Виталий Витальевич отвечает ему, он засыпает.

Профессор Сафонов глотает пыль: у нее странный вкус, отдающийся холодом в висках. Снега стаивают, но шапки у всех встречных надвинуты глубже, чем зимой. Не от пыли ли они защищают виски?

За вокзалом профессор зацепляет у забора шинель: он хочет снять с гвоздя. Но это не гвоздь, а человеческий палец, а за пальцем человек в бешмете, похожем на гнилой забор. Бешмет хватает профессора за карман и кругло, раскатисто, как горсть брошенных монет, говорит:

— Бириги диньги.., мащеньник на мащеньнике... ты чэго привэз?

Профессору трудно двинуться, притом человек держит его за хлястик.

— Укажите, пожалуйста, где здесь Совет?

— Совит? Здесь много Совитов... Есть Совит — дома имит, мой дом тоже этот Совит имит. Есть Совит в тюрьму садит, Билимжан пятый месяц сидит... Торговать Совит нету, все даром дает...

— Мне исполком Совета.

— Там народу много, чиго бояться, давай провиду.

Татарин идет вразвалку, дорогой жалуется и выспрашивает, какие товары пропускают на дороге. В прихожей Совета он остается ждать. Окончив дела, профессор пойдет к нему пить чай и спать. Татарин тычет профессора в холку, чмокает: «Такая же мягкая у меня постель». Чем же заплатит профессор? Тогда татарин тычет его в голову:

— Проси, в Совитэ всим дают... руками больше махай. Ой-пурмай, какой дела чаман...

Секретарь исполкома мандат читает быстро. Секретарь длинный и круглый, плечи у него почти вровень с головой, над столом он как суконный сверток.

— Вам нужно было двигаться к Иркутску.

— Мы не хотели мешать движению армии. Я проеду из Семипалатинска на Лепсинск, через озеро Чулак-Перек, и оттуда по пикетам на Сергиополь и дальше по станицам к границе...

— Но ведь это же целая экспедиция... И Будда, при чем тут Будда? А где ваши товарищи?

— Они вступили в армию.

— Еще лучше! Вы один?

Они идут в кабинет председателя. Секретарь с насмешкой тычет в мандат:

— Будда приехал! Лошадей просит!

Председатель свирепо пучит глаза. Он неимоверно добр, и ему поэтому все время приходится кричать.

— Пошлите его к коровьей матери!.. У нас здесь агитаторов возить приходится на верблюдах, а ему — лошадей. Вы его ко мне, ко мне... я разделаю!..

Секретарь опять превращается в суконный сверток.

— Если хотите, я ваш вопрос выдвину на заседании пленума Совета... оставьте мандаты и зайдите в середине недели. Вы карточку в столовую имеете? Как командированный, обратитесь в губпродком к товарищу Никитину.

Профессор берет обратно мандаты.

— Тогда разрешите мне на вольных?

— Пожалуйста, товарищ, только предупреждаю...

Секретарь пишет пропуск: «Профессору Сафонову как сопроводителю статуи Будды до пределов Семипалатинской губернии».

Татарин Хизрет-Нагим-бей ждет его у входа.

— Получил?

Профессору нужно в губпродкоме получить карточку. Затем его Хизрет-Нагим-бей будет кормить и возьмет совсем дешево. Через месяц будет курмыш. Магометанин ли он? Солай, какой же татарин бывает христианином, а про монголов он пе слышал — они вместе с киргизами укочевали в степь. Идет ли с ним человек в шинели? Идет? Очень хорошо. Солай.

Профессор послушно шагает за татарином. Сутулая спина вся в полосах — маслянистых и глубоких, точно татарину в спину вшиты куски грязного сала. Призрачен песчаный город: его таким и представлял профессор Сафонов. Желтые пески несутся сонными струями, они необычайно горячи, и профессору приятно думать, что всего неделю назад он видел сосны в снегу и белки гор. Всю неделю неслась теплушка через сугробы. В песочных струях сонны люди, и так же, как во сне, сразу забывает профессор виденные лица. Татарин часто оборачивается, он чем-то много доволен, и каждый раз профессор видит новое лицо. Так и должно быть: у порога иной культуры, опьяненные сном, бродят иные, чужие этой культуре люди. Они сонны, неподвижны и трудно, как камень воду, усваивают мысль. Они сонны, неподвижно устремлены вперед, в пустыню. Только имея бодрость и ясный ум, ощущая напрягающиеся мускулы — от напряжения их профессор испытывает удовольствие, — можно творить. Его творчество близко пустыне, и потому он такой ясный и простой. Он весело смотрит в лицо татарину, и тот кивает головой: «Хорошо».

Внезапно профессору хочется быть откровенным или сказать татарину приятное и веселое. Он с удовольствием ступает на кошмы, настланные в избе татарина, и, хоть тот не проводит его в чистую половину (боится заразы), ему это приятно. Он щупает бревенчатую стену и говорит: «Крепкая изба», и с участием слушает рассказ татарина о конфискации кирпичного дома.

Здесь на кошмах Хизрет-Нагим-бей как будто меньше ломает язык, он больше понятен, или так и должно быть. Все же кошмы слишком пушисты и мягки и стены необычайно крепки. Приносит травяной чай женщина, она слегка подкрашена и походит на Цин, профессор ей приветливо кланяется. Низкие, четверть аршина, столики, изогнутые (словно ветром) чайники, двери, завешенные чистой циновкой. Золотисто-голубой свет (он пахнет молоком), и кошка, подымающая лапой циновку, уходит куда-то сквозь стену...

Профессор достает кусок золотой проволоки — тот, что продавал крестьянам. Он чувствует, что здесь другой мир и проволока его будет понятна. Точно: татарин только слегка дотрагивается до проволоки, вешает ее на мизинце ногтя. Профессор с любовью смотрит на длинный, как щепа, острый ноготь.

— Много еще? — спрашивает Нагим-бей.

Профессор, подавая проволоку, думал купить пищи, но он быстро говорит:

— Много.

Здесь татарин встает, выпрямляется. Под грязным его бешметом оказываются чистые плисовые шаровары и шелковая желтая рубаха. Нагим-бей проводит профессора в светлую половину. Собираются еще татары. Нагим-бей суетливо скрывается: профессор понимает — он узнает у русского, действительно ли проволока из золота. «Все великолепно», — думает профессор и пьет много чаю. Он в пустыне, здесь много пьют чаю.

Татары обступают его: русский ювелир сказал — проволока китайского золота, это же самое дорогое и древнее золото. Татары вокруг Виталия Витальевича, они с уважением смотрят на его неумело заплатанную шинель, волосы цвета линялой жабы и золотой вставной зуб. По вставному зубу они решают: «Не вор», — Хизрет-Нагим-бей спрашивает:

— Сколько просишь?

Профессору нужно — крепкую арбу, четырех верблюдов, двух погонщиков и сколько требуется пищи. Он везет мимо озера Чулак-Перек на Сергиополь и оттуда по станицам по тракту до Чугучака статую Будды. У него имеются мандаты и пропуск. Профессор объясняет, что такое статуя Будды.

— Бурхан... бурхан... — кивают бритые головы.

Они желают сами видеть бурхана. Профессор Сафонов ведет их на товарный двор.

Уткнувшись головой в бок Будде, спит Савоська. Подле него окурки: их несет и не может отнести ветер — так долго тянул и думал над ними Савоська.

— Четырем верблюдам не увезти, — говорят татары, и они нарочно, натужась, пытаются перевернуть статую на другой бок. — До Чугучака восемьсот верст, в степи весна — верблюдам идти тяжело, — никак нельзя меньше восьми верблюдов.

Они возвращаются, пьют чай и за проволоку согласны везти Будду до Сергиополя.

— Найду других, — говорит профессор.

Татары спорят: сейчас война, за Сергиополем белые, угоняют верблюдов, людей убивают, за проволоку много купишь? Наконец они соглашаются дать четырех верблюдов и везти за Сергиополь до станицы Ак-Чулийской.

Виталий Витальевич с наслаждением мнет пальцами жирный кусок и кладет его на губы.

Теплые и веселые заборы, профессор проводит по ним ладонью. Об сапоги шурша, дует песок, оттирает его ладонь от забора и сам, радостный и пушистый, лезет в руку. Профессор долго ходит по двору. Верблюды дышат широко и шумно; запахи от них тоже необъемные, степные: полынь, молодые весенние травы.

Савоську видеть тоже приятно. Он подымается, стучит прикладом в статую.

— А если бы у тебя утащили ее? — шутит профессор.

Ног у Савоськи опять нет, весь он четырехугольный и бурый, как лист картона, и ружье словно воткнутая щепочка.

— Ута-а-ащут... Кому ее! У нас дрова вот пру-ут... это — да-а. Везешь бога-то, дяденька?

— Везу.

— И молятся таким?

— Молятся.

— Чудно!

Песчаный желторебрый город. Белые дома, как выдуваемые камни. Парень со стульями на плечах, мальчишка в туго обтянутых штанах, собаки с мелким песчаным лаем провожают Будду. Лежит он на арбе, закрытый кошмами и туго увязанный веревками. Мед-

ное, спокойное лицо его с плотно прижатыми, как у спящего зверя, ушами.

Сонноподобный песчаный город. Туманно-смуглы встречные глаза, губ нет — ровная песчаная пелена начинается от глаз.

Арба в песках идет молча, верблюды широко раскидывают пухлые ступни, погонщики молчаливы и сумрачны — Будда покидает город.

Хизрет-Нагим-бей смотрит в окно и думает о смешном человеке, везущем в Монголию кусок меди. Хизрет-Нагим-бей уговаривал его остаться в городе — за проволоку можно хорошо спать, и кошмы длинны: не скатишься, как с кровати, не проснешься. Хизрет-Нагим-бей думает о своих четырех верблюдах, данных человеку с золотым зубом: плохой будет присмотр, совсем пьяный человек.

Хизрету-Нагим-бею жалко верблюдов и арбу. Хизрет-Нагим-бей седлает лошадь...

Проста и ясна жизнь, как травы, как ветер.

Степь перед профессором Сафоновым.

— Го-о!.. — кричат погонщики.

Профессор Сафонов повторяет:

— Го-о!

Верблюды думают свое. Чалая шерсть большими кусками виснет у них на холках. Арба скрипит — путь сухой и длинный, арба помогает себе криком. От своего ли, чужого ли крика — веселее в пустыне.

Профессор чувствует веселую, искрящуюся дрожь в жилах. Плечи у него словно растут, он скидывает шинель, весело смотрит на шмыгающих в норки сусликов.

— Го-о!

Бедный зверек, он скрывается в темную норку, а потом вновь выпрыгивает на свет. И профессор радуется своей простой и сентиментальной мысли. «Пустого и глупого Дава-Дорчжи напугала дорога и прельстила пища, он шмыгнул в норку. Теперь Дава-Дорчжи сидит в канцелярии и пишет исходящие... Ха-ха!» Так думает профессор.

Будда качается в арбе. Будда, прикрыв войлоком глаза, сонный, пройдет через пески, степи,

Новые, еще пахнущие землей, травы под сапогами профессора. Он срывает пук, и ладони его тоже начинают пахнуть растущей землей.

— Го-о!.. — кричат погонщики.

Верблюдам нужен ли крик? Они идут и будут идти так год, и два, и три, пока есть пески и саксаулы. Человеку нужен крик.

Профессор тоненьким голоском прикрикивает:

— Го... го... го!..

Наутро третьего дня пути из-за песчаных, поросших саксаулом холмов примчались к каравану всадники. У одного из них на длинной укрючине черная тряпка. Сыромятные поводья скользят у них из рук (они не опытны, по-видимому), и напуганно вопят они:

— Ыеееей... ыееейй!..

Погонщики, закрыв затылок руками, падают ниц. Верблюды же шагают вперед. Тогда один из всадников кричит:

— Чох!

Верблюды ложатся.

Профессор Сафонов спокоен, он всовывает для чего-то руку в карман шинели. Пока он идет от дороги к всадникам, он успевает подумать только: «Необходимо было требовать охрану». Профессор Сафонов чувствует себя слегка виноватым, замедляет шаг. Здесь всадник с черной тряпицей подъезжает к нему вплотную. О бок профессора трется лошадиная нога, и слышен запах мокрой кожи. Киргиз — у него почти русское толстоносое лицо и крепкие славные зубы — наклоняется из седла и, закидывая повода за луку, спрашивает:

— Куда едешь?

Профессор еще острее ощущает свою непонятную вину и поэтому несколько торопливо отвечает:

— В Сергиополь... вы же куда направляетесь, граждане?..

Но тут киргиз взмахивает и бьет его по голове чем-то тупым и теплым. Профессор хватается одной рукой за седло, другую же тянет к своей шее. Все кругом желтое, вяжущее, запашистое. Киргиз бьет его в плечо, гикая.

Профессор падает.

Тогда всадники, гикая, крутятся вокруг арбы, стегают лошадей и, устав гоняться друг за другом, подъезжают

к Будде. Погонщики подымаются, и все с ожиданием смотрят на холмы. Оттуда скачет еще всадник, на голове у него маленькая солдатская фуражка, она плохо держится, и его рука прыгает на голове. Это Хизрет-Нагим-бей. Он ждал их за холмом. Киргизы торопятся, рубят бечевки и скатывают Будду на песок. «Сюда», — говорит Нагим-бей, и они бьют топорами в грудь Будды. В груди Будды ламы часто прячут драгоценности, но грудь Будды пуста. Тогда один из киргизов отрубает золоченые пальцы и сует их в карман штанов. Хизрет-Нагим-бей подходит к лежащему человеку. Нагим-бею жалко его, но верблюды еще дороже. Киргизу, ударившему палкой человека, хочется иметь золотой зуб, но Хизрет-Нагим-бей говорит строго:

— Китер... пущай умирает с зубом!

Тропа эта в стороне от тракта (человек был глуп: умный понимает дороги). Киргизы медленно поворачивают верблюдов.

И после, вечером, перед смертью, профессор Сафонов отдирает от земли плечи и хватает руками: вперед, назад, направо... под пальцами вода, густая, тягучая...

Но это не вода — песок.

Песок.

...Темной, багровой, раненой медью наполнена его расколотая грудь. Сосцы его истрещены топорами. Высокий подбородок его оплеван железом. Золотые пальцы его мчатся неизвестно куда. А глаза его обращены вверх, они глядят мимо и выше несущихся песков. Но зачем и кого могут они там спросить: «Куда теперь Будде направить свой путь?»

Потому что одно тугое, каменное, молчаливое, запахами земли наполненное небо над Буддой.

Одно...

1923

КОММЕНТАРИИ

Произведения Всеволода Иванова издавались в нашей стране сотни раз. Было осуществлено два собрания сочинений. Первое — в семи томах в 1928—1931 годах (Госиздат), второе — в восьми томах в 1958—1960 годах (Гослитиздат). Среди других изданий сборники избранных произведений: «Избранное» [в 2-х томах]. М., Мосполиграф, 1924; «Избранные сочинения. 1920—1930 гг.». М.—Л., Гослитиздат, 1931; «Избранное» [в 2-х томах]. М., Гослитиздат, 1937—1938; «Избранное». М., Гослитиздат, 1948; «Избранные произведения» в 2-х томах. М., Гослитиздат, 1954; «Избранные произведения» в 2-х томах. М., «Художественная литература», 1968.

Из многочисленных сборников повестей и рассказов наиболее значительны: «Седьмой берег». Рассказы. М. — Пг., «Круг», 1922 (переиздан в 1923 г.); «Тайное тайных». Рассказы. М.—Л., Госиздат, 1927; «Повести великих лет». М., «Федерация», 1932; «Обыкновенные повести». Изд-во писателей в Ленинграде, 1933; «Рассказы». М., «Советский писатель», 1963; «Хмель. Сибирские рассказы 1917—1962 гг.». М., «Молодая гвардия», 1963.

Новое собрание сочинений Всеволода Иванова в восьми томах — первое посмертное собрание сочинений писателя и наиболее полное из всех выходивших ранее. В него входит большинство произведений Иванова, опубликованных при его жизни (кроме пьес и публицистики) и почти все опубликованные посмертно. Среди последних романы: «Вулкан», «Эдесская святыня», ряд повестей и рассказов. В приложении к одному из томов будет дан роман «Сокровища Александра Македонского», над которым писатель работал много лет, но так и не завершил. В собрании будут представлены также опубликованные посмертно дневниковые записи писателя, материалы из его записных книжек.

Собрание сочинений строится по жанрово-хронологическому принципу.

Первый том включает произведения, созданные Ивановым в 1921—1923 годах. Этот период несет на себе ряд особых, идейно-эстетических примет и является четко определенным этапом творческой эволюции писателя.

Внутри тома произведения расположены по хронологии. В связи с тем, что в авторской датировке наблюдается разнобой,

---

а в иных случаях она отсутствует, произведения датируются временем их первой публикации. Авторская датировка, если таковая имеется, приводится в комментариях. Авторские примечания даются сносками в тексте.

Тексты произведений печатаются по последнему прижизненному изданию. Случаи отступления от этого положения специально оговариваются.

Принятые условные обозначения:

Собр. соч. в 7-ми томах 1928—1931 гг. — 1-е собр. соч.

Собр. соч. в 8-ми томах 1958—1960 гг. — 2-е собр. соч.

Вс. Иванов. Переписка с Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969 — «Переписка с Горьким».

«Партизанские повести». — Впервые под этим названием были объединены рассказ «Партизаны», повести «Бронепоезд 14-69», «Цветные ветра» в кн.: Вс. Иванов, Сопки. Партизанские повести. М. — Пг., ГИЗ, 1923.

Сборник открывался двумя эпиграфами:

«Возвышенности, выделяющиеся более или менее над остальной поверхностью равнины, сибирский народ именует «сопками» (Этнографические сочинения).

«Из долины вверх на сопку
погляжу,
погляжу, пойду по камню
побродить».
(Сибирская песня)

Эпиграфы заключали авторскую оценку этих произведений как лучших.

Создав «Партизанские повести», Иванов выступил первооткрывателем новых тем, персонажей... Знаменательно признание К. Федина: «Ему первому после войны удалось с художественной силой ввести новый революционный материал в искусство письма — то, из-за чего билось все юное поколение русской литературы» (К. Федин. Горький среди нас, ч. 1. М., Гослитиздат, 1943, с. 91).

Все три партизанские повести получили большой отклик в журнальной и газетной периодике и среди писателей-современников.

«Мы, — писал Дм. Фурманов, — все еще не можем отделаться от прекрасного и глубокого впечатления, которое получили от рассказа Всеволода Иванова «Партизаны» (Отдел рукописей ИМЛИ, II, 62, 636). «Мы уже привыкли от Всеволода Иванова получать одну прекрасную вещь за другой: «Бронепоезд 14-69» — одно из лучших его творений» (Собр. соч. в 4-х томах, т. 3. М., Гослитиздат, 1961, с. 330). Л. Сейфуллина вспоминала: «Вечеров пять подряд (...) мы (сотрудники «Сибирских огней», — *Е. К.*) проговорили о «Партизанах»

Вс. Иванова... Мы узнали, что в РСФСР появилась современная художественная литература» («Сибирские огни», 1927, № 1, с. 217).

Критика отмечала, что искусство Иванова в сложной обстановке первого пореволюционного пятилетия стало своего рода политическим и эстетическим событием.

«Вс. Иванов — наглядный аргумент революции (...). Из молодых беллетристов, выдвинувшихся за последние 1 1/2 — 2 года, Вс. Иванов наиболее решительно и безоговорочно принял Советскую Революционную Россию, и выходит это у него просто, молодо, легко, художественно, правдиво и цельно...»

Партизаны Иванова, поднявшиеся против Колчака за землю, за свою «хрестьянскую власть», глубоко отразили путь в революцию миллионов мужиков огромных окраин России, путь не простой, но неотвратимый. Поэтому вещи Вс. Иванова стали «чудесным художественным документом (...) эпохи, выясняющим с внутренней психологической стороны, почему (...) большевики оказались победителями в гражданской войне» (А. К. Воронский. Литературные силуэты. Всеволод Иванов. — «Красная новь», 1922, № 5, с. 254—255, 259).

О революции и гражданской войне в Сибири до Иванова или одновременно с ним писали многие художники («Два мира» В. Зазубрина, «Мать» Ф. Березовского, «Колчаковщина» П. Дорохова, повести и рассказы Ис. Гольдберга, позднее собранные в книгу «Путь, не отмеченный на карте»). Но Иванов сумел сказать «свое слово». Его повести позволили проникнуть, по мнению З. Неедлы, «прямо в человеческую сущность русской революции» (цит. по статье М. Заградки «Зденек Неедлы и советская литература 20-х годов» («Иванов и Сейфуллина») «Русская литература», 1963, № 4, с. 225).

Критика всесторонне обсуждала объективное содержание интересного типа, представленного Ивановым в литературе: мужика-земледельца, связанного тесными узами с землей, крестьянским «миром», и одновременно правдоискателя, мучимого неразрешимыми вопросами о смысле жизни, цене человека и т. д. (Селезнев — «Партизаны», Вершинин — «Бронепоезд 14-69», Смолин — «Цветные ветра»). (См. подробнее об этих героях в статье Е. Краснощековой «Концепция человека в творчестве Вс. Иванова первой половины 20-х гг». — «Учен. записки Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина», 1963, № 204, с. 151—166.)

Одновременно в 20-е годы прозвучали упреки Иванову в искажении облика героев партизан.

На страницах газеты «Известия» выступил бывший командир одного из сибирских партизанских отрядов В. Яковенко с заметкой «Партизанское движение и художественная литература» («Известия», 1924, 3 августа), где, в частности, заявил, что в «Партизанах»

Вс. Иванова «неверно и фантастично освещены пружины партизанского движения. У читателей создается впечатление, что партизанское движение вообще возникало случайно и не имело под собой никакой политической почвы» (так комментировал Яковенко сцену ухода партизан «в чернь», в тайгу).

Эту же точку зрения высказал А. Неверов, придав ей еще более обобщающий характер: «Всеволод Иванов идет не от идеи революции, а от мужицкой стихийности, от темных подземных сил, от простой мужицкой нелюбови к начальству (...). Октябрь сам по себе, мужики сами по себе. Порывы революционные у них не от *идеи,* а все от той же земли» (Ал. Неверов. В кругу заколдованном. Всев. Иванов. — Литературно-худож. двухнедельник «Корабль» (Калуга), 1923, № 1—2 (7—8), с. 32—33).

Автора «Партизанских повестей» обвиняли также в намеренном сгущении темных красок при характеристике героев (их жестокости, звериной природы, темноты...).

Как страстная полемика с этими обвинениями прозвучал отзыв Ю. Фучика (в 1925 г.): «Много крови, много страдания, но человек все же остается и не теряет своего нравственного здоровья, позволяющего ему побеждать, жить, любить... Иванов уважает смерть и не стремится ее использовать в целях сенсации... Он не отрицает ее, зная, что отрицать ее нельзя... Однако он хвалит жизнь, видит, сколько живого приносит революция — она приносит день, солнечное небо и голубые пески» (цит. по статье М. Заградки «Зденек Неедлы и советская литература 20-х годов» («Иванов и Сейфуллина»). — «Русская литература», 1963, № 4, с. 224).

Статья Л. Рейснер, специально написанная в защиту суровой правды в искусстве Сейфуллиной, Иванова и других писателей 20-х годов, стала ярким документом своего времени:

«Кто смеет утверждать, что крестьянство, а отчасти и пролетариат вступили в революцию, вступили в гражданскую войну такими же сознательными, политически зрячими и организованными, как, например, в ленинский набор или в великую борьбу за восстановление нашей промышленности, тот лжет и хочет лишить революцию ее заслуги.

Потому-то и изумительна история этих лет, потому-то и останется она в памяти трудящихся как нечто небывалое и незабываемое, что русский мужик и рабочий шли в революцию, шаг за шагом выдирая свои ноги из вековой застарелой грязи. Они несли на себе и с собой целые куски, целые обломки старого своего мировоззрения, и только очень медленно, в ходе революции, на опыте гражданской войны, отрывая их от себя» (Л. Рейснер. Против литературного бандитизма. — «Журналист», 1926, № 1, с. 27).

И все же точка зрения Неверова стала отправным пунктом для критики 30—40-х годов, обвинявшей Иванова в поэтизации стихийности крестьянского движения и противопоставившей его «Партизанским повестям» книги Фурманова, Серафимовича, Фадеева, где эта стихийность осуждалась (см., к примеру, Б. Брайнина. На перевале. Всеволод Иванов за 1930 год. — «Литература и искусство», 1931, № 2—3; М. Чарный. Певец партизанской стихии. Творчество Артема Веселого. М., «Советская литература», 1933).

Как всякая схема, такое противопоставление стало препятствием к объективному изучению творчества писателя. Установившаяся традиция полупризнания-полуосуждения «Партизанских повестей» глубоко огорчала Иванова. В записных книжках писателя встречается такая запись: «...в своих книгах «Партизаны», «Бронепоезд» и т. п. я намеревался показать революционное движение среди сибирских крестьян в послеоктябрьский период, как защищающее законы Октября. Такова была моя идея (...). А когда появились Фадеев и Фурманов, *мои идеи*, согласно мнению критики, оказались *не моими*. Когда-нибудь, после смерти, они вновь будут *моими* — но тоже как-то по-другому» («Переписка с Горьким», с. 305—306).

Эта традиция в оценке творчества Иванова была нарушена М. Щегловым (статья «Всеволод Иванов» — «Вопросы литературы», 1957, № 3). В статье В. Баранова «Проблема стихийности в произведениях советских писателей начала 20-х годов и «Партизанские повести» Вс. Иванова» («Учен. записки Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», т. 208, ч. 1, 1959, с. 59—73) было верно указано, что стихийность ивановских мужиков — это стихийность «демократического митингования», закономерный этап их приобщения к идеям революции. В свете такого понимания «стихийности» и внешне «случайным» поступкам ивановских героев может быть дано социально-психологическое объяснение; за «случайностями» увидится закономерность.

Создавая «Партизанские повести», Вс. Иванов сознательно искал художественную форму, способную передать небывалые события, дать ощущение колоссального переворота, осуществляемого в мире и искусстве.

«Мне казалось, что виденный нами, пережитый нами эпос Октября и гражданской войны можно изобразить лишь образным метафорическим, возвышенным слогом, а ритм книг должен быть стремительным, обрывистым, в наиболее пафосных местах переходя в стихотворение без рифм.

Так были мною написаны «Партизанские повести». Только так, казалось мне, можно было рассказать о недавних битвах, о крови и пыли больших дорог, о счастье и горе борьбы за землю, за социализм,

за мир!» (Речь Вс. Иванова на III Всесоюзном съезде советских писателей, 2-е собр. соч., т. 8, с. 296).

Читатели и критика сразу восприняли стиль «Партизанских повестей» как новаторский и попытались уловить наиболее специфические его признаки.

«Про вещи Вс. Иванова первой поры можно сказать, что они не построены, а вытканы как ковер» (А. Лежнев. Всеволод Иванов. — В кн.: «Литературные будни». М., 1929, с. 271).

«Яркость, часто доходящая до болезненной пестроты образов, собственный богатый провинциальный словарь — характерные черты этого автора» (Н. Асеев, рец. на «Цветные ветра», «Лога». — «Печать и революция», № 7, 1922, с. 311).

Особо отмечалась свежесть, сочность и меткость его сравнений, эпитетов.

Неожиданной в свете современных оценок выглядит реакция критики на столь любимые Ивановым в «Партизанских повестях» лирические отступления. Их резко не принял Горький («Переписка с Горьким», с. 22—23).

Н. Асеев писал: «К числу неудачных приемов Вс. Иванова следует отнести и те лирические отступления автора, которые не органически вылились и остыли в сияющую сталь его прозы, а дрожат на ней подражательными отблесками дезорганизованного пафоса. Иногда они приближаются к таким же отступлениям Гоголя, иногда впадают в «бесшабашную» крикливость Каменского» («Печать и революция», 1922, № 7, с. 313).

Подобная оценка во многом объяснялась подходом к отступлениям как чисто формальным украшениям, игнорированием их содержания. В отступлениях особо полно выявилась ивановская философия жизни и человека, сообщающая всем его книгам этой поры жизнеутверждающий пафос.

Получив большую популярность сразу после публикации, «Партизанские повести» быстро переводятся на иностранные языки.

В 20-е годы «Партизанские повести» были переведены на большинство европейских языков и на ведущие языки Азии.

В ряде стран самое первое знакомство с советской литературой происходило по книгам Иванова.

В 1921 году в Германии были изданы «Партизаны», в 1923 — «Бронепоезд 14-69» и «Цветные ветра». В 1930 году вышла книга «Партизанские повести», включающая все три повести (см. подробнее об этом в статье М. В. Минокина «Всеволод Иванов в Германии». — «Вопросы литературы», 1966, № 11). Ф. Мирау (ГДР) в сообщении на IV Международном съезде славистов констатировал, что «между 1920 и 1924 годами немецкий читатель познакомился со значительными произведениями ранней советской литературы (...), с

ранними революционными рассказами», и первым назвал Вс. Иванова («IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии». I. М, Изд-во АН СССР, 1962, с. 439). Есть свидетельства о том, что «Партизанские повести» печатались на страницах эрфуртской коммунистической газеты «Das Rote Echo» как явление «новой революционной литературы пролетарской России» (см. статью X. Флюге «Советская литература на страницах эрфуртской печати, 1919—1933 гг.» в сб. «Из истории советской литературы 20-х годов». Иваново, 1963).

«Можно... говорить о весьма значительной роли творчества Вс. Иванова в чешской культуре 20-х годов. Иванов был тогда в глазах чешской публики представителем советской прозы, а его произведения — в известной мере критерием ее художественных ценностей» («Русская литература», 1963, № 4, с. 222. См. также: З. Нeeдлы. Из истории связей советской и чехословацкой литератур. — «Новый мир», 1945, № 2—3).

Открытие советской литературы в Испании также связано с именем Вс. Иванова. Первыми произведениями советской литературы, появившимися в Испании (1926 г.), стали «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова и «Барсуки» Л. Леонова (см. подробнее о переводах раннего Иванова на исп., франц., итал. в статье Е. Бобровой «Советская художественная литература в переводах на западноевропейские языки (1917—1937)». — «Звезда», 1937, № 11).

«Партизаны» — впервые «Красная новь», 1921, № 1 (июнь) с посвящением сибирскому поэту Александру Павловичу Оленич-Гнененко. Авторская датировка — 13/I, 1921 г., Омск.

Первое отдельное издание — Всеволод Иванов. Партизаны. Повесть. Пг., «Космист», 1921.

Публикацией «Партизан» открывался первый номер первого советского «толстого» журнала «Красная новь», созданного по инициативе В. И. Ленина и сыгравшего большую роль в становлении советской литературы. Редактор журнала А. К. Воронский, посылая А. М. Горькому второй номер, сопроводил его письмом, в котором писал: «С очень большим трудом, но все-таки небезуспешно работаю над объединением вокруг журнала группы молодых литераторов. Всеволод Иванов — молодчина. Здорово у него выходит. И развивается он очень быстро...» («Новый мир», 1964, № 12, с. 218).

Иванов неоднократно заявлял, что «в основу повести легло подлинное событие, услышанное в Сибири» («История моих книг»). «Случай, как я слышал, произошел где-то возле села Волчиха, неподалеку от Алтая» (2-е собр. соч., т. 8, с. 485).

Те же жизненные впечатления отразились в рассказе «Красный день» (1921).

«Партизаны» были написаны Вс. Ивановым еще в Сибири, но по приезде в Петроград (начало 1921 г.) заново переделывались. 19 ма-

рта 1921 года Иванов писал А. М. Горькому: «Работаю над рассказом и переписываю другой — «Партизаны», написанный еще в Сибири» («Переписка с Горьким», с. 18).

Иванов вспоминал: «Я писал, почти не отрываясь от стола, трое суток. Добрая хозяйка одолжила мне керосиновую коптилку. На четвертые сутки хлебные запасы мои кончились, но и рассказ тоже был окончен. Он назывался «Партизаны» и положил основание книге моей, позже названной «Партизанскими повестями» (2-е собр. соч., т. 8, с. 850).

По поводу «Партизан» Горький писал: «Всеволод Вячеславович. Рассказ — удался, хотя — местами — чуть-чуть длинноват.

Беру его с собой в Москву, оттуда привезу Вам денег.

Работайте, дружище! Вы можете сделать очень хорошие вещи» («Переписка с Горьким», с. 19).

С включением в цикл «Партизанских повестей» рассказ «Партизаны» стал называться повестью. Она переиздавалась неоднократно, входила в оба собрания сочинений писателя, в сборники избранных произведений, почти во все другие сборники Иванова. Повесть редактировалась писателем дважды. При включении в книгу «Партизанские повести». М. — Л., Гослитиздат, 1934 (просмотр. и испр. изд.) правка носила сугубо стилистический характер и была немногочисленной (заменены на общепринятые те написания в диалогах, которые полностью имитировали устную речь: многа, исполняшь и т. д., исключены нецензурные выражения). Иной характер носило редактирование 1952 года (сб. Вс. Иванов. Повести, рассказы, воспоминания. М., «Советский писатель»). Наряду со стилистической правкой (исключались многие сравнения, уточнения, описания) автором были сделаны исправления и в содержании, в частности, была переписана сцена последнего сражения партизан с атамановцами. В редакции 1952 года рассказ был включен во 2-е собр. соч. (т. 1) и по этому тексту печатается в нашем томе.

«Бронепоезд 14-69» — впервые полностью: «Красная новь», 1922, № 1 (5), январь—февраль. Отрывки: «Чужой земли» — «Жизнь искусства», 1922, 7 февраля; «Рельсы» — «Красная газета», 1922, 19 февраля. Авторская датировка — Июль 1921 года, Петроград; первое отдельное издание: Всеволод Иванов. Бронепоезд 14-69. Повесть. М., ГИЗ, 1922.

Публикация второй повести Иванова на страницах «Красной нови» через полгода после первой сделала его имя знаменем всех, кто боролся за создание молодой советской прозы. В апреле 1922 года А. К. Воронский писал В. И. Ленину:

«Я задался целью дать и «вывести» в свет группу молодых беллетристов — наших или близких нам. Такая молодежь есть. Кое-

каких результатов я уже добился. Дал Всеволода Иванова — это уже целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш (...). Имейте в виду, что Всев. Иванов — это первая бомба, разорвавшаяся уже среди Зайцевых и Замятиных. Уверен, что будут и другие» («Новый мир», 1964, № 12, с. 216).

О возникновении замысла повести Вс. Иванов подробно рассказывает в «Истории моих книг». Как лектор Культпросвета Петроградского военного округа, писатель весной 1921 года встретился с командой бронепоезда, стоявшего под Петроградом. Эта встреча оживила почти забытые впечатления:

«Вспомнился номер сибирской дивизионной красноармейской газеты — две крошечные страницы желтовато-бурой оберточной бумаги. Здесь я впервые прочел о бронепоезде 14-69. Я не утверждаю, что бронепоезд шел именно под этими цифрами, — может быть, цифры паровоза были совсем другими, может быть, даже он назывался «Гремящий», «Полярный», «Разящий». И не помню, было ли в газете официальное сообщение о подвиге партизан, очерк или просто отчет о митинге, — помню, было что-то короткое и вместе с тем потрясающе героическое!» («История моих книг»). См. об этом также в статье «Встречи с Максимом Горьким» (2-е собр. соч., т. 8, с. 492—493).

В настоящее время сделано много, в частности, М. В. Минокиным по разысканию фактов, могущих стать «прототипом» для событий в «Бронепоезде 14-69». Газеты 1919—1921 годов, выходившие на огромной территории от Тюмени до Владивостока пестрят сообщениями о нападении партизан на железнодорожную линию, на воинские эшелоны и даже на бронепоезда. Правда, о захвате и использовании партизанами вражеского бронепоезда имеется только одно сообщение. В начале 1920 года, во Владивостоке, вспыхнуло восстание рабочих, на помощь которым из Сучана прибыли партизаны на бронепоезде, отнятом у белогвардейцев.

Аналогичная ситуация нарисована в рассказе Матэ Залка «Ходя» («Октябрь», 1924, № 3), где повествуется о героической гибели бойца интернационального батальона Лиу Сат-сена (Ходи) при успешном штурме бронепоезда в украинских степях (судьбы отряда и китайца перекрестились в Сибири).

Есть свидетельство о существовании конкретного лица, послужившего прототипом Пеклеванова. Ник. Анов и Г. Петров, знавшие Иванова в омский период его жизни, вспоминают о том впечатлении, которое произвел на Иванова подпольщик-большевик «товарищ Афанасий» — А. А. Наумов, впоследствии один из руководящих работников Якутской АССР. Он участвовал в борьбе против вооруженной банды колчаковских офицеров в 1922 году, был военкомом небольшого красноармейского отряда, находившегося почти полгода в окружении в селе Мига. Когда Анов спросил Иванова —

«Большевик Пеклеванов — это, конечно, Афанасий», — Иванов ответил:

— Не совсем. В какой-то степени. Разумеется, я много о нем думал, когда создавал образ Пеклеванова. Афанасий был загадочный человек. В его жилах текла холодная кровь. Я бы сказал, рассудочная кровь отважного человека. Он был настоящий конспиратор, мало говорил, но делал много. Во всяком случае, несравненно больше, чем мы могли тогда предполагать...» («Всеволод Иванов — писатель и человек». М., «Советский писатель», 1970, с. 59—61).

Повесть была написана в Петрограде. См. письмо Иванова Горькому от 19 марта 1921 года («Переписка с Горьким», с. 18), но предыстория ее связана с сибирским периодом жизни Вс. Иванова (см. статью М. В. Минокина «К предыстории повести Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69». — «Русская литература», 1966, № 1).

В Госархиве Омска в фонде А. Сорокина (ф. 1073) обнаружены два отрывка: «По-прежнему стоял поезд», «Вагон 203125» (опубликованы в газ. «Забайкальский рабочий», Чита, 1965, 31 октября). По версии М. В. Минокина эти отрывки, как и рассказы Иванова «В снегу» (1921) и «Происшествие на реке Тун» (1925), представляют собой «куски» (в большей или меньшей степени переработанные) повести Иванова «Фарфоровая избушка», которую он писал в Омске — Петрограде в 1920—1921 годах. Из письма Иванова Горькому в Петроград из Омска от 16 января 1921 года: «Окончил недавно и теперь отделываю большую повесть (величиной в 200—300 страниц). «Из современной жизни» как говорят, — «Фарфоровая избушка» («Переписка с Горьким», с. 16). Из письма Иванова Антону Сорокину из Петрограда в Омск от 26 марта 1921 года: «Вы, поди, мою «Фарфоровую избушку» искромсали. Но бог с Вами, я человек мирной» («Молодой сибиряк», Омск, 1965, 7 ноября).

Хотя в Омском архиве ивановский отрывок «Вагон № 12442» имеет авторство А. Сорокина, датирован 4 мая 1921 года (когда Иванов был уже в Петрограде), а название изменено («Вагон № 203125»), письма Иванова свидетельствуют, что этот отрывок принадлежит ему. Так, в письме Сорокину от 15 апреля 1921 года Иванов писал: «Рассказ мой новый «Вагон № 12442», который был напечатан в сборнике молодых писателей в Берлине и выйдет через месяца два — два с половиной, я, с Вашего разрешения, посвящаю Вам, милейший Вы человек» («Молодой сибиряк», 1965, 10 февраля).

Как свидетельствуют записи, сохранившиеся в архиве Иванова, рукопись «Фарфоровой избушки» была автором сожжена. Но предположения о том, что материал повести был использован при работе над «Бронепоездом 14-69», имеет право на существование. Описание теплушечного быта, настроения белогвардейцев и беженцев в ма-

териалах, генетически связываемых с «Фарфоровой избушкой», непосредственно перекликаются с главами повести, рисующими белый бронепоезд и настроение его «населения».

Как протекала работа Иванова над повестью, помогает уяснить автограф одной из глав — «Чужой земли», сохранившийся у ленинградского коллекционера Ф. В. Грошикова. Сопоставление автографа и журнального текста свидетельствует о том, что основные усилия Иванова были направлены на достижение большей динамики повествования, — для этого автор идет на сокращения, очень серьезные изменения, фактически переписывает целые сцены (описание партизанского лагеря), — на повышение стилевой выразительности (сцена «упропагандирования» американца). (См. статью М. В. Минокина «О раннем варианте повести Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69» — «Русская литература», 1970, № 1.)

Над повестью «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванов работал на протяжении всей жизни. В итоге текстологического сравнения разных изданий этой повести мы можем говорить о существовании трех ее вариантов (основного и двух производных). При этом первый (основной) имеет три редакции, отличающиеся большей или меньшей стилистической правкой.

Первой редакцией основного варианта мы считаем журнальную. Готовя повесть к отдельному изданию, Иванов много работал над стилем. Снимая повествовательность он боролся за экспрессивность стиля, образную насыщенность слова. Пример подобной работы — сравнение начала повести в журнале и в первом отдельном издании.

«Красная новь», 1922, № 1	*«Бронепоезд 14-69». М., ГИЗ, 1922*
Бронепоезд «Полярный» под № 14-69 охранял железнодорожную линию от партизанов. Остатки колчаковской армии отступали от Байкала: в Маньчжурию, по — Амуру — на Владивосток. Капитан Незеласов, начальник бронепоезда, сидел у себя в купе вагона и одну за другой курил маньчжурские сигареты, стряхивая пепел в живот расколотого чугунного китайского божка.	Цифры блестели перед глазами: 85, 64 и еще 000... как снежные четки... На дверях купе, на рамах окна, на ремне-кобуре револьвера. И точно огромная мясистая цифра — 8, на койке, упадая коротко стриженной головой в огромные — как степные дороги — плечи: прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова.

В редакции 1922 года повесть неоднократно переиздавалась в 20-е годы, вошла в I том 1-го собрания сочинений Иванова (1928 г.).

В 1934 году, готовя «Партизанские повести» к очередному переизданию («Партизанские повести». М. — Л., Гослитиздат, 1934), Иванов заново отредактировал их под знаком тех требований к языку художественной литературы, которые с убедительностью про-

звучали в выступлениях М. Горького во время дискуссии о языке на страницах советской печати в начале 30-х годов («О прозе, «По поводу одной дискуссии», «Открытое письмо Серафимовичу», «О бойкости», «Беседы с молодыми»).

Еще раньше М. Горький упрекал молодого писателя за те самые «грехи», против которых он позднее выступил на страницах печати. Из письма от января — февраля 1923 года: «Вы злоупотребляете местными речениями, в этом сказывается неправильно понятое увлечение Ремизова и его школы колдовством слова. Этот недостаток есть и у Никитина, он делает вас непереводимыми на языки Запада Европы».

Из письма от 13 декабря 1925 года:

«...Пора писать экономнее. Вы очень швыряетесь словами. У вас на некоторых страницах встречаются Пильняковы сухие вихри, пыль словесная и сумбур лирический» («Переписка с Горьким», с. 23, 35).

Работа Иванова над «Бронепоездом 14-69» при подготовке редакции 1934 года и свелась, с одной стороны, к избавлению от многочисленных «местных речений», особенно в авторской речи, с другой — к освобождению как от лишних слов, так и от вычурных и натуралистических образов. Всего было сделано около ста исправлений такого порядка (подробнее см. об этом в статье Н. И. Велнкой «Повесть Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69» и проблема мировоззрения, художественного метода и стиля» в сб. «Всеволод Иванов». Омск, 1970 с. 69—70).

Правка 1934 года способствовала совершенствованию стиля «Бронепоезда», в этой редакции повесть издавалась в 30—40-е годы.

В 1952 году повесть была вновь отредактирована (Вс. Иванов. Повести, рассказы, воспоминания. М., «Советский писатель», 1952). На этот раз характер редактирования был совершенно иным: изгонялись из текста яркие сравнения, эпитеты, метафоры, составляющие «изюминку» ивановского стиля, усекались лирические отступления, приглаживались диалоги. О характере правки можно судить по сопоставлению двух начальных абзацев повести.

Редакция 1934 года (в скобках выброшенные слова)	*Редакция 1952 года*
Цифры блестели перед глазами (84, 64 и еще 0000, как снежные четки). На дверях купе, на рамах окна, на ремне-кобуре револьвера. И точно огромная мясистая цифра 8, на койке, упадая коротко стриженной головой в огромные (как степные дороги) плечи, прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова.	Цифры блестели перед глазами: на дверях купе, на рамах окна, на ремне, на кобуре револьвера. Везде! Точно огромная мясистая буква 8, на койке, упадая коротко остриженной головой в огромные плечи, отдыхает прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова.

В редакции 1952 года повесть печаталась в «Избранных произведениях», в 2-х томах (1954) и других изданиях 50-х годов.

В 1932 году Иванов создал второй вариант «Бронепоезда 14-69» («Повесть переработана автором для юношества», было написано на титуле издания: Вс. Иванов. Бронепоезд 14-69. ОГИЗ, «Молодая гвардия», 1932). Новый текст был создан под непосредственным влиянием написанной Ивановым на материале повести пьесы «Бронепоезд 14-69» (1927) — были введены эпизоды и действующие лица из пьесы. В духе пьесы был переосмыслен образ Пеклеванова. Повести была придана повествовательность, способствующая уяснению последовательности эпизодов и их связи. Были введены новые, откомментированы присутствующие ранее исторические реалии. Такая переработка отвечала ориентации художника на определенного (молодого) читателя. В качестве примера приводим начало и конец нового варианта:

«Бронепоезд «Полярный» № 14-69 остановился в тайге на станции Никольской, неподалеку от города Тбищенска, связь с которым была прервана» (...). «А к концу 1920 года вся, за исключением южной части, Приморская область была очищена от белогвардейцев и японцев. Почетную роль в этом сыграл бронепоезд «Полярный» 14-69 под командой Никиты Вершинина, и по настоящее время стоит он, всегда приготовленный к бою и защите СССР».

В 1957 году Иванов предпринял новую попытку переработки повести для юношества (Вс. Иванов. Бронепоезд 14-69. Детгиз, 1957). Из письма М. В. Минокину от 6 февраля 1960 года: «Теперь о «Бронепоезде». Я сделал этот вариант, о котором Вы пишете, чтобы молодой читатель, мало знакомый с историей гражданской войны, яснее представил положение. Хотелось также, чтобы повесть читалась легче, была сюжетнее (...)» («Всеволод Иванов — писатель и человек», с. 227). Повесть в этом третьем варианте значительно увеличилась в объеме. Были написаны новые главы, частично навеянные пьесой, введены новые действующие лица, окончательно утвердился повествовательный стиль. Хотя в книгу вошли и все старые главы, они утеряли свою экспрессивность и лиризм.

В этом варианте повесть печаталась во 2-м собр. соч. Иванова (т. I), в кн. «Повести великих лет» (М., «Советская Россия», 1958), и других изданиях конца 50-х — начала 60-х годов.

Близким и друзьям Вс. Иванова известно, что он неоднократно подчеркивал возможность существования на равных правах разных вариантов (и редакций) своих произведений. Исходя из этого положения и признавая, что основной вариант «Бронепоезда 14-69» именно в третьей редакции (1934 г.) являет собой результат наиболее последовательной и доведенной до конца работы автора над стилем

повести, комиссия по литературному наследию Вс. Иванова приняла решение в книге Вс. Иванова «Избранные произведения» в 2-х томах, М., «Художественная литература», 1968, печатать повесть по тексту: Вс. Иванов. Партизанские повести. М. — Л., Гослитиздат, 1934. По этому же тексту печатается повесть и в данном томе.

Повесть «Бронепоезд 14-69» стала основой для создания произведений разных жанров.

Написанная Ивановым к десятилетию Октября на основе повести пьеса «Бронепоезд 14-69» совершила триумфальное шествие по всему миру и принесла автору всемирную известность (подробнее см. комментарий М. В. Минокина в кн. Вс. Иванов. Пьесы. М., «Искусство», 1964, с. 604—615).

В конце жизни Иванов создал сценарий «Бронепоезд 14-69» (опубликован в журн. «Простор», 1963, № 11).

В 1973 году по мотивам партизанских повестей Вс. Иванова (в центре повесть «Бронепоезд 14-69») создан фильм «И на тихом океане...» (режиссер-постановщик Ю. Чулюкин).

Д. Кабалевский написал оперу «Никита Вершинин» (либретто по мотивам повести «Бронепоезд 14-69»), которая в 1956 году была поставлена в Большом театре.

«Цветные ветра». — Впервые: Всеволод Иванов. Цветные ветра. Повесть. Петроград, «Эпоха», 1922. Авторская датировка — 12/X 1921 г. Пбг.

Работа над «Цветными ветрами» началась в Петрограде еще до завершения «Бронепоезда 14-69» (июль 1921 г.). Видимо, именно о «Цветных ветрах» упоминает Иванов в письме Сорокину от 26 марта 1921 года. «Пишу роман «Зеленое»...» («Молодой большевик», 1965, 10 февраля). В основу повести легли подлинные события периода колчаковской оккупации, произошедшие в селах Алтая.

Вокруг главного героя «Цветных ветров» Калистрата Смолина разгорелись споры в критике 20-х годов.

Восторженный отзыв о повести «Цветные ветра» и ее герое написал Н. Асеев. «...Цветные ветра» являются лучшей и у автора, и среди всей современной беллетристики вещью (...). Фигура эта (Калистрат) — деревенского, таежного хозяина, в шестьдесят лет полного сил, распираемого тоской о неуемности этой силы и близкого ее заката, живущего своим желанием и умеющего укрощать это желание напором такой же, тяжелой, как и оно само, воли — удалась Вс. Иванову до мельчайших характерных подробностей.

Это своеобразный таежный Тарас Бульба, в современной обстановке среди современных таежных же «гайдамаков» («Печать и революция», 1922, № 7, с. 312—313).

В противовес ему В. Правдухин аттестовал Смолина как героя

«неестественного, изломанного, пахнущего мистицизмом и притом мистицизмом литературщины» (В. Правдухин. Пафос современности и молодые писатели. — «Сибирские огни», 1922, № 4, с. 153), поскольку критик не нашел в герое искомой простоты и однозначности.

Появление «Цветных ветров» породило дискуссию о большевике в творчестве Иванова. Фигура питерского рабочего Никитина, очерченная более полно и четко, чем фигура Пеклеванова («Бронепоезд 14-69»), позволила критикам обратиться к обсуждению внутренних мотивов поведения такого героя. Эти мотивы оказались связанными с целой сферой идей широкого гуманистического плана.

Никитинское отношение «ко всем ... без любви» А. К. Воронский комментировал так:

«Великая любовь рождает великую ненависть. У Никитина ненависть поглотила, заглушила любовь. Во имя дальнего бей ближнего. Он не считается с индивидуальной виной, он знает вину только классов...» В никитинских императивах критик уловил голос (волю) истории. «Без таких рассыпались бы партизанские отряды, проигрывались бы восстания, сражения, невозможны бы были красный террор, раскрытие заговоров, Красная Армия, война с Антантой, штурм Сиваша и Перекопа...» («Красная новь», 1922, № 5, с. 266).

В советской литературе первой половины 20-х годов можно увидеть героев, исповедующих ту же философию, что и ивановский Никитин: Курт Ван — «Города и годы» К. Федина, Зудин — «Шоколад» А. Тарасова-Родионова и др. Сопоставление этих героев с большевиками А. Неверова («Андрон Непутевый», «Гуси-лебеди»), А. Аросева («Записки Терентия Забытого» «Страда»), Ю. Либединского («Неделя»), А. Фадеева («Против течения», «Разгром») оттеняет в них черты «левых революционеров», фанатиков сектантского толка, рано или поздно сбрасываемых революционным народом с пьедестала вождей (подробнее об этом в кн. М. Кузнецова «Советский роман». М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 230—233, а также в статьях Е. Краснощековой: «Проблема гуманизма в годы революции и гражданской войны» — «Научные доклады высшей школы. Филологические науки», 1966, № 1, с. 1—15, «Гуманизм и жертвенность (к истории одной проблемы 20-х годов)» — в сб. «Метод и мастерство». Вып. III. Советская литература. Вологда, 1971, с. 55—70).

«Цветные ветра» редактировались Ивановым дважды. Правка 1934 года («Партизанские повести». М. — Л., Гослитиздат) преследовала цели стилистического совершенствования повести: снимались излишние диалектизмы, вульгаризмы; фонетическая запись речи в диалогах менялась на обычную, несколько были сокращены лирические отступления.

В этой редакции повесть была напечатана в «Избранном» [в 2-х томах], 1937—1938 (т. I), а потом долго не издавалась (пере-

издания «Партизанских повестей» в 1950-е годы включали лишь «Партизан» и «Бронепоезд 14-69»).

Готовя повесть для 2-го собр. соч., Иванов вновь отредактировал ее. На этот раз правка была не только стилистической. Автор внес изменения в характеристику Никитина, стремясь подчеркнуть его значительность и активность. Были также сокращены некоторые эпизоды (на байге), диалоги Никитина и Смолина.

В данном томе повесть печатается по тексту: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. I. М., Гослитиздат, 1958.

Стр. 242. *Кабинетские земли* — земли, принадлежавшие лицам царской фамилии, находились непосредственно в ведении «Кабинета его величества». В состав кабинетских земель вместе с другими землями входил Алтайский горный округ.

«Голубые пески». — Впервые: «Красная новь», 1922, № 3—6; 1923, № 1, 3, с посвящением Анне Весниной. Первое отдельное издание: Всеволод Иванов. Голубые пески. Роман. М. — Пг., «Круг», 1923, почти одновременно: Всеволод Иванов. Голубые пески. Роман. Берлин, 1923.

Много лет спустя Иванов рассказал о том, как был задуман роман о Василии Запусе: «В Омске, будучи еще красногвардейцем, я познакомился с командиром отряда, направленного из Москвы на Дальний Восток, но почему-то всем своим эшелоном застрявшего в Омске. Командир отряда — Василий Запус. Красивый и необычайно веселый человек, даже о каторге вспоминал со смехом» («История моих книг»).

Личность Запуса, так увлекшая художника, отразилась и в двух других рассказах писателя: «Бегствующий остров», 1926 и «Человек за бортом» («Павло») (из цикла «Рассказы об Октябре»), 1924.

В отличие от «Партизанских повестей», написанных стремительно, «Голубые пески» создавались нелегко. Иванов позднее признавался: «Не давалась она (повесть) мне, и я писал ее с большими заминками, а тема была замечательная» («История моих книг»).

Много сложностей возникло в связи с решением писателя создать именно роман. «Я не хотел писать романа на скорую руку и выбрал нарочно события и персонажи, которые никак не укладывались ни в повесть, ни тем более в рассказ. Хотя мы и немало в нашей среде говорили о конструкции, я вряд ли понимал, как нужно конструировать роман (...). Писал я его с трудом и заминками. То он мне казался очень коротким, то очень длинным» (Архив Вс. Иванова).

Реализация сложного замысла принесла победы, но дала и основания для упреков.

А. М. Горький писал в статье «Группа «Серапионовы братья» (опубликованной на франц. языке в журн. «Disque vert», 1923, № 4—6): «Всеволод Иванов недавно издал роман «Голубые пески». Эта

книга, несколько растянутая, дает очень яркую и широкую картину гражданской войны в Сибири и проникнута объективизмом истинного художника» («Литературное наследство», т. 70, с. 563).

Почти одновременно Горький написал Иванову в письме:

«Вы уже ухитрились написать кое-что очень серьезное, имеющее все признаки Вашей близости к подлинному искусству. Вы дали несомненные доказательства Вашей силы как художника. Это я говорю не в утешенье Вам, Вы человечище крепкий и утешать Вас не надо. Но Вы встали бы рядом с правдой, сказав: «Пишу я, В. Иванов, очень много лишнего и фактами, и словами, последними — особенно много. Это у меня оттого, что я много видел, богат впечатлениями, и они лезут на бумагу помимо моей воли». Вот так — будет вернее. Этот Ваш недостаток особенно выражен в «Голубых песках», книге хаотической и многословной, написанной «беглым шагом». Так писать не надо, хотя бы только потому, что писать так — легко» («Переписка с Горьким», с. 22).

В критике, активно отозвавшейся на публикацию романа, также предъявлялись упреки композиции книги, но в целом она рассматривалась как значительное явление искусства своего времени.

П. Коган назвал «Голубые пески» — «эпопеей Сибири» («Письма о литературе. — «Известия ВЦИК», 1923, 2 января), но на страницах этой же газеты отмечался основной недостаток романа — растянутость («Известия ВЦИК», 1923, 10 ноября).

Сопоставляя роман с «Партизанскими повестями», Д. Фурманов вынужден был признать, что «Голубые пески» «грешат разбросанностью, несвязанностью отдельных мест» (цит. по кн. П. Куприяновского «В широком потоке (статьи о советских писателях)». Иваново, 1963, с. 3).

В отзыве А. К. Воронского образ комиссара Запуса первых двух частей романа был предельно социально конкретизирован. Запус — так называемый «герой 18-го года». «Сам повольник и с ним повольница, когда не было Красной Армии и приходилось защищать революцию наскоро, наспех сколачивать отряды и драться» («Красная новь», 1922, № 5, с. 268).

В Запусе 1920 года (третья часть романа) отмечались критиком черты так называемого «лишнего человека» периода окончания гражданской войны. Показав Запуса 20-го года, Иванов предвосхитил героев «Каина кабака» Л. Сейфуллиной, «Голубых городов» и «Гадюки» А. Толстого, «Вора» Л. Леонова, «Берегов» А. Караваевой, «Сладкой полыни» Ис. Гольдберга (подробнее о месте образа Запуса в литературе 20-х годов см. в статье Е. Краснощековой «На путях создания образа народного героя гражданской войны («Голубые пески» Вс. Иванова». — «Учен. записки Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина», 1964, № 222, с. 202—218).

В. Полонский считал, что по сравнению с «Партизанскими повестями» роман не удался, и видел причину неудачи, в частности, в том, что «материал уже не нов, приходилось изощряться, освежать и дополнять (...)», и в том, что «партизанский лейтмотив оказался перекрытым другими мотивами, которые, разумеется, дезорганизовали симфонию» (В. Полонский, Очерки современной литературы. О творчестве Всеволода Иванова. — «Новый мир», 1929, № 1, с. 222).

Не встретив единодушного одобрения ни в критике, ни у читателей, роман «Голубые пески» был на протяжении многих лет оттеснен на периферию ивановского творчества. Хотя он в 20—30-е годы и переиздавался, историки советской литературы забыли об этом романе (возможно, сыграла роль и малоудачная переделка его в конце 20-х годов, о чем дальше). Сам же писатель сохранил именно к этому своему детищу особо теплое чувство. Работая в 1957 году над «Историей моих книг», Иванов писал: «Я его (роман. — *Е. К.*) очень любил и люблю до сих пор. Именно в нем-то больше всего, как мне кажется, я передал пантеистические мечтания». Образу Запуса художник отводил значительное место в своем творчестве. «Если позволительно вести линию работы писателя от одной книги к другой, то от Василия Запуса, героя и человека легендарного, идет прямая линия к Александру Пархоменко» (Архив Вс. Иванова).

Объективная оценка романа в историко-литературном плане впервые была дана К. Д. Муратовой. Развивая горьковский тезис о том, что книга Иванова «проникнута объективизмом истинного художника», Муратова писала: «Вс. Иванов стремился к исторически правдивой обрисовке представителей советского и контрреволюционного лагеря: он не скрывал жестокости, проявленной в войне обеими сторонами; его повесть была сурова и романтична (...). Идейная целеустремленность «Голубых песков» была явной, но она не заставила писателя исказить действительность, ослабить остроту социального конфликта, осветить только выигрышные для положительных героев факты» (К. Д. Муратова. М. Горький в борьбе за развитие советской литературы. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1958, с. 166).

Аргументация исследователя была далее развита В. Бузник, которая особо подчеркнула значение «Голубых песков» и личности Запуса в истории советского романа: «Примыкая к молодой прозе Октября, роман Вс. Иванова вместе с тем знаменовал поворот к новым принципам и приемам художественной типизации в пределах крупного эпического жанра. Писатель во многом предвосхитил здесь путь, по которому в дальнейшем пошли другие авторы, создавшие лучшие образцы советской литературы ⟨...⟩.

Вс. Иванов восславил героя своеобразного, сильного не своей отрешенностью от сложностей жизни, но, напротив, самой непосред-

ственной причастностью ко всевозможным тревогам и радостям бытия: к возвышенному и житейскому, к драматическому и смешному» («История русского советского романа», кн. I. М. — Л., «Наука», 1965, с. 119—120).

Роман «Голубые пески» существует в двух вариантах. Выше речь шла о первом. В 1929 году, готовя роман для 1-го собр. соч., Иванов переработал его и назвал повестью. Издавая этот новый вариант отдельной книгой, Иванов переменил его название («Васька Запус, или Голубые пески». Изд-во писателей в Ленинграде, 1933), одновременно в качестве 3-й части присоединив рассказ «Бегствующий остров», написанный в 1926 году. В этом варианте «Голубые пески» были напечатаны в «Избранном [в 2-х томах], 1937—1938 (т. I) и во 2-м собр. соч. (т. I, 1958). В последнее издание автором были внесены исправления редакционного характера.

Серьезную переработку романа в 1929 году автор мотивировал так: «Повесть «Голубые пески», на основании вновь поступивших ко мне материалов, сильно переделана» (авторское «Предисловие» к «Гибели Железной» и «Голубым пескам», 1-е собр. соч., т. V, с. 5). Но, по-видимому, главным стимулом к переработке стали упреки Горького в растянутости романа, неупорядоченности его частей.

Переделывая роман в повесть, Иванов прежде всего сильно сократил его (почти в два раза), сосредоточив все действие в 1920 году, разделил на небольшие главки с интригующе-поэтическими названиями. В текст был вставлен, разбитый на отдельные части, практически не правленный, рассказ «Подвиг Алексея Чемоданова» (1928). Были дописаны некоторые главы (биография Запуса). В новых «кусках» основной пафос образа был намеренно противопоставлен пафосу сохранившегося старого текста: «Запус — не герой, ему противно делать подвиги». Эта тенденция, призванная сменить романтическую героизацию с особой отчетливостью просматривается в сцене гибели Запуса во главе отряда.

Переделка, следовательно, имела задачей не только упорядочение композиции, преодоление хаотичности в расположении материала, но и переосмысление всей фигуры Запуса в духе той концепции героя, которая складывалась в творчестве Вс. Иванова в конце 20-х годов. Запус в новом тексте близок героям рассказов «Тайное тайных» (1927) — «маленьким людям» с болезненно обостренным самолюбием. Одновременно в том тексте, который почти без изменения перешел из первого варианта, он — романтический герой.

Характер «переписывания» образа главного героя отражает существо переделки романа в целом. В ней очевидны следы поспешности, влекущей за собой непоследовательность в работе, приводящую подчас к прямым противоречиям (некоторые специфические события семнадцатого года просто «вставлены» в двадцатый), а иногда

к содержательным и стилевым несообразностям. Отказавшись от событийной фабулы, развертывающейся во времени (от семнадцатого к двадцатому), Иванов не сумел найти новую опору для повествования — главы сменяли одна другую без явной мотивировки, объективную последовательность событий трудно уловить. Роман утерял и стилистическое единство: яркие краски, лирические возгласы, пришедшие из первого варианта, не сливаются с новым, сдержанным «скупым» стилем. Стремление к внешней героизации — рудимент первого варианта — отрицается тяготением к психологическому подтексту, типичному для Иванова второй половины 20-х годов. Наконец, подключение к «Голубым пескам» «Бегствующего острова» — легенды, рассказанной героем, как бы пришедшим из «Тайного тайных», оказалось уже совершенно неорганичным.

Новый вариант «Голубых песков» был совершенно незамечен критикой и почти не рассматривался историками советской литературы.

Исходя из сказанного выше и учитывая также то, что Вс. Иванов нередко полностью переписывал давно созданные книги, но всегда относился к ранним публикациям как к оригиналу и первоисточнику, редакционная коллегия данного собрания сочинений приняла решение печатать «Голубые пески» по тексту книги: Вс. Иванов. Голубые пески. М. — Пг., «Круг», 1923. Как роман «Голубые пески», естественно, не включается в цикл «Партизанских повестей», куда входил как повесть во 2-м собр. соч.

Роман выходил в Чехословакии (1925 и 1961 гг.) и в Югославии (1962 г.).

Стр. 317. *Бей* (бий) — господин, государь, князь. У киргизов — казахов этот титул служил для обозначения высших чиновников администрации. Вс. Иванов употребляет обе формы написания.

«Возвращение Будды». — Впервые полностью: «Наши дни». Худ. альманах, кн. 3. М. — Пг., 1923.

Отдельные отрывки публиковались ранее: «Металл, распространяющий и благоухающий спокойствием» (глава из повести «Возвращение Будды») — «Красная нива», 1923, № 4 — перед публикацией дано краткое изложение предшествующих событий: «Возвращение Будды» (глава из повести) — «Литературный еженедельник», 1923, № 4; «Возвращение Будды» (отрывок из повести) — «Литературный еженедельник», 1923, № 6; «Он в Семипалатинске» (глава из повести «Возвращение Будды») — «Жизнь искусства», 1923, 23 февраля.

Первое отдельное издание: «Возвращение Будды». Повесть. Берлин, 1923. Затем в кн.: «Избранное» [в 2-х томах], т. 2. М., Мосполиграф, 1924.

Повесть включалась в следующие сборники произведений Вс. Иванова: «Избранные сочинения. 1926—1930 гг.» (М. — Л., ГИХЛ, 1931),

«Обыкновенные повести» (Изд-во писателей в Ленинграде, 1933), «Избранное» [в 2-х томах] (т. 2. М. — Л., Гослитиздат, 1938). Вошла в IV том первого собр. соч. и в III — второго.

В основу повести были положены личные впечатления автора. В «Истории моих книг» Иванов пишет: «В 1921 году, бродя по окраинам Петрограда, я натолкнулся на буддийский храм, о существовании которого никогда не подозревал». Среди храма стояла «большая золоченая статуя Будды. Три монгола в солдатских шинелях и бараньих шапках, скрестив ноги, сидели неподвижно перед статуей...»

Затем произошла встреча на съезде этнографов в Батуми с известным писателем В. Таном-Богоразом, и Иванов узнал о замысле отправить ценную статую Будды в Монголию. Тан-Богораз поведал писателю историю Корана, написанного рукой Омара, отправленного в Самарканд и погубленного басмачами.

«Я слышал другой вариант этой истории, — сказал монгол (знакомый Иванову еще по петроградской встрече в храме), — а если есть два варианта, значит, вообще вся эта история сомнительна.

То, что сомнительно для истории, то бывает порой несомненным для беллетристики. Так возникла повесть «Возвращение Будды», которую я начал в Батуми, а окончил в Ялте: юг в те дни привлекал меня».

В дневниковой записи от 31 декабря 1946 года дается несколько иной вариант возникновения замысла «Возвращения Будды». Там речь идет только о Коране Османа, о котором рассказывал писателю библиотекарь Гребенщиков. «Гребенщиков сказал мне, что Коран отправили в 1919 году в Среднюю Азию, чтоб привлечь мусульман на нашу сторону. Затем где-то я прочел, что Коран был похищен. Было нападение на поезд бандитов в степи, и Коран роздали по листку разбойникам. Я захотел написать об этом повесть. Но если писать о Коране, то будет слишком фотографично. Так возникло «Возвращение Будды» (...).

Жаль, что написано сжато. Надо было б написать роман, но я побоялся, что роман выйдет экзотическим, так как у меня [тогда] не хватало ни мыслей, ни наблюдений: я не был в Монголии и монгол[ов] видел только на перронах железных дорог» («Переписка с Горьким», с. 410—411).

Существовал и реальный прототип профессора Сафонова:

«Я знал этого старичка. Он читал лекции по культуре Востока, и я советовался с ним, когда начал писать повесть «Возвращение Будды» («История моих книг»).

Повесть, по словам Иванова, открывала новый этап в его творческой эволюции.

Иванов писал А. М. Горькому 14 января 1923 года: «Пришел я к убеждению, что все, что я раньше написал, — ерунда. Не так

работать надо. И новым методом написал «Возвращение Будды». Прочтите, когда выйдет». В чем существо этого нового метода, Иванов объяснил позднее: «Она-то (повесть. — *Е. К.*) и знаменует поворот к «Тайному тайных» («Переписка с Горьким», с. 19—20, 411).

Как показало время, от «Возвращения Будды» тянутся нити и к фантастическому циклу 30—50-х годов.

В критике отмечалась актуальность повести:

«Взята большая тема: отношение революционной коммунистической власти к национальным, религиозным и проч[им] особенностям отсталых стран, но тема эта, к сожалению, только намечена, а не развернута на всю повесть» («Труд», 1924, 15 августа).

«Художник попытался выскочить из тундр и тайги в ширь городов, культурных сложных типов, трудных психологических положений и проблем...» («Сибирские огни», 1923, № 4, с. 180).

Аргументированная оценка повести и художественной манеры Иванова, в ней раскрывающейся, была дана Д. Горбовым:

«В повести «Возвращение Будды» писательская манера Вс. Иванова раскрывается полностью. Неразрывная сюжетная связь с революцией, как коренной перестройкой России, богатство языка, основанное на широком массиве диалектов, на этот раз счастливо претворенных в цельное писательское единство; монгольская экзотика, как обычная составная часть темы; наконец, анекдот, как база сюжета...

И хотя общая мысль повести (о человеческой иллюзии как главном жизненном двигателе) далеко не обязательна, хотя героические годы России взяты здесь в исключительном, крайне заостренном ракурсе, — повесть западает в память резкой и мужественной активностью, с которой она претворяет сырье быта в динамический ряд пропитанных жизнью образов искусства» («Печать и революция», 1924, № 6, с. 234—235).

Повесть дважды редактировалась. При включении «Возвращения Будды» в IV том 1-го собр. соч. (1928 г.) автор внес в нее ряд исправлений (изменен порядок и число глав, проведена стилистическая правка, особенно большая в начальных главах). В этой редакции повесть издавалась вплоть до 2-го собрания сочинений (1958 г.), На этот раз правился стиль, были дописаны два «куска», раскрывающие внутренний мир профессора и уточняющие его настроение во время «теплушечной одиссеи».

«Возвращение Будды» переводилось на польский язык (1927 и 1959 гг.), немецкий (1962 г). В 1973 году осуществлен перевод повести на французский язык (книга вышла в Швейцарии в серии «Славянские классики»).

Повесть печатается по тексту: Вс. И в а н о в. Собр. соч. в 8-ми томах, т. II. М., Гослитиздат, 1958.

СОДЕРЖАНИЕ

Иванов, Вс.

И 20 Собрание сочинений. В 8-ми томах. Изд. осуществляется под ред. Т. В. Ивановой, А. И. Пузикова и С. В. Сартакова. Т. I. Партизанские повести. Голубые пески. Роман. Возвращение Будды. Повесть. Вступ. статья Л. Гладковской. Подготовка текста и коммент. Е. Краснощековой. М., «Худож. лит.», 1973.

624 с.

В первый том собрания сочинений Всеволода Иванова вошли произведения, созданные писателем в период с 1921 по 1923 год.

Широко известные повести «Партизаны», «Бронепоезд 14-69», «Цветные ветра», объединенные в цикл «Партизанские повести», и примыкающий к ним роман «Голубые пески» составили своеобразную эпопею гражданской войны и пореволюционных преобразований в Сибири. В необычном по своей форме произведении «Возвращение Будды», где фантастика переплетается с реальностью, автор ставит проблему пути интеллигенции в революцию.

И $\frac{0732-191}{028(01)-73}$ **Подп. изд.** **Р2**

ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИВАНОВ

Собрание сочинений

Том 1

Редактор *Т. Аверьянова*

Художественный редактор *В. Горячев*

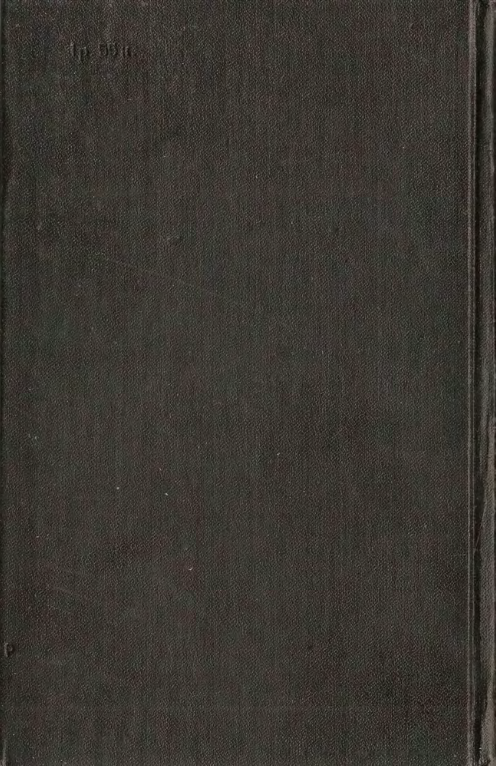
Технический редактор *В. Кулагина*

Корректоры *А. Новикович* и *В. Широкова*

Сдано в набор 9/III 1973 г. Подписано в печать 7/VIII 1973 г. А01184. Бумага тип. № 1. Формат 84×108[1]/32. 19,5 печ. л. 32,76 усл. печ. л. 34,673+1 вкл. =34,736 уч.-изд. л. Тираж 100 000. Заказ № 610
Цена 1 р. 55 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Гатчинская, 26


1 р. 55 к.